АЛЕКСАНДР ЯШИН

2

АЛЕКСАНДР ЯШИН

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ
ТОМАХ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1985

АЛЕКСАНДР ЯШИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВТОРОЙ

ПОВЕСТИ

•

РАССКАЗЫ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1985

Р2
Я 96

Составление, подготовка текста, комментарии
З. К. Яшиной, Н. А. Яшиной

Оформление художника
Н. И. Крылова

●

Я $\frac{4702010200\text{-}267}{028(01)\text{-}85}$ подписное

ПОВЕСТИ

ВОЛОГОДСКАЯ СВАДЬБА

Из самолетов АН-2 выходят жители вологодских и костромских деревень, хлеборобы, служащие. У старушки, одетой в дубленый полушубок, в руках фанерный чемоданчик и туесок, наверное, с рыжиками: видно, отправилась старая «на города», на побывку к сынку или к дочери. Старик, кроме такого же фанерного баула и привязанной к нему пары новеньких лаптей с липовыми оборами, тащит берестяный заплечный пестерь, на котором сбоку торчат две веревочные петли. С пестерями такими ходят на сенокосы, на дальнюю охоту, на лесные промыслы, в петли вдевается топор,— мне это знакомо.

На старика ворчит пилот:

— Весь самолет мне закровенил. Что у тебя течет из пестеря, отец? Мясо, что ли?

— Журавлиха, не мясо. Растаяла, окаянная!

Журавлиха — клюква: старик везет ее кому-то в подарок.

— А лапти зачем? — спрашивает пилот.

— Сын просил сплести для баловства. В Ленинград еду.

Все очень буднично. Но именно эта будничность и волнует: авиация вошла в быт.

Пассажиры устраиваются на грузовик-такси и отправляются на железнодорожную станцию. А оттуда на аэродром подъезжают новые пассажиры, уже побывавшие в гостях: в руках у них не баулы, а чемоданы, и сами приоделись — вместо ватников и затасканных полушубков на многих городские пальто, на головах добротные шерстяные шали, меховые шапки.

Мне, грешному, кажется, что, отправляясь «на города», мои земляки сознательно одеваются похуже, прибедняются, чтобы вернее разжалобить своих «выбившихся в люди» родственников.

Покупают билеты, выстраиваются в очередь к самолету. Я слежу: не охнет ли хоть одна старушка, не пере-

крестится ли? Нет, ни одна не перекрестилась, ко всему привыкли.

А я лечу в деревню на свадьбу.

Я уже не очень верил, что сохранилось что-нибудь от старинных свадебных обрядов, и потому не особенно рвался за тысячу верст киселя хлебать, когда получал время от времени приглашения на свадьбы. К тому же приглашения эти приходили из родных мест обычно с запозданием на два-три дня и не обещали ничего интересного.

«Шура, приезжай, Тонька с Венькой безруким уписываются».

Или:

«Дуньку Волкову пропивать будем, приезжай, погуляем!»

А тут пришло письмо, написанное какими-то иными, душевными словами и, главное, вовремя:

«Дядя Шура, наша Галя выходит замуж. Жених работает на льнозаводе. Пиво мама спроворила, и все будет по-честному, как следно быть. Приезжайте, дядя, обязательно, не откажите в нашей просьбе. Едьте, пожалуйста!»

Письмо писала сама невеста, хотя от третьего лица и без подписи. Казалось, от того, буду я на свадьбе или не буду, зависит ее дальнейшая судьба. Я отбросил все дела, наспех «спроворил» кое-какие подарки для невесты и для родных и выехал.

Поездом до станции Шарья двенадцать часов да самолетом над лесами минут сорок пять, если, конечно, самолеты ходят, это не очень уж страшно. Правда, в Шарьинском аэропорту из-за плохой погоды можно проторчать и несколько суток. Но другой возможности благополучно добраться до моего района, по существу, нет. Грузовики ходят нерегулярно, и никогда нельзя надеяться, что вы на грузовике доберетесь быстрее, чем пешим.

Раньше, на конных подводах, можно было рассчитывать время довольно уверенно, теперь же дороги разбиты настолько, что в весенне-осенние распутицы, а зимой в метели и снегопады движение по тракту надолго прекращается вовсе. «Золотая дорожка!» — с горькой иронией говорят героические вологодские шоферы. Три-четыре рейса — и новая мощная машина сдается в капитальный ремонт.

Мне повезло. На третий день после выезда из Москвы я был уже у невесты в гостях. Последние километры пути шел на лыжах по заячьим тропкам среди сказочных березовых рощ с тетеревиными стаями на вершинах.

— Ой, приехал! А я ведь и думать не думала! — удивленно вскрикнула Галя.

Круглолицая, розовощекая, очень подвижная, она взволнована предстоящим — и радуется и тревожится. Но работы столько, что на переживания ни сил, ни времени не остается.

Галю почти невозможно разглядеть, она носится по дому — не ходит, не бегает, а носится. Но я-то ее знаю давно, и что мне ее разглядывать?

С тех пор как я ее не видел, Галя не стала выше ростом, не стала приглядней, осанистей или, как здесь говорят, становитей. А между тем в деревне своей она считалась одной из лучших невест. Почему? Потому ли, что единственная дочка у матери и наследница всего дома? Отчасти, может быть, и поэтому. Но такие невесты в деревне есть и кроме нее. Все они не дорожат своим наследством, стараются бежать из дому, устроиться на какую-нибудь неколхозную работу, как это сделала и Галя, перебравшись на льнозавод.

Нет, достоинства Гали — недородной, нерослой, несильной — в другом. Она из очень работящего рода, а уважение к такому наследству живет в крестьянах и поныне. Большое и хорошо налаженное хозяйство ее дедушки по материнской линии было в горячее время коллективизации развалено твердыми заданиями. Кажется, то же случилось с дедушкиным домом и по отцовской линии. Но так как ни в том, ни в другом хозяйстве никогда не пользовались наемным трудом, то в народе осталось лишь сожаление о случившемся и доброе сочувствие к напрасно пострадавшим людям.

А извечное трудолюбие и непоседливость перешли от дедушек и бабушек к нынешней невесте и стали ее главным приданым, которое скрашивало в глазах женихов ее низкорослость и неприглядность. По-видимому, страсть к работе она успела показать уже и на льнозаводе.

Мать Гали, Мария Герасимовна, вдова, много рожавшая и много страдавшая на своем веку и сейчас, после гибели мужа на войне, расстающаяся с последней своей опорой, даже спать перестала. Лицо ее осунулось, глаза

испуганно мечутся по избе: все кажется, чего-то еще не сделано, что-то она просмотрела, упустила. Пол выскоблен и вымыт до блеска, посредине избы постланы лучшие половики своего тканья, рамки с открытками и фотографиями висят как будто не косо, на окнах тюлевые занавески, на гвоздиках расшитые вафельные рукотерники и платы старинной работы, сохранившиеся еще из девок, от того времени, когда она сама замуж выходила. Платы и рукотерники висят и на божнице, и на рамках с фотографиями. А в рамках вместе с изображениями родных и знакомых и совершенно случайных, никому не известных людей красуются цветастые открытки, посвященные Дню Парижской коммуны, Восьмому марта, Первому мая, Новому году и первым космическим полетам. Тут же открытки с корзинками аляповатых цветов и со смазливыми нарумяненными личиками в сердечках, с надписями: «Люби меня, как я тебя», «Поздравляю с днем рождения», «Помню о тебе» — и с неграмотными стишками:

Быть может, волны света
Умчат меня куда-нибудь,
Пускай тогда открытка эта
На помнит вам что нибудь!

Я переписал их с сохранением орфографии.

Все издано в наше время. Среди этих произведений прикладного искусства вложены, видимо для заполнения пустых мест, листки из отрывных календарей разных лет: на одном — портрет Луи Арагона, на другом — маршала Тимошенко, на третьем — диаграмма неуклонного роста надоя молока по годам в процентах.

В отдельной рамке цвета пасхальных яиц вставлена Почетная грамота невесты, подписанная директором льнозавода и председателем фабрично-заводского комитета: «За отличные показатели в выполнении производственного плана, в честь сорок третьей годовщины Великой Октябрьской социалистической революции».

Мария Герасимовна заправляет керосином и развешивает под потолком в разных местах пять ламп — две свои и три взятые у соседей. Затем придирчиво осматривает все снова, поправляет несколько покосившихся фотоснимков, встряхивает полотенца, чтобы получше видна была вышивка на них, еще раз протирает зеркало...

— Кажется, все как следно быть?

Ей особенно нравится картина, написанная молодым местным зоотехником. На огромном и страшном звере, должно быть, волке, хотя морда у зверя явно лисья, Иван-царевич увозит куда-то свою ненаглядную Елену Прекрасную. Полотно во всю стену, золота много, деревья и цветы небывалых размеров. Уж она ли, Мария Герасимовна, не знает лесов темных, дремучи-их — сама всю жизнь в лесу прожила, но таких диковинных стволов даже во сне не видывала. И этакую красотищу зоотехник отдал всего за два килограмма сливочного масла, подумать только! Не порядился даже, добрый человек! Из всех его картин, какие висят теперь в окрестных деревнях, ей досталась самая большая, самая баская́, самая яркая. Даже три толстых мужика на богатырских кобылах ей меньше приглянулись, чем дикий лес и этот волк — страшилище мохнатое.

Верит Мария Герасимовна, что, если бы не малевание зоотехника, не так нарядно было бы в ее избе.

А все-таки увозит Иван-царевич свою сугрёвушку из ее родного дома, от батьки с маткой! Увозит! Вот и у нее, у Марии Герасимовны, увезут на днях дочку Галю за сорок километров. Приедут на грузовике вместе с директором льнозавода, выпьют все пиво и заберут девушку. Хорошо, конечно, а все-таки жалко и жутко: одна теперь, старая, останется.

Мария Герасимовна напоследок перевела стрелки ходиков — отстают шибко,— перевела на глазок, наугад. А другие ходики, что давно висят без гири и без стрелок, украсила вафельным свежим рукотерником: зачем их снимать со стены? Пусть не ходят, а все-таки еще одна картинка в доме — цветочки, и лесок, и поле.

Теперь совсем хорошо стало!

— Что так далеко замуж отдаешь дочку? — спрашиваю я.

— Шибко далеко! — горестно подтверждает Мария Герасимовна.— Захочется повидать — не добежишь до нее. Заплачешь — слезы утереть некому. Сорок километров — шутка ли!

— Где же они встретились?

— Там и встретились, на льнозаводе. Галя там работает третий год, тресту в машину подает, а он, жених, на прессе лен в кипу укладывает. Года два они гуляли: как из армии пришел, так и заприметил ее, углядел и

уж больше ни на одной гулянке от нее не отходил — люди рассказывают. Все по-хорошему!

Для Марии Герасимовны главное, чтобы все было по-хорошему. А маленькая Галя краснеет, даже разговоров о своей свадьбе стесняется.

— Как будете свадьбу справлять — по-старинному или по-новому?

— Какое уж по-старинному, ничего, поди-ко, не выйдет,— отвечает Мария Герасимовна,— да и по-новому тоже не свадьба. По-старинному бы надо! — заключает она и затем начинает рассказывать, как все должно быть, чтобы все по-хорошему: — Вот приедут они завтра, жених с дружкой, да сваха, да тысяцкой, ну и все жениховы гости, и начнет дружка невесту у девок выкупать. Он им конфетки дает, а они требуют денег, он им вина, а они не уступают за вино, продешевить боятся, невесту осрамить. Ну, конечно, шум, шутки-прибаутки, весело. Ежели хороший дружка, разговористой, так и невесте не до слез, все помирают со смеху.

— А невеста плакать должна?

— В голос реветь должна, как же! Еще до приезда жениха соберутся подружки и начнут ее отпевать под гармошку, все-таки на чужую сторону уходит.

— Она же там работает три года?

— Мало ли что работает, а все чужая сторона. Да и заведено так: родной дом покидает.

— Не умею я реветь,— испуганно говорит Галя,— да и Петя не велел.

— Мало ли что не велел, а пореветь надо хоть немного. По-твоему, расписались в сельсовете — и все тут? Какая же это свадьба!

— Не умею я реветь! — повторяет невеста.

— Ничего, девушки помогут. А то молодицу нашу позовем, у нее слезы сами текут и голос подходящий. Ей реветь не привыкать.

— В загсе были?

— В сельсовете были, как же. Сразу после сватовства съездили. Все по-хорошему. Только ведь что в сельсовете? Расписались — и дело с концом. Никакой красоты.

— Жених приезжал сюда?

— Два раза приезжал. Сначала со свахой, с теткой своей, а потом с суслом, один. Когда сусло поспевает, жених берет бутылку сусла от своего пива и привозит к невесте. А у невесты наливают ему в ту же бутылку

своего сусла и договариваются, в какой день ему за невестой приезжать. Иван Петрован даже пиво складывать нам помог.

— Каков жених-то? — спрашиваю.

— Ничего парень, парень как парень. Худощавой! Брови белые. В армии уже побывал — и ладно. Какие нынче в деревне женихи пошли? Все норовят уехать да жениться где-нибудь на стороне, па городах.— Мария Герасимовна задумывается и добавляет: — Ничего парень! Высокой!

Когда Галю просватали, она сняла мерку со своего жениха и две недели сама, и ее мать, и тетя, старушка из соседней деревни, до самого дня свадьбы шили так называемое приданое. Кое-какая мануфактура была заготовлена заранее, недостающее закупали в последнее время. Дирекция льнозавода дала девушке отпуск и месячную зарплату в пятьдесят рублей: все-таки передовая работница. Мать выложила свои многолетние сбережения. Приданое — это и новая одежда невесты, и белье жениха, и подарки всей жениховой родне: рубашки, фартуки, носовые и головные платки, табачные кисеты.

Кофточку и новое платье па невесте после сватовства порвали ее подружки. Так заведено! Раньше жгли куделю на пряснице, ныне девушки не прядут, а обычай соблюсти надо. Кофточку порвали на заводе, а платье в родной деревне, куда она пришла, уже просватанная. Не порвешь одежду на невесте — не бывать замужем подружкам ее. Бьют же стеклянную посуду на счастье!

Для приданого последней дочери мать отдала свой девический кованый сундук, который когда-то был доверху набит ее собственным приданым. Ныне, сколько ни старались, сундук оставался наполовину пустым, пока не догадались сложить в него и домотканые половики, и пару валенок и даже ватник.

В день свадьбы задолго до приезда жениха собрались к невесте на кухню, в куть, как здесь говорят, ее сверстницы. Никакого намека на слезы пока не было. Разноцветные сарафаны с широкими сборками по подолу, кофты с кружевными воланами, сатиновые фартуки, шелковые и шерстяные полушалки шуршали, шелестели, и рябило в глазах. Только невеста была в простом сит-

цевом платьице: ее нарядят, когда поведут к жениху за стол.

Молодость шумно справляла свой праздник.

— Девочки, дешевле десяти рублей не брать!

— За такую невесту можно и больше вырядить.

— Жених-то ведь не колхозник, раскошелится.

— За тридевять земель увозят, да чтобы за так!

— Только уступать не надо!

— Это какой дружка попадется. Ежели вроде нашего Генки, так с него голову снимешь, а он все равно зубы заговорит.

Пришел гармонист — паренек лет восемнадцати. Ему подали стакан пива, он немедля уселся на скамью и деловито заиграл. Так же деловито девушки запели первые частушки, которые должны были разжалобить невесту, помочь ей плакать. Начиналась так называемая *вечерина.*

Я последний вечерочек
У родителей в гостях.
Тятя с маменькой заплачут
На моих на радостях.

Я у тяти на покосе
Заломила веточку,
Придет тятенька на поженьку —
Вспомянет девочку.

В самом углу, за спинами девушек, за разноцветными кофтами и сарафанами, укрылась невеста, счастливая, розовощекая, круглолицая,— ей пора плакать, а она никак не может начать. Рядом с ней сидит ее двоюродная сестра Вера, приготовившая платок и фартук свой, чтобы утирать слезы невесте, расставившая даже колени, на которые Галя должна падать лицом вниз. А невеста все не плачет.

— Плачь, плачь! — уговаривает ее Вера.

Признаюсь, я подумал, что Галя стесняется меня, и уже собирался выйти из кухни. Но вот наконец она решилась, всхлипнула, подала голос. Гармонист, склонив голову, поднажал на басы, девушки запели громче:

Запросватали меня
И богу помолилися.
У меня на белый фартук
Слезы повалилися.

Сидит тятенька на стуле,
Разливает чай с вином,
Пропивает мою голову
Навеки в чужой дом.

Галя плакала плохо, вскрикивала фальшиво, и тогда на выручку ей пришла молодица, жена брата. Она пробилась в угол и с ходу взяла такую высокую ноту, так взвизгнула, прижав голову золовки-невесты к своей груди, что все вздрогнули. А девушки подхватили ее крик и запели частушки, более подходившие к судьбе этой молодки:

Не ходи, товарка, замуж
За немилого дружка,
Лучше в реченьку скатиться
Со крутого бережка.

Не ходи, товарка, замуж,
Замужем неловко жить:
С половицы на другую
Не дают переступить.

Дела сразу пошли лучше: по-серьезному разжалобилась и завыла невеста, хотя лицо ее от слез только больше разгорелось, начали прикрывать глаза платками ее товарки, в голос заревели вдовы. Даже я едва сдерживал слезы: так получалось все естественно и горестно.

Но для матери, Марии Герасимовны, все было мало. Она привела причитальницу-плакальщицу, соседку Наталью Семеновну. Гармонист перестал играть, девушки затихли, когда вошла в куть эта черноглазая, с тонкими чертами лица, старая, но и сейчас еще красивая, несогнувшаяся женщина.

— Давай-ко, Наташа, помоги! — попросила ее Мария Герасимовна.

— А чего это вы коротышки поете? — с упреком обратилась ко всем Наталья Семеновна.— Надо волокнистые песни петь, нельзя без волокнистых. Поди-ко и *крáсоту* не справляли, что за свадьба такая? Позвали бы меня вчера, я ведь и крáсоту всю помню. Раньше мне Митиха Лискина — вот уж причи́тальница-то была! — скажет, бывало: «Садись-ко, Наташка, возле, у тебя голос вольной, учись!» И я с ее голоса, еще девчонкой, все волокнистые протяжные песни запомнила. Памятью меня бог не обидел. Сколько своих девок после замуж отдавала, ни много ни мало шесть дочерей в люди вывела — как причеты не запомнить! А грамоты не знаю: азбуку прошла и оспой заболела. Потом уж дотягивала, когда взрослых учили, да самоуком. Могу, конечно, прибауточ-

ки прочитать и варакать умею, расписываюсь, а все неграмотная. Была ли кра́сота-то у вас?

Никакой кра́соты в доме Марии Герасимовны не было: мать и дочь бегали как угорелые, чтобы все приготовить к приезду жениха и новых гостей как следно быть. Не до волокнистых песен было, не до свадебных обрядов.

— Тогда уж давайте и кра́соты немного прихватим,— решила Наталья Семеновна.— Может, кто подтянет? Или нет?

— Подтянем!— неуверенно отвечали ей.— Ты только запой.

Мария Герасимовна поднесла старушке стакан пива:

— Прочисти горлышко-то, Наташа, легче запоется.

Наталья Семеновна выпила пиво, вытерла губы тыльной стороной ладони и запела печально, волокнисто:

Солнышко зака́тается, дивьёй век корота́ется.
Дивьёй век корота́ется, да пошел день на́ вечер.
И пошел день на́ вечер, да прошел век девичьёй.
И да прошел век девичьёй, да прошло девичьёё житьё.
И прошло девичьёё житьё, все хоже́ньё да гу́ляньё.
Отходила я да отгуляла летом по шелко́вой траве,
И летом по шелко́вой траве, зимой по белому́ снегу...

Казалось, изба стала просторнее, потолок поднялся, а сарафаны да кофты запестрели еще ярче.

Голос у Натальи Семеновны высокий, чистый, не старушечий, пела она неторопливо, старательно, без робости: просто делала нужное людям дело, из-за чего же тут робеть?

Девушки начали подтягивать ей, по вряд ли хоть одна из девушек знала эти старинные свадебные причеты. Подтягивать было легко, потому что каждый стих (строка) причета исполнялся дважды, вернее, окончание каждого стиха переходило в начало стиха следующего, и так без конца.

По этой же причине и записывать причеты с голоса было нетрудно, что я и сделал.

— Приставайте, приставайте, девки! — говорила время от времени Наталья Семеновна.— Подхватывайте! — И сама продолжала петь.

Невеста перестала плакать, она, должно быть, просто забыла о себе, растерялась, настолько необычными показались Натальины плачи после немудрых жалостливых коротышек под гармошку.

Колокольчики сбрякали, да сердечико дрогнуло.
И да сердечико дрогнуло, ретивое приодрóгнуло.
И ретивое приодрóгнуло, да не вё-ошная вода,
И да не вёшная вода под гору разливалася,
И да под гору разливалася, подворотни вымывала...

— За невестой приехали, вот о чем поется! — пояснила Наталья Семеновна и попросила: — Налей-ко мне, сватья, белушечку, что ты один стаканчик подала, в горле першит. Ведь говорят: сколько пива, столько и песен.

Мария Герасимовна поднесла ей полную белую чашку пива, считавшуюся почетной, как в старину братыня. Старушка встала со скамейки, приняла белушку с с поклоном, обеими руками, но выпила не всю: важна была честь! Затем тщательно вытерла губы и снова запела:

И да не ком снегу бросило, да не искры рассыпались,
И да не искры рассыпались, да во весь высок терём,
И да во весь высок терём ко родимому батюшке,
И ко родимому батюшке, да ко мне молодёхоньке,
Да ко мне молодёхоньке, да во куть да во кутеньку.
Еще дружко-то княжая под окошком колотится,
Под окошком колотится, да в избу дружка просится,
И в избу дружка просится — я сама дружке откажу...
Я сама дружке откажу: дружка, прочь от терема!
Дружка, прочь от высока — не одна сижу в тереме,
И не одна сижу в тереме — со своими подружками...

Кроме теремов высоки-их и столбов белодубы-их были в песне и князья, и бóяры, и дивьёй монастырь со монашками, были и Дунай — быстра река и Великий Устюг, Осмоловский сельсовет и колхозное правленьице. Рассказывалось в последовательном порядке, как приезжают сваха, и дружка, и жених, и свекор-батюшка, и свекровь-матушка, как они входят на мост — в сени, затем ступают за порог в избу, садятся за стол, требуют к себе невесту и как невеста дары раздает и просит благословенья у отца с матерью, которое «из синя моря вынесет, из темна лесу выведет, и от ветру — застиньице, и от дождя — притульице, от людей — оборонушка». Ведется песня от лица невесты, умоляющей защитить ее от чуж-чуженина — жениха, от князьев и бóяров, ступивших в сени: «И подруби-ко ты, батюшко, да мосты калиновы, да переводы малиновы», либо от лица девушек, высмеивающих сваху: «У нас сваха-то княжая, она три года не пряла, она три года не ткала, все на дары надеялась», а еще высмеивающих скупого дружку: «Что у дружки

у нашего еще ноги лучинные, еще ноги лучинные да глаза заячиные...»

Наталья Семеновна увлеклась, распелась, а все нет-нет да пояснит что-нибудь: так мало, должно быть, верила она, что содержание старинного причета понятно всем нынешним, трясоголовым; нет-нет да и вставит какую-нибудь прозаическую фразу между строк. Кажется, свадьба эта воспринималась ею не всерьез, а лишь как игра, в которой ей, старой причи́тальнице и рассказчице, отведена главная роль.

— Это ничего, что про мона́стырь пою? — спрашивает она вдруг.— Нынче ведь нет монастырей-то.

Или вдруг:

— Может, надоело кому? Укоротить, поди, надо? Раньше ведь подолгу пели да ревели, а нынче, живо дело отвертят...

Спросит и, не дожидаясь ответа, продолжает петь. А однажды она приказала девушкам:

— Теперь переходите на другой голос, чтобы невесте еще тоскливее стало! — И сама изменила мотив.

Услышав эти слова, Галя, давно молчавшая в своем углу, заревела снова громко, надрывно, всерьез. Совсем свободно заплакалось ей, когда Наталья Семеновна помянула в песне родимого батюшку: Галя осиротела рано и поныне тоскует по своем отце-солдате.

V

Жених, сваха, тысяцкий, дружка и все гости со стороны жениха приехали за невестой на самосвале: другой свободной машины на льнозаводе не оказалось. В кузове самосвала толстым слоем лежало свалявшееся за сорок километров желтое сено.

Ничего похожего на серого волка!

Раньше забирали невесту и справляли свадьбу сначала в родном дому жениха, затем возвращались пировать к родителям невесты. От заведенного порядка пришлось отступить и сделать все наоборот: отпировать у невесты и лишь после этого везти ее «на чужую сторону». Такая перемена диктовалась отсутствием транспорта и слишком большими перегонами взад-вперед.

Как приложение к даровому самосвалу пировать к невесте прибыли несколько конторских работников с льнозавода во главе с директором. Эти гости считались почетными.

Перед въездом в деревню гостей встретила бревенча-

тая баррикада — ее соорудили местные молодые ребята. По обычаю, свадебный поезд следовало задерживать в пути и брать за невесту выкуп, а грузовик не тройка с колокольчиками, его живой людской цепочкой не остановишь.

Стоял большой мороз, не меньше тридцати градусов, и, конечно, парни работали и топтались на холоду не из-за корысти, не из-за бутылки водки. Для них свадьба была чем-то вроде самодеятельного спектакля. В огромной деревне Сушинове до сих пор нет ни электричества, ни радио, ни библиотеки, ни клуба. За два последних года сюда не заглянула ни одна кинопередвижка. А молодости праздники необходимы! Пожилые колхозники по вечерам дуются в карты, собираясь из года в год в избе Нестора Сергеевича, оплачивая этому добровольному мученику за помещение, за грязь, за керосин с копа. А куда деться молодым? К тому же почти все они обременены семилетним и восьмилетним образованием. Раньше девушки пряли лен, собирались на беседки к одной, к другой поочередно, туда же тянулись и парни. Теперь лен трестой сдают на завод. И вот каждая свадьба в деревне становится всеобщим праздником, всеобщей радостью. Не потому ли и сохраняются здесь почти в неприкосновенности все былые обычаи и обряды с волокнистыми песнями про князей и бояр?

Перекрытые полевые ворота зимой не объедешь и даже не обойдешь: снежные сугробы достигают здесь двухметровой глубины. Счастливые озорные парни торжествовали: гости, закоченев в самосвале, не торговались и долго расхваливать невесту не пришлось. А главное, было весело.

Весело стало и в избе невесты, как только ворвался туда дружка Григорий Кириллович. Бывалый человек, с неуемным озорным характером, прошедший во время войны многие страны Западной Европы как освободитель и победитель, он сохранил в памяти бесчисленное количество присловий и прибауток из старинного дружкиного багажа и не пренебрегал ими.

Сват да сватья,
Наехала сварьба,
Мне не вéритё —
Сами увíдитё! —

закричал он, стуча кнутовищем по крашеной лазоревой заборке, отделяющей горницу от кухни.

Невеста еще плакала, причитальница пела, девушки подпевали, как умели, но всем было уже не до того и невесте не до слез. Гриша завладел общим вниманием, властно подчинил все звуки своему немного охрипшему на морозе голосу.

Ворвался на кухню жених. Он оказался и впрямь несообразно высоким и худосочным. Вспомнились слова Марии Герасимовны: «Какие нынче женихи пошли, в армии побывал — и ладно. Ничего парень! Брови белые!..» Звали его Петром Петровичем.

Чтобы довезти жениха до невесты живым, не заморозить, ему разрешено было по дороге пить со всеми наравне, и Петр Петрович ввалился на кухню пьяным и гордым собою не в меру.

Галя сразу притихла, начала поспешно вытирать слезы. Стало понятно, почему она так долго отказывалась выполнять старые обычаи на своей вечерине.

— Я тебе что сказал? — с ходу властно заорал Петр Петрович.— Я тебе сказал не реветь! А ты что? Что, я тебя спрашиваю?

— О, господи! — ужаснулась испуганная Наталья Семеновна.— Еще не мужик, а уж форс задает. Что потом-то будет?

— Что ты, Натаха, неладно-то говоришь? — с упреком кинулась на нее Мария Герасимовна.— Что он такое сделал? — И начала уговаривать, успокаивать своего будущего зятька: — Петя, Петенька! Ничего, Петенька! Ну, поревела маленько, так ведь ничего это, Петенька! Так заведено, Петенька!

А невеста от страха вдруг заревела пуще прежнего. Ее прикрыли собою девушки.

— Кому венчаться, а мне разоряться,— продолжал балагурить Гриша.— Сколько с меня, девки?

У каждого дружки своя манера балагурить. Кроме расхожего, известного повсюду набора острот и поговорок, у него должны быть и свои шутки-прибаутки. Чувство юмора и находчивость для него обязательны. Это уже область творчества. Не всякого приглашают в дружки.

Григорий Кириллович сначала кинул в сарафанные подолы девушек несколько горстей конфет, а затем стал с силой забрасывать их серебряными монетами. Делал он это с ожесточением — не то от злости, не то от великой щедрости. Деньги покатились по полу, под стол, под скамейки. Зазвенели окна, лопнуло стекло у иконы, ка-

залось, вот-вот разлетится вдребезги и ламповое стекло; кто-то завизжал от страха, Наталья Семеновна прикрыла фартуком лицо.

Но все монеты оказались устаревшими, дореформенными. Смех и грех! Собственно, греха не было, был только смех и новый повод для взаимных острот и насмешек.

Девушки все же настояли на своем: жениху и дружке пришлось дать приличный выкуп за невесту вином и настоящими деньгами.

После этого к Гале была допущена сваха. Пожилая женщина проделала истово и торжественно все, что полагается согласно старым обрядам. Она помогла невесте одеться тепло, по-зимнему, как бы в дальнюю дорогу, хотя уже все знали, что сегодня никакой дороги не будет, и так, в зимнем пальто, вывела ее из кухни, маленькую, толстенькую, и посадила за стол в красный угол рядом с женихом, который так же был одет по-зимнему, в чем приехал. Под сиденье жениху и невесте постелили кошули — полушубки, поддетые материей, чтобы молодые возвышались, «как на троне». Невесте под сиденье положили кошулю потолще. Долговязый жених, взгромоздившись на трон, едва не достал головой до потолка.

Начался пир, по кругу пошла белушка, родственники первыми поздравляли молодых, кричали им «горько», требовали «посластить». Молодым разрешалось пить только из одного стакана — за этим следили строго, чтобы жених не переложил еще больше. Как видно, слабость эта за ним водилась.

Начали собираться гости и со стороны невесты. Каждого входящего встречали еще у порога стаканом пива либо белушкой.

Понесли «сладкие пироги».

Сладкие пироги на северных сельских свадьбах и других праздничных пирах обязательны. Традиция эта давняя, может, многовековая.

Сладкий пирог — белый, сдобный, круглый, величиной с решето, а то и больше. Сверху на нем всякие завитушки, плетеные узоры из теста и разноцветные монпансье («лампасея») да еще изюм. Нынешние свадебные пироги из-за отсутствия в районе изюма и ландрина украшены были бледными конфетами-подушечками с повидловой начинкой.

Вот когда я пожалел, что не вспомнил в Москве об этих сладких пирогах. Каких бы разноцветных атласных

и прочих подушечек мог набрать я в гастрономическом магазине «Ударник»! Леденцы там по своему разнообразию и многоцветности не уступают коктебельским камушкам. Все это дешевое богатство я мог привезти с собой, и оно успело бы попасть на свадебные столы.

Вспоминаю свое детство: после праздников мы, малые ребятишки, допускались к сладким пирогам и с вожделением выковыривали «глазки» — ландринки, запеченные в тесто.

Сладкие пироги на Севере — такое же народное творчество, как резные наличники на окнах, петухи и коньки на крышах, фигурные расписные прясницы и кустарные ткацкие станы, как колокольчики «дар Валдая» под дугой и бубенчики (воркунцы, ширкунцы) на ошейниках у лошадей.

Каждая семья, приглашенная в гости, на свадьбу, идет со своим сладким пирогом. Большачиха, она же стряпуха, несет пирог в широкой круглой лубяной «хлебнице» либо на «веке» — крышке от хлебницы, и прикрыт пирог красной вырывной салфеткой с кисточками. Кроме этого главного гостинца в корзине или в хлебнице могут быть и простые белые пироги, колобаны.

— Горько! — все чаще раздается то в одном углу избы, то в другом, и жених с невестой встают и троекратно неумело целуются. Петр Петрович при этом сгибается, а Галя плотно сжимает губы и от смущения закрывает глаза.

— Горько! — требовательно кричат снова.

Счастливая Галя отпивает несколько глотков из общего стакана и передает остаток пива жениху. Тот, не разгибаясь, опрокидывает стакан в рот и шутит:

— Если бы знал, не женился бы, даже выпить как следует не дают.

Сваха с тревогой посматривает на него, что он такое еще сделает и не наговорил бы чего-нибудь лишнего.

— Горько!

Любой пир — прежде всего люди. Человеческие характеры легко и свободно раскрываются на пиру. На всяком сельском празднике обязательно пляшут и плачут, спорят и вздорят, смеются и дерутся; одни молчат, другие кричат; молодицы поют, вдовы слезы льют.

Среди мужчин на пиру очень скоро объявляются типично русские правдоискатели, ратующие за справедли-

вость, за счастье для всех. Достается от них и немцам, и американцам, и туркам, но больше всего, пожалуй, достается самим себе, своим соотечественникам. Таким людям не до веселья, не до песен, не до плясок. Они обличают, разоблачают, требуют возмездия, протестуют и все время спрашивают: что делать? как быть? кто виноват? и знают ли о наших бедах наши *главные?* видят ли они *все*? В этой неуемности проявляются, должно быть, черты национального характера. Но не дай бог попасться на целый вечер в руки такому самосожженцу: ни пира, ни мира не будет, ничего не увидишь, ничего не услышишь.

Объявляются также и заурядные хвастуны — люди самодовольные, недалекие, кичащиеся своим служебным положением, своим заработком, даже неправедным, нечистым; хвастающие своим домом, домашней утварью, домашним скотом и, наконец, женой и тещей.

В древних русских былинах говорится о том, как добрые молодцы садятся за стол и — «один хвастает родным батюшкой, другой хвастает родной матушкой, умный хвастает золотой казной, глупый хвастает молодой женой». Современные хвастуны скромнее. Весь первый вечер ходил от стола к столу пожилой колхозник и, не переставая сам удивляться и радоваться, хвалился своими пластмассовыми недавно вставленными зубами. Почокается со всеми, выпьет стакан пива, вынет челюсть, всем покажет ее и опять вставит.

— А теперь смотрите, как я жевать буду. Кости грызть могу — чудо! В нашем районе сделали!

Редко, но встречаются хвастуны и незаурядные, необыкновенные. Слушать таких — одно удовольствие. Это счастливцы, жизнелюбцы и своего рода художники слова, своеобразные сельские лакировщики действительности.

Хвастаются, например, изобретательностью. В прошлом году, чтобы обеспечить кормом своих коров, колхозники ухитрились выкосить на озерах всю осоку уже после ледостава.

— Никогда бы раньше мужику до такого не додуматься, головы не те были. Ледок тоненький, похрустывает, а ты идешь с косой и в полную силушку поверх льда — вжик, вжик! Вот пишут: на заводах то, се, смекалка, а мы разве без смекалки живем?..

Другие вторят:

— До многого раньше умом не доходили. Вот, скажем,

коза. Раньше у нас считали козу поганой животиной, от молока ее с души воротило, хармовали. А коза чем хороша? Ей корму меньше надо. Дашь осинового листу либо коры сосновой — она и сыта. Афиши и газеты жрет — все ей на пользу. В деревнях теперь козы в ход пошли!

— У меня коза Манька восемь литров за сутки дает!

— Ну, знаешь!..

Хвастаются тем, что хлеб растет иной год даже на неудобренных и необработанных землях...

А многие просто сидят молча и пьют, ни о чем не думают, ни о чем не спрашивают — отдыхают. Конечно, кто-то и перепивается. На всякой пирушке хоть один да сваливается под стол либо начинает шуметь, требовать к себе особого внимания, задирается, скандалит.

На разных людей хмель действует по-разному: одним ударяет в голову, другим в ноги, третьим в руки. Одни становятся ласковыми, влюбчивыми, со всеми готовые перецеловаться, другие — злобными.

Слез и жалоб больше всего среди женщин. Неудачно вышедшие замуж плачут на любом пиру, и так всю жизнь. Старые матери плачут о потерянных детях, о непутевых дочерях, сходившихся с мужиками не по-людски, без закона и теперь мающихся из-за этой уступчивости; вдовы — об убитых на войне мужьях («даже похоронной не было!»).

А встречаются вдовы и довольные своей судьбой: озорные, разбитные, первые певицы и плясуньи. Замужем они были, как на каторге: ни одного доброго слова, только зуботычины да: «Пошла ты на три буквы»,— а сейчас освободились, расправились и в колхозе всем равны, и дома сами себе хозяйки, они и погулять и поозоровать не прочь.

Сразу напился и пошел кренделя вертеть дядя жениха. Он еще до женитьбы судился дважды за хулиганство. Жена его, Груня, бухгалтер на льнозаводе, настоящая великомученица: то возится с ним, как с малым ребенком, то прячется от него на кухне, на полатях, в сенях — все зависит от настроения загулявшего его величества («А тверезый-то он — человек как человек!»). В первый же вечер этого дядю родственники вынуждены были связать, а на другой вечер прибегли к более современному и гуманному средству: дали ему в стакане пива лошадиную дозу снотворного.

Груня нашла себе подругу по несчастью, и вот две женщины — у одной владыка спал, у другой, у Тони,— смазливенький, с лисьим тонким личиком, ненасытный женолюб, увивался около дородных вдовиц,— сидели две женщины на кухне, в уголке, целый вечер вдвоем и одна перед другой изливали свои души.

— Мой тоже побывал в милиции,— рассказывала Тоня.— Взяли с него подписку, что больше фулиганить не будет, он расписался — и все. Я говорю им: «Он же меня убить грозится, ребятишки ведь без матери останутся. Свою избу однажды поджигать стал». А они говорят: «Вот когда допустит чего-нибудь этакое, тогда мы и заберем его и приструним!»

— Твоего только в милицию возили, а мой уже в тюрьме сидел не раз,— завидовала подружке Груня.

— Думаешь, мой не сидел? — машет рукой Тоня.— Только я об этом не рассказываю. Сидел и принудиловку отбывал. Первый раз сидел, когда еще холостой был. Подрались, и он на пáру со своим отцом человека убил. Обоих по амнистии освободили. Другой раз, уже при мне, был десятником стройконторы, работал на ремонте дороги, сговорился с кем-то и украл камни: камни эти никто для дороги не собирал, никто в глаза их не видывал, а он выписал наряд на них, будто собраны, и деньги пропили. Дали ему за эти камни два года. Просидел только один год и два месяца. Вернулся, поставили его завхозом на льнозаводе, второй раз завхозом. Чего только не тащили тогда с завода, чтобы пропить! Водка все смывала с рук.

— Вот-вот, все водка,— вставляет свое слово Груня.— И мой такой же!

Тоня продолжает:

— Поехал мой в командировку, в Кáрныш, и там, опять с кем-то в сговоре, украл чужое сено: продали его в стогах, пропили. Дали принудиловки шесть месяцев. Работал пожарником, работал на пилораме — весь лес в его руках. Лес воровал. И все для водки, все для зеленого змия. Хоть бы домой нес, так уж ладно бы... А то приходит домой пьяный. «Клади, говорит, голову на плаху!» — «Не положу, говорю, ребятишек жалко, что с ними с тремя будешь делать?» — «Полезай, говорит, в петлю сама, чтобы на меня подозренья не было!» — «Не полезу»,— говорю. «Тогда лезь в подполье и не показывайся мне на глаза весь день».— «В подполье, говорю, полезу». Запрет он меня в подполье и держит там, сидит

надо мной. А ребятишки ревут, дрожат, боятся его. Надоест ему этот рев, он и откроет подполье: «Вылезай, говорит, утешай их, корми!» А сам опять уйдет к дружкам да к приятелям водку пить. Кабы не водка, может, мы и по-людски бы жили. Тверезый он у меня тоже ничего, обходительный: человек как человек. Шибко много водки стали пить после войны.

Груня слушала, сочувствовала, но казалось ей, что у Тони положение все-таки лучше, чем у нее.

— У тебя, может, хоть дерется не так грозно, все-таки ведь безрукий, ударить сильно, поди, не может... Мой-то — зверь настоящий, кулаки у него железные. Стукнет по столу, так от косточек ямочки на досках остаются.

— Ой, что ты! — обижается Тоня.— Безрукий, а хуже троерукого. Силищи у него, у окаянного, как у дракона. Если не помогут, все равно повешусь либо сам топором меня зарубит. Он ничего не боится. «Я, говорит, всю войну прошел!» Недавно у нас баба удавилась, тоже из-за мужика, из-за пьянства. И мне со своим не совладать, он и вправду всю войну прошел, руку свою отдал, все ходы и выходы знает. Что я для него?..

Сидят две свободные, раскрепощенные, чуть подвыпившие женщины на кухоньке, укрывшись от общего шума и песен, и разговаривают, и плачут, и тоже шумят иногда, и уж не поймешь: жалуются они на своих мужей друг другу или хвалятся ими — до того оба они сильные да бесстрашные.

Брат невесты, тоже маленького роста, Николай Иванович — помощник колхозного бригадира, человек небойкий, малозаметный, но безотказный, работяга, из тех работяг, на которых везде воду возят,— неторопливо ходил из кухни в горницу, из горницы в кухню то с белушкой, то с пивным стаканом, то с графинчиком и стограммовой стопкой, продирался за столы, за скамейки, появлялся у порога перед новыми гостями, не забывая ни молчаливых, ни спорящих. Он был, так сказать, главным подающим на пиру, что-то вроде тамады. Но тостов он не произносил, красноречием не отличался, только настойчиво предлагал каждому выпить — и все тут. Отбиться от его угощения было невозможно, он прилипал к человеку, изнурял его своим терпением, не отходил до тех пор, пока тот, в безнадежном отчаянье махнув рукой, не выпивал все, что бы ему ни предлагалось. Считается, что, если на свадьбе нет пьяных, счастья молодым не

будет, и Николай Иванович понимал всю глубину ответственности, возложенной на него.

Время от времени он тащил то одного, то другого дорогого гостенька на кухню, за печушку, к матери своей, и Мария Герасимовна угощала их чем-то из суденки, по секрету. Появился там и директор льнозавода.

— Откушай-ко! Горит! — шепнула ему Мария Герасимовна.

— Ну? Горит? — обрадовался директор.— Тогда давай, за дальнейший рост!

— Кушай на здоровье!

Выпил директор секретную стопку, повеселел, подобрел к Марии Герасимовне и поговорил с ней.

— Дочка у тебя хорошая — Галя, все планы выполняет и перевыполняет. Сейчас и на сына посмотрел: тоже хороший мужик. Лишнего не болтает, ходит, угощает всех. Все люди у нас хорошие! У тебя двое?

— Двое осталось, девять было. Все умирали до году,— пожалобилась Мария Герасимовна.

— Отчего такое, жилось худо?

— Да нельзя сказать, что худо жилось. Только работала, себя не жалела. Ни одного ребенка до дому не донесла, то на поле родишь, то на пожне, а бывало, что и на дорогу вываливались.

— И оба у тебя мелкие ростом, и Галя, и сын этот, Николай. Отчего такое?

— Поди, оттого и мелкие,— не обидевшись, ответила Мария Герасимовна,— что ни себя, ни их не жалела. Дом большой, скота было много, а мужик еще охотой занимался. Потом овдовела, муж-то на войне остался, смертью храбрых. Да меня еще в депутатки не по один год посылали, тоже угомону не было.

— Куда в депутатки?

— Да в этот — как его? — в сельсовет.

— Значит, ты и общественную нагрузку несла?

— Несла, как же. На все заседания таскали.

Директор удовлетворенно заключил:

— Оттого у тебя и дети в люди вышли. Николай-то бригадиром?

— Помощником. Не знает уж, как избавиться от этой бедолаги, затаскали совсем. Раз в члены вступил, так терпи.

Выбравшись из кухни, подобревший директор попал в руки правдоискателей.

Три невестиных братана — так зовут здесь двоюродных братьев — работают вместе на дальнем лесозаготовительном участке: один шофером, другой пильщиком-мотористом, третий заведует школьными производственными мастерскими и одновременно преподает физкультуру в восьмилетке. Три человека — три разных характера, а друг с другом не расстаются.

Шофер Василий Прокопьевич — бунтарь по натуре. Он забывает про еду и пиво, как только начинает рассказывать о непорядках в лесу, при этом лицо его бледнеет, глаза блестят и требуют ответа сразу на все вопросы, какие ставит перед ним жизнь. А ездит он широко и знает много.

Другой братан — Ленька, человек веселый до легкомыслия, знает печальных историй не меньше, но непреодолимая жизнерадостность не дает ему надолго впадать в тоску и негодовать из-за каких-то несуразностей жизни. Он любит пошутить, посмеяться и вовремя рассказанным анекдотом смягчает острые разговоры и тяжелое настроение Василия Прокопьевича. Может быть, в этом больше мудрости, чем легкомыслия?

Третий — преподаватель физкультуры — вторит то одному, то другому из братанов. Он легко воспринимает чужие настроения, легко поддается им и в спорах и разговорах может становиться на любую из сторон. Где перевес — там и Михаил Кузьмич. Разгорячится Василий Прокопьевич — горячится и он и еще больше добавляет огня в костер самосожженца; развеселит всех Ленька — и он расскажет подходящий к случаю анекдот.

Я узнал, что жена Михаила Кузьмича называет своего благоверного бескостной миногой. Ей больше нравится шофер Василий Прокопьевич.

Директор льнозавода сам подошел к братанам, сидящим за столом. Они смеялись.

— Ну что, воины, как живется?

— Живем помаленьку! — ответил Михаил Кузьмич.

— Помаленьку нельзя. Вы молодые, вам надо хорошо жить. Время у нас такое. А пьется как?

— Пьем по маленькой,— отрапортовал Ленька.

— Маленькую и я сейчас выпил — хорошо прошла. А смеетесь над чем?

— Над директорами.

— Что такое? — встревожился директор.

— Да вот понимаете,— Михаил Кузьмич повторил анекдот, только что рассказанный Ленькой: — Угробил

у нас один шофер новую машину и вместе с ней директора, стоит, в затылке чешет: «Ладно, говорит, директора дадут нового, а вот где я теперь запчасти достану?»

Рассказал и от удовольствия расхохотался снова. Засмеялся и Василий Прокопьевич. А Ленька, моторист, смотрит в глаза директору и ждет, как тот примет шутку. Но директор только нахмурился и задумался. Тогда Ленька рассказал еще один анекдот:

— Расхвастался иностранец своей чудо-техникой. «Смотрите, дескать, что у нас могут делать. Вот, скажем, курица.— Ленька развернул ладошку перед носом директора льнозавода и дунул на нее.— Фу — и вместо курицы яйцо. Фу — опять курица». Тогда наш инженер обиделся и сказал: «Подумаешь, чудо! У нас и не такое могут делать. Вот, скажем,— Ленька опять развернул ладошку,— директор!.. Фу — дерьмо. Фу — опять директор».

Братаны все трое дружно расхохотались, а подвыпивший директор льнозавода нахмурился и задумался еще больше и наконец сурово спросил:

— Вы где работаете?

Василий Прокопьевич сразу посерьезнел и пошел в атаку:

— А вам, собственно, для чего нужны наши сведения? Анкетку хотите заполнить?

По недоразумению или по злобе многие считают всех шоферов без исключения «леваками» и «калымщиками», бесстыже подрабатывающими на случайных пассажирах, и «малопьющими» в том смысле, что, сколько ни пьют, им все мало. Василия Прокопьевича ни в каком левачестве не заподозришь: не таков он человек, не тем живет, не о длинных рублях думает. К тому же и возит он не людей, а лес, ему не с кого собирать подорожные.

— Мы работаем в лесу, у нас свои порядки, и мы про них знаем,— запальчиво продолжал он.— А вот вы — директор. Знаете ли вы, что у вас на льнозаводе делается? Знаете? Ваши приемщики колхозы грабят, номера тресты занижают. Вы калымщик, вот вы кто! А ведь в партии, наверно, состоите?

Директор поначалу опешил, но, услышав слова о партии, воспрянул духом:

— Ты вот что, парень, меня критикуй, а партию не трожь!

— Партию я не трожу! — сказал Василий Прокопьевич.— А вы зачем колхозы обсчитываете? Партия с вас все равно спросит. Не прикроетесь!

Весельчак Ленька и Михаил Кузьмич дружно поддержали своего братана.

В разговор о льнотресте немедленно включились соседи по столу, и давний конфликт вышел наружу. Суть его в следующем.

На заводе старое, почти допотопное оборудование, изза чего при первичной обработке льна получается очень большой, недопустимый по нормам процент отходов. Чтобы не прогореть даже при этом древнем оборудовании и выполнить и перевыполнить производственный план (обязательно перевыполнить — для отчетности, для премиальных!), работники льнозавода приноровились умышленно занижать сортность поступающей тресты. А лен — основной источник колхозных доходов. Треста оплачивается государством щедро, и разница в цене за лучший номер, даже за половину номера очень велика. Райком партии установил свой контроль за приемкой льнотресты, первый секретарь сам досконально изучил правила определения сортности льна, но этого контроля оказалось недостаточно. Колхозы и колхозники продолжают терпеть убытки и очень обижаются.

Пиво развязало языки, гости наговорили служащим льнозавода немало резкостей.

— Критиканы вы все, вот что, очернители! — огрызался директор.

А с кухни снова зазвенел высокий нестарушечий голос Натальи Семеновны — и полилась песня про князьев да бояров.

— Ладно, треста трестой, а вы скажите, долго ли у нас в лесу щепки будут лететь? — переключился на новые разоблачения Василий Прокопьевич. Он кричал, чтобы заглушить песню: — Почему везде человек человеку друг, а у нас в делянке один закон: совесть на совесть, кто кого обставит да обсчитает?

В наступление были пущены смазочные масла и горючее, нормы выработки в кубометрах, и километраж, и запчасти, запчасти для машин и трелевочных тракторов — главное, запчасти.

— Почему для одних шоферов запчасти есть, а для других нет? И почему все надо доставать, а не получать, не покупать?

Василию Прокопьевичу подают белушку пива, он

принимает ее не глядя, обеими руками, выпивает всю, до дна, не заметив даже, что́ пьет и сколько пьет, и вытирая губы рукавом, продолжает говорить, говорить и спрашивать. В душе его горит страстный огонь правдолюбца, он в запале и уже не видит и не воспринимает ничего, что не касается прямо и непосредственно его производственных бед и обид...

Михаил Кузьмич, заведующий школьными мастерскими, впадая в тот же тон, рассказывает, в свою очередь, что ребят приходится знакомить не с современной техникой, не с трактором, не с бензопилой «Дружба», потому что их в школе нет, а с утилем, собранным на кладбищах машин, а то и просто использовать школьников как чернорабочих, только бы заполнить часы, отведенные для производственного обучения; что зарплата для учителей все еще не упорядочена и многие уходят на лесозаготовки, становятся механиками, шоферами.

Наступило время для Леньки. Чтобы разрядить атмосферу, он вдруг начинает неистово кричать:

— Горько! Горько!

Его крик подхватывают гости из-за других столов:

— Горько!

Молодые послушно встают и чинно-благородно целуются.

— Ну как теперь? — спрашивает Петр Петрович.

— Горько,— не уступает Ленька.

Молодые целуются снова и уже не садятся.

— Теперь сладко? — спрашивает жених.

— Теперь ничего, жить можно!

Все пьют. Петр Петрович тоже поднимает стакан, но бдительная сваха останавливает его, и жених в который уже раз шутит:

— Даже выпить не дают как следует. Если б знал, не женился бы.

Гости с готовностью смеются. Смеется и счастливая невеста. Но разошедшийся Василий Прокопьевич все еще не смеется. Он услышал вдруг сладкоголосую Наталью Семеновну и обрушил на нее остатки своего гражданского гнева:

— Бо́яры-бо́яры, а сама тянет из колхоза все, что плохо лежит,— то лен, то сено охапками, то ржаные снопы. Прижмут ее — она в слезы: плакальщица ведь, артистка! А когда муж стоял в председателях, от нее никому житья не было. Однажды Ванька Вихтерков подкараулил ее в поле да забрался под суслон, будто от

дождя, ждет что будет. Причитальница добралась и до этого суслона, снимает хлобук, а он ей: «Хлобук-то оставь, Натаха, а то меня дождь смочит!»

— Брось обижать старуху! — вступился за Наталью Семеновну Ленька.— Наговоры одни, да еще заглазно.

— Я и при ней скажу.

— Чего скажешь, коли сам не видел.

— Я не видел, другие видели.

— Никто ничего не видал.

— Конечно, одни наговоры,— поддержали Леньку сидевшие рядом женщины.— Худославие одно. Ее, Наталью, тоже понять надо.

— Ладно! — начал сдаваться Василий Прокопьевич.— Только ведь сожгла же она недавно соседский стожок на лесной дербе. Все об этом знают...

— Опять все!

— А вы дайте ему договорить! — вмешался в спор Михаил Кузьмич.

И Василий Прокопьевич договорил:

— Деребку эту она скашивала сама не по один год, а тут приходит — сено сметано. Подумала, что это колхоз выкосил и сгреб, ну и подожгла. Срамили ее!.. Вот тебе и бояры, и монастыри с монашками!

Молчун Николай Иванович, главный подающий, слушал, слушал эти слишком серьезные для него разговоры да как грохнет пустым стаканом об пол. Гости от неожиданности вздрогнули: что это с ним, с тихоней? А с ним ничего! Он просто хочет, чтобы молодые жили счастливо. Добиться же этого нетрудно, надо бить стеклянную посуду.

И еще: Николаю Ивановичу тоже поговорить захотелось.

— Вон какую свадьбу отгрохали! — хвастливо показывает он на столы.

А на столах полно сладких пирогов, которых никто не решается трогать, они лежат для украшения. Едят мясо, жареную треску, яичницу на широких сковородках, называемую селянкой, рассыпчатую кашу из овсяной крупы — заспы, все соленое-пересоленое.

— Пей горько да ешь солоно,— никогда не закиснешь! — сказал дружка Григорий Кириллович.

— Горько!

— Сколько у вас присчиталось в этом году? — спрашивают Николая Ивановича. Вероятно, кто-то почувство-

вал его неутоленное желание вступить в общий разговор.

— На трудодень-то?

— Да.

— А ничего не присчиталось. Только добавочные платим.

— Совсем на трудодни не выдавали?

— Нет, выдавали, как же.

— Сколько выдали?

— Да ничего не выдали.

— И ты ничего не получил?

— Получил, как же. Не я один.

— Сколько же ты получил?

— Один раз пять рублей под расписку, а другой раз — так.

— А так — это сколько?

— Да рублей двадцать, не больше.

Все идет «как следно быть, все по-хорошему», как и хотелось Марии Герасимовне. Ей самой ни поесть, ни выпить некогда.

Женщины усадили гармониста на высокую лежанку и плясали до упаду, то и дело обтирая потные лица платками и фартуками. Гармонисту обтирать свое лицо было некогда, и за него это делала какая-то услужливая молодая девушка — дроля, наверно.

Дробили с припевками, с выкриками. Особенно отличался кокетливый, не по-деревенски смазливый паренек — почтальон из сельсовета, до того смазливый, что казался подкрашенным, напомаженным. Он знал много современных частушек, которые называл частухами.

Сидит милка на скамейке,
Не достанет до земли.
В кассу я отнес копейки,
Через год возьму рубли.

Наверно, он сам сочиняет эти частухи.

Плясали, пока у гармониста не вывалилась гармонь из рук.

Седой бородатый мужик продолжал хвастать своей пластмассовой челюстью, вынимал ее, нечистую, розоватую, с белым рядом зубов, протягивал через стол, но чужую челюсть никто в руки брать не хотел, и он, широко раскрыв рот, водворял ее на место.

Нашлись хвастуны и похлеще.

— В этом году наш колхозный план все-таки утвердили. Пять раз пересматривали в райисполкоме, заставляли переделывать, а на шестой раз утвердили. Правда, от наших первых наметок ничего не осталось. Так ведь что поделаешь: у нас свои расчеты, у них свои — им цифры сверху спущены.

— Мы тоже своего добились — закрыли птицеферму. По пятку яиц в год на несушку выходило. Золотые яички, одно разорение! Разрешили прикрыть.

— Как же план по яйцу?

— Выполним! Пашем на колхозных лошадях приусадебные участки: тридцать яиц с участка подай — и никаких хлопот!

Не обошлось и без охотничьих бухтин.

— Иду это я раз вдоль осёков, гляжу — что-то шевеличча. Вдруг, думаю, заяч? Дай, думаю, стрелю! Стрелил, прихожу — и, верно, заяч.

Добычливого охотника тут же поднимают на смех:

— Бежала овча мимо нашего крыльча да как стукнечча да перевернечча. «Овча, овча, возьми сенча!» А овча не шевеличча. С той поры овча и не ягнечча.

— Самая доходная охота, ребята, все-таки на медведéй. Ежели год выпадет ягодной, то и в лесах на каждом горелом месте от малинников проходу нет. Кукуруза, и только! И набирается в эти малинники медведей видимо-невидимо: сладкое любят. Нажрутся они малины и дрыхнут вповалку. А спящих медведей, ребята, можно голыми руками брать. Иду это я раз по малиннику с топором: одному медведю напрочь голову отрубаю, другого глушу обухом по лбу. А ежели какой проспется, так все равно от медвежьей болезни сразу силы теряет, с таким тоже долго чикаться нечего. Прямо на тракторе вывози — столько их вокруг меня положено было.

В минуту, когда разговор шел еще о птицеферме, дружка Григорий Кириллович, вдруг словно бы спохватившись, вышел из избы. Сейчас он вернулся с живой курицей в руках. Соблюдая какой-то древний языческий обряд, он остановился посреди избы, взял курицу за голову, с силой встряхнул ее — и обезглавленная тушка запрыгала по полу, брызгая кровью, теряя перья.

Курицу зажарили и со свежей курятиной и пивом обходили гостей.

В деревне Сушинове этот обряд до сих пор никому не был известен, и в чем его смысл — никто растолковать не смог, но свежая курятинка всем понравилась.

Вездесущий дружка балагурил и колобродил в течение всего вечера, и пил он не меньше других. Дружке все позволено, все прощается. Совершенно по-другому — строго, сдержанно, с достоинством — ведут себя сваха и тысяцкий. Особенно тысяцкий, дядя жениха — здоровенный, высоченный, он словно бы стесняется своего роста и своей могутности. Но дело, оказывается, не в этом. Несколько лет тому назад тысяцкий был в Сушинове председателем колхоза, а такое не забывается. Каждое его слово здесь и поныне должно быть, конечно, дороже золота.

Но ни сваха, ни тысяцкий не уследили за своими подопечными. Под конец напился-таки Петр Петрович. Вероятнее всего, затащил его Николай Иванович по секрету в куть, к матери своей, и та не пожалела самодельного зелья дорогому зятьку.

Напился молодой князь и начал куражиться. Нашел где-то каракулевую шапку, нацепил ее на ухо и кричит:

— Я Чапай! Кто на моем пути? Всем приказываю: долой!

Испуганно заметались по избе женщины, будто овцы в хлеву, мужики смотрят на нового своего родственника с недоумением, думают: не связать ли и этого, а Мария Герасимовна так и стелется перед ним, заласкивает, улещивает.

— Петенька, Петенька, Петенька!

Расстилает перед ним ковры и молодая княгиня Галя, хватает его за длинные, непроизвольно болтающиеся руки, поддерживает его, чтобы ходули не подогнулись. А князь чванится, хорохорится, рубаху на себе рвет, ваньку валяет.

— Ты кто? — спрашивает он Галю, подбираясь худосочным кулачишком к ее заплаканному, розовощекому лицу.— Жена ты мне или нет? Я Чапай! Понимаешь ты это: я — Чапай!

— Ты, Галька, уйди с глаз, не мельтеши, не дразни его! — шепчет дочери Мария Герасимовна и вытирает Петру Петровичу рот.

— Э, куда я теперь уйду? — вскидывает Галя голову и вдруг ожесточается. В первый раз.— Ну, ладно, ты Чапай,— говорит она мужу.— А только я больше тебя зарабатываю. Понял? Чего ломаешься-то? — И, резко повернувшись, скрывается с глаз.

«Что ж, для начала, пожалуй, неплохо!» — подумал я.

Совет да любовь вам, дорогие мои земляки!

Тысяцкий выкручивает руки молодому князю, своему племяннику, и уводит его куда-то спать.

Под гармошку девушки прокричали несколько частушек-коротышек, возвещающих о том, что время уже позднее:

Пойдемте, девочки, домой,
Будет, насиделися:
Моего милого нет,
На ваших нагляделися!

И на этом первый день свадьбы закончился.

Правда, по деревне под ясным звездным небом долго еще ходили молодые мужики и ребята, но мороз стоял градусов за тридцать, и гармонь, вынесенная из жаркой избы, не пела. Гармонист разводит ее «от плеча и до плеча», парни со страшной силой изрыгают частушки, а гармонь не издает ни звука, даже не хрипит.

Вспомнилось: как-то в Москве, на перекрестке у Ленинской библиотеки, вот на таком же морозе милиционер приложил свисток к губам, а он не засвистел — застыл, должно быть. Дует в него регулировщик и сам смеется. Тем дело и кончилось, повезло шоферу-нарушителю.

●

Ночевали гости в разных избах, в одной места для всех не хватило бы. Я провел ночь у соседки Дуни, вдовы, два сына которой находились в армии. Одна в своей избе она никогда не ночует, боится нечистой силы, ей «блазнит».

Не могу сказать наверное, чтобы я эту ночь спал спокойно, хотя с нечистой силой дела иметь не пришлось. Но с вечера в избе беспрерывно визжал месячный поросенок — в хлеву Дуня его не держит, опасаясь, как бы не замерз. А в полночь неожиданно у самого изголовья дико заорал петух — оказалось, что в заднем углу избы под лавкой-скамейкой сосредоточилась вся личная птицеферма Дуни, за всю ночь ни одна курица не подала голоса, петух же принимался кричать неоднократно и с каждым разом, как мне казалось, пел все громче, все высокомерней. За один прием он кричал свое «ку-ку-ре-ку» раз пятнадцать, если не больше.

Принято считать, что песня петуха музыкальна. Я то-

же так считал и даже стихи об этом сочинял не единожды. Теперь же мне его песня музыкальной не показалась, да и песней я ее не назвал бы. Поневоле думалось только о нечистой силе.

Когда все пиво в доме невесты было выпито, шофер при помощи паяльной лампы завел самосвал — и свадьба отправилась за сорок километров, на родину жениха, в деревню Грибаево. Из невестиной родни в самосвал уселся брат Николай Иванович и еще кто-то. Братаны не поехали.

Товарищи из райкома партии сделали мне одолжение, послали легковушку, и мы с Виктором Семеновичем Сладковым, водителем вездепроходящего «газика», решили посадить к себе молодых. Молодые сели в машину, а сваха с иконой в руках недоуменно топталась у дверцы: ей не положено оставлять жениха с невестой ни на минуту, пока не доставит их в дом к родителям.

— Ну, садись, сваха, ничего не поделаешь! — с некоторой растерянностью согласился водитель.— Кого только я не возил на своем веку, чего только не возил, но икону на райкомовской машине возить не приходилось.

Получился настоящий свадебный поезд. Жалко только, снег не шел: когда свадьба выезжает в снег или в дождь — к счастью.

И никаких черепков девушки вслед не бросали. А раньше полагалось. Перед выездом невеста умывалась, девушки разбивали глиняный рукомойник и этими черепками забрасывали отъезжающих, чтобы невеста не вернулась домой, чтобы жилось ей счастливо и в новой семье.

На улице на морозе долго фотографировались. Увидев в моих руках фотоаппарат, женщины поснимали с себя полушубки и ватники, они хотели «сняться на карточку» обязательно в праздничных сарафанах. В деревнях очень любят фотографироваться. Но сделать живой снимок трудно: все лица перед объективом мгновенно напрягаются, деревенеют.

Мария Герасимовна с нами не поехала. Со слезами на глазах она наказывала дочери:

— Не забывай, бегай в гости почаще, ничего, что далеко — ноги молодые. И не приходи без гостинца: без гостинца придешь —уревусь, подумаю, что от мужика сбежала.

Самосвал облепили мальчишки, чтобы прокатиться до конца деревни.

Все-таки раньше мальчишкам жилось, наверно, легче и, пожалуй, веселей, когда свадьбы справлялись не на грузовиках, а на тройках. В свое время я пронесся на задке свадебной кошевки целых двадцать километров — от районного городка, где учился в четвертом или в пятом классе, до своей деревни. Мой дядя, только что вернувшийся из Красной Армии и еще не расставшийся со своей остроконечной буденовкой, вез невесту из далекого Шалашнева мимо нашей школы. Мне с утра не сиделось за партой, ждал свадьбу и, когда завидел ее, опрометью вырвался из класса, успел на ходу схватить полушубок и вскочил на концы полозьев последней раскрашенной кошевки. Пели колокольцы, развевались цветные ленты, вплетенные в гривы и хвосты лошадей, сердце замирало от восторга и страха.

Из-за того, что у дяди на голове была прославленная буденовка, свадьба представлялась мне каким-то военным походом. Конечно, я обмерз, но вспоминаю об этом своем путешествии, как о самой лучшей из бабушкиных сказок.

Дядя погиб в прошедшую войну. Анна Григорьевна, бывшая тогда невестой, живет теперь на Бобровской запани под Архангельском в окружении сыновей и внуков. Недавно она сказала мне:

— Верно, какой-то парнишка висел тогда на запятках. Если бы знатьё, я бы тебя с собой рядом в кошевку посадила.

На машинах мы ехали ночью — полями, перелесками. Дорога оказалась расчищенной от снега, приглаженной: на днях из города в колхоз прошли шесть гусеничных тракторов с волокушами для вывозки торфа на поля. Волокушу — широченный громоздкий металлический лист — почему-то называют «пеной». Торф загружается на такую волокушу бульдозером, пёхом, и сгружается так же. Не потому ли «пена», что в поля на ней тянут больше снега, чем торфа?

Виктор Сладков не просто вел машину, а, как экскурсовод, показывал нам свои памятные места: здесь вот зайцы обычно дорогу перебегают; с тех высоких берез совсем недавно он снял из малокалиберки трех косачей; а на этой вот пашенке еще сегодня видел, как лисица мышковала.

Сладков — главный райкомовский водитель, и для всех шоферов района он царь и добрый бог. Это авторитет не только власти, но и опыта. Его машина больше

других носится по непроходимым районным дорогам. Многих своих коллег Сладков вытаскивал из канав, из грязи, многим молодым устранял в пути неполадки в моторе, а главное — он всем помогает доставать запчасти. Хорошо знают райкомовского шофера и пешеходы: если свободен, остановится, посадит — и все за спасибо, не то что некоторые. Справедливый человек!

Ехать ночью по зимней проселочной дороге то с дальним, то с ближним светом автомобильных прожекторов сказочно хорошо. Дорога извивается, и никогда не знаешь, что откроется за следующим поворотом. Из тьмы вылетают навстречу какие-то призраки: причудливые пестрые кусты, кривые деревья, пни под снежными шапками, будто отпрянувшие в сторону прохожие, огромные полузаметенные снегом выворотни с зияющими черными дырами, в каждой из которых чудится медвежья берлога. Перелесок и поле, лес и опять поле. Снег то синий, то рыжий, а все время ждешь, что за сплошным зеленым ельником и поле будет зеленое.

Сладков рассказывает о зайцах и лисицах, и я вижу их следы: в кустах они глубокие, четкие, резко оттененные светом фар, а на открытых местах выпуклые — ветер выдул сухой сыпучий снежок, уплотнения же остались и поднялись над белой равниной, как маленькие побеленные столбики на обочинах шоссе.

Через все поле прошла лисица, столбики ее следа протянулись цепочкой от леса до леса.

Взбугрившаяся лыжня напоминает узкоколейку.

В полях было по-ночному тихо, а когда наши машины врывались в лесную чащу, вся она начинала шуметь и гудеть, наполняясь свистом шин и завыванием моторов. Казалось, что звуки по стволам уходят в звездное небо.

А я ехал и твердил про себя пушкинские строки: «Колокольчик однозвучный утомительно гремит».

До чего же все-таки не хватает колокольчиков!

●

В доме жениха сваха и тысяцкий остановили молодых в темных сенях и ждали, пока вынесут лампу и выйдут навстречу им родители.

Жениху и невесте положили на головы по караваю ржаного хлеба, отец и мать благословили их, поцелова-

ли — опять в ход пошла икона. Петр Петрович очень стеснялся этого обряда, подшучивал, но обижать стариков не хотел, все сносил.

Отец ростом был еще выше сына и настолько здоровей, становитей, что длинноногий сухопарый жених при нем выглядел совершенным мальчишкой. Отца хотелось называть торжественно: родитель. Он, так же, как его брат, тысяцкий, был скуп на слова, держался с привычным достоинством. Может быть, и он в свое время служил где-нибудь председателем колхоза?

А мать крутилась, вертелась как юла, и звали ее Лия.

Деревня Грибаево уже была радиофицирована, в избе около божницы висела коробка громкоговорителя, и под потолком горело электричество. Во всем сказывалась близость промышленного объекта. Правда, чтобы свет воссиял с достаточной силой, потребовалось ввернуть лампочки в сто пятьдесят свечей и меньшего вольтажа.

И красочных плакатов, и лозунгов в избе было больше, чем у Марии Герасимовны. В том простенке, где у Марии Герасимовны громоздилось чудотворное произведение зоотехника «Иван-царевич на сером волке», здесь висел плакат «Всегда с партией!». Рядом — краснощекая колхозница среди корзин с фруктами и овощами держит в руках огромный, как джазовый барабан, капустный кочан, и — надпись:

За труд, мастера огородов, садов,
Теперь за вами слово.
Вдосталь дадим овощей и плодов,
Сочных, вкусных, дешевых!

Неужели такое сочиняют вологодские поэты, мои друзья?

И еще плакаты: «Разводите водоплавающую птицу! Это большой резерв увеличения производства питательного дешевого мяса!»

Язык-то какой!

Мы за мир, чтоб на планете
Были счастливы все дети!

И еще, и еще...

В деревне находится восьмилетняя школа, и среди гостей на свадьбе много учителей. Еще больше служащих и рабочих с льнозавода.

Снова жениха и невесту посадили за стол и опять в

верхней одежде; так они и сидели долго, пока от них пар не пошел.

Опять было пиво, тосты в одно слово: «Горько!», «Горько!» — и пляска. Опять картинно целовались молодые, но Петр Петрович пил уже из белушки — добился-таки своего! А невеста то и дело кланялась, как заведенная,— таков был наказ матери.

— Теперь сладко! Пейте! — шутил жених и опрокидывал очередную белушку.

Каждого нового гостя и здесь встречали у порога стаканом пива. Хозяйка Лия раздевала гостей сама и с таким радушием, что пуговицы летели на пол. В этом, конечно, сказывался неукротимый ее темперамент, но главное — так было принято, и это считалось высшим шиком гостеприимства.

Опять завязался спор и с еще большим ожесточением между работниками льнозавода и колхозниками относительно сортности сдаваемой льнотресты.

Все было как в доме невесты, все повторялось. Только Николай Иванович здесь никого не угощал, и ему совсем нечего было делать и не о чем говорить, он просто пил и молчал.

Бросилось в глаза кое-что новое.

Гостей поначалу угощали пивом — хлебным, густым, бархатистым, а как только они начинали веселеть, им в ту же посуду подливали жидкую мутную брагу. Брага тоже пьянит, но после нее дико болит голова, из-за чего и прозвали брагу «головоломкой». Зато обходится она гораздо дешевле пива. Пивом поят, брагой с ног сбивают.

Кто-то из родственников невесты захотел повторить понравившийся обряд со свежей курятиной. Хозяйка Лия пришла в неистовство:

— Совести у вас нет — живой курице голову отрывать!

Табакуры попросили спичек. Лия подала коробку и предупредила:

— Останется что — верните!

Сначала подумали: примета на счастье. Вроде битья стеклянной посуды. Нет, оказывается, дело вовсе не в приметах.

— Вы чего скупитесь, свадьба ведь! — сказали ей не без опасения обидеть.— Где пьют, там и льют, где едят, там и бьют.

Лия не обиделась:

— А вы сразу разорить нас хотите. И без того расходы велики.

— Какая же свадьба без расходов? Этак ваш сынок захочет жениться по другому разу. Разорить надо, чтобы он о разводе не помышлял.

— Ладно, пейте, коли подают!

Утром невеста в присутствии гостей подметала пол в избе, а ей то и дело бросали под ноги разный мусор: проверялось, умеет ли она хозяйствовать. Обряд этот продолжался долго и был, пожалуй, самым развеселым. Родственники и гости изощрялись, приносили в избу сенную труху, изношенные лапти-ошметки, с грохотом кидали в углы битые горшки, всевозможный хлам и лом. Один разыскал где-то остатки кавалерийского седла и бухнул их на середину пола. Невеста только радовалась: с мусором на пол кидали деньги, чаще медные монеты, иногда бумажки. Правда, в старом седле она ничего не нашла, хотя содрала с него всю кожу и войлок.

— Ищи, ищи! Плохо метешь, нечисто метешь! — кричали ей.

Галя старалась: у нее действительно все поглотила свадьба, все, что было ею заработано, скоплено за несколько лет. Но стоило ей зазеваться, как озорники хватали веник, и его приходилось выкупать.

Затем невеста — ее уже стали называть молодицей — обходила всех присутствующих с блюдом свежих блинов в масле. Гость выпивал почетный стакан, закусывал блином и выкладывал на блюдо свою мелочишку.

Еще позднее молодица в присутствии гостей раздавала подарки новой родне: свекру — голубую штапельную рубаху, свекрови — отрезы на сарафан и нижнее белье — подстав, свахе — ситец на кофту, золовке, сестре жениха, красивой статной девушке, недавно окончившей десятилетку и работающей в колхозе,— платье и алую ленту в косу, тысяцкому — отрез на рубаху, бабушке — головной платок, остальным — кому носовой платок, кому кисет для махорки. Все, что шилось и вышивалось в течение многих недель самою невестой и ее матерью и подругами, было роздано за несколько минут. Кажется, никто не обижался.

Я, приезжий человек, тоже не был обойден. В дни свадьбы наградили меня бесценными подарками дружка Григорий Кириллович и колхозный шофер Иван Иванович Поповский. Они облазили немало чердаков и поветей

и нашли для меня набор литых поддужных колокольчиков да воркуны-бубенцы на кожаном конском ошейнике.

Скоро таких не будет и на Севере: не на грузовики же, не на самосвалы же свадебные их навешивать!

Подарили мне также резную раскрашенную прясницу столетней, по крайней мере, давности. Такие тоже, наверно, скоро исчезнут с лица земли. А к пряснице — плетеную веретенницу с веретенами. Еще молотило березовое — цеп, валявшийся без надобности почти с начала коллективизации. Удалось мне также достать два заплечных пестеря из березового лыка.

С этими свадебными подарками я и вернулся в Москву. Один пестерь подарил Константину Георгиевичу Паустовскому к его семидесятилетию, другой — знакомому поэту в день его свадьбы и еще в придачу лапти собственного плетения.

Все раздарил. Себе оставил только берестяную солоницу, колокольцы да воркуны на кожаном ошейнике.

Сижу за столом, пишу да позваниваю иногда, слушаю: хорошо поют!

1962

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

Крупная немецкая часть, пытаясь вырваться из окружения, рывком продвинулась к западу километров на десять и в ее расположении оказались разрозненные группы советских солдат.

В сосновом грибном бору, где раньше добывали живицу и почти на каждом стволе сохранились надрезы, похожие на оперенные стрелы, собралось перед сумерками девять рядовых бойцов. Это были люди разных возрастов, не знакомые друг другу. Измученные и растерянные, не евшие целый день, а может, и больше. У одного был автомат, у семерых винтовки и по нескольку обойм патронов, девятый даже винтовки не имел, только кинжальный штык в чехле болтался на поясе; и ни у кого ни одной гранаты.

Стрельба вокруг еще не утихла, но была редкой, приглушенной расстояниями, и потому казалась незлобивой. Пушки совсем смолкли. Приближалась ночь.

Солдаты, сгрудившиеся под сосной, разговаривали шепотом, озираясь по сторонам, и первое время смотрели друг на друга вытаращенными глазами не то смущенно, не то недоверчиво.

— Что ж это, ребята?.. Выходит, что мы в окружении? По лесу я уже крутился — немцы везде,— сказал низкорослый солдат с рыжими редкими усиками, снял пилотку и пилоткой вытер пот с лица.

— Влипли!..— сказал другой, высокий здоровенный детина, у которого не было винтовки, и помянул бога.

— Бога ты оставь,— заметил рыжеусый.— Винтовку бросил?

— А ты что за указ? Доносить хочешь? Иди звони по телефону!

— Бросил винтовку? — повторил свой вопрос рыжеусый.

— Черт ее знает, где она!

— Теперь за черта принялся.

— И за тебя примусь, коли приставать начнешь.

Солдат без винтовки злился недолго, похоже было, что ему все смертельно надоело, и, махнув рукой, он произнес вдруг усталым, размягченным голосом:

— Страшно ведь было, ребята, когда один остался.

— Оно конечно, страшно,— согласился рыжеусый.— Возьми вон немецкую.— И указал в сторону ореховых кустов.

Здоровяк глянул на него сверху, передернул губами, словно хотел выругаться опять, но, встретившись с глазами других и не найдя в них ни сочувствия, ни поддержки, тоже снял с головы пилотку, и, почесав затылок, старательно протер ею лицо и шею.

— А немецкая действует? — спросил он.

— Я не проверял,— ответил рыжеусый.

Солдат без винтовки надел пилотку, при этом толстые губы его опять передернулись, и осторожно, на цыпочках, отчего стал еще выше ростом, двинулся в указанном направлении. Телосложение у него было завидное, могучее, особенно со спины, плечи широкие, прямые; грязная шинель, наверно, самого большого размера, облегала его в обтяжку.

— Не туда пошел, бери левее! — шепотом заорал рыжеусый.

Напористость этого маленького рыжего бойца покоряла, но не обижала.

Толстогубый послушно шагнул влево и наткнулся на немецкую винтовку, брошенную в кустах орешника. Вернувшись, он несколько раз, стараясь не щелкать, передерпул затвор и удовлетворенно прошептал:

— Исправна!

Товарищи заметили, что руки у высокого солдата дрожат, но кто мог упрекнуть его за это: руки дрожали у многих.

— А патроны есть? — спросил рыжеусый.

— Патроны?.. Ни одного.

— Может, не поискал? Бросают винтовку — бросают и патроны.

Здоровяк снова поднялся на цыпочки и вернулся к кустам. Густой нежно-зеленый мох мягко прогибался, пружинил под его ногами, словно солдат шел по трясине.

Принес он сумку от советского противогаза, набитую доверху патронами.

— Слава богу, нашел.

— Ну вот — то в бога, то слава богу,— упрекнул его рыжеусый.— Патроны-то немецкие?

— Немецкие.
— Наших нет?
— Нет, слава богу.
— Да ты что мелешь? Очумел?.. Как твоя фамилия? — В голосе маленького солдата с рыжими усиками появилась властность командира.— Как твоя фамилия?
— Божиков.
— У тебя это что, настоящая — Божиков — или, может, прозвище?
— Настоящая. У меня и отец Божиков.
— Вот что, Божиков. В другой такой раз не на цыпочках ходить надо, а пригибаться, да пониже. Понял?
Рыжеусый еле заметно улыбнулся, и, как бы в подражание ему, осторожно заулыбались другие бойцы. Наверно, это были первые солдатские улыбки в сосновом лесу за сегодняшний день.
Но в этот момент над их головами, как назло, качнулась сосновая ветка и цокнула белочка — цокнула резко, звонко, с вызовом.
Первым упал в мох Божиков, за ним плашмя грохнулся солдат с автоматом и еще три-четыре человека. Остальные вскинули винтовки. Рыжеусый от неожиданности, а скорее от того, что попадали другие, присел, но быстро овладел собою и скомандовал:
— Отставить!
Солдаты стали подниматься, неловко отряхиваясь и не глядя друг на друга.
— У, проклятая...— прошипел Божиков, подняв голову и пытаясь увидеть белку среди ветвей.— Пулю бы тебе...
— Отставить! — уже спокойно повторил рыжеусый.
Белочка цокнула еще раз и скрылась. Но от того, что она, махонькая, беззащитная, была рядом с ними, в этом таинственном лесу, и, видимо, несмотря ни на что, занималась своим обычным домашним делом, осиротевшим солдатам стало легче. Один из них в шапке-ушанке вместо пилотки даже присел на моховую кочку и устало вытянул ноги.
— Что это за стрелы на соснах, будто указатели какие? — спросил он, как бы про себя.
— Да, указатели... в землю указывают,— сказал другой.
— Видать, живицу наши гнали. Терпентиновый промысел был. Я сам раньше этим занимался,— разъяснил пожилой солдат, белобрысый, выбритый, но с такими

широкими и лохматыми, тоже белесыми, бровями, что казалось, будто у него есть и усы, и борода.

— Ну, что будем делать, ребята? — снова заговорил маленький рыжеусый: — Надо полагать, немцы кольцо прорвали.

Тогда в разговор постепенно начали вступать и другие бойцы.

— Немцы прорвали, а мы в кольце.

— В котле, еще скажешь! — с упреком, но без твердости в голосе промолвил юноша с потертым комсомольским значком на гимнастерке. Он единственный из девятерых не имел шинели и выглядел поэтому особенно молодым.

— Что делать? Ничего делать не надо, все будет как будет! — безнадежно сказал длинноносый в шапке-ушанке, устроившийся на моховой кочке.

— Как же они прорвали, когда мы вчера еще, по слухам, на сотню километров к Германии подались,— запротестовал пожилой солдат с большими бровями.

— Стало быть, вокруг нас двойное кольцо.

— Вот, братцы, мы и отвоевали! А ведь так все хорошо шло...

— Кому-то и в последние дни войны погибать приходится.

— Веселое дело!

Рыжеусый слушал, не вмешиваясь в разговор, лишь время от времени снимал пилотку и то вытирал ею лицо, то всматривался в глубокие складки материи, словно находил в них что-то необыкновенно интересное.

Александр Залесов — так звали рыжего маленького солдата — был ротным связистом и накануне неожиданного немецкого броска находился один вдали от своего подразделения, разыскивая повреждение полевого телефонного провода. Когда немцы открыли сильный артиллерийский огонь, он на всякий случай ускорил шаг, чтобы скорей обнаружить обрыв и восстановить линию, понимая, что чем сильнее огонь, тем нужнее связь. Спустившись в овраг, Залесов побежал под уклон бегом и еще быстрее уходил от своих.

Повреждение он нашел,— провод был перебит миной,— но когда соединил концы его и подключил аппарат, то услышал немецкую речь. Вот, значит, к чему привела артиллерийская стрельба. Пожалев, что не знает языка, Залесов снова разъединил линию, осмотрел свою

винтовку и бросился назад, но было уже поздно: по полю неслись немецкие грузовики с автоматчиками.

В овраге Залесов разыскал убежище, нечто похожее на медвежью берлогу между двух вывороченных с корневищами сосен, и отсиделся в нем, выжидая и раздумывая, что делать дальше.

С начала войны Залесову не раз доводилось испытывать превратности судьбы, и сейчас он не очень волновался: все-таки настоящий фронт был уже не здесь, а где-то далеко на западе. Но осторожность никогда не мешает, и, прежде чем принять какое-либо решение, он старался понять, что же произошло.

Заволновался он, только когда услышал совсем близко треск и шум шагов и сквозь корни увидел двух немцев, идущих по его следу вдоль телефонной линии. Залесов определил, что это связисты, как и он, и, значит, плохо дело, если уж враг берет его работу на себя.

«Стрелять или не стрелять? — стал гадать он, а сам все больше и больше выдвигал ствол винтовки навстречу немцам.— Кажется, других поблизости нет. Если стрелять, то бежать отсюда. Куда? — спрашивал он себя и отвечал: — За овраг, в сосновый бор, там, кажется, тихо, *они* чужого леса не любят».

Немцы подошли совсем близко — на тридцать шагов, на двадцать шагов,— и удержаться было уже невозможно.

Залесов выстрелил в упор, почти не целясь, в тот момент, когда немцы шли один другому в затылок.

Они не вскрикнули и не упали, а только остановились, словно от испуга, и ошеломленно смотрели не то вперед, не то себе под ноги.

«Неужели промазал?» — подумал Залесов и выстрелил вторично. Но и после второго выстрела немцы продолжали стоять.

Залесова охватил страх. Наконец задний немец толкнул переднего, солидного, лет сорока, похожего чем-то на бухгалтера, и оба они, захрипев, свалились в траву на дно оврага.

Залесов сразу же вымахнул из своей берлоги, как медведь после выстрела выскакивает из своей, и, цепляясь за корни и сучья, кинулся на противоположный склон оврага, к сосновому бору. Телефонную вертушку он оставил в корнях сосны.

В любой трущобе Залесов чувствовал себя свободно, как дома. До войны он жил в Вологодской области, вырос

в колхозе среди лесов, на малине и бруснике, потом работал на заводе «Северный коммунар» монтажником и отпуск каждое лето проводил с ружьишком в своем родном районе.

Сейчас, в бору, он забрался в орешник и отдохнул, прислушиваясь и прикидывая, в какую сторону идти, чтобы за ночь вернее выбраться к своим. Так как до вечера было еще далеко, он решил осмотреть лес сейчас же, и, тычась из конца в конец, набрел сначала на пятерых таких же бродяг, как он, потом к ним примкнуло еще двое, а в последнюю минуту сшибся с ними совершенно растерявшийся одинокий богатырь Божиков.

Планы и настроения Залесова изменились: с компанией было, конечно, и веселее и спокойнее. Но, присмотревшись к своим товарищам и послушав их разговоры, он понял, что полагаться можно пока только на себя.

На западной окраине бора обстановка оставалась неясной, и Залесов решил сходить туда, пока солдаты знакомятся друг с другом.

— Подождите меня здесь, ребята,— предложил он.— Справа должен быть населенный пункт, вон просвет. Может быть, там нет немцев, я взгляну — и обратно.

Никто не возразил.

— Может, кто пойдет со мной? — спросил он.

Юноша в гимнастерке, сдернув винтовку с плеча, шагнул к нему.

— Пойдешь? — спросил Залесов.

— Пойду.

Залесов уставился на его потертый комсомольский значок: «Ишь ты, не снял! — подумал он.— А может, забыл?»

— Правильно делаешь! Как звать?

— Пенкин Сергей.

Когда Залесов и Пенкин скрылись за стволами сосен, в густом подлеске, оставшиеся солдаты некоторое время молчали, прислушивались. В лесу темнело все больше и просвет в хвое обозначался отчетливее. В вершинах появился ветерок, сосны зашумели глухо, тоскливо. Далекие винтовочные выстрелы становились все реже.

Пожилой бровастый солдат уселся на пенек, и вокруг него устроились остальные, кто на корточках, кто на узловатых корнях, выпиравших из-под земли, некоторые легли в мох. Остался стоять Божиков.

— Вот так-то оно и бывает на войне,— вздохнул бровастый.— Мы наступаем, да нас же в окружение!

Давайте знакомиться, что ли, мужики. Меня зовут Семен, фамилия Пивоваров. Я из третьей роты.

— Так мы же рядом с тобой шли,— обрадовался боец с тонким, красивым, южного типа, но очень бледным лицом. Бледность его заметна была даже в сумерках, а черные живые глаза еще больше оттеняли ее.— Ты лебедевский?..

— Положим, Лебедев — это майор, а наш командир роты Боковня.

— Значит, ты наш, лебедевский? Пивоваров, значит? А я Борьян, из второй. Не слыхал?

— Не слыхал.

— Я бывал в вашей роте. Как же ты отбился от своих?

— Положим, я не отбился. Я был не один. Да вот, видишь как случается, один уцелел. Из могилы, почитай, вылез. А может, еще и не один... Ты-то как?..

— Так я же недавно из госпиталя, нога слабая. А бежать пришлось долго. Отстал и едва до лесу дополз. Дружка у меня убили...

— Да, соков еще не набрал,— пригляделся к нему Пивоваров.— Что ж, Борьян, будем бороться... Правильно я понимаю твою фамилию?

— Правильно.

— Дух поднимаешь, дядя? — насмешливо спросил Пивоварова толстогубый Божиков.

— Поднимаю. Ты свои штаны подними, а то опять весь дух растеряешь.

— Ладно, ладно, агитатор! Бороться можно, когда не один, а когда один — плохо, ребята! — Божиков оглянулся на товарищей, вздохнул: — Девять человек — тоже, конечно, не войско. Немцы сейчас сами окруженные, злые, в плен брать не будут.

— Это ты верно сказал, детинушка,— поддержал его Пивоваров.— На немцев надеяться не приходится. Положим, я в плен и не собираюсь: раньше охоты не имел, а теперь и подавно. А вы как, молодежь? — обратился он к сидящим вокруг него бойцам.

В стороне во мху лежал на животе, обхватив землю руками, большеголовый солдат Балюк, бывший колхозный конюх, от которого, казалось, еще и сейчас пахнет лошадиным потом. На вопрос Пивоварова он ответил:

— Нема молодежи, все в пекле побывали. А все-таки хреновое наше дело, кислое...

Тогда в первый раз подал голос солдат с автоматом. На лице у него были следы спекшейся крови, правая щека то и дело подергивалась; сгусток крови и грязи висел на брови над правым глазом, из-за чего солдат казался кривым.

Он последним пришел в себя, только что отмяк, опомнился от перенесенного страха, но, опомнившись, сразу заговорил привычным голосом взводного оратора:

— Я Замшанин, товарищи. Главное, товарищи, без паники. Паника нам не к лицу. О нас, товарищи, помнят, нас не оставят в беде...

В каждом армейском подразделении, да в любом гражданском коллективе, бывают такие свои заправские ораторы, которые нередко спасают положение на общих собраниях, на заседаниях, на митингах набором готовых фраз. Ставится какой-нибудь вопрос на обсуждение, а обсуждать-то, собственно, нечего, все ясно, читай резолюцию и голосуй, но сверху было предписано: «Обсудить!» — и председательствующий настойчиво допрашивает: «Кто хочет высказаться, товарищи? Кто берет первое слово?» Люди молчат, время идет,— вот тогда-то и поднимается Замшанин и все облегченно вздыхают. А ежели Замшанин сам не поднимается и председатель продолжает настаивать, то из зала начинают выкрикивать: «Давай Замшанина! Пусть Замшанин скажет!» — и Замшанин появляется на трибуне.

— Мы небольшой коллектив, товарищи,— привычно продолжал Замшанин, делая над собой усилие, чтобы не повысить голоса, но уже начиная размахивать руками,— мы маленький коллектив, товарищи, но мы не оторваны от родной земли. О нас помнят, нас разыскивают...

Семен Пивоваров посмотрел на его исцарапанное, перепачканное кровью лицо и спросил:

— Ты, парень, кажись, в голову ранен?

Настроение бойцов не поднялось, оратор не успел закончить своего выступления — вернулись Залесов и Пенкин. На поясе у обоих висело по гранате.

— В поселке, ребята, немцы,— сказал Залесов.

У Замшанина затрепетали обе щеки.

Солдаты встали, начали нервно одергивать шинели, потуже затягивать ремни.

— Рядом с нашим леском скотный двор,— продолжал Залесов,— мы оттуда смотрели. Пенкин вот нашел две гранаты... Ну, что будем делать, ребята?

Все молчали.

Тогда опять заговорил Замшанин. Говорить ему было трудно, он начал заикаться.

— Главное, т-товарищи, надо выждать, п-переждать без паники. Немцы о-окружены, боевой дух у них по-по-подорван, моральный уровень на па-нашей стороне...

— Подожди ты со своим уровнем... автомат! — перебил его пожилой солдат Семен Пивоваров и, оглянувшись вокруг, обратился к рыжеусому Залесову: — Говори сам, тебе виднее!

Он сказал это как бы от имени всех, и остальные молчанием своим присоединились к его словам.

Произошло очень важное: был избран командир.

С этой минуты осиротевшие солдаты перестали быть толпой.

Командиром стал самый невидный на первый взгляд, самый щупленький из них. Его никто не подбирал, не навязывал, не назначал. Никакой отдел кадров не составлял на него анкет, не интересовался его родственниками до седьмого колена, не допытывался — были ли у него кто-нибудь из дедушек и бабушек, из свояков и свояченнц за границей и чем они занимались до семнадцатого года.

Его выдвинули обстоятельства и такие личные черты характера, которые еще не успели проявиться, но уже были ощутимы для всех. Солдаты почувствовали, что именно он и есть тот самый человек, которому отныне вверяют они свою жизнь, свою судьбу, и приняли его как своего вожака.

— Тебе виднее,— повторил Семен Пивоваров,— ты командир.

Залесов никогда раньше не бывал на положении командира, если не считать, что на Вологодском машиностроительном заводе доводилось ему возглавлять бригаду монтажников-электриков. Когда Пивоваров назвал его командиром, он принял это как должное, потому что сам чувствовал уже, что именно ему придется думать за других. Да, в общем-то, и спокойнее: все-таки отдавать свою жизнь в руки малознакомых людей тоже не хочется...

— Что ж, ребята, делайте, как знаете,— сказал он.— Буду за старшего, но смотрите!.. Зовите меня Залесовым. Я связист, лебедевский.

— Тоже лебедевский! — шепнул своему соседу Борьян.

Солдаты запомнили, что имя рыжеусого Залесов, но звать его отныне стали только командиром, и чем строже,

чем подчеркнутее придерживались этого, тем спокойнее становилось у них на душе: дух армейской дисциплины постепенно входил в их взаимоотношения.

Почувствовал перемену в своей судьбе и сам Залесов и, хотя у него уже было принято решение, как лучше поступить в сложившейся обстановке, но сейчас он медлил приказывать, как бы собираясь с силами и внутренне сосредоточиваясь.

«Ну и воинская часть у меня, ого! — думал он, начиная присматриваться к каждому бойцу отдельно.— Чего-то они сто́ят? Что это за люди? Наверно, из новичков, из необстрелянных... Вот, скажем, этот верзила, Божиков. Вложил же бог в огромное тело такую жиденькую душу. Винтовку-то бросил... Ведь бросил, поди? А еще огрызается.

Или вот этот, с лицом, вымазанным кровью... Своей или чужой кровью? Вроде канцеляриста, а с автоматом... Одним глазом совсем не видит, не продерет его никак, и щеки дергаются. На что-то он годится? Что может?..

В шапке-ушанке — тоже воин, вырядился! Не винтовку, так пилотку потерял. Худой, словно лопата, а нос — для семерых рос, одному достался. Держится от всех в стороне: обопрись на такого!

Борьян — это как будто ничего! Глаза ясные, умные. Но — бледный, словно на том свете побывал. Слаб, наверно, на апельсинах вырос, кишка у него тонкая, южная...

Положиться можно разве что на бровастого дядю: он, кажется, мужик серьезный, самостоятельный. Да еще на Пенкина с комсомольским значком на гимнастерке. Интересно все-таки, помнит он об этом значке или нет? Ведь со значком и в лапы к немцам попасть может...»

Нравился Залесову еще большеголовый Балюк. Обстоятельный, неторопливый, он в разговор вступал редко, но если уж начинал говорить, то обязательно высказывал какие-нибудь хозяйственные соображения. Хороший мужик! Но медлительный, вот что плохо! Неповоротлив!

— Ты чего в землю вцепился? — обратился он к нему.

— Хреновое наше дело,— отозвался Балюк.— Сколько опять народу зазря полегло. А лошадей?.. Шарахнет ее, беднягу, разворотит, чем ей поможешь кроме пули?

— Ты кем до войны был?

— Конюхом. В колхозе.

— А, понятно...

Балюк неторопливо, как-то неповоротливо поднялся с земли и поддел ногой брошенный противогаз.

— А сколько всякого железа ржавеет вокруг — уму непостижимо,— вздохнул он.— И все это может погибнуть ни за понюшку табака. Одних противогазов можно бы насобирать целый воз, а это ведь брезент...

— Ну вот, нашел время добро считать да лошадей жалеть,— перебил его Замшанин.— Мы небольшой коллектив, товарищи, о нас помнят, нас разыскивают. И мы должны об этом помнить, вот что главное...

Последний солдат, Иванов, который ни разу и ни в чем еще не заявлял о себе, был Залесову чем-то близок и понятен с первого взгляда. Совершенно непримечательный, он был невысок ростом, но широк и, видимо, очень силен: из-за огромных бицепсов руки его не прилегали к бокам, а висели чуть оттопыренные и подтянутые в локтях и вызывали в памяти изогнутые клещи большого краба. Лицо у Иванова было скуластое, нос приплюснут, глаза робкие, добрейшие. Он принадлежал к тому типу людей, которые сами всегда держатся в тени, но без которых нельзя обойтись ни в каком серьезном деле, потому что они терпеливо и безропотно тянут любой воз, какой бы на них ни взвалили. Обнесут его чаркой водки на пиру — он не обидится, обделят куском хлеба в голодный день — он промолчит и все равно пойдет на работу. Какой он был до войны, таким остался и на фронте. Только в мирное время его звали Иваном, а на фронте стали звать Ивановым. Трудно сказать, когда наступает у такого Ивана предел выносливости и долготерпения, но предел этот, надо полагать, все-таки есть.

На этого человека можно полагаться при любых условиях, нужно только умело командовать им. А будет ли Залесов умелым командиром — он еще и сам не знал.

«Да, войско!» — заключил он свои наблюдения. А вслух сказал:

— Нам нельзя упускать ночь, ребята. Если наши начнут сжимать кольцо, сожмется оно и вокруг нас. Будем искать брешь. Сейчас в любом направлении — свои, не сорок первый год. Проверить винтовки, примкнуть штыки, у кого есть! Пойдем лесом вправо. Друг друга из виду не упускать. Стрелять без дела нельзя. Заметил что — замри. Обо всем сообщать мне. Вперед — двух бойцов.

Залесов передохнул и, наклоняясь к лицам людей, чтобы получше рассмотреть их,— в лесу было уже темно,— остановился перед Замшаниным.

— Ты... какой? У тебя автомат? Вот давай...

Замшанин замер.

— Разрешите, я пойду впереди, товарищ командир!— торопливо попросил Пивоваров.

— Ты? — повернулся к нему Залесов.— Ты? Правильно!

— Разрешите и мне, товарищ командир! — выступил вперед Борьян. Черные глаза его даже во тьме поблескивали, а бледность теперь не была заметна.

Залесов осмотрел его с головы до ног и подумал: «А он ничего, не робок. Вот тебе и на апельсинах вырос...»

— Не ранен?— спросил он.

— Сейчас нет. Было — зажило.

— Правильно, иди! Друг друга видеть, нас — слышать! Двинулись! Божиков, сейчас темно, не пригибайся!..

Кому не приходилось в детстве хоть раз очутиться ночью на кладбище? Пусть ты был не один, а с товарищами или с отцом, все равно — каждое дерево протягивало к тебе свои страшные ручищи, а корни, горбатясь из-под земли, старались сбить тебя с ног; каждый куст казался привидением, каждый камень — живой горой. Холодный пот проступал у тебя на лбу, холодные мурашки сновали по спине, все существо напрягалось настолько, что крикни в этот миг филин над твоей головой или промелькни летучая мышь перед глазами, и лишился бы ты рассудка на всю жизнь...

Солдаты шли по глухому бору почти на ощупь.

Вершины сосен шумели широко, заунывно, и от этого глухого вершинного шума, как от волчьего воя, становилось тревожно на душе: что там впереди — ничего не разберешь.

Не раз какие-то большие сонные птицы грузно без крика срывались с деревьев и в темноте, ломая сучья, сбивая хвою, со стуком летели вдаль.

Тяжелый огромный Божиков с ходу рухнул в старую угольную яму и, поминая всех святых, застонал, будто его насквозь проткнули штыком.

Соседями Божикова с флангов были Замшанин и Балюк. Замшанин вскрикнул и бросился в сторону, а Балюк, казавшийся до этого медлительным, не раздумы-

вая, метнулся к Божикову на выручку, еще не зная, с кем ему придется иметь дело. С трудом разглядев товарища в яме, он вытащил его, ощупал руки, ноги,— цел! — и каждый снова занял свое место в ряду.

О приближении немцев Залесова предупредил Пивоваров. Он их не то что услышал, он почувствовал близость врага каким-то своим безошибочным чутьем старого солдата.

Вслед за ним подошел к командиру и Борьян.

— Идут! — хрипло выдохнул он.

Немцы хлынули навстречу советским бойцам волной по всему лесу. Они двигались на запад в сторону поселка.

Первая мысль Залесова была: «Наши жмут!», и, когда бойцы сгрудились вокруг него, он сказал:

— Если устоим, ребята, наши подкатятся.

Но еще не раздалось ни одного выстрела, еще Залесов не успел принять никакого решения,— а может быть, именно поэтому! — все его солдаты начали торопливо отходить назад. Попятился вместе с ними и Залесов.

Остановились они около угольной ямы, где Балюк шепнул Залесову:

— Здесь можно засесть, товарищ командир!

И первый спрыгнул в широкую и длинную прямоугольную яму. В такие ямы заводят танки, когда нужно бывает превратить их в долговременные огневые точки.

— Сюда, ребята! — сказал Залесов и так же спрыгнул в яму, края которой были ему по плечи.

Один Пивоваров не спустился за ним, а залег сбоку ямы, за старой мшистой колодой.

Огонь открыли по команде Залесова, когда толпа немцев придвинулась к ним почти вплотную. Первый залп был дружный. «Очень хорошо!» — удовлетворенно подумал Залесов. Среди винтовочных выстрелов резко выделился стрекот замшанинского автомата.

Ночной лес вздрогнул и загудел, как от разрывов многотонной бомбы. Затем во всех концах его началась беспорядочная пальба, словно на вершины сосен стала сыпаться выброшенная к небу глубинная земная порода.

Немцы всполошились и, видимо, ничего не могли понять. Автоматы их застрочили и справа, и слева, где-то очень далеко впереди советских бойцов, и совсем рядом, будто бы даже сверху.

Залесов снова подумал о том, что на немцев наседают советские части, но тут же сообразил, что эту стрельбу

вызвали они сами, что пока они не сделали первого залпа, в лесу было тихо; значит, немцев никто не преследовал.

Эта догадка ошеломила Залесова, он перестал стрелять и остановил других. Последним замолк судорожно стучавший автомат Замшанина.

В разных концах леса вспыхнули осветительные ракеты и кое-где немцев стало хорошо видно. Залесов успел заметить несколько фигур даже сзади себя, за своей спиной.

— Бежим!— крикнул ему сверху перегнувшийся над ямой Пивоваров.— Это могила.

Залесов уперся прикладом винтовки в дно ямы и, хватаясь за траву и корни, полез на переднюю осыпающуюся стенку.

— За мной, ребята, вперед! — крикнул он.

Бойцы один за другим выбирались из ямы, но бросались бежать не вперед, а назад: впереди была неизвестность, а сзади, где они только что шли, места казались уже своими, почти родными.

— За мной! — крикнул еще раз Залесов, выкарабкавшись наконец из ямы, и далеко от себя метнул рубчатую гранату, но и сам кинулся бежать не вперед, а назад, следом за своими солдатами.

Оторвавшись от немцев и выйдя на опушку бора, солдаты разглядели впереди длинное бревенчатое здание колхозной молочнотоварной фермы под черепицей, с черными выбитыми окнами вдоль всей стены. Это был тот самый скотный двор, к которому уже подходили Залесов и Пенкин. За ним, среди полей, примерно в километре от леса обрисовалась деревня с куполообразными вершинами деревьев.

— Ну, давай, ребята,— сказал Залесов, указывая на скотный двор.— Иного выхода нет. Заберемся на сеновал. Там переждем, посмотрим... Быстро!

Ни словом не напомнил он солдатам, что не послушались они его команды, не пошли вперед, ни словом не упрекнул, потому что сам не был уверен в правоте своей. Но случай этот совершенно потряс его. Залесову представилось, что его группа не выдержала первого же боевого испытания. И, значит, никакое это не воинское подразделение и сам он никакой не командир.

По картофельным грядкам бойцы гуськом перебежали ко двору. Он был пуст. Не уцелело ни одних ворот, ни одного стойла. В окнах выбиты не только стекла, но

даже рамы. На земляном полу лежал тонким слоем мелкий сухой навоз. Скотом здесь уже и не пахло.

Снаружи двора стояла ветхая приставная лестница. Залесов приметил ее еще раньше. Он знал также, что на потолке, под крышей двора, есть сено, и сейчас, не задумываясь, кинулся туда. За ним поднялись остальные бойцы. Лестницу втащили за собой. Скрипучую дощатую дверцу прикрыли изнутри.

Первые минуты все, как упали в сено кто куда, прижав винтовки к телу, так и лежали, не шевелясь и тяжело дыша. Можно было подумать, что это косари, вымотавшись за день, вернулись с дальнего сенокоса в свою избушку и завалились спать, не раздеваясь и не поужинав, каждый со своей косой под боком.

Дышали бойцы тяжело и глубоко, и хоть не шевелились, но сухое сено под ними шуршало, словно дышало и оно.

На сеновале было так темно, что Божикову показалось, будто он опять свалился в угольную яму.

— А ничего, воевать можем! — неопределенно прошептал Божиков.

Постепенно привыкая к темноте, бойцы начали осматриваться.

Черепичная крыша была не новой. Плитки местами сдвинулись, либо рассыпались, и на скатах крыши образовались просветы в виде прямоугольников и квадратиков.

Через них бойцы обнаружили — впервые за сегодняшний вечер,— что на небе есть звезды. Каждый прямоугольник походил на маленькую карту ночного звездного неба.

Отдышавшись и привыкнув к темноте, первый поднялся на ноги Залесов. Под коньком крыши он выпрямился и мог ходить серединой сеновала в полный рост.

Но когда поднялся и выпрямился Семен Пивоваров, он ударился головой о слегу.

Божиков встал — совсем разогнуться не смог.

В противоположном конце сеновала Залесов увидел большую дыру под ногами: должно быть, через нее когда-то сбрасывали сено скоту. Он запомнил ее.

Зашевелились и остальные бойцы, но разговаривать даже шепотом пока никто не решался. Только Пенкин вдруг ахнул:

— Балюка нет!

— Как Балюка нет? — ужаснулся Залесов.— Где Балюк!

Балюка не было, и никто не знал, куда он делся, где отстал от группы, когда? Может быть, его захватили немцы?!

«Балюка нет... Балюка...» — бессмысленно повторял про себя Залесов, и холодок все больше проникал в его сердце.

Исчезновение Балюка Залесов воспринял как второе свое поражение.

Между тем Пенкин, дрожа словно от мороза, приник спиной к дверце и, дернув за шинель Залесова, показал рукой на свою гранату, как бы спрашивая, не бросить ли ее в случае чего. Залесов понял, но думать сейчас о гранате, о стрельбе было, конечно, бессмысленно, и потому, наклонившись к Пенкину, шепнул так, что услышали все:

— Голову оторву!

Затем он подобрался к одному из мерцающих в крыше прямоугольников и, просунув руку через щели меж досок и осторожно расшатав черепичные плашки, вынул две из них. Просвет в сторону леса стал теперь шире, и Залесов, не высовывая головы, смог разглядеть боровую опушку.

Такое же окно он проделал в крыше и со стороны поселка.

В поселке не было ни одного огонька, контуры домов едва различались. Но Залесов знал, что там были немцы, вечером он их видел.

Немцы наконец появились и на боровой опушке. Залесов понял это по тому, как Семен Пивоваров вдруг резко отшатнулся от смотрового окна и шагнул к нему.

Они поменялись местами: Пивоваров стал следить за поселком, командир за немцами, от которых они только что убегали.

Бойцы почувствовали и поняли, что вот наступило то самое страшное, что должно было наступить и что иногда называют судьбой. Сейчас немцы были со всех сторон, цепь сомкнулась, узел затянут.

Все замерли. Стало так тихо, что даже сено перестало дышать.

У Замшанина открылся рот, словно он приготовился произнести речь, но ни одно слово не могло сорваться с его языка. Глаз, который был залеплен кровью и грязью, тоже наконец открылся и блестел тревожно, дико.

Залесов припал к отверстию в черепице.

Темная громада бора показалась еще темнее. «Где они там, ничего не вижу! А не Балюк ли это?..» — подумал он и в тот же миг заметил, как на картофельном поле обозначились две живые тени, две фигуры, потом три, потом еще две и опять три.

Немцы появились на тех самых грядках, по которым несколько минут тому назад сам он, Залесов, со своими бойцами перебегал от леса к скотному двору.

«След они, что ли, чуют? А может, захватили Балюка?..»

Пригибаясь к земле точно так же, как только что пригибался он сам, немцы метнулись к скотному колхозному двору, под крышей которого, на сеновале, теперь сидел он со своими товарищами.

Правая рука Залесова судорожно сжимала винтовку, а указательный палец привычно нащупал спусковой крючок.

«Неужели обнаружили?..»

Именно в такие минуты в сознании человека появляются воспоминания, даль и близь всей его жизни. Но появляются они на мгновение, как проблеск, как озарение, как родной пейзаж, освещенный ночью вспышкой грозовой молнии.

В памяти Залесова за какую-то долю секунды пронеслись зеленые волока, его босоногое детство среди болот и заливных лугов, охота на глухарей, потом учеба на курсах электромонтеров, убогая жактовская комнатка в кружевном деревянном домике на Зареченской стороне в Вологде, бесконечная паутина проводов, развешанных им при перестройке завода, мелькнул старый рабочий-пасечник, который сунул ему при отправке на фронт на дорогу бидончик свежего меду из собственного улья, молодая жена, совсем еще девочка, так и не сумевшая поцеловать его на прощание, потому что стыдилась целоваться при людях, и еще многое, многое другое, далекое и близкое, и, наконец совсем рядом, тонущие женщины на переправах у горящего города Сталинграда — самое жуткое из всего, что он видел до сегодняшнего дня.

Александр Залесов и после все равно никогда бы не смог вспомнить всего, что промелькнуло в этот миг в его возбужденном сознании и о чем он пожалел, а чему порадовался, потому что в видении этом было не только то, как он жил и что делал в жизни, но и то, как хотел жить и что мечтал еще сделать.

Несколько немцев вошли в скотный двор. Сверху, с сеновала, голоса их были отчетливо слышны, хотя разговаривали они с опаской, почти шепотом.

«Боятся! — догадался Залесов.— Тоже боятся! Они же не на своей земле и окружены!»

Торжество охватило душу Залесова, и чувство страха покинуло его. Он поднял руку, предупреждая еще раз своих, что двигаться нельзя.

«Ах, если бы понимать язык! Сколько их тут? — соображал он.— Почему они идут в деревню? Может быть, их наши гонят? Но стрельбы ведь не слышно...»

А от сосновой опушки отделялись все новые и новые людские тени и, уже минуя скотный двор, бесшумно скользили дальше, в сторону поселка. Наконец затих разговор и в скотном дворе.

«Ушли или нет? Ах, если бы знать язык! А ведь можно было узнать, учился...» — продолжал думать Залесов.

И вдруг где-то там, около поселка, раздался сухой, как щелчок в лоб, винтовочный выстрел. За ним — второй. Потом застучали автоматы в разных местах. В небо взвилась осветительная ракета, и Пивоварову, который следил за поселком, показалось, что домá в нем стали прозрачными, словно они были не настоящие, а игрушечные, из плексигласа.

Он тронул командира за рукав: взгляни, дескать! — и уступил ему свое место. Залесов взглянул на поселок, а потом, обернувшись, пристально посмотрел в глаза старого солдата и увидел в них, под широченными и пышными, словно усищи, бровями, отблески света и самый настоящий озорной смех, лукавую, с огоньком, издевку.

— Что? — спросил он шепотом.— Ужели наши?

Пивоваров кивнул в сторону деревни, откуда вместе со стрельбой неслись уже крики, и ответил глазами, но так, что командир понял его: «Передрались немцы. Сами себя бьют».

В эту минуту Замшанин обрел наконец дар речи и шепнул со злобой, должно быть, в адрес командира:

— Завел к немцам в плен!

Его услышал Пивоваров.

— Если еще пикнешь — пристрелю! — пригрозил он.

Стрельба и крики в поселке скоро умолкли, ракета в небе погасла, и тревожная тишина опять поглотила все вокруг.

«Что же там было все-таки? И куда исчезли немцы из двора? — снова задумался Залесов.— Может, испугались, что в поселке наши, и метнулись обратно, в лес? Но так ли это?..»

Прошло минут пять, а может быть, час и пять минут, а тишина оставалась тишиной и ни на один его вопрос никто не мог дать ответа. Бойцы понемногу выходили из оцепенения, зашуршало сено, кто-то вздохнул, кто-то тихонько, будто в рукав, высморкался.

«Если теперь лес опустел, то можно уходить. Сидеть до утра здесь нельзя. Почему же все-таки они оставили лес? Ведь стрельбы не было, значит, их никто не преследовал? И где Балюк?..»

Залесов думал обо всем этом и переглядывался с Пивоваровым.

Пивоваров, должно быть, думал о том же, потому что скоро он предложил:

— Надо, товарищ командир, разведать.

— Надо,— согласился Залесов.

— Разрешите мне пойти, товарищ командир,— попросил солдат в шапке-ушанке, длинноносый и худой, как лопата.— Губкин я. В разведке бывал, не беспокойтесь. В штрафбате служил.

— В штрафбате? — насторожился Залесов и про себя подумал: «Хорошо это или плохо, что он служил в штрафном батальоне?»

— Не беспокойтесь, товарищ командир! — повторил Губкин.

— Ладно, иди!

— Разрешите и мне, товарищ командир,— зашептал Борьян, поднимаясь с сена.

Но Залесов заметил, что Борьян при этом резко припал на раненую ногу, и потому отмахнулся от него.

Поднялись так же Божиков и Пенкин, но Залесов опередил их.

— Иванов, пойдешь? — спросил он, разыскивая глазами солдата, у которого оттопыренные руки напоминали клещи краба.

— Мне что, я пойду,— выдвинулся из темноты Иванов.— Только у меня патронов не осталось. Нож бы хоть дали...

Залесов уставился на Замшанина. Тот, решив, что хотят послать в разведку и его, начал медленно подыматься с полу, словно готовился выслушать смертный приговор.

— Патроны есть? — спросил его Залесов.

— Есть немного.

— Отдай автомат Иванову, возьми его винтовку.

Замшанин обрадованно протянул свой автомат, но затем, чтобы скрыть свою радость, предложил:

— Может быть, лучше мне пойти, товарищ командир?

Залесов ему не ответил.

Иванов от автомата отказался, взял несколько обойм патронов у Борьяна и Пенкина.

— Идите вдвоем, ребята,— сказал Залесов Иванову и Губкину.— Проверьте, что в лесу. Может, Балюка обнаружите. Но долго ходить нельзя, время не ждет. Если ввяжемся мы — действуйте по обстановке. Поддержите с тылу в случае чего. Ясно?

Разведчики спустились с сеновала во двор без лестницы, сквозь дыру. Божиков помогал им, придерживая каждого за руку, как недавно Балюк помогал ему выбираться из угольной ямы.

— Главное, ребята, чтобы вместе, не поодиночке,— сказал он им на прощание.

Через смотровое отверстие в крыше Залесов проследил, как Иванов и Губкин, пригнувшись, пересекли картофельное поле и скрылись в лесу.

«Ясно?» — только что спрашивал он их, а для самого Залесова ничего не было ясно. Не слишком ли торопливо согласился он стать командиром? Не чересчур ли понадеялся на себя?.. Залесову уже казалось, что никто не выбирал его за старшего, а сам он вызвался, сам захотел власти. Вот Пивоваров и опытнее, и умнее его, а ведь не полез вперед, не напрашивался в вожаки. А ему, наверно, впрямь все ясно и все видно, что делать надо.

Залесов ежился от тягостных раздумий, переступал с ноги на ногу, всматриваясь в безысходную темноту ночи, и то и дело снимал с головы пилотку и вытирал ею лицо. Из-за того, что бойцы всё больше полагались на своего командира,— а он это видел и чувствовал! — все больше верили в него, Залесову становилось еще тревожнее и труднее. Но ведь об этом не скажешь.

— Отдыхайте, ребята, кто сумеет,— предложил он как можно спокойнее.— Будем ждать разведчиков. В окна смотреть поочередно!

Божиков взял в рот сухой стебелек сена и, с хрустом перекусывая его, проговорил сквозь зубы:

— Наши теперь спят, наверно. Нажрались и спят. А мы тут...

— Жри сено и молчи! — зыкнул на него Пивоваров.

— Боковня не спит,— возразил Божикову Борьян.— Он не такой. Солдаты могут и спать, а Боковня не спит.

— Положим, и нам спать не придется,— вздохнул Пивоваров и тоже положил в рот сухую былинку и стал жевать ее.

— А мы и не будем спать, товарищи,— обрадованно заговорил Замшанин. Он снова ожил, так как появилась возможность разговаривать. Без этого он даже думать переставал.— У нас подобрался хороший коллектив, товарищи. А коллектив — это сила. Что такое человек, когда он один? А в коллективе он — звено в цепи. Его связывает дисциплина сверху донизу. Коллектив — это все за одного, товарищи...

— Послушай, Замшанин,— остановил его Божиков, и толстые губы его передернулись от гнева.— Когда я остался в лесу один, у меня тоже душа в пятки ушла. Но ты все-таки помолчи. Знаю я эти речи. Давай лучше в другой раз, в другом месте.

— Разве ты считаешь, что у нас теперь такое положение?..

— Ничего я не считаю, помолчи!

— Уважь человека, пожалуйста,— попросил и Борьян.— Время не то.

— Время не то, время не то, а кто может знать, когда оно будет *то?*

— Надо ворочать мозгами, ребята, у кого голова на плечах есть. Командиру одному трудно,— сказал Пивоваров, не стесняясь, что Залесов его слышит.— Положение у нас, действительно...

— А что положение?.. Выходить надо, и всё! — решительно заявил Борьян. Он лежал на сене и осторожно почесывал раненую ногу.— Вернутся вот Губкин и Иванов — и хлынем. Трудно бывает, когда не знаешь, что трудно, когда не приготовишься. А когда приготовишься, то ничего.

Божиков уловил в этих словах что-то касающееся непосредственно его и обрадовался.

— Я же об этом и говорил,— сказал он, хотя никто не помнил, чтобы он говорил что-нибудь подобное.— Вот остался я один и думаю: конец! Даже винтовку потерял. Конец— и все. И уж ничего хорошего не ждал. А тут, вижу, не я один болтаюсь. И вот нас уже много. Потом и командир, слава богу... Когда думаешь, что конец,— конца не будет.

Божиков все еще не мог успокоиться из-за того, что предстал перед товарищами в самом невыгодном для него свете — без винтовки и когда у него руки дрожали и зуб на зуб не попадал.

— Это ты как в воду смотрел,— поддержал его Пивоваров.— Никогда ничего нельзя знать наперед.

После пережитых за день волнений и долгого вынужденного молчания, бойцов неудержимо потянуло на разговоры. Каждому хотелось говорить, пусть шепотом,— о чем угодно, либо слушать, как разговаривают другие, только бы не испытывать больше ощущения одиночества.

Пивоваров начал вдруг рассказывать длинную фронтовую историю:

— Был у нас на Ленинградском фронте комиссар из моряков. Подошли немцы к Ленинграду, а у него там семья. И начал он горячиться. Лезет везде сам, словно один хочет остановить фрицев. Где огонь, там и комиссар.

Говорили, будто немцы прозвали наших моряков черными дьяволами. А мы нашего комиссара сами черным дьяволом звали. Носился он по «пятачку» — мы тогда в районе фортов были,— в черном бушлате, в каждом кармане по немецкому пистолету, на шее немецкий автомат — все трофеи сам добывал. Черного, его далеко видно. Ну, думаем, конец человеку, погибнет от прицельной пули. А его никакая не брала. Мина ударит рядом — он стоит. Снаряд разорвется — стоит. Словно завороженный. Даже хохочет. Только рот у него все больше кривился. Страшно было смотреть на такую храбрость.

Заметили мы однажды, как немцы в рожь забрались. Много их было, а рожь в поле высокая, не разберешь, в какую сторону движутся, вот-вот на нас хлынут. Артиллеристы наши выкатили пушчонку на перекресток, а куда стрелять? Ну, комиссар набрал гранат: «Подождите, говорит, я их сейчас найду!» — и кинулся в рожь, навстречу немцам. Сначала его, черного, во ржи было видно, а потом и он совсем из глаз скрылся.

— Тихо! — предупредил Пенкин, наблюдавший за лесом, и поднял руку.

Слушатели пригнулись, замерли, взялись за винтовки. Так просидели с минуту, даже спины уставать стали.

— Что там? — спросил наконец Залесов.— Не наши ли?

— Ничего нет, товарищ командир. Показалось.

— Тогда рассказывай, Семен.

Пивоваров продолжал:

— Ну вот, значит, нырнул комиссар в рожь, ждем мы, и вдруг началась там молотьба. Прямо хлебоуборка началась! — Самому Пивоварову, должно быть, понравилось это выражение, и он несколько раз повторил его.— Комиссар сначала закидал немцев гранатами, а потом как начал строчить из автомата — прямо косовица. Немцы — назад, и вот они все на виду. Тогда наша пушчонка — беглым, беглым. Сбежали, кто успел. Только и комиссара нашего нет. Опять думаем: конец, сами пришибли! От немецкого огня заколдован, под свой попал. А он пришел, жив-здоров, только рот кривится еще больше.

По всему «пятачку» пошла о нем слава, что пули немецкие его не берут. Многих это успокаивало тогда, время такое было. Представили комиссара к награде, к другой. А награды нам в то время не приходили, не было общего успеха. Ну, решили наградить комиссара отпуском. Пусть, дескать, к семье в Ленинград съездит. А может, и поберечь хотели, чтобы раньше времени сгоряча не погиб.

Прорвался он в Ленинград по заливу, на торпедном катере. Пришел в свою квартиру, а квартира пустая, холодная, семья-то уже эвакуировалась. Остался на ночь в своей тихой квартире, истопил печку пожарче, лег спать и умер от угара. Вот где конец-то его был. И наше дело, по-моему, такое: ничего нельзя сказать заранее.

— Спасибо, друг, хорошо утешаешь,— с серьезным видом поблагодарил Борьян Пивоварова.— Совсем хороший конец получился, дух поднимает...

После рассказа Пивоварова бойцы наперебой стали вспоминать разные истории к случаю, и выходило, что теперешнее ихнее положение не такое уж страшное. Все-таки немцы ведь тоже в кольце, и никуда им не деться.

А Залесов слушал и думал о своем:

«Сейчас попасться к немцам в руки — все равно что от угара умереть. Даром они в могилу не пойдут. Бывают такие: живут—людей казнят, подохнут — еще тысячи за собой в землю тянут. Что-то надо придумать. «У кого есть голова на плечах?..» Что-то надо делать. А они на меня надеются, я — командир...»

— Как там, в лесу?

— Ничего не видно, товарищ командир.
— А в деревне?
За деревней следил в это время Замшанин.
— Над деревней царит ночь, товарищ командир,— начал докладывать он.— Если принять во внимание обстоятельства, которые складывались там с полчаса тому назад, и то, что сейчас ни в одном доме не слышно ни звука и никакого передвижения не замечается, то...
— Огней нет? — перебил его Залесов.
— Нет, товарищ командир.
— Ну и всё.
«Что-то надо предпринимать,— продолжал он думать.— Что-то надо говорить ребятам. Какой я, к черту, командир, ничего придумать не могу! В лесу немцы, конечно, застряли, потому что в деревне началась перестрелка, это их испугало. Сколько их там в лесу?»
А Иванов и Губкин все еще ничего не давали о себе знать.
— Теперь я вам расскажу, ребята, историю. Про самого себя,— начал Борьян.— Была у меня девушка в Сталинграде. Аня Рыжманова. Красавица и душа. Ну, хорошо. Ушел я на фронт, а она там осталась, в тылу. Сталинград тогда глубоким тылом был. Послала она мне фотокарточку: сидит на дереве, а кругом вода, Волга разлилась. Сидит в купальном костюме, будто из сказки или из картинки. Очень хорошо. А я в окопах. Переживаю за нее — как да что, дождется ли? Не ей страшно за меня, а мне за нее. А может, и она за меня боялась, только ведь в окопах кому я нужен? Ладно, хорошо. Ранили меня и послали в глубокий тыл в Сталинград. Еду я в Сталинград, к Ане, а немцы — за мной. Только добрался, разыскал свою Аню да на учет стал как выздоравливающий, а они— с воздуха...
— Ты был в Сталинграде? — вдруг, оживляясь, спросил командир.
— Был, с начала до конца. А что?
— Хорошо. И я был.
— Совсем хорошо! Ну вот... А они — с воздуха. За одну ночь весь город подожгли. Выскочили мы с Аней, бежим по огню, а я спрашиваю: «Ты куда?» Она мне: «С тобой!» — «Хорошо, говорю, но я же в свою часть, а тебе на переправу надо».— «Тогда, говорит, я в райком пойду».— «Все равно, говорю, за Волгой жить будешь...»

И вдруг как вспомню, что у меня в комнате остался мешок, полный табаку и папирос,— это я для Ани скопил. Как же, думаю, она без табаку жить будет, ведь на табак все выменять можно. И уж не замечаю, что дома́ горят, что бомбы падают, стон стоит вокруг. Помню только, как долго я копил этот табак, и как трудно мне было не курить, и что Аня без табаку остается. «Беги, говорю, спасай, а то сгорит. Мне нельзя, в часть надо».

Хорошо. Посмотрела она на меня так, повернулась и пошла назад.

И сразу между нами стена упала, кирпичная, наверно, от бомбы.

Тут только я и вспомнил, и понял — ка́к она на меня посмотрела. Опомнился — и бегом за ней: на смерть, думаю, послал. А бегом-то уже нельзя, ползти надо. Ну, хорошо. Ползал я, ползал за ней, по переулкам, в обход — ни Ани, ни домика не нашел. Поздно хватился, думаю. Вернулся в свою часть. А она — там. Бросила мне мешок с табаком. «Возьми!» — говорит.

И ушла.

С тех пор ничего о ней не знаю. Слышать об мне не хочет.

— За Волгу-то переправилась ли?— спросил Божиков.

— Переправилась.

— А говоришь, ничего не знаешь. Вот кончится война, приедешь и женишься на ней.

— Она уже второй раз замужем,— вздохнул Борьян.

— Это от обиды,— вздохнул и Божиков.

Похоже было, что он от всего сердца пожалел товарища.

«Что же мне делать? — думал между тем Залесов.— Ребята подобрались все-таки боевые. Вот и Борьян в Сталинграде был. Но неужели они не понимают, куда мы попали? Что это — беспечность? Благодушие? Зачем он про табак рассказывал?..»

— Товарищ командир,— обратился к нему Замшанин,— а как вы к табачку относитесь? Может быть, можно по цигарочке? У меня трубка, я бы трубочку...

— Ты что, очумел?!— ткнул его в бок Пивоваров. И Залесов не стал отвечать Замшанину.

«Значит, этот ничего не понимает. А другие? Может быть, рукой махнули на все? Как же мне расшевелить их? Взять да прямо и сказать: выхода у нас, ребята,

нет. Утра ждать нельзя, обнаружат, выкурят. Что нас может спасти? Бог?..»

— Давайте, ребята, разговаривать начистоту,— решился наконец Залесов.— Что может спасти нас? Случай? Случай нас завел сюда. Может, случай и выведет?

— Удаль! — подсказал Пенкин.

— Удаль — дело хорошее. Только шапками мы никого не закидаем. Да и шапок у нас мало. Надо готовиться к бою, товарищи! У кого есть бумага? Надо записать адреса друг друга.

Говорил он это, а сам думал: «Правильно ли я делаю, что говорю об этом? Но что же мне еще говорить? Чертов я командир! Надо разозлить всех, чтобы знали, на что идут...»

— Как же так, записать адреса?— жалобно застонал Замшанин, обращаясь то к одному, то к другому.— Нас должны спасти, товарищи. Надо подождать до утра. О нас помнят, о нас нельзя забыть, товарищи...

— Нас и не забудут. Но до утра сидеть нельзя. Пойдем напролом, другого выхода я не вижу. И куда бы мы ни пробились — всюду выйдем к своим. Кто будет жив, расскажет об остальных.

Залесов сам не знал точно, что значит идти напролом. «Напролом» — это еще не план. Как напролом, куда напролом, когда?

Но он думал:

«Если не сказать вот так прямо, хуже будет. Расшевелить надо всех...»

— А Губкина и Иванова бросим? — настороженно спросил Пивоваров.

Наступило долгое молчание.

— Как же так? — протянул еще раз Замшанин и тоже умолк.

Залесов внимательно всматривался в лица бойцов, старался заглянуть каждому в глаза и жалел, что из-за темноты не всех видит.

Ему пришла в голову мысль, что выходить из окружения одному, пожалуй, было бы проще и легче. Но ведь это если бы он был один, а он не один, и хорошо, что не один. До чего же все-таки трудно быть командиром...

— Только напролом, ребята,— повторил Залесов еще тверже,— другого выхода не вижу. Может, и умереть придется. Пишите записки, если есть куда, но без соплей. Иванов и Губкин той порой подойдут. Понял, Замшанин,

соплей не пускать! — обратился он особо к Замшанину, считая, видимо, что тот больше других нуждался в таком внушении.— Держись, брат!

— Я держусь, товарищ командир,— совершенно растерянно произнес Замшанин, и у него опять задергались обе щеки.

Залесов ошибался, предполагая, что бойцы настроены благодушно. Тревога жила в душе у каждого, только друг перед другом они старались скрывать ее.

Напряжение особенно нарастало из-за того, что Иванов и Губкин долго не возвращались. О них думали все время, а Балюка уже перестали считать живым.

Семен Пивоваров, сидя, поставил винтовку между колен и, опершись на нее, низко опустил голову. Лицо его скрылось за густыми широкими бровями.

— Да,— вздохнул он,— так я, братцы мои, ордена и не получил. Послали бы домой орден в случае чего. Все-таки...

В голосе его была тоска и обида: немало времени, видимо, ждал он этого ордена, и нелегко он ему достался. И о доме своем вспомнил солдат: о жене, вечной своей печальнице, о малых своих — «Не голодают ли они теперь в колхозе?», о двух старших сынах, которые тоже где-то воюют,— «Живы ли?», вспомнил и вздохнул.

А Залесов сразу ухватился за его слова:

— Выйдем, ребята, все с орденами будем. И Замшанин получит, и Пенкин, и Божиков, и Борьян, все получим. Ну как, ребята?

— Что — как? — тихо спросил Борьян.— Ордена́-то, может, и получим. А вот меня в четверг в партию должны принимать. Капитан Малкин известил, приказал явиться к семи часам. Тут как?

— В партию? — так же тихо переспросил его Залесов.— И ему стало очень жалко Борьяна.

«Вот у всякого своя жизнь, свои планы,— думал он,— и все это из-за какой-то чепухи вдруг может навсегда оборваться... Была девушка, говорит, любил, а паршивый табак все дело испортил. Конечно, не табак виноват, парень сглупил, но ведь он хорошего хотел, он любил эту сталинградскую Аню. «Сидит, говорит, на дереве, а кругом вода, Волга разлилась...» Да, так-то вот оно и бывает... А я думал, он слаб. Хромой, рана, видно, еще не зажила, а перед товарищами держится, не хочет показать, что больно. Крепкий парень! О партии вспомнил, не боится... Наверно, долго готовился, заявление подал,

мечтал, значит. Главное чтобы у человека мечта была, вера. А до четверга еще дожить надо. Доживем ли? Жалко парня».

— Ребята, есть у нас кто-нибудь коммунисты? — спросил Залесов, подняв голову и обводя всех глазами.

Солдаты промолчали.

— А ты, Пенкин?

— Я только комсомолец, товарищ командир.

— Были, да поубивали всех,— сказал Замшанин.

— Губкин, кажется, состоял.

— Жалко! — сказал Залесов.

«Жалко,— продолжал думать он.— Если бы коммунисты были, может, его приняли бы сейчас, здесь. Это ведь делается: перед боем принимают людей в партию. Вроде как исповедь перед испытанием. А хорошо было бы это для Борьяна, раз мечтал человек. Ну, ничего не поделаешь!»

Сам Залесов в партии не состоял. Если бы ему когда-нибудь предложили вступить в партию, он, может быть, и подал бы заявление. Но ему не предлагали нигде ни разу. А додуматься до этого сам не успел. Партия — это было всегда что-то близкое, и вместе с тем что-то далекое, властное. А тут оно — вот оно, рядом: знакомый, ставший теперь почти родным человек в четверг должен вступить в партию. И не может. Ох, далеко до четверга! И будет ли он, этот четверг, для него?

— Товарищ командир,— неожиданно обратился Борьян к Залесову,— а может быть, все-таки можно, а? Может, вы меня один примете? Капитан Малкин сказал мне: тебе, говорит, не откажут. Меня еще до госпиталя хотели принять, да вот ранение помешало.

Лица Борьяна почти не было видно, но глаза его блестели и голос был такой хороший, сердечный.

— А и вправду, товарищ командир,— поддержал его Пенкин,— обстановка у нас особенная, необычная, никто бы вас не осудил. А на Борьяна это знаете как может повлиять? Вы, может быть, ему жизнь спасете.

Остальные бойцы прислушались к разговору.

Залесов понял, что его все почему-то посчитали, видимо, коммунистом, и смутился. Правда, это и польстило ему: «Верят, значит, в меня!» — подумал он.

— Я бы вас не подвел, товарищ командир,— снова стал просить Борьян.— Ведь такое дело... я бы хоть знать стал... это ведь вроде крещения на жизнь и смерть.

— Понимаю, Борьян, только не так это все просто. Не могу я. Дело за малым видишь ли...

Залесов хотел уже сказать, что он сам не член партии, но молодой, горячий Пенкин перебил его:

— Да можно, товарищ командир, можно! Вы не сомневайтесь, мы вас поддержим в случае чего. Расскажем, как дело было. И капитан Малкин поймет. Это же не на гражданке.

«Верят! — с радостью подтвердил свою догадку Залесов.— Как же я их обману теперь, если они верят в меня? А правду открыть тоже не хочется: ладно ли? следует ли?.. Такая правда перед боем может оказаться хуже лжи. Ведь это хорошо, что они меня считают коммунистом».

Залесов решил промолчать, что он не член партии.

— Ну как, товарищ командир? — настаивал Пенкин.

— Не егозись, дай подумать. Не могу я, понимаете вы или нет?

Тогда опять заговорил Замшанин.

Конечно, он не навязывал никому никаких решений, нет, он только из чувства искренней доброжелательности к товарищу Борьяну захотел высказать товарищу командиру свои личные соображения по затронутому вопросу.

— А почему не можете, товарищ командир? Ведь Борьяна все равно в четверг должны утвердить, и, значит, он уже, если можно так выразиться, почти состоит в партии.

«А может, и впрямь можно? — начал соглашаться Залесов.— Ну, обману я его, но разве такой обман во вред? Борьян, может быть, сегодня смерть примет. Ему же легче будет, если я его обману. Это святая ложь. Какое тут преступление, если он душу очистит и если он орлом в бой пойдет? Приму, и все! Напролом так напролом!»

И Залесов решился.

— Что ж, Борьян, дело, брат, тут действительно такое необычное,— сказал он.— Приму я тебя один, пускай мне нагорит. Ничего, не засудят. Дам тебе справку, и будешь ты членом партии.

— Я в кандидаты подавал,— поправил его Борьян.

— Ну да... понятное дело, в кандидаты,— смутился Залесов.— А выберемся — и примут тебя в члены. В бой мы с тобой пойдем вместе. Давай бумагу.

— У меня есть бумага, товарищ командир! — сказал Замшанин и достал из внутреннего кармана шинели

несколько сложенных в осьмушку, потертых, не очень чистых листков и вечное перо.

— Спасибо, товарищ командир! — взволнованно сказал Борьян, принимая бумагу из рук Замшанина; в голосе его появилась какая-то мягкость, теплота, которой, казалось, было трудно ожидать от этого резкого вострoглазого человека с бледным лицом.— Я пойду в бой рядом с вами, товарищ командир, на меня можете положиться.

— Очень хорошо,— сказал Залесов.— Так оно и будет!

— Что мне писать?

— Это уж я напишу. Ты свое заявление составил. Дай-ка сюда принадлежность.

Вокруг Залесова сгрудились бойцы, даже дежурные-наблюдатели отвернулись от окошек и смотрели в его сторону.

Писать было не на чем и темно. Кто-то подал командиру черепичную плашку. Залесов встал, подвел Борьяна к отверстию в крыше, положил ему на спину глиняную плашку оборотной, более ровной стороной вверх и при тусклом свете мерцающего звездного неба, почти на ощупь, написал следующее:

«Настоящим удостоверяю, что тов. Борьян пошел в бой коммунистом. Нас было девять человек. Прошу оформить ему документы.

Командир группы *Залесов А. Я.*»

Окончив писать и перечитав текст, чтобы не допустить каких-нибудь грамматических ошибок, для чего ему пришлось почти вплотную припасть глазами к написанному, Залесов отдал справку Борьяну и сказал:

— Держи! Проверь, разберешь ли, не знаю. Печати нет, но это нам простят. Я, брат, тебе сразу партбилет бы выдал, да нет у меня. Будем ли живы только...

— Партбилет, может, еще и не потребуется,— заметил кто-то.

— Будем живы, товарищ командир! — с полной уверенностью и громко, не считаясь с предосторожностью, ответил Борьян.— Понимаете, что вы для меня сделали?!

— Понимаю, Борьян, очень хорошо понимаю!

— Вы теперь вроде как мой поручитель, крестный мой.

Они обнялись.

Борьян распахнул шинель и, сложив справку, упрятал ее в левый нагрудный карман гимнастерки, в котором солдаты носят свои партийные билеты.

После этого к нему шагнул Пенкин:

— Поздравляю, друг, от всей души поздравляю!

Кивнули Борьяну и Пивоваров, и Божиков, и Замшанин. Борьян широко улыбался, настроение его было приподнятое.

Залесов заметил, что хорошее настроение передалось и другим бойцам, и даже ему самому. Этого он уже никак не ожидал... Еще он заметил, что все бойцы, без исключения, стали теперь обращаться к нему на «вы».

А затем произошло такое, что снова повергло Залесова в смятение: Семен Пивоваров вдруг вытянулся перед ним по привычке старого, бывалого солдата и заявил:

— Нельзя ли и мне, товарищ командир? Вы теперь не один, вас двое. Вместе с вами буду...

Залесов снял пилотку с головы и, вытирая ею, как платком, лицо и шею, не отрываясь смотрел на Пивоварова расширенными глазами.

«А вдруг все захотят вступить в партию, что тогда? — думал он.— Обманывать людей? И что у этого Семена на душе? Может, он в свою просьбу всю жизнь вкладывает, может, прикидывал так и эдак! А, может быть, готовится к смерти и, как бы прозревая и внутренне очищаясь от всяких обид и мелких помыслов, просит принять его в партию, как верующие перед смертью просят об исповеди, о причащении?

Почему Пивоваров тянется к партии? Ведь в плен взять могут, а не боится...»

Залесов стал вспоминать, как сам он с юношеских лет связывал с именем партии все, чем жил, все, о чем мечтал, все лучшее, что видел и хотел видеть вокруг себя. И тогда ему показалось, что он нащупывает настоящий план спасения себя и своих товарищей, план атаки, что он понял наконец, что значит идти напролом. А ложь его — это ложь во спасение.

— Можем и тебя принять, Семен,— ответил он старому солдату.— Ты правильно сказал: сейчас я уже не один. Мы будем принимать тебя вдвоем с Борьяном. Как ты, Борьян?

— А разве я могу уже принимать? — удивился Борьян.

— Можешь! Формальности соблюдем после, а сейчас можешь!

— Спасибо за доверие, товарищ командир! — возбужденно поблагодарил Борьян.— Мы будем принимать вдвоем.

Пивоваров взял у Замшанина листок бумаги.

— Подожди, Семен,— остановил его Залесов.— Раз такое дело, я составлю общий документ. И будем действовать, как положено. Рассказывай пока о себе, кто ты есть. Правильно я делаю, Борьян?

— Правильно, товарищ командир!

Пивоваров растерялся. Что он может рассказать о себе такого, из-за чего партия должна принять его в свои ряды? Ему всегда представлялось, что в партию могут вступать лишь люди видные, занимающие какой-нибудь служебный пост, а он просто русский мужик, и в своем колхозе даже бригадиром ни разу не был и грамотой настоящей не владеет.

— О чем же мне говорить? — спросил он.

— Говори, откуда ты. Говори, что знаешь.

— Ну, мне скоро будет пятьдесят лет. Ярославский я. Жил все годы в деревне, потому здоровый. Воюю третий раз, лет десять на войне провел. Еще при царе воевал. Но тогда я был несознательный.

— А сейчас как? — спросил Замшанин.

— Сейчас ничего. Лучше стало. Вот к ордену меня представили. Всё понимаю. Два сына тоже воюют. Немцев мы, конечно, опять побьем. Ежели домой ворочусь, буду опять в колхозе работать и малых своих поднимать. Надо, чтобы все выучились, в люди вышли. И колхоз поднять надо Так я понимаю. Вот, товарищ командир говорит, что сейчас напролом пойдем. И я пойду, это уж точно, товарищ командир! А там видно будет. Может, и умрем, тогда вы напишете моим, что я в партию вступил. Ребятам, может, легче от этого станет.

Пивоваров замолчал, переложил винтовку из одной руки в другую.

— Все? — спросил Замшанин.

— А чего еще? Ничего я такого не сделал, чтобы... А там видно будет.

— Мы тебя принимаем в коммунистическую партию, товарищ Пивоваров, как советского воина и колхозника! — объявил Залесов и про себя подумал: «Верят, верят! Теперь мы выйдем из окружения!» — Борьян, согласен?—добавил он.

— Согласен, товарищ командир!

Залесову все еще не хватало убежденности в том, что он поступает правильно, и потому, продолжая следить за собою и за своими солдатами, он искал новых и новых подтверждений, что расчет его верен, что он не делает ничего плохого. А раз уж начал делать, раз уже решился, то, считал он, пусть никто не сможет упрекнуть его в недобросовестности.

— Дай-ка мне, Замшанин, листок побольше.

Залесов опять подошел к мерцающему просвету звездного окна и, как в первый раз, положив черепичную плашку на спину Борьяна, стал писать, произнося каждое слово вслух:

«Майору тов. Лебедеву,
заместителю по политчасти капитану Малкину.

Нас оценили немцы в скотном дворе. Будем прорываться. Перед боем вступаем в великую партию коммунистов...»

— Ничего не видно,— поднял он голову.

— Товарищ командир, у меня есть фонарик,— сказал Замшанин.— Давайте мы вас прикроем.— И показал ему металлическую трубочку со стеклом на конце.

Залесов подумал и согласился:

— Немецкий? Пускай светит. Только осторожнее.

Он устроился в сене, на полу, положив черепичную плашку с листком бумаги на колено. Замшанин стал ему подсвечивать, раскинув над ним полы своей шинели, как наседка крылья.

У отверстия в крыше остался стоять Борьян.

— Так... вступаем в великую партию коммунистов...— повторил вслух Залесов. Дальше:

«Если погибнем, просим утвердить заочно.
Да здравствует наша Родина!»

— Правильно я пишу, товарищи?

— Кажись, все так!

— Первым ставлю фамилию Борьяна. Как твои инициалы?

— Ашот Гургенович.

— Так. «Борьян А. Г.» Распишись! И адрес давай.

Борьян подошел, расписался и вернулся на свой наблюдательный пост. На листок был занесен и его адрес.

— Второй — Пивоваров Семен...

— Иванович,— подсказал Пивоваров.

— «Пивоваров С. И.». Распишись!

Пивоваров расписался.

— Вот нас уже трое,— удовлетворенно подытожил Залесов. Он впрямь начал верить, что и сам является коммунистом.— Трое. Да еще Губкин вернется. Теперь мы выйдем!

Но когда и Пенкин заговорил о вступлении в партию, Залесов опять испугался:

«Так и есть!.. Теперь и Божиков захочет. А ведь они из других частей, наверно... Скорей бы уж возвращались Иванов и Губкин!»

Едва он подумал об этом, как в лесу, где-то совсем близко, раздался истошный вопль немца, словно ему приставили нож к горлу, затем крики немцев же и, наконец, длинная тяжелая русская брань.

Бойцы повскакали со своих мест и схватились за винтовки. У Замшанина выпал фонарик из рук и сено под ногами на мгновение словно вспыхнуло. Залесов наступил на фонарик сапожищем, свет хрустнул и потух.

— Это Балюк выразился,— прошептал Божиков,— я узнал его голос.

— Живой?! — удивился и обрадовался Пенкин.

— Живой, слава богу,— подтвердил Божиков.

По лесу разнесся выстрел, за ним почти сразу второй, многократно повторенные эхом, потом заработали автоматы, словно кто-то начал торопливо бить в днище пустой бочки.

— Значит, не схватили. Совсем хорошо! — заключил Борьян.

Стрельба быстро отдалялась влево, становясь все глуше и тише.

— Гонят! — сказал Пивоваров, будто речь шла об охоте.— Надо бы уходить, товарищ командир.

— А Губкина с Ивановым бросим? — возразил на этот раз Пенкин.

Залесов промолчал.

Тогда Пенкин снова подступил к нему:

— Примите скорее и меня, товарищ командир. Тогда пойдем.

И, не дожидаясь, когда Залесов что-нибудь ответит, он, поглядывая изредка на Пивоварова и Борьяна, начал торопливо, заученно рассказывать о себе. Видно было, что в комсомоле ему нередко приходилось заполнять всевозможные анкеты.

— Я родился в тысяча девятьсот двадцать четвертом году в колхозе «Сибирский меринос» Рубцовского района Алтайского края. Отец мой чабан, мать рядовая колхозница...

Напористости Пенкина не противились, но бойцы прислушивались больше к затихающей стрельбе в бору, чем к его рассказу.

— ...Среднюю школу я не окончил, пошел на войну...

— Добровольцем? — спросил кто-то.

При других обстоятельствах, когда Пенкину приходилось говорить об этой поре, он сам, без всяких вопросов и с гордостью сообщал, что пошел на фронт добровольцем. Это, в сущности, так и было. Но сейчас утверждать, будто он не простой солдат, а какой-то особенный солдат-доброволец, значит, попросту бахвалиться перед товарищами. Ведь все равно срок его призыва подходил и он, так или иначе, был бы мобилизован, только, может, на несколько месяцев позже. Теперь вопрос товарища показался ему упреком за все его прежнее ненужное мелкое бахвальство, и Пенкин, смутившись, ответил:

— Что значит добровольцем? Все пошли, и я пошел.

— Ушел или нет? — раздумчиво спросил вдруг Залесов о Балюке.

— Ушел, наверно. В лесу темно,— так же тихо, будто про себя ответил Пивоваров.

— Я рассказал почти все, товарищи,— продолжал Пенкин.— На фронт я попал не сразу, был несколько месяцев на лагерной подготовке. Боялся, что совсем воевать не придется, но вот пришлось. Ну, там у меня было такое... Но я, товарищи, не пощажу жизни своей...

— Можно мне вопрос? — поднял руку, как на обычном собрании, Замшанин.— Мне хочется знать, как вел себя товарищ Пенкин в комсомоле. Чего-то он тут не договаривает, как мне показалось.

Пенкин смутился еще больше, и Залесов, заметив это, поддержал Замшанина.

— Правда, Пенкин, скажи-ка не по анкете, а по душам, что ты за человек, как сам себя понимаешь?

Пенкин сам уже почувствовал, что не все сказал о себе, не всю душу открыл. Но как рассказать о том, что он по-новому вспомнил только сегодня и что лишь сегодня осознал и поставил себе в вину как тяжелый проступок?

— Вот, товарищи,— начал он совсем не тем бодрым голосом, каким передавал анкетные данные из своей

биографии, а робким, беспомощным, когда вскрывают самые затаенные уголки души:— Вот я думал, что все у меня в жизни хорошо. Но Борьян тут говорил о Сталинграде, о случае с табаком, и я понял свою подлость.

И Пенкин коротко, но откровенно рассказал, как на исповеди, историю своих отношений с девушкой-одноклассницей, тоже Аней.

Вся история с Аней промелькнула, пронеслась в памяти Пенкина мгновенно, эту свою биографию он вспомнил разом, всю, до мельчайших подробностей, а своим товарищам рассказал, хоть и с предельной откровенностью, очень коротко.

В школе Аня и Пенкин дружили. Она училась на класс раньше его, но в десятом осталась на второй год, чтобы всегда быть с ним вместе.

Аня хорошо рисовала и за уроками то и дело набрасывала его портреты в разных видах. Очень живая, остроумная, милая со всеми, она пользовалась неизменной любовью и уважением и среди девушек, и среди ребят, но если кто-нибудь все-таки начинал злословить насчет ее знаменитой «Пенкинианы», она с серьезностью, не допускавшей кривотолков, объясняла, почему именно Сережа Пенкин интересен для ее упражнений карандашом, и тем обрывала всякие намеки на чувства.

Пенкину ее «упражнения в карандаше» льстили — и только. Он не мог серьезно относиться к девушкам, которые не вышли ростом. Маленький рост девушки он считал пороком, почти как физическое уродство. Аня же ростом явно не вышла, она была маленькая, как целлулоидная кукла с закрывающимися глазами, и потому Сергей не задумывался над ее отношением к себе.

После того как стало известно, что Пенкин уходит на войну добровольцем, он в глазах Ани стал совершенным героем. А герой даже не пришел проститься с нею, и это для нее было первым потрясением в жизни. Во сне и наяву мерещилось ей, будто Сережа обязательно погибнет, если она сама не расскажет ему о своей ужасной любви и верности до гробовой доски.

Ранней весной, дождавшись, когда от Пенкина был получен первый адрес, она бросила, как и он, учебу в десятом классе и, несмотря на слезы родителей, выехала к нему. В лагере она выдала себя за жену Пенкина, дошла до подполковника, тот ей поверил и разрешил свидания.

— Как ты сюда попала? — без конца спрашивал Пенкин одно и то же, когда вечером вышел по вызову за ворота казарменного городка, и Аня, живая Аня, не раздумывая, бросилась ему на шею.— Как ты сюда попала? Откуда?

Ему показалось невероятно странным, что на свете все еще существует где-то родная деревня, средняя школа со всеми его товарищами и что они по-прежнему продолжают посещать занятия и готовить уроки на дому. Три месяца, проведенные вдали от обычной обстановки, представлялись ему десятилетиями. Казалось, что навсегда ушло из жизни, из памяти в какое-то невозвратное *далеко* все его милое, в общем беззаботное детство и все, что с ним связано. И вот оно снова здесь, рядом,— как это странно!

— Откуда ты взялась, Анька?

Аня с разбегу повисла на нем и целовала его в щеки, в уши, в губы, срывалась и, подпрыгнув, снова ухватывалась за его шею.

— Сережа, милый мой, родной, ты жив, жив!

— Жив, а как же? — баском говорил Сергей, начиная и впрямь верить, что он уже настоящий, видавший виды солдат, и жизнь его каждый день висит на волоске.— Куда ты едешь?

— Никуда я не еду. Я без тебя жить не могу, Сереженька. Я же тебя люблю. Как я тебя люблю, ничего ты не понимаешь!

Но Сергей понял ее, понял по-своему. За эти три месяца он наслушался в солдатских поездах и в казармах всяких откровенно мужских разговоров и повзрослел. Нехорошо повзрослел. Впервые он увидел Аню женщиной, а не школьницей и почувствовал сквозь ее легкий костюмчик доступную девическую теплоту, ее доверчивую беззащитность.

— Пойдем, Аня, за город, у меня три часа отпуска. Я тебя люблю. Как хорошо, что ты приехала. Ведь, может, больше никогда и не увидимся.

— Пойдем, милый. Я знала, что ты мне будешь рад. Пойдем, покажи, где ты живешь.

— Потом покажу, сейчас пойдем на берег реки.

— Пойдем, у меня с собой карандаш и бумага, я опять буду тебя рисовать.

— Хорошо, рисуй, только пойдем! — повторил Пенкин с настойчивостью одержимого.

Аня была счастлива навсегда, навеки, так же, как совсем недавно считала себя навеки несчастной. А Сергей думал лишь о том, *куда* лучше увести ее, чтобы никто их не смог увидеть.

На высоком берегу реки, среди едва распустившихся берез и лип, счастливая Аня вдруг поняла, чего он хочет, испугалась и заплакала.

— Нельзя, Сереженька, милый, нельзя! — умоляла она.

Сергей был жесток и требователен. Он считал, что защитнику родины, уходящему на фронт, все позволено.

— Ты что, плакать сюда приехала? — зло спрашивал он.

— Сереженька, не надо! Я тебя всю жизнь буду любить.

— Тогда зачем же ты приехала ко мне? Уезжай обратно!

— Не надо, родной мой!

— Но ты понимаешь, что меня могут в первом же бою убить?

И Аня сдалась.

Три дня после этого она еще встречалась с Сергеем, пока не выплакала все слезы, и вернулась домой, не попрощавшись с ним.

А Сергей, подхваченный тогда новыми впечатлениями, даже не задумался над тем, что сделал со своей школьной подругой. Напротив, он еще обиделся, что Аня уехала слишком скоро, и не написал ей ни одного письма.

Лишь сегодня, после рассказа Борьяна, он почувствовал всю меру своей вины перед Аней и понял силу любви ее. Он так же осознал, что сам любит Аню, и уже не смерти своей боялся теперь, а боялся, что Аня может не узнать, что ныне он совсем не такой, каким был раньше.

— Подлец я, ребята, вот как я себя понимаю теперь! — заключил Пенкин свою исповедь, и солдаты словно притихли после таких его слов.

— Да, это тебе не история с табаком,— заметил длинноносый Губкин.— Можно любую статью припаять.

— Но я, товарищи, клянусь, что не пощажу жизни своей...— заторопился Пенкин, видимо испугавшись, что откажут ему в приеме в партию.

— Нашел о чем вспоминать! — брезгливо заметил Замшанин.

«А все-таки он чистый человек,— решил про себя Залесов, внимательно выслушав покаянный рассказ Пенкина.— Только это ведь мне так кажется. А что скажут другие?»

Вначале, когда речь шла об одном Борьяне, ну, о Пиварове еще, Залесов пошел на сделку со своей совестью, оправдываясь тем, что использует своеобразный тактический прием перед боем, из которого, возможно, никто не выйдет живым. Но сейчас, когда солдаты стали открывать друг перед другом святая святых своей души, Залесов снова оробел. Правильно ли он делает, играя на лучших человеческих чувствах?

«Правильно ли я делаю? — вопрос этот мучил его все больше и больше.— Может быть, теперь уже можно, уже пора открыть ребятам всю правду?» — «Нет, нельзя! — тотчас отвечал он сам себе.— Нельзя, не имею права».

— Пощадишь ты жизнь или не пощадишь — это один разговор,— сказал Божиков Пенкину, а только напиши ей письмо. А домой вернешься — женись на ней, сукин ты сын. Если б с моей дочкой сделал такое, гад!..

Залесов оглядел солдат:

— Ну, как, товарищи?

— Так он же теперь понимает все. Можно! — поддержал Пенкина Борьян.

— Значит, принимаем? — спросил еще раз Залесов и, занося впотьмах фамилию Пенкина на бумагу, добавил, обращаясь к нему: — Кровью врагов ты должен смыть с себя это пятно! Распишись.

— Смою, товарищ командир! — ответил Пенкин, ставя свою подпись на листе.

— Ну, кто еще... Божиков, и ты хочешь? — вдруг предложил ему сам Залесов.

— Не откажитесь и от меня, товарищ командир. Я всю жизнь плотничал на производстве и дома́ строил, а теперь вот четвертый год воюю. Промашка с винтовкой, конечно, была, только я винтовку не бросил, а сам не помню, как все вышло... один ведь остался. Со всеми вместе хочу.

Приняли и Божикова. Когда он расписывался, Залесов сказал:

— Вернемся с войны— жить будет, пожалуй, негде. Тебе поклонимся, нам по избе построишь. Если уцелеем...

Замшанин задавал вопросы и Божикову. Но сам вступать в партию не стал. Нет, он не отмолчался. Он просто заявил, что не считает для себя возможным пользоваться

особыми обстоятельствами, не хочет никаких поблажек, поэтому оставляет о себе вопрос открытым.

Солдатам от этих его слов стало как-то не по себе. Они понимающе переглянулись друг с другом и даже насторожились. «Боишься, оратор? — словно говорили они.— Это тебе не речуги произносить!»

А Залесов сказал с облегчением:

— Очень хорошо!

Припав еще раз глазами к листку, заполненному фамилиями и домашними адресами, он расписался сам: «Командир группы Залесов А. Я.» — а внизу, прикрывая на всякий случай бумагу рукой, добавил на ощупь: «Прошу принять в партию и меня».

— Вот, товарищи, это теперь как наша вторая присяга,— сказал он, складывая листок и пряча его во внутренний карман шинели.— Заметьте все, куда кладу.

— Уходить надо, товарищ командир! — еще настойчивее предложил Пивоваров.— Наши услышат, и соединимся в лесу.

Но Залесов не ответил ему. Он медлил. После всего, что произошло, он верил в своих товарищей, и этой веры уже ничем нельзя было поколебать. Эти воины исповедовались в своих слабостях и утверждались в своей силе, они сами для себя открывали истинные ценности жизни, каждый знал, на что он идет и что от него требуется.

И все-таки Залесов медлил, словно он ждал какого-то сигнала извне.

Этот сигнал извне наконец был дан.

— Немцы! — зашептал Борьян.— Идут сюда.

На этот раз предупреждение оказалось серьезным.

Залесов вскочил:

— Сколько?

— Не вижу.

— Приготовиться! Спускай лестницу!

Божиков осторожно открыл наружную дверцу сеновала, при этом дверца чуть скрипнула.

Пивоваров и Пенкин вскинули приставную лестницу и легко, бесшумно опустили ее одним концом на землю.

На сеновале стало светлей и повеяло свежим смолистым воздухом.

Залесов осмотрел всех. Рыжеватость его редких усов при открытой дверце стала заметна. Говорил он по-прежнему шепотом, но теперь резко, уверенно:

— Слушайте, ребята! Нам сейчас умирать не положено,— сказал он.— Понимаете, чего сейчас каждый из

нас стоит?! В партию вступают один раз в жизни. Второй раз принимать не будут.

Никаких других громких слов он не произнес, но бойцы поняли, о чем он думал и что хотел сказать.

— Пенкин, как ты?

— Я здесь, товарищ командир! — вынырнул из темноты Пенкин.

— Что там у тебя, Борьян?

— Кажется, пятеро, товарищ командир.

— Пятеро? Если войдут во двор — не выпускать. Я спрыгну в том конце, в дыру. Борьян и Пивоваров — по лестнице вниз и в ворота. Остальные за ними. Потом все вместе — в лес. Никого не оставлять, выручать друг друга.

Возможно, что немцы услышали скрип дверцы, когда ее открывал Божиков, а может быть, просто захотели проверить, есть ли кто в скотном дворе, только вдруг сухая автоматная очередь резанула воздух и пули тугой струей ударили по бревенчатой стене.

Никто не вскрикнул, не шевельнулся, лишь у Замшанина открылся рот и задергались обе щеки. Залесов бросился к нему.

— Что у тебя? Опять щеки заиграли?

Этот окрик, должно быть, взбодрил Замшанина, он сумел овладеть собой и ответил почти спокойно, правда, с небольшим заиканием:

— Ничего-го, товарищ командир, это только щеки.

— Гляди у меня! — на этот раз уже пригрозил Залесов.

Борьян поднял руку: больше разговаривать было нельзя, немцы подходили ко двору.

Внизу у самой лестницы раздался легкий свист. Пивоваров и Божиков одновременно высунули в открытую дверь стволы винтовок, но там оказались не немцы, а Иванов и Губкин. Борьян их не заметил.

— Тихо! — шепнул Губкин.— За нами идут.

По лестнице они не поднялись, а исчезли за стеной двора так же незаметно, как и появились.

Немцы подходили ко двору.

Залесов выхватил у Замшанина автомат, сунул ему в руки винтовку и, перебежав легкими быстрыми шагами в другой конец двора, склонился над широкой дырой, через которую раньше кидали скоту сено.

В пустом дворе было светлей, чем на чердаке,— свет проникал в окна с обеих сторон и в распахнутые ворота.

Немцы подошли ко двору почти неслышно, а заглянув в него и убедившись, что там никого нет, залопотали громко, чему-то радуясь. Все они были с автоматами.

«Эх, знать бы язык!» — подумал опять Залесов и, приготовившись к прыжку и еще раз взглянув на своих, решительно нажал на спусковой крючок автомата, направив его ствол в сторону ворот, в группу немцев.

Короткий стук автомата еще не замолк, а Залесов уже был во дворе и, дико крича, бежал к немцам, не видя их. Он сам бы не смог сказать, ка́к он прыгнул, когда и что при этом почувствовал— упал или не упал, да и вообще, прыгал ли он.

В следующий момент Залесову показалось, что он все еще стреляет, но уже по своим, так как в воротах двора стояли Пивоваров, Борьян, огромный Божиков, а хладнокровный, неторопливый, неизвестно откуда взявшийся Балюк снимал с немца автомат и планшетку.

Но Залесов больше не стрелял, это ему только показалось.

И никто не стрелял, просто в ушах Залесова гудело от первой его автоматной очереди.

И немцы не сделали ни одного выстрела.

Боевые стычки, подобные этой, почти всегда совершаются так молниеносно, что потом никто из участников не может толком понять и рассказать, *как* все произошло.

Живых немцев осталось двое. Они не сразу пришли в себя.

— Не трогать! — приказал Залесов, уже не шепотом.

Теперь все стали говорить громко.

Балюк по-хозяйски собрал автоматы и запасные обоймы к ним, нашел несколько гранат. Бойцы расхватали автоматы, но и винтовок своих никто не бросил. Только Божиков хотел было закинуть свою немецкую винтовку на сеновал, но тоже раздумал.

— Долго тебя по лесу-то гоняли? Я уж думал, все, отвыражался,— обернулся он к Балюку.

— Кто кого гонял...

В планшете оказались какие-то карты и тетради, и Балюк надел его на себя.

Один немец, опомнясь, вдруг вскинул руки: сда̀юсь, мол!

— Догадался! — сказал Залесов и попробовал объяснить пленным жестами, что если они побегут, он их пристрелит.

— Карашо! — сказал немец.

— Ага, понимает. Будет не хорошо, а плохо!

— Карашо! — сказал немец.

— Пойдете с нами в плен,— приказал Залесов.— Понятно?

— Они не возражают, товарищ командир, они согласны! — засмеялся Пенкин, который не знал, куда деть свою радость оттого, что все произошло так быстро и просто.

Да и остальные бойцы кипели от возбуждения и гордости каждый за себя. Сейчас это был действительно уже боевой отряд, а не группа случайно попавших в беду людей.

Оба немца были немолоды, не бриты, в грязной рваной одежде, видно, что им пришлось много ползать по сырой земле.

Той порой в поселке поднялся переполох. Над домами опять взлетела и повисла «люстра». Редкая беспорядочная стрельба из винтовок перешла в беспрерывную трескотню нескольких пулеметов. Куда они бьют, нельзя было понять, но вот ударил миномет, и стало ясно, что немцы берут под обстрел скотный двор.

Первые две мины легли далеко в стороне от двора, третья — почти за стеной.

Надо было срочно уходить.

Пленные немцы, прислушавшись к стрельбе в поселке, перекинулись друг с другом несколькими фразами.

— Пристрелю! — рявкнул Залесов. — Свяжите им руки!

Вязать было и нечем, и некогда.

— По русски понимаете? — спросил Залесов немца, который перед этим говорил «карашо».— Сколько ваших в деревне?

— Карашо! — ответил немец.

— В лесу немцы есть?

— Карашо! Плен, плен карашо!

— Пошли, ребята! Балюк и Губкин, смотреть за ними! Планшетку беречь, может, там что-нибудь и важное есть.

Перед тем, как выйти из ворот двора, кто-то, кажется Божиков, обратил внимание командира на то, что один из трех подбитых немцев начал шевелиться.

— Залесов оглянулся, но тут же бросил на ходу:

— Не трогать. Свои подберут. Пошли!

Очередная мина ударила в крышу, когда все они — девять советских солдат и два пленных немца — были

уже на картофельном поле. Осколков посыпалось сверху столько, что казалось, никто из них не уцелеет.

Правда, это были черепичные осколки, но именно в этот момент Залесов вспомнил и в первый раз в жизни произнес команду: «Коммунисты, за мной!» — произнес так, что у самого мурашки пошли по коже, а пригнувшиеся бойцы его выпрямились и во весь рост бросились вперед, как до них тысячи, сотни тысяч людей — бессмертных защитников Ленинграда, Севастополя, Москвы — кидались в огонь и в воду во имя Родины.

Дальше произошло следующее.

Добравшись до сосновой опушки, Залесов не пошел по старому следу, не стал углубляться в лес, в полную темноту, а круто повернул влево, и скоро перед солдатами открылся приречный луг. Пока все было тихо, и Залесов решил, что отсюда следует избрать направление и двигаться, ориентируясь по звездам, только прямо, чтобы не закружиться.

Прямо — значит, к реке. До реки, окаймленной кустарником,— из-за этого-то ее и разглядели,— надо было метров полтораста пройти по открытой местности. Примерно на половине пути стоял большой стог сена. Значит, первый бросок — к стогу. И только бегом.

Так и сделали.

До стога они не добежали, началась стрельба. Почему-то всем показалось, что бьют из стога, навстречу им, и солдаты, не сговариваясь, повернули влево, в обход стога. На стрельбу не отвечали, торопились скорей добраться до берега.

— Быстро, быстро! — покрикивал Залесов.

Но быстро не мог бежать Борьян, он снова сильно захромал. Тогда Иванов на ходу стащил с него винтовку и автомат, а Залесов и Пенкин подставили ему свои плечи.

— Не надо, вы только мешаете мне! — отбивался Борьян, а сам все больше отставал.

Иванов взвалил на себя еще две винтовки — Пенкина и Залесова; те, в свою очередь, почти подняли Борьяна, и он лишь изредка успевал толкать землю одной ногой.

— Быстро, быстро! — повторял то и дело Залесов.— Подними обе ноги, Борьян, легче будет.

Первая группа солдат вместе с пленными уже приближалась к реке.

В этот миг над лесом, в том самом месте, где все они только что были, взвилась ракета. Луг сразу ярко зазеленел, и впереди бегущих появились их длинные тени. Кое-где трава не была скошена, Залесов увидел много перестоявшихся ромашек и огромного Божикова, который несся к ним навстречу уже от реки.

— Стреляют сзади, в стогу никого нет! — крикнул Божиков.

— Давайте за стог. Быстро, быстро! — распорядился Залесов, увлекая за собой Пенкина и Борьяна.

Борьян с каждой секундой становился тяжелее. Залесов начинал задыхаться. Особенно трудно было ему из-за того, что Борьян время от времени резко отталкивался от земли своей здоровой ногой. Один раз он оттолкнулся так, что Залесов почувствовал боль во всем теле и свалился. Вместе с ним упали и Борьян, и Пенкин. Но Пенкин и Борьян тотчас же вскочили, а Залесов подняться уже не смог.

Когда подоспевший Божиков и Пенкин потащили его к стогу, он сказал:

— Подними обе ноги, Борьян, не толкай больше.

Еще он сказал:

— Быстро, быстро!

И затих.

Отстреливаясь из-за стога, солдаты оттащили раненого командира к реке и под прикрытием берега с полчаса поочередно несли его на руках вдоль самой кромки воды. Реку переходили вброд, место оказалось неудачным, глубоким, на середине реки Залесова подмочили, и он пришел в сознание.

— Несете? — сказал он, глядя в звездное небо.

— Несем, товарищ командир! — ответил ему Пивоваров.

— Немцев не отпустили?

— Будьте спокойны, не отпустим.

Борьяна через реку тоже перенесли на руках.

Люди вымотались и на противоположном берегу в густой заросли ивняка присели, чтобы передохнуть и перевязать командира. Ранен он был в бок навылет.

Когда тронулись дальше, на земле остались две винтовки.

Балюк заволновался:

— Подберите, сукины дети, пригодятся!

— Патронов же нет.

— Все равно бросать нельзя добро!

Удивительно, как этот хозяйственный человек умел следить за собой даже в таких условиях. Уж, казалось, и бежали сломя голову, и ползли, и в реке выкупались, у Замшанина снова лицо и руки исцарапаны, Губкин потерял шапку-ушанку, а на нем все по-прежнему было в порядке: ни одной оторванной пуговицы на шинели, ремень не сдвинут в сторону, волосы не выбиваются из-под пилотки и даже вымок он как будто меньше, чем другие.

Заречные немцы не преследовали советских солдат, но на этом берегу их опять обстреляли. Кажется, сразу с двух сторон, с флангов, но точно понять откуда — было невозможно. Пивоваров повернул всю группу в высокую переспевшую рожь.

Идти надо было спешно, и обязательно пригнувшись, и обязательно вразброд, чтобы не промять слишком заметную широкую дорогу.

— Вот в такую рожь и комиссар наш тогда кинулся,— напомнил Губкин о бесстрашном ленинградском моряке.

Залесова теперь несли на божиковской шинели, она была шире и длиннее прочих. Из-за того, что шли пригнувшись, солдаты быстро уставали и часто сменяли друг друга, лишь Пенкин не уступал своего места никому. Иванов тащил на себе вооружение четырех-пяти человек. Борьян шел сам, опираясь на палку, тяжело хромая.

Мягкие влажные колосья касались лица командира, и он то приходил в сознание, то начинал бредить.

Однажды он попросил:

— Не трогайте усов моих, ребята, я их всю войну отращиваю. Ничего, что рыжие...

— О чем вы, товарищ командир? — встревоженно склонился над ним Пенкин.

— Правильно ли я сделал, ребята?

— Правильно, товарищ командир, все правильно!

Залесов вдруг словно бы узнал Пенкина:

— А, это ты? Несешь?

— Все несем, товарищ командир. Вынесем, лежите спокойно.

— Крестники мои! — сказал Залесов и опять закрыл глаза.

Поле оказалось бесконечно широким, а с разных сторон то и дело раздавалась стрельба, и Пивоваров начал бояться, что они не успеют выбраться из ржи до рассвета.

— Быстро, быстро! — торопил он совершенно выбивающихся из сил людей и сам хватался за шинель, на которой лежал Залесов.

За полем в овраге у тихо звеневшего ручейка они еще раз присели отдохнуть. Залесова бережно положили в мягкую траву, где было посуше.

Он попытался подняться, но не смог.

— Все мои здесь?

— Все, товарищ командир.

— Выйдем?

— Полагаю, скоро выйдем, не сомневайтесь! — ответил Пивоваров.

— Бросьте меня... если умру. А сейчас... несите. Выйти надо!

Потом он подозвал к себе Пивоварова и слабеющим голосом сказал ему на ухо.

— Семен! Возьми у меня документ. Передай его капитану. Скажи ребятам, чтобы не обижались.

Пивоваров осторожно достал с его груди слипшийся мокрый листок, развернул и мельком прочитал последнюю фразу:

«Прошу принять в партию и меня».

— Ничего не надо говорить, товарищ командир. Выйти надо. Все жить будем! — сказал он и затем скомандовал: — Коммунисты, поднимайсь! Быстро, быстро!

На рассвете они оказались среди своих. Каким образом это произошло, никто не заметил, и после каждый рассказывал о переходе по-своему. Больше и азартнее других рассказывал Замшанин, создавая впечатление, что он-то и был самым главным организатором и вдохновителем перехода, самым находчивым и решительным.

Завидев советских солдат, Пивоваров закричал Залесову:

— Мы у себя, товарищ командир! Вышли!

Залесов медленно открыл глаза, чуть заметно улыбнулся и тихо, как бы про себя, сказал:

— Свободны! Правильно я сделал!

Его сдали в санбат.

Из расположения окруженных немецких войск выбиралось и продолжало выбираться немало бойцов, но к группе Залесова было привлечено особое внимание. Капитан Малкин, тучный немолодой человек, в прошлом преподаватель пения и секретарь партийной организации

музыкального училища, получив залесовский документ, вызвал к себе всех восьмерых бойцов и долго расспрашивал обо всем, что произошло с ними за эту ночь. Особенно подробно он хотел знать все, что касалось их вступления в партию. Солдаты охотно отвечали на его вопросы, но он спрашивал снова и снова, и в усталых внимательных глазах его выражался то восторг, то недоумение, то испуг. Казалось, что в душе его происходила борьба между добром и злом.

— Может быть, Залесов сделал что-нибудь не так, товарищ капитан? — спросил его Борьян.— Может, не по форме? Но ведь если бы не это, если бы не он...

И капитан Малкин решился наконец высказать свою личную точку зрения:

— Да нет... вы действовали, как коммунисты. Правильно он сделал!

— Правильно,— сказал и Пивоваров.— Жив бы только остался...

1957

БАБА ЯГА

Председатель колхоза даже обрадовался, когда деревня Отшибково перестала наконец существовать. Всего десяток хозяйств на небольшом островке посреди озера, оторванных от большой земли,— какая же это деревня?! Самостоятельную бригаду там организовать было нельзя, мост к ним не построишь, сселиться предлагали на центральную усадьбу — не соглашаются... Что было с ними делать, как их укрупнять! А без руководства не оставишь. И вот, почитай, раза два в неделю выгребал председатель к ним на лодочке через все озеро, чтобы присмотреть за землей, за сенокосами и дать нужные распоряжения и указания. Трудная была деревня, сплошной хуторской пережиток. И хорошо, что самоликвидировалась, забот меньше.

Разбежались люди по разным сторонам. Одни, из молодых, уехали на строительство Череповецкого металлургического комбината и там нашли свое счастье. Другие окончили техникумы, институты и ныне работают в местах, куда направили их по разнарядке. Были девушки, что вышли замуж за парней из соседних деревень, либо за военных и кочуют вместе с ними по всей земле. Из стариков и старух кое-кто перебрался на жительство к своим сыновьям и дочерям на новые пристанища, а большинство благополучно дождалось своей смерти у родного порога, на своей печи. Опустела деревня. Несколько домов продано на своз, раскатаны по бревну и переброшены в другие деревни, либо на жилье, либо на дрова. У остальных окна и двери заколочены — гниют дома помаленьку, перекашиваются, уходят в землю. Вот когда развалятся окончательно и следы быльем порастут — остров примет свой первоначальный божеский вид и можно будет начать его благоустраивать, либо распахать целиком, либо использовать под сенокосные угодья, а то и просто — пускай лес растет. Для колхоза лес тоже нужен.

В одном только доме теплится еще жизнь. Обитает в нем неорганизованная старуха, лет семидесяти пяти, крепкая и ядовитая, как мухомор. Умирать не хочет и не переселяется никуда. В колхозе она состоит, но какая уж это колхозница! Законов ничьих признавать не желает, на собрания не ходит, ни за кого никогда не голосует, правда, и пенсии не требует, как некоторые, зато уж и работать ее не заставишь — лучше не тронь и близко не подходи.

Как же она живет, чем питается, божья раба? Может, кто-нибудь из родных со стороны посылает на хлеб, на соль? Нет! Никто ей ничего ниоткуда не посылает. Да и нет у нее никого — ни сыновей, ни дочерей, ни внуков, ни правнуков. И не было никогда. Есть будто бы сестра где-то. Но сестра ли это ей?..

А живет раба божья неплохо. Коровы у нее, конечно, нет. Зато есть коза и семь овец. От козы молоко — много ли одной старухе молока надо? А овцы — это и мясо, и шерсть на валенки, на пряжу и на полушубок. Для себя хватит, и на хлеб, на сахар остается. И ведь не запретишь ей иметь такую прорву скота — стара, ни под какие законы не подведешь. Есть у старухи еще куры и гуси, а сколько их — она, верно, и сама не знает. Весь остров в ее руках, кругом только ее владения, бродят овцы и куры по всему острову, плавают гуси по озеру, никто им не указ, других хозяев на этом пятачке нет.

Но главное богатство у старухи — лодка. Давно уже не осталось ни у кого в личном пользовании ни одной рабочей лошади. А лодка — чем не рабочая лошадь? Больше того, настоящая живая лошадь на острове даже не нужна, а без лодки здесь никуда. Свой приусадебный участочек старуха вспахивает лопатой, зачем ей плуг, зачем тягловая сила? А без лодки она была бы отрезана от всего мира. Лодка для нее и транспортное средство, и орудие производства — на лодке старуха рыбу ловит. Конечно, в приозерных селениях в каждом доме по лодке, только надо признать, что во всем колхозе нет другой такой лодки, которая бы не протекала. А у старухи не протекает, у старухи лодка всегда ухоженная — залатанная, проконопаченная, просмоленная, можно сказать, как новенькая всегда. С такой лодкой что ей не жить! С такой лодкой старуха может протянуть еще сто лет. Она даже не дряхлеет — как состарилась однажды, так и держится. Задубела, как баба-яга...

Звали эту одинокую старуху Устиньей. Но за глаза, с легкой руки председателя колхоза, все называли ее Бабой Ягой. Должно быть, многим не была она по душе, если такая злобная кличка пристала к ней сразу и навсегда.

●

Штормовая погодка на озере не редкость. Ни с того, ни с сего на тихой синей глади появляется мелкая рябь, словно вдруг задрожит все озеро от предчувствия беды, суматошно побегут в разные стороны ветровые дороги, одна, другая, третья — то расширяясь и удлиняясь, то свертываясь, мечутся они, скрещиваются, как на росстанях, то в одном, то в другом месте. Потом сразу навалится ветер с берега, пригнет деревья и начнет баламутить воду, набивать белую пену, словно намыленное белье прополаскивает. В такие часы рыбаки на озере не задерживаются, убирают сети, сматывают удочки и спешат к надежной земле. Не раз бывало, что после шторма находили где-нибудь в прибрежных кустах разбитую лодку, и только после выяснялось, какой рыболов не отнесся с должным уважением к крутому характеру незнаменитого и небольшого, но очень капризного озера.

Свистит ветер, пронизывая насквозь камыши и кустарники, доламывает старые ветряные мельницы вблизи деревни Канашкино. А на берегу стоят председатель колхоза Павлухин Парфен Иванович с мотористом Веточкиным и ругаются, что не добрались куда хотели, пришлось высадиться и пережидать штормовой налет. Лодка была самодельная, простая и далеко не новая, а мотор сильный, с таким мотором она даже без волны постанывала и потрескивала — того и гляди, разлетится по швам. Еще бы несколько минут — и завернули бы за острова, на плес, в сторону деревни Борóк, где наверняка тихо, где ветер дует с другой стороны. Да ведь и председатель колхоза не все предусмотреть может...

Парфен Иванович был в кожаных сапогах с галошами, в сером габардиновом пальто-плаще, модных ныне среди ответственных работников всего района, и в серой шляпе. Среднего роста, полноватый, но здоровый, не рыхлый, с лицом красным, словно обожженный кирпич, и круглым; с лицом, на котором было все, кроме глаз, потому что глаза и без того узкие, в щелочках, прикры-

вались еще широкими полями шляпы, Парфен Иванович ничем не напоминал старых русских крестьян-хлеборобов, так же как ничем не походил и на современного крестьянина-колхозника, да никогда и не был таковым.

Выдвинутый на почетный пост председателя колхоза лет десять назад, Парфен Иванович все это время отдавал новой работе свое время и силы, но с редким упорством и последовательностью старался не отдавать деревне своей души. Он считал, что это его право, и потому сохранил в райцентре свою квартиру, не перевез к себе ни жены, ни детей, тщательно оберегал все свои старые приятельские и служебные связи, ревниво следил за городскими модами, сам одевался только так, как одевались районные ответственные служащие, и по-прежнему оставался в душе тем же, кем и был: работником торговой сети.

Моторист Веточкин, молодой плутоватый парень, одет был просто: промасленный ватник, заменявший ему летом и зимой рабочий комбинезон, такая же промасленная кепка и резиновые сапоги, пригодные на озере на все случаи жизни: в них он работал, в них рыбу ловил и в них же по вечерам ходил на гулянки к девушкам.

Парфен Иванович ругался, нервничал и, соответственно с его настроением, полы габардинового пальто раздувались, трепетали по ветру. А моторист Веточкин молчал — знал свое место.

Но вот оба они повернулись в одну сторону, всмотрелись в бурную озерную гладь и переглянулись.

— Видали, Парфен Иванович? — с удивлением спросил Веточкин.

Павлухин не сразу ответил, чтобы не произносить незначительных слов. А помолчав, промолвил:

— Видал. Баба Яга — она и есть Баба Яга!

— Ей бы летать на помеле, Парфен Иванович! — хитровато подмигнул Веточкин.

— Если бы не лодка, обязательно бы летала на помеле. А впрочем, кто ее знает... может, и так... Ведь не увидишь. Куда же она? А может, это не она?

— Она! Никто, кроме нее, в Отшибкове не живет, людей на острове нет.

Издалека хорошо было видно, как от безлюдного острова отчалила лодка. Сухопарая старуха в платке, сидевшая на веслах, то сгибалась в три погибели, и тогда концы весел мелькали над гребнями волн, то резко откидывалась назад. Она гребла, по-видимому, с большим на-

пряжением. Но все ее движения, все ее усилия, казалось, не влияли на поведение лодки. Женщина делала одно, лодка другое. Движения Устиньи были ритмичны и строго осмысленны, они подчинялись определенным законам целесообразности, а лодка прыгала с волны на волну, вверх, вниз, кренилась то на левый борт, то на правый, словно она только и ждет случая, чтобы перевернуться и навсегда исчезнуть в кипящем котле.

— Вот чертова женщина! — восхищенно воскликнул Павлухин.— Ведь семьдесят пять лет, а хоть замуж выдавай. Куда ее несет в такую штормягу, кто ее гонит? Переждала бы...

— В бурю, Парфен Иванович, нечистой силе завсегда не сидится на месте. А кто ее несет, куда гонит — давно известно. Об этом мы еще в школе читали: «Сколько их, куда их гонят...» Наверно, захотела попить чайку, а сахару в сахарнице не оказалось, ну и давай в магазин за три километра по озеру. Либо наловила много рыбы, а соли нет...

— Чертова женщина! — повторил Павлухин.

— Да уж точно, чертова баба! А скорей всего, она душу свою тешит. Ей нужно, чтобы качало. Она не может, чтобы не качало.

— Сильная женщина,— сказал Парфен Иванович.

— Могучая! — подтвердил Веточкин.— Мотор! Вы знаете, как она тонула? Годов пять уж прошло...

— Не слыхал.

— Быть не может! Об этом все знают.

— Я говорю, не слыхал.

— Где же вы тогда пребывали, Парфен Иванович? Ведь только пять годов прошло со времени этого приключения. Состоялся здесь какой-то праздник... Какие у нас старинные праздники осенью бывают?

— Я же не знаю.

— Религиозный какой-то, древний. Главное, что выпить было что. Вот, значит, захотела она на праздник выйти, захотела — удержу нет. А на озере лед, не лед — каша. Не все в тот день решились в озеро лезть, с горя пили на дому. А она села в лодку и сломя голову взялась за весла. Одна!

— Я слыхал про это! — остановил его председатель.— Она же не утонула!

— Она, конечно, не утонула. Но ведь четыре часа сидела затертая льдом.

— Я слыхал про это.

— Значит, не рассказывать?
— А ты сам видел?
— Все от начала до конца этими глазами.
— Рассказывай!

Мотористу совершенно не важно было, слыхал Парфен Иванович про эту историю с Устиньей или не слыхал, ему хотелось рассказать обо всем самому.

— Вот, значит, вышла Баба Яга из своего дому и села в лодку. А на озере лед, не лед — каша. Только отчалила от острова — газанул ветер. Ну, не такой, как сейчас, послабей, но ветер. И развернуло ее, бессмертную, вокруг своей оси и потащило в кювет, вон к тому берегу, в камыши, вместе с «кашей». Стала она отбиваться, стала выгребать, а лодку прет юзом прямо в камыши. Чем больше она гребет, тем хуже: на веслах намерзает лед, не весла уже, а колотушки. Казалось бы, хорошо — к берегу несет. Хорошо, кабы к берегу. Но у берега камыши, а в камышах каша. Ни выскочить нельзя, ни назад обратно не выбраться. А на берегу народ празднует. Сбежались к камышам: Бабу Ягу во льду затерло, сейчас тонуть будет. Стоят все, шумят, ждут, когда Баба Яга кричать будет. А она не кричит. Она не обращается к народу. Сарафан на Бабе Яге праздничный, старинный, кофта какая-то с воланами да с оборками, полушалок шерстяной, черный с красными цветочками,— все заледенело.

«Лодка-то крепкая у нее, не треснет?» — спрашивают. «Крепкая лодка, выдержит, наверно».— «Ну, тогда ничего, пущай посидит». Я тоже смотрю на нее с берега, думаю: помочь бы надо. А никто не помогает. Решительный народ, пьяный. Да и как ей поможешь?

Стала Яга разгребать ледяную кашу руками, весла уже не поднимешь: круглые стали, как культяпки. Схватится она за камыши, и подтягивается, и выкарабкивается вместе с лодкой все в сторону от берега. Это она правильно решила, что надо в сторону от берега. К берегу не выберешься, только на чистую воду надо. Работает она так — не то замерзает, посинела вся, не то вспотела, не поймешь. Час проходит, два часа проходит. Людям уже скучно стало. Расходиться начали, вино пить. А были и терпеливые, стоят на берегу, сами на ветру, мерзнут и все советуют, как и что делать, чтобы не утонула. Кричат ей: мол, выгребай, уже добра желают, а Баба Яга только шипит, согнулась, чуть не носом лед расталкивает. Знаете, Парфен Иванович, жалко было ее,

все-таки старуха. И страшно было: а вдруг она и вправду баба-яга, вдруг да рассердится, в гнев войдет... Это же не в сказке. Тут живые люди на берегу. Мне показалось, что у нее глаза сверкают, огнем горят. Но ничего, все обошлось благополучно. Ветер стих, и старуха сама выбралась из камышей. Нам прямо легче стало. Думаем, сейчас поплывет обратно, на свой остров, обсыхать станет. А она как только на чистую воду выбралась, так и повернула к берегу, опять к берегу, только подальше от камышей. Тут мы и увидели, что она синяя вся. А глаза, и верно, горят. «Водки! — хрипит.— Дайте водки. Намучилась»,— говорит.

— Всё? — спросил Парфен Иванович.

— Как всё, Парфен Иванович? Вон как ее качает, видите? Другая бы на ее месте после такого случая и в лодку больше не села.

— Родных у нее в деревне нет, что ли?

— Нигде никого нет. А вы про ее жизнь слыхали?

— Слыхал.

— Значит, не рассказывать?

— Не рассказывать.

— Еще удивительно, почему она вдруг на праздник захотела. Не любит она бывать на народе, особенно в праздник. И людей не любит.

— А где ты видал бабу-ягу такую, чтобы она людей любила? — спросил председатель.

— Это точно. В праздники, когда люди выпивают, они спрашивать охочи да вспоминать. А Устинья не любит, когда ее спрашивают о чем-нибудь да вспоминают про ее житье-бытье. Не рассказывать?

— Я уже сказал: не рассказывать.

Пока они разговаривали, лодка Устиньи ушла далеко в озеро. Ее все так же раскачивало и кидало в разные стороны, но продвигалась она все-таки в одном направлении.

— В магазин отправилась, в Корлипки,— констатировал моторист.

— Да! — согласился председатель.

Погода начала успокаиваться. Здесь это происходит так же быстро, как быстро поднимается волновая суматоха.

— Поехали,— сказал Парфен Иванович.— Баба Яга за нас работу нашу не сделает.

— Да, можно ехать. Можно было и не приставать к берегу. Все-таки это еще не волны.

Они забрались в лодку и оттолкнулись от берега. Председатель уселся на скамейку, подобрав полы габардинового плаща, а моторист рванул за веревку стартовый маховичок и, когда мотор заработал, стоя, взялся за рулевое весло. Рулевое устройство на самодельной моторке напоминало рулевое бревно на плоту, ручка от него, длинная и толстая, поднималась высоко над лодкой, и держать ее можно было только стоя. Поэтому моторист в лодке всегда стоял, а Парфен Иванович сидел. Так и полагалось выезжать на озеро с начальством.

Лодка круто развернулась и легко пошла вразрез волне. Ветер еще дул, и качка еще была, но уже незначительная.

— Может, догоним ее? — спросил вдруг Павлухин.

— Кого? — встрепенулся Веточкин и удивленно взглянул на председателя сверху вниз.

— Устинью.

— Бабу Ягу?

— Да.

— Догоним, Парфен Иванович, это нам ничего не стоит. Механизация!

— А зачем? — так же неожиданно спросил Павлухин.

— Значит, не будем догонять! — ответил моторист.

— Не будем, Борис! — в первый раз назвал он Веточкина по имени.— Лучше зайдем к ней на дом как-нибудь.

— А зачем? — спросил на этот раз Веточкин.

— Там увидим. Может быть, и незачем.

Сказал это Парфен Иванович и задумался: действительно, зачем?.. Женщина она грубая, резкая. Еще скажет что-нибудь не так. Обидеть может. Живет себе и пускай живет. А как живет? Чем живет? Что у нее на душе? Кто ее знает... Надо зайти...

•

Устинья ездила в Корлипки в магазин за хлебом. Почему в такую погоду? Ну, разве это погода!.. Такую ли погоду видывала Устинья на своем веку. И волна летом легкая, потому что вода теплая. Вот если осенью, то, конечно, и небольшая волна может беды наделать. Осенью волна тяжелая, тогда ее бояться надо. А сейчас Устинья даже не подумала, что лодка может не выдержать, перевернуться, что надо бояться чего-то. Совсем нечего было

бояться. К тому же — за хлебом, а не баловства ради вышла она на озеро.

Вернувшись домой уже по тихой воде, Устинья легко вытащила лодку по каткам на сушу. Это была ее пристань, ее причал. Таких, как у нее, катков не было и в соседних деревнях. Два больших длинных бревна уходят концами в воду. Между ними закреплены поперечные болванки, которые вращаются свободно. Лодка заходит носом на первую болванку еще в воде, и тогда ее, скользящую по этим вращающимся каткам, можно без напряжения поднимать выше, как по роликам.

Весла остались в лодке, не снятые с уключин,—здесь красть некому, остров безлюдный.

Нет, Устинья не была сгорбленной старухой, и это стало заметно, когда она, управившись с лодкой, вышла на берег. Сухопарая и высокая, длинная, как удилище, она напоминала сосенку, выросшую в густой, непроходимой чащобе и потому всю жизнь тянувшуюся к солнцу, а теперь вдруг оставшуюся в одиночку, совсем открытую ветрам и грозам, потому что все деревья вокруг либо полегли под топором, либо сгнили. Сосна не сгибалась, но была настолько не защищенной на этом юру, что, казалось, в любую минуту может согнуться либо совсем сломаться даже от небольшого, негрозового ветерка.

На берегу Устинья осмотрелась, словно проверяла: не изменилось ли что-нибудь на островке за ее отсутствие. Ничего не изменилось. Круглая деревенская площадь густо заросла травой. Интересно, догадается ли в этом году председатель скосить траву для колхоза или снова можно будет сенокосничать ей одной. С такой площади хватит сена овцам почти на всю зиму. А сколько травы наросло в этом году на заброшенных участках, в ямах, оставшихся после того, как дома были раскатаны по бревну и увезены с острова. Хорош травостой в этом году!

Четыре избы еще сохранились, стоят на старых местах, образуя полукруг. Давно сгнили на шестах скворечники, и скворцы в них уже не залетают, зато весь остров заселили дрозды. Сначала они только навещали его в осеннюю пору, когда поспевала рябина, а потом начали и гнездиться здесь, птенцов выводить. Никогда раньше, при людях, они на острове не гнездились.

На одном из заброшенных участков, ближе к берегу озера, вся земля была расковыряна разными случайными

рыбаками: сюда они причаливали за дождевыми червями.

Дом, в котором жила Устинья, издали казался тоже заброшенным, если не шел дымок из трубы и не возились у крылечка куры. Гуси же обычно пропадали на озере, в камышах, и их легко можно было принять за диких. Овцы тоже одичали и около своего двора табунились редко, а пугливо носились по всему острову. Во дворе они почти никогда не ночевали, летом в нем было душно и грязно. Приусадебный ухоженный участок был вдали от дома, на другой стороне острова.

Окна дома Устиньи выходили на круглую площадь, как и у других деревенских домов. Но у других домов окна выходили и в сторону озера, чаще всего это были добавочные избы. К избе Устиньи со стороны озера примыкал двор, и помещался он под одной крышей с домом. А у самого берега, почти у кромки воды, стояла еще банька — маленькая, горбатенькая, но доставлявшая Устинье раза два-три в месяц великое наслаждение своим вольным жарким духом, калеными вениками и склизким щелоком. Ни у баньки, ни вокруг дома не было ни одного деревца, их никогда тут не было. Зато вокруг других домов уцелели черемухи, рябины. Уцелели небольшие садочки и на местах развалин. В отдельных случаях только по этим группам деревьев и можно было определить, где стояло некогда людское жилье. Высоко в небо поднималась единственная на острове лиственница — северный дуб. Массивные ответвления ее, как рычаги, раздвинутые во все стороны, образовали зонт, под который в летние праздники собиралась, бывало, молодежь. Это место называлось угором. Тут заливались гармошки и криком выкрикивались задушевные и хлесткие частушки, в которых даже слова о безответной любви, о тоске-печали звучали с вызовом, дерзко.

Не от чая выцветает
Моя чашка чайная.
Никому я не скажу,
Зачем хожу печальная.

Либо пелись настоящие песни, но уже такие раздумчивые да протяжные, что даже не умещались на островке и потому расходились по воде кругами, плыли и летели далеко за озерные рубежи до ближайших сельских гулянок на большой земле.

Что же ты, лучинушка, не ясно горишь,
Не ясно горишь, не вспыхиваешь?
Или ты, лучинушка, в печи не была,
Отчего, березовая, не высохла?

Многое в жизни старой Устиньи было связано с этим угором, с этой широкой разлапистой лиственницей — много всяких надежд, невысказанных желаний, радостей, а позднее — горя. В девушках Устя была красивой, горячей, резкой на слова и на дела. Сил ей было дано столько, что, казалось, хватит на три, на четыре жизни. Эти силы полыхали в ее широко распахнутых глазищах, горели яркой заревой краской на щеках, либо вдруг проступали мгновенной бледностью. Платья и сарафаны не успевали на ней раскручиваться — с такой быстротой она закручивала их, вращаясь то в одну, то в другую сторону. Новых ботинок ей хватало на месяц, не больше,— так усердно она плясала и на угоре, и на берегу озера, и в любом доме, и куда бы ни шла с молодежью и где бы ни останавливалась хоть на минуту. Однажды мать запретила ей плясать в ботинках. Тогда Устя совсем перестала носить ботинки и привыкла дробить босыми пятками так, что другие и каблуками не могли.

И попеть Устя любила и умела. Пела она не громко, без видимого напряжения, никогда не переходила на крик, на визг в угоду нетрезвым бабам, считавшим, что чем громче поют девки, тем красивше у них выходит. Нет, пела Устинья как будто для себя, для своей души, поет и сама прислушивается, так ли у нее получается, про то ли голос выводит, про что в песне сказано. И многие хвалили ее — не только за разбитную пляску, но и за разымчивую песню.

— Не поет она, а ведет! — скажет, бывало, про Устинью какая-нибудь старуха под окнами.

— Что и говорить, зазнобистая девка растет, дай ей бог счастья! — скажет другая.— Худа́ только шибко, не кругла.

— Округлится еще!

Услышит это Устинья и вспыхнет вся, и побледнеет, и так и взовьется, будто в озеро прыгнуть хочет.

Недолго все это продолжалось. Очень недолго. Только-только начала она появляться на гулянках вместе со взрослыми девушками, полгодика всего погуляла, да и не гуляла еще, а присматривалась больше,— и все кончилось. Из подростков еще не вышла, девушкой-то еще не была — и кончилось все...

— Эвон, старая, с ума я спятила аль что? — вслух сказала вдруг Устинья, словно вздрогнула от своего раздумья, и пошла с берега к дому.— Ишь чего припомнилось!

А какая старуха, какой старик не вспоминают с сожалением о своей молодости? С годами воспоминания становятся все дороже, все привлекательней, и сама она, молодость, кажется совсем, совсем близкой, будто все было так недавно и быльем еще не поросло. Думалось раньше, что жизни конца не будет. Попробуй-ка в пятнадцать лет от роду представить себе, что ты дотянешь до семидесяти — с ума можно сойти.

А вот Устинье уже семьдесят пять лет, а частенько кажется, будто молодость была так недавно, ну, совсем-совсем недавно. Счастливое беззлобное времечко! Сколько нас ни унижали в эту пору, как ни били, ни трепали, мы все перезабыли, все простили, и в памяти остались только счастливые встречи, шумные праздники, веселая работа на полях да на лугах да многолюдные выходы за грибами, за ягодами. Никто нас тогда не обижал, все думали о нас только хорошее, да ведь и на самом деле — тогда, в ту далекую пору, мы были самыми хорошими на всей земле. Голодать приходилось — мы вспоминали только дни, когда были сыты; носить было нечего — ну и что ж, зато какое было здоровье и как хорошо было ходить босиком по родной сырой земле! Если же вдобавок ко всему жили у нас в соседней деревне добрые родственники, особенно если бабушка и дедушка — боже мой, какое наслаждение вспоминать до мельчайших подробностей время, когда мы гостили у них, пусть только день, пусть один час, но были в гостях и нас угощали всем, что было в доме лучшего, уговаривали отдохнуть с дороги, обязательно отдохнуть, а потом вели к соседям, опять в гости — в один дом, в другой дом...

— Ишь, старая ведьма, разнюнилась, слезу пустила! — ворчала Устинья на себя, но воспоминания уже захлестнули ее и остановиться было невозможно.

Войдя в избу, Устинья положила купленную буханку пшеничного хлеба в лукошко, есть уже не стала, потому что по дороге изжевала хлебный довесок и чувствовала себя сытой.

«Вот тебе и Баба Яга»,— подумала она о себе. Тоскливо стало, тоскливо. А когда тоскливо, опять старое

приходит на ум. Опять себя жалко... И воспоминания о молодости тут как тут. Такие воспоминания всегда рядом, словно ждут, когда человеку станет тоскливо.

•

Известие о смерти отца Устя переживала не очень тяжело и недолго. Она перестала ходить в школу, чтобы помогать матери по хозяйству, и это ей поначалу даже понравилось. А мать поплакала, поплакала и приняла в дом приемка. Одной жить, видно, показалось невмоготу. Да и кому одной жить вмоготу? Усте стало легче, но в школу она все-таки не вернулась, к тому же у матери появились новые дети, и Устя стала нянчиться с ними, сначала с одним, потом с двумя сразу. Отчим с Устей был ласков, очень ласков, но она почему-то никогда не смогла назвать его папой или тятей, как требовала мать. Может быть, уже предчувствовала недоброе.

В праздники и по вечерам девочка ходила на угор петь и плясать вместе со взрослыми. Мать не удерживала ее, только приказала не плясать в ботинках. «Хоть в лаптях пляши, а чтобы ботинки были целы, еще изорвешь не одни, придет время». Устя научилась плясать босая. Время для ботинок так и не пришло. Отчим изнасиловал ее, когда девочке едва исполнилось пятнадцать лет, и счастливая, бойкая молодость оборвалась грубо и резко.

Как-то, возвратившись с дальнего сенокоса, Устя начала заикаться.

Мать спросила:

— Ты чего рот закрыть не можешь, напугалась, что ли, чего?

Девочка с трудом выговорила, что эт-то т-та-ак, что он-на н-ниче-го-го, н-не н-напугалась,— и зарыдала.

— Доплясалась, окаянная, докружилась! — со злостью сказала мать.— Шибко рано приохотилась на угор бегать, все гуленки да гуленки. Спать надо больше. Вертоголовая!

Никакого другого разговора у них не было, и мать так ничего, может, и не узнала бы о горе своей дочери, если бы для Усти не потребовалась срочная врачебная помощь. Родной матери она никогда не решилась бы сказать ни одного слова — не матери, а лишь старой тетке, сестре отца, которая пришла посидеть у ее постели, под страшным секретом рассказала, что она вся в крови и что

ей больше никогда не встать на ноги. Сметливая тетка скоренько отправила приемка за волостной фельдшерицей и, пока он ездил, дозналась до всего остального, а выпытав все, тут же пересказала матери. Мать не сразу поняла, о чем идет речь, а когда поняла, то не поверила, до того чудовищным показалось ей все.

— Что ты, подлая, тут плетешь, на кого напраслину возводишь? — закричала она на бледную рыдающую девочку.

Но поверить все-таки пришлось. Тогда она испугалась и за дочь, и за своего мужа, и за участь своих младших детей, и за себя — за всех сразу. Но больше всего, кажется, испугалась она за судьбу своего мужа.

— Только не говори, Христа ради, никому! — взмолилась она родственнице.— Ничего никому не говори! Устя не пикнет, только ты не разноси. Господи, что будет, если народ узнает! Слышишь, Устя,— поворачивалась она к дочери,— смотри, чтобы ни слова! Простить надо, а то всю семью загубят, хозяйство рухнет. Ведь посадят его.

— Не жалко тебе дочери своей! — ужасалась тетка.

— Как не жалко! Да ведь ничего не вернешь, а у меня не одна дочь, у меня их еще две. Простить надо!

— Я не прощу! — сказала вдруг Устя с какой-то недетской озлобленностью и перестала плакать.

— Ты мне характер свой не показывай! — взъелась мать.— Всех загубить хочешь? Как это так — «не прощу»! А если я тебе приказываю? Ты смотри у меня! Как это ты отца своего не простишь?

— С ума спятила баба! — тетка ушам своим не верила.— Что ты говоришь? Какой же он отец ей после этого? Опомнись!

— Не опомнюсь. Он мне муж!

— И тебе он не муж. Он разбойник. Его судить надо.

— Не дам судить. Устю из дому выгоню, а его судить не дам.

— Не прощу! — сухо и негромко повторила Устинья.

Фельдшерица осмотрела девочку и в тот же день отвезла ее в уездную больницу, в хирургическое отделение. Там был составлен протокол, и уголовное дело попало в суд. Отчима посадили в тюрьму на десять лет.

Устинья вышла из больницы и первое время жила у тетки. Она заметно повзрослела, но не только не округлилась, как предсказывали старухи, а исхудала совсем и стала еще бледнее, чем была. Только глаза ее горели

яростным черным огнем. На улицу Устя почти не выходила. Ей нельзя стало показываться на народе. Отчима засудили, и ей не давали житья — над Устиньей издевались, в нее тыкали пальцами: «Видали плясунью!» — и громко говорили про нее стыдные слова или напевали скабрезные частушки. Жить у себя на родине стало невозможно, а о том, чтобы уехать куда-либо, Устинья и думать не могла: кроме своей деревни, она нигде еще не бывала и боялась всего. Попытка покончить жизнь самоубийством не удалась. Устинью вынули из петли, при этом сбежалось много народу, молодые парни видели ее голые ноги и стали еще больше смеяться над ней. Подростки не давали проходу, приставали к ней и в поле и на лугах, даже хулиганили.

Мать осталась с малыми детьми одна, а надо было вести хозяйство, тянуть и за себя и за мужа. Кроме Устиньи, некому было помочь ей, не с кем лошадь отправить в ночное. Теперь она пахала сама, а Устя могла бы боронить. Утром мать подоит коров, а Устя могла бы их отогнать на пастбище. Почти все по хозяйству могла бы делать Устя. Мать решила, что без своей старшей дочери она жить не может. И все чаще стала навещать ее, все ласковей заговаривала с ней.

— Ты домой-то скоро вернешься? — спрашивала она ее.

— А где мой дом, мама? — всерьез недоумевала дочь.

— Где мать, там и дом твой.

— Не мой это дом.

— Как это не твой? Что ты, доченька?

— Если бы ты одна была, другое бы дело.

— Да разве они тебе помешать могут? Крохи ведь! Сестры ведь твои это.

Устинья надолго замолкала. Мать не выдерживала и снова начинала разговор.

— Ну что же ты молчишь?

— А что мне сказать?

— Скажи что-нибудь.

— А что мне сказать, мам?

— Вернись домой. Трудно мне без тебя, Устя.

— Не могу я.

— Да ведь прошло уже все. Что было, то сплыло.

— Никогда не пройдет.

— Сестры ведь твои.

— Не могу я, мама.

— Чего ты не можешь? Здоровая, а злая.
— Нездорова я. Не могу.
— Задумала опять что-нибудь?
Ничего Устинья не задумала, просто она видела, что маленькие сестры очень похожи на своего отца, и это отпугивало ее от них. Как-то Устинье даже показалось, что вырастут они — и тоже будут волосатые и бородатые, и ей стало страшно. Устинью стали подозревать, будто она решила выжить младших девочек из их родного дома. Это была неправда. Но когда мать отвезла девочек на летние месяцы в другую деревню, бабушке и дедушке, Устинья поняла, что именно этого она и хотела.
— Сейчас пойдешь домой? — спросила ее мать.
— Пойду.
— Значит, ты их совсем извести захотела?
— Нет.
— Как нет?
— Я только с тобой хочу жить с одной.
— А их куда?
Устя опять промолчала. Потом она спросила:
— Они вернутся?
— Вернутся. И ты опять уйдешь?
— Не знаю, мама. Я не люблю их.
— Кажется, ты никого не любишь. Злая ты стала.
— Не знаю, мама.
Мать очень затосковала по своим девочкам и винить в этом стала Устю. Чем больше тосковала и чаще вспоминала о маленьких, тем больше не любила она старшую дочь.
— От бабушки пришла весточка, что девочек взять надо,— сказала она как-то Усте.— Здоровье у стариков плохое, с детьми возиться некому. Может, отдадим их на воспитание в город, в приют? — спросила и ждет, что скажет, что думает Устя.
— Ничего я не знаю,— только и ответила Устинья.
— Как это ты, подлая, ничего не знаешь? — взъелась мать.— Всех из дому хочешь выжить и меня потом выживешь?
— Не знаю! — сказала Устя.
И как ни нужна была в доме помощница, как ни торовата была Устя на любой работе, мать все-таки выпроводила ее из дому.

К тетке Устинья не вернулась — жить в деревне все равно было невозможно. Она ушла из родных мест, и несколько лет о ней ничего не было слышно. Передавали только, будто она живет где-то «на городах».

●

А жила Устинья и в няньках, и в кухарках, и в прачках. Работала и на попа, и на купца, и на дохлого вдового интеллигента. И сладко бывало, и несладко бывало. Работала много, тосковала по родной деревне и думала только об одном: забудут или не забудут? Каждый месяц откладывала понемногу деньжат, берегла в сундучке всякие праздничные подарочки и подношения, любая светлая безделушка казалась ей драгоценностью; обзаводилась бельем, одежонкой. «Вот приеду в деревню барыня барыней,— думала она,— всем по подарочку поднесу, да как выйду в круг под лиственницей, и не босая, а в городских ботиночках на высоком каблучке, да как топну, да как... и всё простят!»

«А разве я в чем виновата?» — тут же спрашивала она себя, и горькая обида выступала красными пятнами на ее лице и шее, а нередко и слезы заливали глаза. Жалко было загубленной молодости, оставленной родины — всего было жалко. Но казалось, что все хорошее еще вернется к ней. Время для Устиньи как бы остановилось. В ее представлении родная деревня оставалась какой была: не старели дома, не разрушались изгороди, каждая весна начиналась с престольных праздников, а осенью варили пиво и справляли свадьбы, и обязательно каждый вечер собиралась молодежь под лиственницей. Всё по-прежнему, по-хорошему. И молодежь па кругу была все та же — те же подруги, те же парни. Поколения не сменялись, никто не старился; и замуж выходили и женились, казалось, не те знакомые ей с детства девушки и ребята, а какие-то другие. Самое себя Устя видела тоже какой была в те последние счастливые деньки, почти девочкой. Только теперь она уже была не босая, а в начищенных ботиночках, и не в сарафане, а в платье — либо сатиновом, либо атласном, а не в каких-нибудь обносках, и в ушах у нее сережки, а на голове шерстяной узорный полушалок. Выйдет вот так — и все начнется как было раньше, жизнь продолжится, будто она не обрывалась.

— Забудут или не забудут? Простят или не простят?

•

Устинья не раз видала на своем веку, как умирают собаки. Одну пегую дворнягу раздавил грузовик на дороге. Когда к ней подошел хозяин, она взглянула на него с прежней доверчивостью, только жалобно, из последних сил приподняла голову и заскулила так, что, казалось, вот-вот вильнет хвостом и лапу ему подаст. Должно быть, она все еще надеялась, что он, ее добрый царь и бог, спасет ее, что она снова будет жить. А хозяин просто взял ее за хвост и кинул в канаву, чтобы не валялась, не мешала на дороге.

Тогда собака умерла.

Много раз Устинье приходилось самой топить котят от своей кошки. Подвал на приусадебном участке давно был распилен на дрова, столбы фундамента сгнили, а яма осталась и постоянно наполнялась водой до краев. Устинья кидала котят в яму, они пищали, пытались плавать, а она палкой по одному погружала их в воду, чтобы не мучились зря.

Сотни кур и молодых петушков умерли под топором Устиньи. Твердой рукой она отрубала им головы и отбрасывала в сторону, потому что так полагалось, и не было в этом ничего жестокого. Пока отрубленная голова моргала глазами и подергивалась, туловище птицы прыгало, вытягивая безголовую шею, и брызгало кровью и словно все еще продолжало кричать, как только что кричала в руках Устиньи пойманная курица.

Видала Устинья, как засыпает рыба — в сети́, в верше, под ножом. Не однажды видала, как умирают люди, сама принимала не одну отходящую душу и последние мольбы и причитания. Помнит, как вымирали целые семьи.

За долгую свою жизнь доводилось Устинье видеть и другое: как гибнет лес от пожаров сразу на десятках километров, как реки мелеют и покидают свои старые русла...

Но никогда не приходилось Устинье видеть, как умирает деревня, умирает постепенно, дом за домом, пустеет, разваливается, замолкает — целая деревня сразу... На старости лет довелось увидеть и это.

Давно уже замечено, что муж и жена со временем начинают походить друг на друга даже внешним обличьем, а дома́ становятся похожи на тех, кто в них живет. Устинья тоже приметила, что избы очень похожи на своих хозяев, тем тяжелей было следить ей, как избы

меняли свой облик, разрушались медленно, но неотвратимо.

Вот на самом берегу озера стояли хоромы — две избы с двором под одной крышей: одна изба окнами к воде, другая, с противоположного конца, окнами на круглую деревенскую площадь, а между ними скотный двор. Многочисленная семья перед войной жила в этих хоромах, даже двух изб не хватало для всех: большак и большачиха, они же свекор и свекровь, они же тесть и теща; два сына и жены их, они же снохи и свояченицы; дети их — они же внуки и племянники; три сына холостых, они же девери; три дочки незамужние, они же золовки... Что мужики, что бабы из этого дома — одинаково любили покрасоваться, побахвалиться перед своими соседями. Девушки и молодицы первые в деревне начали носить городские юбки и кофточки и городские платья вместо сарафанов с фартуками. Молодые ребята первые среди своих сверстников начали курить папиросы, а не махорочные самокрутки — хоть копеечные, хоть «гвоздики», а все-таки папиросы. Пусть мухи от них дохнут, зато какие названия: «Самолет», «Давай покурим», «Ракета»!

Самым неуемным человеком в доме был старик-большак, Матвей Торопов, владыка всех душ и животов в семье. Это он, Матвей, первый в деревне захотел, чтобы окна его дома выходили и на воду и на сушу, чтобы солнце целый день не покидало избы, а главное, чтобы видно было из окон, что делается в деревне, что делается на озере. Он первый, вероятно, положил начало новой архитектурной композиции, в которой скотный двор зажимался меж двух изб. Востер был на выдумки мужик, боек на язык, важен на вид, тороплив на ногу. И прозвали его, Торопова, Торопыгиным. И стала эта кличка для него самого и для всех его сыновей, и внуков, и правнуков, для всего потомства на многие поколения, на веки веков второй фамилией. Каких только причудливых украшений не придумал Торопыгин для своих хором, чтобы поразить завистливых соседей: тут и резьба на окнах и на воротах ограды, и тесовая обшивка стен, и разноцветные резные и рубленые петухи, и конек над крыльцом, и над оградой, и над крышей с двух сторон, и узорные, расписанные масляными красками карнизы. Очень похож был форсистый торопыгинский дом на своих хвастливых хозяев, на самих Торопыгиных.

Но все это пошло прахом.

Началось с того, что три сына не вернулись с войны. Овдовевшие снохи, бабы приглядные, работящие, помучились, помучились и вышли замуж в те деревни, из которых были взяты. Деток своих они поделили: старших взяли с собой, младших оставили дедушке и бабушке на воспитание. Подросли эти внуки, подучились и разъехались — один в Череповец, домны строить, другой окончил ФЗУ и тоже стал работать на каком-то заводе. Два уцелевших на войне сына жить дома не согласились, но гостить ездили каждое лето, пока старики были живы. Старший сын остался в армии и дослужился до генерала, младший Торопыгин пошел на партийную работу, его избрали секретарем райкома. Дочери Торопыгины в девках не засиделись — двух, что повиднее, моряки-отпускники увезли в Ленинград, а третья устроилась работать директором швейной артели в райцентре.

Старик Торопыгин не жаловался на свою судьбу: все его дети вышли в люди, никого власть не обидела. О погибших что́ говорить — они погибли. У кого в эту войну не сложил голову хоть кто-нибудь — таких семей не было. В каждом доме один-два покойника. Старик все принял как есть. А все-таки семья его, огромная и дружная торопыгинская семья, распалась. Непоседливому старику стало скучно жить на земле: нечем заниматься, не к чему руки приложить, не на кого покричать. И большак умер. Он не болел, не надоедал никому кашлем, стоном, жалобами, ни разу не обращался к врачам, ни даже к фельдшерам. Не болел, а просто собрался и умер потому, что время пришло, потому что так решил, так надо было.

А старуха Торопыгина еще несколько лет после этого ездила по гостям: поживет месяца два-три у генерала и, когда невмоготу станет ладить с легкомысленной накрашенной генеральшей, переедет к сыну — партийному секретарю. А потом в Ленинград — к одной дочке, к другой дочке, «по морям, по волнам, нынче здесь — завтра там», поживет, наконец, в родном районе у дочки — швейной директорши, а от нее с новыми сарафанами и кофтами, с новыми шалями и полушалками, в новых пальто — и летнем и зимнем — начинает весь круг сначала.

Теперь окна торопыгинского дома заколочены, вся красота его сгнила, резные наличники осыпались. А главное, прогнулась длинная крыша в самой середине, та часть, что была над двором, сгнили стропила. Строили

Торопыгины навеки, но ничего нет вечного на островке, в деревне Отшибкове. И стал большой и важный торопыгинский дом походить на зверя с переломанной спиной. Сквозь доски на окнах, как сквозь прикрытые от боли веки, влажно поблескивают стекла.

С обеих сторон торопыгинского дома торчат из бурьяна и осоки остатки глинобитных печей. Устинья хорошо знала всех, кто жил на этих местах, но их уж нет и домов нет, стоит ли и вспоминать о них!

А вот изба Пелагеи Степиной. Господи, до чего же это была неряшливая хозяйка! Вся округа знала об этой неряхе и, где бы ни собирались гости — за праздничным самоваром или за бутылкой водки, не обходились веселые разговоры без смешных историй о Польке Степиной. Рассказывали, что она подоила корову в помойное ведро вместо подойника, а из подойника вымыла пол в избе. «А разве она когда-нибудь моет пол в избе?» — спрашивали при этом. Рассказывали, что по утрам она подолгу не одевалась и ходила в грязной нижней рубахе-по́дставе, особенно когда возилась у печи, стряпала. В деревне соседки нередко одалживают друг у друга печеный хлеб. У Польки старались не одалживать: в ее караваях обязательно находили либо волосы с головы, либо что-нибудь и похуже. А как-то стряпала она к празднику пироги с рыбой и вместо рыбы завернула в тесто свою тряпичную грудь, вывалившуюся из-под рубашки, когда она наклонилась над столом. А потом будто бы угощала этим рыбником попа и приговаривала: «Кушай, батюшко, что в пироге, а на корочку наплюй!» О муже Пелагеи Степиной никогда ничего не рассказывали, потому что не он в доме был главным. Разве что кто-нибудь буркнет про него неуважительно: «Это не большак!» — и всё. Мужиков, которые отдавали вожжи своим женам, в деревне ни во что не ставили.

Зато и дом Степиных был похож не на хозяина, а на хозяйку. Его называли: Полькин дом. Он был всегда неприбран, неухожен, грязен. На крыше вечно валялись какие-то палки, старые веники, лапотные ошметки-обноски. У крыльца даже в сушь стояла лужа. Изгородь либо повалена — и тогда свиньи разгуливали на картофельных грядках, либо небрежно залатана еловыми ветками и подперта то оглоблей, то вилами. Надолго ли еловые ветки? Пока они свежие — даже куры не проберутся на огород, а чуть подсохнут хвойные иголки — и опять зияют дыры сверху донизу.

Зады Полькиной избы выходили на озеро, и это было самое смешное, потому что с дощатых настилов, открытых в сторону озера, постоянно свешивались голые зады. Это была «Полькина уборная». Не однажды озорники стреляли сюда с лодок из ружей сушеным горохом, но, видно, поразить цель никому не удавалось и уборная так и оставалась не прикрытой никакими дощечками.

Третий уцелевший в Отшибкове дом напоминал человека на костылях и тоже очень походил на своих хозяев, хотя в семье никого хромого не было. Да и не дом это уже был, а лишь половина дома. Раньше под одной крышей было две избы, соединенных в виде пятистенка. И в двух избах жила одна дружная семья. Но выросли два сына, оба выучились, оба женились на ученых девушках и начались в доме такие раздоры, что не стало им житья под одной крышей даже в разных избах. Тогда старший брат разобрал одну избу и перевез ее в другой конец деревни, а крыша так и осталась на два ската, и, чтобы она не обвалилась, поставили под нее на опустевшее место столбы. Так и стоит сейчас половина дома и над ней половина крыши, а другая половина крыши на столбах, как на костылях. Почему этот дом на костылях походил на своих ученых хозяев, которые тоже уже давно покинули родное Отшибково, Устинья не смогла бы сказать, а все-таки походил чем-то. Отпочковавшаяся изба недолго стояла в стороне деревни. Муж с женой не поладили, развелись, а так как детей у них не было, то и продали дом на дрова и разъехались по разным сторонам в поисках нового, лучшего счастья.

Чем больше брошенные дома имели сходства со своими прежними хозяевами, тем печальнее для Устиньи было наблюдать, как постепенно разрушаются они. Словно живые люди дряхлели и разваливались на ее глазах. Сначала дома́ лишались своего жилого вида, потом они теряли свою красоту и с каждым годом становились беднее и беднее, превращались как бы в нищих, которые, для того, чтобы продлить свое жалкое существование на земле, должны пригибаться, перекашиваться, пускать слезу, вызывать сострадание.

Оставшись на острове одна, Устинья время от времени навещала чужие избы, как заброшенные могилы. Это было не всегда безопасно. Однажды переступила она порог в избе Торопыгиных и чуть не провалилась в подполье: рухнули сразу две половицы, и коричневая труха посыпалась из-под ног, и коричневая пыль, как дымок,

заклубилась у подоконников. Грустно было смотреть и на прогнувшуюся над двором крышу, как на перелом спинного хребта, и на треснувшие стропила и потолочные балки. Грустно и опасно. Кажется, кашляни погромче — и рухнет все сразу, и прах подымется выше печных труб.

Но всего тоскливее было приходить на пепелище дома, в котором когда-то жила Устинья как молодая жена и как будущая полновластная хозяйка — в это она тогда верила. Правда, верила недолго. Тоскливо, а порой и страшно было даже просто проходить мимо останков своего былого счастья. Да было ли счастье-то? Конечно, не было его. Оно померещилось. Но тогда — хоть недолго, а казалось, что оно будет. Что ж!.. И на том спасибо.

●

Блудную дочь мать приняла хорошо, будто и не было между ними никогда никаких неприятностей.

— Ой, какая ты стала, и не узнаешь: ладная да складная, дородная да нарядная! И где столько добра набрала, неужто в люди вышла? А сережки-то какие, господи боже мой! Такие сережки не во всякие уши можно вдевать.

Устя вынула из своих ушей блестящие сережки со стекляшками на фольге и подала их матери.

— С ума сошла,— начала отбиваться обрадованная мать.— Этак тебе и сказать ничего нельзя, все раздашь, что привезла. А много привезла-то?

— Много, мама!

— О господи! А мы тут живем!.. Всего именья — песок да каменья. Давай-ко попьем чайку, да показывай все, открой сундуки свои.

— Открою, мама.

Две девочки, высокие, длинноногие, пугливо смотрели на Устинью, боясь признать ее и не зная, как себя вести. Мать кивнула:

— Сестры твои. Видала, какие стали? Еще год-два, и догонят тебя. А *о нем* ни слуху ни духу. Ну, прости уж...— сбилась она с рассказа, заметив, как Устинья сразу помрачнела при одном упоминании об отчиме.

Гостья открыла один сундучок, порылась в нем и подала девочкам по отрезу мануфактуры на платья. Мать обрадовалась еще больше.

— Вот и хорошо. Вот и заживем мы душа в душу. Все мы сироты теперь.— И заплакала.

Устинья чувствовала себя легко, как после горячей бани, и благостно, как после длительного поста и причастия. Ей хотелось быть нужной для всех, доброй и незлобивой. Все обидное забылось и простилось.

По деревне разнесся слух, что Устинья стала очень богатой и приехала к матери насовсем. Подружки, с которыми она раньше гуляла, те, что еще не вышли замуж, и парни, еще не женившиеся, ждали Устинью на угор. И как только закатилось июльское солнышко, она пришла на угор. Казалось, это стало для всех праздником. Ее завистливо и почтительно осматривали, ощупывали городские обновки на ней, выспрашивали про житье-бытье на чужой стороне. Устинья была счастлива. И все было бы хорошо, если бы не пьяные. Пьяных было трое, и один из них вдруг сказал:

— Разбогатела, ха! А каким местом богатство добывала, ха?

Другой парень, тоже пьяный, ударил обидчика. Третий пьяный стал разнимать драку. Ни одного из этих парней Устинья в сумерках не признала, но вступившегося за нее пьяного парня запомнила сразу и на всю жизнь. И дорог он стал ей с той минуты, дороже и милее всех на свете. Так началась ее первая любовь.

В деревне было так: если парень женился хотя бы на день, на два, он уже считается мужиком и обратная дорога для него на угор к своим сверстникам закрывается навсегда. Теперь он, если хочет быть на людях, должен идти на круг на завалинку, на перекур, где собираются большаки, хозяева семей. С девушками еще строже. Побывала замужем, замотали тебе косу кокошником, упрятали под платок, и ты уже баба на веки вечные, к девкам на посиделки или на гулянье и носу не показывай, а то парни вправе любое бесчестье тебе причинить. А замужем не была, но слух про тебя прошел недобрый, обесчещенной посчитали — это, пожалуй, еще хуже, ты еще виноватей перед всеми. Мало, что калитку или крыльцо дегтем вымажут, нет, над тобой еще при случае поглумятся и будут с гоготом рассказывать повсюду о том, что было и даже чего не было вовсе.

Не приняли Устинью ее старые подружки. Несколько вечеров побыла она с ними под лиственницей и не выдержала озорных намеков девчат, скабрезных подмигиваний парней, разревелась и ушла домой. Не помогли ни

стеклянные елочные украшения, которые она раздавала заместо бус, ни наборы швейных иголок, ни чудные брошки и пуговицы, называвшиеся почему-то заморскими.

Все солонее и солонее становились ее слезы. «За что обижают?» — злилась Устинья и плакала еще горше, еще злее. Даже мать натерпелась за это время всяких наговоров и пересудов.

Устин защитник Илюха Вальков еще не один раз ввязывался из-за нее в драку с пьяными ребятами, но сам он при этом всегда был пьян и потому, конечно, не помогал ее горю.

— Я тебя, Устя, всю жизнь знаю, ты хорошая! — говорил он ей, покачиваясь и путая слова.— Ты за моей стеной, как за каменной спиной.

Устинья так была благодарна ему за эту заступу и за любые добрые слова, что, даже пьяный, он казался ей милей и лучше всех. Девушки боятся пьяных парней. Устинья никогда не боялась пьяного Валькова, а только жалела его. Однажды он пожаловался утром на головную боль с похмелья. Устинья тотчас села в лодку и съездила в деревню Канашкино за водкой. Илюха осушил косушку без закуски и повеселел. И подобрел еще больше.

— Если бы не ты, подох бы я сегодня,— объяснял он ей.— Понимаешь, не выпить было никак нельзя. А на поправку ни гривны не осталось. Да и вчера-то на всех одна полтина была. Спасла ты меня. Ну, зато уж и ты на меня надейся, со мной не пропадешь.

— Я на тебя надеюсь,— сказала Устинья.

— И надейся! Ты мою жизнь знаешь? — поинтересовался Илюха, быстро пьянея снова.

— Не знаю.

— Вот видишь. А я клады ищу всю жизнь.

— Кто их зарыл, где? — робко спросила Устинья.

— Кто зарыл, говоришь? А что такое клад? Клад — это счастье. Я счастье ищу. Для чего я грамоте обучен? Для счастья. Читать, писать умею — значит, должно мне быть счастье на земле? Должно! Почему же у меня счастья нет? Где мое счастье? Вот ты нашла свое счастье.

— Какое же у меня счастье? — всерьез удивилась Устинья.

— А я свое найти не могу. Один сын в доме, а счастья нет. На городах жил, мешки грузил с мукой,

лошадей городских чистил, а гривны на опохмелку нет Вот у тебя есть.

— Илюша, неужто тебе не хватило?

— А разве я сказал — не хватило? Мне много не надо. Я с горя пью. Потому пью, что счастье мое чужие люди присвоили. Найду счастье и пить не буду.

— Не пей, Илюша.

— А разве у тебя еще есть?

— Не пей, Илюша.

— А ну покажи, что у тебя осталось? Ты меня не бойся. Я за тебя знаешь что могу? Я за тебя горло всем перерву. Разве ты виновата? Выходи за меня замуж.

— Что ты, Илюша! На вот еще косушку. Только пойдем к нам, покушаешь.

— Пойдем! Пойдем за меня замуж...

Все было верно: он один сын у родителей, род хороший, хозяйство справное. На городах жил — верно. Значит, и горя хлебнул, как она. Господи, неужели это и есть ее счастье?..— думала Устинья. Вот стоит оно: чуб из-под кепки выбился, лицо круглое, доброе, щеки небритые... Небритые — что за беда, выбрить можно. Некрепко стоит — так ведь какое счастье сразу на ноги крепко становится? Поддержать надо! Зато защитит от всех, в обиду никому не даст, прикроет ее спиной своей. Всё прикроет.

— Пойду, Илюша!

— Пойдем. А закуска у вас есть?

●

Отец и мать Вальковы приняли Устинью в свою семью торжественно и благочестиво. Девушка им давно была по сердцу, и они надеялись, что сынок с такой веселой да разумной женой остепенится, бросит пить, и хозяйство крестьянское не захиреет, и род Вальковых не переведется. Может, получится хороший мужик: человек он добрый, справедливый, только тоскует о чем-то, запивает... Так ведь мало ли у кого какие беды... Вот у невестки была своя беда в жизни, разве же она виновата...

Устинья до того была счастлива, что даже боялась, как бы не изменилось чего-нибудь. Кроме Илюшеньки, никого на всем белом свете для нее не существовало. Обычно выйдет девушка замуж и сразу повзрослеет, станет сдержаннее, солидней. Устя, наоборот, стала совер-

шепчейшей девчонкой, какой была много лет назад. К ней вернулась молодость, юность. Посерьезнел Илья. Он почти никуда не ходил, стал много работать, только бы все время быть с Устей. Ее нельзя было не полюбить. Но, полюбив, он стал подозрителен и ревнив.

— Я не хуже? — как-то спросил он ее после утомившей обоих близости.

Устя не поняла. Тогда он помолчал и задал другой вопрос:

— Неумелый я, да?

— Ты хороший! — доверчиво ответила Устя.

— А нехороший — это какой?

— Нехороший — это недобрый.

— А тебе сейчас добрый нужен?

— Конечно! Ты добрый.

— Значит, недобрые надоели?

— Очень много недобрых людей, Ильюша.— Устя все еще ничего не понимала.

— А если мне надоест быть добрым, тогда что?

— Ты хороший, Ильюша, я тебя люблю.

В другой раз Устинья целовала Илью и легонько укусила его. Илья выругался.

— Кто тебя этому научил?

— Разве тебе лихонько? — удивилась она.— Укуси и ты меня, я терпеливая.

— Он тебя кусал, да?

Устинья с ужасом посмотрела на Илью и на этот раз поняла все. Поняла и заплакала.

— Чего слезу точишь? — обозлился он.— Его пожалела?

— Ильюша, ты меня пожалей. Разве я в чем виновата перед тобой? Ни перед тобой, ни перед богом я ни в чем не виноватая.

Илья пожалел ее, обнял, и они оба успокоились, заснули.

Но успокоение пришло ненадолго. Через день Илья, его отец и Устя выехали за озеро на лесную пожню. Выкосить всего за один день не смогли, и отец, которого Устя звала батюшкой, сказал:

— Переночуем. Работы хватит еще и на завтра. Шалаша своего у нас нет, пойдем в чужой. Тут недалеко есть хороший шалаш, бревенчатый, вроде охотничьей избушки, в нем переночуем.

— Где это, батюшко? — встревоженно спросила Устинья.

— Да вот за тем подувалом. Избушка старая, но я смотрел — дверка цела, крыша из еловой коры, верно, прогнила кое-где, так ничего, закидаем хвоей. Все-таки комары не тронут. Сена накосим, костер раскладем...

— Не буду я н-ночевать, батюшко, в лесу, д-домой п-пойду.

— Как знаешь, Устенька. А спать там можно.

— П-пойдем, Ильюша, д-домой, а завтра п-пораньше вернемся,— почти взмолилась Устинья.

— Что это ты заикаться начала, комаров боишься? — удивился Илья.— Избаловалась на городах-то.

— П-пойдем д-домой, Ильюшенька...

— Да что это ты, кто тебя укусил?

Старый Вальков вдруг вспомнил, что шалаш этот не чужой для невестки.

— Послушай-ко, Устенька, избушка-то ведь ваша, родительская, запамятовала ты, что ли?

Разговор этот происходил уже в сумерках на краю лесной полянки. Батюшко сидел на кочке, закуривал; Илья при отце не курил, он стоял рядом, с косой на плече; Устинья тоже стояла, а коса ее лежала на траве. Когда старик спросил ее про избушку, она быстро нагнулась, как-то лихорадочно схватила косу и почти бегом кинулась в сторону озера, к лодке. Она ничего не запамятовала! Эта лесная избушка была та самая, самая та,— она сразу это поняла, и ей стало так жутко, так страшно, что язык снова стал непослушным, как было когда-то. А когда это — «когда-то»? Ведь совсем недавно все было. Словно вчера все было.

— Ильюша, п-пойдем скорей до-домой! — закричала она уже на бегу, не оборачиваясь.

— Помилуй бог! — сказал отец Вальков и, недокурив, бросил цигарку в траву. А Илья скинул с плеча косу и побежал вдогонку за Устиньей.

Всю эту ночь Устинья ревела навзрыд, а добрый Ильюша допрашивал ее с пристрастием.

— Значит, вот где у вас все было? Ишь, какое местечко выбрали! Хорошо тебе было, да? Нет, ты скажи правду, хорошо было?

Утром они оба не вышли на сенокос — Устинья не смогла, а Илья напился сивухи. Напившись, он опять подобрел.

— Ты никого не бойся,— уговаривал он Устинью.— Я тебя никому не дам в обиду. Ты за моей стеной, как за каменной...

Устинья плакала.

— Нет, ты чего ревешь? — обижался Илья.— Разве не я тебе сказал, что со мной не пропадешь? Или не один я тебе такое говорил? Он тебе то же самое говорил, да? Ты правду скажи, почему ты правду скрываешь? Я правду люблю!

— Тяжело мне, Ильюша!

— А мне, думаешь, не тяжело? Ты, верно, думаешь, что мне легко, да?

— Господи, дай мне руки на себя наложить! — ревела Устинья.— Устала я.

Илья после такой ее мольбы приходил в себя. Но ненадолго. Приступы ревнивой злобы стали повторяться чаще и чаще. Днем Устинья старалась быть около свекрови, помогала ей по хозяйству, обряжала скот, окучивала картошку, возилась на кухне, ставила самовар. А ночью нередко забиралась к ней на широкую печку либо на полати и, свернувшись комочком у нее под боком, искала защиты от своего любимого мужа.

— Эх, доченька, все мы каторжные. Такого ли я натерпелась за свой век. Подумать страшно.

— Я же не виновата, маменька!

— И я ни в чем не была виновата всю жизнь. Да ведь и он, Илька-то, ни в чем не виноват. Парень он добрый, только дьявол ему душу мутит.

— Скажи ты ему, маменька...

— Да разве я не говорю? Кажинный день говорю одно и то же.

Искала защиты Устинья и у свекра. Свекор жалел ее, но ничего поделать с сыном не мог. А Илья злился на Устинью еще больше из-за того, что она жаловалась на него отцу и матери.

— Можно подумать, что я тебя обижаю,— говорил он.— Можно подумать, что я у тебя прощенья просить должен?

— Чего ты от меня хочешь? — спрашивала Устинья.

— Только правды от тебя хочу, и ничего больше.

— Какой ты от меня правды хочешь? Тошно мне.

— Можно подумать, что ты не знаешь, какая на земле правда бывает! На городах жила, не в деревне, всякого, наверно, хлебнула.

— И то верно, зачем только я в деревню свою воротилась?

— Оно конечно, надо было в городе замуж выходить. Там бы никто ничего не знал. И концы в воду.

Однажды свекор не выдержал измывательства над Устиньей и ударил сына.

— Пила проклятая! Зачем тогда женился, не знал ты, что ли, ничего?

Илья два дня не показывался домой. Устинья так переволновалась за эти дни, такую тревогу перенесла за него, что, когда он вернулся пьяный и в первый раз избил ее, она даже не обиделась, даже не испугалась. А Илья рвал на себе рубашку и просил у нее прощения.

— Ты думаешь, я с чего пью? С того и пью, что все мне в глаза тычут, смеются надо мной. Но больше этого не будет. Я тебя больше ни разу не трону.

— Отпусти, Илья, меня домой.

— Как домой, куда?

— Домой? К маме.

— Ишь ты, к маме? А чего ты у нее позабыла? — И он опять что-то соображал свое, и злоба с новой силой сотрясала его всего.— Домой? Ты к нему хочешь? Так он же в тюрьме, его же нет дома...

Устинья и сама не знала, зачем она пойдет к матери. И разве это — домой? Неужели ж никакой надежды нет и никакое многотерпение не поможет?

Тяжелей всего было, когда Илья жаловался на головную боль. С похмелья он был особенно изобретателен и непонятно злобен. Тогда она стала давать ему деньги на опохмелье. А чаще сама ездила на лодке в винную лавку и привозила ему то осьмушку, то четвертушку. Илья добрел и говорил ей хорошие слова. Когда не стало денег, Илья начал продавать вещи жены, опустошал ее чемоданы. Устинья не сопротивлялась, ей казалось, что так будет лучше. Но скоро не стало и вещей.

— Ты куда все спрятала? — кричал Илья.— Ты для кого все бережешь? Я прикрыл все твои грехи, своей спиной все твое прикрыл, а ты что делаешь? Так-то ты меня благодаришь?

— Отпусти меня, Илья! Душу мою отпусти. Иссушил ты мою душу, замучил ты меня. Не могу больше!

— Э, вот как ты заговорила, городская, расхожая!.. Повешу!

Илья Вальков в эту ночь избил свою жену до полусмерти.

А под утро сгорел их дом. Даже скот спасли не весь.

Ну, что теперь гадать, от чего он сгорел? Ведь все равно ничего об этом неизвестно.

— Бог наказал нас всех! — говорила старуха, мать Ильи. Старик Вальков держался того же мнения.

●

После пожара они приютились у соседей. Мать Устиньи звала всех к себе, но, видно, звала не очень настойчиво, а может, Устинья сказала им что-нибудь недоброе,— только они отказались.

Перешла на жительство к матери сама Устинья. В случившейся беде никто ее, конечно, не винил: сгорел дом и сгорел. А все-таки какой-то холодок в отношении к ней появился. Давно уже видели все, что Илья безрассудно проживает все нажитое Устиньей своим трудом.

— Разденет он тебя догола и пустит по миру! — говаривали разные люди. И для нее это было немалым утешением: значит, видят, знают, что она мучается. Никакой радости от того, что замужем, конечно, уже не осталось. Лучше быть старой девой, только не жить так, как ей жить довелось. Лучше головой в омут, лучше петлю на шею, лучше живьем на костре сгореть! Но видеть-то люди видели, но не доходило, знать, виденное до каждого сердца.

Илья сразу после страшной ночи скрылся из деревни: опять ушел куда-то свое счастье искать. Старики перебрались к соседям. И то, что Устя ушла к матери, вовсе не означало, что она сбежала от Ильи, хотя на самом деле так оно и было. А все-таки почему-то на Устинью смотрели недобро. Одно, мол, горе от нее. Мало того, что от родной матери мужа отняла да в Сибирь его сослала, мало того, что на себе хорошего, из видного роду парня женила, а теперь выжила его из родной деревни,— мало всего этого. Она и свекра со свекровью своего очага лишила. Что ни говори, а дом-то ведь сгорел при ней. Пока она не жила в этом доме — дом стоял. Вот окаянная, до чего людей доводит! Никому от нее спуску нет. Сама несчастливая, и всем от нее одно несчастье. Нет, уж лучше пускай уходит на чужую сторону.

— Подоила бы ты коров сегодня, не успеваю я,— как-то попросила ее мать.

Устинья взяла с полки на кухне ведерный деревянный подойник с рожком и ручкой, обтянутый деревянными

же обручами, сполоснула его водой и пошла во двор. И хотя коровы знали ее и доила она их раньше не раз, но, видно, коровья память недолга: как ни задабривала их Устинья хлебом с солью, как ласково ни трепала по холкам, по бокам, по мордам, какими уменьшительными именами ни называла, ни одна из них не отдала молоко полностью. Они оборачивались, когда Устинья бралась за вымя, мычали, били хвостом по бокам, переступали. Одна чуть-чуть не свалила ее вместе со стульчаком — все молоко разлила бы. С обидой отбросив табуретку в угол, Устинья принесла домой подойницу. Мать встретила ее недовольная:

— Разлей вон по кринкам и горшкам и поскорей иди снова. Чего-то долго ты возилась. Полная подойница-то?

— Полная.

— Давай поскорей. Не медли время.

— Больше не дают, мама, мне лучше отступиться.

— Как не дают?

— Не дают.

— Только одно ведро и надоила?

— Одно.

— Да ты что, сглазила коров, что ли?

— Отвыкли они от меня.

— Как это отвыкли? Дай-ко я схожу.

Мать сама разлила оставшееся молоко из подойницы в посуду и ушла во двор. Вернулась она скоро с пустой подойницей и злая.

— Эх, Устя, Устя! Горе мне с тобой. Несчастный ты человек. И в народе о тебе плохо говорят. Не уживешься ты здесь опять. Не вынесешь. И тебя не вынесут. Одни несчастья вокруг тебя. Не наша ты, не деревенская.

— Куда же мне деваться, мама?

— А я разве знаю, куда деваться, живи уж...

— Зачем ты меня родила, мама? — заплакала Устинья.

Она сама понимала, что не будет ей спокойного житья в деревне, некуда ей пойти, не с кем душу отвести. Только ведь родилась-то она здесь. Куда же денешься, если все ее нутро здесь, все оно прикипело к этой земле? Скоро брусника поспеет, грибы попрут — белые царские, красноголовики, рыжики. Что за осень, если за грибами сходить некуда, ягод пособирать негде. Здесь все свое, в городе все чужое. Чужой кусок не всегда в горло лезет, чужая ложка рот дерет.

А все-таки пришлось Устинье опять уйти из своих мест. Куда? Уходила — сама не знала, куда идет. Куда глаза глядят. В руках узелок, в узелке смена белья да полусапожки уже не новые — все, что осталось у нее от завидного девичьего богатства.

Свекор и свекровь и одной зимы в чужой избе не вытянули, умерли. Первой же весной на пепелище Вальковых выросла крапива вперемежку с голенастым иван-чаем. Недогоревшие бревна соседи растаскали на дрова.

●

Отчим не вернулся из тюрьмы. Жив он или нет — никаких извещений не поступало. Если бы не революция, не войны, может быть, мать Устиньи, Вера, и разыскала бы его — какой-никакой, а хозяин дому. Но жизнь стала делать такие резкие повороты, людей кидало из стороны в сторону, будто сани-розвальни на широком проселке, и так много их исчезало совсем из глаз, что Вера даже запросов никуда не писала. Где, при какой он власти живет, голодает ли, как все,— одному богу известно. Несколько писем от него все же пришло, но это было почти сразу после суда. А потом как в омуте: кинешь камень, булькнет, кругами разбежится рябь по воде и успокоится, словно и не было камня.

Старилась Вера быстро. И чем старше она становилась, чем больше горбилась, высыхала и больше морщин перекрещивалось на ее пепельно-сером усталом и злом лице, тем меньше подходило к ней это красивое девичье имя.

Хорошо называться Верой в десять, в двадцать лет. А если тебе уже перевалило за полвека, если бабий век давно уже кончился, тогда как? Все Дуни стали Авдотьями, Маньки — Мариями, Альки — Алевтинами, а Вера на всю жизнь остается Верой. Хорошо еще, когда зовут по отчеству, но в деревне по отчеству называли только мужиков, хозяев, и то не всех. А прозвища давались бабам чаще всего такие обидные, что их можно было произносить только за глаза.

В последние годы жизни Вера стало много и прилежно молиться, строго соблюдала все установления церкви, постилась, исповедовалась и каялась в грехах своих не только перед богом, но и перед людьми.

— Двух мужиков пережила, разве не греховодница я? — плакала она.— Первого на войну, второго на каторгу спровадила. Деток нарожала — воспитанья правильного дать не сумела, Устю по миру пустила. А девка по миру пойдет — то же, что по рукам пойдет. В чьих-то руках она теперь, прости меня, господи! Во всем я одна виновата — не уследила.

Незадолго до смерти Вера захотела увидеть Устинью, попросить прощенья у нее за все тяжкие свои прегрешения. Устинья приехала. Встретились — и обе ахнули: до того изменились обе.

— Бедная моя! — бросилась Устинья к постели умирающей матери.— Что же ты меня раньше не вызвала? Тяжело, видно, тебе было?

— Уж не рада ли ты этому? — прошепелявила мать в ответ.

— Что ты, мамонька, жалко мне тебя. Смотри, какая худая стала.— И дочь стала поправлять ее изголовье и дерюгу на костлявых коленях, торчавших кверху, будто связанные оглобли у телеги.

— Да и ты, девонька, что-то постарела да подурнела, будто коза драная,— ответила мать.— Путем ли хоть живешь-то, честно ли себя держишь?

— Честно, мамонька, никто про меня худого слова не скажет.

— Знаю твою честь, прости господи. Чужих мужиков отбиваешь.

— Никого мне не надо. Ни одного мужика ни у кого не отбила.

Устинья сдерживалась до поры до времени, и это еще больше раздражало больную.

— Разбила мою жизнь, Устя, бог тебе судья. Лишила ты меня опоры. Разогнала всех по миру и сама по чужим людям таскаешься, чужих козлов ублажаешь.

Тогда и Устинья не сдержалась:

— Умирала бы ты, мамонька, подобру-поздорову, бог тебе судья. Лежишь — в чем душа держится, а все злобу свою унять не можешь, шипишь, как на сковородке.

— У, стерва,— зыркнула на нее Вера.— Докопать меня приехала. Будто и не дочь ты мне, прости меня грешную.

— Бог тебя простит, как же! Что он, правду не видит, что ли? Слепой он, что ли? Бог знает, как ты меня из дому родного выжила, всю жизнь мою порешила. Он тебе судья, а я тебя не прощаю.

Вера вдруг перепугалась, губы ее задрожали, злоба в глазах потухла.

— Что ты, греховодница, делаешь? — взмолилась она и подняла навстречу Усте костлявую, давно не мытую руку.— Иди, благословлю, мне ведь умирать сейчас. Прости ты меня, грешную!

Примирения не получилось. В душе они не простили друг друга, хотя перед смертью матери все было сделано, как того требовали людские обычаи и церковные законы.

Похоронив мать, единоутробные сестры, Устинья и младшая, Пелагея, стали жить вместе. Но Устинья чувствовала себя в доме сестры не лучше, чем в домработницах, и мир между ними не наладился. Она снова уехала «на города».

●

Устинья с недоумением следила за тем, как молодежь, вырвавшись из деревни, старалась с некоторых пор всякими правдами и неправдами прижиться где угодно, только бы не возвращаться на свой родной островок. «Что за люди ныне пошли?» — думала она. Парень, побывавший в армии, получает паспорт вместо военного удостоверения и остается в городе, соглашаясь на любую работу: хоть ночным сторожем у магазина, хоть истопником в райбане. Девушки выходят замуж за первого встречного, только бы уехать из деревни в город, нередко заключают даже фиктивные браки. Любые агенты по вербовке рабочей силы — желанные гости, даже если бы они зазывали на дно моря или в кратер действующего вулкана.

А она, Устинья, главным своим несчастьем в жизни считала всегда, что подолгу жила не дома, не на своем малом островке. Всю жизнь ее тянуло к родному берегу, где плещется пресное озеро то тихо, то разухабисто, как разухабисты пляски под развесистой лиственницей, где чавкают окуни под круглыми листьями водяных лилий, а по ночам вдалеке кричат журавли и лягушки.

Приходилось ей жить в разных городах — и в больших, и в малых, в близких и в дальних, на самых верхних этажах высоких и богатых домов, куда даже пешком не поднимались, только на лифте, а все-таки тихая родная деревенька с ее бревенчатыми разномастными избами

всегда казалась ей самым светлым местом на земле. И по каким бы широким и гладким улицам она ни ходила, в какие бы тенистые парки с их твердыми дорожками, посыпанными толченым кирпичом, ни заглядывала,— ей все хотелось перебираться, как в детстве, по колодинкам, по жердочкам, от избы к избе вдоль изгородей и плетней, перепрыгивать с камушка на камушек через лужицы и дождевые ручейки.

И какие бы городские платья ни доводилось носить — свои ли, чужие ли, из простого черного мадаполама с белыми наплечьями — погонами горничных девушек и кухарок, либо поношенные, с хозяйских плеч, но шелковые, с замысловатыми кружевными накладками и напусками,— а все-таки деревенские, свои широкие сарафаны с кофтами и цветастыми фартуками навсегда считала она самыми удобными и красивыми.

На каких бы постелях ни спала, а все помнила луговой аромат свежего сена. То ли дело провести летнюю душистую ночь на сеновале, откуда слышны и пение петухов, и лай собак, и плеск рыбы в озере, и неброский шум дождя на драночной крыше, сквозь которую пробивается волшебный лунный свет с неба и с воды.

Что думают нынешние молодые люди, куда стремятся парни, чего ищут девки-вертихвостки, почему им дома не сидится, не работается?

Много лет прожила Устинья с сестрой Пелагеей, а все нет-нет да и почувствует себя на положении приживалки. У Пелагеи — семья: что ни купит, что ни наживет — все в свой дом, как в муравейник, все к месту, колос к колосу, нитка к нитке. А Устинья сколько ни работает, как ни гнет спину — оглянется: всё будто чужое, все будто на чужих хлебах и под чужим кровом живет. Раздумается, схватится за голову и заревет: для чего я живу, ради кого маюсь, кто мою жизнь искалечил?! Разревется, вспомнит все, что было, и больше того ненавидит свою счастливую сестру.

Немного отлегло от сердца Устиньи и словно бы примирилась она со своей участью одинокой бобылки, когда стала работать в колхозе: все-таки не на Пелагею. Исчезло ощущение ущемленности, колхоз как-то уравнял их. Но ненависть, а лучше сказать — неприязнь, не оставила ее даже в войну, когда Пелагея сразу — овдовела и осиротела. Жестокое злорадное чувство, что бог-таки правду видит и следит, чтобы всем доставалось поровну, по справедливости, испытала Устинья в тот страшный

для Пелагеи день, когда было получено извещение, что муж ее погиб смертью храбрых.

— Не реви, не ты первая, не ты последняя! — со злостью выкрикнула она, заглушая стоны и хрипы сестры.— Не реви, тебе говорят. Бог, он знает, что делает.

— А мне-то что от того, что он знает, что не я первая? Что мне от того? Куда я теперь денусь одна?

— А я куда одна делась?

— Уйди от меня.

— Я тебе уйду! Ишь слюни распустила...

— Уйди!

— Куда я уйду? Всю жизнь уходила, науходилась до смертной тоски. Больше никуда не уйду, не прогонишь, обе мы теперь беспарные, обе-две одинокие. Пореви — может, и ты чего-нибудь почувствуешь о своей жизни. Уходи ты, а я тут останусь.

Лет Устинье к этому времени было уже много. И давно перестала она мечтать о своей семье, о своем домке. Высохла она вся и не сгорбилась, а словно бы вытянулась, стала выше, чем была, а душа у нее как бы свернулась в клубок, ссохлась и задубела навеки. Больше даже в шутку никто уже не зовет ее ни невестой, ни соломенной вдовой. Умерли ее желания, перегорели страсти.

А ведь были еще случаи, когда судьба, казалось, позвала ее, поманила своим пальцем: иди за мной — будешь счастлива! Сватался вдовец, искал терпеливую стряпуху и прачку для своих пятерых отпрысков, младшему из которых только исполнилось полгода. Не пошла, испугалась. Сватался богатый парень-перестарок, единственный наследник большого кулацкого хозяйства,— думал, видно, уйти от наказания, породнившись с худородной бродяжкой-батрачкой. Как хотелось ей похозяйничать всласть хоть годика два, позвенеть ключами от амбаров да от погребов! Но одолела искушение, не пошла в обреченный дом: хватит, побатрачила, поточила соленую слезу и за себя, и за других, больше ни одной не выжать — глаза высохли, душа свернулась...

Умерли желания, перегорели страсти.

Остались только боль и обида на несправедливость судьбы, на половинчатость каких-то божьих законов. И, конечно, нелюбовь к Пелагее: должны же сыны и дочери нести кару за родительские прегрешения. Осталась невысказанная и не всегда осознаваемая ненависть

к людям за то, что обижали они ее много и злобно. И пусть тех людей сейчас уже нет в живых, но горькие воспоминания не дают ей забыться и не дают никого полюбить от всей души.

•

— Бабка, молоко есть?

— А вам много надо?

— Четверо нас.

— На четверых хватит.

К острову подошли две рыбацкие лодки. Молодые парни — босоногие, в рубашках-безрукавках, в засученных до колен штанах, высадились на берег. Двое из них были в соломенных шляпах — по виду городские. Устинья увидела их еще из окна и, выждав, когда лодки причалят, вышла из дому, будто по своим делам. Вслед за ней вышли из дому две серых кошки.

— Бабка,— опять закричали ей,— где тут можно червей наковырять?

— Червяков?

— Да, червяков.

— Чего хорошего, а червяки везде есть.

— Так где же они?

— А вам много надо?

— Тебе оставим, не бойся.

— А лопата у вас есть?

— Есть.

— Думаю, может, лопату дать.

— Не надо, скажи, где копать можно.

— Да копать везде можно. Нездешние вы будто?

— Нездешние.

— То-то, смотрю, нерешительные. Спрашиваете, где червяков копать, боитесь.

— Ничего мы не боимся.

— А спрашиваете.

— Тебе, бабка, поговорить хочется, что ли? Где копать, говори!

— Поговорить, конечно, охота, а как же! Я тут одна живу.

— Ну?

— Копайте вон там, вокруг ямы. Силос был раньше.

Один из рыбаков с маленькой саперной лопаткой в одной руке и с консервной банкой в другой направился

в сторону усадьбы Вальковых, где когда-то жила сама Устинья. И хоть там, в густой траве, давно ничего не осталось даже от пепелища, а все-таки это была ее земля и она не хотела, чтобы чужие люди расковыривали могилу ее недолгого счастья.

— Не туда пошел, эй, ты! — закричала она хриплым голосом.— Вправо бери, не видишь, где солома лежала, силос был!

Кошки с кручи из травы зорко следили за рыбаками, и, как только все парни покинули берег, они спустились к воде и бесшумно, как змеи, скользнули в лодку за рыбой. Даже у самых незадачливых удильщиков для них всегда находилась пожива на прокорм.

В избу вслед за Устиньей вошли двое: большеголовый, белобрысый, в соломенной шляпе, совсем молодой паренек и другой, с искалеченной — видимо, на войне — рукой и возраста такого, что его парнем назвать было уже нельзя. Устинья не знала никоторого: приезжие, видно.

— Что вам? — спросила она, пройдя в горенку и обернувшись к ним. Так начальник в своем кабинете обращается обычно к посетителям: «Вы ко мне?»

— Может, ты нас покормишь, бабушка? — сказал паренек в соломенной шляпе.

— Чем?

— Молоком хотя бы.

— Вы молока спрашиваете?

— Молока, бабушка.

— Молоко есть. Яйца есть.

— Вот и хорошо. Садись, Петро! — пригласил молодой большеголовый старшего с искалеченной рукой, указав ему на стул.

— А платить есть чем? — спросила Устинья.

— Заплатим, бабушка, не бойся.

— Я не боюсь.

— Заплатим, сейчас не военная пора,— сказал старший, Петро.

— И то, не военная. Даром-то куда мне? Вас много ездит, а я одна. Даром-то и мне никто ничего не давал. Может, вам и рыбы продать?

— Рыбы сами наловим. Неси молока.

— Могу продать и рыбы. Свежая есть.

— Рыбы не надо.

— Лапти еще плету. Могу лапти продать.

— Лаптей не носим, бабушка.

— Лаптей не носите, знаю. Так шерсть есть. На валеночки, на другие уступила бы. У меня овечки свои.

— Спасибо, бабушка. Что еще у тебя есть?

— У меня все есть. Все свое, не покупное.

— Неси молока и хлеба,— резко сказал Петр.

— Огурчики есть, картошка, лучок. И яички могу продать.

— Яички — хорошо. Давай и яичек.

— А почем они?

— Я больше других не беру, у меня как у всех. Все недорогое, свое.

Петру этот разговор уже надоел, а белобрысый в соломенной шляпе вдруг заинтересовался лаптями.

— Сама лапти плетешь, бабушка?

— Сама плету. А кто же еще?

— Покажи, пожалуйста.

— А тебе зачем? Ведь носить все равно не будешь.

— В Москву увезу. Про тебя всем рассказывать буду.

— Про меня рассказывать нечего. Я сама по себе. Живу — никому не мешаю.

— В музей сдам.

— Сдашь? Людям на погляденье, нам на посрамленье?

— Тебе на славу. Твои золотые руки славить буду.

— Ты, может, не про лапти говоришь, рыбачок? Видал ли ты лапти-то, какие они? Это ведь лапти.

В дверь постучали и сразу вошли, не дожидаясь, когда хозяйка отзовется, те двое рыбаков, что остались на берегу,— загорелые, потные, с мокрыми, видно, только что вымытыми руками, возбужденные.

— Есть черви! — крикнул один из них еще с порога.— Много, и все красные, что надо, на окуня. Давайте есть, да поскорей. Что тут у вас, Петро?

Петр, старший из всех, тот, у которого рука искалеченная, встал со скамьи, едва не свалив большой цветок в кринке — березку.

— Пошли, ребята, на берег, костер разведем, ухи наварим. С бабкой нам не договориться.

— Как не договориться? Ты что, бабушка?

Устинья испуганно метнулась на кухню за молоком.

— Что вы, Христос с вами! Разве я против? Молоко есть, и яички, и с огорода все, что душа пожелает. Все есть. Разве я против, разве я запрашиваю что с вас? Ешьте на здоровье. Сейчас подам. Рассчитаемся потом. Не обидите старуху.

Из всего, что она поставила на стол, рыбакам больше всего понравился квас с хреном, с зеленым луком, с вареной картошкой.

— Окрошка хороша, бабушка!

— Какая окрошка? Это похлебка.

— Ну, похлебка. И холодная. Ледник у тебя, что ли, есть?

— Есть погреб, а в погребе снег. Накидаю туда весной под загнёту, он и лежит все лето. До самой осени снегу хватает. Раньше в каждом доме был такой погреб.

— Хороша окрошка!

— А вот погодите маленько, я вам лучку со сметанкой приготовлю. Уж коли вам крестьянская еда по душе, так лучок еще больше похвалите.

— Мы сами крестьяне, бабушка.

— Крестьяне, а в такое время рыбку ловите...

— Мы не простые крестьяне, мы колхозники.

— То-то колхозники, а лапти собираетесь в Москву везти.

— Кто это? Филипп? Он у нас, бабушка, в Москве учится.

— Доброе дело! На кого же это он?

— Кем поставят. Может, министром, может, другим каким начальником будет.

Бабка принесла с кухни доску, положила на нее горсть зеленого лука и стала мелко нарезать его и ссыпать в деревянную чашку.

— На нынешних начальников много учиться не надо. Кто брюки носит, тот и начальник. А бабы — те все под началом у мужиков ходят.

Ребята переглянулись, засмеялись.

— Пусть уж тогда и бабы брюки носят.

— А работать кто будет? — всерьез взъелась Устинья.— Кто будет воз тащить? Нет, уж, видно, судьба наша такая. И раньше бабам спать некогда было: встань до свету, скот обряди, ребят приголубь, печь затопи, хлеб испеки, всех накорми и на поле беги поперёд мужика. И ныне порядок тот же. Только раньше мужик над одной своей бабой командовал, а ныне у него по десяти баб на поводу и ни одна пикнуть не смеет.

— Это только в деревне, бабушка, а в городах женщины в почете, раскрепощенные.

— Почету для них и в деревне хватает. Про почет говорить нечего.

Запах лука перебил все прочие запахи в избе: рыбы, квасу, хрена, цветов. Когда деревянная чашка наполнилась до краев, Устинья взяла деревянную же мутовку-пестик и стала энергично толочь и растирать это зеленое крошево, то и дело подсаливая и пробуя его. Рукава кофты она подняла до локтей и ребята увидели обожженные солнцем, костлявые, с раздутыми синими венами, трудовые руки. Лучевые и локтевые кости отчетливо отделялись одна от другой, и просветы между ними закрывались тонкой кожей, только кожей. Коричневая рука Устиньи ничем не отличалась от сосновой сухопарой мутовки, сучковатые пальцы походили на отростки ее.

«Как у бабы-яги!» — подумал про эти руки большеголовый московский студент Филипп, да, может, и не один он.

— Почету для баб и у нас хватает,— заговорила опять Устинья.— Лошадь тоже гладят, чтобы на нее хомут надеть, да запрячь ее. А уж запрягут — тогда кнутом. Все мужики такие.

— На кого же ты, бабушка, обижаешься? Одна себе...

— Я одна себе, это верно. Как в песне поется:

Сама лошадь, сама бык,
Сама баба и мужик.

Да ведь не век одна была...

Свежий лук сделал свое дело: старуха прослезилась, и разговор на этом оборвался. Она поставила чашку с густым зеленым месивом на середину стола, принесла из кухни горшок со сметаной, хотела положить сметану ложкой прямо в лук, но передумала и сначала намеряла стакан, а затем уже стала класть из стакана в чашку.

— Кушайте, благословясь. От такой нашей еды и сила, и здоровье, и на душе легко, и брюхо не тяжелит.

Молодые ребята съели все — хрен, лук, яйца и картошку, квас и молоко. Ели и похваливали:

— Ну и бабушка! Молодец, хорошо кормишь. Всех так или только нас?

— Я всех, сынок, кормлю. На озеро летом приезжают со всего света. Тут и рыба, и утки, и воздух хороший. Где же им, приезжим, и кормиться как не у меня? Да что говорить, кушайте! Может, вам еще принести что?

— Спасибо, бабушка, сыты! Скажи, сколько тебе заплатить.

— Сколько заплатите, ваша воля.

И началось самое знакомое и неприятное... Устинья ни за что не хотела сказать, сколько и за что ей заплатить.

— Сколько положите, и на том спасибо,— говорила она.— Вы ведь старую обижать не будете.— Но видно было, что она и сама в обиду себя не даст и приготовилась сражаться за каждый грош из последних сил. А молодежь наша привыкла к твердым ценам, она рядиться не учена.

Ребята на этот раз и впрямь не знали, сколько они должны заплатить Устинье. Не хотелось давать лишнего, но и торговаться не собирались.

— Ты, бабушка, не стесняйся, говори. Сколько скажешь, столько и заплатим.

— Да ведь что говорить-то. Еще подумаете, мол, втридорога запросила. Я эдак одному сказала, а он мне: с одной рожи дерешь по две кожи. А на что мне его кожа, мне деньги подай.

— Так сколько же, бабушка?

— А я знаю? Ничего я не знаю. Ваша воля.

— Но ты же не первых нас кормишь?

— Я всех кормлю. И платят по-разному. У кого совесть есть, те и платят по совести. А у кого совести нет, те про кожу говорят.

Старый солдат Петро начал сердиться:

— Долго мы так будем разговаривать? Может, за червяков тоже платить надо?

Филипп тронул его за руку: «Не надо!» — а Устинья не замедлила дать отпор:

— Я тебя, нарепек, не червяками кормила, ты мне про червяков и не говори. Я вас добром встретила, добром и провожу, коли вы ко мне с добром пришли. А коли не так, то вот бог, вот порог. Можете и отчаливать.

— Ты, бабка, словно государыня какая, а мы чужеземцы и прибыли в твои владения,— засмеялся московский студент Филипп. Он не нервничал.— Вот тебе пятнадцать рублей, по совести. И еще тебе наше спасибо. И мы отчалим.

Устинья молча неторопливо стала собирать со стола посуду. В деревянную расписную чашку положила деревянные ложки с объеденными краями, оставшуюся сметану из стакана слила обратно в кринку, подобрала на тарелку все кусочки и крошки хлеба и лука. Видно было, что она раздумывала. Потом она сказала:

— Из вашего спасиба мне корысть не велика, из него полушубок не сошьешь.

Филипп удивился:

— Значит, мало? Вот видишь, а сказать не хотела. «Сколько дадите» да «ваша воля»!.. Мало, значит?

— Хватит тебе, бабка, пятнадцати рублей! — вмешался опять в разговор Петр.

Устинья, продолжая собирать посуду, ответила:

— Оно конечно, ваша воля, хватит. А только вас четверо.

— Ну, четверо...

— Так нескладно получается, не поровну.

— Как не поровну?

— С четырех-то человек пятиалтынный не поровну. Не разойтись вам. По пятернику с носу надо. По совести надо.

— Понятно! — сказал Филипп, доставая из кармана еще пять рублей.— Вот тебе, бабушка, еще на черный день, по совести. Теперь довольна будешь?

— Теперь ничего.

— Пошли, ребята! — Филипп резко встал, еще раз мельком взглянул на развешенные по стенам вырезки из «Огонька», семейные фотографии разных лет, многоцветные стенки от отрывных календарей, на цветы в кадках и кринках и шагнул к двери.

Устинья всполошилась, словно ее покидали дорогие гости.

— А лапти-то как же, милые вы мои! Хоть бы посмотрели, хоть бы примерили. Целую связку сейчас принесу. Батюшки!

— Не надо, бабка, лаптей!

— Да ведь дешевые, на показ-то хотели взять, пускай висели бы, пускай добрые люди видят, как мы в досельные времена жили. Даром отдам.

— Не надо.

— А может, лучку на дорогу? Может, рыбки свеженькой дать?

— Сами наловим.

На дворе опять залаяла и загремела цепью собака, закудахтали куры, опрометью с шумом бросились овцы в кусты, будто дикие козы.

Ребята сели в лодки, оттолкнулись от берега.

— Вот баба-яга! — сказал Петр.— Настоящая ведьма!

Другие промолчали, только зло навалились на весла.

Председатель колхоза все-таки навестил Бабу Ягу.

Устинья вышла в сени, где лежали два больших куба с заготовками берестяного лыка, уселась на ступеньку лестницы и острым ножом стала обрезать берестяную ленту с двух сторон, выравнивая ее до нужной ширины. Готовое лыко она наматывала на третий, пока небольшой клуб. Заготовку лыка она производила каждую весну в старой березовой роще вдали от своего острова и потом весь год в свободное время плела лапти и ступни — берестяные босоножки. Устинье самой было приятно, что она свободно владеет кочедыком. А еще говорят — есть мужская работа, которая бабам не с руки. Все нашей бабе с руки, врете вы!

Лапти и босоножки до войны у нее охотно раскупали для сенокосной поры. Берестяная обувь в жаркое время удобна и легка, в ней пальцы не преют. Но молодежь, окончившая среднюю школу, выучилась с презрением говорить о старой лапотной Руси, и ношение берестяной обуви даже на сенокосе стало считаться зазорным. Теперь Устинья плела лапти только для самой себя, носила их не переставая, и все-таки их много скопилось в ее чуланах и предбаннике.

Председатель колхоза пришел к ней, когда Устинья сматывала готовое лыко на клубок.

— Здравствуй, Устинья!

— Здравствуй! Уж говорил бы прямо: Баба Яга!

— А ты сразу в драку? Слыхала разве, что тебя так зовут?

— Добрые люди не промолчат.

— Злая ты, Устинья.

— Кто тебе сказал, председатель, что я злая? Садись. А то пойдем лучше в горенку, там чище, дорогой свой сарафан не замараешь.

Горенкой в избе называлась передняя комната вроде гостиной. Она, собственно, была единственной комнатой, потому что на второй половине избы была кухня с большой русской печью посередине и полатями между печью и стеной. В жаркое время лета Устинья спала на полатях, а зимой или когда занеможется — на печи, всегда раскаленной. В горенке стоял стол под нарядной домотканой скатертью, крашеные стулья самодельной работы какого-то деревенского мастера и цветы в крынках и кадушках — на полу, на табуретках, на подоконниках.

Все стены горенки были оклеены газетной бумагой и завешаны семейными фотографиями в рамочках и без рамок. В переднем углу несколько некрупных икон в обрамлении сусального золота и бумажных цветочков. На одном уровне с иконами — вырезанные, видимо, из тонких журналов разной поры цветные юбилейные портреты Мичурина, Луначарского, поэта Назыма Хикмета, академика Бурденко, а также целый набор нарядных маршалов и генералов, бесхитростно подобранных по принципу: у кого орденов больше.

Устинья обмахнула своим фартуком больше для виду один из стульев и предложила его Парфену Ивановичу:

— Садись, председатель!

Сама села на другой стул, не обмахивая его,— и так чисто!

— Ну, как живешь, старая, рассказывай! — начал Парфен Иванович самым дружелюбным покровительственным баском, расстегнув предварительно габардиновое пальто и положив шляпу на стол, кверху полями.

— Спасибо на добром слове,— так же ласково ответила и Устинья,— и сам-то ведь не очень молодой стал.

— Помаленьку все стареем, верно говоришь. Может, нуждаешься в чем?

— Ничего, здоровье еще есть, на хлеб-соль добываю.

— Хозяйство тянешь?

— Не я его, оно меня тянет. Да вот лапти еще плету...

— Лапти, это да!..

— Только не носят их нынче, за стыд почитают.

— Не покупает никто?

— И даром не берут. Может, ты возьмешь хоть парочку для опыта?

— Лапти, это верно, носить в наши дни стыдно! — сказал Парфен Иванович, не отвечая на предложение Устиньи взять парочку лаптей «для опыта».

— Стыд не дым, глаза не выест. А ногам в лаптях вольготно и легко. На сухом лугу и нога сухая, а на болоте тоже хорошо — вода в лапте не держится. Только новые люди не понимают этого, им сапожки подай, да чтоб каблуки повыше да потоньше.

— Куда же ты теперь лыко денешь? Вон сколько лесу испортила!

— Лапти плести буду.

— Для кого?

— Для себя, для музеев разных. На выставку в Москву пошлю, пущай полюбуются старухиным рукодельем.

— А вдруг там спросят, чей лес загубила?

Устинья не опустила глаза, не сробела, заикаться не начала.

— Ты за этим пришел, председатель? — резко спросила она.

— За этим иль нет, а ты не злись. Я к тебе с добром. Спрашиваю, как живешь, не нуждаешься ли в чем? У нас теперь старикам и старухам почет. Может, переехать куда хочешь, все-таки одной здесь тоскливо, не сладко. Тоскливо, наверно?

— Тоскливо, председатель! Только куда я денусь? Умру вместе с деревней.

— Деревенька уже умерла.

— Пока я жива, и она живет. Мешаю я тебе?

— Что ты, живи на здоровье! Осталось тут на островке четыре или пять домов. Дышит один твой, могут спросить: что у вас тут за гнилой зуб торчит? Везде укрупнения, расширения, рост по всем показателям, а этот островок — как бельмо на глазу.

— Ты за этим пришел ко мне, председатель?

— Вот заладила свое! Просто навещать тебя надо. Одна ведь. Может, помочь надо чем-нибудь. Знаешь, спросят: как, мол, вы о престарелых заботитесь? Дескать, не от хорошей жизни, наверно, лапти плетут, колхозный березняк переводят.

Вопросы председателя встревожили Устинью. «Вот въедливый!» Кончиком платка с головы она вытерла уголки губ, ответила:

— Березняка хватит на всех, и на тебя, и на других председателей. Его все равно на дрова рубят. Ни одна березка, с которой я шкуру сдеру, не пропадает, все народ забирает.

— Рыбку-то ловишь? — спросил Парфен Иванович.

Устинья рассердилась:

— Рыбку ты здесь не выращивал, председатель. Я тут сто лет живу, и рыба сто лет живет. И до меня жила сто лет. И до рождества Христова жила, может, сто лет. Ты к чему принюхиваешься?

Председатель смягчился:

— Лови на здоровье. Много ли тебе одной рыбы надо? На уху! Ты ведь рыбу не продаешь. Верно ведь, не

продаешь? А другие сетями ловят. Знаешь, как это называется? Браконьерство. Ты чем ловишь?

— Сетью! — ответила Устинья.

— Вот видишь — сетью. Ах да, сетью? — вдруг удивился председатель, когда до него дошел смысл ответа. Видимо, он не ожидал, что Устинья может сказать правду, и так прямо.

— А что же еще, старухе с удочкой сидеть? Ведь засмеют! — объяснила Устинья.— Я на ночь сеть закину в проточине или у травки где-нибудь — вот тебе и уха свежая, и на зиму сушик. Недавно щука попалась, страсти господни, словно боров хороший. Испугалась я и обрадовалась. А сварила середочку — и зубы не берут: бревно! Дерево! Задубела щука, стара шибко.

— Сетью запрещено ловить, Устинья! Я — что! А приедет какой-нибудь начальник повыше, инспектор, он может и сеть отобрать. О тебе же забочусь.

— С обыском ко мне пришел, председатель? Разговариваешь, будто с малым ребенком. Траву бы лучше скосил на острове, сено поставил. Коровам зимой опять есть будет нечего. Делом бы занимался.

— Злая ты, Устинья! — вздохнул Парфен Иванович.

— Конечно, злая. Вот подожду еще немного и выкошу все для своих овец. Мне и дома́ не помешают. И рабочих рук у меня хватит.

Парфен Иванович ничего не ответил, встал со стула и начал рассматривать на стене портреты и фотографии. Про многоцветные вырезки из «Огонька» он спросил:

— Знаешь ли хоть, кто это?

— Вожди! — сказала Устинья.

Фотографии почти все были очень старые, даже послевоенной, кажется, не было ни одной. На трех стенах разместилась целая семейная галерея, история крестьянского рода, а может быть, даже не одного, а нескольких родов. В деревенских домах обычно развешивают и фотоснимки разных родственников из своей и чужих деревень.

— Кто тут есть из твоих родных? — спросил Парфен Иванович.

— Есть тут всякие, а все будто родные.

— Где они сейчас, кто где — расскажи.

— Все там, где и мы с тобой будем. Вот это — мой родной отец. Погиб еще на войне с нехристями, где — не знаю. Написали, что погиб смертью храбрых. Эта была моей матерью. Это сестра моя, Пелагея. Она еще жива. Дом-то ее, а не мой, хотя его еще мой отец поста-

вил. Но у нее тоже сейчас никого нет, кроме меня: мужика убили. А от меня она сбежала... Вот дядя, на войне погиб. Тоже смертью храбрых. Этот парнишка — племянник. Он уже большой был, когда началась последняя война. Погиб... Вторая сестра в пасху упала на угоре с качелей.— Устинья пригнулась к окну, показала на площадь в сторону лиственницы: — Во-он там! Упала с качелей и что-то повредила у себя, позвоночник, что ли...

Устинья рассказывала свободно, настороженность к гостю оставила ее, печальные и добрые черты резче обозначились на лице. Обнаружилось, что в глазах у нее еще есть огоньки, что глаза все еще черные, широко распахнутые. И никакого сходства с бабой-ягой, никакой запальчивости, никакого вызова,— ей просто очень хотелось выговориться.

— Вот про эту еще расскажу,— указала она на фотографию молодой женщины в старинном наряде, расшитом всякими воланами, и оборками, и прошвами, и блондами. Женщина была на снимке не одна, она стояла, а рядом на стуле сидел в картузе, широко расставив ноги и положив руки на колени, здоровый широколицый парень — муж, наверно, кто еще? Фотография вставлена в рамочку, под стекло.— Хорошая была баба. Подружка моя. Все про меня знала. Вышла она замуж, по-хорошему вышла, народила двух детей и заболела гриппом. Осень стояла, уборка хлебов. Муж спрашивает: «Ты что, баба, словно бы нездорова?» — «Неможется мне!» — отвечает. «Так посиди дома денек, а то ляг на печь, погрейся. А может, баню истопить?» Осталась она дома, а мужа вызвали на гумно. И пришел к ней председатель, вот как ты ко мне, только тогда у нас из своих был, из деревенских, необразованный. «Ты что, говорит, киснешь? А план кто выполнять будет?!» Она и пошла молотить. Порок сердца сделался. Умерла. Малых деток оставила.

Парфен Иванович вдруг заторопился домой, взял шляпу.

— Что ты тяжелое мне рассказываешь,— проворчал он,— в тоску вогнать хочешь? — И засмеялся.

— Старая да одинокая, где мне легкое взять? — ответила Устинья.— И жизнь у меня была нелегкая. Видишь, вот, никого не осталось. И деревня доживает последние дни со мной вместе. Люди умирают — тяжело, а когда деревня умирает, скажу я тебе,— и того тяжелее. Живу все время как на кладбище.

— А я что говорю? — оживился Парфен Иванович.—

Нечего тут жить. На острове, может, фабрику скоро будем ставить либо завод — рыбные консервы начнем выпускать. Машины разные придут, землю перероют, пыль поднимут, копоть...

— Мой это остров,— сказала Устинья.— Тут все мое, мои корни здесь. Умру, тогда и корни сгниют. А строить стройте, я вам не мешаю. Хорошо будете строить — так, может, с чужих заводов все в свою родную деревню возвратятся. Только мне одной лучше. Натерпелась я горя на людях, нахлебалась досыта, все еще в горле комок стоит. Вы бы лучше на этот остров птицу пустили— уток, гусей, кур. А меня бы птичницей определили.

— Куда тебе, ста́ра, тебе покой нужен.

— Ну, стара так стара, и на том спасибо...

•

Когда Павлухин уехал, Устинья вздохнула с облегчением. Но потом ей стало тоскливо и неуютно. Защемило сердце. Зачем он приезжал— Устинья так и не поняла. А все-таки поговорили! Какой бы ни был разговор, а все-таки поговорили. Не «цып-цып», и не «ути-ути», и не «тяги-тяги», а людские слова, человеческая речь, глаза в глаза.

— Зачем же он все-таки приезжал?..— встревоженно повторила Устинья.— Мешаю я ему, вот что. Островок, вишь, как бельмо на глазу. Деревенька-то уже умерла. Надо, чтобы она на земле не значилась, вот зачем он приезжал...

Устинья прислонилась головой к теплому лбу русской печки, потерлась об него, заглянула в чело, открыла зачем-то заслонку и заревела, завыла в голос. Печь дохнула на нее сухим жаром. Вдруг что-то схватило Устинью под горло и стало душить: ноги ее ослабели, под лопатку тупо воткнулась боль.

— Д-душно, дышать,— просипела она.

Закрыть заслонку Устинья уже не смогла. Она зашла сбоку, со стороны запечья, поднялась на приступок, перевалилась на печь под золотистую с яркими розами занавеску и, соскользнув в ложбинку, протертую ее пестрядинным сарафаном, затихла.

Может быть, из-за этой русской печи, на которой она родилась и на которую достало у нее сил забраться в свой смертный час, Устинья и не смогла ужиться «на горо-

дах». Не смогла уйти от нее, от русской печки,— большой и ласковой, живой души северной избы.

Печь — сердце дома. Пока печь не сложена, избы еще нет. Печь не затоплена — и дом еще не живет, не пахнет жилым духом. Он вроде еще не освящен. А затопят русскую печь, и будет она теплой, пока дом живет, потому что пищу готовят и летом. Печь теплая — значит, и домовой в избе живет: где же ему и ютиться, как не под печкой?

В горячей, в прогретой печи даже сырые дрова загораются, а в остывшей, давно нетопленной и сухие принимаются не сразу. На печи сушится лучина — прямые березовые поленья: расколи, расщепли их — и с пучком березовой лучины разгорятся любые дрова, даже осиновые; опусти пару лучинок в самоварную трубу да кинь сверху горстку угольков — и загудит в трубе, зашумит.

Женщину, только что родившую ребенка, в зимнюю пору устраивают на печи, чтобы теплее было ей самой и новому жителю земли. Русская широкая печь является его первым пристанищем. На той же печи проводит человек дни и ночи своей старости, когда он ослабеет, и при любой перемене погоды болят его хрупкие кости, и странные тревожные всхлипывающие хрипы появляются в его высохшей груди, с резко обозначенными ключицами спереди и лопатками сзади.

Последние яйца, с непроклюнувшимися еще цыплятами, перекладывают из-под наседки в меховую шапку и кладут на теплую печку. Проходит день, два, а иногда и больше, и яйца доходят, все цыплята выпариваются. Ну, если попадется яйцо-болтун, тому, конечно, никакая печка не поможет. Да и тех цыплят, что своевременно вылупились, тоже сначала для обсушки кладут на печку — либо в решете с меховой подстилкой, либо в такой же зимней шапке-ушанке.

На ту же русскую теплую печку перетаскивает кошка своих еще слепых, только что родившихся котят, в каком бы месте они ни появились на свет,— стало быть, и для кошек для всех печь является как бы родиной на нашей земле.

А на какой печи не рассказывала старая бабушка в долгие зимние вечера ребятишкам — внучатам своим и не внучатам — занимательные, старинные, то смешные, то страшные сказки, в которых медведь идет на березовой клюке, чтобы отомстить за свою украденную ногу, Иван-царевич летает под облаки, разыскивая свою красави-

цу невесту, а из ближайшего, знакомого всем ребятишкам озера чуть ли не каждый вечер выходят пастись на зеленый луг озерные коровы, завороженные нечистой силой, и стоит только кому-нибудь обежать сломя голову вокруг этих коров с крестом да с молитвой — и превратятся коровы из нечистых в домашних, тогда бери обыкновенную хворостину и гони все стадо в свою деревню, в свой двор.

Лежат и сидят ребятишки на печи, будто ласточки в сумерках на колодезном журавле или на телеграфном проводе, глаза у всех поблескивают, руками подбородки подперты, и тепло им, и уютно. А в трубе завывает ветер, тараканы шелестят в пазах, скапливаются целыми колониями между деревянной стеной и кирпичной кладкой — им тоже тепло нравится.

Сипит Устинья, синеет. И кажется Бабе Яге, что она уезжает куда-то на своей печке, как в сказке. А это она умирает. Умирает Устинья. Умирает разверстая русская печь. Кто из них раньше остынет? Что может быть печальнее, нелепее, чем холодная печь в деревенской избе?.. Пока покойник не остыл, все кажется, что он еще не покойник, не труп, и что это еще не смерть, что это все еще не навеки, не всерьез.

1960

СИРОТА

Когда Павлуша понял, что не осилит троих, он испугался и предусмотрительно заревел на всю улицу. Ребята опешили: как так? — сам первый бросился в драку, сам их поколотил, его не тронули, и орет во все горло.

— У, гнида! — с отвращением и ненавистью прошипел ему в лицо кривоногий некрасивый мальчишка, облизнул с верхней губы соленую кровь и сплюнул ее.— Чего вопишь?

— А ты не лезь.

— Мы на тебя лезли? Чего воешь?

— Бабушке скажу-у.

— Драться не хочешь, да?

— Я устал!

— У, гнида! — зашипел опять мальчишка и, размахнувшись из последних сил, ткнул кулачонком, целясь в щеку Павлуши. Но Павлуша ловко отклонился, и тот упал ему в ноги, ударившись лицом о твердую землю. Кривоногому мальчишке было, по-видимому, очень больно, но он не заплакал, а Павлуша пнул его, лежачего, несколько раз и заревел громче прежнего, хотя на него никто не нападал. Двое других супротивников смотрели, раскрыв рты от удивления.

На рев вышел из соседнего дома мужчина, босой, в нижних домотканых портках, с густыми нечесаными волосами и грязной бородой, и еще с крыльца, скороговоркой и нехотя, словно отмахиваясь от комаров, заворчал:

— Что тут у вас, обломоны? Набросились трое на одного — победители! Всем уши выдеру!

Павлуша наспех вытер глаза и приготовился бежать, потому что увидел перед собой отца того кривоногого мальчишки, который валялся на земле,— какая уж тут Павлуше поддержка! Но... услышав слова: «Набросились трое на одного»,— не побежал, а завыл еще пуще.

— Бесстыжие! — кричал мужик, приближаясь к ним.— Чего делите? Из-за чего воюете?

Сынишка его поднялся с земли и, съежившись, ждал трепки, но не плакал.

— Мы не воюем,— стал оправдываться он.

— Как не воюете?

— Он первый полез. Он у Петьки морковку отнял. Мы его еще не били.

Мужик осмотрел ребятишек: у сынка течет кровь из носу; Петька весь в грязи — тоже, видно, валялся на земле; третий держится за ухо, а у Павлуши хоть и незаметно никаких следов побоев, но вся рожа в слезах...

И он сказал:

— Гм!..

Потом запустил руку в грязную бороду, поскоблил ее, поскоблил затылок, что означало глубокое раздумье, и, наконец, вынес решение.

— Не трогайте его, ребята: он сирота.

●

Так в шесть лет Павлик понял, что быть сиротой не так уж плохо. Понял и запомнил.

А осиротел Павлуша в своей жизни дважды. В первый раз во время войны.

Как-то он вернулся с реки — хотелось есть, хотя живот был до отказа набит щавелем и зелеными дудками,— и застал дома мать, плачущую навзрыд. Мать плакала часто, поэтому он не обратил на это особого внимания, к тому же за печкой, захлебываясь слезами, плакал его младший братик Шурка, тоже, наверно, есть хотел. Все же Павлуша не стал просить еды у матери. Но бабушка его удивила.

По правде сказать, Павлик не надеялся, что ему дадут что-нибудь поесть в середине дня, и потому заранее набил живот луговой зеленью, но и не просить поесть он тоже не мог: вдруг перепадет кусок хлеба либо сухарь, намоченный в соленой воде,— ведь всякое случается, а есть ему всегда хотелось. И он подошел к бабушке почти равнодушно, без всякой надежды на успех.

— Бабушка, поись ба!

И вдруг бабушка, ни слова не говоря, чего никогда раньше не случалось, отдала ему половину молока из Шуркиной чашки. Мало этого, она еще обняла его и капнула ему на голову, на самую макушку, теплую слезу.

«Вот те на — и бабка заревела!» — с удивлением отметил он про себя.

— Кушай на здоровье, внученька, сиротинушка ты моя горемычная! — сказала бабка с причетом.

И Павлик все понял.

— Али тятьку убили? — спросил он с интересом, но еще без всякого чувства.

— Убили родителя твоего, внучек, кормильца нашего богоданного убили,— запричитала бабка.— Извещение пришло.

Мать в углу на лавке после этих слов залилась еще безутешнее, а перепуганный Шурка перешел на визг.

Павлуша почти не помнил своего отца и, прислушиваясь к реву, безуспешно старался вызвать в душе сожаление о случившемся, но никакого горя пока не испытывал. Наевшись молока с хлебом, он заплакал вместе со всеми, но лишь потому, что знал: так надо!

На рев и причитания в избу стали заходить соседки и соседские ребятишки. Одни женщины останавливались у порога, другие проходили вперед, крестились на иконы и тоже начинали плакать — сначала беззвучно, вытирая слезы концами платков и фартуками, потом навзрыд, закрывая лицо руками либо тычась друг другу в плечо. Сразу в голос начинали плакать женщины, которые сами получили извещения о смерти. Другие, прежде чем поддаться чужому горю, подолгу стояли, суеверно вытянувшись, и в их широко открытых глазах накапливались тревога и страх за жизнь своих мужей и сыновей. От них еще на днях были письма, но письма эти писались месяца два тому назад, и один бог знает, что могло произойти на войне за это время. Быть может, от солдат еще письма идут, а может, на почте лежат уже извещения о «павших смертью храбрых» и не сегодня-завтра почтальон сунет их в окно и кинется к следующей избе со своей черной сумкой.

На причитания бабушки и на крик Шурки женщины не обращали внимания, и если проходили вперед, то становились поближе к матери либо к Павлику и молча гладили его по голове. Наверно, они думали, что Павлик уже понимает свое горе, и жалели его. А он еще ничего не понимал, ему было только хорошо оттого, что его все жалеют. И когда соседский мальчишка шепнул ему на ухо: «У меня что-то есть, пойдем!» — Павлик выскользнул из избы.

— Половину мне!

— Все отдам! — с готовностью согласился мальчишка.
— А чего?
— Там увидишь.

Павлик смутно чувствовал, что ему теперь все можно, что никто ничего для него теперь не пожалеет, и радовался этому.

●

Спустя два года Павлуша осиротел вторично. Война к тому времени уже закончилась, но жить было еще трудно. И он, и его братишка Шурка часто недоедали — корова в личном хозяйстве была, но молока в доме не оставалось, потому что колхозная молочнотоварная ферма плана своего из года в год не выполняла. Недоставало и хлеба своего, собранного с приусадебного участка. Не досыта ели ребята, не досыта ела и бабушка Анисья. Но больше всех голодала мать. Что бы ни появлялось на обеденном столе, она говорила, что уже сыта. А работа была тяжелая, и она не жалела себя. Весной она заболела. Особенно истощали и мучили ее чирьи под мышками, из-за которых она не могла ни поднимать, ни опускать рук.

— Сучье вымя! — сказал про эти чирьи сельсоветский фельдшер, случайно оказавшийся в деревне.— Организм истощен. От работы на время освобождаю, справку дам.

Мать мучилась долго, и все это время семья бедствовала. В правлении колхоза чирьи не считали серьезным заболеванием, от работы ее не освободили. Председатель Прокофий Кузьмич говорил так:

— Если из-за каждого пупына будем руки опускать, то весь колхоз по миру пустим.

Бабка Анисья сама не хуже любого фельдшера лечила в деревне всех скудающихся: снимала переполох с малых и старых, правила пупы, заговаривала гнилые зубы, чтобы не ныли, выпаривала из тела простуду и ревматизм.

Бывало, напугается чего-нибудь мальчонка, потеряет сон, вскакивает в полночь, кричит не своим голосом. Анисья наденет на него потный хомут, только что снятый с лошади, да повторит трижды немудреный заговор: «Страхи-переполохи, идите в хомут!» — и вся болезнь исчезает, спит мальчонка спокойно, ест в охоту. А ежели

какой ребенок еще мал, сосунок еще, и сам на ножках стоять не может, просовывает его Анисья в хомут всего, как есть, а мать принимает его с другой стороны, и так трижды, с тем же причетом — польза наступает сразу почти всегда. Редко кто не верил в Анисью, не обращался к ней. Взялась она лечить и невестку свою: сначала пользовала разными травами, потом стала прикладывать к нарывам лепешки из свежего конского навоза. Но облегченья больная не чувствовала.

Через несколько дней мать умерла от заражения крови.

Прощаясь с Павлом, она долго внушала ему, старшему, как себя вести надо:

— Ты теперь сирота, сынок. Не возвышайся зазря, чтобы люди на тебя не обижались. Людей обижать не будешь — они тебя не оставят. А без них вам не прожить. Бабушка — она гордая, а вам теперь гордиться нельзя. Помни: сирота ты теперь круглая, сиротинушка вечная. Поцелуй маму. Прощай! О Шурке заботься. Ты — старший, понял?

— Понял, мама. Прощай! — ответил Павлик, думая, что мать разрешает ему бежать с ребятишками куда вздумается.

И он убежал с дружками на весь день. В поле они собирали пистики — молодой хвощ, на Мокрушах пили березовый сок, в сосновом мелколесье вырезали пищали.

Домой возвратился Павлик уже круглым сиротой, когда бабушка выла и причитала:

— Сироты мы теперь все, сироты-сиротинушки. Без отца, без матери как жить будем? Умрем все с голоду або что?..

Как это ни странно, а после смерти матери и детям и бабушке стало жить сразу намного легче. Председатель колхоза, должно быть, посчитал себя в чем-то виноватым и потому поставил на правлении колхоза вопрос «О положении дел в семье бывшего фронтовика».

— К сиротам мы обязаны проявлять свое внимание! — сказал председатель.

После этого кладовщик сам принес им полпуда ржаной муки и корзину картошки. «Семенная»,— сказал он. А дня через два послал овсяной крупы — заспы да бутылку льняного масла. Павлик вместе с ним ходил в колхозный продовольственный амбар и после долго рассказывал бабушке, как много там всего.

О сиротах вдруг все начали заботиться.

Райсобес назначил им денежную пенсию. Сельсовет освободил от молоконалога.

Бабушка ахала и охала.

— Все это нам за отца, ребятушки! — говорила она.— Бог дает!

А ребятушки ели, пили и не спрашивали, кто им все это дает и за что.

Иногда сердобольные соседки несли им то кусок пирога, то горшок каши, либо обноски какой-нибудь детской одежонки, или старые обутки. Но это уже походило на подаяние, и бабушка обижалась.

— Мы не нищие! — говорила она.

Шурка подрос быстро, не по годам вытянулся и окреп, и теперь два брата повсюду носились вместе, как равные товарищи, почти одногодки.

Если сверстники обижали одного из них, другой вступался:

— Не трогайте его, он сирота!

•

Вскоре после смерти матери колхозный пасечник Михайло Лексеич позвал ребятишек к себе на первую выемку меда.

Пасека находилась километрах в трех от деревни, на цветистой луговой полянке близ старого русла реки, которое давно превратилось в озеро. Крутой спуск к озеру зарос мелким березнячком и осинничком, но эта молодая поросль не закрывала горизонта. Сверху, с поляны, от избушки пасечника, хорошо была видна даль.

— Что там? — спросил Павлуша, когда немного осмелел.

— Там-то? — переспросил старик.— Там все есть. На крутизне в мелколесье тетерки, конечно, водятся и зайцы бегают, осинку грызут; чуть подальше на озере, в камышах да в осоке, утиные выводки всяких пород; а в самом озере, конечно, рыба, тоже всякая; еще дальше, за озером — ну, там уж луга, сенокосы, а на лугах в траве тоже, конечно, всякая живность таится, там мои пчелки мед добывают; потом идет лес, во-он темная полоса, а в лесу, как положено, конечно, и волки, и лисицы, и даже медведи есть, из птиц — рябчики больше да глухари. Ну и, конечно, нечисть всякая лесная, как положено во всяком темном лесе. Вот ужо подрастете...

Михайло Лексеич разговаривал с ребятами в первый раз и теперь показался Шурке человеком необыкновенной доброты, у него даже глаза были синие, ласковые и теплые, и борода тоже теплая. В этой бороде ему, должно быть, всегда было жарко, но он не снимал ее: жалел, наверно. Двигался Михайло Лексеич неторопливо, говорил тихо, медленно, немного нараспев. А пчелы горячились, но Михайло Лексеич не обижался на них, он словно не замечал, что одна или две пчелки все время возились в его теплой бороде и надоедливо, нудно зудили, жужжали, чтобы вывести его из терпения. А он не выходил из терпения: видно, он всегда был спокоен.

— Вот подрастете, ребятушки, и дам я вам свое ружье, и пойдете вы в темный лес,— говорил нараспев, будто сказку рассказывал, Михайло Лексеич.— И найдете вы не одну колоду диких пчел, и переселим мы их сюда, на нашу пасеку, и будут они, новые пчелы, выносливые, добычливые, и зальемся мы медом по уши, и заживем все богато...

— А ружье для чего? — спросил Шурка.— Пчел отгонять?

— Ружье для медведей — медведей отгонять, пчел охранять.

— А зачем по уши?

— Чего «по уши»?

— «Зальемся медом по уши...»

— А вот дам я вам меду, и будут у вас в меду и носы и уши.

— Поглядим! — весело сказал Павлик.

— Пойдемте в сторожку,— пригласил их дед.

— А когда мед доставать будем?

— Мед не достают, а качают.

— Как это качают?

Они вошли в избушку пасечника, маленькую, как банька, с одним окном, с маленькой печкой. Между печкой и стеной лежали доски, прикрытые старым полушубком,— дедова постель. На полушубке спала, тихо и смешно посапывая, маленькая курносенькая девчонка, внучка Михайлы Лексеича, Нюрка. Губы и круглые щеки ее были перепачканы медом, к кончику носа прилип клочок шерсти, и шерсть шевелилась от Нюркиного дыхания. На стенах висели дымогары и сетки, которые пчеловоды надевают на голову, когда идут к ульям,— Михайло Лексеич не надевал их никогда. Посреди избушки стояла бочка-медогонка, по краям ее ползали пчелы. Пчелы

бились и на оконном стекле — сытые, ленивые. От всего пахло медом, только от дымогаров — чадом, дымком.

— Так вот и качают,— начал объяснять Михайло Лексеич, подойдя к медогонке.— Видите, в бочке вроде ветряной мельницы. Вставишь в эти крылья рамки с сотами и крутишь и крутишь, мед разлетается по стенкам бочки и стекает на дно.

Дед взялся за металлическую ручку и раскрутил мельницу до свиста, до стука.

Ребята отступили.

Павлик заметил:

— Значит, не качают, а вертят.

— А сейчас я вас медом угощу! — сказал Михайло Лексеич и, подняв западню, неторопливо спустился в подполье.

— Ну и старик! — прошептал Павлик Шурке.— Никогда бы он нас раньше сюда не пустил.

— Он добрый! — не согласился Шурка с братом.

— Добрый!

Михайло Лексеич вынес из подполья подойник со старым, засахарившимся медом вместе с обрезками вощины и поставил перед ребятишками.

— С батькой-то вашим мы на охоту вместе хаживали. Хороший был парень! И матка ничего, бог ее прибрал.— И дед вздохнул.

Ребята начали сосредоточенно жевать сладкий воск, складывая выжеванные куски на подоконник.

— А мед качать будешь?

— Сейчас начну. Только вы домой пойдете, а то пчелы искусают.

— Мы ничего не боимся.

— Хвастунишки,— ласково сказал старик.— Ничего не бояться нельзя. Надо бояться.

За стеной избушки послышался говор. Старик насторожился, встал и открыл дверь. Прямо против входа стояла кучка ребятишек, сверстников Павлуши.

Некоторые, что потрусливее, тотчас шагнули в кусты.

— Вам чего надо? Опять пришли? — крикнул им Михайло Лексеич, и вся ласковость в голосе его исчезла.

— А им чего надо? — дерзко ответил кривоногий, худосочный мальчишка лет семи-восьми в солдатской пилотке и кивнул головой на Шурку и Павлушу.

— Не твоего ума дело.

— Моего!

— Трепки захотел, разбойник? — спросил дед.

— Меду захотел!

— А потом разговоров не оберешься. Давно ли я давал тебе меду?

— Давно!

— Ну и хватит, а то брюхо заболит.

— Дай меду!

— Вот я тебе дам меду. Штаны спущу да крапивой!

Ребятишки скрылись в лиственной рощице.

На полушубке завозилась курносенькая Нюрка, привстала, потерла ручонкой глаза, нос, и медовые пальцы ее склеились в кулаке.

— Спи, спи, чего ты, внученька? — снова ласково заворковал дед.

— Не хочу спать,— сказала Нюрка.

— А меду хочешь?

— Не хочу меду.

— Так приляг еще. Разбудили тебя эти разбойники?

Скоро ушли с пасеки и Павлик с Шуркой. По дороге Шурка думал и говорил только о пасеке.

— Я бы всю жизнь пчел обхаживал и спал бы здесь!

— Ну да? — сказал Павлик.— Нажрался бы раз до отвала меду — и все.

— Тут жить хорошо, красиво,— продолжал Шурка.— Выйдешь из избушки и смотри во все стороны.

— Ну да, во все стороны,— опять не согласился Павлик.— Видел, как он ребятишек во все стороны?

— Он добрый! — твердо заявил Шурка.

— Ладно, добрый,— не стал спорить Павлик.— Мы теперь всегда мед есть будем!

•

В школу Павлик и Шурка поступили одновременно — Павлуша с запозданием года на два, а Шурка на год раньше, чем следовало, и учиться Павлуше было легко, а Шурка отставал. Зато, не в пример Павлику, он рос крепышом, круглолицым, устойчивым на ногах, почти никогда не простужался, не болел ни насморком, ни гриппом. Павлик же был длинен, худ, часто кашлял, из-за постоянных насморков привык держать рот открытым, отчего видом своим вызывал жалость и казался иногда простачком, хотя не был ни глуп, ни простодушен. Незаметно сложилось мнение, что Павел создан для ученья, для умственного труда, а Шурка — для земли, для деревни,

и когда братья окончили свою деревенскую начальную школу, все решили, что старший должен учиться дальше, а Шурка будет работать в колхозе: нельзя же бабушку оставлять одну. Шурка смирился с этим.

Павлика отвезли за двенадцать километров в село, где была семилетняя школа. Отвез его сам председатель колхоза, устроил на постой у своих дальних родственников, сказал, чтоб не сомневались — никакая услуга за ним не пропадет, а в крайнем случае бабка Павлуши будет платить им по десятке в месяц за хлопоты; потом отвел Павла к директору школы и от имени правления колхоза попросил, чтобы директор не оставлял сироту без присмотра и без своего человеческого внимания.

— Смену себе готовлю! — сказал он.— Нам самим поучиться как следует не довелось, так пусть хоть наши ребятишки выучатся. Вот о них и хлопочу.

— Тэк, тэк, понимаю, Прокофий Кузьмич,— сказал директор.— Хорошее дело — забота о смене.

— А как же! И о людях заботу проявляем. Это уж как положено. Семья бывшего фронтовика...

— Хорошо это,— повторил директор и улыбнулся.— Только, надо полагать, у вас есть ко мне еще какое-нибудь дело? Попутное, так сказать?

Директор был широкоплечий мужчина, усатый и загорелый настолько, что казался прокопченным насквозь. Он достаточно хорошо знал председателя колхоза Прокофия Кузьмича и не поверил, что тот может приехать за двенадцать километров только ради устройства на учебу какого-то сироты. В течение многих лет учителя и старшеклассники каждую осень проводили на колхозных полях, а не в классах,— жали рожь и овес серпами, теребили лен, копали картошку, вывозили из скотных дворов навоз и раскидывали его под плуг, делали многое такое, что требует простой физической силы. Нередко работа находилась для них и весной. Председатели колхозов и в первую голову Прокофий Кузьмич утверждали, что это и есть соединение учебы с производственным трудом, учителя же объясняли все проще: в колхозах не хватает рабочих рук. Сам директор школы любил физический труд больше, чем занятия у классной доски — он преподавал математику,— и охотно соглашался выводить на поля всю школу.

Гостя он принимал в своем кабинете: над письменным его столом широко раскинулись зеленые листья фикуса.

— Так какое же попутное дело привело вас в нашу даль в уборочное время? — спросил он Прокофия Кузьмича и потянул себя за усы книзу — такова была его привычка.

— Попутное дельце, конечно, есть, нельзя без попутного дельца,— согласился Прокофий Кузьмич.— Вы нас выручали частенько, я не отрицаю. Может быть, и в этом году выручите?

— А кто будет смену вам готовить? — улыбнулся директор, хотя обоим уже было ясно, о чем и как нужно договариваться.— Самим поучиться не довелось, так пусть хоть ребятишки поучатся, так ведь?

— Так-то оно так, Аристарх Николаевич, конечно. Но все-таки и без практики ребятам не ученье. Да и вам что за жизнь без работы — вон вы какой детинушка! А я бы грузовичок послал за вами немедленно.

— На сколько вы человек рассчитываете?

— Да сколько грузовик подымет.

— С райкомом договаривались? Или с районо?

— Вот ведь вы какой, Аристарх Николаевич! Неужто мы сами не сумеем столковаться: вы — директор, я — председатель?.. Сумеем и должны, я так полагаю.

— Тэк, тэк, тэк! — все еще как бы упорствовал директор.— Вы — председатель, я — директор, все так. Только односторонние у нас обязательства, вот что плохо. Мы вам — рабочую силу, а вы нам — ничего. А на заре революции в школах наших горячие завтраки и даже обеды были.

— Ну что вы от нас хотите? — удивился Прокофий Кузьмич.

— Может, помогли бы организовать горячие завтраки? Овощей бы подбросили, продуктов, одним словом.

— А разве наши овощи не государству идут? Все сдаем государству, чего вам обижаться? Вы с государства требуйте.

— Все — еще не значит много. За вас, дорогой Прокофий Кузьмич, всю жизнь другие расплачиваются.

— Что поделаешь, Аристарх Николаевич, мы слабые, нам и должны помогать. Отстающих вытягивать надо.

— Тэк, тэк, тэк! — раздумчиво повторял директор.— Не такие уж вы слабые. Лучше бы вы не прибеднялись.

— Кто знает, лучше ли? — засмеявшись, возразил председатель колхоза.— К сильным вы на выручку не пойдете, верно ведь? А слабому да отстающему вы обязаны

помочь. Советская власть не позволит обижать сирых. Неправду я говорю?

Председатель колхоза говорил о вещах весьма серьезных, но так, что при случае все свои слова мог обратить в шутку. И директор понял это.

— Да, действительно в слабых ходить иногда легче,— мрачно сказал он,— с них меньше спрашивается. Ну, где ваш сирота? Ему ведь тоже помогать надо будет? — завершил он разговор и потянул усы книзу.

— А как с уборочкой-то, Аристарх Николаевич? — не сдавался председатель.

— Буду ждать директивных указаний из района,— сказал директор. Но это означало, что он соглашается с председателем.

●

Бабушка часто рассказывала внукам об отце.

Шурка отца помнить не мог, но, по рассказам бабушки, представлял его солдатом, увешанным с головы до ног разным оружием: на спине крест-накрест две винтовки, на груди автомат, на поясе гранаты вроде бутылок и серебряная сабля, из каждого кармана торчат отнятые у немцев пистолеты, за голенищами сапог тоже пистолеты и гранаты.

Павлик спрашивал бабушку:

— Хороший он был, бабушка, наш батько?

— Кабы не хороший был, не так бы вам сейчас и жилось. Храбрый был, работящий был, справедливый. Курицы не обидит, а медведь в лесу лучше ему на глаза не кажись, живо спроворит: застрелит або топором зарубит. Когда на войну пошел — вся деревня в голос ревела. А он и говорит: буду так воевать, что вся грудь в крестах — в орденах, значит,— або голова в кустах. Вот оно так и вышло.

В Шуркином представлении постепенно сложился образ былинного богатыря. И стало ему казаться, что он даже запомнил, как провожала отца на войну вся деревня. Ранним утром высыпал народ на улицу, и все смотрят в сторону поля, чего-то ждут. Петухи давно с насестов послетали, солнце вылезло из-за крыш, над землей плывет музыка — либо гармони играют, либо радио в домах включили на полную катушку. Из конторы вышел на крыльцо председатель колхоза Прокофий Кузьмич, поднял руку и начал кричать:

«Пойте все! Пойте все!»

Музыка заиграла еще громче, и все запели:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!

Широкие ворота распахнулись, и в деревню, по дороге из города, вошел танк, огромный и медлительный, будто слон, и с таким же слоновым хоботом, вскинутым на уровень избяных коньков.

Народ расступился на обе стороны, танк подошел к конторе, и Шуркин отец в полном своем вооружении переступил с крыльца правления колхоза прямо на броню танка. Музыка усилилась, песня загремела так, что даже ветер поднялся в палисадниках, а отец поклонился народу и сказал: «Або грудь в крестах, або голова в кустах!» — и танк медленно развернулся и понес отца на войну. «Откройте ворота в поле, шире откройте!» — закричал Прокофий Кузьмич, потому что ворота в поле, через которые ездили в город, всегда были закрытыми.

Но никто не решился бежать впереди танка, и он, черный, тяжелый, под песню и музыку раздавил эти ворота, будто их не было вовсе. Когда танк вышел в поле, отец-богатырь, стоявший на броне и державшийся одной рукой за поднятый хобот орудия, махнул саблей, и деревянные остатки изгороди вспыхнули ярким пламенем. За этим пламенем и дымом танк исчез. Вместе с ним исчез и отец Шуркин. А в деревне все еще пели «Вставай, страна огромная...», и гремела страшная и радостная музыка, и ветер гнул деревья до земли.

Все происходило именно так, иначе и быть не могло. Смутные представления об этом событии отложились, должно быть, в каком-то дальнем уголке Шуркиной детской памяти и становились все яснее и яснее по мере того, как он взрослел.

Шурка решил, что он обязательно должен вырасти таким же, каким был его отец,— защитником родной земли: бесстрашным, вооруженным с головы до ног, всеми любимым,— и ни перед кем не кланяться, и за всю жизнь не обидеть ни одной курицы.

Конечно, он подражал старшему брату во всем и тоже иногда плаксиво ссылался на свое сиротство, но делал это, лишь когда требовалось поддержать брата или защитить его. Если б у него была такая же сила, как у отца, он, конечно, защитил бы брата не жалостливыми словами. Только вот оружия у него не хватало, особенно

если иметь в виду оружие настоящее, а не самодельное. Главное — надо было вырасти. Важнее задачи на сегодняшний день он не знал.

— Бабушка, а где батько оружие доставал? — спрашивал он не раз, требуя все больших уточнений.

— Оружие-то? — раздумывала Анисья, как бы ему ответить получше.— Время такое было, что всем храбрым людям оружие на руки выдавали, под расписку. А батько у тебя был знаешь какой? Вот какой! Никому слова «наплевать» зря не говаривал, все ласково да обходительно, ни одной мухи за всю жизнь не раздавил, а силушкой владел непомерной.

— Верно, что его на танке из дому увезли?

— Все верно, внучек! В ту пору в селе храбрым по танку давали. А кабы не это, разве бы одолеть нам нечисть эту поганую? Нипочем бы не одолеть.

— А он был ученый? — вмешивался в разговор Павлик.

— Кто?

— Тятька наш.

— Лишнего ученья не было, только ведь не одним ученьем ум человеку дается. Кому-то надо и землю пахать. Вот ты у нас будешь учиться, а Шурик будет дома, он младший, его судьба такая.

Однажды бабушка нашла в сундучке среди отцовских треугольных писем обыкновенный конверт, и в нем фотографию.

— Вот он, кормилец наш! — кинулась она с находкой к свету.— Ну-ко, смотрите, ребята!

— Кто это? — спросил Шурка.

— Ты что, ополоумел або как? Батько это!

Солдат без оружия, в кирзовых сапогах, в помятой гимнастерке без погон, без орденов совершенно не походил на праздничного паренька в белой вышитой рубашке с поясными белыми кистями до колен, снимок с которого висел на стенке около божницы, и на того отца-богатыря, проводы которого на войну запомнились Шурке, как ему казалось, на веки вечные. Солдат походил на пахаря, на колхозного бригадира, только не на воина.

Это был обыкновенный и очень понятный деревенский мужик, свой хлебороб, а не тот полусказочный Илья Муромец, которого ясно видел в своем воображении Шурка.

— Кем он был, бабушка? — спросил Павлик, пристально разглядывая своего отца.

— Как это кем был?

— Что в колхозе делал?

— В колхозе-то? Все делал. Что надо было, то и делал. Колхозник ведь!

— А снимался где? — спросил Шурка.

— На войне снимался або где, не знаю.

— Без оружия?

Бабушка рассмеялась.

— Тебе бы все ружья да ружья, экой какой! А он положил ружье свое на землю и снялся — вот и все тут.

Шурка это понял: и верно, почему солдат должен быть всегда при оружии? А на отдыхе у ключа с живой водой? А на пиру за дубовыми столами, за скатертями самобранными? Правда, вид у отца не такой уж могучий, каким он представлялся,— в плечах, пожалуй, не косая сажень, но это был его отец, и он вправду был солдатом и защищал советскую землю и, наверно, дошел до Берлина вместе со всеми. Значит, все так, все правильно! И до войны он был колхозником и не гнушался никакой работой, делал все, что требовалось, и его любили.

Шурка ни разу не слыхал, чтобы кто-нибудь в колхозе помянул отца недобром, напротив, его только хвалили. А плохого человека даже после смерти не будут все хвалить в один голос. Павлику и Шурке нередко ставили отца в пример. Но Павлик пошел в ученье и не мог во всем подражать отцу, у него жизнь началась совсем иная. А вот Шурка мог подражать отцу во всем, потому что сам стал заниматься тем же, чем занимался всю жизнь его отец. И Шурка очень хотел походить на своего отца.

●

Интересно менять места на земле. Сменишь место, и будто все в жизни твоей начинается заново.

Изба, в которой Павел должен был прожить несколько лет, была совершенно такой же, как все деревенские избы: при входе, над головой,— полати; от входа справа — большая русская печь, при ней лежанка-подтопок на время зимних морозов; за пекаркой — кухня, кое-где ее зовут кутьей; там чело — там стряпают, варят, разливают парное молоко, стирают белье; там же вход в подполье, в го́лбец,— это либо дверь между стеной и печкой, либо западня прямо на середине пола и спуск под пол, как в трюм парохода. В кухне же — суденка, вроде

низкого посудного шкафа, набитая до отказа блюдами, глиняными плошками, алюминиевыми тазиками и чайными чашками, а чуть повыше — полицы с глиняными горшками и кринками, с подойницей, с чугунками. От главной половины избы кухня отделена дощатой заборкой (в иных избах — занавеской). В этой главной половине напротив входа — сутный угол, в котором вперемежку с иконами висят портреты разных больших и небольших людей, а по обе стороны от обеденного стола тянутся вдоль стен массивные сосновые лавки-скамьи.

Изба как изба. Но для Павла все в ней казалось новым и необыкновенным, потому что это была изба не своя, и, поскольку Павел считался в ней квартирантом, у дощатой заборки выделен был для него особый уголок, куда хозяин дома Иван Тимофеевич поставил даже нечто вроде столика, чтобы постоялец мог сидя заниматься своими науками. На заборке Павел повесил листок из тетрадки с расписанием уроков да вырезанную из газеты фотографию лыжника, а на столик положил несколько учебников.

Спал он на полатях вместе с хозяйскими сыновьями — Васюткой и Антоном. Васютка был пареньком плутоватым, озорным, дерзким, примерно одного возраста с Павлом, и учиться стал с ним в одном классе, а вялому и простодушному Антону едва исполнилось восемь лет, и он больше всего на свете гордился тем, что стал наконец учеником первого класса: значит, как-то поравнялся со своим старшим братом.

На полатях ребята познакомились друг с другом.

— Ты уроки учить будешь? — спросил Васютка Павла.

— Как? — раскрыл Павел рот от удивления.

— Так! Я никогда не учу. Лучше на реку бегать, рыбу удить. А зима начнется — на лыжах ходить будем.

— Разве уроки не задают? — поразился Павел.

— Задают. Тятьке тоже в колхозе много задают, а он чего делает?..

Павлу на первых порах учеба и в этой школе давалась легко, и они подружились с Васюткой. Школьные отметки у обоих были хорошие, и ребята ждали только окончания уроков, чтобы схватить удочки да убежать на реку. Дома они почти ничем не занимались.

Отец Васютки тоже не много занимался делами, хотя среди начальства считался неплохим работником. Он состоял в разных комиссиях, [illegible]зал то бригадиром, то каким-нибудь учетчиком, много выступал на собраниях и даже

на районных активах, следил за тем, чтобы работали другие, постоянно кого-то хвалил и выдвигал, кого-то отчитывал — словом, руководил. Время от времени он признавал и свои ошибки, и это производило на всех хорошее впечатление. Здоровье у Ивана Тимофеевича было выдающееся, он мог подолгу и помногу пить в нужной компании и не напиваться, а приходил домой и принимался рассказывать о своей жизни сыновьям и квартиранту Павлуше.

— Главное — не завалиться! — говорил он для начала, имея в виду количество выпитого.— И вообще надо не заваливаться. А на жизнь заработать всегда можно. Вот приехал я как-то в Москву. То-се, туда-сюда — деньги идут. Не стало денег. Как же так: нужный человек, а без денег? Поговорил с одним, с другим. «Колхозник?» — спрашивают. «Колхозник, говорю, руководящий!» — «Член партии?» — «Член».— «Иди, говорят, на такой-то этаж, в такой-то отдел, скажи — приезжий, руководящий колхозник, поиздержался, денег на дорогу нет, там очень чутко к этому относятся». Я пришел. Так и так, мол... И не успел я поговорить как следует, подают бланк: пиши заявление. Я стал писать. «Покороче»,— говорят. Я покороче. «Распишитесь, говорят, и получите деньги». Я расписался и тут же получил. Фу ты черт! А им все равно, у них фонды. Очень мне это понравилось — никакой волокиты. Конечно, для них я — капля в море, но у меня-то впечатление осталось хорошее. Одного себе простить не могу: мало попросил. Ну что мне стоило написать цифру покруглее? Им-то все равно, а для меня — заработок. Ну, в общем, понравилось!

Павел слушал и удивлялся: как все просто — зашел, написал заявление и получил.

Васютка начинал спрашивать отца:

— Как там в Москве, тятя, расскажи?

— Разве я мало рассказывал?

— Расскажи, тятя, как там?

— Что тебе Москва? Ты смотри, как здесь. Учиться, ребята, надо, вот что я вам скажу. Без ученья никуда. Только и с ученьем можно в дураках всю жизнь проходить, а на дураках воду возят. Активность надо проявлять, вот что я вам скажу, выступать надо, заинтересованность показывать. Говорить не научишься — жить не научишься! Ты чего рот раскрыл? — вдруг обращался он к Павлу.

А Павел слушал. Все [illegible] доме для него было интересно, и он не тосковал ни по своим родным, ни по своей

деревне. К тому же Шурка чуть ли не каждую неделю навещал его, не считаясь ни с какой погодой, возил ему пироги, картошку, мясо, молоко — все, что скапливала и приготовляла бабушка. Павел, видимо, понимал, чего это ей стоило, и умел быть благодарным: передавал бабушке поклоны и даже писал письма. А бабушка частенько с надеждой говорила:

— Вот выучится — за все отплатит, все возворотит! — Правда, при этом она добавляла иногда: — Все возворотит, коли совесть не потеряет.

Шурка нередко навещал Павла и пешком, если в колхозе не оказывалось свободной лошади, либо пересылал еду с попутчиками.

В общем, Павлуша не голодал. Но все же, когда хозяйская семья садилась за обед, за ужин, он торчал в стороне и вздыхал, пока не приглашали за стол и его.

После ужина подвыпивший Иван Тимофеевич хвастался своей силой. Он становился раскорякой посреди избы, выпячивал живот и подзывал либо Васютку, либо Павла:

— А ну, давай!

Васютка брал от печи сосновое полено и привычно, со всего размаха бил поленом по отцовскому брюху. Иван Тимофеевич, даже не покачнувшись, выдыхал воздух и говорил Павлу:

— Теперь ты!

Павел первое время боялся бить изо всей силы, ему казалось, что случится какое-нибудь несчастье. Тогда Иван Тимофеевич обижался.

— Осторожничаешь? Этак из тебя никакого толку не выйдет. Давай еще! Только ребром не ударяй, держи полено так, чтобы попало круглой стороной. Ну!

Павел бил снова. Раздавался мягкий, невыразительный звук, полено отскакивало от бригадирского брюха, как от туго надутой резиновой подушки, и Иван Тимофеевич снова садился за стол, чтобы выпить еще два-три стакана чаю. В зимнее время ребята приносили ему из сеней с мороза огромный матрас, набитый соломой, ватное одеяло и делали еще что-нибудь по его требованию, иногда просто чудачили, читали таблицу умножения шиворот-навыворот, а он хохотал.

Однажды Павел ударил поленом неудачно, выше, чем следует, и Иван Тимофеевич задал ему трепку.

— Бей, да знай, кого бьешь, дурак!

Позднее дружба с Васюткой у Павла разладилась, хозяйский сын невзлюбил квартиранта. Но это произошло не сразу. Неторопливый Павел не мог все же угнаться за смышленым и быстрым своим дружком. Способности его оказались хуже, чем у Васютки, и, когда он перестал заниматься на дому, ученье стало даваться ему с трудом. Павел не всегда успевал записывать, что говорили учителя на уроках. Поначалу Васютка охотно давал ему свои тетради.

— Ладно, списывай, потом сам не зевай!

Но Павел зевал снова и снова.

— Ты рот не раскрывай, раззява! — обижался Васютка.— Списывай, на!

Павел переписывал Васюткины тетради и постепенно стал подражать ему во всем, даже почерк его перенял. Он повторял Васюткины поговорки и прибаутки, копировал его повадки, походку. Васютка увлекался рисованием — и Павел стал рисовать, Васютка набросился на Майн Рида — и Павел тоже. Но Павел все делал медленно. Пока он читал «Всадника без головы», Васютка успел прочитать и «Отважную охотницу», и «Мароны», и «Охотников за черепами». Мало этого, в школе выяснилось, что и домашние задания у Васютки все готовы, а Павел то с одним не справится, то другое что не выполнит.

Пришло время, классный руководитель поручил Василию Бобкову взять шефство над отстающим Павлом Мамыкиным.

— А если он всю жизнь будет отставать? — спросил Васютка.

— Это твоя общественная нагрузка,— разъяснил ему учитель.— Твой общественный долг!

— Ничего я ему не должен!

— Бобков, я призываю тебя к порядку.

Бобков подчинился.

Вернутся они с занятий, Васютка наскоро поест — и на лыжи. Павел — тоже.

— А уроки сделал? — спрашивает его Васютка.

— Когда? Мы только пришли.

— Тогда садись решай задачи.

— А ты?

— А я пойду покатаюсь.

— А задачи?

— Я решил за уроком.

— Я перепишу потом у тебя.

— А сочинение по русскому тоже мое сдашь?

— От тебя же не убудет? — искренне удивлялся Павел.

Но Васютка все-таки злился всерьез и все чаще.

— Ты так и будешь всю жизнь на чужой шее ездить? — спрашивал он.

Васютка стал охотнее проводить свободное время со своим младшим братом, чем с Павлом. Антона уроками еще не загружали, и его можно было таскать с собой и на лыжах и на санках. Павел обижался и обиды свои вымещал на добродушном Антоне. Он прятал Антошкины лыжи, пачкал его тетради, однажды положил ему в карман несколько папирос из пачки, забытой Иваном Тимофеевичем на подоконнике, и Васютка, найдя эти папиросы, пожаловался отцу, решив, что его братишка уже курит. Отец без долгих расспросов и следствий выпорол парнишку.

— Кто тебя плохому учит, кто тебя воровству учит? — кричал он, совершенно рассвирепев от одного предположения, что в доме от него, от большака, что-то скрывают.— Разве я учу тебя воровать? Пусть все воруют, а ты не смей! Не смей себя марать, у тебя еще все впереди, тебе жить надо.

Настоящий виновник переполоха так и не был обнаружен.

●

Лишившись Васюткиной поддержки, Павел стал учиться плохо и в пятом классе просидел два года. В насмешку над его великовозрастностью одноклассники да и старшие ученики то и дело спрашивали его: «Когда женишься?» Если обидчик был не очень крепок, Павел шел на него с кулаками в открытую, в противном случае действовал исподтишка. Школа со всеми ее порядками, даже здание ее — деревянное, двухэтажное, с большими барачными окнами,— стала ему немилой. Иногда Павел утешал себя, вспоминая слова Ивана Тимофеевича, что и с учением можно всю жизнь в дураках проходить, и пробовал «проявлять активность» на школьных собраниях.

Однажды это помогло. Поставили ему двойку по русскому языку, а на школьном совете нашелся защитник: «Надо ученика рассматривать в комплексе,— сказала о нем пионервожатая, она же преподавательница истории

СССР.— Мамыкин — человек с общественным сознанием, растет в активисты. Это качество для нашего времени великое. Надо оказать Мамыкину моральную поддержку по всем линиям!..»

Преподавательницу истории поддержали, отметку Мамыкину повысили. Но это случилось только один раз. Больше общественное сознание Павла на оценке его успеваемости не сказывалось. И немилым стало ему даже село, где находилась школа: шумное, многолюдное, на высоком берегу реки, открытое всем ветрам зимой и летом. Павел на воскресные дни все чаще стал уходить вместе с другими учениками пешком в свою родную деревню, к бабушке, домой где всегда для него были и горячие блины, и картофельные тетери с маслом и где его никто не обижал.

Павлуша тоже старался угодить своей бабушке, как мог. Во время весенних оттепелей ученики собирали граблями для школьного участка навоз на базарной площади близ сельпо и на местах коновязей. Павел на эту работу ходил охотно, потому что в вытаявшей коричневой кашице нет-нет да и мелькали серебряные и медные монеты, оброненные зимой приезжими колхозниками. Как многие другие, он искал эти деньги, но собирал их не для себя, а для бабушки. Когда в фанерной копилочке, сколоченной им самим, набралось до двух десятков рублей, Павел разложил монеты стопками по их достоинству, завернул в бумагу каждую стопку в отдельности, перевязал нитками и передал бабушке сам, из рук в руки, как первый в жизни подарок. Анисья сначала испугалась, не начал ли ее внучек воровать, но, узнав, откуда деньги, обрадовалась им несказанно, показывала их и Шурке и соседкам, хвалилась:

— Понимающий растет человек, справедливый. Вот подождите, то ли еще будет!

Наевшись и отоспавшись, Павел ходил по улице, задрав голову, и, как в строю, высоко поднимал свои длинные ноги: знай наших! Вместе с ним маршировали и его товарищи по школе. Их никто не спрашивал, какие у них отметки,— достаточно того, что учатся, значит, не зря хлеб едят, выйдут в люди и не будут носом землю рыть. Взрослые смотрели на них с уважением, разговаривали по меньшей мере как с равными, а некоторые даже с оттенком подобострастности, словно с будущими светилами: кто их знает, может, все в начальники выйдут, и если не устроятся где-нибудь на районных постах, то в своем

колхозе все равно сядут в контору, и с этим шутить нельзя. Ребята чувствовали, какое им отведено место на земле, и держали себя с достоинством, ни в какие драки не вступали, скандалов не затевали, да никто из сверстников и не посмел бы скандалить с ними. Подростки смотрели на выдающихся земляков с завистью и почтительностью, на какие только способны были в своем неустоявшемся возрасте.

А в последний год Павел начал даже посещать молодежные беседки, подсаживался к взрослым девушкам, привыкал разговаривать, шутить.

Беседки устраивались в избах то у одной девушки, то у другой понедельно. А иногда целую зиму в одной и той же избе у каких-нибудь бессемейных стариков, которым каждая девушка оплачивала свою очередь. Парни помещения не нанимали — так было заведено издавна.

Девушки собирались на беседки с вечера с рукодельем — вязаньем, вышивкой, чаще всего с прясницами — и, рассаживаясь на лавках вдоль стен, крутили веретена, пряли лен и льняную кудель. Парни же толкались без всякой работы, переходили от девушки к девушке, иногда садились к ним на колени — тоже так было заведено от века.

Павел, конечно, не думал еще ни о невесте, ни даже о любви. Чаще всего он садился рядом с Нюркой, внучкой пасечника Михайлы Лексеича. Она подросла, считала себя уже взрослой, хотя на взрослую еще не походила. Невысокая и чересчур тихая, она была принята в круг взрослых девушек-невест несколько раньше обычного лишь потому, что слыла в колхозе работящей и была старшей дочерью в семье.

В деревне Нюрку прозвали Молчуньей за ее необыкновенную стеснительность и немногословие. Может быть, Павел потому и сидел подолгу рядом с нею, что можно было ни о чем не говорить. Она молчала, и Павел молчал. Она часами сидела, пряла и ни о чем не спрашивала Павла, разве что только молча, глазами, которые изредка поднимала на него, и Павел, в свою очередь, ни о чем не спрашивал ее, и не дразнил, и не щипал, и не садился к ней на колени, как это делали другие, менее робкие ребята. За эти его великие достоинства Нюрка Молчунья прощала Павлу даже то, что у него часто был приоткрыт рот.

Летние каникулы Павел проводил дома в своем колхозе, но в полную силу не работал, да никто и не застав-

лял его работать, потому что ему была уготована иная жизнь. Сходит он, бывало, вместе со всеми на дальний сенокос и косу и грабли с собой возьмет, но не столько косит и гребет сено, сколько держится поближе к бригадирам, бродит по пожням да по перелескам, ест красную смородину, спугивает рябчиков и тетерок, гоняется за только что появившимися на свет зайчишками. Вечером он заберется в бревенчатый шалаш-избушку на душистое сено, отдыхает, пока не вернутся работники, а если они слишком задерживаются, нарубит сухих дров, разложит костер посреди избушки, повесит чайники и котелки с водой, а порой даже картошки для щей начистит, если старик кашевар тоже на работе, и опять лежит отдыхает. Уже в сумерках сойдется на почлег вся сеноуборочная бригада: десять — пятнадцать девушек и баб, усталые, по шумные, радостные, да два-три старика, да молодой бригадир и его заместитель — учетчик, и начинается для Павла самая развеселая жизнь. Пока готовится ужин, он возится с девушками, бегает за ними в темноте по кустам, играет в кошки-мышки, затем поест вместе со всеми из общего котла, хотя все лето бабушка собирала для него еду на особицу,— поест, послушает шутки-прибаутки да разные бывальщинки, сам расскажет какой-нибудь проезжий анекдотец, опять поиграет с девушками и засыпает позже всех, прикорнув между ними, отдыхая от своих наук и от трудов праведных.

Нюрка Молчунья неизменно оказывалась на этих дальних сенокосах, особенно когда узнавала, что там будет Павел. Что бы она ни делала, она делала хорошо, споро и на покосе становилась в голове всей колонны. Одно было плохо и беспокойно: работая на пожнях вместе со всеми, она почти по целому дню не видела Павла, а видеть его почему-то хотелось. Когда же Павел появлялся и даже становился с косой в один ряд со всеми, она беспокоилась еще больше: его ли это дело? А вдруг обрежется? Все-таки косить — не пером по бумаге водить.

Как-то Нюрка сказала Павлу:

— Сходи на пасеку.

— Зачем?

— Дедушка говорит: чего это мамыкинские ребята не зайдут, я бы, говорит, им...

— Чего — им? — заинтересовался Павел.

— Ну, медом накормить хочет,— застеснялась Нюрка.

— А ты ходишь?
— Я не хожу, чтобы разговоров не было.
— А нам можно?
— Другие-то ходят...
Шурка на пасеку не пошел, сослался на недосуг, Павел пошел один.
Разговорчивый Михайло Лексеич обрадовался ему, начал со старого:
— С батькой-то твоим мы, бывало, зайчиков били. Метко стрелял мужик, ничего не скажешь. И маховитый был характером, не жадный: двух зайцев несем — поровну, а если одного — мне отдает, широкая душа! Вот она, судьба, какая: метко стрелял, а не воротился с войны, царство ему небесное. Хорошие, совестливые люди завсегда раньше гибнут. А мы тут живем, прости господи!..— Старик тяжело вздохнул.— Пойдем-ка давай в сторожку, у меня там под полом, конечно, запасец есть.
Михайло Лексеич старел, длинная борода его поседела и поредела, сквозь нее был виден незастегнутый ворот рубахи. Так поздней осенью начинает просвечивать лесная опушка. А брови разрослись и загустели еще больше, и глаза стали еще синее, только из-за бровей они редко показывались.
— Голову-то пригни,— сказал он Павлу, открывая дверцу в сторожку.— Ну и вытянулся ты, паренек, дай бог здоровья! Батько твой тоже был немалого росту, а ты, видно, еще выше пойдешь. Кедра, да и только!
В сторожке ничего не изменилось: слабый свет, бочка-медогонка, тихое жужжание пчелок на оконном стекле. Казалось, это были те же пчелки, что и много лет назад, они так же сверлили стекло: сверлят, сверлят, а просверлить никак не могут.
Густой запах меда защекотал Павлу ноздри.
— А зайцев нынче мало стало,— продолжал напевать дед.— Говорят, будто от авиации на них порча идет. Рассевает она всякие вредные порошки, крошит сверху, куда надо и не надо, а зайцы питаются травой да озимью, вот и дохнут.
Павел обиделся за авиацию:
— От авиации только польза, дедушка. Самолеты землю удобряют, а от этого урожаи растут.
— Ну что ж, растут так растут! — не стал спорить дед.— Тогда, стало быть, красный зверь зайца портит. Красного зверя развелось ныне видимо-невидимо, изничтожать его некому, собак подходящих нет.

— Что это за красный зверь? — спросил Павел.

— Лисица. Для кого лисица, а для охотника — красный зверь.

Михайло Лексеич слазил в подполье, вынес горшок меду с вощиной, зачерпнул стакан холодной воды из ведра, вытер о штанину деревянную ложку; все расставлял и раскладывал перед Павлушей на скамье, а сам говорил, говорил:

— Вот и с медом нынче худо стало. Пчел поубавилось, а может, изленились и они — никак настоящего взятку нет. Я так полагаю, что и пчелы гибнут, конечно, от порошков, от удобрений этих. Совсем ослабели семьи. Да ты ешь, ешь, не сумлевайся!..— вдруг перебивал он свой рассказ.— Тебе не грех, ты много не съешь, можно. Другие вон бидоны сюда присылают: председателю дай, кладовщику дай, бухгалтеру дай! И все — пока на весы взяток не ставили... Кушай на здоровье!

Павлу нравилось, что дед разговаривал с ним теперь, как со взрослым.

— Не иначе, как от авиации и пчелки гибнут,— повторил старик.— Семьи ослабели, меду не стало, а меня, вишь, во всем обвинить хотят. Слыхал, наверно? Всем дай, да меня же и винят, вот, брат, какое дело. А попробуй не дай — беда! Лучше бы совсем пасеку закрыли. Так нет, под меня подкапываются...

Михайло Лексеич внимательно посмотрел на Павла, словно задумался, рассказывать ли ему все до конца, синие глаза его блеснули из-под бровей, посмотрел и договорил:

— Меня винят во всем. «Твои-то ульи, говорят, сильные!» Что я им скажу на это, прости меня, господи? Конечно, свои — они свои и есть. Только и моим в этом году несладко приходится. Для своих-то я на черный год запасец меду оставляю. А колхозных зимой сахаром кормим, мед по бидонам расходится. А сахарный сироп для пчел все равно что веточный корм для коров.

Павел слушал, как Михайло Лексеич доверчиво жаловался ему на какие-то несправедливости, но вникнуть ни во что не мог и только аппетитнее выжевывал вощину да запивал мед водой. А дед, выложив все свои обиды, опять начинал угощать его.

— Нюрке я давно говорю: посылай, мол, парня ко мне, он учится, ему мед на пользу. Один выучился, другой выучится — глядишь, везде лучше дела пойдут. Тогда и меду всем хватать будет, и воровать люди перестанут:

что без нужды воровать? Да ты ешь, ешь! И за батьку своего ешь! Уж я бы его накормил ныне, да, вишь, не привелось. Погиб человек. Вот совестливый был мужик...

Павел зачастил на пасеку. Дед встречал его по-разному: то приветливо, почти по-родственному, то начинал ворчать и жаловаться и тогда не угощал медом. Все чаще говорил он о бессовестных людях, расхищающих пчелиное добро, а не об охоте, не о красоте окрестных лесов и лугов. И о своей совести что-то поговаривать начал, вздыхая и обращаясь при этом к своему богу, словно чувствовал перед ним какую-то большую вину...

А когда Павел уезжал из деревни, Нюрка Молчунья навещала его бабушку. Придет, скажет:

— Я просто так.

— Ну, коли так, садись.

— Шла мимо, дай, думаю, зайду, и зашла.

— Так садись.

— Да я так.— А сама стоит у порога и приглядывается, нельзя ли чем помочь старой Анисье по хозяйству, не нуждается ли она в чем.

Однажды принесла полкринки меду, сказала:

— Это дедушка прислал в поклон. «Передай, говорит, Анисье, она, говорит, не дурная, не откажется». Только ты, бабушка, не подумай чего-нибудь: у него свои колоды есть, этот мед из своих ульев.

Бабушка обрадовалась меду, она сама любила его больше, чем сахар, и для здоровья внуков считала его шибко полезным, а потому приняла и поблагодарила:

— Коли свои колоды, то можно, принимаем! Скажи дедушке спасибо. Вот Пашута выучится, он его добро не забудет.

Подружилась Молчунья с Шуркой, с ним и разговаривала больше, чем с кем бы то ни было. Как-то вышила ему кисет для табаку. Шурка удивился:

— Ты чего? Я ведь не курю.

— Я просто так. Не куришь, а все равно будешь. Все курят, никуда от этого не уйдешь.

— Ну ладно, коли так,— согласился Шурка и взял кисет.

А бабка Анисья узнала, крик подняла:

— Ты мне парня с ума не своди! Ты еще самогонки принесешь або водкой будешь спаивать?

Нюрка с перепугу проговорилась:

— Это я для Паши, коли Шура не курит,— сказала она и перепугалась еще больше.

— Паша тоже не курит! — закричала Анисья и вдруг впервые как-то очень внимательно посмотрела на Нюрку.— Ах, ты для Паши это?..

Никто еще ничего не замечал за Нюркой, и никто ни на что не намекал ей, но сама-то она уже догадывалась, что дело ее неладно: влюбилась она.

Оставаясь одна, Нюрка припадала головой к теплой печи и плакала:

«Ох, неладное мое дело! И что же ты задумала, головушка моя непутевая! На что же ты, сердечушко мое несуразное, полагаишься? Я-то ведь неграмотная, как была, так и есть темная бутылка, а он — вон он какой! Выучится да нахватается всего, войдет в пору и уедет на города — только его и видели!»

На угоре и на беседках она все чаще пела свою любимую частушку-коротышку:

Голова моя не дура,
Голова моя не пень.
Только думает головушка
О дроле целый день.

•

Председатель колхоза Прокофий Кузьмич все же считал, что из всех ребят его деревни, обучавшихся в семилетке, самые серьезные надежды подает Павел Мамыкин. «Что-то в нем такое имеется, умственное что-то...— думал он, когда видел Павла на гулянке.— Этот своего не упустит, цепкий. Вот, скажем, Нюрка. А что? Нюрка — девка работящая, даром что с виду никуда. Для жизни такая именно и нужна. А у самого Пашки и вид подходящий, и рост есть. Главное — не дуролом, горячки зря не порет, держит что-то себе на уме. Из такого может человек получиться. В кадры может пойти, руководителем стать...»

— Я тебя, Павел, приобщу,— говорил он ему не раз.— Учись только, а уж я тебя поддержу. Раз начал тянуть, так и буду тянуть до конца. Своих сынов у меня нет.

Прокофий Кузьмич с умилением вспоминал, как привез Пашуту сам к директору школы, и устроил его на квартиру, и бабке Анисье помогал, и начинало ему казаться, что он сделал так много для этой семьи, особенно для Павла,— так много, что отступать было уже нельзя.

— Дорого, брат, ты мне достался, потому должен оправдать доверие, вырастешь — послужишь колхозу. Возлагаю на тебя надежды! — И Прокофий Кузьмич похлопывал Павла по плечу.

Шурка тоже, конечно, парень неплохой, растет в отца, но это же простой работяга, земляной человек. Такие вытягиваются сами по себе, как сорная трава, чего с ними возиться. А и возиться будешь — никто тебя за это не похвалит. Ломит он спину, как и отец ломил, как тысячи лет до него ломили. Ученье не для него. А ныне для руководства образование необходимо, горизонт. И характер! Так считал Прокофий Кузьмич.

— А как ты считаешь? — спрашивал он у Павла.

Никакого мнения на этот счет у Павла еще не было, он стеснялся, робел и, кроме «спасиба», ничего выговорить не мог. Но лестные намеки Прокофия Кузьмича относительно своей будущности выслушивал с удовольствием.

Руководить? К этому Павел готов был приобщиться хоть сейчас. Только почему в деревне? Ведь это значит — так и не выбиться в люди. Для чего же тогда учиться? А может, и верно не стоит учиться?

Часто бывая в селе, где находилась семилетняя школа, Прокофий Кузьмич навестил как-то своих дальних родственников, у которых Павел стоял на квартире.

— Ну, как вы тут? Как мой сирота пригрелся у вас?

— Парень ничего, толковый,— ответил ему Иван Тимофеевич,— пальца в рот не клади! Только вот с моими ребятишками чего-то не поладил. Грызутся из-за уроков.

— Кто кого грызет?

— А разве поймешь? То-се, пятое-десятое, глядишь, уж переругались. Васютка мой — на него, он — на Васютку: «Не помогает, говорит, ничего».

— Почему не помогает? Это нехорошо. Выручать надо друг друга, тянуть! — наставительно заговорил Прокофий Кузьмич, раздеваясь и усаживаясь за стол, на котором уже появились водка и еда.

Васютка вышел из кухни, сказал:

— Вот он и тянет. Списывает все время.

— Что значит списывает?

— То и списывает...

— Ты подожди, малец, помолчи! — обиделся Прокофий Кузьмич.— Чего списывает? Что плохого, что списывает? Жалко тебе, что ли? Пускай списывает! А ты у него списывай. Что ж ты, брат Иван Тимофеевич, про-

светить их не можешь? — обратился он к хозяину не то всерьез, не то в шутку.

— Просвещаю! — засмеялся Иван Тимофеевич.— Так и сяк просвещаю. Тоже про взаимную выручку им говорю. Не воспринимают. И водку не могу научить пить, сукиных детей. Может, ремнем попробовать? Давай, Прокофий Кузьмич, просветимся сами!

Иван Тимофеевич налил водки, и они выпили как бы между прочим.

— А где Пашка? — заинтересовался председатель.

Павел тоже вышел из кухни, поздоровался.

Прокофий Кузьмич осмотрел его с ног до головы, спросил:

— Ну что?

Павел переступил с ноги на ногу, промолчал.

— Если что нужно, говори, я тебя всегда поддержу,— сказал председатель.— Вытяну! Другие не помогают — я помогу. Советская власть поддержит. А вырастешь, тогда мы посмотрим. Ты им еще покажешь!

Иван Тимофеевич с готовностью поддакивал председателю:

— А я что ему внушаю? Учись жить у Прокофия Кузьмича — вот что я ему внушаю, он сам это может подтвердить. «Вот твоя главная школа»,— говорю я ему!..

— Ладно, ладно! — прервал его Прокофий Кузьмич.— Пьянеешь ты, что ли?

Но Иван Тимофеевич пьянел не от вина.

— Что «ладно, ладно»? Разве я неправду говорю? Ты, Прокофий Кузьмич, оборотливый и знаешь, что выгодно, что нет. Продал петушков по базарной цене, курочек купил у соседнего колхоза по дешевке. Выгодно? Выгодно! Потом совсем птицеферму ликвидировал — значит, так выгоднее, хлопот меньше. Мы все у тебя учимся, Прокофий Кузьмич! Вот был я в Москве, поиздержался, то-се, пятое-десятое, написал заявление, и дали мне на дорогу двести двадцать пять: сколько попросил — столько и дали. Прогадал я? Прогадал! А Прокофий Кузьмич не прогадал бы...

— Ладно, ладно, не мели. Наливай лучше! — опять попробовал остановить его Прокофий Кузьмич, хотя похвалы в свой адрес обычно принимал благосклонно.— Я же не о своей выгоде беспокоюсь.

— А если бы и о своей, что ж такое? Почему грех о своей выгоде побеспокоиться?

Прокофий Кузьмич взял бутылку сам и налил водки в две стопки.

— Пил ты сегодня, что ли? — спросил он Ивана Тимофеевича.— И почему для хозяйки стопки нет? Анна, выпей с нами!

Жена Ивана Тимофеевича, Анна, рано и быстро постаревшая женщина, увядшая уже настолько, что Васютку и Антошку можно было принять за ее внуков, не успела ничего ответить, как муж ответил за нее:

— Зачем Анне пить, ей здоровье не позволяет.— И добавил, обращаясь к жене: — Делай свое дело!

Прокофий Кузьмич возражать не стал, и мужики выпили вдвоем.

Анна, сидевшая перед этим на лавке возле стола, встала и ушла на кухню. Она всю жизнь делала свое дело: с утра до вечера возилась по хозяйству, что-то стирала, сушила, что-то варила и стряпала, собирала на стол, убирала со стола, и молчала, и довольна была уже тем, что муж часто освобождал ее от тяжелой колхозной работы.

Васютка и Павел тоже пошли на кухню, но Иван Тимофеевич остановил их:

— А вы сидите с нами и слушайте, что будет говорить Прокофий Кузьмич.

Ребята послушно сели: даже озорной Васютка знал, что с захмелевшим отцом можно шутить, но спорить нельзя.

Прокофий Кузьмич налил еще по стопке.

— Ты из меня профессора не делай,— сказал он своему родственнику.— Чего я им буду рассказывать? Мое дело к пенсии идет. Я все свои копья уже обломал. Вот дотяну как-нибудь до возраста и сдам дела, пусть теперь молодежь орудует. Молодых приобщать надо, им виднее, куда что движется.— И он посмотрел на Васютку и Павла.

— У нас никуда не движется. Вот в Москве движется.— Ивана Тимофеевича опять понесло на воспоминания о Москве.— Денег там, конечно, идет много, зато и добывать есть где. Там базары, то-се, пятое-десятое, обороты, а у нас тут вонючее болото. Но и чудят там больше. Вот, скажем, магазины продовольственные — хлеб, булки всякие, бакалея, то-се, пятое-десятое. Входишь, берешь корзину, идешь по кругу, накладываешь полную корзину, круг кончается, тут тебе, голубчику, насчитывают, корзину отбирают, и ты идешь домой как

миленький, с полной охапкой товара — быстро и здорово.

— Здорово! — воскликнул Васютка, которого возбуждали любые рассказы отца о Москве.

Оживился и Павел.

— У нас бы такой магазин — все булки по карманам бы рассовали,— сказал он.

— Да что ты понимаешь! — зыкнул на него Васютка.

— А что, неправда, скажешь? Народ у нас несознательный.

— Много ты понимаешь — народ, народ!

Прокофий Кузьмич посмотрел на ребят и хитро заулыбался.

Павла поддержал Иван Тимофеевич:

— Правду, Пашка, говоришь! Мыслимое ли дело, чтобы наш здешний человек сам за себя отвечал? Вот если бы он по трудодням получал полной мерой!

Поддержал Павла и председатель:

— Народ воспитывать надо, а потом уж по трудодням, Пашутка правильно мыслит!

Павел не очень понимал, за какие мысли его похвалили, но раз хвалят старшие, значит, он сказал то, что надо, и Васютка оказался в дураках.

Окончить семилетку Павел не смог. Хотели его оставить на второй год и в шестом классе, но не решились: Мамыкин считался уже переростком. Тогда учителя договорились устроить его в ремесленное училище в ближнем городке и попросили Павла вызвать на совет когонибудь из родственников.

Приехал Шурка.

•

Здоровый, сильный Шурка постепенно втягивался в колхозную работу на положении взрослого и становился как бы главой семьи, хотя сам признавал за старшего во всем только Павла. Шурка не удивлялся, не обижался на то, что вот он и зимой и летом делает все, что положено по хозяйству и по колхозным нарядам, а Павла зимой дома нет, а летом он хоть и живет дома, но вроде как на курорте. Более того, Шурка теперь относился к своему старшему брату даже почтительнее, чем раньше. Он не только уважал его, он даже восхищался им. А то, что брат имел право ничего не делать с утра до вечера

и день за днем, вызывало в нем какое-то даже особое расположение к нему и особую предупредительность в отношениях. «У каждого своя судьба,— думал он,— не всем же быть образованными. Зато уж когда брат выучится, он сразу изменит всю мою жизнь — и мою и бабушки».

Просить и ходатайствовать за своего брата — в этом никакого унижения для себя и для своего отца Шурка не видел. Если бы речь шла о нем самом, Шурка никогда не ссылался бы ни на какие семейные и хозяйственные затруднения, а о своем собственном сиротстве он вообще не думал. При чем тут...

Шурка прошел в кабинет директора, куда показал ему Павлик, в конце длинного светлого коридора с желтым, протертым изрядно полом, искоса оглядывая на ходу яркие стенные газеты, географические карты и лозунги о борьбе за молоко и масло, за лен и силос, о подготовке к весеннему севу на колхозных полях. Он не робел, не пригибал голову, не сторонился встречных ребят и девушек, шел свободно в своем рабочем пиджаке и кирзовых сапогах, держа кепку в руке. Он даже не спрашивал себя, зачем идет к директору школы, в которой обучается его брат. Раз позвали — значит, надо. А робеть? Что ему робеть — он же не учится здесь и никогда не будет учиться, это не его доля. Его доля землю пахать. Он же пробовал учиться... А землю он любит. Да и нельзя оставлять ее совсем без хозяина. Бесхозная земля рожать не будет. Надо, чтобы земля не осиротела.

— Тебе что нужно? — мельком взглянув на Шурку, спросил загорелый, прокопченный директор.

Шурка его сразу узнал — директор школы много раз приезжал в деревню в роли уполномоченного райкома и райисполкома либо от сельсовета по разным кампаниям и налоговым обложениям и сборам.

— Почему не на занятиях?

Шурка прикрыл двухстворчатую дверь, обошел широколистый фикус, возвышающийся в кадушке на табурете, и предстал перед зеленым письменным столом, на котором были и стопки тетрадей, и книги, и глобус, и микроскоп, и желтая из деревянных палочек модель типового скотного двора.

— Я Мамыкин.

— Что Мамыкин?

— У вас учится мой брат. Меня приглашали.

— Простите... Тэк-тэк-тэк... вы старший брат Павла Мамыкина? Тогда давайте поразговариваем.

— Я его младший брат,— смутился Шурка.

Директор стал медленно подниматься со стула, словно откуда-то издалека возвращаясь на землю.

— Тэк-тэк-тэк... Значит, вы его младший брат. Очень хорошо! Ну что ж, очень хорошо!

— Вы меня приглашали?

— Да! А бабушка?

— Бабушка не может — стара, слаба.

— Тэк-тэк, очень хорошо! А как у вас дела идут предвесенние?

— Да ничего, идут. Только семян придется прикупать. Недавно стали проверять сусеки, а там — мыши, много семенного овса поели. И льносемян не хватает. Сейчас вся надежда на лен. Ставку на лен делаем!

Директор начал разглаживать свои усы, оттягивать их книзу, словно они мешали ему получше разглядеть стоящего перед ним гражданина.

— Тэк-тэк... Очень хорошо! А со скотом как? Падеж в этом году был?

— Падежа не было,— отвечал, как на уроке, Шурка.— Мы что в этом году сделали? Мы на зиму наготовили возов пятнадцать веточного корму. Помогло!

— Тэк, очень правильно сделали!

— Да что уж тут правильного, если скот приходится хворостом кормить, а трава нескошенная под снег уходит?

— Это интересно! — вроде как обрадовался директор.— Не успели скосить?

— Каждое лето не скашиваем. А и скосим, так сено гниет на месте, неубранное. Бабушка моя говорит, что бог наказывает. Лучше бы уж разрешили для своих коров хоть понемногу корму заготовить, а то и свои коровы голодные стоят всю зиму.

Директор потянул усы книзу.

— Выходит, что вы хотите в первую голову кормить своих личных коров? — спросил он.— А как это называется на нашем языке, товарищ Мамыкин? Слыхали вы что-нибудь о частном секторе в народном хозяйстве?

Шурка не смутился, ответил:

— Коровы не виноваты, что они в частном секторе. Они ведь не в чужом государстве, все советские. И молоко от них пьют не буржуи какие-нибудь, а свои люди. А получается, что ни колхозных, ни своих коров не кормим. Вон какие они стали теперь, от овец не отличишь,

разве это коровы — вы[illegible]. Сердце кровью обливается, как посмотришь на их жиз[illegible]

— Это у кого сердце кровью обливается, у вас, что ли?

— И у меня. Что я, не [illegible]овек?

— А председатель в[illegible]мотрит?

— Что председатель? С[illegible]е помощи ждет. Если б он меньше на Советскую в[illegible]сть надеялся, может, лучше было бы. Сам бы думать начал, и скот бы меньше скудался. И свиньи у нас голодают, жалко смотреть.

— Тэк-тэк!..

— Есть у нас такая Нюрка, маленькая девчонка, Молчунья. Ее поставили на свиноферму. А зимой свиньи от голода — совсем как дикие звери. Все деревянные кормушки изгрызли. Нюрка каждое утро уходит из дому и с матерью прощается, потому что боится: схватят ее когда-нибудь свиньи и съедят. И падеж каждую зиму. Тогда что Нюрка придумала? Стала собирать конские свежие яблоки и кормить ими свиней. Навалит полное корыто, чуть посыплет отрубями да перемешает, и свиньи жрут на доброе здоровье. Падеж прекратился. В районной газете — читали, наверно? — целая страница была напечатана, как в нашем колхозе свиное поголовье сохранили. Нюрка делилась своим опытом.

— Изобретательная девушка! — восхищенно сказал директор.— Правильно сделала, молодец!

— Конечно, правильно сделала. И молодец — тоже правильно. Только про такую правду лучше бы в газете не печатали. Свиньям и то стыдно было...

И вдруг директор спросил:

— Вы случайно не бригадир, товарищ Мамыкин? Не председатель колхоза?

Шурка сразу осел, застеснялся.

— Почему вы не учитесь, молодой человек? Как тебя звать?

— Александр.

— Так почему же ты, Александр, не учишься?

— Павлик учится.

— Павлик?

— Да.

— А ты что?

— А я уж буду на земле.

— Вот для земли-то и надо бы учиться.

— Нельзя мне, Аристарх Николаевич.

— Тэк! Не понимаю. А ну-ка, садись, Александр!

Шурка сел на стул под фикусом.

— Не понимаю,— повторил директор.
— У нас так ведется, Аристарх Николаевич: если всем учиться нельзя — старший учится. И бабушка хочет, чтобы Павел выучился, скорее помощь придет.
— Значит, бабушка за Павла стоит?
— Да! И Прокофий Кузьмич, председатель наш, на него очень надеется. А я — чтобы земля не осиротела.
— Как ты сказал? — переспросил директор.
Шурка смущенно промолчал.
— Значит, чтобы земля не осиротела? Тэк-тэк! Хорошо сказал! — Директор подвинул к себе тетрадку и записал что-то на чистой линованной страничке, словно поставил Шурке отметку за хороший ответ.— А Прокофий Кузьмич ваш... что ж, Прокофий Кузьмич, он действительно все на кого-нибудь надеется. Не просчитается он с Павлом, не ошибется, как ты думаешь?
Шурка опять промолчал.
— Я хочу сказать,— пояснил директор,— будет ли ваш Павел потом работать в колхозе?
Что мог ответить на это Шурка? Разве Павел учится для того, чтобы работать в колхозе? Бабушка об этом думает совсем иначе. А как думает об этом сам он, и думал ли он об этом когда-нибудь и как следует?
— Прокофию Кузьмичу виднее,— сказал он невнятно.— Надо же кому-то и в люди выходить.
Директор удивился.
— Вот это, батенька мой, что-то не то. По-моему, ты говоришь не свои слова. На тебя это не похоже.— И Аристарх Николаевич потянул усы книзу.— Прокофий только и ждет, чтобы на пенсию выйти, а ты говоришь — ему виднее. Да что ему виднее? Все ли он видит, твой Прокофий Кузьмич? Видит ли он тебя, например?
И на это Шурка не мог ничего ответить.
Директор опять что-то записал в тетрадку и заговорил словно бы о чем-то другом, очень спокойно:
— Отец твой — я же его хорошо знал! — обязательно бы стал тебя учить. Тебя, а не Павла.
— Почему не Павла?
— Да вот так: тебя, а не Павла!
— Пускай уж лучше Павлик учится,— тихо сказал Шурка.
— Вот именно: если бы лучше! Не получается что-то у твоего Павлика, дорогой мой Александр. Не получается!

— Что не получается? Как?
— Да вот так, не получается.
Шурка заволновался, оперся руками о стол, словно раздумывая — встать ему и уйти сразу или остаться и слушать, что скажет директор еще.
И директор сказал еще:
— Опять на второй год остается ваш Павлик.
Тогда Шурка понял и испугался.
— Не оставляйте его, пожалуйста! Он у нас старший... и сирота,— торопливо стал просить он.
— Старший, да! Годиков ему многовато. А насчет сиротства — ну сколько же можно? Подрос уже... Выходит, он сирота, а ты его покровитель? Нельзя ему больше оставаться на второй год.
— Нельзя, бабушка очень худа стала,— подтвердил Шурка.— А мы с ним поговорим, он все поймет. Он же у нас... Мы на него так надеялись... Как же это он?..— Говоря так о старшем брате, Шурка пока недоумевал больше, чем негодовал.
— Тэк-тэк, понимаю,— снова раздумчиво затэкал директор.— Бабушка, значит, не в курсе дела, ничего не знает?
— Бабушка ничего не знает. Но мы поговорим с Павликом.
— Ну хорошо!
Директор рассказал Шурке о школах фабрично-заводского обучения, о ремесленном училище, куда он рекомендует направить Павла,— как раз будет очередной набор. Шурка ничего не слыхал об этом обучении, но, по словам директора, выходило, что это прямой путь в инженеры, и он успокоился: чем инженер хуже любого районного начальника? Значит, в судьбе брата ничего не меняется? Но что же он, Павел, думает все-таки?.. Как же он все-таки мог?..
— А тебе, Саша, еще раз говорю: хорошо бы поучиться самому. На себя надо больше надеяться! — заключил Аристарх Николаевич, поднимаясь с кресла и доброжелательно глядя ему в глаза, отчего Шурка покраснел.— Конечно, без отца, без матери плохо жить. Иные с пути сбиваются, растут вкривь и вкось. Но ведь это не со всеми случается... А отец у вас был настоящий работяга. Не думаешь же ты, что он в люди не выбился? Поучиться бы тебе...
Шурка понял, что понравился директору школы, и это ему было приятно. Из кабинета он вышел в хорошем

настроении, даже о Павле не стал думать плохо. Но через несколько минут он вернулся.

— Извините, Аристарх Николаевич, я воротился... Бабушка у нас очень плоха, я ничего не буду ей говорить. Пожалуйста, не передавайте ей ничего...

Аристарх Николаевич пожал Шурке руку.

●

Все лето Павел провел дома. Он радовался, что больше не надо возвращаться в семилетку, где приходилось драться из-за того, что его дразнили «женихом». Драться он уже стыдился: с кем ни свяжись, все ему до подмышек. И сила появилась мужская. Чуть толкнет, бывало, одноклассника, а тот летит поперек коридора, того гляди, стукнется головой о подоконник. Слегка возьмет кого-нибудь за ворот, чтобы только припугнуть, а у того, смотришь, ни одной пуговицы на рубашке.

Все-таки в семилетке трудная была жизнь для Павла. Приходилось то и дело хитрить, изворачиваться, чтобы не получать частых взысканий от учителей. Других держит в страхе и сам постоянно дрожит: вдруг увидят, застанут, застукают. Только, бывало, выпрямится во весь рост, сожмет кулачищи, оскалит зубы, чтобы образумить обидчика, как возникает перед ним учитель математики, словно восклицательный знак, или погрозит скрюченным пальцем сладкогласая учительница пения в узкой юбке. И Павел, грозный, с авторитетными кулаками, вдруг сгибается весь и начинает униженно улыбаться, словно милостыню просит: не обижайте, Христа ради, круглого сироту!

Бабушка ухаживала за Павлом как только могла: она его кормила с утра до вечера и все спрашивала: «Не голоден ли, Павлуша?» Наверное, все бабушки одинаковы. Пашута еще спит, а она уже затопит печку, подоит корову, приготовит для него молока, и парного, и топленого с коричневой, чуть подожженной жирной пенкой, положит в чашку простокваши с добавкой нескольких ложек кисловатой густой сметаны, в другую чашку положит гущи вместе с сывороткой: этот домашний деревенский творог, полученный в печи на вольном духу из простокваши и разрезанный еще в кринке на четыре дольки, Пашута особенно любил; кроме того, прикроет бабушка от мух на чайном блюдце колобок только что

взбитого сосновой мутовочкой сливочного масла; выставит все богатство на стол и ждет, когда внук проснется. А в большом глиняном горшке уже затворены блинки, а на сковородке в свином сале шипят для блинов ошурки-шкварки: Павлуша любит свернуть широкий горячий блин в трубочку, вывалять его целиком в кипящем сале, прихватить ложкой несколько ошурков и есть по целому блину сразу, не разрывая. А с огорода уже принесены и лучок, и свежая редька, и свежая картошка.

Любит еще Павлуша студень из свиных ножек — светлый, со снежными блестками, только что из подвала, с ледника. Он как-то сказал — пошутил, наверно, озорник! — что любит все такое, чего жевать не надо. А студень — что его жевать? Он во рту тает.

Для Павла каждый день праздник. Просыпается он поздно, потому что до полуночи и дольше гуляет на угоре, шутит с девушками — большой уже стал внучек, дай бог ему здоровья! Вот полюбовался бы на него отец, если бы жив был, царство ему небесное!

Проснется Павлуша, спустится с сеновала, сделает зарядку на дворе — попрыгает, помотает руками, умоется на колодце, придет в избу, глянет на стол и ахнет:

— Ну, бабушка! Как бы я без тебя жил? И откуда у тебя все это берется?

И бабушка старается еще больше: благодарность внука ей дороже всего. Шурку корми не корми — он молчит, а Павлуша рассыпается.

Так каждое утро.

А как бы она сама жила без Павлуши, без того, чтобы думать о его большом пути, надеяться на него, кормить, обхаживать его, угождать ему?

Конечно, младшего внука, Шурку, она тоже любит, и не меньше, но Шурка — он привычный, на земле родился, землей и живет. А Пашута пошел дальше, этот учится, от него всего можно ожидать. Поэтому все, что есть лучшего в доме, в бабушкиных чуланах и в погребе, в поле и на огороде,— все для старшего внучка, все для Павлуши. Ему лучший кусочек, ему рубашку поновее да попригляднее, и шапку заячью, и сапоги покрепче, на него идет бóльшая часть отцовской пенсии, ведь и на карманные траты все рублевочку-две ему положено, не откажешь,— слава богу еще, что хоть не курит, не пьет, в карты не играет!

Павел принимал все, хотя о будущем своем пока много не задумывался. Знал только уже, что в деревне

ему жить не придется, что хорошее будущее у него будет. Бывало, правда, что он стеснялся есть отдельно от своего брата и от бабушки, есть не то, что едят они. Как-то бабка достала у соседей по дешевке молочного поросенка-ососка, вымыла его, вычистила, опалила, нафаршировала гречневой кашей да молоком со взбитыми яйцами и зажаренного, с хрустящей золотистой корочкой подала Пашуте в плошке, как к престольному празднику или к свадьбе, целиком. Павел втянул в себя воздух и смущенно оглянулся: у порога стоял Шурка, проверяя пальцем остроту серпа,— он только что поел вареной картошки на кухне и готовился снова идти в поле; бабушка поставила в угол ухват, которым достала плошку с поросенком, и сметала хлебные крошки и картофельные очистки с кухонного стола, сама она еще не обедала,— посмотрел на них Павел и совестливо забормотал:

— Не буду есть один. Такого поросенка на всех хватит. Давайте вместе!

— Что ты, что ты, Пашута! Мы сытые, мы всегда дома, а ты будто гость у нас. Мы едали всего. И не выдумывай, садись давай. У тебя голова вон как должна работать. Что ты, родной!

Шурка повернулся от порога и выжидательно глянул на своего старшего брата.

— Ты думаешь, мы голодные, да? Мы ничего сами не едим, да?

— Знаю, как вы едите. Садитесь, а то и я не буду есть.

Павел настоял на своем, поросенка они съели вместе. Шурка был этим растроган, а бабушка не раз после хвалилась:

— Вот он какой у меня, Павлуша-то!

Но бывало и по-другому. Павел приносил рыбу с реки — окуньков, плотичек, пескарей: с удочкой он мог сидеть над заводями по целому дню. Бабушка наварит в горшочке ушицы с лучком, с красным перчиком и жаркое из плотичек приготовит такое, что пальчики оближешь.

Павел опять обижается:

— Все одному? Шурка, садись со мной!

Бабушка кидается сразу на обоих:

— Что вы, что вы, много ли тут рыбки, что с ней двоим делать, на одного не хватит.

Павел поломается немного и начинает есть один.

Иногда Шурка искренне удивлялся, что Павлика может что-то смущать. Зависть или иное какое недоброе чувство еще не проникало в его сердце. Казалось, разговор с директором школы ничего не изменил в его отношении к брату. К тому же это был все-таки его старший брат!

Лето выдалось слишком хорошее, жилось слишком легко, и Павел опоздал с представлением необходимых документов в ремесленное училище. Когда он приехал в город — а привез его опять же Шурка,— там занятия уже начались, в общежитии не было ни одной свободной койки, и Павел в списках учащихся не числился.

В первый раз он испугался, что не будет учиться и придется вернуться домой, работать в колхозе. За него опять стал действовать Шурка. Он попал к заведующему учебной частью, объяснил, в чем дело, ссылаясь на то, что Павел Мамыкин — сын солдата, погибшего смертью храбрых в Великую Отечественную войну, и завуч согласился сделать для него исключение, если будет написано соответствующее, хорошо аргументированное заявление. «Правда, возраст уже на пределе, ну да как-нибудь...»

Шурка передал разговор брату, и Павел написал заявление:

«Прошу не отказать в моей просьбе. Вырос я без отца, без матери. Отец мой погиб смертью храбрых на фронтах Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками, а мать умерла на колхозной работе. Я хочу честно трудиться для Родины, вырастившей меня, и, если потребуется, отдать за нее свою молодую жизнь. Пожалейте сироту, не откажите!

К сему *Павел Мамыкин*».

— Силен! — сказал завуч, прочитав это заявление, должно быть имея в виду его слог, и включил Павла в список учащихся дополнительно.

Койка в общежитии тоже нашлась.

●

Озимые вымокли еще осенью. Яровые посеяны были слишком рано, задолго до окончания заморозков,— Прокофий Кузьмич очень хотел отчитаться первым,— и про-

ку от яровых тоже не предвиделось. Колхозники могли надеяться только на лен.

Лето выдалось мягкое, влажное, лен шел хорошо. Не раз менялись цвета ржи, овса, а лен до поздней осени оставался ярко-зеленым. Во время цветения участки его превратились в бирюзовые озерца, и перед этим нежным сиянием даже леса окрестные казались черными.

Шурка посоветовался с бабушкой и сам напросился в льноводческое звено. Женщины приняли его охотно, не посмотрев на то, что он парень, хотя льном парни обычно не занимались. Шурка был у них на особом счету. Если бы не Шурка Мамыкин, может быть, и не было бы такого льна в этом году — так думали многие.

Но Шурка-то знал, что все сделала бабушка, а не он. Ранней весной, когда в колхоз поступила команда начать сеять лен, бабушка Анисья спросила внука:

— Неужто правду про лен люди судачат?

— А что? — спросил, в свою очередь, Шурка.

— Будто сеять приказано?

— Сегодня начинали, да трактор забуксовал, грязно.

— Ну, слава богу!

— А что? — спросил снова Шурка.

— Что, что!.. С ума они посходили, вот что! Где это видано, чтобы лен по грязи сеяли?

— А как же, бабушка, говорится: сей в грязь — будешь князь.

— Разве это про лен? Это про зерно говорилось.

Шурка бабушке поверил, тем более что слышал в поле, как один тракторист ругался: «Опять головотяпите! Обсуждали, обсуждали, а вы опять за старое!» Тракториста оборвал полеводческий бригадир: «Сей, тебе говорят! Указание есть».— «Не вырастет ведь ничего».— «А что я могу сделать? Пускай не вырастет...»

И Шурка сказал бабушке:

— Заставят сеять все равно.

Анисья сразу подняла крик:

— А ты чего слюни распустил? Сколько вас там, эдакие ребята, а сдобровать не можете! Взяли бы по батогу або что — да на поле: не дадим колхоз разорять! Теперь не война, самим думать надо. Иди-ка позови мне председателя! — вдруг приказала она.

Шурка подумал и ответил:

— Не пойдет он.

— Конечно, не пойдет,— согласилась бабушка.— А ты скажи: бабушке, мол, худо, карачун настает,

проститься хочет, он и прикатит со вниманием со своим.

Председатель пришел, но договориться ни до чего они не смогли. А чтобы Прокофий Кузьмич не обижался, Анисья поставила ему бутылку водки.

Шурка отправился к трактористам, авось они что-нибудь придумают, помогут.

— Ты чего от нас хочешь? — удивился парень в промасленном ватнике.— Наше дело маленькое, понял? Сказали в МТС: сеять! — и будем сеять.

— Вы же сами ругались, что трактор не идет.

— Ну и что?

— Вот и пускай трактор не идет,— улыбнулся Шурка. Он делал вид, что шутит.

Тракторист засмеялся.

— Ты слыхал его? — обратился он к своему напарнику.— А кто деньги нам платить будет? На нашем горбу хочешь выехать? Собери деньги, тогда и трактор будет стоять.

— Лен не вырастет! — вздохнул Шурка.

— Все сеют, не вы одни. Да кто ты такой? Иди к своему бригадиру, его уговаривай. А нам что...

Шурка пошел к бригадиру.

— Бабушка говорит, что на лен вся надёжа, а теперь и льну не будет.

Безрукий бригадир, инвалид войны, не смеялся над Шуркой и не кричал на него, только сказал:

— Не в свое дело лезет твоя бабушка. Голова не у нее одной на плечах, есть и посветлее, соображают.

И все. Шурка решил, что ничего у него не вышло. Но на другой день председатель колхоза Прокофий Кузьмич уехал на какое-то совещание, а оттуда на железную дорогу добывать гвозди для строительства скотного двора, и до его возвращения о посеве льна никто не заговаривал. Трактор ушел в другой колхоз, а из конторы в район сообщили, что лен посеяли.

Вернувшись в колхоз, Прокофий Кузьмич поднял крик:

— Самоуправство? Государственная дисциплина вам что? А того не знаете, что с меня голову снимут? Всех под суд отдам!

Кричал он долго, пока бухгалтер не сообщил ему:

— А лен-то за нами не числится, Прокофий Кузьмич.

— Как так?

— Мы его в сводку включили.

— Передали?
— Передали.
— Ну, то-то! — сказал председатель и успокоился.— Смотрите вы у меня!
Земля к тому времени подсохла, и лен посеяли вручную под конную борону. Поле зазеленело дружно.
Встретившись с Шуркой, Молчунья сказала ему:
— А тебя, Шура, бабы хвалят не нахвалятся.
— Вишь ты! За что это? — заулыбался довольный Шурка.
— Говорят: «Кабы не этот парень, так и льну бы нам не видать».
— Да это не я — бабушка,— признался он и покраснел.
— Может, и бабушка, только тебя хвалят.
Больше разговаривать было не о чем, и они замолчали. Потом Шурка спросил все же:
— Кто им сказал, будто это я сделал?
— Не знаю, кто сказал, только тебя хвалят.
— Не ты ли уж сказала?
— Не знаю кто,— ответила Нюрка,— может, и я.
Шурке хотелось верить, что именно он весной помешал высеять лен раньше времени. Как бы то ни было, похвалы ему пришлись по душе, и после он почувствовал какую-то особую свою ответственность за эту культуру.
Вступив в льноводческое звено, Шурка стал работать наравне с женщинами с утра до ночи. Он первый пошел и на прополку сорняков, с яростью вырывал васильки, про которые в детстве думал, что они для красоты. И все жалел, что мало, слишком мало посеяли льна. Ведь и семена, кажется, были.
— Да ты маленький, что ли? — рявкнула однажды на него звеньевая, толстая неопрятная Клаша, вдова-солдатка, переставшая следить за собой с тех пор, как потеряла надежду снова найти себе мужа.— Будто мы сами не знаем, что мало. А план на что? Кто бы нам позволил не по плану сеять?
Еще не закончилась уборка зерновых, а бабушка Анисья уже начала тормошить Шурку:
— Лен-то когда теребить будете? В августе его разостлать бы надо, августовские росы слаще меду.
— Машину ждем, бабушка.
— Не прогадайте с машиной-то. Машина — она машина и есть. Не столько льну, сколько мусору всякого

нарвет. Попробуй потом отбери руками. А деньги какие!

Анисья всю свою жизнь, почти с детства, возилась со льном: выращивала его, расстилала, сушила, мяла, трепала, чесала... В каждом хозяйстве были обязательно две-три полоски своего льна. Наготовив кудели, девки и бабы, и Анисья тоже, в долгие зимние вечера сидели за пряслицами либо за прялками. У Анисьи и прялка была. Льняную нить с веретен перематывали на мотовила, делили на чисменицы, на пасмы, готовые моты бучили, отжимали, отбеливали на снегу, красили, если надо было, в разные цвета, растягивали на воробах, перевивали на трубицы, сновали, затем уже по ниточке продевали основу в бёрда... Господи, чего только не делалось с этим ленком — сейчас и слова-то многие забываться стали. Наконец, уже в середине зимы, а то к весне в избу заносили по частям ткацкий самодельный стан со всеми его крюками, бабурками, подножками, сколачивали, выверяли, и начиналось тканье. День и ночь дрожали оконные стекла в избе. Фабричная мануфактура — ситчик, сатин — была тогда доступна далеко не всем и шла только на праздничную одежду. Холст для половиков и постелей, для мешков и онуч, полотно для нижних рубах, для штанов и рукотерников, всякая цветная пестрядина для верхнего белья и верхней одежды, даже радужные кушаки и пояса из шерстяной пряжи — все изготовлялось на дому, на своем деревянном стану́ золотыми, многотерпеливыми бабьими руками.

Каторжная это была работа! А вот не стало своего льна, и затосковала Анисья по этой каторге. Много лет стан валяется на повети, ни для чего не нужный, молодым даже незнакомый, по ночам сидят на нем куры, зимой косы да серпы висят на крюках.

Давно уже лен сеют только на колхозной земле и трестой сдают на завод. И хоть лен этот колхозный, и прясть его Анисье не доведется, и масла льняного от него не будет, а все-таки это лен. Не может Анисья спокойно смотреть, если обходятся с ним не по-хозяйски, без души, без соображения.

— Пришла машина-то? — спрашивала она Шурку чуть ли не каждый день.

— Нет еще, бабушка.

— Начинайте, нечего тянуть! А там видно будет.

С разрешения Прокофия Кузьмича лен начали теребить вручную. И только тогда полностью обнаружилось,

до чего же он был засорен. Соломку выбирали по щепотке, а когда оборачивались, казалось, будто на полосах ничего не изменилось: по-прежнему густая сочная трава, осот и всякие колючки до колена покрывали землю густым зеленым слоем.

Работа шла медленно, женщины нервничали, ждали из МТС льнотеребилку. А пришла льнотеребилка, зашумели еще пуще: старая, проржавевшая, плохо налаженная машина больше путала, чем теребила. Соломка перемешивалась с сорняками и ложилась на полосу в таком неприглядном виде, что к ней страшно было подступиться.

Машину остановили.

Шурка сказал:

— Артель «Напрасный труд». Да еще натуроплата. Вот и получится: с одной рожи сдерем по две кожи. Надо бы председателя сюда.

— А что председателя? — наперебой заговорили женщины.— Он сам против. «Только деньги, говорит, выбрасываем. Лучше бы, говорит, ребятишек из школы, которые постарше, привезти на подмогу».

— Не управимся руками, бабы,— встревожилась звеньевая Клаша.

— Так и эдак не управимся, зато хоть лен цел будет.

Механизаторы из МТС, молодые ребята, стояли рядом, курили, слушали.

— Что будем делать? — спросил их Шурка.— Сами видите.

— Видеть-то видим, только наше дело маленькое.

— Может, где почище участки есть, поищите.

— Нам приказано, будем теребить все подряд.

— Не дадим! — сказал Шурка.

Ребята заглушили трактор и ушли в деревню, в магазин.

Женщины разобрали остатки льна после теребилки и, не отдыхая, принялись за работу вручную.

В это время в поле заскочил на мотоцикле корреспондент районной газеты — бойкий парнишка в кожаной куртке, в защитных очках.

— Здорово, бабы! — закричал он, еще не успев слезть с мотоцикла.— Как трудитесь?

— Здорово, мужик! — ответили ему.— Становись, помогай.

Корреспондент бросил мотоцикл на пласт у обочины дороги, подошел и со всеми поздоровался за руку. Руки

у женщин были зеленые по локоть. Весело пожимая ладони, корреспондент называл себя всем поочередно: «Вася!», «Вася!», «Вася!» Только Шурке отрекомендовался иначе: «Василий Вениаминыч!»

— Ты бригадир? — спросил он Шурку.

— Вот звеньевая,— указал Шурка на Клашу.

Василий Вениаминыч повернулся к Клаше, расставил ноги, как перед утренней зарядкой, шире плеч и спросил коротко:

— Прогнали механизаторов?

Клаша испугалась.

— Мы их не трогали, они сами ушли.

— Я из газеты! — сказал Вася.

Клаша испугалась еще больше, стала оправдываться:

— Пальцем не тронули. Только вы сами видите, лето какой и машина, видите, какая.

А Шурка вдруг взял да и брякнул:

— Верно, прогнали!

Василий Вениаминыч резко повернулся к Шурке, повторил:

— Я из газеты!

Но на Шурку это не подействовало.

— Вот и поезжайте к ним,— сказал он.— Ребята теперь в деревне с горя, наверно, водку хлещут.

Через три-четыре дня в районной газете появилась Васина статья: «Антимеханизаторы в колхозе «Красный Боровик».

●

Директору школы Аристарху Николаевичу было предложено из района срочно выехать в качестве уполномоченного в колхоз «Красный Боровик», ознакомиться на месте со всем, что там происходит, принять исчерпывающие меры и доложить.

Аристарх Николаевич с удовольствием передал свои уроки другому преподавателю и в седле на сельсоветской расхожей лошаденке приехал к Прокофию Кузьмичу.

С тех пор как колхозная деревня подверглась организованному нашествию всякого рода уполномоченных — районных, областных, республиканских — и всевозможных заготовителей, агентов, толкачей, прошло времени немало, и Прокофий Кузьмич хорошо научился ладить с ними. Поначалу, когда уполномоченные еще отличались горячностью, неудержимой страстью вмешиваться не в

свои дела, проводили общие собрания, а на худой конец — собрания актива, давали нагоняи, писали докладные, в общем, добросовестно и решительно выполняли все поручения, с которыми их посылали,— хлопот с ними было много. Приехав в деревню, такой уполномоченный обычно устраивался на жительство не у председателя колхоза и не у секретаря партийной организации, не у главного бухгалтера или кассира, а в неуютной колхозной конторе, в избе-читальне, спал на раскладушке либо на жесткой скамье, прикрываясь собственным плащом, питался чем попало, расплачиваясь наличными за каждый съеденный кусок хлеба, а то еще находил приют в какой-нибудь крайней избе рядового колхозника, обязательно рядового, да выбирал который поразговорчивее, потороватее, чтобы сразу выведать от него все колхозные новости, и чем народ живет, и чем дышит.

Трудные это были времена для Прокофия Кузьмича.

Но с той поры жизнь в районе изменилась, нервозность улеглась, и уполномоченные стали иными, многие из них пообтерлись, да и сам Прокофий Кузьмич стал мудрее и опытнее в делах руководства — и ему, как правило, удавалось избегать былых резкостей в отношениях с ними. Теперь Прокофий Кузьмич заранее определял для себя, с какими уполномоченными как следует ему держаться. При одних он был спокойно-строг, немногоречив, соблюдал достоинство, даже напускал па себя важность, на других просто ворчал, что мешают работать, ссылался на перегрузку, а кого-то сразу усаживал с собой в тарантас, катал по полям, завозил на пасеку отведать колхозного медку, а дома поил водкой.

Директора школы Прокофий Кузьмич всегда немного опасался. Но на этот раз Аристарх Николаевич подъехал не к конторе колхоза, а к его дому — значит, никаких причин для тревоги не было.

Завидев из окна верхового и опознав его, Прокофий Кузьмич вышел из дому, застегивая на ходу широкий пиджак на все пуговицы. Вслед за ним на крыльцо выкатился злобный лохматый комок — комнатная собачонка — и с лаем метнулся под ноги лошади.

— Колхозный привет шефу! Здравствуйте, Аристарх Николаевич! — заговорил Прокофий Кузьмич, спускаясь с крыльца навстречу гостю и протягивая ему руку издалека.— Брысь, проклятая! — крикнул он на собаку, как на кошку.

Аристарх Николаевич легко приземлился с седла и передал председателю повод коня. Собачка не унималась, кидаясь то на директора школы, то на его лошадь.

— Опять не узнает меня, песик-то ваш,— сказал директор.

Прокофий Кузьмич засмеялся.

— Тишка мой вас, наверно, за уполномоченного принимает. Не любит он уполномоченных.

— Мудрый песик.

— Породистый! — похвастался председатель.

Засмеялся и Аристарх Николаевич.

— Породистый — помесь половой щетки с гусеницей! Завели бы лучше охотничью, гончую.

— Охотничьей собаке корму больше надо. А я — какой я охотник! Зато Тишка служить умеет.— Прокофий Кузьмич переложил повод уздечки в левую руку, а правую поднял вверх и крикнул собачке: — Тишка, служи!

Тишка мгновенно перестал лаять, вскинулся на задние лапы, вытянул волосатую морду кверху и начал кружить на одном месте, подпираясь лохматым хвостом.

— И верно — служака! — похвалил Тишку директор.— Ну, что у вас тут?

— Что у нас? Живем, работаем. А что же вы: директор без армии? Сейчас бы самое время поддержать нас.

Аристарх Николаевич посмотрел на круглого, розового председателя.

— Зачем вам армия? У вас машины стоят.

— Были бы машины, стоять не дадим. А дела всякого и для вашей армии хватило бы.

Прокофий Кузьмич привязал коня к изгороди около двора, сказал, что сейчас подкинет травы, и повел директора в дом. Собачка метнулась в сени.

— Прошу в горницу, Аристарх Николаевич!

В избе председателя было много перегородок, занавесок и половиков. В прихожей на клеенчатом столе — самовар, прикрытый узорным полотенцем, а на стене — крупные в рамках портреты, как в конторе правления. Горница же, оклеенная бумажными обоями, напоминала больше квартиру районного служащего, чем деревенскую избу. В горнице полумрак — все окна снизу доверху зашторены тюлем. В простенках и по углам, на полу и на табуретках много цветочной зелени — в горшках, в

кадушках, обернутых газетной бумагой. Целый лес зелени — если бы только в этом лесу хоть немножко шевелились и шелестели листья. Цветочные горшки виднелись и на подоконниках за тюлевыми занавесками. После войны Прокофий Кузьмич накупил в деревнях многоцветных немецких картонок с рельефными изображениями ветвистых оленей, тигров, готических замков и прудов с лебедями. И теперь эти картонки красовались на стенах и заборках его горницы.

Аристарх Николаевич прошел в горницу, сел к столу и начал привычно потягивать усы книзу. Присел к столу и Прокофий Кузьмич, расстегнул пиджак на круглом животе, потер лысину.

— Ну, что будем делать, дорогой гость? Жалко, хозяйка у меня где-то на работе, но мы можем сообразить и без хозяйки.

— Соображать не будем,— сказал директор.— Давайте лучше поговорим насчет антимеханизаторов.

— Каких это, о чем?

— А вы разве не читали в газете?

— Нет, мне не докладывали,— встревожился председатель.

— Отказались вы от льнотеребилки?

— Ну что вы, Аристарх Николаевич, мы же друг друга понимать должны...

— Что понимать должны?

— Ну как же? Вы же меня знаете?

— Ну, знаю. Вы о чем?

— А вы о чем? — спросил, в свою очередь, Прокофий Кузьмич.

— Что-то я вас не понимаю! — удивился директор.

— А вы думаете, я вас понимаю?

— Тэк-тэк!..— затэкал сбитый с толку директор школы.

— Что «тэк-тэк»? — не сдавался Прокофий Кузьмич.

— Льнотеребилка у вас не работает? Скажите прямо.

Прокофий Кузьмич не хотел отвечать прямо.

— Вы лучше скажите, с чем ко мне приехали? — спросил он.

Аристарх Николаевич достал из кармана свернутую газету.

— Почитайте, если не читали, и давайте не будем морочить друг другу голову.

Прокофий Кузьмич взял газету, но не стал разворачивать ее, а поднялся со стула, постоял, подумал и

неожиданно для директора пошел за занавеску на кухню. Там загремела посуда.

Аристарх Николаевич прислушался, сказал:

— Не надо, Прокофий Кузьмич! Это от нас никуда не уйдет, успеем.

— Покушать надо с дороги,— сказал хозяин.

— Дорога не велика, я еще не проголодался. Читайте газету!

Прокофий Кузьмич вернулся с кухни, сел к столу и развернул газету. Читал он долго, читал и вскидывал время от времени глаза на директора. А директор сидел, ждал и все хотел понять: читал ли до его приезда председатель статью об антимеханизаторах или не читал.

Наконец Прокофий Кузьмич отложил газету и вспылил:

— Подвел, прохвост, это его дело!

— Кто подвел?

— Да молокосос этот. Видали, как за добро платят?

— Кто это?

— Да мамыкинский парнишка. Сирота этот.

— Павел?

— Павел что! Шурка, прохвост, подвел.

— В чем же он провинился?

— А вы читали газету?

— Я-то читал...

— Так вот это его дело.

И Прокофий Кузьмич дал волю своим обидам.

— Я ли не проявлял заботу о них, и о Шурке об этом! Выкормил, выпоил, на лен поставил. И вот благодарность. Дисциплины нет, никакого почтения к старшим нет, руководства не признает. А ведь молокосос! Весной также навредить мог. И бабка, эта старбень, не в свои дела лезет. Конечно, льнотеребилку увели с поля из-за Мамыкина, правильно корреспондент подметил. Обиделись ребята и уехали. Мне рассказывали об этом деле, факты подтверждаются.

— Тэк-тэк! — раздумчиво потягивал усы директор.— Нашли зверя! Какие же вы меры приняли?

— Поздно было меры принимать. Да меня и дома не было. Слово они дали, что весь лен руками уберут.

— Однажды приходил ко мне этот Шурка,— сказал директор.— Понравился мне паренек: умный, самостоятельный.

— Вот-вот, самостоятельный! — опять вскинулся Прокофий Кузьмич.— Знаете, к чему такая самостоятель-

ность приводит? Сегодня он меня не признает, завтра вас, потом секретарю райкома нагрубит, а там, гляди... Молодые!

— А Павел? Смена-то ваша?

— Что — Павел? Пашка — он тоже... Черт его знает, что еще из него получится. Может, я зря за него душу отдаю.

— Да разве вы отдаете душу, Прокофий Кузьмич? — сказал директор.— Если бы душу отдавали, другой бы разговор был. Не ошибаетесь ли вы с Павлом? А младшего не видите!

Прокофий Кузьмич внимательно посмотрел на директора: шутит он или не шутит? Потом сказал:

— Быть председателем колхоза — дело тонкое, Аристарх Николаевич! Тонкое это дело — меж двух-трех огней стоять. Надо знать, кого слушаться, кому приказывать. Тут дуроломам делать нечего. Дуроломы разные, чуть что, меня под удар подводят, сами видите. А такой вот Шурка подрастет, да волю ему дай, да власть, весь народ разболтается, сами править начнут, колхоз распустят.

— Тэк-тэк! Выходит, что младший эту кашу заварил?

— А кто же еще? Женщины такого не выкинут, сами понимаете.

— Да-а! — сказал директор. Так и сказал: «да-а!», а не «тэк-тэк», значит, согласился с Прокофием Кузьмичом.— На чем же мы порешим?

— Пойдемте в поле, там картина будет ясная,— поднялся от стола председатель.

В сенях опять зарычала собачка. Прокофий Кузьмич зыкнул на нее: «Тишка!» — и собачка кинулась вперед, с крыльца, на улицу. На улице она каталась колобком от дома к дому, перепрыгивала через лужи, бросаясь на кур, на овец, на жеребят, на мальчишек с лаем, то злобным, то веселым, и от нее все сторонились, убегали.

— Редкий песик! — сказал директор.— Раньше в деревнях таких не держали.

Не испугались Тишки только козы: в конце деревни они запрудили улицу — целое стадо, и Тишка сам сбежал от них к полевой изгороди.

— Порядочно у вас развелось этих коровок. Тоже корму меньше надо?

— Враги колхозного строя! — сказал на это Прокофий Кузьмич.— Корму меньше — верно, но и молока от них ни себе, ни государству. Козы людей из повиновения

выводят. Выродки! И все это послевоенные годы: вместо коров — козы, вместо дворов — хлевы. Избы тоже перестраивают, от старых пятистенков остаются половинки.

— А вместо гончих эдакие вот Тишки?.. Сколько же времени продлятся ваши послевоенные годы? — мрачно спросил директор.

Прокофий Кузьмич помедлил с ответом; ответил только, когда они уже вышли из деревни в поле.

— Вам видней, Аристарх Николаевич. По-моему, пока не начнется новая война, все будут послевоенные годы. Разве не так?

Аристарх Николаевич нахмурился еще больше.

— Не умеете вы шутить, председатель! — сказал он и замолчал.

Тишка в поле не побежал — он шумел и наводил порядок только в самой деревне.

●

На полосах работало все льноводческое звено — шесть женщин и девушек и Шурка. Около Шурки, не разгибаясь, теребила лен Нюрка Молчунья. Заметив председателя колхоза и директора школы, она поспешно, стараясь не обнаружить себя, шмыгнула в сторону звеньевой Клаши.

Невытеребленного льна было еще так много, что, казалось, конца-краю ему нет. А на убранных площадях стеной стояли зеленая трава, хвощ и колючки, похожие на кустарники, из-за чего Аристарх Николаевич подумал вначале, что весь лен не тронут.

Подойдя к работающим, он шутливо поздоровался: «Помогай бог!» — на что звеньевая Клавдия серьезно ответила: «Спасибо!» А Прокофий Кузьмич ничего не сказал, но, завидев Нюрку Молчунью, набросился на нее:

— Ты чего здесь околачиваешься? Жениха нашла?

Нюрка разогнулась, посмотрела на Шурку, на председателя и тихо ответила:

— Я-то?

— Ты-то.

— За травой пришла.

— За какой такой травой?

— А вот возьму косу да и выкошу весь мусор для коров. Меня теперь на коров поставили.

— Так коси!

— А я косу не взяла.
— Ну и топай за косой.
— А я помогаю лен рвать.
— Не будут коровы такие колючки есть,— сказал председатель.
— А я на подстилку.
— Ну и коси.
— Я-то бы выкосила, да вот...— Молчунья взглянула на Шурку и замялась.
— Что вот?
— Ничего, я так.
Тогда Прокофий Кузьмич взялся за Клашу:
— Не пропололи лен, а теперь мучаетесь!
— Мы пропалывали,— ответила Клаша,— только не весь. Снова наросло везде.
— Если бы пропалывали, лен был бы.
— Мы пропалывали,— повторила Клавдия.
Пока Прокофий Кузьмич нагонял страх на всех, директор натеребил снопик льна. На загорелых руках его появился зеленый налет, медная кожа будто окислилась.
Кинув снопик на полосу и потерев ладони о брюки, Аристарх Николаевич повернулся к Шурке:
— Ну, что у вас тут произошло, Александр?
Шурка тоже бросил на межу только что затянутый сноп и подошел к директору. Бросили работу и женщины.
— Что с механизаторами вышло? — пояснил свой вопрос Аристарх Николаевич.
— Вот звеньевая, ее спрашивайте! — ответил Шурка, указывая на Клавдию.
Клавдия одернула подол замусоленного ситцевого сарафана, вытерла фартуком спекшиеся губы и тоже подошла к директору. За ней потянулись остальные.
— Что у нас вышло? Ничего у нас не вышло! — сказала Клавдия.
— Прогнали их, что ли?
— Кто их прогонял! Видите, лен-то какой.
— А в газете написано, что вы прогнали их.
— Мало ли чего в газетах пишут! Это Шурка вон пошутил, будто мы их турнули.
Молчавший Прокофий Кузьмич сразу оживился:
— Вот, пожалуйста! А я что говорил?
— Ну, давайте присядем, что ли,— предложил Аристарх Николаевич, словно не слышал слов председателя, и первый опустился на межу.

Стали рассаживаться и женщины. Председатель и Шурка не сели, стояли друг против друга: один рыхлый, приземистый, другой плотный, рослый.

Аристарх Николаевич поднял голову к Шурке:

— Выходит все-таки, что ты здесь тон задаешь, а не звеньевая?

Шурка не смутился.

— Турнуть их и надо было.

— За что?

— Да ни за что. Механизаторы тут ни при чем.

— Тэк, что же дальше?

— А что дальше? Руками будем рвать.

— Послать вам машину?

— Не надо машину.

— Слыхали? — опять обрадовался Прокофий Кузьмич.— Вот из-за кого весь район взбулгачили!

— Подождите, Прокофий Кузьмич,— остановил его директор.— Давайте разберемся. Говори, Александр!

— Что ж говорить? Вам звеньевая уже сказала. На такой лен пустить машину — одни убытки будут. Да и машина тоже — только название от нее осталось: мнет, путает, елозит. Разве это механизация?!

Прокофий Кузьмич еще раз не выдержал:

— Вот видите! Все факты имели место!

Аристарх Николаевич, казалось, не слышал его, он разговаривал с Шуркой.

— Осень поздняя, Александр, не справитесь вы со льном, много его.— Директор повел рукой вокруг. С земли ему были видны только желто-зеленый с коричневым оттенком спелый лен да мутное осеннее небо, лен и небо — ничего больше.

Шурка тоже посмотрел вокруг. Его лен не пугал своей бесконечностью: стоя он видел границы поля — лесные опушки, стога сена на клеверищах, холмы перед спуском к реке.

— Справимся, Аристарх Николаевич,— уверенно сказал он.— Не беспокойтесь за нас.

— Шурка тут такое навыдумывал! — прыснула вдруг молодая девушка, прятавшаяся за спиной Клавдии.— «Завтра, говорит, вся деревня к нам сбежится лен теребить».

— А что, и сбежится! — поддержала Шурку звеньевая.

— Чего он навыдумывал? — почти встревожился директор.

Ответила Клавдия:

— А вот мы объявим, чтобы косы с собой брали, кто хочет: пусть всю траву из-подо льна для своих коров скашивают. Вот и сбегутся. Сена для своих коров никто не заготовил, а колючки все-таки не веточный корм.

— Здорово! — вырвалось у директора школы.

А Прокофий Кузьмич возмутился, начал кричать:

— Опять самоуправство! Кто разрешил? У кого спросили? Козами обзавелись, чтобы с колхозом меньше считаться, а сейчас новую лазейку изобрели!

— Надо же и своих коров чем-то кормить, товарищ председатель,— сказал Шурка.— Молоко от них и государству идет.

— Хитрить стали, на кривой все запреты хотят объехать! — шумел Прокофий Кузьмич.

— И будут хитрить, коли запретов много.

— Я тебя научу, молокосос, как хитрить! Нюрка, коси все подряд!

Когда председатель закричал, женщины и девушки, сидевшие на земле, повскакали с мест. Клавдия испуганно заморгала глазами. Кто-то тяжело вздохнул.

Нюрка перепугалась больше всех: ведь если бы она первая не брякнула об этой поганой траве, может, и крику бы такого не было. Во всем она виновата — молчала бы да молчала!..

Шурка хотя и старался держаться как подобает взрослому мужчине, каким он хотел быть, но все лицо его покраснело, и он начал поглядывать на директора школы, словно ждал от него защиты.

А директор сидел себе на земле да тэкал, будто дразнил кого:

— Тэк-тэк! Тэк-тэк!

И поглядывал снизу то на председателя колхоза, то на занятного подростка Шурку.

— Не буду я косить! — вдруг сказала Нюрка Молчунья.

— Что, что? — искренне удивился Прокофий Кузьмич.— И эта туда же? Ты кому здесь подчиняешься? Обоих из колхоза выгоню и участки отберу! Видали, что делается? — обратился он к Аристарху Николаевичу.— Ославили на весь район да еще голос подымают, антимеханизаторы проклятые! Я этот дух из вас вышибу.

Нюрка заплакала.

Директор школы решился наконец вмешаться в разговор.

— Прокофий Кузьмич,— начал он тихо и спокойно,— с травой никакой хитрости, по-моему, нет. Все честь по чести: люди теребят лен, за это им колхоз оплачивает, а трава, как премия за тяжелую работу вроде дополнительной оплаты. Лен засорен сильно, это же верно?

— Верно или не верно,— не унимался Прокофий Кузьмич,— только здесь косить никто не будет. План по кормам для колхоза не выполнили, а своих коров кормить хотят. Не позволю!

— А вы успокойтесь, Прокофий Кузьмич, и подумайте.

Но успокоить председателя было уже нелегко.

— И думать не буду! — кричал он.

— А вы подумайте. Люди же хорошее предлагают.

— А я разве плохого для колхоза хочу? Я из-за чего кровь свою порчу?

Аристарх Николаевич посуровел.

— Сейчас вы неправы, товарищ председатель, позвольте вам это сказать.

— Я здесь хозяин! — отрезал председатель.— Всю траву на подстилку выкосим, а будет по-моему.

— Вы неправы.

— Прав или не прав, а я хозяин.

— Значит, так и в райком передать? — спросил Аристарх Николаевич.

Что-то произошло с Прокофием Кузьмичом после этих слов.

— А? — сказал он, и глаза его на мгновение расширились и остановились на директоре, руки недоуменно легли на живот. Он стал быстро успокаиваться. Крик перешел в полушепот, словно председатель сразу охрип.— А? — сказал он.

— Что «а»?

— Да ведь что ж... Вы меня понимать должны...

Аристарх Николаевич засмеялся.

— Ну вот, так-то оно лучше. Песик ваш не зря на меня лаял.

— Понятно! — еще тише сказал Прокофий Кузьмич и повторил: — Понятно!

Он оглянулся на теребильщиц. Те ничего не понимали, но тоже стали успокаиваться. Только Шурка улыбался.

— Тогда понятно! — еще раз повторил председатель.— Тогда другой разговор.

На этом и порешили.

Уходя с поля, Прокофий Кузьмич все же погрозил Шурке:

— Ну, ты смотри у меня!

●

Опять Павел сменил место, и опять жизнь его началась как бы сначала.

На новом месте Павлу понравилось все. Понравилось, что здесь меньше надо было записывать и заучивать, а больше возиться в мастерских с разными инструментами стучать молотком, строгать, сверлить. Здесь рослых и сильных, как Павел, было много, и его не дразнили ни «женихом», ни «дяденькой, достань воробушка». Правилась ему форма одежды и то, что не нужно было самому заботиться о белье, о постели, о бане, о еде — обо всем этом за него думали другие. Нравилось строгое расписание дня — его будили, его вели на утреннюю гимнастику, в столовую, на занятия, в кино.

И Павел стал прилежным учеником.

Слесарные и деревообделочные мастерские ремесленного училища находились в просторном гулком помещении бывшего собора, давно оставленного верующими, на стенах которого еще сохранились красочные изображения. К ним ребята добавили немало своих рисунков, не отличавшихся особой святостью, зато не скучных.

Высоко под куполом летали голуби, неизвестно каким образом проникавшие в это теперь хорошо отапливаемое и освещаемое здание, вили гнезда на разных выступах и в углублениях, на верхних подоконниках, на скрещениях балок.

Ниже голубиного потолка висела сеть электрических проводов, вращались трансмиссии, гудели моторы, шлепали ремни, и, наконец, уже на цементном полу, местами застланном досками, стояли столы, обитые жестью, и станки довоенных и даже дореволюционных марок. Был там один токарный станок «ДИП», и он во всем городе считался чудом техники.

Массивные четырехугольные колонны, соединенные деревянной переборкой, делили помещение на две половины, и не только помещение, но даже запахи и звуки в нем. В первой от входа половине было царство мазута и машинных масел, металлические спиральные змейки свисали со станков, стоял звон, скрежет, визг. Во второй

половине, начавшейся примерно там, где раньше был клирос, на полу валялись вороха желтых сосновых и березовых стружек, в которые обязательно хотелось запустить руки, как в вороха ржи на полевом току, либо просто на ходу разгребать их ногами; здесь преобладали звуки шваркающие, шипящие — не звуки, а шумы.

Павел переходил из одной мастерской в другую. На первых порах ему больше нравилось быть в слесарной, где все напоминало о промышленности, об индустрии и все для него было новым, а в столярной пахло деревом, лесом, живицей — все это было чересчур свое, знакомое, деревенское. Поэтому хотя учителя и называли оба помещения цехами, Павел не принял этого названия для деревообделочников. Какой же это цех? Это даже не мастерская. Это деревня, дерево, надоевшее с детства, неинтересное. Заводом, техникой тут и не пахнет.

Настоящего труда до жестокой усталости, до ломоты в костях, до боли в спине Павел еще не испытывал, но работать ему хотелось. Он не отказался бы от любого поручения, стоял бы за станком день и ночь у всех на виду, только чтоб это было не в столярном, а в слесарном, в железном цехе. Павел мечтал: придет такое время, вызовут его в дирекцию училища (может, сам директор, а?) и скажут ему: «Товарищ Павел Мамыкин! Получен срочный заказ (а вдруг правительственный, а?). Изготовить к такому-то сроку вот *это* (Павел пока не мог представить себе, что *это* будет такое), и вам, как лучшему нашему ученику и умельцу, доверяется сделать *это*, не щадя своих самоотверженных сил и времени. И Павел сразу станет за станок и будет делать *это*, все будут смотреть на него и помогать ему. Из столовой в цех принесут обед: «Кушай, Мамыкин, пожалуйста, тебе сейчас надо хорошо кушать!» Он поест и все нормы выполнит и перевыполнит. И снимок его будет висеть на самой почетной, на Красной доске, и в дирекции будут говорить: «Вот видите, из деревни, а в какие люди выходит человек, деревня тоже новые кадры поставляет!»

Хронический насморк давно уже не беспокоил Павла, но рот его по привычке все еще частенько был приоткрыт, особенно если удивление и любопытство брали верх над всеми прочими чувствами.

— Куда прешь? — закричали на него в слесарной, когда, размечтавшись, Павел ступил в масляную лужу на цементном полу. Вздрогнув, он метнулся в сторону,

под трансмиссии, и какая-то неловкая чудо-техника сбила его с ног.

— Вот черт! Не повезло парню! — крикнули рядом, и больше Павел ничего не слыхал.

Прямо с грязного цементного пола перенесли его с разбитой головой в карету «Скорой помощи».

Для ремесленного училища это было чрезвычайным происшествием. Значение этого факта перешло даже границы училища. Им заинтересовались и в милиции, и в профсоюзной организации, и в райкоме комсомола. На какое-то время к Павлу Мамыкину было приковано внимание всего районного начальства. И аппарат заработал. Раздавались телефонные звонки, составлялись акты, писались донесения по службе, кому-то грозило наказание за халатное отношение к технике безопасности в мастерских РУ.

В больнице Павла навещали одноклассники и учителя, несли ему разные вкусные передачи, спрашивали его о состоянии здоровья, о температуре, об аппетите, о работе желудка. Казалось, всему городу было нужно, чтобы он скорей поправился.

Павлу все это очень понравилось. Настолько понравилось, что ему даже захотелось подольше полежать в больнице. Врачи спрашивали его, не кружится ли голова, не наблюдаются ли приступы тошноты? А как зрение? Как слух? И Павел стал говорить: приступы тошноты наблюдаются, голова побаливает, зрение и слух как будто немного ослабели. К нему приходили специалисты — отоларингологи, окулисты, показывали ему с разных расстояний таблицы с буквами и знаками, спрашивали: «Как видите?», проверяли глазное дно, лазили в уши, в нос.

Павел заметно поправился, раздобрел, привык подолгу спать.

Незадолго до выхода его из больницы в палате появился сам директор ремесленного училища товарищ Тетеркин и сообщил своему воспитаннику, что для него в профсоюзной организации приготовлена путевка в областной дом отдыха работников лесной промышленности. Разумеется, бесплатная.

Директор Тетеркин очень боялся за свой пост. Его уже не раз перемещали, как не обеспечивающего нужного руководства, с одного места на другое: с картофелесушильного завода на лесопильный, с лесопильного на маслобойный, с маслобойного в ремесленное учили-

ще, но все в должности директора. А сейчас появилась реальная опасность, что его лишат этого почетного звания.

В палату к Павлу Тетеркин вошел с сияющей, добрейшей улыбкой, какая может быть только у отца родного. Но именно из-за этой сияющей улыбки да еще из-за белого халата, необычно висевшего на директорских плечах, Павел и не узнал сразу своего посетителя. А когда узнал, то поначалу оробел.

— Как здоровье наше, Мамыкин, как лечимся? — заговорил директор весело и вроде бы непринужденно, но глаза его при этом крутились настороженно и вороวато.

— Да я уже... я скоро! — замялся Павел.— Опять учиться буду. Я же не виноват... Если бы я знал...

— Что ты, что ты! Разве мы тебя виним? В таком деле никого винить нельзя,— обрадовался Тетеркин.— Несчастный случай, и только! Кого мы с тобой винить будем? Никого винить не будем! А тебя в беде не оставим, даже не беспокойся. Вылечим тебя, до конца вылечим, это я тебе говорю.

— Понимаю! — Павел действительно начинал понимать, что ничего плохого ему не будет и опасаться нечего.— Я же не виноват.

— Конечно, не виноват, никто не виноват, ты так и говори. А мы для тебя путевочку выхлопотали. Тебе, брат Павлуша, просто повезло.

— Понимаю! — сказал Павел.

— Путевочку, брат, тебе достали. В дом отдыха. Повезло тебе.

— А что я там буду делать? — спросил Павел.

— Отдыхать. Лечиться.

— Как, ничего не делать?

— В том-то и дело, что ничего не делать. Повезло, говорю.

— И кормить будут?

— Еще как!

— Здорово! А далеко это? — В голосе Павла слышалось уже ликование.

— Ехать надо. Сначала на попутной, потом — поездом.

— Где я возьму деньги на дорогу?

— Попроси у родных.

— Вабушка не даст, у нее нет.

— Напиши заявление.

— Кому?

— В профсоюз. Я передам...

И Павел написал еще одно заявление:

«Мой отец погиб смертью храбрых на фронте Отечественной войны. Моя мать, не щадя своих сил, работала на колхозных полях и отдала жизнь за высокую производительность труда. Я — круглый сирота, учусь в рабочем училище. Прошу дать мне денег, чтобы съездить в дом отдыха на лечение, на туда и обратно. Выучусь — за все отработаю».

●

Выйдя из больницы, Павел расписался в ведомости на получение бесплатной путевки, затем получил деньги на дорогу — опять расписался. Как это просто: распишись — и на тебе путевку, еще распишись — и на тебе двести рублей! Иван Тимофеевич, его бывший квартирный хозяин, рассказывал однажды про такое же. Но то было в Москве...

До ближайшей железнодорожной станции шестьдесят километров. Осень наступила в этом году поздно, но зато в течение нескольких дней подняла реки, размыла дороги, разнесла по бревну ветхие мосты. Движение грузовиков прекратилось. Пассажиры, застрявшие на волоках, оставляли громоздкие вещи на время распутицы в знакомых деревнях и продолжали путь пешком.

Павел не смог выехать из района и, огорченный, пришел в райсовет профсоюзов. В тот день на станцию отправляли инструктора областного совета профсоюзов. Женщина, маленькая, круглая, в очках, уже одетая для дороги — в сером брезентовом плаще, наброшенном поверх зимнего пальто, и толстой шерстяной шали, согласилась взять его с собой.

Профсоюзная лошадь, запряженная в легкий, плетеный из ивовых прутьев тарантас, стояла под окном. На козлах сидела девушка-возница, тоже в сером брезенте, но уже заляпанном грязью.

Павел едва успел сбегать в общежитие взять фанерный, выкрашенный зеленой масляной краской баул с висячим побрякивающим замочком на крышке, и они поехали.

Сидит Павел на мягком свежем сене в тарантасе, ноги его прикрыты учрежденческим тулупом, взятым

только ради него, потому что областная начальница заметила, как легко парень одет, и пожалела его, и теперь Павлу тепло и покойно — все его заботы и тревоги остались позади.

Первые несколько километров от городка дорога была песчаной, негрязной, и лошадь бежала споро. Позвякивал колокольчик под дугой, постукивали железные шины о камушки, скрипел хомут твердой кожей. Все располагало к размышлению.

Павел поначалу чувствовал себя неловко, сжимался в тарантасе, сколько мог, чтобы не стеснить свою благодетельную начальницу; боялся кашлять, сморкаться и даже старался дышать как можно деликатнее. Но постепенно угнетающая скромность его оставила, он небрежно откинул казенный тулуп, высвободил левую ногу и свесил ее снаружи корзины: в этом было какое-то щегольство, так ездят люди, знающие себе цену,— председатели колхозов, районные служащие. Приятное ощущение своей значительности, незаурядности все больше и больше щекотало его самолюбие. Вот уже и начал он выходить в люди! Такую ли жизнь пророчил ему Прокофий Кузьмич или намекал на что-то другое? Конечно, он еще не служащий и зарплаты не получает, но все-таки и не простой учащийся-ремесленник. Кто еще, кроме него, может вот так взять да и поехать, сидя рядом с областным ответственным работником? И куда? В дом отдыха! И зачем? Отдыхать! От-ды-хать, черт возьми! И все правильно, все по закону. В кармане у него путевка: фамилия, имя, отчество — Мамыкин Павел Иванович; год рождения — указан, место рождения — тоже, пол — мужской, профессия — такая-то, путевка выдана по решению... Все законно!

Хорошо бы сейчас свернуть с большого тракта на проселок, да заехать бы в свою деревню, да подкатить бы к своему родному дому, да чтоб Шурка с бабушкой выбежали на крыльцо: «Господи, кто это к нам?» Да чтоб слетелись ребятишки со всех концов стайками воробьиными, а потом бы подошли мужики, хозяева домов: «Здравствуйте, мол, Павел Иванович, спасибо, что мимо своего колхоза не проехали, не побрезговали земляками, не похармовали!»

Да еще чтобы женщины столпились вокруг тарантаса, и под окном избы, и у крыльца и ахали бы да охали: «Наш ведь парень-то, свой, не чей-нибудь, Пашка, Ваньки-солдата сын, а ныне Павел Иванович, вот как!»

А главное, чтобы девушки увидели его и пожалели бы, что не понимали раньше, какой он, раскаялись бы: «Вот, дескать, думали мы, Павлик, Павлуша — и все тут, а оказывается, пальца в рот ему не клади, не простой он, Павлушка-то! С таким человеком любая девушка пойдет хоть на гулянку, хоть на край света — не зазорно, таким Павлушей вся деревня еще гордиться будет, за такой спиной, как у этого Павлуши, не пропадешь!» Вот как!

Сидит Павел на теплом сене, теплый тулуп в ногах, и картины одна обольстительней другой разворачиваются в его воображении. Негромко, размеренно поет колокольчик, хрустят рессоры, постукивают колеса, на ухабах раскачивается тарантас и кидает Павла то в одну сторону, то в другую, то притиснет его к плетеному боку корзины, то прислонит к теплому мягкому боку женщины. И вздрагивается и дремлется. А колокольчик то замирает совсем, то вдруг начинает звенеть продолжительно и требовательно, и звук этот сливается в одно сплошное гудение, и это уже не колокольчик, а автомобильный сигнал. И тарантас уже не тарантас, а легковая машина. И восседает в ней, мягко откинувшись на спинку, и впрямь уже не какой-то Пашка Мамыкин, а Павел Иванович, не то генерал, не то секретарь райкома. Здорово!..

Жалко, что и ребята из училища не видят его в эти минуты, среди ребят все-таки есть ничего парни, те, что ходили к нему в больницу и всегда что-нибудь приносили с собой. Ничего ребята!

— Что с тобой стряслось? — вдруг спросила его женщина.

— Что? Чего стряслось? — встрепенулся задремавший Павел.

— Отчего заболел?

— А... Не помню. Меня ударило по голове в цеху.

— Травма, значит?

— Вот-вот, травма.

— Меня зовут Людмила Константиновна.

— Ладно! — сказал Павел.

— Тебе удобно?

— Ничего.

— Голова не болит?

— Шумит немножко.

Шумел лес по обеим сторонам дороги, шумела вода в речках, под мостиками и в канавах, шумела и шипела грязь под колесами. Девушка-возница то и дело спрыгивала с козел прямо в жидкую либо коричневую, либо

серую, либо черную с примесью торфа кашу, и плечом и руками поддерживала тарантас, и кричала на лошадь, и била ее кнутом по крупу, на что та неизменно помахивала хвостом, словно от овода отбивалась. Брезентовый плащ на девушке покрылся свежим слоем грязи. Трудно ей было.

Молодая, с ямочкой на самой середине подбородка, белобрысенькая, в мужской зимней шапке, из-под которой выбивалась и падала в откинутый брезентовый капюшон негустая льняная коса, девушка делала свое неженское дело старательно и ни на кого и ни на что не роптала. Дорога ей была знакома от начала до конца, как сплавщику капризная неширокая река, где за каждым поворотом ждет его какая-нибудь каверза,— должно быть, ездила девушка здесь взад и вперед бесконечное количество раз. А ей бы, с этими ее маленькими, несильными руками, ходить в ненастную осень на гулянки (и Павлу бы вместе с ней!), участвовать бы в клубных кружках, ставить спектакли или читать стихи со сцены. Почему она стала возницей, училась, что ли, мало? Павел начал всматриваться в нее пристальнее, и она ему понравилась. Он с пониманием и сердечным сочувствием следил за ней из тарантаса, когда девушка утопала в грязи и задыхалась от усталости.

Грязи особенно много было на улицах деревень. В одной деревне на крутом подъеме лошадь заскользила и упала на колени. Круглая Людмила Константиновна мгновенно выпорхнула из тарантаса, и этого одного оказалось достаточно, чтобы лошадь справилась, ободрилась и потянула дальше. Павел просто не успел выскочить на дорогу.

Опять стали сменяться избы, серые от дождя, кривые от времени, и у каждой под окнами палисаднички с черемухами, да рябинами, да колодезные журавли — на одном конце коромысла длиннющий шест и бадья, на другом — груз для равновесия: разные деревянные и металлические подвески вплоть до тракторных шестерен и колесных втулок от старых телег.

На волоку, где дорога проходила над рекой по самому краю высокого подмытого и не огражденного никакими столбиками берега, тарантас вдруг начал резко крениться, и его потащило к обрыву. Даже лошадь почувствовала неладное, всхрапнула и круто повернула в сторону от реки, напрягаясь изо всех сил, и, кажется, не устояла бы, не совладала бы с экипажем, если бы из него во-

время не выпрыгнули и Людмила Константиновна и возница. Только Павел остался сидеть как сидел. Вероятно, он просто не успел сразу понять опасности.

И тогда нравившаяся ему девушка вдруг рявкнула на него совсем не по-девчачьи:

— Вылезай, раззява, ваше благородие!..

Ямочка на ее подбородке была заляпана грязью.

Павел испуганно выскочил, когда этого можно было уже и не делать, и, очутившись по колено в грязи, испугался еще больше. Людмила Константиновна и девушка, схватившись за оглобли с двух сторон, помогали лошади, а Павел стоял в грязи и, виновато моргая, смотрел на них, не зная, что делать, за что взяться.

— Барин! До дыр просидел свою сидальницу! — ругалась девушка-возница.— Еще один начальничек растет, не хватает их.

Людмила Константиновна, то ли обидясь за «начальничков», то ли Павла пожалев, негромко, но внушительно остановила ее:

— Чего взбунтовалась? Шумишь? Он нездоров, а ты его в грязь вытолкала. Дались тебе начальники! Не любишь, а возишь. Не вози тогда, откажись.— И она приказала Павлу: — Садись, Павел, не слушай ее!

И Павел больше ее не слушал, сидел в тарантасе, не вылезая до самой станции, и думал о своей болезни. Разное думал.

А все-таки настроение его было испорчено. Исправилось оно лишь около железнодорожной кассы, когда Людмила Константиновна купила билеты и для себя и для него за свои деньги и не захотела, чтобы Павел платил, хотя он настаивал, очень настаивал.

— Ладно, ладно,— отбивалась она,— помалкивай! Не стесняйся. Тебе эти деньги пригодятся, а у меня есть, я работаю. Будешь работать и ты — все окупится, расплатишься.

Павел стеснялся недолго, сказал: «Спасибо!» — и замолчал. Ему было не так неловко, как радостно. Все-таки здорово ему везет: какая-то ответственная бабеха, незнакомая тетка, а почти сто рублей остается в кармане.

●

Профсоюзный дом отдыха помещался в старинном купеческом особняке на высокой сосновой гриве. Правда, старое здание много раз уже перестраивалось, и столько

выросло вокруг него всевозможных новых построек — флигелей, крытых веранд, сараев, что былой хозяин вряд ли теперь узнал бы свои владения. Конечно, и сосны были уже не купеческие. Стволы в один, в два обхвата, с массивной, рубчатой, пепельного цвета корой — снизу, бронзовой и медной — сверху, вздымались в небо, словно кирпичные трубы, и там их зеленые кроны, как дымы, сливались в сплошной непроницаемый полог. Все дорожки в парке ежились шишками и колючими, затвердевшими от первого заморозка иголками. Сосновые иголки лежали на скамейках, на круглых, сколоченных из грубых досок одноногих столиках, на беседках, бесхитростно изображавших шляпки белых грибов и мухоморов, на декоративных мостиках и клумбах с поблекшими хризантемами. С одной стороны сосновая грива примыкала к полям пригородного овощеводческого совхоза, с другой — к большой сплавной реке. Спуск к ней начинался от самого дома отдыха.

С железнодорожной станции Павел шел пешком. Он робел и перестал верить в магическую силу своей путевки — что-то его ждет там? А вдруг не примут? Но кругом были обыкновенные, знакомые с детства поля, и знакомо, по-обыкновенному побрякивал замочек на крышке фанерного баула — это успокаивало. Везде своя земля, везде свои люди — может быть, все еще будет хорошо.

И как только он вступил за ограду соснового бора, с ним стали происходить чудеса, не всегда понятные, но, безусловно, приятные и лестные для воображения.

— Добро пожаловать! — сказала ему молодая женщина в белоснежном халате еще при входе в дом и повела его в контору.— Вы отдыхать?

— Да,— робко ответил Павел.

— Вашу путевку.

Он достал из баула путевку, передал ее, при этом рука у него дрожала.

— Вот,— сказал он.

— Раздевайтесь, пожалуйста...

Законность путевки не вызывала никаких сомнений. Тогда Павел сразу почувствовал себя увереннее.

— Обедать скоро? — спросил он.

— Обед уже закончился. А вы проголодались? Я сейчас отведу вас в столовую, все сделаем, все устроим, не беспокойтесь.

— Я не беспокоюсь.

Женщину в белом халате не смутило, что Павел был одет неказисто; насколько он успел заметить, тут все отдыхающие одевались не ахти как — рабочий народ, сплавщики, лесорубы.

В столовой, похожей на светлую больничную палату, Павла усадили за квадратный стол, рассчитанный на четырех человек, накрытый такой чистой белой скатертью, что он даже откинул один ее конец, чтобы не запачкать.

— Обед новенькому! — крикнула официантка на кухню.

— Что поздно? — спросил откуда-то грубый женский голос.

— Он не виноват. Новенький, говорю!

Из окон столовой, как из любых окон этого дома, видны массивные сосновые стволы с их зеленой иглистой кроной, а дальше, за соснами,— спуск к реке и сверкающая извилистая вода, в одном месте широкая, как озеро, в другом — как узкий ручеек, еле заметный под крутым берегом; еще дальше — необычайные поёмные луга, забитые древесиной, оставшейся от молевого сплава, теперь обсохшей и сложенной кое-где в штабеля, либо гниющей вразброс.

Павлу подали сразу три блюда: первое — кислые щи, второе — антрекот («Что?» — весело переспросил он, когда услышал название блюда. «Просто кусок мяса»,— ответила девушка. «Кусок мяса — это и просто неплохо!» — сострил новичок) и на третье — клюквенный кисель.

— Рыбий жир будете пить? — спросила девушка.

— Как в больнице? — вопросом ответил Павел.— Я уже не грудной, можно пить и не рыбий жир.

Он съел все и не наелся, но добавки не попросил. «Успеется еще!» — подумал.

— Что дальше?

— Идите опять в контору, откуда пришли. Вы еще не мылись?

— Нет.

— Ужин в восемь часов.

Из конторы та же сестра в белом халате, которая принимала Павла и отводила в столовую, сейчас провела его в комнату на втором этаже, сказала: «Вот ваша постель, ваша тумбочка!» Затем показала ему душ, сказала: «Мыться обязательно. А через два дня общая баня. Ужинать в восемь часов».

«О-го! — подумал Павел.— Порядочек, как в ремесленном общежитии»,— и спросил:
— Что дальше?
— Дальше ничего. Отдыхайте! Завтра утром обратитесь к врачу, если нуждаетесь в чем. Библиотека внизу. «Распорядок дня» висит на стенке. До свиданья!
К строгому режиму дня, при котором по часам встают, по часам завтракают и обедают, Павел уже привык, и дисциплина эта не удивила его и не огорчила. Напротив, он, как почти все, скоро научился и нервничать и ворчать, если встречались даже незначительные отступления от распорядка. Быстро свыкся он и с тем, что здесь после завтрака и после обеда, да и весь день с утра до вечера ему не нужно было ни работать, ни учиться, ни готовить уроки. У него не было никаких обязанностей, если не считать обязанности хорошо отдыхать. И он стал считать отдых своей обязанностью, это было для него ново и приятно. Хорошо отдохнуть, восстановить свои силы, свое здоровье — это долг. Для этого тебе предоставлены все условия, все возможности. Обслуживающий персонал дома отдыха обязан тебя обслуживать, обязан — это Павел скоро и хорошо уяснил. За это ему, обслуживающему персоналу, деньги платят. И надо уметь требовать, чтобы обслуживающий персонал честно и добросовестно выполнял свои обязанности по отношению к тебе.
И Павел стал требовать.
Утром он терпеливо выстоял длинную очередь у кабинета врача. Врач, седая женщина лет семидесяти, не меньше, задыхающаяся от астмы, сгорбленная, которая сама должна бы жить здесь в качестве отдыхающей, взглянула на молодого Мамыкина с явным, как ему показалось, недружелюбием.
— На что жалуетесь, молодой товарищ?
— На травму.
— А что с вами случилось?
— Голова болит.
— Вы лечились? Случилось что?
— Лечился в больнице. Был удар по голове в цеху.
— В цехе? Вы — рабочий?
Павел промолчал. Врач заглянула в документы Мамыкина, в медицинское заключение, прилагаемое к путевке, и спросила снова:
— Сильно болит голова?
— По-разному.

— Часто?

— Вот посидел у вас в очереди, и опять заболела.

— Очередь... да... одна я здесь,— начала оправдываться старая женщина.— Очереди большие. Вам бы в санаторий надо, а не в дом отдыха, там — лечение.

— Начальству виднее, куда посылать,— дерзко сказал Павел.

— Начальству? — удивленно переспросила женщина и опять посмотрела в его анкету.— Мо-олод! — покачала она головой, увидев его год рождения, и словно задумалась: продолжать ли называть этого дерзкого мальчишку на «вы» или разговаривать с ним, как принято разговаривать со школьниками.— До чего молод! — еще раз протянула она.

— Молод, значит, и лечить не надо? — спросил Павел.

— Нет, лечить мы тебя будем,— решительно перешла врач на «ты».— Будем лечить. Только без лекарств. Отдыхать будешь, гулять, много кушать, заниматься физкультурой, обтираться холодной водой. А снег выпадет — на лыжах пойдешь. Аппетит хороший?

— Аппетит ничего, есть могу.

— Ну вот и будешь много есть. Обязательно принимай рыбий жир, он с витаминами. И воздух тут витаминный, смоляной с фитонцидами. Дыши глубже. Я тоже здесь живу из-за воздуха. Он лучше всякой пенсии. Люблю запах живицы. Ну иди, все!

— Как все?

— Все! Иди гуляй. Следующий! — крикнула врач в дверь уже мимо Павла, не глядя на него.

●

Из-за сырой, мозглой погоды отдыхающие сидели в парковых беседках и в главном здании — в коридорах, в комнатах общего пользования. Играли в шашки, в шахматы, катали на маленьком бильярдном столе светлые подшипнички, не крупнее пушечной картечи,— на приобретение большого бильярда профсоюзных средств пока не хватало. Кое-кто сидел по углам, на стульях и диванах, либо у светлых окон, читали книги.

Никаких знакомых здесь у Павла, конечно, не оказалось. Не было и сверстников. Но он не унывал. Последнее обстоятельство ему даже льстило — он тут самый

молодой, значит, самый удачливый. Скрытого ликования его не испортили даже грубоватые слова рыжего бородача с рыжими глазами и рыжими волосами на руках:

— Рано ты, паренек, начал по домам отдыха ездить, голова бы не закружилась.

— Из-за головы я и приехал.

— А что у тебя с ней?

— Травма.

— На работе получил?

— Да.

— Вершиной прихватило или комлем?

— Не, не в лесу.

— Значит, на сплаве? Или в конторе служишь?

— Не, в цеху.

— Так, понятно. Ну ничего, вылечат. Только маху дал, парень. В другой раз проси путевку в санаторий. Государство у нас богатое!

Павел не ответил, но совет запомнил.

За обедом в столовой не оказалось рыбьего жира. Павел не забыл, что ему врач советовала обязательно принимать рыбий жир, и хоть не любил ни вкуса, ни запаха его и, возможно, даже не стал бы пить ежедневно да еще трижды, но раз жиру не оказалось, Павел потребовал, чтобы ему дали его.

— Положено — значит, подай! — сказал он официантке — низкорослой, некрасивой и, вероятно, потому много кокетничавшей, грубо накрашенной и мелко завитой девушке Фросе.

Фрося обиделась.

— Во-первых, я тебе не «ты». А во-вторых, где я тебе возьму рыбий жир, я не рыба.

— Какое мое дело,— сказал Павел.— Положено — подай!

— Что значит «подай»? — возмутилась Фрося.— Я тебе не лакейка какая-нибудь и не куфарка. Я такая же служащая, как и ты.

— Вот и служи,— сказал Павел.— Ты к чему приставлена?

— Не к тебе же!

— Нет, ко мне. Тебе государство за что деньги платит?

— Много я получаю! — разбушевалась Фрося.— Ученый приехал.

— Где мой рыбий жир? — настаивал Павел на своем.

Вокруг одобрительно засмеялись.

Послеобеденный тихий час отдыхающие обязаны были проводить на открытой веранде. Павлу отвели плетеный лежак, старенькая няня показала ему, как пользоваться спальным ватным мешком; на первый раз сама помогла ему залезть в мешок, застегнула все пуговицы и затянула все шнурки на нем.

Густо, бархатисто шумели влажные сосны, мелкий осенний дождик шебаршил на дощатой крыше, то затихая, то усиливаясь, водяная пыль пронизывала воздух, он становился зримым. А в ватном мешке было и тепло и сухо, и Павлу приснился добрый сон.

Сидит он в тарантасе на теплом сене, не едет, а плывет. На козлах — не та злая белобрысая девушка с косой, падавшей из-под шапки в брезентовый капюшон, а сама обходительная, круглая Людмила Константиновна; держит она вожжи, чмокает круглым ртом, понукая лошадь, и все оглядывается на Павла Ивановича, будто спрашивает, правильно ли едет, хорошо ли его везет. А кругом тает снег, дорога черная, весенняя, по бокам ее канавы, полные шумной воды, и солнце весеннее над головой. Оборачивается Людмила Константиновна и кнутовищем показывает Павлу Ивановичу на узелок на дороге.

— А ну подними! — приказывает ей Павел Иванович.

Людмила Константиновна натягивает вожжи, останавливает лошадь и, не слезая с козел, поднимает узелок, зацепив его кнутовищем. А узелок этот — бабий платок, а в платке пачка денег, и деньги все принадлежат бабушке, платок тоже бабушкин. Тогда Людмила Константиновна говорит ему:

— Возьмите, Павел Иванович, это ваши деньги.

Павел Иванович кладет деньги в карман и выбрасывает платок на дорогу — старый он, рваный, ни на что не годен. Но платок, упав на дорогу, снова свертывается в узелок, а в узелке опять деньги. Тогда Павел Иванович, не торопясь, вылезает из тарантаса, чтобы поднять узелок с деньгами, и видит, что черный навоз на весенней подтаявшей дороге — тоже деньги. Он начинает собирать их — мокрые, мятые рублевки и десятки — и развешивает на оглоблях, на ободах колес, на дуге, как выстиранное белье, солнце подсушивает эти деньги, а он свертывает их, уже шуршащие, шумные, и складывает в карманы. И вот уже все карманы полны деньгами.

— Распишитесь, пожалуйста, это же деньги! — просит Людмила Константиновна, протягивая ему расходную ведомость.— Просто распишитесь!

Павел расписывается, и они едут дальше...

...На следующий день после обеда отдыхающие опять устраивались на веранде, и Павел захотел, чтобы ему снова помогли забраться в спальный мешок.

— Дует! — крикнул он няне, пожелавшей всем хорошего отдыха.

— Застегнуться надо.

— Как же я застегнусь, руки-то в мешке?

— А как другие застегиваются? — удивленно спросила старушка.

— Я в мешках никогда не спал. У нас в мешках только картошку хранят.

На плетеном лежаке недалеко от Павла поднялась рыжебородая, рыжебровая голова.

— Слушай ты, начальничек! У тебя травма, ну и лежи спокойно.

— Я и лежу.

— Спокойно лежи, не картошка, не рассыплешься. Ишь, нервный какой.

— Ну нервный, и что? — не испугался Павел.

— А то! Рано привередничать начал.

— Тебе хорошо говорить.

— А тебе плохо?

— Плохо. Я всю жизнь без отца, без матери рос.

— После войны, может, половина людей так выросла. Ты один, бедный, обижен! Наверно, давно уже за девками бегаешь...

●

Доить коров, конечно, нелегко, особенно если их много, убирать двор лопатой и вилами тоже не сладость, а носить утром и вечером воду на коромысле, да греть ее, да разливать пойло по корытам — от этого одного за один год можно сгорбиться. Но, пожалуй, тяжелее и надоедливее всего — каждый вечер бегать за коровами на выпас. Если бы только раз в неделю, ну, на худой конец, два раза, а то ежевечерне да по одним и тем же местам. Обрыдло!

Нюрку еще выручали молодые ноги, а пожилым напарницам ее было просто невмоготу.

Так велось от века: по утрам подоенных коров выгоняли из оград на улицу, иногда провожали их до околицы, а дальше они шли, позвякивая колокольцами, уже одни, без пастухов, и кормились до вечера, разбившись на небольшие стада.

В сумерках ко второй дойке коровы сами возвращались в деревню, каждая спешила в свой дом, к своему стойлу, где приветливые хозяйки встречали их крепко посоленным куском хлеба, мучной с отрубями болтушкой или охапкой зеленой травы. Редко-редко какая-нибудь строптивая пеструха устраивалась на ночевку на выгоне, и то лишь потому, что дома во дворе было слишком грязно либо хозяйка угощала ее чаще пинком, чем хлебным куском.

Заблудиться коровам было негде. На десятки верст вокруг деревни тянулись изгороди из жердей и кольев. Они охватывали и поля, и луга, и выпасы, разделяя их и перекрывая все выходы в глухой лес и на угодья других сельских общин.

Называли эти изгороди осекáми. За каждым домохозяином закреплялось по нескольку участков осеков, за исправность которых он отвечал своей совестью и головой перед сельским сходом.

— Как это головой? — спросила однажды Нюрка у своего деда, когда он рассказывал о том, что было раньше.

— Да что ж, простое дело. Если кто прохлопает ушами, не починит вовремя свой огород, потраву допустит — вызовут его на общий сход и поучат.

— Как поучат?

— Что, паре, свой язык понимать перестала? Ну, по шее поучат, по спине и по разным другим местам. Да так поучат, что больше вовек не забудет, и совесть не потеряет, и осека будут всегда целы.

Никакой необходимости в пастухах раньше не было. Но с годами старые осека подгнили, начали разваливаться, чинить их не стало сил, и колхозное стадо уходило от деревни порой слишком далеко. К тому же не стало и колокольцóв на коровах.

Поначалу отказывали ворота в изгородях, поломались запоры.

Сейчас дивно вспомнить, сколько раньше было самых необыкновенных, простых и хитроумных деревянных

запоров у полевых ворот. К установке их крестьяне относились как к искусству. Не признавали никаких железных крючков, никаких ершей и гвоздей — это было бы слишком богато и чересчур непритязательно. Зато изготовление накидных колец, петель и обручей из распаренных виц, всяких березовых задвижек, упоров, заворней, заверток, щеколд требовало выдумки и мастерского владения топором.

Сооружались даже своеобычные автоматические защелки: чуть отогнешь в сторону пружинистую жердочку — и ворота, скрипя деревянной пятой, распахиваются сами, хлопнешь ими — и жердочка становится на свое место, упираясь концом в гнездо обвязки. Не то что корова или лошадь, никакая коза таких ворот не откроет.

Хорошими запорами деревня гордилась, как резными балконами, просмоленными крышами и убранством своей часовни. Это, как и многое другое в те времена, было творчеством.

Но вот перестали запираться ворота, начали обваливаться изгороди то в одном месте, то в другом — и скот пошел гулять по посевам, по сенокосам, по болотам и лесам. Вечером жди не жди — не придет в колхозный двор ни одна корова.

Долгое время на выгон в сумерках бегали сами доярки. Выйдут из деревни, осмотрятся: «Ну, кто куда? Давайте лучше порознь — скорей наткнемся». Нюрка Молчунья несется через все Летовище в Угол. Авдотья Мишиха к Юскому кордону, Ваниха Пронькина на Казино болото — все в разные стороны. Найдут коров, пригонят домой, но сами так вымотаются, что и подойник в руки брать неохота.

Пастух нужен — это уже понимали многие, но слишком необычным, даже нелепым казалось для здешних мест: пастух за коровами! Ну, пастушок, мальчонка какой-нибудь, школьник — еще куда ни шло. Но мальчонка с коровами не управится. А взрослого ставить — это значит оторвать от дела рабочего человека, да еще и платить ему придется.

Нюрка долго молчала, думала, как быть, и наконец решилась пойти в контору, к самому председателю. О своей усталости она не заикнулась бы, но за других постоять ей не казалось зазорным.

— Чего тебе? — спросил ее Прокофий Кузьмич, когда Нюрка переступила порог кабинета и молча замерла у

дверей. Письменный стол председателя был завален какими-то ведомостями и окурками. Хозяин неохотно поднял глаза на девушку:

— Ну, чего молчишь?

— Я не молчу.

— Чего тебе?

— О пастухах нынче много пишут, Прокофий Кузьмич,— сказала Нюрка.

— Тебе что за дело?

— А у нас пастуха нет.

— В пастухи, что ли, хочешь?

— Нет, я коров дою.

— Ну и дой, выполняй план.

— Я выполняю.

— Тогда иди, все!

Прокофий Кузьмич снова уткнулся в ведомости. Но Молчунья продолжала стоять у порога.

Прокофий Кузьмич подождал и спросил ее снова:

— Еще чего тебе?

— Пастуха бы, Прокофий Кузьмич.

— Так, опять пастуха?

— Пастуха.

— Вот что! — В голосе Прокофия Кузьмича послышалось озорство, он захотел пошутить с робкой девушкой.— Значит, пастуха захотела?

— Колхозу пастух нужен! — ответила Нюрка серьезно.

— Вот Пашка выучится, и отдам его тебе в пастухи.

Нюрка пропустила мимо ушей и эту шутку.

— Удои бы сразу прибавились,— сказала она.

— Все у тебя или еще не все?

— У всех пастухи есть,— настаивала Нюрка.

Прокофий Кузьмич начал терять терпение.

— Да ты что, ополоумела? И без того работать некому, а тебе еще пастуха подай!

— Без пастуха коровы бегают далеко, не столько едят, сколько траву топчут,— не унималась Нюрка.

Прокофий Кузьмич мог накричать, указать Нюрке на дверь — выйди, дескать, и не мешай работать, тем более что работы всякой в страду было много и не так уж хорошо все шло, а тут еще уполномоченные один за другим... Но он сдержался и заговорил с Нюркой совершенно спокойно, сквозь зубы:

— Вот что, девонька. Если Пашку ждать не хочешь, мы тебе другого пастушка подберем, раз уж приспичило.

Или подождешь? Любовь, говорят, зла... За такой клад, как ты, любой парень ухватится.

— Тогда я зайду в другой раз! — спокойно и серьезно сказала Нюрка, как будто не слышала, о чем перед этим говорил председатель.

В другой раз она держалась так же робко и так же твердо.

— Людей жалко, Прокофий Кузьмич,— начала она, остановившись опять у порога.

— О чем ты? — не сразу понял ее председатель.

— О доярках, о напарницах своих.

— А! О пастухе?

— О пастухе, извините уж меня.

Прокофий Кузьмич взял со стола тяжелые, массивные счеты, неторопливо вышел из кабинета в общую конторскую комнату, что-то поговорил там с бухгалтером и скрылся.

Через несколько дней Нюрка пришла к нему в третий раз. Перед этим она повидалась с директором школы Аристархом Николаевичем и разговаривала еще с каким-то уполномоченным.

В третий раз к Прокофию Кузьмичу ее не пустил главный бухгалтер, лысоватый старомодный человек, нанятый колхозом где-то на стороне и отлично умевший исполнять приказания непосредственного своего начальника. Он просто взял Нюрку за рукав, притянул к своему столу и сказал:

— Не надо, Аннушка-девочка, туда больше ходить, ты своего добилась: пастуха мы уже подобрали, приказ подписан, все по закону, и послезавтра за твоими коровами будет полный присмотр и пригляд. Все по закону!

●

В парке дома отдыха вокруг одного из сосновых стволов был сколочен грубый, но милый для всех дощатый стол. Сосна поднималась к небу прямо из середины его. Замкнутым кольцом вокруг стола была сделана и скамейка. В хорошую погоду здесь собирались отдыхающие, играли в карты, в домино, рассказывали анекдоты. Книги тут читались редко — все, кто любил посидеть с книгой, забирались подальше от дома, в глубь сосновой гривы или на берег реки, в кусты, где ютилось множество разных птичек, а весной заливались по ночам даже соловьи.

В туманное осеннее утро Павел ходил по парку. На тропинках валялись ощеренные сосновые шишки, похожие на маленьких ежиков, и навалом лежали мягкие хвойные иглы. Иголок особенно много было там, где в дождливые дни текли ручейки. Увидев круглый стол вокруг сосны и подивившись выдумке мастера, Павел присел на скамью и почувствовал, что ему страшно не хватает брата или бабушки или хоть кого-нибудь из односельчан, чтобы можно было поговорить со своим человеком и похвастать всем, что он теперь имеет. Разве не ему принадлежит все это богатство, разве не он, рабочий человек, здесь хозяин? Он! Ведь так и в газетах пишут. Он — хозяин, и все это — его! Посмотрел бы сейчас Шурка, каким стал его брат! Глянула бы бабушка — заплакала бы!

Павел решил написать письмо. Сходил в свою комнату, взял из баула бумагу, карандаш, конверт.

«Здравствуй, бабушка, здравствуй, Шурка-черт! Всем по низкому поклону. Вы сейчас меня не узнали бы, какой я стал. Живем мы на высокой горе в двухэтажном доме. Это дворец! В одних комнатах живем, в других питаемся. Столовка наша вся в узорных скатертях, и это не столовка, а ресторан. Кормят меня почем зря, чем только не кормят, как на убой, и все бесплатно. И лечат. И все по часам. Три раза в день дают рыбий жир с витаминами. И разные другие блюда. Везла меня от нашего города до станции сама Людмила Константиновна из области. И по железной дороге у меня билет был бесплатный. Мне все везде дают бесплатно. Директор нашего дома, когда узнал, что меня привезла сама Людмила Константиновна, обрадовался и распорядился, чтоб все для меня было. Спим мы не в доме, а на веранде, под крышей без стен — мороз не мороз. Это для здоровья. И все за мной ухаживают...»

Павел кончил писать, и неожиданно ему пришло на ум: а вдруг бабушка испугается, что на веранде он мерзнет, что кашлять начнет? И он хотел было зачеркнуть слова про веранду, но подумал и не зачеркнул: даже интересно, что бабушка из-за него может прослезиться. И, представив себе, как она будет охать и ахать, и сердиться и ругаться, он добавил в письме, что голова у него все еще болит. Ничего, пускай бабушка немножко испугается!

В поисках почтового ящика Павел вышел за деревянную ограду дома отдыха. В мокром песке, среди обнажившихся корней старой сосны, возились ребятишки, о чем-то разговаривали, спорили. Они не сразу заметили Павла, остановившегося над ними, и он услышал, о чем они говорят.

— Как это «охотником»? На охоту ходят, когда уработаются до смерти. На охоту все ходят — и летчики, и моряки, и звездолеты. А кем ты будешь жить?

— Я все равно охотником буду.

— Это не жизнь.

— А я хочу всю жизнь спектакли ставить.

— Ну и ставь!

— А я никуда отсюда не уеду. Я всю жизнь буду отдыхающем.

— Кто тебе столько путевок даст? — неожиданно для ребят спросил Павел.

Мальчики вскинули на него глаза, но не испугались, потому что Павел не показался им настоящим взрослым. Один мальчишка ответил:

— Зачем ему путевки, он — сын здешнего директора.

Тогда Павел сказал уже по-взрослому, строго:

— Простудитесь тут. Идите домой! Зачем корни у сосны подрываете?

— Мы не подрываем! — дерзко ответил сын директора, малец лет пяти-шести в ярком шерстяном костюме-комбинезоне и прорезиненной куртке.

— Как не подрываете?

— Не твои корни!

Чтобы не унизить себя, Павел не стал спрашивать о почтовом ящике, а прошел мимо, словно перешагнул ребятишек. Им еще мечтать да мечтать о путевках в дом отдыха, а он уже отдыхает в нем, как все, и живет на всем готовом.

●

Одно тревожило Павла, что врач, старая женщина, не хотела его лечить, то есть не давала ему никаких лекарств. Не выписывала лекарств, значит, не признавала больным — как же иначе можно понимать ее? Так именно Павел ее и понимал. А если врач не считает его больным, то, спрашивается, зачем же его, молодого парня, сюда послали, за что ему бесплатную путевку дали? Конечно, врач об этом своем мнении либо скажет кому-

нибудь, либо напишет, что еще хуже, и тогда Павлу больше уже не видать никаких путевок.

Такое предположение беспокоило Павла настолько, что он изо дня в день стал навещать врача и убеждать ее, что болен всерьез, а не как-нибудь, и что его надо лечить, несмотря на возраст, и что жалеть для него лекарства сейчас нельзя, иначе потом придется расходовать в несколько раз больше. Это ли не антигосударственная практика? Он так и говорил: «антигосударственная практика».

Как-то Павел узнал стороной про сердечные приступы и какие ощущения при них испытывает больной. В результате у него несколько раз произошли неприятности с сердцем.

Старушка на первых порах выслушивала все его жалобы, но потом стала отделываться от него шуточками, посылала выкупаться в холодной осенней воде, либо поиграть в волейбол, либо поухаживать за девушками — да, да! Посылала ухаживать за девушками. И Павел невзлюбил врача, эту старую несерьезную женщину.

Только ведь другого врача в доме отдыха не было. Были медицинские сестры, но разве без докторских указаний могли они хоть шаг ступить? Да, кажется, и сестры не относились к Павлу Мамыкину всерьез. По крайней мере, ни разу среди ночи, когда его донимала бессонница, сестры не вызывали врача к его постели. И Мамыкин рассердился и пригрозил сообщить о невнимательном к себе отношении директору дома отдыха, а главное — Людмиле Константиновне, в областной Совет профессиональных союзов.

Эта угроза произвела впечатление на дежурную няню, и когда однажды, глубоко за полночь, Павел вдруг забился в нервном припадке, она, всполошенная, бросилась прямо на квартиру к доктору, в дальний флигелек в парке, и забарабанила в дверь, потом в окно, потом опять в дверь, вопя: «Человек умирает!»

Павлу приснился страшный сон с участием всех главных нечистых сил сразу, от страха он дико закричал и проснулся, когда простыня была уже основательно подмочена. Страх сменился стыдом, поэтому Павел продолжал кричать и визжать даже после того, как проснулся, затем упал с кровати и забился в истерике на полу. Повскакавшие спросонок соседи попытались его поднять с полу, но парень стал драться, и они робко

топтались вокруг, не зная, чему верить, чему нет и что они обязаны делать в таких случаях.

Разбуженная воплем няни старушка-врач, не зная, к кому ее зовут среди ночи, кто умирает, разволновалась больше, чем ей было положено, с трудом и кое-как оделась и почти бегом кинулась через весь парк в главный корпус. Поднявшись на второй этаж гораздо быстрее, чем ей самой разрешалось по состоянию здоровья, и увидев на полу ругающегося и хрипящего Мамыкина, она сразу заподозрила симуляцию. Гнев отнял последние силы у ее больного сердца, и срочная помощь потребовалась ей самой.

●

Голова у Павла действительно побаливала, но не так сильно и не так часто, как он любил об этом говорить. Через месяц, вернувшись домой, он сказал о головной боли бабушке и еще о том, что у него время от времени покалывает в боку, и есть кашель, и опять бывает насморк, и бабушка не отпустила его в город на ученье, а принялась лечить по-своему.

В избу затащили деревянный бук — кадку почти в рост человека, в которой можно и пиво варить, и белье бучить, и поставили между печным челом и кухонной заборкой. Павел сам носил с колодца воду, а бабушка кипятила ее в чугунках и в самоваре и сливала в кадку. Кадку она прикрыла половиками и полушубками в несколько слоев.

— В этом чане, Пашута,— говорила она,— я не раз твоего батьку лечила. И дедушку лечила. Приедет, бывало, дед из лесу, из деляны, в страшный мороз або со сплава, ледяной насквозь, что тебе кашель, что хрипота в грудях, и горлом глотать не может, а я его в баню, в вольный дух. Парю день, парю два — у самой сил уж нет, а немочь из него никак не выпарю. Ну тогда сажаю его в чан, на бук, да и кипячу под ним воду, а потом дам выпить стаканчик-другой перегару або водки — все немочи как рукой сымает. Да что немочи — любая лихоманка от такого пользования не устоит. Каюсь, грешная, матерь твою лечила не тем, надо бы и ее на бук посадить сразу, ни одного пупыша на теле не осталось бы. Опоздала я, окаянная! Все пупыши у нее были от простуды, простуду каменьями выпаривать надо — люди

дольше жить будут. Вот сейчас я тебя попользую, ты уж на меня надейся.

В печи, в березовом жару, камни доходили до белого каленья — не один десяток булыжников. Бери их, шипящие, вилами по паре и стряхивай в кипяток на дно кадки, чтобы заклокотало, забурлило, чтобы пар приподнимал над головой болящего половики и овчины.

Бабушка заранее поставила в кадку высокую табуретку и придирчиво осмотрела, высоко ли она стоит над водой,— не дай бог обжечь парня, когда вода закипит.

Павел не раз слыхал, как лечат людей на пару, и относился к бабушкиному колдовству с полным доверием.

— Полезай, Павлуша! — сказала она наконец, заглянув в печь и убедившись, что камни достаточно раскалены.— Раздевайся!

Павел разделся за печкой догола и, стыдливо прикрываясь, пододвинул скамейку к кадке, чтобы забраться в нее.

— Будто газовая камера, бабушка.

— Какая такая?

— Ну, душегубка.

— Ты, соколик, неладно сделал. Подштанники надень на себя и рубаху нижнюю не сымай, брызгать будет. Да ноги под себя на табуретке подожми. И дыши паром, первое дело — дыши паром. Пар, он от всех недугов пользителен.

— Ладно, бабушка!

Когда Павел с головой укрылся в кадке, старуха достала с верхней полки-поднёбицы глиняный горшок с мелко нарезанной вяленой травой вроде крапивы и темно-зелеными шишками хмеля, высыпала содержимое на белую тряпицу, посолила для силы, старательно перемешала, что-то шепча, и, оглянувшись, не следит ли за ней внучек-безбожник, перекрестила и стряхнула все это к нему под ноги в кадку. Затем она выгребла из печи клюкой румяный, в искрах, ставший почти прозрачным камень и, накрепко зажав его угольными щипцами, перенесла и опустила в воду под ноги Павлу.

— Держись, Павлуша! Блаослови, осподи!

Павел испуганно сжался, сдвинулся в сторону. Камень словно бы взорвался под ним, вода раздалась, сердито заклокотала, белый пар повалил клубами. Бабушка наглухо закрыла кадку. Второй камень обдал жаром лицо и босые ноги Павла, ему стало страшно — вдруг каленый орешек упадет на колени или просто коснется

тела. Не успеешь закричать, а бабка замурует тебя — и все. И ничего не будет слышно в этом клокотании — ни стона, ни рева.

Вот опять на мгновение появился просвет над головой, мелькнуло в тумане красное лицо старухи, и новое ядро взорвалось под ним. И снова он один в темноте, в жаре, как в кратере вулкана, как на сковороде у сатаны. А бомбардировка продолжается, а жар увеличивается, дышать все труднее.

— Доведу я каменья,— шепчет бабка,— до белого каленья, чтоб от пара, от жара простуда сбежала, чтоб от белого тела вся хворь отлетела...

Павел почувствовал себя маленьким и беззащитным.

— Баушка!

— Сиди, Пашута, не бойся. Вот я еще!..

— Баушка!

— Сиди, сиди, пущай пар до костей достигнет. Жарко тебе?

— Дых... дышать!

А половики и полушубки над головой опять сомкнулись. И Павел, теряя силы, исходил пóтом не столько от жары, сколько от страха.

— Бабка!

— Сейчас, сейчас, добавлю. Ты о хорошем думай, очищайся!

Павел слышит это, но думать ни о чем не может. В сознании мелькают только обрывки каких-то давних видений — лесные пожары в хвойных зарослях, зайцы и белки, бегущие к реке, красные птицы, косяками мечущиеся в небе, грозовая молния, однажды расколовшая колодезный журавель, изба, загоревшаяся посреди деревни,— в тот летний страшный день пламя смело половину посада и почти все поле спелой сухой ржи, прилегавшее к гумнам со стороны леса.

— Ба-абка!

— Сиди, говорят тебе. О хорошем думай!

Вода клокочет под табуреткой, вот-вот ключи коснутся скрещенных поджатых ног. Вскочить бы, поднять головой крышку, выбить дно и выйти вон! А вдруг качнешься неосторожно и табуретка подвернется, упадет набок. Или приподымешь голову, а бабка в этот миг сунется с камнем, она торопится, и сослепу да впопыхах ткнет тебе огнем прямо в лицо либо уронит красное ядро на плечо, на колени. Уф! «О хорошем думай!» О чем о хорошем? В сосновом бору, в доме отдыха дышалось

легко и свободно. Главное в жизни — дышать. Дохнуть бы! Скоро ли она?

— Скоро ли, бабушка?

— Сейчас подбавлю. Потерпи! Все как рукой сымет.

Павел не потерял сознания, но если бы бабушка не оказалась такой проворной, не вылезть бы ему из кадки, не забраться бы на печь, не укрыться. Нижнее белье, мокрое до нитки, облегло его тело, приклеилось: но будь он сейчас совсем голый, окажись в избе все деревенские девушки, он все равно не испытал бы уже никакого стыда — не до стыда было.

— Блаослови, осподи,— шептала бабушка, укладывая его на печи.— Уйди хворь-хвороба из костей хлебороба, из суставов, из жил, чтобы не ныла утроба, не скудался б до гроба, не хирел, не тужил. Руки, ноги покинь, не держись цепко. Слово мое крепко. Аминь!

Пар валил из кадки сквозь половики, в избе стояла духота, окна запотели, Павлу все еще трудно было дышать. Полегчало, только когда бабка влила ему в рот стакан самогона, крепкого, вонючего, живительного.

Через час-полтора прибежала Нюрка. Лицо ее было бледно, глаза расширены. Откуда она узнала и что́ — никто бы не сказал. Ни бабка Анисья, ни сам Павел никому ни слова не говорили о предстоявшем лечении. А Нюрка что-то узнала. И хоть губы ее дрожали, она постаралась вымолвить первые свои слова от порога как можно спокойнее:

— Здравствуйте! Я просто так. Шла и зашла. Никакого дела нет.

Говорила она это, а глаза ее так и бегали и, казалось, кричали от страха, пока Нюрка не увидела на печи живого Павла.

— Ой, что это у вас? — спросила она, указывая на бук, из которого валил пар.

Все окна были еще в испарине, и на потолке висели светлые капельки воды, словно после большой стирки.

Бабка Анисья вытирала тряпкой пол около печи, где была рассыпана зола и валялись мелкие угольки.

— Да вот Павлушу пользовала,— сказала она.— Лечили его там, на городах, лечили, а толку, гляжу, все мало. Дай, думаю, сама возьмусь, поставлю его на ноги, або всю жизнь будет скудаться здоровьем. Да ты проходи, садись, в ногах правды нет.

Нюрка сглотнула, словно во рту у нее была какая-то горечь, и, не сводя глаз с печки, спросила:

— Ой, что это с ним?

— Да ничего с ним. Садись, говорю, проходи! Я тебе толкую, что лечила, а ты спрашиваешь, что с ним.— Анисья повернулась к Павлу: — Жив ты там, Павлуша?

Павел застонал.

— Ой! — отозвалась на его стон Нюрка Молчунья. Ей, видимо, хотелось спросить о многом и сказать многое, но не решалась — боялась выдать себя, и она спросила только: — А Шуры дома нет?

— Нет Шуры дома,— ответила Анисья.— Нужен он тебе?

— Да нет, так я. Ну, я пойду!

Нюрка убежала. А через несколько минут после нее появился Нюркин дедушка, Михайло Лексеич. В бороде его желтели крошки вощины.

Надо полагать, Молчунья наговорила ему всяких страхов, потому что, едва переступив порог, он начал совестить Анисью:

— Ты что, ополоумела, старая? Что натворила? Погубить, конечно, парня хочешь аль что? Беги к председателю! Посылай за доктором!

Анисья, стоя на табуретке, выгребала угольным совком камни из бука и складывала их в ведро. Она только выше засучила рукава кофты и закричала в ответ так же неприветливо:

— А ты, старый умник, с цепи сорвался або что? Положи крест на лоб — в дом вошел.

— Что с парнем сделала, спрашиваю тебя? — настаивал старик.

— А ты кем ему доводишься? Может, ты ему дед аль тесть потайной? Або ты сам председатель колхоза, что входишь в чужие дома, не перекрестясь, будто в свой дом?

Михайло Лексеич сплюнул на пол и, поднявшись на печной приступок, заглянул в лицо Павлу.

Павел спал и потел. Струйка пота со лба по переносью и мимо носа стекала, как по желобку, в приоткрытый рот.

— Смотри у меня, дурная! — шепотом пригрозил Михайло Лексеич Анисье и, не попрощавшись, пошел из избы. Но в дверях столкнулся с председателем колхоза и вернулся.

— Что тут у вас, кто кого уморить хочет? Я ничего понять не мог! — во всю силу голоса закричал Прокофий Кузьмич, словно пришел не в избу, а на гумно.

Михайло Лексеич опять сплюнул и погрозился, на этот раз уже не в сторону Анисьи, а в адрес своей внучки.

— Вот полоумная, успела, конечно, взбулгачить всю деревню! Сейчас и доктора на себе, конечно, привезет, лошадь запрягать не надо.

Председатель колхоза разбудил Павла, чтобы спросить, как он себя чувствует. Павлуша поднял голову, лицо у него было жалкое, красное и все в поту. Казалось, он плачет.

— Мне хуже! — сказал он.

Тогда председатель набросился на Анисью:

— Ты, пережиток капитализма, что делаешь? Варварство в колхозе разводишь? Невежество? Государство не жалеет средств, учит людей, а ты подрываешь? Смену мою загубить хочешь? Шурку своего лечи...

Перепуганная Анисья перестала возражать, отмалчивалась, и только.

●

После этого Павел еще не раз получал курортные путевки. Бесплатное направление на курорт, как многие другие блага, получают далеко не все. Не все умеют писать заявления. Трудно бывает получить первую путевку, трудно распознать, как это делается,— научиться просить, войти в нужный список, в доверие. Павел прошел эту школу с успехом.

Женщина-врач, молодая, добрая, следившая за состоянием здоровья учеников ремесленного училища, однажды по-матерински посоветовала ему:

— Пожил бы ты подольше у своих родных в деревне. Походил бы там по лесам, полям, подышал бы родным воздухом, попил бы молока да поел бы не в столовой, а своей деревенской здоровой пищи — и перестал бы болеть.

Павел ответил ей с полным доверием:

— Сирота я круглый, Вера Дмитриевна, куда я поеду, кому я нужен? Дома только бабушка да брательник, совсем еще мальчишка. И одни-то они едва концы с концами сводят на своем участке. Что я свалюсь им на

голову, больной, им и без меня тошно. Плохо у них. А меня воспитала Советская власть. Я же не дома травму получил, не в колхозе. Бабушка меня лечила на буку паром, чуть до смерти не залечила. Варварство у нас там, невежество. Больные зубы лошадиным пометом лечат — кладут на зуб вместо лекарства. А кто с пупа сорвет — горшок на пуп ставят вместо банок, весь живот в горшок втягивается. Да разве бы я болел, если бы не сиротская жизнь!..

Всякие сомнения у Веры Дмитриевны исчезли, и она заполнила очередную курортную карту на имя Павла Мамыкина.

По этой причине он редко стал бывать дома, даже каникулы у него были заняты. Бабушка и Шурка недоумевали и обижались на него.

Чем дороже обходился Павел Мамыкин государству, тем значительнее казался он самому себе. Он становился своего рода «номенклатурным больным».

Заявления приходилось писать все чаще, и не только о выдаче бесплатных путевок. Однажды Шурка сообщил Павлу, что в колхозе не смогли достать нескольких мелких деталей для конного привода к молотилке. Павел поговорил с ребятами, с преподавателем слесарного дела, побывал вместе с ними в РТС, и было решено изготовить эти детали собственными силами и отправить в колхоз в качестве шефского подарка. Для оформления операции потребовалось заявление. Павел написал его по всем правилам от имени правления колхоза. Училище гордилось проделанной работой, и Павла очень хвалили за инициативу. Правда, когда подарок был отправлен, Павел написал своей бабушке, чтобы она знала, что это он, а не кто иной, удружил своему колхозу, и бабушка извлекла из его сообщения немалую пользу: в пору самой тяжелой бескормицы ей было отпущено для коровы несколько вязанок колхозного сена.

Павел продолжал писать заявления и по окончании учебы: о трудоустройстве — не по разнарядке, а где самому хотелось; о подыскании комнаты — не всю же сознательную молодую жизнь скитаться ему по общежитиям! — и, наконец, опять о курортном лечении.

Форма заявлений постепенно сложилась и отработалась — устойчивая, постоянная: вначале он рассказывал о своей тяжелой личной судьбе — отец погиб на войне, мать — на колхозном фронте, двое маленьких детей остались круглыми сиротами; затем — что если бы не Совет-

ская власть да не колхоз, погибли бы они голодной смертью. Но Советская власть не бросила сирот, не позволила им пойти по миру. И вот они, два брата, теперь работают: один — в сельском хозяйстве, другой — на производстве. Далее он излагал, в чем нуждается и почему не может сейчас обойтись без поддержки, без помощи. При этом обещал, что придет время и он за все отплатит своему щедрому отечеству. Наконец: «Прошу не отказать мне в моей просьбе».

Редко, очень редко подобные заявления не действовали на сердобольных начальников: любой из них когда-нибудь сам побывал в беде, и государство у нас богатое...

●

Шурка так уставал на колхозной работе, что с вечера забирался на сеновал спать, когда его сверстники, умывшись и поужинав, шли на угор, в темноту, к девчатам, к песням. Деревня затихала не сразу: возвращались люди с сенокоса, возвращались коровы с выгона, лаяли собаки, гоняясь за скотом, скрипели колодезные журавли, молоковоз кричал на всю улицу, таская тяжелые бидоны в телегу и торопя оформление очередной накладной. Ветер замирал, и хвойные и травяные запахи, залетавшие в деревню из окрестных лесов и лугов, сменялись теплыми застойными запахами дворов и поветей. В небе проступали звезды, извечные, как слова любви, как звуки гармошки — простые и волнующие.

Молодежь зимой собиралась на беседки, а летом — па угор, обычно около пожарного сарая, где хорошая площадка для возни и для плясок.

С повети Шурке хорошо слышны и сонное бормотание кур на насестах, и всполошенные петушиные крики, и хлюпающая, влажная топотня дождя на драночной крыше, и грустные коровьи вздохи во дворе у пустых яслей, и, конечно, каждый живой звук на сельских улицах.

— Марья Митрошина, опять твоей пегой сатаны с рогами нет, весь день ходила вместе со стадом, как вечер — она в лес. Гляди, медведь задерет, не ровен час.

— Вот окаянная, не любит домой ходить.

— Невзлюбишь, коли в стойле жижи по брюхо. В лесу грязи меньше.

— А может, она с колхозными на мэтэфэ ушла? Спроси доярок!

— Нет на мэтэфэ. Ищи на Мокрушах!

— Куда я в лес пойду на ночь глядя. Все равно молока со стакан дает.

Медные колокольцы гремят все реже и реже — коровы расходятся по дворам. Шурка не может заснуть, ожесточенно ворочается на сене, словно набилось оно под рубашку, и колет, и царапает, и щекочет его. А спать хочется. Если не заснуть сейчас, то завтра опять придется клевать весь день, того и гляди, под колеса попадешь, а то и под лемеха.

— Груня, пошли полуношничать! — слышит он знакомый зов девушки-соседки.

— Спать охота!

— Плюнь, на том свете выспишься.

«Оно, пожалуй, и верно,— думает Шурка.— Все равно не заснуть».

— Эй, карапуз, позови батьку к окошку! — раздается другой голос где-то поблизости.

— Я здесь, кто это? — отзывается глухой бас.

— Пойдем хватим с устатку. Гарман в район ездил.

«Где-то сейчас Пашка? — начинает думать Шурка о старшем брате, и накопившиеся за эти годы боль и обида на Павла опять поднимаются в его душе.— В районе он или где? Неужто дальше куда уехал! Ученье, должно, уже закончил, а домой даже не заглянул. Бабушка слаба стала, спит мало, все переживает. А Пашка и на письмо не ответил. И летом дома не стал жить, все устраивает свои дела где-то. Все они такие, ученые, только выйдут в люди, хлебнут городской жизни — и ищи-свищи, назад в деревню калачом не заманишь, батогом не загонишь...»

А как жил сам Шурка все это время, чем он занимался? А тем и занимался, что колхозу требовалось. Увлекся льном, потому что от льна колхозу шла самая большая прибыль. В льноводческом звене вся инициатива постепенно перешла к нему, и Клавдия стала упрашивать его взять звено в свои руки. Женщины ее поддержали, и Шурка согласился. Со всеми наравне он возил навоз на участок, и теребил лен, и расстилал, и собирал, сам следил за его сортировкой. А когда выяснилось, что приемщики на льнозаводе занижают сортность тресты в своих интересах и спорить с ними невозможно — они специалисты, Шурка поехал в район к агроному, набрал книжек, чтобы досконально изучить, по каким признакам

определяются номера тресты, и сам стал ездить сдавать лен заводу. Колхоз выиграл на этом несколько десятков тысяч рублей.

Но, взявшись за книжки, Шурка почувствовал, как много он потерял в жизни, как трудно ему будет без ученья. И об этом думал он сейчас:

«Уцепился за бабушкин подол, брату помогал, смотрел в его раскрытый рот, а о себе забыл! Теперь и брат забыл обо мне. А может, еще не забыл? Вот приедет начальник начальником и скажет: «Ну, родные мои, всё, собирайтесь, всех с собой беру!» Куда беру?..»

— Какое вам кино в горячую пору? — вдруг закричал на улице бригадир — Шурка узнал его по голосу.— Планы сорвать охота?

— План, план... А люди для тебя что?

«Кино тоже по плану можно бы показывать,— думает Шурка.— А то кампания за кампанией по плану, всякие заготовки и сдачи по плану, а все, что для души,— от случая к случаю. Почему это?»

На повети такая темнота и так душно, что Шурке иногда кажется, будто он закрыт наглухо тяжелым покрывалом. А стоит курице или петуху переступить на насесте да квокнуть чуть слышно — и сразу становятся словно бы видимыми и крыша над ним, и стропила, а над крышей ночное небо и звезды.

«Все-таки не зря сказал тогда директор школы,— вспоминает Шурка,— я бы тоже учиться мог. Эх, мне бы поучиться! У меня и здоровья хватило бы. Для ученья хорошее здоровье нужно. Родись в деревне, закались на свежем воздухе, на колхозном хлебе — и тогда уж никакая наука не будет страшна...»

Шурка не верил, что в городах не хватает умных людей, таких, скажем, как Павел. В деревнях — да, не хватает! Значит, учиться надо не для города, а для своей же деревни, для своей земли. Людей кормить надо, а если земля совсем осиротеет, тогда что будем делать, куда покатимся?

«Где же все-таки Пашка, сукин сын? Хоть бы на время вернулся, пожил бы хоть один год с бабушкой, а я бы той порой... Эх, уж и впрягся бы я, сразу бы трехлемешным, четырехлемешным поднимать целину начал! За год — семилетку, за два года еще чего-нибудь кончил бы. Всех бы нагнал. Да разве опоздал я? Опоздаешь, если бабушка только и дело что о женитьбе сказки рассказывает. Ей помощницу нужно. А бригадиром

хотели избрать,- так председатель сказал, что еще молод, рано и доверия, говорит, не заслуживает, шумит много. Шумит — это значит критикует...»

Все дневные голоса и звуки на улице наконец смолкли. Тогда на угоре заиграла гармонка-хромка. Ее щемящие душу переборы возникли где-то далеко-далеко, наверно, еще в поле, и оттуда, из-за перелесков и пустошей, усиливаясь и раздаваясь вширь, неотвратимо надвигались на Шуркино неокрепшее сердце, как наводнение, как бедствие, и — какой уж тут сон! — Шурка не выдержал, встал, на ощупь оделся и почти бегом бросился с повети на призывный зов гармони и девичьих прибауток.

Бабка услышала, что внучек ушел на угор, и тайно порадовалась этому: «Растет, растет парень, еще немного — и невестку приведет в дом. Дай-то бог!» И лишь после его ухода она заснула спокойным, надежным сном.

А не спалось ей все потому же, что и Шурке: она много думала о своем старшем внуке, о Павле. Что-то не совсем понятное, не осознанное еще происходило в ее душе. Где же все-таки Пашута, чем он живет, почему не подает голоса и как ей ко всему этому относиться?

Бесконечно много надежд, больших и маленьких, связывала она с Павлом. «Вот вырастет, вот выучится, вот выйдет в люди!» — постоянно повторяла она и про себя и вслух, и это звучало как извечная старушечья молитва: «Помоги, господи! Спаси, Христос! На тебя вся надежда!»

Крыша над избой давно прохудилась, течет и весной и осенью, кое-где дранка совсем сгнила, сколько уж лет не смолили ее — какая ныне смола! Ладно, теперь недолго осталось ждать: Павлик вернется, либо сам перекроет, либо денег привезет, а на деньги и дранку и смолу достать можно.

С коровой тоже надо было что-то порешить — стара шибко, брюхо большое, а вымя как мочалка выжатая. Сдать бы Пеструху на мясо, хватит, послужила, а взять другую, первотелочку, либо своего телка выкормить. Да ведь без мужика нелегко решиться на это, на одну животину сена не наскребешь, а тут двух надо кормить. И опять: вот ужо Пашута возьмется за все сам, парень он прилежный, не глупый, не шалопай какой-нибудь.

И с коровником тоже — ломать, перестраивать надо. Ставился двор не на одну скотину, а на целое стадо. И стояло в нем раньше, худо-бедно, четыре, пять коров,

да бык, да телята, какой ни мороз — тепла хватало. А ныне в этом же дворе стоит-дрожит одна Пеструха, пережевывает свои коровьи думы, вздыхает, зимой вся закуржавеет, и на морде иней и в пахах, даже вымя в инее. А корму маловато — какое уж тут молоко! Развалить надо этот двор, отобрать бревна, которые поцелее, укоротить их, добавить свеженьких и собрать новый коровничек, чтобы в нем уместить всю свою живность — корову, пару овец, поросенка. А куры по-прежнему на повети... Эх, силы нужны, деньги нужны, хозяин нужен! Обсудить надо поначалу все как следует. С Шуриком не обсудишь — молод еще, не все понимает, старается не для дома, встает рано, приходит поздно, все на колхозной работе, все там, трудодни зарабатывает, ему не до своего хозяйства. А трудодни тебе двор не перестроят, крышу не закроют. Опять же своими руками надо делать. Вот выучится старшо́й: и глаз хозяйский, и деньги — все будет сразу.

Да мало ли всяких забот у бабки, мало ли о чем думает старуха, когда ей не спится. И все ее добрые помыслы, все заботы ее сходятся в одной точке: Пашута! Вот кто избавит ее от горьких дум, от мирских обид и несправедливостей, вот кто успокоит ее старость!

На чем держится любовь бабушки к своим внукам, в чем она и какова мера этой любви,— кто знает? Родительская любовь понятна. Детеныша своего защищают и звери и птицы. Чем неудачливее отпрыск, тем больше отдает ему мать сил и чувства, жалость к уродцу умножает ее самоотверженность. А почему бабушка с дедушкой любят своих внуков и внучек порой не меньше, чем матери своих детей? Что известно об этом, кроме того, что бабушка рассказывает сказки, а дедушка обещает: «Будет вам и белка, будет и свисток»?

У бабушки Анисьи никого в жизни не осталось, кроме Павлика и Александра. Они внуки ее, они и сыновья. Они наследники ее жизни, будущие хозяева, большаки. Если бы их не было, трудная ее судьба стала бы казаться совсем невыносимой, а испытания, выпавшие на ее долю, бессмысленными. Как можно допустить, будто не окупится все то, что она вложила в своих внуков, особенно в старшего! Об этом даже подумать страшно. Отдача будет, обязательно отдача будет! Вот только приедет Пашута...

И Павел приехал.

•

Но сначала от него пришло письмо.

Странное это было письмо. Шурка, устроившись на табуретке, читал его вслух, как обычно, но на этот раз часто останавливался, словно обдумывал прочитанное, а бабушка и ахала, и охала, и все торопила:

— Да читай же, читай скорей, только не прибавляй от себя ничего, выдумщик ты!

Она то садилась рядом с Шуркой и с недоверием поглядывала на листок бумаги, то поднималась и шла на кухню либо к порогу и обратно, а руки ее хватались за фартук; казалось, старушка вот-вот расплачется, и фартук был наготове, чтобы слезы вытереть и высморкаться.

Павел писал, что хотя здоровье его не поправляется, но на работу он устроился выгодную и сейчас хочет начинать жить как следует. Только на первых порах надо, чтобы ему помогли, потому что положение его трудное: он женился!

Дочитав до этого места, Шурка вдруг недобро расхохотался, а бабушка дотянула-таки фартук до лица, и ситчик быстро потемнел от мокрых пятен, будто на нем рядом с серенькими полинявшими цветочками появились какие-то новые причудливые узоры.

— Спаси Христос! — говорила она.— Ни о чем не спросил, не показал девку, какая такая, не пособирался, путного слова не молвил и... женился. Обманул ведь, а? Да как же это он?

«Дорогая бабушка, родимый мой братик Александр,— отхохотав, продолжал читать Шурка,— жена у меня городская, Валерия — ничего, хорошая. Кроме нее, у отца с матерью никого нет, и все хозяйство остается после их смерти за нею; значит, все будет наше. Есть корова, поросенок, огород, две яблони и все такое. И вот мы решили с тестем, с Петром Фомичом, сразу же, не оттягивая дела, перестроить дом, перебрать все стены и покрыть крышу, мало ли что может случиться. Здоровье у него неважнецкое, и всяких врагов много. На него опять насчитали по ларьку не одну тысячу, и надо все выплатить, а то уволят, и, говорит, денег теперь у него своих нет. А сами знаете, чтоб дом перестроить — лес нужен, и гвозди, и рабочая сила. Вы уж пожалейте меня («Слыхала?» — резко крикнул Шурка, оторвавшись от письма и взглянув на бабушку), помогите мне подняться

на ноги, соберите, сколько сможете, и напишите, я живо приеду в деревню сам. По трудодням, наверно, как и прежде, одни разговоры, но, может, у вас боров хороший, можно заколоть да на базар увезти: Петр Фомич говорит, что он тоже мог бы способствовать пропустить мясо через ларек, только я думаю, что на базар лучше. Встану на свои ноги и больше никогда ничего не потребую, помогите лишь, не откажите в моей просьбе, никого у меня, кроме вас, нет.

К сему *Павел Мамыкин*».

— Слыхала?! — сказал опять Шурка, бросая письмо на стол и с укоризной обращаясь к бабушке, словно она в чем-то была виновата, при этом самое неподдельное удивление и недоумение звучали в его голосе.— Слыхала сироту? — Казалось, он мог ожидать от Павла чего угодно, только не сообщения о женитьбе.

Бабушка с еще большим усердием начала сморкаться и протирать глаза свои ситцевым, уже наполовину мокрым фартуком.

— Слыхала, как не слыхать! Женился-таки... О господи! И не отписал ничего, не посоветовался, будто ему советы мои больше и не нужны.— Бабушку, видно, больше всего обидело, что Павел не сообщил ей заранее о своей женитьбе.— Как же мы теперь с тобой будем, Шурик? Как же он-то без нас будет жить? Не рано ли женился-то? Парнишка ведь еще, есть ли у него самостоятельность-то, есть ли опытность-то? Как бы чужие люди над ним верх не взяли, как бы молодая жена каблуком на горло не наступила. А молодая ли жена-то? Может, вдова какая, раз хозяйство свое имеет? Отпиши-ка ты ему, Шурик, сейчас же и спроси: мол, была ли свадьба-то; может, бабушку-то на свадьбу позвать бы надо, коли еще не повенчанные?

С удивлением и недоумением смотрел теперь Шурка и на бабушку свою. Он словно впервые увидел ее такой, какова она есть, и растерялся.

— Он же не об этом пишет, бабушка, он помочь просит, ему дом перестроить надо, им с тестем деньги нужны! — закричал он ей в самые уши, будто глухой.

Растерялась и бабушка. Но представление о Павле как о маленьком мальчишке, все еще нуждающемся в ее опеке, и жалость к нему постепенно брали верх над всеми прочими ее чувствами.

— А что же делать-то, Шурик? Брат ведь он родной тебе! Только как мы ему поможем, чем? Может, в правление сходить надо, посоветоваться або что, там тебя нынче уважать стали, никто о тебе худого слова не скажет. Так и так, мол, старший брат женился, подмогнуть бы ему на ноги встать, а уж он добра не забудет, не такой он человек.

Шурка рассердился.

— Никуда я не пойду и никого просить не буду. Не мое это дело. Я не нищий и не маленький, чтобы просить. Так я и буду на него всю жизнь работать? — Шурка впервые говорил о своем брате со злобой.— Не буду я на него работать! Женился, папочкой, наверно, уже зовут, а все в сиротах ходит да на подмогу надеется. Батраки ему нужны!

Бабушку испугали эти необычные слова его: какие батраки? Кому нужны? На кого он не будет работать?

— Ты это про кого? — тихо спросила она.

— Про него, про сиротинушку твоего, про Пашутеньку! — кричал Шурка.— Он всех обманул! Он и председателя колхоза обманул: тот на него надеялся — вот вырастет, вот выучится, руки ему развяжет, на пенсию отпустит. Он и нас с тобой обманул.

— Обманул, внученька, это уж верно, что обманул. А может, еще и не обманул?

Бабушка опустила фартук, разгладила его на коленях, и руки ее повисли, словно и они, и сама она не знали, что делать дальше.

— Ты от своего брата отказываешься? От родного брата отказываешься, Шура? — спросила она тихо.— Кто у нас еще есть, кроме него? А у него кто есть, кроме тебя? Никого нет. Всю свою молодость провел он на чужих людях, учился, а ты от него отказываешься?

Бабушка говорила тихо, она не ругалась, не корила внука, а все будто спрашивала, будто хотела уяснить, что же все-таки происходит на ее глазах.

— Ведь он сколько лет учился, ведь он уже выучился, как же ты от него отказываешься?

— И я бы учиться мог! — вставил Шурка, но уже без крика.— Мне директор говорил, что у Павла не получается, а у меня бы получилось. Директор сам говорил.

— Директор говорил, а вот Павлик-то выучился, в люди вышел, на городское жительство осел, а ты дома был, дома и остался. Как же ты без него, без брата, проживешь, коли от него отказываешься? Деревня — она

деревня и есть, а Пашута в городе будет жить, он неделю поработает — и деньги получай на руки, чистенькие. А мы от кого помощи ждать будем, кто тебя выручит, когда хлеба купить будет не на что? Або не так?

— Бабушка, ты, видно, ничего не поняла. Пашка у нас денег просит.

— А ты не суди старшего,— успокаивала она его.— Чуть что — он тебе и заступа, и ходатай в районе.

— Никаких мне ходатаев не нужно. Руки свои да горб — вот наши ходатаи. Да и он, Пашка, со своими поросятами далеко не уйдет.

— Ученый, Шура, завсегда далеко пойдет. А Пашута теперь ученый.

— Никуда он не пойдет. А пойдет — так споткнется!

Перед самым закатом солнце заглянуло в избу. Днем оно было за облаками, а вечером, когда небо очистилось, его заслоняли крыши соседних домов. Но теперь солнце оказалось на противоположной улице в просвете между двух домов, прямо перед окнами и совсем рядом. В избу оно глянуло не сверху, а снизу. Засияли потолок, полати, печная лежанка, верхние края цветастых занавесок на кухне, горшки и подойник на полице и даже старинный медный с рожком висячий умывальник на стене около входной двери, а пол и вся часть избы ниже подоконников остались неосвещенными и, казалось, посерели еще больше. Так всегда: нет больше света — и серенькое кажется ярким, а при большом свете все черное чернеет еще сильнее, тени углубляются, краски свежеют, и оживают, и оживляют все вокруг.

Солнце озарило избу так неожиданно, что и бабушка и внук перестали разговаривать. Закатный огонь заиграл на стеклах окон, на стекле висевшей над столом лампы — похоже было, где-то затопилась большая печь и свет из ее чела проник в избу. Бабушка подошла к умывальнику сполоснуть руки и заслонила его спиной: умывальник потух, а когда повернулась боком, чтобы вытереть руки, медный раскачивающийся ковшик снова засиял, и медный зайчик забегал по стене и по полу. На освещенной стене зайчик казался бледным, робким, а на темном полу ярким, озорным.

Вытерев руки, бабушка прошла на кухню, села против печного чела и опять подняла фартук к глазам. Шурка услышал, как она вздохнула, всхлипнула и сквозь слезы начала жаловаться своей богородице:

— На свадьбу не позвал. Ведь не позвал! А уж я ли его не честила, я ли его не обхаживала. Конечно, куда мне, старой ведьме, все равно не поехала бы. Да и ехать-то не на чем. А все-таки пригласить должо́н был...

Перебежка зайчиков по избе оборвалась, солнце ушло из окон, и бабушка Анисья опустила голову еще ниже. Ни о чем ином она не могла сейчас думать, как только о Павле. А *что* можно было думать о нем, и *как* о нем думать — хорошее или плохое? Все-таки Шурка не зря обиделся на письмо брата, почуял он что-то неладное в нем. А что неладное? От веку так велось: женится один из братьев, и начинаются всякие ссоры да раздоры. Вот и женился Пашута, и стал он больше думать о себе. Ему же надо свой дом собирать. Что же в том неладного? Конечно, он сейчас только о себе думает...

Разные чувства боролись в душе старой Анисьи, когда она думала о неожиданной женитьбе своего старшего внука. Горечь и гордость, обида и радость. Ведь женился-таки! И свах никаких не понадобилось, все сам сделал — значит, самостоятельный человек! Поглядеть бы, какова его Валерия? Городская, видно, коли Валерия. Городская, а пошла ведь за нашего Пашуту. Значит, верно, что выучился он. За ученого, конечно, любая девка пойдет, верное это дело ныне.

— Что написать ему, бабушка? — спросил Шурка.

— Ой, Шура, и не спрашивай, сама ничего не понимаю. Не знаю, что и написать ему, прости меня господи. Ничего не пиши!

●

В сумерках в избу вошла Нюрка Молчунья. Она открыла дверь не постучавшись, ступила за порог неслышно, не здороваясь остановилась у печурки, постояла немного и прошла вперед, села. Платье на ней новое, бесшумное, как она сама, но, должно быть, дорогое, платок расшит своими руками — это было видно сразу.

— Чего тебе? — неприветливо спросила бабка.

— Я так. Дай, думаю, загляну,— смущенно ответила Нюрка.

— Ну, сиди! — разрешила бабка.

Шурка, согнувшись у края стола на лавке, мял в руках газету и отрывал от нее лоскутки, будто для цигарок. Но он не курил.

Молчунье на этот раз было тяжело молчать, и она, поерзав на месте, спросила:

— Может, вам что надо? Я бы сделала.

На молочнотоварной ферме Нюрка считалась теперь одной из лучших работниц. Ее выдвигали, ее ставили в пример другим чуть ли не на каждом собрании, по крайней мере, во всех отчетных докладах она упоминалась обязательно, и уже по имени, по отчеству. Кличка Молчунья постепенно забывалась. До наград дело еще не дошло, но славу создавали девушке быстро и организованно. Нюрка нравилась и председателю колхоза, и бригадирам, и всем прочим колхозным начальникам: безотказная, нестроптивая, нетребовательная, куда ни пошлешь — пойдет, что ни поручишь — сделает, нагрубишь ей — слова в ответ не скажет, роптать не станет.

С тех пор как Павел уехал учиться в город, она не переставала навещать бабушку и Шурку. То прибежит воды с колодца наносит полную кадушку, то под вечер избу вымоет, то баньку под праздник истопит. А для Шурки она уже не одну рубашку сшила, не один платок носовой вышила разноцветным крестом, а сколько носков заштопала — и сосчитать нельзя. Шурка принимал все без смущения: он знал, что делается это не для него. Понимала все и бабушка и часто называла Нюрку доченькой, привечала ее, как могла, заласкивала. Не очень-то она верила, что Нюрка, деревенская простая девушка, может стать подходящей парой для ее любимого Пашуты, но ведь девушка-то хорошая, работящая, как ее обидишь!

А теперь и бабушке было не до ласковых слов, письмо от Павла надолго расстроило ее и заставило думать, а думать бабушка не привыкла, она больше сердцем чувствовала, что хорошо, что плохо, что справедливо на земле, что нет.

— Что нам делать? Ничего нам не надо делать,— ответила она Молчунье.

Девушка быстро взглянула на Шурку, словно от него надеялась узнать, что случилось, почему бабушка не такая, как всегда.

Шурка не взглянул на нее.

— Может, тебе самой что надо? — спросила бабушка.— Не зря ведь пришла.

— Нет, я так.

— Узнать, поди, чего хочешь?

— Нет. Просто, дай, думаю, зайду.

— Письмо от него пришло,— жестко сказала вдруг бабушка.

— Ой! — вскрикнула девушка.

— Вот тебе и ой!

Нюрка вскочила с лавки и выбежала на улицу. И даже дверью на этот раз хлопнула.

— Видишь, до чего дошла девка. А у него — Ва-ле-ри-я!

В избе стало совсем темно, темней, чем было за окнами, на улице. Бабка сняла висячую лампу вместе с кругом, покачала ее, придерживая стекло, и, убедившись, что керосину мало, поставила на стол, сняла стекло, достала из-под лавки на кухне черную литровку и добавила из нее керосину в лампу. Резкий запах керосина разнесся по всей избе. Бабка убрала бутылку под лавку, зажгла лампу и опять повесила ее над столом. Теперь пахнуло жженой спичкой. Лампа разгоралась медленно: сначала обозначился светлый круг на потолке и темный на столе прямо под лампой, затем свет усилился и озарил весь стол, и лавки вокруг него, и табуретку, и две иконки в сутном углу, потом прояснилось и в остальных углах, опять стали видны кринки, горшки, подойница, и медный умывальник с рожком около входа, и березовая метла у порога.

В конце деревни сначала негромко, как бы прощупывая настроение молодых парней, подала голосок извечная гармошка, и Шурка встал и надел на голову кепку.

— Я пойду! — сказал он.

— Иди с богом,— согласилась бабушка,— иди погуляй. Когда придешь, в печке молоко не забудь. Лампу я потушу.— И она стала готовиться ко сну.

●

Нюрка вынырнула из темноты бесшумно и неожиданно, как лучик света. Шурка даже вздрогнул.

— Ой! — вскрикнула Нюрка только для того, чтобы что-нибудь сказать.

— Ты что? — спросил Шурка.

— Я ничего, так.

— На угор пойдешь?

— Не пойду. Я тебя ждала.

— Вот я. Пойдем.

— Не пойду.

— А чего тебе?

Девушка немного помедлила и вдруг тяжело повисла у него на руке, совершенно измученная, усталая, и зашептала торопливо, отрешенно, словно в воду кидаясь:

— Ой, Шура, Шурочка, скажи что-нибудь. Хоть что-нибудь!..

— Что я тебе скажу?

— Хоть что-нибудь. Что за письмо от Паши?

— А хочешь, я тебе все скажу?

— Все скажи, Шурочка, родненький мой!

— Тебя как зовут в деревне — Нюрка, Анютка, Анюха? Да еще Молчунья. А тут Ва-ле-рия, понимаешь?

— Какая Валерия?

— А вот такая! Ты одна дочь у своих родителей? Не одна. А тут одна. А приданое у тебя есть? Корова, поросенок, дом свой есть? Нет ничего, все — на всех. А тут одна дочь, и корова, и поросенок, и дом, и родители скоро помрут — все ей достанется одной. И — Ва-ле-ри-я! Понимаешь? Ва-ле-ри-я! Я тебе все скажу: женился Пашка. И денег на обзаведение просит. Пожалейте, говорит, сироту. Все я тебе сказал?

Нюрка передохнула.

— Все, Шура! А как я-то теперь? Как? Куда я теперь, Шура? — И она еще тяжелее повисла на его руке, припала к нему, как маленькая девочка.

— Э, что он понимает! — зло сказал Шурка и по-взрослому стал гладить Нюркины волосы, мокрые щеки, вздрагивающие плечи.— И за что ты его, девонька, полюбила, такого?! Ладно, не раскисай!

На угор они не пошли. Горе было обоюдным, и его не хотелось нести на люди.

●

Бабушка в душе почему-то все еще не верила, что Пашута ее взаправду женился, и когда он вошел в избу, она первым делом спросила:

— Один?

— Один. С кем еще?

— А о какой жене писал? Жены нет?

— Жена есть.

— Так хоть привез бы, показал, какую облюбовал да выбрал.

— Еще приедет. Недосуг было. Мы к тебе в гости все приедем.

— Вот-вот, всех и надо.

— Здравствуй, бабушка! Здравствуй, Шурка! — И Павел поздоровался за руку и с бабушкой и с братом.

Стояла осень, дороги всюду были непролазные, даже в самой деревне от дома к дому перебирались не по земле, а по изгородям, по жердочкам либо прыгали вдоль заборов да палисадников с камушка на камушек, с бугорка на бугорок.

На Павле топорщился дорожный брезентовый макинтош, в каких осенью разъезжают по колхозам районные уполномоченные; кожаные, с высокими голенищами сапоги казались тоже брезентовыми — таким плотным слоем покрыла их подсохшая грязь. Кепка на Павле была кожаная, в деревнях такие кепки даже шоферы раздобыть не могут. Портфеля у него не было, но все равно и без портфеля Павел так походил на районного ответственного товарища, что бабушка умилилась и сразу забыла обо всех своих обидах и горестях. Нет, что там ни говори, а не зря, видно, Пашута учился! Вот уже и рот больше не открывает, отучили, должно, возмужал парень. Рабочий он або кто другой, столяр, або слесарь, або еще кто, все равно городской житель. Даже если он простой кузнец покамест, так ведь и кузнец не деревенский, не у горна, не с кувалдой какой-нибудь стоит. Начать — главное дело, а там пойдет. Только бы на виду быть. А он, должно, теперь на виду. Вишь, какой стал сам по себе заметный да самостоятельный. Шурка что? Шурке, знамо дело, неловко, что не поучился, обижается на всех, злобится. А Пашута — вот он весь тут.

— На подводе, поди-ка, приехал али на машине, або как? — захлопотала бабушка вокруг Павла.

— На подводе,— ответил Павел.

— На казенной али на какой?

— На попутной.

— Не озяб ли, Пашута, не продрог ли? Плащ-то сюда давай, я его вычищу да высушу. Ноги-то не мокрые ли? Сапожки снимай сразу, я их помою да на печке подсушу.

— На печку сапоги нельзя, кожа портится. А вымыть можно,— сказал Павел, снимая с себя все и отряхиваясь и одергивая пиджак и рубашку. Сапоги он поставил к умывальнику, а на ноги надел старые бабушкины валенки.

— Чайку, наверно, тебе Пашута,— егозилась бабушка,— с дороги-то погреешься. Ох и осень нынче, ох и погода! Никогда раньше такого климату не было, все пошло наперекос. Так поставить самоварчик-то?

— Озяб я, бабушка, водочки бы стаканчик! — вдруг сказал Павел, сказал и не засмеялся.

— О господи! — опешила бабушка.— Да шутишь ты, что ли?

— Озяб я, не заболеть бы.

Бабушка посмотрела на серьезное Пашутино лицо, подумала и согласилась:

— Водочка, она, верно, помогает, ничего не скажешь. Раньше я тоже, бывало, как закашляю, так выпью лафитничек да протру поясницу — и ничего, вся хвороба перегорит. Водочка — это верно! Только вот при Шуре как-то опасаться стала. Паренек-то еще не вызрел: думаю, не дай господи, если начнет раньше времени потреблять, а я виновата буду. Нет у меня водочки, Пашута.

— Ну нет так нет. Тогда чаю!

Шурка встал и вышел из избы, в сенях он загремел ведрами— отправился на колодец за водой для самовара.

Павел вынес из-под полатей свой чемоданчик, положил на лавку поближе к столу и открыл.

— Моя Валерия вам подарки послала, бабушка,— и тебе и Шурке. Кланяться велела! — говорил он, выкладывая на стол несколько белых хлебцев домашнего печения, кулек с фруктовыми подушечками, слипшимися в сплошной комок, с проступившей кое-где патокой, кулек мятных пряников, пачку чаю в двадцать пять граммов, стопку ученических тетрадок — видимо, из тех, что сам не успел исписать,— да два школьных карандаша. А напоследок достал снизу, из-под газетной прокладки, кремовый полушерстяной платок с ярким, вышитым гладью крупным цветком во весь уголок — для бабушки да штапельный белый шарфик — для брата.— Вот! — сказал он, сам любуясь привезенными подарками.— Как в магазине.

Бабушка особенно обрадовалась сластям и чаю.

— Спасибо, вот уж спасибо! — то и дело повторяла она.— Вот уж знала, что послать. Ты думаешь, у нас чай? Разве по таким дорогам чай возят? Мы малиновый да клубничный пьем, в плитках.

За полушалок тоже поблагодарила, только примерять не стала, постеснялась.

— Куда мне, старухе, такой яркий? Не по роже кожа. Его бы Нюрке Молчунье подарил, девка то и дело о тебе спрашивала, полагалась на тебя. А нам сколько добра сделала — и не сказать!

Павел на это ничего не ответил. А когда вошел с ведром воды Шурка, он взял белый мягкий шарфик, встряхнул его, как заячью шкурку, и накинул на шею брата.

— Вот это тебе. От Валерии от моей.

— Спасибо! — поблагодарил Шурка.

— Торопился я очень со сборами, а то бы она больше послала всего. Она у меня такая! — хвалился Павел.

Анисья снова начала благодарить и Павла, и его жену.

— Да уж видно, что она такая! Уж знала, что послать, чем нас потешить. Как же ты такую бабу себе отхватил, городская ведь она?

— Городская, бабушка.

— Чем же ты взял ее, приворожил чем?

— Да ведь и я теперь не деревенский.

— А все-таки? Городские, ведь они гордые. А ты еще не совсем, поди, обтерся або совсем?

— Она у меня умная, бабушка. Она меня сразу увидела: «Ты, говорит, человек с будущим!» — продолжал хвалиться Павел.— Это мы с ней вместе на курорте были.

— Неужто и она по курортам ездит? — ахнула Анисья.— Скудается она чем або что?

— Да нет, здоровая. На курорты и здоровые ездят, отдыхают.

— Ой, паре! — охает Анисья.— Хоть бы Шурку этакто послали куда-нибудь.

Павел удивился.

— А зачем ему это? И за что его? Он в деревне живет...

— И то верно,— согласилась бабушка.— Не за что. Да и не попросится он никогда. А старая она или молодая, жена-то, что по курортам ездит?

— Она, бабушка, одна у отца с матерью. И батька ее смолоду на курорты посылал. Вот и встретились.

— Ну, дай тебе бог! Добрая, видно: ишь, какой шарфик послала.

— Это для зимы или для лета? — спросил Шурка про шарфик.

— На всю жизнь хватит — и для лета и для зимы. На беседки будешь в нем ходить.

— Я же не всю жизнь буду на беседки ходить.

— Походишь еще.

— Ладно, спасибо. А тетради для чего? Бабушка неграмотная, мне учиться уже поздно.— Казалось, брат был недоволен подарками.

— Тетради для писем. Чтобы мне писал. Почему не ответил на письмо? — с упреком спросил Павел.

— Не знали мы, что ответить,— буркнул Шурка. Он был мрачен.

Бабушка убрала со стола все, кроме конфет, пряников и чаю, залила воду в самовар, опустила в трубу горящую лучину и угли и вернулась к столу.

— Ты уж прости, что не ответили,— вмешалась она в разговор.— Это я виновата.

— Тебе ведь не письмо нужно было,— мрачно заметил Шурка.

— А что мне нужно?

— Сам знаешь.

— А ты думаешь, если я женился, так уж больше ничего мне и не нужно? Все тебе одному? Ты думаешь, легко на ноги становиться?

— Ничего я не думаю. Только других с ног не сбивай.

— Я свое требую.

Шурка заморгал глазами.

— Ты требуешь? Нам показалось, что ты просишь. Чего ты требуешь?

— Того и требую!

— Ну говори, говори!

— Ладно, успеем еще, поговорим.

— Да уж говори сразу, чего тут.

— Ладно.

Похоже было, что братья начали горячиться, и бабушка встревожилась:

— Вы что, родненькие, о чем вы, родненькие! Ну-ка не сходите с ума, помолчите. Вот сейчас самоварчик спроворю, вот сейчас на стол его.

А Павел удивлялся, как это младший брат может в чем-то не соглашаться с ним.

Когда самовар закипел, бабушка хотела сама подать его, но Шурка вскочил с лавки, крупно шагнул в кухню, не грубо, но решительно отвел локтем ее руки, сдунул с крышки самовара угольную пыль и легко перенес его на

стол. Пар столбом ударил в висячую лампу, стекло которой мгновенно запотело. Бабушка заметила это и испуганно передвинула самовар вместе с подносом чуть в сторону. В медных начищенных боках его, искаженно отразивших светлые прямоугольники окон, сахарницу с карамельками и стаканы на блюдцах, теперь не прекращалось движение. Вот бабушка уселась на табуретку перед краном, заварила чай из пачки, привезенной Павлом, и поставила белый с синими горошинками чайник на конфорку — руки ее мелькали в выпуклой медной глубине, то уменьшаясь, то увеличиваясь до чудовищной уродливости; вот Павел залез за стол, придвинул к себе чашку, еще пустую, и взял в рот из сахарницы пузатенькую карамельку с выдавленной липкой патокой — в отражении рот его разверзся до нелепых размеров и быстро захлопнулся; с другой стороны стола к самовару придвинулся Шурка, голова его была опущена, и в медном зеркале отразились не лицо, не руки, а темя да затылок, и длинные, как девичьи, волосы свесились до самого стола, от конфорки до поддувала.

Анисья разлила чай по стаканам, и все усердно начали дуть на горячий чай, тянуть его с блюдцев, пофыркивая. Бабушка брала поочередно то карамельку, то мятный пряник. Павел брал и то и другое, Шурка ничего не брал и пил чай без сладкого, вприглядку.

— Вот какие у меня мужики выросли! — хвастливо, как бы про себя, говорила старушка, подливая чай то одному, то другому внуку.

Особенно внимательно следила она за стаканом Павла, ей хотелось ухаживать за гостем, но угощать его тем, что сам привез, было как-то неловко, и оставалось одно — разливать чай, пока есть кипяток в самоваре.

Братья теперь могли сойти за одногодков, только у Павлуши лицо было длинное, вытянутое, а у Шурки круглое, словно происходили они от разных родителей.

Посередине улицы мимо дома дважды, туда и обратно, прошли девушки. Они громко разговаривали, неестественно громко смеялись и искоса поглядывали на окна, стараясь обратить на себя внимание. В толпе девушек пряталась Нюрка Молчунья, бледная, с возбужденно горящими глазами. На что она надеялась, чего хотела,— просто увидеть Павла и ничего не сказать ему или сказать что-нибудь такое, чтобы сразу надорвать ему всю душу, подкосить его на веки вечные?

Последний раз, проходя под окнами, девушки пропели частушки:

Я березу белую
В розу переделаю.
У милого моего
Разрыв сердца сделаю!

И скрылись.

Разомлев от крепкого чая, Павел чуть отодвинул от себя самовар, труба которого опять оказалась как раз под лампой. Через какую-то минуту ламповое стекло в струе пара щелкнуло, и его опоясала светлая трещинка, будто полоска блестящей фольги.

Бабушка охнула так, словно кто ее кулаком в живот ударил: стекол больше не было ни в доме, ни в магазине,— но промолчала.

Шурка тоже промолчал, лишь двинул самовар на прежнее место.

●

В сенях залаяла собака, и в избу, не стучась, вошел председатель колхоза Прокофий Кузьмич. Павел поднялся из-за стола, навстречу ему. При этом он отметил про себя, что на заводе директор, входя в рабочую квартиру, обязательно постучится и спросит разрешения: в цехе он — хозяин, в квартире рабочего — гость, не больше, а Прокофий Кузьмич входит в избу колхозника, в любую, как в контору правления, по-хозяйски. Раньше такие мысли Павлу в голову не приходили.

Настроение у председателя было веселое.

— Почему не докладывают? Гость появился, а я узнаю о том в последнюю очередь,— заговорил он еще от порога и, не останавливаясь, прошел вперед, подал руку Павлу и сел к столу.

— Проходи, Прокопий, садись чай пить с гостинцами! — с запозданием, но дружелюбно пригласила его бабушка.

Председатель за столом снял кепку и отряхнул ее от сырости.

— Можно и чаю, хотя его, как говорится, много не выпьешь,— засмеялся он.

В последнее время Прокофий Кузьмич не стеснялся заходить то в один дом, то в другой, когда ему хотелось

выпить, и колхозники потворствовали этой его слабости, добывали водку, рассчитывая, в свою очередь, на разные поблажки с его стороны.

Анисья оделась и молча вышла из избы.

— Ну здравствуй, Павел! — сказал Прокофий Кузьмич, подняв глаза на Павла, словно только что заметил его, и сразу поправился: — Здравствуй, Павел Иванович! С приездом, брат! Давно тебя ждем. Исчез, голоса не подаешь — в чем дело? Я уж о тебе плохо стал думать.

— Что вы, Прокофий Кузьмич, зачем плохо думать? — ответил Павел.— Вот я приехал.

— Вижу, приехал. Давай рассказывай!

Павлу польстило, что председатель колхоза назвал его по имени и отчеству, и, выпрямившись, он искоса, с некоторым торжеством взглянул на младшего брата. Брат сидел, опустив голову.

— Да что ж рассказывать?

— Как что? С чем приехал, какой багаж за спиной? Ты же меня понимать должен. Может, с ревизией уже ко мне или с руководящими указаниями прибыл?

— Рано еще, Прокофий Кузьмич.

— Не допер?

Павел промолчал.

— Говори, говори,— настаивал Прокофий Кузьмич.— Кто ты сейчас, кем служишь?

— Училище я окончил, Прокофий Кузьмич.

— Так. Дальше!

— Техникой владею.

— Дальше.

— Что ж дальше, Прокофий Кузьмич?

— Говори, говори!

— Что ж говорить-то, Прокофий Кузьмич? — Павел либо оттягивал разговор, либо и верно не понимал, о чем его спрашивает председатель.

— А ты не тяни. Ишь как отмалчиваться научился! — засмеялся Прокофий Кузьмич. Смех был веселый, добродушный, и настороженность Павла постепенно исчезла.— Ты же меня понимать должен! — повторил Прокофий Кузьмич.

— Да я понимаю вас.

— Ну, дальше что?

— Времена меняются, Прокофий Кузьмич.

— Так, значит, времена меняются? Вишь ты, черт! — опять засмеялся председатель.— Ну, тогда наливай хоть чайку, что ли.

Павел поспешно пересел к самовару на бабушкино место, налил стакан крепкого чаю, подвинул его председателю, подвинул и мятные пряники, и карамельки.

— В партию вступил? Или в комсомол? — снова начал спрашивать его Прокофий Кузьмич.— Это надо, брат! Да говори ты хоть что-нибудь.

Павел не успел ответить, вернулась Анисья. Она принесла от соседей поллитровку водки. Прокофий Кузьмич, сделав удивленное лицо, встретил ее прибаутками:

— Ох и догадлива старуха! Дружку — стакан, от дружка — карман. А я-то думаю, куда она скрылась-удалилась? Ох и научилась бабка с начальством ладить. Далеко пойдешь! А то чай да чай!..

Павел освободил бабушке стул, она села к самоварному крану, выбила картонную пробку из бутылки, слегка ударив в ее дно своей костлявой ладошкой, разлила водку по трем стаканам, а остаток выплеснула себе в чай.

— Ловко ты пробки выколачиваешь! — засмеялся председатель.

— Ладно уж, выпейте лучше, будет вам зубы-то скалить! — сказала Анисья, довольная, что вернулась не с пустыми руками.

— А что — зубы скалить? С начальством, говорю, умеешь жить в мире. Вот сейчас у тебя свой начальник в доме, теперь Павлу Ивановичу угождай, держись Павла Ивановича, с ним далеко пойдешь.

Всерьез говорил председатель или шутил, только Анисья ответила ему всерьез:

— Дальше могилы мне идти некуда, а уж Павла Ивановича я никогда не обижала и не обижу. Это уж верное слово! Выпейте на здоровье!

Выпили все. Выпил и Шурка. Павел пил свободно, не морщась, даже с заметным удовольствием,— видно, водка стала для него привычной. Прокофий Кузьмич посмотрел на стакан к свету, сказал: «Опохмелимся!» — мелкими глотками вытянул его до половины и закусил мятным пряником. Анисья вылила свой пуншик на блюдце и, подняв на растопыренных пальцах, пила, как чай.

— Вот так-то оно лучше, а то чай да чай,— снова похвалил ее Прокофий Кузьмич.— Правильно, Анисья, внука своего встречаешь. Так и надо, чтоб не обижался. Он теперь знаешь кем у тебя будет? Не знаешь? Так я тебе скажу. Сказать ей, Павел Иванович? — обратился он к Павлу и опять весело и хитровато засмеялся.

Шурка поднял голову, Павел насторожился.

— Я же его к себе в заместители прочил, смену себе в нем видел. Сам стар, песочек уже,— ха-ха! — на покой пора. А он — вот он, своя кадра, и техникой владеет... Как, Павел Иванович? Поживешь, поосмотришься, попривыкнешь к делу — и с богом! Ха-ха! Как, Павел Иванович?

— Спаси Христос, неужто правда это, Пашута? — охнула Анисья, не зная, чему верить, чему нет.

— Это еще как народ пожелает, Прокофий Кузьмич,— сказал Шурка.— Как мы пожелаем...

— Ты помолчи, зелен еще и неучен! — прикрикнул на него председатель.— Это как мы с Павлом Ивановичем пожелаем. Верно, Павел Иванович?

Павел смотрел на председателя во все глаза и ничего не говорил.

— Неужто обманул, сукин сын? — вдруг спросил его председатель и засмеялся.— Я так и знал, что обманешь. Обманул, Павел Иванович, да?

— В стаканах-то у вас еще водка есть,— встрепенулась Анисья.— Выпейте остаточки, оно веселее будет.

— Да нам и так весело! — Прокофий Кузьмич засмеялся еще громче. А потом начал журить бабку: — Ох, Анисья, Анисья, совсем ты меня не боишься! Споить, наверно, хочешь? Да разве трех мужиков одной поллитровкой споишь? По ведру на человека надо!

Анисья понимала, что председатель шутит, и сам Прокофий Кузьмич хотел, чтобы эти слова его понимали как шутку, но, кажется, не стал бы возражать, если бы на столе появилась и еще бутылочка. По тому, как быстро он пьянел, Анисья догадывалась, что председатель пришел к ним уже навеселе.

Выпили остаточки, и Прокофий Кузьмич сказал:

— Не пить я к вам пришел. Пришел я, чтобы на Павла взглянуть, каким он теперь стал. Ведь когда-то я тебя в ученье отвез, помнишь, Павел Иванович? И вот не ошибся! А разве я о себе хлопотал? Нет, не о себе. О колхозе я хлопотал. Неужели ж обманул? —еще раз спросил он Павла. И сам же ответил снова:— Конечно, обманул! Тогда давайте выпьем еще. Э, да у вас уже ничего нет. Обижаешь ты, Анисья, Павла своего, плохо тебе будет.

— Когда это я его обижала? — возразила старушка, просто чтобы поддержать разговор.

— А помнишь, как ты его чуть до смерти не запарила в пивоваренном чане? В душегубке этой?

Павел обрадовался перемене разговора, с удовольствием поддержал новую шутку председателя:

— Верно, бабушка, ты же меня, как белье, бучила. Если бы не санаторий, мне бы тогда нипочем не выжить. Щелок ты подо мной кипятила или воду?

— Водку надо было кипятить! — смеялся председатель.

— В чане градусов было побольше, Прокофий Кузьмич! Я тогда, можно сказать, на том свете побывал! — засмеялся и Павел.

Анисья почувствовала в этом веселье что-то обидное для себя. Она поставила недопитое блюдце на стол, вытерла губы и с упреком промолвила:

— Я тебе, Паша, худа не желала. А если бы умирать пришло время, так и санаторий бы не помог.

Но Павел и Прокофий Кузьмич продолжали смеяться.

— А все-таки щелок был или вода? Чем ты меня пользовала?— допытывался Павел.

Они смеялись, пока не довели старуху до слез. Анисья подняла фартук к лицу и захлюпала. Шурка тяжело засопел. Казалось, он вот-вот взорвется. Тогда Прокофий Кузьмич вернулся к старому разговору с Павлом.

— Кто же ты сейчас, Павел, рабочий или уже мастер? Рабочий тоже, конечно, дело великое. Но ты мне вот что скажи, как на духу: вернешься в свой колхоз или не вернешься? Прямо скажи! Я, конечно, не верю, что вернешься. У нас такого случая еще не было, а все-таки вдруг вернешься? Ученых людей у нас, понимаешь, мало.

— Я пока не думал об этом, Прокофий Кузьмич!

— Не думал. И думать не будешь. Я уж знаю. Везде возвращаются, только у нас не возвращаются, все в индустриализацию идут. А мы давай так дело поведем: пускай не возвращаются! Для колхоза это не хуже. Понимаешь, что нам надо? Нам надо, чтобы в каждом городе у нас были свои люди, земляки. Вот наша установка на сегодняшний день!

Анисья, довольная, что ее больше не затрагивают, снова начала разливать чай в стаканы.

— Только земляки колхозу помочь могут,— продолжал Прокофий Кузьмич.— Они обеспечат нас всем, и мы выйдем из прорыва. Мы отстающие, пусть! Но отстающим помогать должны, нас вызволять из беды надо. Не-

доимки есть? Списать. Ссуду? Выдать! С уборкой не справляемся — горожан на недельку в колхоз. Вот где главное звено на сегодняшний день. Теперь, Павел Иванович, к тебе дело: мы тебя выдвинули, так смотри, не забывай своих при случае. Будь на посту! — Захмелевший председатель поощряюще хлопнул его по плечу.— А может, вернешься? Ты вот что запомни: если захотим, силой вернем. Думаешь, я в деревню добровольно приехал?

— Не вернется он! — вставила свое слово Анисья. Кипятку в самоваре больше не осталось, и она, повернув стакан кверху дном, отодвинула его от себя.— Как же он вернется, коли женился?

Самовар уже не парил, только иногда в трубе еще попискивало. Прокофий Кузьмич тоже отставил свой стакан.

— Кого взял?

— Валерию! — ответила бабушка.

— Чья это?

— Спроси его.

— Чужая, значит? — притворно обиделся председатель.— Разве у нас своих невест мало? Нам своих невест девать некуда, а ты — Валерию. Измена это, братец ты мой, предательство.

— Я, Прокофий Кузьмич, своему колхозу никогда не изменю,— запальчиво стал уверять его тоже опьяневший Павел.— Я принимаю все ваши указания и буду на посту. Я сейчас на складе инструменты выдаю. Я свое еще возьму. Я далеко пойду! Вот только и вы меня поддержите на первых порах. Трудно мне сейчас, женился я, дом надо подновить, а лесу нет. Дали бы вы мне десятка два бревен, за мной не пропадет, отблагодарю.

Председатель не то задумался, не то задремал.

— Помните, как я достал для вас запчасти,— продолжал Павел.— Сейчас я больше могу. За мной не пропадет. Выручите, Прокофий Кузьмич!

— Да разве я когда-нибудь своих людей оставлял в беде? — оживился председатель, видимо приняв какое-то решение.— Я своих людей никогда в беде не бросал. Только ведь осень, как же ты по таким дорогам увезешь строевой лес? Перевозка дороже будет стоить.

— Об этом вы не затрудняйтесь, Прокофий Кузьмич. Своя ноша не тянет. Мне тесть обещал достать машину на несколько рейсов, ему по службе устроят. Деньги тоже нужны, но в этом я надеюсь вот на бабушку да на брата, на Шурика. Они меня выручат.

Прокофий Кузьмич опять задумался. Порожний самовар пискнул в последний раз и затих. Тогда заговорил Шурка.

— Нет у нас денег! — сказал он, словно кулаком по столу ударил.— Не выручим!

Павел опешил, но за него заступилась бабушка. Она почувствовала, что назревает ссора, и заранее решилась не допускать ее, чего бы это ни стоило.

— Что ты, Шурик, говоришь? Как же мы его не выручим, мыслимое ли это дело? — накинулась она на Шурку. А старшего внука стала успокаивать: — И не сомневайся, Пашута, все сделаем, и поросенка продадим, и Прокопий, председатель, вот поможет нам.

«Только б не это, только бы не наперекос,— думала она между тем.— Упаси господи их от несогласья. Всю жизнь им отдала, отца с матерью заменила, вынянчила, вырастила, а теперь, того гляди... мыслимо ли это!»

— Не выручим! — крикнул еще решительнее Шурка.

Руки у старушки задрожали, и губы, бледные и тонкие, задрожали, и не знала она, что говорить ей и что делать — встать ли из-за стола и начать убирать посуду, или остаться на месте, или кинуться к обоим на шею, гладить их по головам да целовать поочередно.

— Не продадим поросенка! — упрямо заявил Шурка.— У него свой поросенок есть. И председатель ему не поможет!

— Ну уж за себя-то я сам все вопросы решаю,— весело сказал Прокофий Кузьмич.— Ты, братец, это брось, молод еще!

Шурка впервые прямо и строго посмотрел в его глаза и ответил спокойно, без крика:

— Не брошу! Работать нужно — так я не молод, а дела решать — молод.

А Павел, почувствовав, что на его стороне и бабушка и председатель, а стало быть, и правда на его стороне, решил отстаивать свои законные права твердо. К тому же по голосу, по повадке Шурки он сейчас понял, что брат уже стал взрослым, значит и разговаривать с ним можно как со взрослым. Да и водка горячила Павла.

— До моего поросенка тебе дела нет. А долю мою отдай! — привстал он за столом.

— Какую долю? — удивился Шурка и уставился на Павла наивно и добродушно. Он снова перестал понимать своего брата.— Какую долю? Чего ты орешь?

— Такую долю! Ты не один в доме, нас двое. Отцовское добро для обоих одинаково. Я от своей доли не отказывался, я не пасынок у своих родителей.

Шурка все еще не понимал брата, но то, что Павел в который раз исключает из разговора из каких-то своих расчетов бабушку, словно ее нет в живых, это он понял сразу и возмутился.

— Нас двое, нас двое! А про бабушку забыл. Забыл, кто тебя выходил?

— Бабушка бабушкой, а ты мою долю отдай!

— Какую долю? — опять удивился Шурка.

— Господи, он же делиться хочет! — вдруг догадалась и ужаснулась бабушка.— Он же дом разорить хочет! Кто это тебя надоумил, Пашка! Мыслимое ли дело — отцовское гнездо разорять? Выродок ты эдакой!

Семейные дележи в колхозе ныне явление редкое. Шурке ни разу не приходилось наблюдать их, потому он так долго и не понимал, куда клонит брат, но когда понял, возмутился еще больше. Ему показалось странным, даже кощунственным, что дом, в котором он родился и вырос, в котором жили его отец и мать, а ныне живет его бабушка, нужно как-то делить, что он не вечен. Разве родину делят?

А старый председатель ничему не удивился, он все принял как должное. Веселое настроение снова захватило его.

— Делиться — это законное дело,— сказал он.— Конечно, и бабушку надо делить пополам. Делиться придется, раз Павел не хочет жить дома. С колхозом ему делить нечего, он в колхозе ничего не забыл. А с братом — законно. И бабушку разделить. Как ты, Анисья, полагаешь?

— О господи! Думала ли я, что доживу до этакого! — вопила бабушка.

— Я делиться не собираюсь! — заявил Шурка.

— Придется! — торжествовал Павел.— Делиться — законное дело!

— Тогда делись сам, делись один, я тебе не помеха. Бери что хочешь. Все бери! Мы с бабушкой проживем без тебя, как жили и до этого. Новый дом выстроим.

Бабушка уже не плакала, а рыдала и больше не закрывалась фартуком.

Прокофий Кузьмич заметил, что разговор становится нешуточным, и решил сразу успокоить всех.

— Делиться вам, братцы мои, нельзя. Незаконное это

дело: Шурке еще нет совершенных лет. А бабка престарелая сверх нормы — стало быть, тоже несовершенные года. Суд не возьмется делить. Ждать придется.

— О господи! — рыдала Анисья.

А Шурка стал утешать ее, уже не слушая ни Павла, ни Прокофия Кузьмича:

— Ничего не бойся, бабушка, и ждать ничего не придется. Пускай делится, никакого суда не будет, не бойся. Буржуи мы, что ли, какие, чтобы по судам ходить. Ты на меня положись, я тебе новую избу выстрою. Пускай все берет — скорей подавится.

Может быть, на этом бы ссора и закончилась, если бы старуха, после того как председатель ушел домой, не начала снова упрекать братьев и уговаривать их помириться. Ребята долго отмалчивались, а она распалялась все больше и больше. Что бы ей остановиться вовремя! Что бы ей, уставшей вконец, трясущейся, забраться на горячую печку, да прикрыться овчинным полушубком, да пожелать внукам, как раньше бывало: «Спите спокойно, ребятки!»

Нет, не могла вовремя угомониться старая.

Обоих внуков она любила, обоих будто под сердцем своим выносила; и казалось, бог не простит ей, если не придут они сейчас же, немедля же, к миру, к послушанию.

И довела она ребят до драки.

Только подрались они не из-за имущества, а из-за Нюрки Молчуньи.

Случилось это так. Долго возилась бабушка с посудой на кухне, мыла стаканы, да ложки, да плошки, оставшиеся немытыми еще от обеда, долго, постанывая, бродила из угла в угол и все думала, как бы ей пронять неслухов, пристыдить их, усовестить, и так и этак пробовала заговорить с ними: и разжалобить-то пыталась, и обещаниями всякими задабривала — все молчали внуки.

Обращалась к младшему:

— Помоложе ведь ты, Шуренька, тебе бы и смиренья побольше надо. Не возносись перед старшим, уваженье к нему имей, не каждое лыко в строку ставь, не на каждое слово ответ держи, в твоем возрасте и промолчать иногда не грех. Это и мать перед смертью тебе наказывала.

Но Шурка не поднимал глаз.

Тогда обращалась бабушка к старшему внуку:

— Ты — большак, ты — главный в доме, и учился, разуму тебе добавили, как же можешь ты поступать не по справедливости, обижать слабых?

Но и Павел молчал не по-доброму, не отступал, не смирялся.

Тогда бабка решила разжалобить его:

— На кого же ты меня, Пашута, покидаешь? Хоть бы умереть дал спокойно. Нюрку покинул и меня покидаешь, старую.

Павел ответил угрюмо, устало:

— Я Нюрке ничего не сулил и голову ей не морочил.

— Знал бы ты, как она тебя ждала, полагалась на тебя...

— Я ей хомут на шею не надевал! — еще мрачнее сказал Павел.

— Прибежит, бывало, то сделает, другое сделает, сама молчит, а в руках у нее так и горит все — на любую работу спорая. Ради тебя все старалась, не раз из беды нас вытягивала. Душа у нее, у девочки, добрая, жалко мне ее...

— С доброй душой всю жизнь носом землю рыть будет! — как приговор, произнес Павел.

Но бабушка, словно не слышала его возражений, продолжала расхваливать Нюрку:

— Такую девушку поискать нынче, хороший она человек. Справедливый человек, правильный!.. А уж как брату твоему услужить старалась — все ради тебя. Вон рубашка на нем — это она сшила, и вышивка — ее рук дело.

Павел пристально и нелюдимо посмотрел на Шурку.

— Скоро замену нашла!..

Тогда-то и вскочил Шурка с лавки, вскочил, как выпрямился,— резкий, злой, глаза горят, кулаки круглые. Павел отступил, испугался.

И опять, может быть, на этом бы все и кончилось, и Шурка не ударил бы Павла, если бы не увидел вдруг, как тот противно побелел, струсил, но Шурка увидел это и уже не мог не ударить его, просто от одного отвращения. И он ударил его по лицу — раз, и два, и три... Бил его и приговаривал:

— У, гнида! Сирота казанская!.. Иждивенец!

Бил, пока Павел Иванович не заревел в голос.

•

Утром бабушка не смогла слезть с печки.

Мамыкинский дом — это две некрупные избы под одной двускатной крышей, с общими сенями. Снаружи он походил на пятистенок. Жилой была только одна изба, вторая служила вместо кладовой. В ней семья не обитала и до войны, потому что покойный Мамыкин, отец, не успел закончить отделку стен и потолка.

Эту вторую избу и разобрали по бревнам для Павла, когда недели через две из города от потребкооперации пришел грузовик с прицепом. А чтобы крыша, потерявшая с одной стороны опору, не рухнула, подвели под нее столбы, вроде костылей. Подперли столбами и половину мезонина, которая теперь оказалась на весу. Обкорнанный, обезображенный мамыкинский дом стал напоминать инвалида на костылях; его так и прозвали: «увечный».

— Всю деревню испохабил,— говорили про мамыкинский дом.— Никакой красоты из-за него не стало.

Больная бабушка Анисья тяжело переживала раздел хозяйства, и когда разламывали избу и за стеной с грохотом катились бревна по слегам и устрашающе выл грузовик, она вздрагивала и каждый раз пыталась перекреститься, но рука у нее не поднималась. Не могла она и заговорить, не могла ни на что пожаловаться — язык у нее отнялся еще в тот день, когда младший внучек колотил старшего. Лежала она на печи тихая, безропотная, смотрела на всех сверху вниз и, кто знает, может быть, даже ничего не видела, из глаз ее текли мутные печальные слезы. К ней частенько заходили соседки, приносили еду, разные сладости, приезжала фельдшерица из сельсовета, прописала лекарства, заглядывал председатель. По целым дням сидела у бабушки Нюрка Молчунья, топила печь, доила корову, ставила самовар, кормила Анисью кашей с ложечки, поила горячим чаем, пробуя предварительно то и другое, чтобы не обжечь больную. Шурка стеснялся, когда Молчунья в избе была одна, и уходил из дому.

Павел заглядывал в избу не часто, но свободно, как хозяин, выказывал бабушке всяческие знаки внимания и следил, все ли для нее делается. С Шуркой он не разговаривал, только иногда шипел в его присутствии:

— Такую бабушку загубил, каналья, такого человека с ног сбил! — И, обращаясь к ней, спрашивал: — Не хочешь ли, бабушка, покушать чего-нибудь?

Бабушка смотрела на него без всякого выражения на лице, и только мутные струйки слез текли по ее пепельно-серым морщинистым щекам.

Однажды навестил старуху и дед Нюрки, колхозный пасечник Михайло Лексеич. Он принес для нее горшочек меду — тот самый горшочек, который Анисья не раз успешно ставила на пуп самому Михайле Лексеичу. Нюрка очень смутилась, увидев деда, вскочила со стула, намереваясь убежать из избы, но дед сказал ей резко: «Сиди!» — и она осталась

— Возьми-ка вот и угощай по чайной ложке через час-два, лучше с водой, авось еще и выживет,— приказал он.— А дармоеда, хапугу этого, не подпускай к старухе!

— Что ты, дедушка! — вспыхнула Нюрка.

— Молчи! Делай, что говорят. На то ты и Молчунья.

Бабушка умерла, когда Павел увез на машине последние бревна от избы. Михайло Лексеич взялся стругать доски, чтобы сколотить гроб, но Шурка захотел все сделать сам.

Хоронили Анисью по-хорошему, был народ, были слезы. Больше всех плакала Нюрка, она словно с молодостью своей прощалась. Простился со старухой и Прокофий Кузьмич. Не было только Павла. Он, должно быть, сразу начал перестраивать городской дом, потому и не успел приехать на похороны.

1961

ВЫСКОЧКА

В плохую погоду даже дым из труб поднимается с трудом — стелется он по крышам, по земле. Люди задыхаются, кашляют, настроение у всех дурное, собаки злые, куры не кудахчут, петухи кукарекают неохотно.

А Нюрка должна вставать рано. Дым подняться не может, а ей надо подниматься и, наскоро умывшись и перекусив чего-нибудь, бежать по узенькой снежной тропке на самую далекую окраину деревни, на свиноферму.

Несколько лет назад, когда в колхозе был выстроен новый свинарник на двести голов, люди радовались: это же дворец, санаторий! А что изменилось? Свинарник новый, можно сказать образцовый, не хуже скотного двора или конюшни, а жизнь-то в нем все равно свинячья. Редкий год не бывает падежа. И хоть бы из-за болезней каких-нибудь, а то ведь просто из-за недостатка кормов, от голодухи.

Нынешняя весна оказалась затяжной, а потому особенно трудной: корма уже все, а земля еще не очистилась от снега.

Нюрка часто жаловалась матери:

— Матынька, родненькая, вся душа у меня изболелась. Мне самой скоро кусок в горло не полезет, так жалко их! Особливо маленьких жалко. Ты только подумай: рождаются, чтобы голодать! Да что же это такое?

— Откуда я знаю, что это такое? — отбивалась мать от ее недоуменных вопросов.— Если бы кто-нибудь знал, что это такое! Ты, главное, гляди в оба. Голодные свиньи — звери!

— Звери, мама, верно, что звери! Они у нас все кормушки деревянные изгрызли, перегородки грызут. Надо же!

— То-то оно и есть! А ты — вон ты какая, от горшка два вершка. И тоненькая, с перехватом, будто оса. Схватят — и все, и домой не воротишься. Выдвинули тоже девчонку в свинарки, совести у них нет.

— Я, мама, каждое утро, как ухожу из дому, со всеми с вами в уме прощаюсь. Мне один раз во сне привиделось, будто свиньи схватили меня за подол и сперва всю одёжу с меня сорвали да изжевали, а потом и меня стали есть. Я кричу, а они меня едят, я кричу, а они едят. То одно место откусят, то другое. Пробудилась, когда у меня уже ни рук, ни ног не стало.

— Вот я об этом тебе и толкую,— наставительно говорит мать.— Смотри в оба, не поддавайся, отвертывайся от них. Звери — они звери и есть.

— Мне бы хоть подрасти немного дали, а потом бы я ничего, не поддалась бы. Только подрасту ли я, может, уже всё, такая коротышка и буду? Ты, мама, скажи председателю, чтобы поставили на свиней кого-нибудь другого вместо меня, покрепче.

— Я уж говорила не раз, доченька,— сокрушенно вздыхает мать.— Загубите, говорю, мне девчонку до поры до времени. Да ведь что поделаешь, работать-то некому. Не одна она, говорят, на ферме, ничего не стрясется. А намедни председатель как рявкнет на меня: что ты, говорит, пристаешь, как будто твою Нюрку уже свиньи съели! Я говорю: не съели, дак ведь съедят. Ну, говорит, когда съедят, тогда и отвечать будем.

Разговаривая с дочерью, Катерина Егоровна не стояла на месте и не сидела, а либо делала что-нибудь по хозяйству, либо ходила по избе, скорее бегала, чем ходила, и, заправляя подол сарафана с боков и спереди за пояс, высматривала заранее, за какую очередную работу ей следует приняться. Невысокая, быстрая, она напоминала пугливую олениху, готовую в любую секунду сорваться с места и исчезнуть.

Нюрка окончила шесть классов сельской школы, и ей сразу поручили уход за свиньями. Этим назначением гордилась мать Нюрки и сама она: все-таки не часто доверяют колхозное животноводство совсем молоденькой девчоночке. Значит, она чего-то стоит, если доверили.

Нюрка действительно многого стоила, и доверять ей было за что. Тоненькая, ловкая, непоседливая, вся в мать, с неистощимым запасом энергии и выносливости, она всю себя отдавала работе, потому что иначе и не могла, а может, еще и потому, что ничто другое в жизни пока ее не занимало. Она ни в кого еще не влюблялась, на молодежные пляски, на беседки не ходила, книги читать не приучилась.

В Нюрку тоже никто еще не влюблялся: потому ли, что мала была очень да молода, а может, потому что не было в ней той внешней привлекательности, из-за которой парни влюбляются в девушек с первого взгляда: худенькое костлявое личико, носик острый, рот широк не по лицу, никаких ямочек ни на щеках, ни на подбородке, и волосы жиденькие — либо еще не успели отрасти, либо такими на всю жизнь останутся. А ту неброскую внутреннюю красоту, которой было у Нюрки с избытком, тот огонек, который сжигал ее всю, не давая округлиться хоть немножко, люди замечали не сразу, молодые пареньки тем более. Миловидность кидается в глаза с первого разу, а чтобы разглядеть красоту внутреннюю, доброту и свет души, требуется время да время. У пареньков этого свободного времени не было, как и у Нюрки: все работали со школьной скамьи, все куда-то спешили, даже целовались с девчатами по вечерам как-то наспех, торопливо.

И Нюрка не унывала от того, что в нее не влюблялись. Ну, не любят, так не любят, экая важность, не до этого сейчас. Ведь сама-то она тоже никого не любит. Когда придет время да охота — полюбится, и беспокоиться об этом пока не стоит.

На свиноферме у Нюрки было две напарницы: Евлампия Трехпалая, женщина лет сорока пяти, работящая, злая, умевшая криком кричать беспрерывно с утра до вечера, затем молчать по двое, по трое суток кряду; да Пелагея Нестерова, соломенная вдова, брошенная мужем сразу после войны, ленивая, не любившая даже разговаривать без надобности, валовая, как определяют таких медлительных людей в деревне.

Евлампию звали просто Лампией, а Трехпалая — это ее фамилия. Пелагею звали Палагой. Первая имела мужа и трех детей, за которых все время беспокоилась: накормлены ли, одеты ли, не простудились бы, не попали бы где-нибудь под машину... Вторая никого не имела и ни о ком не заботилась, в том числе и о себе самой. Жила в семье брата: день да ночь — сутки прочь.

Первая, Лампия, много кричала, потому что слишком много знала и все колхозные дела и беды принимала близко к сердцу, и молчала часто и подолгу по той же причине. Вторая, Палага, не любила лишнее говорить просто от лени, от равнодушия ко всему на свете, оттого, что ничего не хотела знать и ни во что не хотела вмешиваться.

— Все подохнем в свой срок,— говорила она.— Только бы дали выспаться до той поры.

Молодая, безрассудная Нюрка тоже кричала много. Нюрка надеялась, будто криком можно чего-то добиться, кому-то и чему-то помочь. А мудрая Лампия отлично понимала, что криком ничего сделать нельзя, но не выдерживала и просто отводила душу. Зато уж потом замыкалась не на одни сутки.

К Лампии на свиноферму частенько по хорошей погоде с утра прибегали дети. Старший сын ее, Колька, школьник, украшал для матери стены сторожки цветными вырезками из старых и новых иллюстрированных журналов, потому что увидел однажды на внутренней стороне крышки ее старинного, еще девического, окованного жестью сундука такие же раскрашенные картинки. Кроме репродукций и цветных фотографий, он развешивал по стенам плакаты и самодельные лозунги, касающиеся подъема колхозного свиноводства.

Вместе с Нюркой на свиноферме по целому дню возились и Лампия Трехпалая, и даже ленивая Палага — вот уж по правде от зари до зари. На ручной соломорезке, а чаще всего топорами, рубили они солому, которую удавалось раздобыть с трудом то на току, то около конюшни или коровника и которую таскали на санках, словно ворованную; затем грели воду в котле, а для этого тоже надо было доставать где-то дрова,— чаще всего они привозили на санках же из лесу колодины, сушинник, сваленный ветрами (лес был рядом со свинарником), распиливали и кололи на мелкие плахи, чтобы они легче разгорались, а вскипятив воду, распаривали рубленую солому в кадке и, посыпав ее несколькими горстями отрубей, перемешивали и ведрами разносили по кормушкам, по корытам.

На каждую свинарку приходилось по двадцать пять, тридцать свиней — точно установить никогда не удавалось, и разъединить их было почти невозможно. Обособленно содержались только свиноматки да хряк-производитель, а все остальное стадо, грязное, вонючее и всегда злое, металось по помещению, нередко ломая дощатые ограждения и затевая грызню.

Когда женщины приближались к изгороди, свиньи рычали хрипло и угрожающе, многие из них становились у заборов на дыбы. Они были тощие, с непомерно длинной щетиной, стоявшей торчком по всему хребту, и казалось, что свиньи содержались не ради мяса и сала, а

только ради длинной щетины. Нюрка особенно боялась хряка и называла его Крокодилом. На его хищной тонкой морде обнаженно желтели клыки, как у дикого кабана.

Покормив свиней, Лампия начинала чистить свинарник, насколько можно было, Палага уходила в сторожку спать, а Нюрка считалась за старшую и потому отправлялась на розыски корма и дров для следующего дня. Ходила она к председателю, к бригадиру, чаще прямо к кладовщику. Выпрашивала всего понемногу, чуть не ради Христа.

Свиноферма колхозу была в тягость: доходов от нее никаких, а кормов даже для молочного скота не хватало, поэтому от Нюрки отмахивались все, как от назойливой мухи. Единственным ее помощником в хождениях по мукам был страх, с которым жили все колхозные начальники, что за каждую дохлую свинью с них район шкуру снимет.

Нюрке казалось, что, если б узнал кто-нибудь наверху обо всем, что делается у них в колхозе, сразу бы все изменилось. Только бы выложить все напрямки, все от чистого сердца, а еще лучше показать бы! Но кому? На кого здесь можно положиться? На бога, что ли? Самим ничего не изменить — это уже ясно.

А душа изболелась за колхоз. Районные — те, конечно, все знают, но шумят только промеж себя, втихую: кому дадут выволочку, кого с работы снимут — пересадят из кресла в кресло, кого из партии исключат, а дело ни с места. Боятся сор из избы выносить, потому что с них же самих будут взыскивать, если что обнаружится. Да, наверно, и не понимают ничего. На что же, на кого же надеяться?

Председателю колхоза Бороздину всяческие недостатки и злоупотребления, видно, так уже примелькались и притерпелись, что он перестал отличать черное от белого и, боясь за свою участь, заботится больше о том, чтобы хоть не все вылезало наружу. А участь у него была незавидная.

Гаврила Романович Бороздин стал председателем колхоза в конце войны, когда после тяжелого ранения вернулся в родную деревню одним из первых солдат. Колхозники сами, без подсказов, избрали его своим руководителем, а райком поддержал его кандидатуру. Бороздину польстило это выдвижение. Правда, он не имел ни опыта, ни образования, но рассчитывал, что будет много читать и что в приобретении и практических и теоретических

знаний ему помогут разные районные семинары по сельскому хозяйству, и совещания, и заседания.

Но читать ему не удалось; собрания и совещания, как скоро выяснилось, ничего не давали ни уму, ни сердцу; все его время и все силы поглотила так называемая текучка: бесчисленное количество всяких кампаний, заготовок и составление отчетности.

Серьезных организаторских способностей у Бороздина не оказалось, на смену им пришли изворотливость и ловкость. Раз попав в твердый список руководящих работников, он нашел, что надо держаться до конца: это своего рода специальность. Колхозное хозяйство кидало при нем из одной крайности в другую. И Бороздин стал неразборчив в средствах, только бы заставить молчать недовольных, и часто ссылался на то, что пострадал при защите Отечества. Кто смеет теперь подозревать его в чем-то, не доверять ему? По этой же причине он сам многое прощал себе, говоря: «Зря, что ли, я потерял свое здоровье на фронте?» Многое прощали ему и в районе из-за того, что он инвалид войны.

Бороздин полной мерой расплачивался за это снисходительное к себе отношение. От рядовых колхозников его судьба пока не зависела: для всех семи деревень, объединенных ныне в одном крупном колхозе, он был человек свой, не пришлый, знал всех от мала до велика, и его все знали и, как своему, сочувствовали его нелегкой судьбе. Замечания шли только сверху, и он больше всего в жизни боялся, что сверху ему наконец скажут: не можешь руководить — уходи, не мешай партии и народу налаживать колхозную жизнь.

Не велика Нюрка, а многое уже знала и о многом мечтала. Ей хотелось послужить людям, то есть наладить жизнь в своем колхозе, но об этом громко говорить было не принято, неудобно...

Иногда Нюрке казалось, что она знает даже, с чего начинать следует... А вместо этого приходилось выдыхать из себя:

— Помоги, господи!

На ферме Нюрка считалась старшей свинаркой. По закону положено, чтобы у фермы был свой заведующий, но от должности такой она отказалась, а раз нет заведующего, пусть будет хоть старшая свинарка, все-таки вроде начальства над свиньями и над другими свинарками.

Нюрке не легче от того, что ее считают старшей. Не считали бы старшей — может, и не пришлось бы с утра

до вечера бегать как угорелой, да ругаться, да лаяться, да кидаться на всех? А ругаться Нюрке приходилось много и часто — и с кладовщиком, и с правленцами, и с конторщиками, да еще и с напарницами своими, такими же свинарками, как она. Им-то чего надо, им-то она чем насолила? Друг друга поедом едят, и ее редко назовут по имени — все «выскочка» да «выскочка». А какая она выскочка? Разве у нее легкая жизнь? Куда она «выскочила»? Конечно, им не по праву: от горшка два вершка и вдруг — «старшая»! Но разве она меньше других работает? Чины у нее, что ли, какие?

Но особенно обидно было Нюрке из-за того, что и свиньи ее ненавидели, а она их боялась. Надо же! Боялась настолько, что в последнее время даже перестала выпускать их на прогулки. Нюрка ко всяким животным легко привязывалась и умела их понимать и жалеть. Привыкла она и к свиньям, ухаживая за ними не за страх, а за совесть... Но с их стороны не замечалось никакого взаимопонимания и приязни. И это было самое печальное и тревожное. Они же ее и ненавидят, надо же! Совсем некрупные поросята, подросточки еще, почти розовые, и те уже рычат!

В раздражении, бывало, Нюрка жаловалась матери:

— Ты только подумай, мы их поим, кормим, мы за ними ухаживаем, чистим их, все для них — от нас, на нашем горбу держатся, и вот ведь свиньи: вместо благодарности они же нас и ненавидят, они же нас сожрать ладят. И хоть бы для нас польза от них какая. Мы-то сами от них ничего ведь не имеем, только убыток один да выговоры. Ну не свиньи ли?

А иногда Нюрке хотелось приласкать даже борова, почесать у него за ухом, скоблить и скрести его, пока он, блаженно похрюкивая и постанывая, не свалится на бок. Но вместо этого она вынуждена была то и дело проверять прочность дощатой заборки, за которой он бесится,— не вырвался бы! — и, высыпав в его корыто поверх перегородки свежий комбикорм или распаренную рубленую солому, снятую с крыш сараев и дворов, поспешно отдергивать руки и убирать ноги — не схватил бы!

— У, Крокодил, не понимаешь ты меня! — огрызалась Нюрка каждый раз, как боров, хрипя, становился передними ногами на перегородку и высовывал из своего закутка длинную клыкастую морду.— Разве я виновата?

Предчувствуя недоброе, Катерина Егоровна, провожая по утрам дочь на свиноферму, рассказывала ей всякие

страшные истории про зверей и звероподобных животных, нарочно запугивая, чтобы та была осторожнее со свиньями.

— Намедни в деревне Липовой нашли девку в кустах, все груди и живот выедены дочиста. Говорят, будто волки ночью схватили. А кто их знает, может, и не волки. Свиньи — они ведь тоже у человека перво-наперво живот выедают.

Нюрка испуганно и умоляюще останавливала ее:

— Ладно, мама, будет тебе, я и без того вся дрожу.

Но мать не унималась:

— Медведь тоже, когда корову задерет, так сперва все вымя ей выест. После войны у нас тут медведей шибко много собралось, оттуда, от войны сюда бежали. До того избаловались, что летом подходили прямо к деревне в середине дня и все, бывало, коров за вымя хватали. Выдерет медведь вымя коровье и уходит, вся морда в парном молоке, а корова так и стоит на ногах, только дрожит вся. Вот они звери какие! Ты думаешь, свиньи лучше?

— Ладно тебе, мама! — возмущалась Нюрка.— Виноваты они, что ли? Их кормить надо, а мы их чем кормим? Ведь не от хорошей жизни такие они.

— Не от хорошей, конечно,— соглашалась мать,— а все-таки свинья малых поросяток своих съедает, только недогляди.

— Мертвых съедает, верно. Так ведь кошка и та съедает своих котят, если мертвые родятся.

— Свиньи и живых съедают! — не уступала мать.

— Кормить их надо, мама, вот что я тебе скажу. Свиней кормить надо!

●

Нюрка пришла на ферму, в сторожку, служившую одновременно и кормоцехом, чуть свет, но там уже была Палага. Правда, она еще ничего не делала, но все-таки... Так рано... почему?..

— Ты ночевала здесь или что? — удивленно воскликнула Нюрка.— Надо же!

Медлительная Пелагея сидела на скамейке и смотрелась в маленькое круглое зеркальце. Это Палага-то! Но мало этого — на ней сегодня был не обычный грязный домотканый, не имеющий уже цвета сарафан, в котором она приходила на работу из месяца в месяц, а ситцевый, еще не застиранный, с рисунком в елочку, и такая же

кофта, и на голове платок с полосками, желтыми и красными вперемежку.

— А ноги-то не вымыла!

Наряжаясь, она, должно быть, забыла их помыть, а чулок на ней не было, а резиновые башмаки были низкие, и потому грязные толстые икры мелькали из-под сарафана, словно покрытые еловой корой.

Когда Нюрка хлопнула дверцей, Палага подняла на нее глаза, а затем снова стала присматриваться к себе, поднимая зеркальце на уровень глаз.

— Надо же! — сказала Нюрка.— Праздник у тебя или что? Или ты за борова замуж хочешь выйти? Ну скажи что-нибудь.

И Пелагея сказала:

— На крышах больше соломы нет. Где сегодня возьмем?

— Палага — и вдруг о соломе! Что это ты сегодня? — удивилась Нюрка.

— Думаю, в поле надо самим брести, как раньше.

Нюрка удивилась еще больше. Ежегодно часть ржаной соломы после комбайна оставалась на полях даже не заскирдованной. Колхоз для своего общественного стада солому не вывозил, не успевал, а таскать ее для личных коров колхозникам не разрешалось, это считалось расхищением социалистической собственности. И колхозному скоту и личному скоту корму не хватало каждую зиму, о подстилке уже и говорить нечего, но солома эта погибала. Весной при вспашке полей трактористы ее просто сжигали, чтобы не задерживать работу. Нередко уходили под снег и кучи вымолоченного колоса, сброшенного с комбайна. Однажды Нюрка уговорила своих напарниц пойти в поле и принести соломы по ноше на вожжах за спиной, а еще насобирать колосу. Бродили по снегу с павжны до ужны (с обеда до ужина), иногда проваливаясь в суметы по пояс и глубже, разрывали снег лопатами и руками и насобирали все-таки три ноши. В другой раз ходили с носилками и, оставив их на дороге, таскали солому и колос с разных концов поля охапками. Носилки корму, пусть не свежего, с гнильцой,— это не так уж плохо. Все-таки не комбикорм. Но Нюрка проморозила себе колени, а у Палаги мороз прихватил даже срамные места. После этого Нюрка догадалась кормить свиней соломой с крыш, предварительно изрубив ее и запарив, и они стали раскрывать в деревне все соломенные крыши и скармливать их свиньям. Этот корм доставался легче, чем тот, что гнил

в полях, но на крыши скоро полезли и доярки, и телятницы, и даже конюх; все сараи, двор и даже старые избы в деревне быстро оголились.

Нюрка не подозревала, что это была не ее выдумка, что еще задолго до ее рождения соломенные крыши русских изб так же ежевесенне шли на корм скоту.

В этом году на полях никто еще не рылся под снегом, и Палага сама — надо же, сама Палага! — предлагала сделать первый выход.

— Твоя ли это забота, Палашка, с чего ты вдруг о кормах стала думать? — допытывалась Нюрка, почуяв, что за этим кроется что-то.

— *Эта* приедет! — ответила Пелагея.

— Кто «эта»?

— Знатная! Смолкина.

— Елена?

— Она. Олена!

— Надо же, прости господи! Кто тебе сказал?

— И тебе скажут, погоди.

Ответив на вопрос, Пелагея замолчала, будто выговорилась до конца и дальше продолжать разговор ей было неинтересно. Нюрка поняла ее и не стала больше ни о чем спрашивать. Только с усмешкой заметила все же:

— Тебе-то что от нее ждать? Вырядилась, будто на свадьбу.

Тогда Пелагея огрызнулась:

— Думаешь, все тебе одной, выскочке?

— А мне чего от нее? Наверно, про свой опыт будет рассказывать. Пусть она свиньям нашим про свой опыт расскажет, они послушают.

Пришла Евлампия. Эта была одета, как всегда, в ватник, который в зимнее время с одинаковым успехом служил лесорубам и секретарям райкомов партии, дояркам и свинаркам, учителям и медицинским работникам. Под ватной курткой тот же сарафан и фартук, на ногах резиновые сапоги, на голове теплый платок. Обе женщины, Евлампия и Пелагея, ходили всегда в платках, и лишь Нюрка все еще по-девчачьи носила шапку-ушанку.

Евлампия была возбуждена и очень хотела разговаривать.

— Чуяли? — начала она еще от порога, сметая веником снег с резиновых сапог.

— Чуяли! — ответила ей Нюрка.— Ну и что?

— А то, что ее, Смолкину эту, знатную нашу, уже из района в район возят. Опытом делится.

— Ну и что?

— Вот тебе и что! К нам едет. Уже по всем дорогам в колокола звонят и в ведра бьют.

— И пускай едет. Нам-то что? — всерьез недоумевала Нюрка.— Наших дел она не выправит.

Лампия повысила голос:

— Конечно, выправит! Чтокать чтокаешь, а голова у тебя, девонька, не варит. Сами все выправим к ее приезду. Надо скорей председателя да всю контору на ноги поднимать. Они себе не враги. Расшибутся, а достанут все, чтобы встретить гостью чин чином. Будет теперь у наших свиней, бабоньки, и корм, и подстилка, будет сенная мука и картошка, отруби и турнепс. Все будет, все! Мы этих наших начальников знаем. Они сейчас дорогу к свинарнику коврами выстелют, оторвите мою голову.

Пелагея по-прежнему молчала. А Нюрка вдруг все поняла и оживилась:

— А ведь ты правду говоришь, Лампия. Нам бы только не прозоронить ничего. А то обведут вокруг пальца, навозят кормов на один день, пыль в глаза пустят — и все.

— А я что тебе говорю! — все более возбуждалась Евлампия.— Дурой будешь, как есть обведут вокруг пальца. У них опыт. Напугать их надо всех, вот что. Иди сейчас же к председателю и прямо в маленькие в глаза его брякни: все, мол, расскажем, все разболтаем героине, если совесть свою не покажет сейчас же. И как по крышам лазим, и как в поле снег носом разгребаем, собираем по соломинке, по колоску; разрешил бы осенью бабам — на себе всю солому выносили бы за два дня. Помнишь, он говорил: пусть народ учится уважать колхозную собственность! И гниет эта собственность — ни скоту, ни людям. Беги!

Сейчас Евлампию уже трудно было остановить. Беги, и только! — больше она ничего не хотела знать. Беги поднимай на ноги все правление! А ведь рассветало, надо свиней кормить. Чем только?

— Пошли в поле! — сказала вдруг Палага.

— Куда ты в этих гамашах пойдешь, там снегу еще до пупа! — взъелась на нее Лампия.— К председателю надо идти.

Нюрка поддержала Пелагею:

— К председателю идти, а свиньи голодные.

— Не подохнут один день, бывало, подольше голодали. Тогда иди одна, а мы тут чего-нибудь сделаем.

Евлампия сказала это почти тоном приказа, но Нюрка не обиделась на ее слова. «Значит, признают все же за старшую, меня посылают!» — подумала она.

В это время снаружи заскрипел снег под сапогами. Нюрка заглянула в окошечко и торопливо зашептала:

— Председатель! Молчите, бабы, я сама...

Гаврила Романович Бороздин носил белые бурки, снег под ними скрипел так же, как под сапогами. Шуба с каракулевым воротником была распахнута. Круглое полное лицо его горело от мороза, узкие, инициативно поблескивавшие глазки от яркого снежного света сузились еще больше, и председатель выглядел поэтому особенно хитрым и умным. Вошел он неторопливо, как хозяин в свои владения, и, казалось, ничто его не волновало, никаких экстренных событий в жизни не ожидалось — просто шел мимо и заглянул.

— Здравствуйте, хозяйки! Уже в сборе все — молодцы! Сознательность — дело хорошее,— заговорил он со всеми, глядя на одну Нюрку.

Пелагея вскочила со скамьи, обмахнула ее фартуком и услужливо придвинула к председателю. Тот сел.

— Да ведь не рано уже, Гаврила Романович,— ответила Нюрка за всех,— мы собираемся еще на свету.

— Хорошее дело. Я вас знаю, вы народ сознательный, передовой. Если бы все были такие, как вы, колхоз бы наш уже во-он где был! — председатель показал рукой вперед и вверх. Потом спросил, кивнув головой на котел, вмурованный в печь в углу сторожки: — Кормили?

— Нет еще, не кормили. Нечем кормить, Гаврила Романович.

— Да, я знаю, трудно вам, время сейчас такое, перехо́дное. Переходный этап, можно сказать. Весна на подходе, трудности роста...

— Скоту труднее, чем нам,— вставила свое замечание Евлампия.

Председатель мельком взглянул на нее и опять заговорил, обращаясь только к Нюрке.

— Конечно, и скоту трудно. Трудности роста, говорю. Животноводческая проблема в нашем колхозе еще не решена. По мясу и молоку мы еще не на первом месте. Но мы примем меры и догоним. Догоним и перегоним! А корму я вам достал немного для начала. Сейчас, Нюра, явись ко мне, получишь выписку, оформишь наряд.

— Спасибо, Гаврила Романович! — искренне обрадо-

валась Нюрка, что ей не придется ходить, канючить, ругаться со встречными и поперечными.

— А раньше-то где выписки были? — не удержалась опять Евлампия.

— А ты помолчи! — оборвал ее председатель.— Я не с тобой разговариваю.

— Помолчать можно!

— Вот так-то лучше. Старшая здесь Нюрка, а не ты. К порядку привыкать надо. Тогда во всем порядок будет. И корма будут, и все такое. Затапливай-ка печь лучше.

Печь начала растапливать Палага, а Лампия осталась сидеть на месте. Казалось, Палага хотела угодить председателю.

Бороздин сделал вид, что не заметил непослушания Лампии. Он продолжал:

— Конечно, вам нелегко. Были бы корма — может, и у нас бы свои героини были. Я же все понимаю. Конечно, всем вам отличиться хочется. Про Смолкину слыхали? — вдруг задал он вопрос.

Женщины молчали. Бороздин уселся поплотнее на скамейке, распахнул шубу еще шире — в печи показался огонек.

Ответила Нюрка:

— Как не слыхать? Знаем. Не иностранка какая-нибудь.

— Вот-вот, не иностранка. Свой человек, трудовой. Из соседнего района. А как высоко ее подняли! Вот ты, Нюра, тоже могла бы в люди выйти.

— Как это я могла бы?

— А так и могла бы. И можешь! Мы поддержим, поможем. Только захотеть надо.

Палага молчала, а Евлампия опять сказала свое и сказала со злобой:

— Она все может, если совесть потеряет. Она выскочит.

Нюрка чуть не заплакала от обиды:

— Ну что я тебе сделала? Ну что ты опять на меня?

А Бороздин обиделся не за Нюрку, а за Смолкину.

— Вредный ты элемент,— сказал он, тыча толстым коротким пальцем прямо в глаза Евлампии.— Говоришь много, а толку мало. В старое время таким людям, как ты, языки отрезали.

— Так теперь не старое время. Теперь за правду языки не отрезают.

— И как ты смеешь говорить такие слова,— продолжал председатель,— про знатного человека, про товарища Смолкину?

Евлампия повернулась к нему всем корпусом, словно приготовилась к прыжку:

— Разве я что-нибудь про Смолкину сказала? Вы что, товарищ председатель?

— А про чью же ты совесть говоришь?

— Я ее, Смолкину, в глаза не видела.

— А про чью же ты совесть говоришь? — повторил Бороздин.

Но он, должно быть, недооценил характера и ума своей колхозницы, иначе бы не повел разговор с ней в таком тоне. Он пришел сюда совсем не за тем, чтобы отчитывать свинарок, упрекать их в чем-то, вызывать на спор, на брань. Он пришел, чтобы наладить с ними добрые отношения перед приездом Смолкиной, о чем его предупредил телефонный звонок из райисполкома. Бороздину хотелось, чтобы перед приездом делегации — так он мыслил себе появление свинарки Смолкиной в его колхозе, ведь не могло же быть, чтобы она разъезжала одна,— чтобы до этого на свиноферме был наведен порядочек, насколько позволяли возможности, чтобы и помещение, и сами свиньи выглядели более или менее опрятными, приличными, чтобы все было приличным. На свиноферме он бывал редко. Колхоз стал очень крупным, везде не поспеешь. А когда начинались серьезные перебои с кормом, он старался вообще туда не заглядывать. По текущим вопросам всегда можно было получить информацию от подчиненных, в том числе даже от Нюрки, вызвать ее в свой кабинет. И сейчас председатель хотел вести свой разговор только с Нюркой, как со старшей свинаркой, хотя обращался как бы ко всем сразу. Сбили его злые реплики Евлампии Трехпалой. Такие реплики председатель называл подрывными и старался не допускать их, обрывать их сразу при любых обстоятельствах. А вот не сумел на этот раз.

— Вы слышали, бабоньки, как он повернул все? — громко обратилась Лампия к Нюрке и к Палаге.— Нет, вы слышали? Разве я что про Смолкину Олену знаю? Разве я про ее совесть говорила? А может, она хороший человек, разве я знаю про это? Может, она правдой в люди вышла? Неладно это вы так, товарищ председатель, поймать хотите. Совесть надо иметь. Вот я про какую совесть сказала.

Лампию уже трудно было остановить, она, как говорится, входила в форму. А остановить надо было.

Бороздин снял шапку, вытер лысину — он начал потеть. В печке уже трещали сырые дрова.

— Дрова-то у вас сырые! — сказал он почти с торжеством обвинителя.— Не можете дров для себя наготовить? О дровах летом думать надо! — А затем спросил, обращаясь к Палаге и отмахнувшись рукой от назойливого крика Евлампии: — А вода в котле есть?

Пелагея, с готовностью сделать все для своего председателя, подплыла к печке, подняла деревянную крышку над котлом и опустила в него руку. Вода в котле была.

— Не сумлевайтесь, Гаврила Романович, вода у нас завсегда есть,— пропела она.

— Вот так! — сказал Бороздин.

Евлампия была сбита с толку его спокойствием, и горячность ее сразу улеглась. От запальчивости и крика она могла теперь перейти к длительному молчанию.

Тогда Бороздин заключил разговор:

— Злая ты баба, Лампия. Отчего ты такая?

Евлампии уже ничего не хотелось говорить, и ответила она вяло, без всякого желания спорить:

— Свиньи тоже злые.

Дальнейший разговор пошел мирно. Гаврила Романович не стал сообщать, как намеревался, что ждет приезда Смолкиной, но все же соблюдал тон хозяина и немножко ворчал и покрикивал на свинарок и был заискивающе ласков с ними.

— Все поправим, приходи, Нюра, в контору. Найдем корма.

Он заинтересовался вдруг, что стены сторожки были оклеены плакатами, лозунгами — это понятно! — и разными вырезками из журналов и даже открытками, не имеющими никакого отношения к свиноферме,— а это зачем?

— Плакаты, лозунги — это хорошо! — сказал он.— За дальнейший рост поголовья, за быстрый откорм свиней, за увеличение живого веса — все так! А картинки эти тут по какому случаю? Вот что это: «Иван-царевич и серый волк»? Вы что — маленькие? Или это: «Опять двойка»? Если у него двойка за двойкой, так зачем его рисовать да на стену вывешивать? Это же не способствует! А в углу что за портрет? Салтыков-Щедрин,— прочитал Бороздин.— Гм. Он что — за свиней или против? Ученый какой-нибудь или тоже царевич? Откуда вы все это

набрали и для чего? Разве такие портреты полагается на стенах вешать?

Нюрка ответила:

— Это старший сынок Лампии для матери своей старается, чтобы она тут от красоты не отвыкла. А портрет очень на его дедушку похож. Говорит: дед, да и только!

Однажды Бороздин выругал Евлампию за то, что в свинарник часто ходят ее дети — негигиенично-де, ребятишки могут инфекцию на ферму занести. Но так как он и сам не верил тому, что сказал, то сейчас решил и не вспоминать об этом случае.

А Нюрка встревожилась:

— Ничего плохого ребятишки здесь не делают, Гаврила Романович. Просто к матери ходят. Лампия их редко дома видит: она домой — они в школе, они дома — она здесь. А старшего учитель даже похвалил за то, что он украшает наш свинарник: это, говорит, школьный вклад в подъем колхозного животноводства.

— И правильно сказал,— согласился Бороздин.— Разве я против этого? Я напротив. Пусть украшает! Способный парень растет...

Лицо Лампии от слов председателя смягчилось, а Нюрка стала рассказывать еще:

— Где ни найдет Колька, сынок ее, журнал какой ни на есть — старый ли, новый ли,— так сейчас же вырезает из него все картинки и тащит сюда, к нам. В сторожке места уже не стало — теперь свинарник украшает: и там скоро все стены заклеит.

— Это хорошо,— одобрил председатель,— это культура! — И опять в его глазах появился некий инициативный огонек.

— Все для мамы, говорит,— хвасталась Нюрка как будто своим сыном или братом.— А лозунги, те сам сочиняет, чтобы складно было, и сам пишет печатными буквами. Вот этот он сам сочинил,— указала Нюрка на две стихотворные строчки, написанные на развороте газеты химическими чернилами жирными буквами.

Бороздин прочел вслух:

Дорожи любой свиньёй
Во славу родины своёй! —

и захохотал:

— Вишь ты, это по-нашему, на «о». У нас «о» завсегда было круглое, будто тележное колесо. Дело хорошее: идея есть и складно.

В свинарник Бороздин не пошел, только дал наказ, чтобы во всем был порядочек, чтобы старались женщины, а Нюрке приказал немедленно явиться в контору, оформить получение кормов.

— Мы вас всегда поддержим, только вы нас не подведите.— И опять в его глазах появился инициативный огонек. Но он тут же потух, как только Бороздин подумал, где возьмет он обещанные корма.

Когда он ушел, Нюрка спросила, глядя на Лампию и Палагу:

— Откуда вы взяли, что Смолкина приедет?

— Неужто нет? — ответила Лампия вопросом же.

— А промолчал?

— Значит, так надо. Молчать-то он научился. Политику с нами разводит.

Затем Лампия спросила Палагу:

— Ты чего лебезишь перед ним? Для чего подлизываешься?

Палага не обиделась, что было на уме — то и выложила:

— К тебе, что ли, я буду подлизываться? Меня не убудет, а жить спокойнее. Начальство, оно все в строку ставит. Надоело мне, бабоньки, все надоело, вот что я скажу.

Вода в котле закипела. Женщины начали колдовать, чем бы накормить свиней, а Нюрка надвинула поглубже шапку на уши да одернула серый засаленный ватник и пошла по вызову председателя.

Гаврила Романович Бороздин в своем кабинете разговаривал с Нюркой, как заговорщик, хотя и на этот раз не сообщил, что ожидается большая гостья.

— О корме распоряжения уже отданы. Ни о чем не беспокойся, все будет сделано,— шепнул он.— А ты сейчас же иди домой и прочитай вот эту книжицу, подумай над ней.— Он взял одну брошюру из целой стопки точно таких же и вручил ее Нюрке. Это был рассказ знатной свинарки Елены Смолкиной о своей работе.

Затем последовали новые указания:

— Сегодня на свиноферму не ходи. Прочитай эту книжку, изучи ее, а завтра проведи воспитательную работу в своем коллективе, чтобы запомнили все и извлекли опыт. Вот так! Я целиком полагаюсь на тебя. И еще раз проверь там у себя, чтоб все было на своем месте и во всем чтобы соблюдался порядочек. Понятно?

Нюрка все поняла.

— Да, вот что еще,— добавил председатель.— Мобилизуй этого паренька, Кольку, сынка этого, чтобы он еще присочинил чего-нибудь и повесил бы. Такое, понимаешь, чтобы подходило к текущему моменту. Если нужны бумага и краски, скажи Лампии, пусть пошлет в контору к счетоводу. Будет сделано.

Нюрка холодно смотрела, как волнуется Бороздин, и так же холодно спросила его:

— А может, она и читать наши вывески не будет, не видала, что ли?

Бороздин обрадовался:

— Вот-вот, поняла, значит, догадалась. Будет читать, не будет читать — не наше дело. Наше с тобой дело приготовиться. Одна она, что ли, приедет!

●

Деревня стояла на береговом откосе, обращенная всеми своими окнами к реке. Но между домами и рекой издавна стояли маленькие, наполовину втянувшиеся в землю либо сползшие к самой воде черные баньки. Бывало, сидят мужики на крылечке, покуривая самосад и поглядывая поверх гниющих и дымящих бань за заливные заречные луга, и вдруг кто-нибудь скажет, сплюнув со злости под ноги:

— Утопить мало тех, кто первые начали строить бани перед самыми окнами!

— Да, планировочка! — подтвердит другой.

Но всегда находились и трезвые головы:

— Конечно, первый кто-то был. Только какой смысл теперь проклинать их, первых кляни не кляни — они свое дело сделали. И, конечно, их тогда понимали и поддерживали: дескать, не надо далеко за водой ходить.

— Утопить мало! — повторял решительно свое осуждение начавший этот разговор.

— Ну и топи, ему-то что!

Только, надо полагать, баньки не всегда были такими неприглядными: на отдельных сохранились еще остатки резьбы по краям крыш и даже выструганные из березовых плах либо из кривых корней причудливые петушки на охлупнях. Наверно, баньки были хороши, красивы, пока не начали гнить и крениться в разные стороны.

То же самое с качелями. Остатки их сохранились на крутом берегу реки в конце деревни — два высоченных

столба с перекладиной да пара слег, заменявших когда-то веревки. Самой доски, на которой сидели и стояли качавшиеся, уже не было, и старые, черные от гнилостных грибков столбы напоминали теперь только виселицу. А ведь когда-то здесь, на угоре, каждый вечер, а в праздники с утра до вечера шумела, веселилась неприхотливая к затеям сельская молодежь. Тут влюблялись и сватались, ревновали и дрались...

В зимнее время, когда и река и поёмные луга по обоим берегам, и гнилые баньки, и остатки качелей по уши были под снегом, казалось, что все на месте и ничто не портит красоты родной природы.

Нюрка торопливо шла по деревне, размахивая одной рукой, а другой сжимая в маленьком кармане ватника книжку знатной свинарки Смолкиной. Ей не терпелось прочитать эту книжку. Волнение председателя как-то передалось и ей. А вдруг приезд Смолкиной что-то изменит в ее жизни, осмысляя и углубляя ее, вдруг Смолкина подскажет что-то такое, из-за чего свиноферма сразу поднимется, и люди будут довольны, и свиньи перестанут голодать?

Катерина Егоровна, встретившая ее на крыльце своей избы, встревожилась:

— Что рано являешься? Не случилось ли беды какой?

— Ничего, матынька, все ладно. Дай поесть чего-нибудь, читать буду.

— Читать? Замуж пора выходить. А она — читать.

Смолкину Елену Ивановну знали по всей округе. С портрета смотрело широкоскулое молодое лицо в белом платочке с умными веселыми глазами. Нюрке лицо понравилось, только вот тоже — ни на щеках, ни на подбородке ямочек нет, а она, да, наверно, не она одна в деревне, считала, что такие ямочки — главное в женской красоте. Себя Нюрка не ставила почти ни во что именно потому, что ни одной ямочки на лицо бог ей не дал. А вот, оказывается, у Смолкиной тоже их нет, а — ничего, неплохое лицо. Уж за нею-то, наверно, все первые парни сломя голову бегают да не из одной какой-нибудь деревни, а со всего района, а может, со всей округи.

Прежде чем читать брошюру, Нюрка показала смолкинский портрет своей матери и спросила ее:

— Красивая она?

Катерина Егоровна вытерла руки о передник, взяла книжку обеими руками, поднесла ее к окну, к свету и в свою очередь спросила:

— Кто это?

— Да вот она и есть, Смолкина.

— Кто такая?

— Неужто не знаешь? Надо же! Смолкина, Елена, свинарка знаменитая, можно сказать, напарница моя.

— Нашла себе напарницу. Ее, поди-ко, только в красные углы сажают. Ишь какая! — восхищенно всматривалась в портрет Катерина Егоровна.

— Ты мне скажи, красивая она? — настаивала Нюрка.

— Да лишней красоты будто нет, а ребятам, поди-ко, такая по нраву, все за ней гоняются. Только что это у нее на носу, будто дырка маленькая?

— Где на носу?

— А эвон, на самом наконешнике. Как на наперстке ямочка, что ли, какая?

Нюрка всмотрелась — и верно: на самом кончике носа ямочка. Значит, есть все-таки ямочка у Смолкиной. Не зря, значит, красивая такая! — решила она.

А у Катерины Егоровны мысль шла своим путем:

— Это у нее шадринка на носу. Наверно, девчонкой оспу перенесла. Видала шадровитых? Это все из-за оспы. Когда ребенок заболеет, бывало, черной оспой, ему на ночь руки связывают, чтобы не содрал себе коросту с лица. Сорвет коросту — на всю жизнь человек меченым остается, шадровитым. Говорят про таких, что на роже у него черти горох молотили. Родители, бывало, денно и нощно следят, чтобы спасти чистую кожу своему детенышу. Видно, и за ней следили, да не уследили, сколупнула-таки корочку с носу, осталась ямка на самом кончике.

— Что же ты мне, мама, хоть одной ямки не оставила?

— Вот дурная девка! Да разве шадринки для красоты? Это когда человек улыбнется и у него лунка на лице засветится, вот тогда для красоты. И то ежели к лицу идет. У всякого лица, голу́ба душа, своя красота есть. А тебе зачем шадринки? Когда ты росла, оспы уже не было.

День зимний короток, как жизнь человека, особенно если он хочет что-то сделать, а не торопится. Пока Нюрка собиралась сесть за брошюру, наступили сумерки и

читать пришлось до поздней ночи при керосиновой лампе. Лампа висячая, но на время чтения Нюрка сняла ее и поставила на стол — читала и боялась, что забудется, двинет столом и неустойчивая лампа свалится.

В избе было тихо. Мать поворчала-поворчала и забралась на печку. Отец зимой работал на лесозаготовках и жил где-то в казенных бараках. Старший брат Нюрки отслужил положенное время в армии и, получив паспорт, в колхоз не вернулся, а устроился для начала разнорабочим на металлургическом комбинате. Ему хорошо, он два раза в месяц получает свое, заработанное, на руки. У него не трудодни.

В трубе выл и стонал ветер. Отчего он никогда не забирается в трубу днем? А может, это мать храпит со сна и посвистывает во все свои завертки, во всю ивановскую? В какую ивановскую? Что такое завертки и откуда они у матери?

Смолкина писала о колхозном животноводстве, о росте поголовья свиней, о их убойном весе, о жирности, о сальности. Рациональное содержание... Рациональное скармливание... Искусственное осеменение...

Нюрка читала и думала: здорово! Только в сон клонит. Грамотная, видно. Куда ей, Нюрке, до такой! А ведь было однажды, председатель Бороздин говорил ей: поддержим! Все тебе дадим! Героиней будешь! Наверно, она неправильно себя вела. «Зазналась я, вот что,— опять начала она сомневаться в своей правоте.— Если б не зазналась, так не лезла бы на рожон, не кричала бы на всех, как будто старше да честнее меня никого и нет в колхозе».

Нюрка хорошо помнит, как росла слава Елены Смолкиной. Об этом много рассказывалось повсюду. В колхозе проездом побывал секретарь обкома и похвалил ее работу. В районной газете появилась заметка, в которой рассказывалось, как Смолкина заявила секретарю обкома, что не пожалеет своих сил, чтобы оправдать его доверие, работать еще лучше. После этого уже другой секретарь обкома похвалил Смолкину еще раз на каком-то областном совещании по животноводству и одновременно спросил, не обращаясь ни к кому персонально: а что знают районные работники об инициативных людях в своих колхозах, поддерживают ли их, выдвигают ли, поощряют ли? В любом районе есть свои передовики, свои герои, надо только уметь их находить. Находить и воспитывать. Нет — значит, не нашли, ленивы...

Областная газета об этом совещании дала целую полосу под общим заголовком: «В каждом районе должны быть свои герои». Так впервые появился портрет Смолкиной. За малейший ее неуспех теперь стали взыскивать с районных руководителей, а те с правления колхоза. И успехи Смолкиной стали расти с каждым годом.

Ходили и всякие иные разговоры.

Однажды при опоросе у Смолкиной будто бы погибла свиноматка. Оставшихся поросят Елена Ивановна пересадила к другой свинье. Приехавший в колхоз корреспондент, кое-что понимавший в свиноводческом деле, подсчитал всех поросят, облепивших постапывающую хавронью, и воскликнул на весь район:

— Это же рекорд! Восемнадцать поросят! И все от одной?

Елена Смолкина на первый раз промолчала. А когда корреспондент повторил вопрос, она рассмеялась и сказала:

— Вот чудной какой, сама я, что ли, нарожала их?

Корреспондент бросился к председателю колхоза. Тот горделиво заявил:

— А вы что думаете, мы не умеем выращивать своих героинь в колхозе? Умеем! При должном руководстве в каждом колхозе могут быть свои героини.

Слава Смолкиной стала гордостью и козырем колхоза, и района, и области. «Мы с тебя за Смолкину голову снимем!» — сказано было как-то председателю колхоза. Конечно, сказано было под горячую руку, но ведь и голову можно снять тоже под горячую руку — разве председателю от этого будет легче? И он все свое внимание и все силы и средства колхоза направил на решающий производственный участок — на свиноферму Смолкиной. Колхозную свиноферму так и называли: свиноферма Смолкиной. Ходили слухи о незаконных приписках в ее пользу. Но, может, это были только слухи, сплетни?

«Если бы не поддержка, если бы не помощь, если бы не указания и руководство...— пишет Смолкина,— моя бы свиноферма не смогла выйти в число передовых...»

«Дура я, дура и есть! — упрекает себя Нюрка.— Вот всегда у меня так: сначала накричу, а потом кумекать начинаю. И Лампия у меня такая же. Разве Бороздин не обещал нам свою помощь и поддержку? Разве бы я не смогла вот так же... Книжка бы... с портретом бы... Эх, Нюрка ты, Нюрка! — И опять сомнения и самая обыкновенная зависть начинали точить ее сердце.—

Интересно все-таки, неужели она это сама все писала? Села вот так за стол и давай сочинять целую книжку? Надо же! Рациональное содержание!.. Рациональное питание!.. Ты бы еще, Елена Ивановна, про диетпитание рассказала, да нашим бы свиньям, они бы тебя послушали! Мы их крышами кормим, вот что я тебе скажу по секрету. У нас вон опять осенью все сенокосы залило водой раньше срока. Сено сгрести не смогли из-за паводка. Да что сгрести! Копны, стога целые смыло, как слизнуло. А не смыло, так насквозь пролило дождями — тоже не лучше. От воды сено загорелось. Дым над стогами стоял. Болотины у нас много — вот наше горюшко. Никакие машины на наши сенокосы не пройдут, а народу поубавилось. Пожни кустами заросли, мохом да кочками их затягивает. Всю свою жизнь деды и прадеды наши с лесом воевали, жгли новины, пни корчевали, пожни расчищали. А теперь лес опять в наступление пошел. И никакие бульдозеры нам не помогут. Как же быть-то? Смолкина ты, Смолкина,— мысленно обращалась Нюрка к Смолкиной.— Неужели ты сама этого ничего не испытала? Вот про бекон пишешь, а что это такое — я ведь даже не знаю, жир, что ли, свиной? Сало, значит? А какое у нас сало от свиней, когда на них только щетина растет! Да и ту мы под заход бросаем».

Постепенно рассказ прославленной свинарки о своей жизни и работе увлек Нюрку. Но все вычитанное ею в книжке казалось каким-то очень далеким от того, чем она сама ежедневно жила, все будто из сказки, ненастоящее, невзаправдашнее. «Неужели и я так могла бы написать? — спрашивала себя Нюрка и отвечала: — Нет, у нас все не так, все не как у людей. У всех дела идут хорошо, только у нас у одних плохо. Как же бы я могла про нас написать?»

И она стала вспоминать, как два-три года назад ее свиноферма тоже прослыла вдруг передовой в районе. Так это же что было? Срам!

В передовые ферма попала после того, как весной, при полном отсутствии кормов, свинарки использовали предложение маленькой Нюрки, только что назначенной тогда на эту работу, и добились резкого снижения падежа, а затем и вовсе его остановили. Правление колхоза и вышестоящее руководство были этим чрезвычайно удивлены. По всем расчетам и прогнозам в голодную для животноводства зиму две трети свиней должны были погибнуть от бескормицы, а погибло, вопреки намерениям, меньше

одной трети. Как это ни странно, весенний падеж скота у нас совсем еще недавно тоже планировался и планы по падежу чаще всего перевыполнялись. На этот же раз на свиноферме произошло какое-то чудо, которым заинтересовался весь район. В колхоз посыпались телеграммы и письма, хлынули разные уполномоченные и газетные корреспонденты, в конторе правления то и дело раздавались телефонные звонки. Чудо надо было изучать и в случае чего обеспечить распространение передового опыта по всему району, а ежели поступят указания, то и по всей области, а новаторов колхозного производства выдвинуть, прославить и, по крайней мере, премировать.

Чудо действительно было. Маленькая бойкая Нюрка, не раз плакавшая от жалости к голодным поросятам и свиньям, заметила, что, выпущенные на прогулку, они грызут голую землю, жрут навоз, и предложила собирать свежие конские шарики, запаривать их и, чуть присыпая отрубями, скармливать свиньям.

Это свиное блюдо колхозники прозвали комбикормом. Под таким названием оно и функционировало в газетных заметках и статьях, пока публикацию их не прервал звонок из обкома партии: «Вы что, с ума сошли?»

Свиньи выжили. К Нюрке постучалась слава. Только Нюрка оказалась недостойной ее: она сама ее высмеяла, сама себя славы лишила.

Больше всего огорчился этим председатель колхоза Гаврила Романович Бороздин. Ему, как всем председателям, очень нужна была в колхозе хотя бы одна героиня. В районе он не раз слышал наставления: «Какой же ты руководитель, если ни одной знаменитости не сумел вырастить? Колхоз должен иметь своих героев!»

Случай, когда Нюрке удалось сохранить поголовье свиней, был самым подходящим, оставалось только провести соответствующие организационные мероприятия — и героиня была бы налицо. Упускать такой случай было недопустимо. И Бороздин, казалось, сделал все, что мог, и линию свою вел правильно. Прежде всего он расхвалил Нюрку на общем собрании колхозников, поддержал ее творческую инициативу и передовой почин и подробно разъяснил колхозникам, в чем проявилась ее настоящая русская народная сметка. В зале, правда, немножко посмеялись, но председатель сделал вид, что смешков не заметил, не слышал.

Затем он вызвал Нюрку к себе в контору, в свой

председательский кабинет. И вот тут-то она и показала себя с неподходящей стороны.

— Есть такое мнение, Нюра,— сказал Гаврила Романович, склонившись над письменным столом и скрестив свои короткопалые руки на массивном мраморном пресс-папье,— есть такое мнение, чтобы выдвинуть тебя. Для начала поставим мы тебя на должность заведующей нашей передовой колхозной свинофермой, дадим тебе, так сказать, зеленую улицу. А там все будет зависеть от тебя самой: окажешься на высоте, оправдаешь наше доверие — значит, дальше пойдешь.

Тоненькая Нюрка одернула юбчонку сзади, шмыгнула носом и села на стул напротив мохнатого толстого председателя, затем осмотрела его малиновый нос, полные щеки, заглянула в маленькие, заплывшие, поблескивающие глазки и ответила:

— А как я оправдаю ваше доверие, Гаврила Романович, коли свиней комбикормом пичкаем? Ведь передохнут все равно.

— Об этом не твоя забота,— заявил председатель.— Всем обеспечим и тебя, и твоих свиней. Главное, нам теперь не упустить счастливого случая и приковать внимание к свиноферме. А потом уж все будет.

— Не понимаю я вас чего-то, Гаврила Романович. Свиньи-то ведь голодают.

— Голодали! — поправил ее председатель.— Больше голодать не будут.

— А что вы сделаете?

— Я тебе говорю: все сделать можем!

— Так давайте корма. У нас свиноматки и те на голодном пайке.

— Вот ты и дашь им корма. Да и весна уже на носу.

— Где я им корма возьму?

— Это опять не твоя забота, говорю тебе.

Бороздин не горячился, гудел спокойно, басовито, как мохнатый шмель, а Нюрка, будто пчелка перед ним, тоненькая, с перехватом, и голосок ее нет-нет да и сорвется на высокие тона, зазвенит знобко, с угрозой.

— Что вы надо мной шутки шуткуете? Будут корма или с комбикормом в передовых будем ходить?

— Все будет, я тебе говорю, как только станешь заведующей, все условия создадим.— Бороздин приподнял мраморное пресс-папье и твердо со стуком опустил его

на стол, словно большую точку поставил.— Сейчас дам тебе бумагу в зубы, сядешь на подводу — и в район. Пойми меня, Нюра, как руководителя,— мне ничего нельзя уже просить в районе, я много уже брал, а тебе можно. Тебе не откажут, про тебя хорошо в газетах написали, тебя похвалили, тебя и должны теперь поддержать. А характер у тебя есть. Только ты пойми меня, Нюра, правильно. В районе передовых людей недостаток, новых выдвигать надо. Тебя обязательно поддержат. Тебя воспитывать будут, с тобой работать начнут, а ты им про свиней про наших, пойми ты это. Все дадут! Героиней будешь!

Гаврила Романович Бороздин был человек свой, не городской, и потому, выкладывая перед Нюркой начистоту свой план, не считал нужным как-то дипломатничать с нею, да, собственно, и не умел этого делать. Хитрости его были доморощенные, понятные.

— Все тебе обеспечим,— гудел он.— На совещания передовиков будешь ездить, выступать начнешь. И колхозу польза: все на виду будем.

Нюрка не сразу разобралась, какой путь к славе он предлагал ей, а когда разобралась — обиделась.

— Зачем на совещания? — осторожно начала дознаваться она.

— Опытом своим делиться.

— Я говорить не умею.

— Мы тебе все напишем, только читай.

— Значит, вместе будем ездить?

— Конечно, вместе, ты ничего не бойся.

— И про комбикорм наш расскажем?

— Ты что это? — насторожился председатель.

— Вместе будем очки втирать, да?..— Голосок у пчелки зазвенел еще выше, еще звончей и со злобой: — Свиней кормить надо, а вы меня заведующей хотите поставить. Аль думаете, одним начальником будет больше, так свиньи дохнуть перестанут? Мало еще у нас всяких заведующих? Набьют кожаные голенища разными бумагами и слоняются от фермы к ферме, ручки в брючки да по совещаниям ездят, опытом делятся. Колхозная интеллигенция!..

У Бороздина глаза расширились от удивления, и вместо инициативного огонька в них появился гнев:

— Ты где находишься, оглашенная? — зашипел он, стукнув тяжелым пресс-папье по столу.— Ты с кем разговариваешь?

Но Нюрку уже остановить было трудно. Молодая, безрассудная, она еще не хлебала горького досыта, еще не знала, что такое страх. От возмущения она раскраснелась, как на морозе, и стала даже интересной, красивой: всю бы жизнь ей возмущаться да гневаться!

— Неправду я говорю, что ли? Хоть кто-нибудь из начальников работает на свой колхоз? Только учитывают, да подсчитывают, да насчитывают. Разве этого от нас требуют? Почему они спиваются? Потому что дела настоящего нет. Почему воруют? Потому что на водку деньги нужны. На честные деньги не сопьешься!

Гаврила Романович взял себя в руки, кричать не стал, но Нюрку все же остановить сумел.

— Так-то ты оправдываешь доверие? — сказал он строго и внушительно.— Ненадежный ты элемент. Иди работай и не занимайся демагогией! — приказал он под конец и на этом оборвал разговор.

Так и не стала Нюра заведующей свинофермой. И писать в газете о свиноферме скоро перестали.

«А может, я сама во всем виновата? — думает теперь Нюрка, читая смолкинскую брошюру.— Все-таки ведь председатель-то хотел, чтобы свиноферма передовой сделалась. Ведь ему тоже не легко, наверно!..»

И героиней Нюрка не стала. Опять, может, во всем сама виновата? А вдруг стала бы она героиней — посмотрела бы мама, фу-ты, ну-ты, ой здорово! Хоть бы для мамы!

А Смолкина вот и героиней, наверно, станет! А что говорили про нее разное, так мало ли чего у нас не наговорят! Будто бы и подслащивали ей, и приписывали чужие успехи. Народ у нас всякий: могут намолоть с три короба, только слушай знай.

Чем больше Нюрке встречалось в смолкинской книжке непонятного, чем больше было там ученых слов, тем с большей почтительностью думала она о Смолкиной, о своей знатной напарнице, тем с большей завистью повторяла: «Неужели я не смогла бы?»

Мать ворочалась на печи, спрашивала:

— Скоро угомонишься, полуношница?

— Не угомонюсь я, мамочка, спи! Ты-то чего не спишь?

— Когда она приезжает?

— Ничего не знаю, председатель не сказал, только велел подготовиться. Спи, мама!

— Что я, не человек, что ли? Спи да спи! Я ведь тоже думаю.

— Ладно, мама!

— Чего ладно-то? Ты вон керосину добавь в лампу, совсем затухает, сожжешь ленту, тогда с чем будем сидеть? Керосин за суденкой, в бутылке.

Нюрка нашла бутылку, вывернула горелку, не гася огня, и налила в лампу керосину. В избе стало светлее, а запах керосина донесся даже до Катерины Егоровны. Она поднялась, свесила ноги с печи, но слезать не захотела.

— Приготовиться, значит, велел. А как это — приготовиться? — снова заговорила мать.

Нюрка закрыла книжку:

— Корму всякого обещал отпустить. Где он только возьмет его, не знаю!..

— Он найдет, когда до зарезу надо. Уже корма развозят, я слышала. И на скотный двор увезли воз сена, от лошадей взяли.

— Надо же! — удивилась Нюрка.— Вот книжку еще велел изучить да почистить все, порядочек навести...

— Ты как с ней будешь разговаривать? — поинтересовалась Катерина Егоровна.— Всю правду выложишь или подсластишь, скроешь кое-чего?

— От нее разве что скроешь? — убежденно ответила дочь.— А уж разговаривать и не знаю как. И правду бы надо выложить, чтобы на пользу пошло, и боюсь, чтобы не навредить кому. Худой-то славы тоже ведь распускать неохота. Вражина я, что ли, какая!

— Худая слава — она худая и есть,— подтвердила мать.— Это верно! А скроешь — тоже пользы не будет. Правда — она всегда лучше кривды.

— А помнишь, ты, мама, говорила мне: не плюй против ветра?

Катерина Егоровна чуть смутилась:

— Помню, как не помнить. Так ведь это когда ветер в лицо. А если ветер попутный — ничего не бойся.

— Сейчас попутный?

— Правда, дочка, всегда лучше кривды. Ржа ест железо, лжа — душу.

— Ладно, мама, давай спать.

— Я, что ли, тебе мешаю? Спи давай ложись.

Нюрка повесила лампу над столом и потушила ее, дунув сверху в стекло.

6

Председатель колхоза Бороздин по телефонному звонку из района выслал навстречу Смолкиной грузовик, чтобы, не дай бог, не застряла ее легковушка где-нибудь в снежной мякоти на волоку, и с утра вся деревня ждала, что вот-вот завиднеется в поле на росстанях какая-нибудь районная «Победа» на прицепе у колхозного грузовика. Но до вечера никого не было, и грузовик все это время торчал на пути, как на посту, километрах в шести от деревни. А к вечеру на росстанях перед деревней показался целый поезд из четырех автомобилей: впереди шел новенький ГАЗ-69, за ним две «Победы» — синяя и ядовито зеленая, а затем уже грузовик, будто толкач-паровоз, чадил, громыхая кузовом и почтительно притормаживая в нужных местах. Три легковых сразу — такого в колхозе, кажется, никогда еще не бывало, и яркие «Победы» на снежном поле производили такое впечатление, как если бы в зимнем небе вдруг засверкала радуга.

— Вот так делегация! Тебя бы, Нюрка, этак взамуж выдавать! Свадьба, да и только.

— Куда ей, выскочке!

— Какая я тебе выскочка?

— На какой же она машине сидит?

— Кто она?

— Сама-то?

— На всех на трех.

— Будто министра какого везут.

— Ну что ж такого, у нас не часто гости бывают.

Когда легковые автомашины проходили по деревенской улице, старые, перекосившиеся и наполовину занесенные снегом баньки казались особенно неприглядными и нелепыми. Грузовик пронесся по берегу реки и скрылся за перекрестком улиц, а легковушки остановились у конторы правления.

Бороздин, запыхавшийся и раскрасневшийся — не так от морозца, как от волнения, испуганно перебегал от машины к машине, не зная, какую дверь сначала открыть и кому важнее оказать больше чести: гостья гостьей, но ведь районные работники райкома и райисполкома — тоже гости, да еще и хозяева к тому же!

Инструктор райкома Торгованов, молодцеватый, с залысинами на лбу, заметными даже из-под шапки, первый выскочил из «газика» и распахнул правую переднюю дверь ядовито-зеленой «Победы».

— Приехали, Елена Ивановна! — крикнул он на всю улицу, как будто Елена Ивановна сама могла не видеть, что приехали и что надо выходить.

У конторы собрались все, кого приглашал Бороздин, и ждали, что будет дальше, что им делать и что говорить. Были тут работники бухгалтерии, бригадиры из всех отделений колхоза, кладовщик, агроном, зоотехник, одна учительница и все три свинарки во главе с Нюркой...

Смолкина вышла из машины и сказала громко и приветливо только одно слово:

— Здравствуйте!

И все как бы облегченно вздохнули в ответ ей:

— Здравствуйте!

Бороздин, весь красный от напряжения, подкатился к ней и пожал ее руку:

— Здравствуйте, Елена Ивановна. Пожалуйте, Елена Ивановна!

— Это председатель колхоза «Восход зари» Бороздин! — назвал его инструктор райкома партии.

— Бороздин Гавриил Романович! — отрекомендовался и сам председатель.

Захлопали дверцы машин, из них стали выходить люди в теплых зимних пальто, в шапках-ушанках. Одна Смолкина была в шляпке. Но шуба на ней тоже была теплая, зимняя, с шалевым меховым воротником и с меховой оторочкой по подолу и рукавам.

— Пожалуйте в нашу контору, Елена Ивановна. Ждем вас, можно сказать, не дождемся.

Смолкина пошла вперед, поднялась по ступенькам на крытое крыльцо и скрылась в сенях. За нею направились все прибывшие из района и председатель.

Кроме лысоватого инструктора райкома партии Торгованова среди прибывших был агроном из райисполкома, робко державшийся в стороне, ни во что никогда не вмешивающийся; горбатенькая женщина, заведующая райпарткабинетом, увязавшаяся за Смолкиной главным образом затем, чтобы навестить в колхозе «Восход зари» своих дальних родственников; паренек из райкома комсомола, пытливо примечающий все, и особенно, как ведет себя инструктор райкома партии, и приобщающийся через него к большой жизни.

Выделялся же из всех, вернее, выделял себя из всех, корреспондент, он же фотограф районной газеты «Дубовиковская правда» Сёмкин, мальчишка, которому каза-

лось, что на земле существует только он один или, по крайней мере, он — главный, вследствие чего он всюду подавал свой голос, неизменно лез вперед и во что бы то ни стало, при всех обстоятельствах старался играть руководящую роль. Инструктор райкома партии Торгованов вынужден был следить за ним не меньше, чем за Смолкиной, чтобы все было правильно, постоянно обрывал его, одергивал, ставил на свое место, держал при себе.

Колхозники расступились перед гостями, затем, замкнув кольцо, двинулись вслед за процессией в избу.

Семкин, опередив всех, взлетел на крыльцо и успел несколько раз щелкнуть фотоаппаратом.

На крыльце Торгованов прошипел Бороздину:

— Хлеб-соль надо было приготовить. Что ж ты?

— Я думал, хлеб-соль — только для иностранцев, а она ведь наша,— ответил Гаврила Романович.— Кабы я знал... предупредить надо было.

Переступив порог конторы, Смолкина быстро осмотрела помещение. В первой комнате она увидела два письменных стола, стулья и табуретки в простенках между окон, радиоприемник в углу, старинный деревянный висячий телефон, похожий на скворечник, ленту обоев, на обратной стороне которой было напечатано во всю переднюю стену: «Добро пожаловать, Елена Ивановна!» (ее напечатал по срочному заданию Бороздина все тот же сын Лампии, Колька), множество ярко раскрашенных плакатов с дородными, хорошо откормленными свиньями самых разных пород — и в стойлах, и на выгоне, и поодиночке, и попарно, и целыми стадами (плакаты эти были присланы на днях из отдела райисполкома с предписанием немедленно развесить их по всему колхозу на видных местах).

— Пожалуйте, Елена Ивановна, в мой кабинет, можно сказать, в председательский! — Бороздин почтительно распахнул перед нею дверь следующей комнаты. Смолкина сделала движение, что хочет раздеться.— Пожалуйте, пожалуйте! Там разденетесь,— настойчиво повторил Бороздин.

— Разденемся в кабинете! — сказал корреспондент Семкин и первый ринулся вперед.

Смолкина прошла в кабинет, за нею все прибывшие и председатель. Дверь закрылась. Приглашенные на встречу с гостьей колхозные служащие и члены правления, все одетые по-зимнему, остались топтаться в первой общей комнате наедине с собой. Разговаривали вполголоса. Кто-то восхищенно зашептал:

— Гаврило-то наш, как научился, видали? Что тебе директор театра или министр какой: «Пожалуйте да пожалуйте!» Молодец мужик.

— Да, нахватался образования.

Потом — о другом:

— Три машины, вот как! Кто это с ней приехал?

— Разные, наши все, районные.

— Век живи, а всех своих районных начальников так и не распознаешь.

Ламния толкнула Нюрку в бок, горячо зашептала в ухо:

— Шубу-то разглядела? Кругом мех.

— Разглядела,— ответила Нюрка.— Трудодни-то небось не такие, как у нас, вот и мех кругом.

— А к свиньям тоже в шубе ходит? Али в ватнике?

— В белом халате.

— Она докторша, чи що?

— Профессорша.

— Ладно тебе,— обиделась Ламния, а немного помолчав, начала спрашивать снова:

— Шляпку-то видела?

— Видела. С вуалькой.

— С какой вуалькой?

— С сеткой.

— Сетка эта — мужиков ловить.

— Болтай больше! — сказала Нюрка.

— А чего болтать? И как только у нее уши не мерзнут под таким ведерком?

— В машине тепло, она в машинах ездит.

Ламния вздохнула.

— Вот это жизнь, бабы! — с завистью зашептала Пелагея.— Мне бы так устроиться.

— Спи больше, устроишься.

В комнате образовались группы по два, по три человека, разговоры возникали самые разные, то шепотом, то вполголоса. Кто-то спросил:

— Чего делать-то будем? Чего ждем?

Ему ответили:

— Раз позвали — значит, надо. Подождем.

— Нам торопиться некуда, чего-нибудь дождемся.

— А угощенье будет?

— Не без этого. Бороздин, наверно, уже водку разливает. Сейчас и тебе вынесет.

— Мне много не надо. И мало не приму.

— Помалу он не наливает, придется пить.
— А вправду, чего они там делают?
— Кто их знает. Наверно, ей хлеб-соль подносят, а может, сговариваются, чтобы все было на уровне. Только угощенье будет не здесь. На вечер ужин готовят.
— Нас-то позовут?
— А не позовут, так из колхоза выйдешь?
Пелагея наклонилась к Нюрке и к Лампии, спросила:
— Слышали, вечером угощенье будет?
Нюрка засмеялась:
— Доклад будет, а не угощенье.
Засмеялась и Евлампия:
— Вытри нос лучше!
Нюрка повторила:
— Для кого угощенье, а для тебя, Палага, доклад да выволочка.
Палага фыркнула:
— Тебя позовут, выскочка.
Так стояли, сидели и переговаривались довольно долго. Наконец дверь из председательского кабинета открылась. Первая вышла оттуда Смолкина — она была раздета, но в шляпке; за нею председатель и кое-кто из районных, но не все. Часть гостей задержалась в дверях, на пороге. Все остановились, словно ожидая, что сейчас скажет Елена Ивановна. А она действительно собиралась, видимо, что-то сказать — это было заметно, но пока раздумывала, с чего начать.
Нюрка, Евлампия, Пелагея уставились на нее во все глаза, рассматривали пытливо и в общем доброжелательно, не пропуская ни единой мелочи. Сейчас, когда Смолкина сняла пальто, ее можно было разглядеть всю, с головы до ног.
Елена Смолкина оказалась гораздо старше той, какая была на портрете, и даже сходство между этими двумя Смолкиными Нюрка обнаружить не смогла. Прежде всего, живая Смолкина была рыжая, а не черная, как в книжке, и не круглолицая, а сухощавая — какие уж там ямочки на щеках! И, конечно, на носу не оказалось никакой шадринки: на таком хрящеватом, сухом и сильно заостренном носу, как у нее, шадринке даже и уместиться-то негде. Все это показалось Нюрке очень странным, потому что она думала о Смолкиной как о молодой девушке, о своей сверстнице. Далее: на портрете Смолкина была в платочке, как всякая обыкновенная деревенская женщина, а на живой на ней красовалась шляпка. Ну и что ж

такое, что шляпка? Ну и пускай, шляпка так шляпка! Правда, Нюрка ни разу еще в жизни не встречала напарниц в шляпках, но это, конечно, только ее, Нюркина отсталость, и ничего больше. А вот зачём она, Смолкина, не снимает свою шляпку? Пальто сняла, а шляпку не сняла. Так полагается, что ли? Ну ладно, не сняла так не сняла. Не в шляпке суть дела. Пускай и спит в шляпке, если так положено, хотя в хороших домах гости должны снимать свои шапки. Странно другое: почему это Смолкина по всему своему виду — и по лицу, и по одёже, особенно по одёже, не походит ни на деревенскую, ни на городскую женщину? Острые глаза бойкой Нюрки и ее подруг немедленно отметили все особенности костюма знатной гостьи, а женские язычки успели даже сделать и кое-какие замечания по нему.

На Смолкиной каждая вещь в отдельности была хорошей: шляпка фетровая, с черной сеточкой-вуалькой спереди и сзади, костюм из нетолстой серой шерсти, кофточка какая-то модная полупрозрачная, нейлоновая, что ли, и туфли — ничего, не плохие, хоть и не на «шпильках», но на каблуках вполне женских, не солдатских... По отдельности — хорошие вещи! А все вместе они как-то не увязывались, не согласовывались друг с другом ни в цвете, ни в фасоне, вещь к вещи не подходила. И к ней, к Смолкиной, ничего не подходило, то что называется — к лицу не шло.

Костюм на ней не сидел, а висел. Сквозь нейлоновую кофточку просвечивала фиолетовая не то комбинация, не то простая трикотажная майка. Вуалетка на шляпке не вязалась с учрежденческой строгостью пиджака и знаками отличия на нем. В общем, создавалось впечатление, что одежда Смолкиной приобреталась в разное время и по частям, в ларьках, распродающих уцененные товары. Особенно не к месту были сережки — замысловатые, позолоченные, со сверкающими стекляшками на фольге, броские, как мишурные украшения. Нейлон и мишура! — действительно ни к селу ни к городу. Потому и сама Смолкина казалась ни городской, ни деревенской.

— Выставка достижений! — шепнула Нюрка на ухо Лампии, пока Смолкина раздумывала, с чего ей начать разговор.

— Нам в этакое не нарядиться,— прошептала в свою очередь Евлампия.

— Когда надо будет, и нас нарядят.

— А чего она ведерко свое не снимает?

— Это тебе не полушалок.

— И губы не накрашены.

— Надо же!..— иронически отозвалась на это Нюрка, но тут же одернула себя и подругу: — Ладно тебе, остановись.

Смолкина смотрела на народ долго и нерешительно, наконец нашлась что сказать и улыбнулась:

— Вот приехала к вам. Надо поразговаривать.

Милости просим! — ответил кто-то из стоявших в избе.

— Поразговаривать можно.

Больше никто ничего не сказал, и Смолкина повернулась к Бороздину:

-- Покажите мне заведующего свинофермой, он ведь здесь где-нибудь?

Бороздин вежливо ткнул пальцем в сторону Нюрки:

— Вот она, Елена Ивановна. Нюрка, подойди!

Польщенная Нюрка зарделась от смущения, робко шагнула к Смолкиной, первая протянула ей руку:

— Здравствуйте, Елена Ивановна! Только я не заведующая.

— Здравствуй! А кто же заведующая?

— Свиньи есть, а заведующей нет.

— Как же так? — растерялась Смолкина.

На выручку ей подоспел Бороздин. Он заговорил быстро, словно спешил предупредить возможные возражения:

— Все есть, Елена Ивановна, все как положено. Только Нюрка не хочет называться заведующей, молода еще, горяча, а так все в порядке. С работой своей она справляется, даже в районной газете хвалили, все в порядке.

— Скромность — дело хорошее! — сказала Елена Ивановна.

— А это мои напарницы,— показала ей Нюрка на своих подруг.— Это вот Лампия. Евлампия Трехпалая,— поправилась она.— А это Пелагея.

— Трехпалая? — переспросила Смолкина.— Ну хорошо, значит, вас трое. А дела как идут?

— Дела как? — переспросила Нюрка. И, впадая в тон недавно прочитанной смолкинской брошюры, ответила: — Трудности у нас есть. Много трудностей.

Смолкина посмотрела на нее внимательней, обернулась на Бороздина, на инструктора райкома и сказала раздумчиво:

— Трудности, да... Трудности, они у всех есть. Разные... Это трудности роста. Их преодолевать надо.— Потом спросила: — А работаете как? Дружно?

— Всяко бывает. Не так, чтобы так, и не этак, чтобы этак... Случается, что и грыземся, как собаки.

Евлампия коротко поправила Нюрку:

— Как свиньи, грыземся.

В толпе захихикали. Бороздин вмешался:

— Не верьте ей, Елена Ивановна, у нее такой характер. Дружно работают! Контакт есть! Ничего работают!

— У кого такой характер, у которой? — спросила Смолкина, глядя на Нюрку.

— У нее характер, у Евлампии, у Трехпалой у этой,— ответил Бороздин.

— И у меня такой же! — сказала Нюрка.

Смолкина опять посмотрела на обеих, подумала и посоветовала:

— Работать надо дружно. От дружной работы все идет.— И добавила: — Ну, мы с вами еще поговорим. И собрание проведем.—Она вернулась в кабинет председателя.

Нюрке в этот миг она показалась очень усталой. Нюрка даже пожалела ее, и потому, наверно, в душе ее сразу пропала к Смолкиной всякая зависть. «Ну что ж, поговорим потом. Поговорим так поговорим! — сказала она про себя.— Обязательно поговорим, как же без этого?» И тут же решила, что выскажет Елене Ивановне все, что наболело у нее на душе, всю правду про свиноферму, про то, что никакого к ней в колхозе нет интереса, и про то, за какое такое новаторство считали ферму примерной в районе и как Бороздин хотел ее, Нюрку, двинуть вперед, в знатные, и почему из нее героини не вышло и не выходит. А свиней ей просто жалко, потому что они живые. А то бросила бы она давно всю эту работу, все равно платы никакой, и когда что заплатят, никто не знает. Лампия работает тоже без охоты, только от злости, потому что все равно платы никакой, а не работать в колхозе нельзя. А Палага работает, потому что ей все равно, где спать: она ходит нога за ногу и спит на ходу. И никому до свиней дела нет, потому что колхозу от них ни холодно, ни жарко, ни сала, ни щетины никому не достается, одни убытки, никому никакого интереса. А Бороздин думает только об одном, чтобы под суд не попасть да чтобы всем вовремя глаза чем-нибудь замазать. От него требуют правды, а колхоз наш отстающий, захудалый, потому Бо-

роздин правды боится, боится, чтобы не посчитали его плохим руководителем; ему только бы все планы выполнить, а до того, как люди живут, ему и дела нет. Кроме как на планы, у него сил не хватает. А если планы все-таки не выполняются, тогда он от страха за свой пост начинает хитрить, скупать мясо у колхозников и сдавать его государству будто колхозное. А цены все разные, все по шкале, и колхозу от выполнения планов опять убыток, двойной убыток, тройной убыток. Куриное яйцо Бороздин тоже покупает на стороне да в городских магазинах, чтобы план выполнить. Купит яйцо, сдаст его в магазин, и опять купит то же яйцо, и опять сдаст. И с маслом так же. Потому что колхоз отстает, а планы есть планы, и закон есть закон. Убытки все списываются на колхоз. Богатый колхоз выполнит планы и работает на себя. А наш работает только на планы. Но раз планы выполнены, то и Бороздин хорош для начальства и в отчетах его хвалят: вот настоящий руководитель, даже не ахти какой колхоз, а при умелом руководстве все планы выполняет! Начальству нашему план дороже всего, потому что у начальства есть свой план сверху, который район должен выполнить. Над нашим начальством тоже ведь есть начальство. И Бороздин стоит на своем месте, пока план выполняется, пока его начальство хвалит. Что о нем народ говорит — это дело десятое. Хулителей и поприжать можно, да и не для всех он плох. Есть кому и слово о нем замолвить в случае чего. Его только бы раз сверху похвалили, а остальное он сам сделает, кое-кому и язык прищемит, если нужно будет. Правда, конечно, всегда одолеет кривду, но пока она доберется до главных верхов, Бороздин на пенсию выйдет либо на другое место переведется. Он теперь ответственный, он руководитель, он кадра, а кадры беречь надо... Конечно, Нюрка, может, в чем-то и ошибается, что-то и неверно понимает, она еще молода, горяча («А будто и вправду я не горяча да не молода!» — думает про себя Нюрка), только ведь у нее душа болит за все, и как можно ей промолчать, если случай такой выпал с этой Смолкиной.

Нет уж, извини-подвинься, Нюрка все теперь выложит, все, что наболело, выскажет, всю душу свою выплеснет. А там будь что будет! Только бы за правду постоять, только бы людям легче жить стало, только бы польза от того была.

Нюрка хотела пользы своему колхозу, своим односельчанам. Она никогда не говорила вслух и даже мысленно,

что хочет быть полезной народу, она боялась громких слов. Тем более она не смогла бы нипочем сказать, что ей хочется послужить партии, помочь партии в наведении порядка на земле, в колхозных делах. Но это для нее само собой разумелось: колхозная правда, хорошая обеспеченная жизнь для людей и большая правда партии — это были понятия одного ряда, Нюрка всей душой верила в это. Только почему-то казалось ей, что это большое, светлое было где-то очень далеко отсюда, далеко от ее дома, от ее улицы, от свинофермы, от ее ежедневных, вероятно, мелких обид и горестей, от всего, что заполняло, забивало ее жизнь час за часом, с утра до ночи, год за годом. Это большое, чистое, без ругани, без лжи было где-то далеко, там, в Москве («Боже мой, какая же она все-таки эта Москва, хоть бы раз побывать в ней!»), а здесь рядом — свиноферма, Бороздин, комбикорм и постоянный страх, что зазеваешься и тебя свиньи съедят. Отчего же это получается так неладно? Наверно, оттого, что поучилась она маловато, и читать она ничего не читает, и радио не слушает — есть один батарейный приемничек в конторе, и то без батарей! — и в кино бывает редко — вот уже второй год показывают «Чапаева» да «Богатую невесту», и вообще кругозор у нее — ох, узок! Узок, и никуда от него не денешься. И как его расширять, Нюрка не знает. И душа у нее болит. Да разве у нее у одной, разве у Ламнии душа не болит? У Палаги вот ничего не болит, она на все рукой махнула. А разве у мамы, у Катерины Егоровны, душа не болит за колхозную жизнь? Как же тут утерпеть, не высказать все этакому известному и почетному человеку, как Елена Ивановна Смолкина? Нет уж, будь что будет. Пускай уж и сор из избы летит, может, чище в избе станет. Да и не такой человек Смолкина, чтобы не разобраться, кто чего хочет — кто добра, а кто корысти. Эх, дойти бы до самой Москвы, как раньше ходоки до Ленина добирались.

●

В кабинете председателя было решено провести Смолкину до начала общего собрания по колхозной улице, по берегу реки, показать ей школу, клуб, а ежели к сроку подвезут фильм, то и картину прокрутить.

Смолкина согласилась и, выбравшись из конторы на улицу, привычно направилась к автомашине. Но ее остановил инструктор райкома:

— Пешком пройдемся, Елена Ивановна, тут недалеко.

— Пешком так пешком! — сказала она.

И они пошли пешком.

Когда Смолкина спускалась с крыльца, Бороздин подоспел сзади и поддержал ее за локоть:

— Осторожно, Елена Ивановна, скользко. Зимой ступеньки завсегда во льду.

Пюрка, увидев это, опять поразилась:

— Смотри ты какой стал. Надо же!

Из конторы следом за Смолкиной и ее свитой вышел на улицу весь колхозный актив, но люди быстро рассеялись по разным концам деревни. Дольше других держалась вблизи гостей Палага. Бороздин осадил ее:

— Ты чего лезешь? Чего лебезишь? Иди по своим делам. Да собрания не прозевай.

Палага на замечание председателя не обиделась, отстала, даже слова не сказав.

— Ну, куда пойдем? — спросил инструктор райкома, обращаясь к Смолкиной.

— Надо будет осмотреть весь колхоз,— заявил корреспондент Семкин.— Пройдемте сначала по главной улице.

— Куда пойдем, Елена Ивановна? — повторил свой вопрос Торгованов.

— Мне все равно,— ответила Смолкина.— По главной так по главной. Пойдемте по главной.

— Потом посетим школу,— продолжал разрабатывать свой план Семкин.— Школу обязательно навестить надо. Потом заглянем на свиноферму. Потом...

— Товарищ Семкин! — прервал его Торгованов.— Зайди вперед и сфотографируй Елену Ивановну на фоне.

— Я хочу всю делегацию.

— Валяй всю.

Смолкину поразили бани, торчавшие на скате к реке вдоль всей деревни. Наполовину занесенные снегом, они напоминали фронтовые блиндажи, притаившиеся в мертвой для артиллерии противника зоне.

— Черные, конечно?..— спросила она.

Бороздин переглянулся с Торговановым и ответил:

— К сожалению, черные. Привычка, знаете, ничего не поделаешь.

— А черные, они лучше, жар вольнее,— сказала Смолкина.— У нас в семье тоже такая банька была, а сейчас переделать заставили. Говорят, вам нельзя отставать, вы передовая, узнает кто-нибудь...

— Дух, это уж точно, вольный,— подтвердил Бороздин.— Особенно хорошо для тех, кто попариться любит, с веничком. Как вы к этому относитесь, Елена Ивановна?

— Можно мне заглянуть в одну баньку?

Бороздин опять пытливо посмотрел на Торгованова.

— Да почему же нельзя? — поспешил согласиться инструктор райкома.— Для вас все можно, Елена Ивановна.

Бороздин оживился:

— Милости просим, Елена Ивановна. Вы же не иностранка какая-нибудь. Для вас все можно. Если захотите, мы даже истопить одну прикажем, с веничком побалуетесь.

Бороздин и паренек из райкома комсомола ногами в валенках разгребли снег перед входом в предбанник и в самом предбаннике, куда снег намело через щели в крыше и в дощатых стенках, и открыли низкую перекосившуюся дверь. Из полумрака пахнуло сыростью, плесенью, как из подполья, в котором гниет картошка. Должно быть, банька давно не затапливалась. Верх печки-каменки наполовину осыпался, две шайки, стоявшие на полу, рассохлись, обручи на них опустились. Все было черно от сажи — стены, потолок, полок, на котором парятся, жердочки, на которых развешивают одежду и белье, даже скоба дверная. Ни к чему нельзя было прикоснуться, все пачкало.

— Осторожно, окрашено! — сказал Семкин.

А Смолкиной банька понравилась. Она умилялась всему — и рассохшимся шайкам, и потрескавшимся от жара булыжникам, образующим свод каменки, и маленькому низкому окошечку, сквозь которое был виден только снег.

— Вот такая же банька и у нас стояла,— радовалась она своим воспоминаниям.— Бывало, охапку дров сожжешь, а воды горячей и пару на пятерых хватает. Воду-то мы камнями кипятили: как только покраснеют — мы их и кидаем вилошечками в кадушку с водой. Вода брызжется и шипит, и визжит, пар под потолком облаками ходит.

Бороздину, видимо, черные бани тоже нравились, он улыбался, поддакивал, крякал, словно готовился попариться. А Смолкина вспомнила, как в дальнем глухом селе ей пришлось мыться в печке:

— Поначалу было страшно, но все моются в печке, что, думаю, за дело. Дай попробую. Колхоз выстроил не одну большую баню, с парилками, как в городах, а люди все лезут в печь! Печи там широкие, как овины, утром в такой печке хлеб испекут, обед сварят, а вечером постелют соломки по всему поду, поставят шаечку с кипятком за загнетку, заберется человек, будто в преисподнюю, сядет там,— ну, конечно, рослому приходится голову пригибать,— и хлещет себя, старается. Мыльная вода с шестка стекает в таз. Вылезет человек, весь красный, раскаленный, будто крапивой обожжен, да на улицу, зимой прямо в снег, а летом в реку либо из ведра колодезной ледяной водичкой окатится,— стоит, как в заре весь. И стыда там лишнего нет — здоровому человеку, говорят, чего стыдиться? Приехала я туда — как, думаю, не попробовать, не вымыться в печке? Забралась — и ничего, вольный дух. Понравилось мне. Но, конечно, черная банька все-таки обстоятельней будет, удобств больше.

Корреспондент Семкин записывал в блокнот все, что говорила Смолкина о черной бане, о русской печке, записывал и то и дело потирал лоб, который разбил, не пригнувшись достаточно низко при входе в баню. Записывал и восторгался:

— Это у меня обязательно пройдет, это же целый очерк, литературно-художественное произведение. Очень хорошо, Елена Ивановна, продолжайте.

— Ничего у тебя не пройдет,— строго сказал ему Торгованов.— Про черные бани писать нельзя и про печь писать нельзя. Думать надо, о чем писать хочешь. И не вздумай фотографировать!

— А мне нравится! — опять и чуть капризно заявила Смолкина.— О банях хорошо бы написать.

Ей определенно начинал нравиться и сам горячий безрассудный мальчишка из газеты с его блокнотом и фотоаппаратом. Смолкина любила фотографироваться и любила, когда про нее писали что-нибудь в газетах. А нельзя же писать все про свиней да про свиней, разве не забавно будет, если и про бани напишут?

— Пускай напишет! — разрешила она.— Вот только красоту ваши баньки портят, это уж как есть.

Сказав это, она вышла из бани и показала рукой вдоль берега:

— Вон что ведь получается — стоят избы, а перед избами все одни бани. Перенести надо бани на новые места, вот что я вам посоветовала бы,— обратилась она к

Бороздину.— Взять и перенести все до одной на задворки. На задах они были бы на своем месте.

Бороздин посмотрел, как будет реагировать на это предложение инструктор райкома партии.

— Гениально! — решительно заявил Торгованов.— Я вас поддерживаю, Елена Ивановна. Просто и мудро: взять все бани и перевезти на новые места.

Тогда сказал свое слово и Бороздин.

— А что? Действительно мудрое решение вопроса. Правда, бани немножко сгнили, но это ничего не значит, перевезем их. Спасибо вам, Елена Ивановна, за указание.

Семкин так и взвился весь, торжествуя, что нашел наконец материал для газеты, достойный его пера. Он начал быстро щелкать фотоаппаратом, запечатлевая Е. И. Смолкину на новом фоне.

— Вот сейчас снимай! — поддержал его наконец Торгованов.— И напишешь так: «Черные древние баньки, которые по предложению товарища Смолкиной убираются с берега на задворки». Ты понял меня?.. «Открывается пейзаж новой деревни. Все колхозники благодарят Елену Ивановну за инициативу».

Смолкина охотно позировала на фоне старой черной бани.

В школе, куда вслед за этим привели гостью, Смолкина осмотрела черную классную доску с оставшимися на ней от уроков арифметическими вычислениями, стенную газету с вырезками из журналов вместо рисунков — и здесь, наверно, работал Колька, сынок Евлампии,— прочитала лозунги относительно увеличения производства молока, масла и мяса.

Уроки в школе закончились, но группа ребятишек еще занималась в классе какими-то своими делами. За широким учительским столом мальчишка лет тринадцати печатными буквами вычерчивал на бумажной полосе плакат: «Добро пожаловать, Елена Ивановна!» Слова эти были уже написаны карандашом, сейчас он обводил их химическими чернилами и оттенял красной акварельной краской. Для чернил у него вместо кисти была приспособлена хорошо выстроганная лопаточка, расщепленная на конце, как щетка, а для акварели — кисть из беличьего хвоста, тоже самодельная. Язык у мальчишки послушно переходил во рту с одной стороны на другую, выпячивая щеки поочередно: работа была любимая, увлекательная.

Смолкина прочитала плакат вслух, сделав вид, что не

поняла, к кому относятся эти слова. Потом спросила, обращаясь к школьнику:

— Как тебя зовут?

— Николай! — ответил мальчик, внимательно вглядываясь в незнакомую женщину. Увлеченный работой, он не сразу догадался, что в класс пришла сама Елена Ивановна Смолкина.

— Это нашей свинарки сын, Колька,— сказал Бороздин Смолкиной.— Он у нас все украшает, картинки развешивает по колхозу, лозунги пишет.

— Я только на свинарнике, для мамы,— засмущался Колька, приняв слова председателя за похвалу.

— Для мамы, для мамы,— ворчливо передразнил его Бороздин.— А почему опоздал? Приехала уже Елена Ивановна, вот она!

— У нас контрольная была, не мог я раньше. Только после уроков. Один такой лозунг уже висит в конторе.

— Ты хоть поздоровайся. Поздоровайтесь, ребята! — приказал Бороздин школьникам.— Это наша гостья, знаменитая товарищ Смолкина, передовой животновод.

Ребята хором поздоровались.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, товарищи! — поздоровалась с ними Смолкина и медленно опустилась за парту.

Следуя ее примеру, начали устраиваться за партами и другие.

— Давно я не бывала в школе. Не приходилось както,— сказала Смолкина, с трудом устраивая под низкой партой свои колени.

Семкин приготовился ее фотографировать: услужливый парнишечка, никто еще не снимал ее так много, как он! Может, хорошие карточки получатся. Дал бы только для памяти.

Колька и все школьники уставились, как завороженные, в объектив фотоаппарата. Тогда Бороздин подошел к Кольке Трехпалому и, ткнув его легонько в плечо, потребовал:

— Давай, давай, торопись, заканчивай лозунг да неси скорей на место. Нечего глаза пялить на что не следует.

Колька принялся за работу.

— И вы тоже занимайтесь своим делом! — кышкнул Бороздин на остальных ребятишек.— Хвостовики, наверно?

— Отстающие! — весело ответил ему паренек, стриженный без гребешка наголо, как барашек.

— То-то — отстающие. Догонять надо передовиков!

— Догоняем!

— Где ваша учительница?

— Домой ушла.

— Работайте, работайте!

Смолкина сняла с головы шляпку, в первый раз сняла и вздохнула:

— А я мало поучилась. Отчим не дал, работать в колхозе надо было. Только два класса и кончила. А хотелось поучиться. До самой войны все надеялась, что приведется еще, а не привелось.

— Значит, вы самообразованием дошли до всего? — спросил ее комсомольский работник.

— До чего я дошла?

— Вы же книгу написали!

Расчувствовавшаяся Елена Ивановна не смогла сказать неправды:

— Не писала я никакой книги. Другие за меня написали, я только деньги получила.

— Пошли дальше, Елена Ивановна! — сказал Торгованов.

Смолкина медленно высвободила ноги из-под парты, надела шляпку с вуалеткой и встала.

— Да, вот так и не пришлось поучиться! — вздохнула она еще раз.— До свиданья, ребята!

Школьники пошушукались, и один из них осторожно задал вопрос:

— А вы кто такие будете?

— Я-то?..— растерялась Елена Ивановна.

Бороздин рассердился на ребят:

— Я же вам объяснял, это Елена Ивановна Смолкина, знаменитый животновод, новатор. Вон Колька пишет «Добро пожаловать» — это для нее.

— Ну да?! — с недоверием отозвался паренек.

— Вот тебе и ну да! Скажите вот своей учительнице, почему она не была на месте. Пусть на собрание придет.— И Бороздин обратился к Торгованову: — Двинулись дальше, товарищ Торгованов?

— Двинулись

— До свиданья, ребята! — сказала еще раз Смолкина.— Подтягивайтесь, догоняйте передовиков!

— Догоним! До свиданья!

— А вы теперь куда? — спросил ее стриженый паренек.

— Колхоз ваш пойдем смотреть.
— На свиноферму пойдете?
— Пойдем и к свиньям.
— Ой, что у нас там делается!..
— Ладно. Об этом поговорим потом. До свиданья, ребята.

Снег не скрипел под ногами — под вечер потеплело. На улице сильнее запахло навозом, конским потом, гнилой соломой. Смолкина еще издали заметила, что крыши скотного двора и конюшни оголены, стропила торчат, будто обглоданные лошадиные ребра на скотском кладбище.

— Вот и весна скоро подойдет,— заметила она.— Скорей бы!

— Да, уж скорей бы,— поддержал ее Бороздин.— Скоту бы легче стало.

— Я про скот и говорю.
— Скот выдержит.
— Скот выдержит, и люди выдержат. Крыши-то скормили?
— Да, не уследил я, Елена Ивановна, скормили.
— Только бы скот выдержал. Падежа еще нет?
— Бывает, Елена Ивановна, но все в норме, в законе. Люди ведь и то умирают.

Торгованов обратился к Бороздину:

— Кажется, у вас процент отхода не превышен? Если не ошибаюсь.

Бороздин успокоил его:

— Не превышен. Пока все в законе. Вот только крыши...

Смолкина на это тихо сказала, словно боясь, чтобы ее не услышал еще кто-нибудь:

— С крышами не только у вас. Если солому хорошо рубить и запаривать — коровы едят неплохо. Надо лишь добавлять хвою, витамины все же...

— Может быть, заглянем на скотный двор? — спросил Торгованов, обращаясь не то к Бороздину, не то к Смолкиной.

— Да, можно! — протянул Бороздин.— Там ничего такого... Можно.

— Как хотите, можно и заглянуть,— ответила Смолкина.— До свинарника-то дойдем скоро?

— До свинарника дойдем обязательно. Успеем еще.

Но вечер наступил быстро. Побывали они в коровнике, на конюшне, навестили катальную мастерскую, изготовляющую валенки, осмотрели работу пилорамы,— на

два последних объекта затащил всех корреспондент Семкин: индустрией запахло! — а на свиноферму до собрания заглянуть не смогли, поздно стало.

— Ничего, мы после собрания сходим, а еще лучше завтра с утра,— успокаивал Смолкину Бороздин.— Да вам, наверно, и без того на свинарниках все знакомо. Уж чего-чего, а свиней-то вы за свою жизнь повидали немало. Вот валенки катают — это для вас ново, интересно. Верно ведь, Елена Ивановна?

— Да, верно, пожалуй.

Кажется, она и не беспокоилась из-за того, что не успела побывать на свиноферме до начала собрания. И вправду, что, собственно, она может там увидеть? Главное уже ей известно, уже рассказали ей, что даже заведующей на колхозной свиноферме нет. А это обо всем говорит. Ну и кормов, конечно, не хватает.

●

В клубе всегда пахло табачным дымом. Запах этот не выветривался даже в тех случаях, когда от одного киносеанса до другого проходило не меньше месяца. Он только ослабевал, этот запах. Но стоило провести лишь одно колхозное собрание либо какое-нибудь мероприятие, требующее усидчивости, мужицкой сосредоточенности и серьезного обдумывания и обкуривания вопроса, как в печи, на подоконниках, в углах, во всех щелях и пазах стен и пола снова появлялись окурки махорочные и папиросные, и табачный запах как бы подновлялся, усиливался на длительное время. Никогда еще уборщице Фекле не удавалось полностью выскрести и вымести все окурки из избы за один-два дня. Затопит она печь — ну, думает, все пронесло сразу, все выгорело, а станет закрывать трубу, глядь: на печной задвижке несколько окурков уцелело. Даже за плакатами, за портретами, за стенной газетой, даже на рамке доски Почета — во всю длину ее верхней грани — оказывались окурки.

— У, табачники проклятущие, чтоб вам все нутро выворотило наизнанку! — добродушно ворчала старая женщина после каждого заседания колхозного актива. Но, отведя душу бранью, она признавала, что нет худа без добра: ни клопы, ни тараканы зато не могли обосноваться в клубе на долгое жительство. А это обстоятельство настолько убедительно говорило в пользу табакокурения,

что даже она, всю жизнь кашляющая из-за махорочного дыма и страдающая головной болью, не считала табачное зло богопротивным. Все-таки клопы и тараканы хуже курильщиков! Только вот зачем они, пакостники, все хитрят, ловчат, лукавят, все норовят засунуть свои ядовитые сосульки куда-нибудь в укромное местечко. Кидали бы уж прямо на середину пола, клали бы в кучу на середину стола, так нет, все кого-то обдурить хотят. И ребятишечки у отцов учатся, сосут из рукавов втихую, к обману привыкают с малых лет.

— О господи, прости меня, грешную,— устало вздыхала старая уборщица.

Когда Бороздин привел гостей в клуб, в зале было уже тепло и душно от табачного дыма. Свежие окурки лежали и на подоконниках, и на спинках стульев, валялись в каждом углу, более того — висели, приклеенные слюной, даже на стеклах окон и на потолке.

В президиум избрали только Елену Ивановну Смолкину, все остальные члены президиума сели за стол сами, в том числе и приехавшие в колхоз районные работники.

Должно быть, не пригласили за стол только молодого корреспондента районной газеты, но он также не растерялся и все время, пока не фотографировал кого-нибудь, присаживался на сцене за спинами членов президиума.

Председатель Бороздин сказал о Смолкиной несколько теплых слов, о том, что она дочь народа и слуга его, что она — самородок и что руки у нее золотые. Сказав это, Бороздин стал громко аплодировать, почти у самого лица Смолкиной. Начали аплодировать и в зале, при этом все с любопытством уставились на золотые, рыжие руки гостьи. Когда аплодисменты усилились, инструктор райкома Торгованов шумно поднялся со стула, а за ним поднялись все остальные члены президиума. Не сразу, но поднялось и все собрание. Смолкина не смутилась, она привычно смотрела в зал, не задерживаясь ни на одном лице по отдельности, изредка кланялась и привычно прикидывала, что ей сейчас рассказать о себе. Шляпку свою она не сняла и в президиуме, словно стеснялась своих рыжих волос.

Перед самым началом собрания в дверь протиснулась Нюрка — всполошенная, ничего не понимающая: как же так — Смолкина везде была, а на свиноферму даже не заглянула! Что же теперь будет? Когда же она теперь с нею поразговаривает, когда выскажет все, что наболело

на душе? Или нельзя этого делать? Почему нельзя? Ведь не на бога же надеяться?

До самых сумерек Нюрка, Лампия и Палага, как на посту, торчали в своей сторожке на свиноферме и ждали дорогую гостью. Что там ни говори, а настроение у них было праздничное. Палага все эти дни ходила принаряженная, а сегодня приоделась и Нюрка, перетянула свою осиную талию материнским узорным поясом — его хватило на три оборота, и шапку сменила на полушалок. Даже Лампия не выдержала — пришла после обеда на работу не в ватнике, а в старинной шубе-сибирке со сборками на поясе, доставшейся ей по наследству еще от бабушки. Колька, ее сынок, разукрасил не только сторожку, но и свиной двор всевозможными добавочными вырезками из газет и плакатами и надписи повесил везде, как наказывал Бороздин.

Два дня накануне приезда Смолкиной на свиноферме работала целая женская бригада, сформированная опять же по инициативе председателя. В теплой воде с мылом были перемыты все поросята, чего ни разу не успевали сделать сами свинарки, потому что время с утра до вечера уходило у них на добывание корма. Вымытые поросята, хоть и тощие, стали похожи на полупудовички белой муки. Были вычищены и выскоблены полы и застланы свежей соломой. У сторожки выросла поленница готовых, мелко нарубленных дров. Кладовщик выдал свинаркам три синих наскоро сшитых ситцевых халатика.

Свиньи были накормлены. Нашлась картошка, и даже не очень гнилая. Нашелся силос. Обычно силосные ямы разгружались кое-как, лишь из середины, а все, что с боков, что смерзлось или чуть прихватило плесенью, оставлялось до весны, весной же ямы наполнялись водой до краев. Сейчас оказалось, что силос брать из ям еще можно. Нашелся также на одном из гумен ворох ржаного колоса с немалым количеством невымолоченного зерна в нем. Этот колос, запаренный в котле, свиньи поедали с пугающей жадностью даже без всякой присыпки. Кладовщик отпустил даже немного овса и соли. Кто из многочисленных колхозных начальников обнаружил эти так называемые кормовые резервы, Нюрка не знала. Важно, что корм нашелся. Ведь нашелся же! А что будет, когда Елена Смолкина уедет из колхоза? Все пойдет по-старому? А как сделать, чтобы не шло по-старому? Надо открыть ей глаза на все наше очковтирательство. Надо!

Вслед за Нюркой на собрание прибежали и Евлампия Трехпалая с Палагой Нестеровой. Они тоже с трудом освоились с мыслью, что Смолкина почему-то не явится посмотреть свиноферму, а когда поняли, что не явится, то перепугались, что опоздают на собрание, и побежали в клуб, не считаясь ни с чем — ни с обидой своей, ни с работой! Даже обозленная, скептически настроенная Лампия чего-то, должно быть, ждала от предстоящей встречи со Смолкиной.

Все трое, они устроились на свободных местах недалеко от сцены. Когда усаживалась Нюрка, инструктор райкома Торгованов наклонился к Бороздину и что-то пошептал ему. Бороздин кивнул головой и стал напряженно безотрывно смотреть Нюрке в лицо, стараясь поймать ее взгляд. Нюрка почувствовала это и взглянула на него. Бороздин руками и глазами и движением губ стал звать ее в президиум. Кто-то из сидевших рядом ткнул ее в бок и шепнул на ухо: «Иди за стол, тебя зовут!» Нюрка покраснела, мотнула отрицательно головой и отвела взгляд от Бороздина.

К удивлению и огорчению собрания, Елена Ивановна начала читать свою речь. Речь эта была написана, видимо, давно, с расчетом на любой случай, для любой аудитории, и представляла собой краткое изложение брошюры, с которой Нюрка уже сама познакомилась и напарниц своих познакомила.

Сначала в этой речи-брошюре рассказывалось о жизни героини. Где родилась, когда родилась, как жила. Жила, конечно, в бедности; в детстве, до коллективизации, ела не досыта, носила одежонку и обутку — стыдно сказать какие; конечно, пасла скот (раньше это считалось зазорным) и света в жизни не видела. Потом началось все наоборот. Поучиться все-таки не довелось, мать не позволила, работать надо было, сначала младших братьев и сестренок нянчить, потом прясть, ткать, а после и в колхозе впряглась в оглобли на полную силу. Самоотверженный труд был основой и единственным смыслом всей жизни Елены Ивановны, а направляющие указания руководящих товарищей не давали ей сбиваться с пути.

— Если бы не помощь, если бы не поддержка...— то и дело повторяла Смолкина.— Если бы председатель колхоза вовремя не подбросил кормов, если бы весь колхоз не был повернут лицом... не было бы у меня высоких показателей и не видать бы мне рекордов... как не видать своих ушей.

«Господи, да что это она? — с тревогой думала Нюрка, слушая Смолкину.— С людьми разговаривать надо, а не по бумажке им читать, если ты сама человек. Время это прошло, когда все по бумажкам читали, того гляди и слушать тебя не станут».

— Когда мы готовили показатели для выставки,— продолжала Смолкина,— наш председатель все внимание уделял свиноферме, не щадя сил и времени, работал вместе с нами. Он сам лично бывал в кормоцехе чуть не каждый день. Колхоз не жалел ни средств, ни трудодней...

«Надо же! А наш председатель тоже хотел к выставке подготовиться,— думала Нюрка о своих делах.— Только из меня героини не вышло. А вот из нее вышло. Неужто и они показатели готовили так же, как наш председатель? Надо же! Да не читай ты по бумажке, опомнись!» — чуть не закричала Нюрка.

Смолкина один раз перестала читать по бумажке, когда, рассказывая про свое детство, вспомнила, что была сегодня в школе. При этом глаза ее оживились, заблестели.

— Села я за парту у вас тут и будто маленькая вдруг стала. Только ноги едва-едва заправила под стол. Сижу и думаю: вот ведь судьбинушка какая — и поучилась бы сейчас, а не могу, опоздала, голубушка. Только два класса кончила. Не до ученья было тогда, работа не позволяла. А подросла — опять неладно, кампании всякие начались. Бывало, в клуб тянет,— у нас-то клуб получше вашего,— поплясать, потанцевать хочется, на кругу себя показать, а мама говорит: трудодней у нас еще мало,— выводок у нас был в девять человек,— до нормы, говорит, еще не дотянули. Да по молоку, да по мясозаготовкам отстаем. Приходилось на лесной деляне отцу помогать, не справлялся один. Так и не было молодости. И не научилась я ничему...

«Тоже, значит, хлебнула горя! — обрадовалась вдруг Нюрка, словно Смолкина ей руку на дружбу подала.— Нет, такому человеку можно все рассказать, она поймет. У нее душа еще жирком не подернулась».

И Нюрка, подавшись вперед, крикнула:

— А как же вы книгу написали, Елена Ивановна?

По залу прошел шумок не то одобрения, не то испуга, и люди обернулись в ее сторону. Смолкина, оживленная воспоминаниями, сокрушенно развела руками и, видимо, хотела ответить на вопрос так же прямо, как ответила в школе, но взглянула на Торгованова и сдержалась.

Она не была уверена, на пользу ли пойдет здесь откровенный рассказ о том, как и кем писалась ее книжка, и уместен ли будет такой рассказ перед этими людьми. Но и не отвечать было нельзя. И она ответила:

— Что ж, так и написала! Конечно, не без помощи! Если бы не помощь да не поддержка, чего бы мы с вами все стоили на белом свете?

После этого Елена Ивановна опять обратилась к печатному тексту своей речи и стала читать без воодушевления, монотонно, поднимая голову в местах, которые она уже знала наизусть. А говорилось в этой речи о строительстве нового типа свинарников — дешевых, рентабельных («То есть выгодных!» — пояснила Смолкина) и о переоборудовании старых — дорогих, нерентабельных свинарников под откормочные помещения, под столовые для свиней. Строительство старого большого свинарника на тридцать свиноматок обходилось в сто двадцать тысяч рублей. Новый свинарник на семьдесят голов будет стоить всего рублей шестьдесят.

— Значит, мы зря деньги выбрасывали, когда сооружали нынешний дворец для свиней? — ахнул кто-то в зале.

Смолкина не ответила. Бороздин постучал карандашом по стеклянному графину с водой, и она продолжала чтение.

— Новый свинарник — это простой сарай, сколоченный из обыкновенных досок, с одним входом-выходом, прикрываемым мешковиной. На зиму в этом сарае насыпается резаная солома толщиной метра в полтора, и свиньи лежат на ней вплотную — семьдесят голов. Подстилка всегда сухая, потому что свиньи под себя не ходят.

— Как это под себя не ходят? — спросили из зала.

Смолкина ответила:

— Вот видите, всю жизнь живете со свиньями, а не знаете, что это самая чистоплотная животина.

— Наши свиньи всю жизнь по нужникам мотаются.

— Это единоличные мотались. А я говорю про колхозных свиней, — ответила Елена Ивановна.

В новом свинарнике-сарае содержатся откормочные свиньи, но в них могут находиться и свиноматки до определенного срока. Откорм свиней при таком содержании обходится очень дешево. Все лето свиньи на подножном корму, в своей поскотине.

— А куда же старый свинарник девать? — спрашивают опять из зала.

— Старый под столовую,— отвечает Смолкина.

— Значит, опять строиться надо?

— Я с вами делюсь передовым опытом,— отвечает Смолкина,— а вы уж смотрите, как вам лучше жить: по старинке или по-новому.

— Дык у нас и старый свинушник порожний.

— Но в старом откармливать свиней нерентабельно, он дорогой.

— Дык он уже выстроен.

— Ну и что же, что выстроен?

— Понятно! — сказала Лампия, и спор на этом прекратился.

Смолкина продолжала чтение.

В отведенное время, по сигналу, свиньи сами отправляются («Значит, бегут»,— пояснила она) в свою столовую. А насытившись, возвращаются обратно. В летний период у свиней должен быть хороший выгон с зеленой сочной травой, со свежей водой. Хорошая свинарка сама пасет свиней. Это раньше говорилось: «Сегодня в чести, а завтра свиней пасти!» Ныне пасти свиней почетно, а не зазорно. А хороший привес надо обеспечивать одинаково и летом и зимой. Клевер, сенная мука, комбикорм — вот что требуется для быстрого роста свиней.

— Комбикорм у нас тоже дают! — кричат из зала.

— Ну вот видите,— отвечает Смолкина.

Раздается дружный смех, неприятный для нее, но раз людям весело, оживляется и она.

— От нашего комбикорма только щетина растет! — поясняют Смолкиной из зала.

— Щетина — тоже товар, нужный для народного хозяйства,— отзывается на это Елена Ивановна.— Но мясо, конечно, важнее.— И она оборачивается к Бороздину: — К примеру, чем вы сегодня кормили своих свиней?

— Сегодня-то мы их накормили! — громко говорит Нюрка.— И вчера кормили.

— А в чем дело?

— Вы к нам почаще заглядывайте, Елена Ивановна, тогда и свиньи наши сыты будут.

— Дерзко это! — подал голос Торгованов.

— Это Нюрка наша, она такая! — словно извиняясь, заявил Бороздин и постучал карандашом по графину.— Ты, Нюра, не фордыбачь сегодня.

— А когда можно фордыбачить?

Смолкина подняла руку.

— Я вас понимаю,— сказала она.— С кормами плохо? Это наш общий недостаток. Не хватает кормов, да и только. Это наши трудности роста.

— Вы свиньям об этом скажите, они поймут.

— Дерзко! — опять резко бросил Торгованов, а Бороздин постучал косточками пальцев по столу.

Людям стало интересно сидеть в зале и слушать. Речь Смолкиной уже не казалась скучной. Елена Ивановна овладела аудиторией и перестала читать по бумажке.

— Кормов у нас не хватает потому, что мы разучились добывать их,— тоном обвинения заговорила она.— Раньше в хозяйстве ничего не пропадало, потому что хозяева были. Не то что колоса, ни одной соломинки на полях не оставляли. На гумне всю полёву, всю мякину заметали подчистую, все скоту на корм шло. Мы даже не знали слова такого — отходы. Лен обколотим — весь куколь (кое-где колокольцем зовут), весь куколь — свиньям на еду. Запаришь, подсыплешь мучкой — лопают да облизываются, да спасибо говорят. А ныне что куда девается?

— Она правду чистую говорит! — шепнула Лампия Нюрке.

— Или про картошку скажу,— продолжала Смолкина.— В хорошем хозяйстве ни одной самой маленькой картофелинки, ни одного орешка на поле не оставляют. Крупная идет людям, да государству, да на семена, а всю мелочь свиньям. Мно-ого ее набирается. А как-то видала я в одном колхозе,— да не в одном видела! — собирают картошку из-под лемеха окучника, схватывают сверху ту, что по кулаку, и готово, и все,— только бы скорей корзины заполнить, а нет чтобы порыться в пласту да все картофелинки до одной выбрать. По полю бегом бегают. Я говорю: «Что же вы, ударницы, мелочь в земле оставляете, чем свиней кормить будете?» — «А нам, говорят, не до свиней, нам себя прокормить надо. Норма-то, говорят, на что? Она корзинами исчисляется. Ее же выполнить надо. Не выполнишь нормы — ничего не заработаешь. Не до мелочи тут».— «Ах вы, говорю, очковтиратели! Не хозяева вы!»

— А ведь она правду говорит! — шепнула опять Лампия.— Выходит, она тоже против обмана.

— Конечно, против. Вот кому надо всю правду выложить,— отвечала ей Нюрка. И громко, на весь зал поддержала Смолкину:

— Правду говорите, Елена Ивановна. Вот у нас в колхозе...

— Что у вас в колхозе? — переспросила Смолкина.— По-моему, у вас в колхозе дела могут хорошо идти. У вас такой опытный руководитель — товарищ Бороздин. Мне про него еще в районе говорили.

— Вот-вот, руководитель опытный, а хозяев нет! — раздался чей-то мужской голос из угла.

Бороздин повел головой вправо, влево, но никого не разглядел. Из президиума в зал ответили:

— На трибуну выходить надо, если что хотите сказать, а не демагогией заниматься.

Смолкина продолжала:

— Плохо вы сами работаете, вот что надо сказать. Не мобилизуете еще внутренних резервов, не болеете душой за порученное вам дело...

Нюрка стала нервничать, она не совсем понимала, в чем ее обвиняют. А Евлампия Трехпалая вдруг зашипела на весь зал:

— Вы у нас не были на свиноферме, а охаиваете. Что мы вам сделали?

Собрание зашумело, похоже было, что оно сочувствовало словам Евлампии. Но Елена Ивановна опять спокойно подняла руку — и люди умолкли.

— Не была еще, не успела, это верно,— сказала она нараспев, с обидой в голосе.— Вот после собрания сходим все вместе. Только мне и без того все ясно. У вас на свиноферме даже заведующего нет, а без заведующего какая же свиноферма? Это ведь не свое, не единоличное хозяйство, а колхоз,— обязательно должен быть заведующий. И еще удивляетесь, что дела плохо идут. Работаете плохо, внимания вопросу не уделяете, вот и не ладятся дела.

Евлампия снова не выдержала:

— Из президиума-то небось не много видно. За нас никто не работает, мы только сами.

— А вы не обижайтесь,— сказала Смолкина.— Я только опытом своим делюсь. Я всю жизнь со свиньями вожусь и знаю, что они уважения к себе требуют. Их уважать надо.

— Людей тоже! — брякнула Евлампия и, кажется, сама испугалась того, что сказала. Но Смолкина не оби-

делась и достойно бы ответила Лампии, если бы ее не перебили из президиума.

— Одну минутку, Елена Ивановна! — сказал Бороздин. И, обращаясь к Лампии, он разъяснил, что Елена Ивановна Смолкина приехала в колхоз не для того, чтобы спорить с каждой, которая тут вести себя не умеет.— Ты чего шумишь? — сказал он Лампии.— Твое дело не спорить, а изучать опыт лучших людей в деле выращивания скота. Елена Ивановна правильно говорит: свиней кормить надо, надо изыскивать внутренние резервы. А мы что делаем? Мы слишком мало уделяем внимания вопросу. И еще: надо увеличить поголовье свиней в два, в три раза, тогда и корма найдутся. Жизнь сама заставит изыскивать резервы...

Затем Бороздин обратился с речью уже ко всему собранию:

— Критику мы не выносим, вот в чем наша беда. А критику уважать надо. Прислушиваться к критике надо. Елена Ивановна правильно критикует нас. Руководить — это не значит командовать. Надо развязывать инициативу простых людей, а не командовать ими, тогда дела пойдут на лад. Надо улучшить руководство нашей свинофермой. Тут я признаю критику и в свой адрес. Правильно, не всегда руки доходили. А без настоящего оперативного руководства ничего с места не сдвинуть. Все в руках руководителей, все на них держится. Это я признаю.

По-видимому, разъяснение вопроса, сделанное Гаврилой Романовичем Бороздиным, оказалось своевременным. И пусть не все поняли, почему возник разговор о руководстве в таком именно плане, но после выступления председателя собрание пошло по правильному руслу и продлилось недолго.

Спорить больше было не о чем. Мужчины начали усиленно курить. Дым постепенно заполнил все помещение клуба. Женщины же стали кашлять, проклинать махорочников и расходиться по домам.

Маленькая горячая Нюрка чуть не плакала от противоречивых ощущений. Она уже ни в чем не завидовала прославленной Смолкиной. Но порой казалось ей, что Бороздин не дал Смолкиной высказаться до конца, сбил ее, и тогда Нюрка жалела ее, а порой — что Смолкина жирком заросла и ничего не видит и не слышит и что всякие свиньи ей давно надоели, а до чужих тем более никакого дела нет.

Как только Бороздин объявил собрание закрытым, она подошла к нему — обиженная, растерянная — и спросила:

— Как же нам теперь? Ждать ее или нет на свиноферму?

— Ждать, ждать! Все придем! — твердо пообещал Бороздин.— Не сегодня, так завтра придем.

— А у вас, говорят, пирушка приготовлена?

— Какая такая пирушка? Разве что дадим гостье перекусить, если проголодалась, и все. И не твое это дело.

— Так ждать?

— Ждать, ждать!

Нюрка пошепталась со своими помощницами, и все они отправились на свиноферму.

— Хоть бы домой заглянуть: не знаю, ребята сыты ли? — сказала Лампия.

— А ты сбегай, мы никуда не денемся.

— Нет уж, не пойду, не умрут. А то пробегаешь всю обедню...

— Ну, твое дело! — согласилась Нюрка.

Лампия обиделась:

— Мое дело! У меня вся жизнь на свиней ушла, а ты — мое дело! Не поплясала, не погуляла, все свиньи да свиньи, все недосуг. Замуж вышла, детей наплодила, а за поросятами все в первую очередь следить приходится. Потом уж за детьми. Вот тебе и твое дело! Сама себе не хозяйка я.

— Ну, поехала! — сказала Нюрка.— С чего бы это?

— А что поехала? Тебе легко говорить, ты одинокая, куда захочешь, туда и скочишь.

— Да что я тебе сделала? Кидайся вон на Палагу. Она отмолчится. А то потерпи, скоро Смолкина придет.

Евлампия угомонилась.

Женщины прошли приусадебные участки и двинулись в темноте гуськом по заснеженной тропинке, то и дело оступаясь и проваливаясь в заледеневшие суметы. На небе выступили звезды. Нюрка посмотрела на звезды: не летит ли какая-нибудь? Стояли последние весенние заморозки, они всегда бывают особенно звонки.

Пелагея заговорила:

— Все вокруг нее так и ходят, так и кружатся, вы приметили?

— Нет, не видали! — ответила Лампия.

— А председатель-то наш ничего, умеет обращаться...

— Тоже не заметили.

— Умеет!..

— Ну и она ведь не ахти что, не какая-нибудь... Только что шляпка да кофточка, перлон-перлон, а тоже все по бумажке читает. С бумажкой-то и далеко можно пойти, ума не надо.

— А я бы хотела, бабы, чтобы все мужики колесом вокруг меня вертелись,— высказала Палага свою затаенную мечту.

— Позавидовала. У тебя один был — и того не удержала при себе. Молчала бы уж!

Скотный двор при бледном лунном свете казался внушительным и благоустроенным.

Подошли к сторожке. Ступая через порог, Пелагея недостаточно низко пригнулась и, стукнувшись головой о верхний брус дверей, вскрикнула, как под ножом.

— Это бог тебя наказывает, чтобы не завидовала! — сказала ей Нюрка.— Сгибаться надо пониже.

В сторожке было еще тепло, но женщины решили затопить печку снова. Разделись, зажгли лампу, напялили на себя новые синие халатики. Евлампия принесла дров, добавила в котел воды, чтобы не распаять его, развела огонь.

— Придет или не придет?— спросила Нюрка как бы самое себя.

— Придет, коли сказала, не такой она человек,— тоже как бы про себя сказала Палага.

— А что сейчас делать, если и придет? Свиньи спят,— продолжала размышлять Лампия.— Не будить же их, она ведь уважает скотину.

— Придет, я думаю,— повторила Палага.

— Только свиней взбулгачим, если придет.

— Она не к свиньям, она к нам придет,— сказала Нюрка.

— Лучше бы уж завтра,— сладко зевнула Лампия.— Спать хочется. Да и надоело все это. Я тоже споначалу подумала, что она душевная, а взглянула на этот хвост за ней, будто за архиреем, так и поняла: толку не будет. Что она со своей колокольни увидит?

От печки потянуло теплом. Зимой печное тепло особенно уютно, человечно, оно не расслабляет, только клонит ко сну.

Вслед за Лампией зевнула и Нюрка и, почувствовав усталость во всем теле и какую-то отрешенность, прилегла на дощатые нары против печного чела. Как ни

молода, как ни резва была она, а за этот день устала настолько, что ни говорить, ни думать больше ни о чем не хотелось. И верно — лучше бы уж Смолкина не приходила. Лучше бы она пришла завтра. За ночь можно было бы и отдохнуть как следует, и разобраться кое в чем. Вот и Лампия замолчала — тоже устала, видно, спасу нет; сейчас с неделю не будет ни с кем разговаривать. И Палага сидит согнувшись, не прихорашивается, в круглое зеркальце свое не смотрится. Уработалась и она, бедная! А Смолкина еще говорит: «Плохо вы работаете!..» До чего же легко мы обижаем друг друга! А за что? Поросенка мы бережем, дыханием своим его отогреваем — каждый поросенок на учете, в сводке, в отчетах колхоза, а свои ребятишки — верно Лампия говорит! — без призора по домам сидят, накормлены либо нет. За них никто не спросит ни с тебя, ни с председателя, их жизнь ни на каких процентах, ни на каких показателях не отражается. Неладно это, неправильно! Не простят нам этого наши высокие руководители, если узнают обо всем. А как бы сделать, чтобы узнали? Обязательно должны узнать! Был тут инструктор командировочный, выговор влепил за утят — рыбьим жиром не кормят, а рахитичных детей у птичницы не заметил... Нет, не придет сегодня Елена Ивановна Смолкина. И лучше, что не придет. Пускай завтра придет. Сейчас отдохнуть надо...

Пелагея уже прикорнула за печкой и захрапела. На лице ее выступил пот — вероятно, от удовольствия, что заснула наконец.

Нюрка толкнула Лампию под бок:

— Подвинься, а то буду падать и тебя за собою потащу.

Евлампия на нарах подвинулась не пробуждаясь.

Только бы не приходил сегодня никто. Спать, спать, ничего, что дома немножко поволнуются! Только бы не приходили...

●

Но Смолкина пришла и выспаться Нюрке не удалось. У нее даже сохранилось ощущение, что она вовсе не засыпала.

Первым протиснулся в сторожку Гаврила Романович Бороздин. Лицо у него было красное, возбужденное, на лбу, как бисеринки, поблескивали капельки пота, глаза

инициативно лучились. Он распахнул пальто, сдернул шапку с головы, оголив залысины, широкие, как речные заливчики, и посыпались распоряжение за распоряжением.

— Принимайте гостей, живо! Поинтересуйтесь, понравился ли наш колхоз Елене Ивановне. Почему у вас темно? Сейчас же зажечь «летучую мышь». У вас две? Зажечь обе! Живо! Почему пар из котла валит? Закрыть котел!.. Нюрка, вставай, чего разлеглась? Лампия, Палага, живо!..

Нюрке показалось, что Бороздин даже пнул Лампию, но это, конечно, ей только показалось.

Лампия молча поднялась с нар и стала зажигать фонари «летучая мышь».

Сама Нюрка вскочила как ошпаренная и, стыдясь, что чуть не заснула, начала одергивать и расправлять на себе насколько можно было новенький синий халатик.

Вторым в дежурку влетел молоденький Семкин. Он сказал только:

— Больше света! Еще больше! Посторонитесь!

И, забравшись с ногами на нары, на которых только что лежала Нюрка, торопливо снял крышку с фотообъектива:

— Ах, темно, темно, черт возьми!

Дверь с улицы снова открылась, и в клубах морозного пара в сторожку вошла Елена Ивановна Смолкина, румяная и помолодевшая после ужина. Появлению ее Бороздин обрадовался так, будто сегодня еще не видал ее.

— Пожалуйте, Елена Ивановна! Пожалуйте!

Фотоаппарат в руках корреспондента, казалось, начал щелкать сам.

Из-за печки навстречу Смолкиной вышла дотоле молчавшая Палага и, к удивлению Нюрки, чуть приседая, как в клубе, повторила нараспев за Бороздиным:

— Пожалуйте, Елена Ивановна!

Из-за смолкинской спины появились все районные товарищи, затем главбух колхоза, зоотехник, кладовщик и многие другие — целая делегация.

«Опять со свитой, надо же!» — подумала Нюрка.

— Здравствуйте еще раз! — сказала Елена Ивановна и начала раздеваться. Потом кивнула в сторону Семкина: — Да не снимай ты здесь, темно ведь!

Палага подкатилась к Смолкиной сзади, приняла шубу и повесила ее на гвоздь в углу.

На груди Елены Ивановны, когда она опускалась на табуретку, заблестели и зазвенели, вися на булавках,

награды, откинулись на мгновение от пиджачного сукна и опять легли на свои места.

«Чисто иконостас! — подумала Нюрка.— Напоказ все. А чего перед нами-то хвалиться?» — И никакой зависти опять не было в ее душе.

— Ну, хорошо ли у вас дела идут? — начала Смолкина тот самый долгожданный для Нюрки разговор, и начала именно так, как хотелось Нюрке,— с самого главного.

— Очень мы вас ждали, Елена Ивановна! — обрадовалась Нюрка, стряхивая с себя последние остатки сна.— Очень на вас надеемся.

— Я это понимаю, что надеетесь,— сказала Смолкина.— А дела-то как идут?

Нюрка взглянула искоса на председателя и даже удивилась: до чего спокойно устроился он на лавочке — развалился, разомлел, пот со лба выступает. Барин, да и только! Значит, он ничего не боится, либо не понимает, как много может высказать да выложить сейчас Нюрка, на какие паскудные картинки откроет она глаза Смолкиной. А коли он, председатель, ничего не боится, так ей-то чего бояться? Колхоз она, что ли, ославит? Людей своих подведет? Да нет же, не худа, а добра она желает людям! И начала Нюрка говорить.

Испокон веков живет в сердцах русских людей неистребимая вера в правду. Ни цари, ни их наместники, ни разные самозваные защитники народа не смогли истребить этой святой веры. Тысячи и тысячи правдоискателей шли в тюрьмы и на каторгу, а от правды не отступались. И в конце концов она всегда одерживала победу. Как же молодой Нюрке не стоять, не болеть за свою колхозную правду? Пусть Нюрка — человек не большой, не сильный, не партийный, но правда-то у нее народная, великая! И силы у этой правды несметные. И всегда она побеждала! И всегда будет побеждать.

— Много начальников у нас, Елена Ивановна,— как на духу рассказывает Нюрка про свой колхоз, рассказывает, будто размышляет вслух.— А ведь они не сеют, не жнут. Не на них земля-матушка держится. В полях да на фермах одни женщины еще хлопочут. И заставляют нас эти начальники делать то, что ни колхозу, ни людям не выгодно. Охота к труду пропадает, руки опускаются. Никаких праздников не видим, душа перестает красоте радеть. Душа в работе не участвует. Будто мы только для того и живем, чтобы обязательства свои выполнять.

Земля осиротела, лежит неухоженная, необласканная, последние соки свои теряет. Поросенок в нашем колхозе дороже человека, поэтому и поросятам жизни нет. Люди на свиней обижаются... Вот какие дела, дорогая Елена Ивановна, недопустимые дела! И надо, чтобы обо всем этом Москва узнала. На нее вся надежда. И чтобы скорей узнала. Самим нам ничего не сделать...

— Правду истинную она говорит! — вставила свое слово Евлампия.

Рассказывает Нюрка о своей жизни и смотрит: слушает ли ее Смолкина и что ответит ей на все это?

И Смолкина ответила ей.

— Понимаю,— ответила ей Смолкина.— Только почему ты мне все про плохое, про отрицательное рассказываешь? Ты мне про хорошее расскажи. О плохом мне уже товарищ Бороздин докладывал. Он сам все видит и понимает не хуже тебя.

Нюрка оглядывается вокруг и удивляется: неужели же и верно ничего нового для нее не сказала она? Вон и Бороздин даже улыбается, Торгованов смотрит на нее снисходительно, как на маленькую, только что провинившуюся девочку, а корреспондент — тот крутится с фотоаппаратом и щелкает, и щелкает без конца — героев запечатлевает.

— Что молчишь? — спрашивает ее Смолкина.

«И верно, что я молчу?» — думает про себя Нюрка.

— А разве я молчу? — говорит она вслух.— Разве я ничего вам не рассказала?

— Ты про хорошее расскажи.

— Хорошее-то, оно всем видно. Хорошее в жизнь входит без обмана, по темным углам не прячется. От него никому вреда нет. А с плохим тягаться надо, выволакивать его на свет, выводить на чистую воду, чтобы оно у людей на глазах было, не пряталось бы, не вредило бы жизни нашей исподтишка.

— Ты обо мне плохо думаешь? — спросила Смолкина.

— Плохо, Елена Ивановна, уж прости ты меня! — Нюрка в разговоре со Смолкиной тоже перешла на «ты», чего не позволял себе даже Бороздин.— Не таким ты человеком оказалась, как я о тебе предполагала. Не настоящая ты, если у тебя только и заботы, чтобы все плохое прикрыть. Чего боишься? Кому глаза замазываешь? Разве мы с тобой не одним делом заняты, не одной жизнью живем? А тебе бы только самой вперед вылезть...

— Но у меня-то свиноферма образцовая.

— Может, и образцовая, но бываешь ли ты на ней? На тебя ведь теперь вся область работает. И свиньи уже на тебя работают, а не ты на них. Знай в президиуме посиживай да речь по бумажке читай — тяжело ли это? Так чего же ты хвастаешься?..

Нюрка говорила Смолкиной обидные слова, а сама побаивалась: что-то ей потом за эти слова будет? Смолкина — приехала и уехала, была да и нет, а ей, Нюрке, здесь жить да жить. И если ничего не изменится в колхозе, съедят ее за такие прямые слова.

А Смолкина слушала, не нервничала, даже удивительно. Может быть, и она что-то передумывала, переживала... А потом вдруг спрашивает:

— Почему же ты, Нюрка, сама не хочешь героиней стать?

Нюрка удивилась:

— Почему это я не хочу? Я хочу! Вон и Лампия, и Палага тоже хотят. Только чтобы не на чужом горбу ездить. Чтобы перед народом не чваниться да иконостасом своим зазря не греметь, где надо и где не надо. Я не хочу получать ничего вне очереди и сверх нормы,— сказала она.— Я хочу, чтобы у всех была совесть. В детстве как-то бегала я с ребятишками наперегонки, первая добежала до забора и давай выхваляться перед всеми: вы, мол, что? вы — так! а я — вон я какая! Тогда ребятишки, даже не сговариваясь, взяли да отколотили меня — будь человеком, если ты первая!

Нюрка говорила и сама не верила тому, что это она говорит: как же осмелилась она такого и столько наговорить?

Гости замерли, ждали, что дальше будет. Лампия и Пелагея не двигались, не дышали. А Смолкина даже шляпку с головы сняла.

— Драчливая ты! — сказала она.

Бороздина эти слова вывели из оцепенения.

— Трудный у нее характер, до невозможности,— подхватил он, оживляясь.— Тяжелейший характер! С ней никто не может сработаться.

Смолкина помолчала, спросила:

— Как же ты при таком характере со свиньями ладишь?

— Ни с кем она не ладит! — еще решительней заявил Бороздин.— Было такое мнение однажды — выдвинуть ее,

да вовремя спохватились. Хватили бы мы горюшка с нею, если бы выдвинули.

— Значит, ты и с людьми не ладишь? — продолжала допрашивать Нюрку Смолкина.

— Она и сама с собой не ладит,— отводил душу Бороздин.— Выскочка!

Нюрку Бороздин не интересовал. Она смотрела в острые карие зрачки Смолкиной.

— А ты со всеми ладишь, Елена Ивановна? — дерзко спросила она.

Но Елена Ивановна уже не хотела больше неприятных разговоров и пререканий с этой выскочкой и потому оборвала ее:

— Не будем мы больше с тобой разговаривать. Пошли, показывай свою работу!

Все поднялись со своих мест, начали застегиваться. Бороздин запахнул пальто, надел шапку на голову, взял фонарь; корреспондент Семкин закрыл объектив и защелкнул футляр фотоаппарата; Торгованов поправил шарф на шее.

Поднялись и Лампия с Палагой. Обычно говорливая, Лампия не произнесла на этот раз ни слова, замкнулась, сжала губы и лишь иногда стонала, словно ей воздуху не хватало. А молчаливая, равнодушная ко всему Палага вдруг стала разговорчивой и услужливой, рыхлое тело ее напряглось, лицо замаслилось, улыбка сделалась сладкой до приторности.

— Пожалуйте, Елена Ивановна! — бросилась она к смолкинской шубе на гвозде, сняла ее, распахнула, набрасывая на плечи дорогой гостьи.— Пожалуйте!— Слово это Палага впервые услышала только сегодня от самого председателя, и оно ей очень понравилось.

Смолкина отказалась надеть пальто. Она даже шляпку оставила в сторожке.

— Пошли!

Нюрка взяла второй фонарь «летучая мышь» и двинулась к свинарнику впереди всех, освещая снежную тропу — узкую и черную от навоза. За Нюркой пошла Смолкина, за Смолкиной — Бороздин, затем Лампия и Палага в своих ситцевых халатиках, а за ними уже все остальные.

Когда створки широких ворот распахнулись и в свинарник вместе со струей свежего воздуха проник свет, за перегородками и в разных углах просторного помещения захрюкало, засопело, зачавкало и свиные рыла стали про-

совываться сквозь жерди и доски. То тут, то там мелькали острые длинные клыки и на мгновение вспыхивали маленькие злые глазки. В отдельном стойле завозился, поднимаясь на ноги, огромный, вечно голодный, с железной щетиной кабан Крокодил.

Во дворе было сравнительно чисто и не душно, и Бороздин, как показалось Нюрке, пожалел, что накануне направил сюда многочисленную женскую бригаду, которая два дня скребла и подметала полы и перемывала поросят: лучше бы уж показать Смолкиной все как есть, как водится в обычное время, во всем была бы виновата она, Нюрка.

А Елене Ивановне ничего в свинарнике не понравилось. И, стоя у барьера, стала она делать замечания — ворчливо, высокомерно,— и все Нюрке, Нюрке:

— Уплотнить надо свиней, чтобы тепла у них больше было!

— А почему воды в стойлах нет? Воду нужно иметь всегда — в избытке и свежую.

— А почему корыта грязные и гнилые наполовину?

Нюрка начала спорить, обороняться:

— Не гнилые они. Не видите вы, что ли? — она снова стала называть Смолкину на «вы».

— Не вижу я, что ли? — повторила Смолкина ее вопрос, но уже с обратным смыслом.— Гнилые!

— Не гнилые они, а съедены! — зло выкрикнула Нюрка.

— Значит, кормить надо свиней вовремя. Есть у вас корма, товарищ Бороздин? — повернулась Смолкина к председателю.

— Есть, Елена Ивановна, есть! — не дрогнув, подтвердил Бороздин.— Теперь есть, но перебои случаются! Случались перебои!

— Надо же! — ахнула Нюрка.

— Вот видишь! — зло упрекнула ее Смолкина, будто схватила за руку на месте преступления.— А ты очковтирательством занимаешься, на свой колхоз и на руководство наговариваешь!

— Надо же! — возмутилась потрясенная Нюрка.— Да что же вы такую неправду несете?

— Свиньи и те неправду не любят,— вмешалась в разговор Лампия.

— Рацион строгий должен быть. Сухое зерно, корнеплоды, витамины,— высокомерно продолжала Смолкина.— Слыхала ты, что такое рацион?

— Рацион? Да знаете ли вы, чем кормятся наши свиньи?

Потревоженные не вовремя животные шумели и хрюкали все больше и больше, зло повизгивали, словно перед наступлением грозы. В дальнем углу завизжали поросята, Крокодил за перегородкой поднялся на дыбы.

— Вы про рацион свиньям расскажите! — крикнула Евлампия.

— Научный подход наши свиньи любят,— поучала Смолкина.— Ласку любят. Уход и ласковое обращение завсегда себя оправдают и прибавку в весе дадут. Свинью хлебом не корми, а приласкай ее, за ухом ее почеши.

— Вон Крокодила почеши за ухом! — снова выкрикнула Лампия.

«Почеши, почеши его за ухом, приласкай! — со злорадством подумала Нюрка, отчетливо представляя себе, что произошло бы, если бы чужой человек, Смолкина, и впрямь захотела пройти за перегородку приласкать свиней.— Они тебе покажут очковтирательство, они тебе дадут прибавку в весе!..»

Но когда Смолкина вдруг приподняла верхнюю жердочку изгороди и опустила ее на цементный пол, потом так же вынула из гнезда и бросила на пол вторую и третью жерди и, ступив через остальные, направилась в глубь двора, Нюрка испугалась.

— Ой, что вы делаете! — закричала она, хватая Елену Ивановну за рукав нейлоновой кофточки.— Ой, не ходите к ним!

— Пускай идет! — оборвала ее Лампия.

— Свиньям доверять надо! — ответила Елена Ивановна, вырываясь из Нюркиных рук.

— Так они же голодные, как им доверять?

— Свиньи ласку любят. Я ли их не знаю? — самодовольно заявила Смолкина.

— Так бессловесные же они!

— Это наши свиньи! — стояла на своем Елена Ивановна.

— Ой, не ходите! — завизжала Нюрка, как визжат и кричат только от страшных ночных кошмаров, но ничего уже нельзя было остановить.

— Пускай идет! — настаивала на своем Лампия.— Пусть свиньи покажут ей, где правда!

Крокодил первый опрокинул перегородку. Клыки его были обнажены.

Истошный Нюркин визг слился с хрюканьем и хрипением зверей. Трещала распарываемая шерстяная материя, звенело золото и серебро на цементном унавоженном полу.

Бороздин и все гости кинулись из свинарника в сторожку, стуча сапогами, хлопая дверьми...

●

Нюрка завизжала от страха... На этот Нюркин истошный крик и визг в сторожку ворвались Колька, старший сын Лампии, и Нюркина мать. Уже светало.

Катерина Егоровна с вечера в ожидании дочери прилегла на печи, забылась в тепле и проспала всю ночь, а на рассвете, испугавшись, что Нюрки все еще нет, постучалась в избу к Евлампии, затем, в страшной тревоге, уже вместе с Колькой, бросилась на свиноферму.

Услышав еще издали нечеловеческий крик Нюрки, мальчишка с воплем распахнул дверь сторожки:

— Мама-а!

— Доченька, жива ли ты? — метнулась Катерина Егоровна к лежавшей на нарах Нюрке и принялась трясти и расталкивать ее.— Да проснись! Что с тобой? Не угорели ли вы тут?

На столе чадил фонарь «летучая мышь» — керосин уже выгорел, дымился один фитиль. В протопившейся печке либо в котле, из-под крышки которого шел парок, что-то там попискивало, как в остывающем самоваре.

Нюрка вскочила с нар и бросилась к матери. На щеке ее краснел широкий рубец от жесткого изголовья.

— Матынька, родненькая! — дрожала она, ничего еще не понимая.

— Что с тобой, доченька? Мы уж думали, не свиньи ли вас съели. Угомонись, опомнись! Неспокойная ты моя душа!

Из-за печки с лавки поднялась и во весь рот зевнула Палага. Припухшие веки ее не раскрывались.

Лампия с трудом отодрала голову от столика — она спала уже не на нарах, не рядом с Нюркой, а сидя за столом. Над нею висел свежий плакат: «Добро пожаловать, Елена Ивановна!»

— Ты что, сынок? — спросила она Кольку.— Отец-то дома?

— Дома. Он сердится, что ты и ночевать не пришла. Пойдем домой, мама! — Колька уже понял, что ничего плохого не произошло, в глазах его светилось одно любопытство. Он со смешком посматривал то на одну женщину, то на другую.

— Все живы? — спросил он.

— Все живы, чего нам сделается.

Нюрка тоже стала помаленьку приходить в себя.

— Где Елена Ивановна? — спросила она.

— Какая Елена Ивановна? — не сразу поняла ее мать.

— Смолкина.

— Смолкина? Так они же вчера еще уехали. Сразу после собрания. На трех машинах, и грузовик наш — опять сзади. Говорят, из города секретарь позвонил, легковушка потребовалась в область ехать, а другим приказал к пленуму готовиться.

— А сюда, к нам, что же? — допытывалась Нюрка.

Ответила Катерина Егоровна:

— Заторопились они. Пешком было пошли, да до фермы далеко. А на машинах поехали — забуксовали. Пока выкарабкивались из снегу, время-то ушло. Про секретаря вспомнили — и в город. И Бороздин с ними уехал.

Проснувшаяся окончательно Евлампия притянула к себе сына и обняла его за плечи.

— Эх, Колька, Колька, зря ты все эти картинки наклеивал и бумажные полотна печатал. Я ведь думала, что она и верно свиней придет смотреть.

— Нужны ей наши свиньи! — сказала Нюрка.— Она их теперь как огня боится. Дура она, что ли, чтобы к свиньям в хлев лазить!

Сказав это, Нюрка вдруг захохотала.

— А я сон видела, будто свиньи ее сожрали!

— Что ты говоришь! Вот это бы по совести! Только ведь и свиньи знают, кого можно грызть, кого нельзя. Вот ты, Нюрушка, поглядывай за ними в оба. А этой выскочке бояться их нечего.— Никогда прежде Лампия не называла Нюрку так ласково — Нюрушкой! — и не разговаривала с ней так доверительно, как сейчас.

А Нюрка продолжала хохотать. Платье на ней было помято, широкий домотканый материнский пояс свернулся на талии в трубочку, и теперь она не казалась такой тоненькой, как обычно.

— А я-то, дурочка, бросилась ее защищать, думала, и вправду она такая, думала — она настоящая...

Красный рубец на щеке Нюрки исчез, но теперь все лицо ее стало красным от напряжения, от хохота.

Катерина Егоровна встревожилась:

— Опомнись, что с тобой, доченька? Да иди-ка домой! Отоспись после того, что тебе привиделось, а я тут управлюсь за тебя. Идите и вы тоже,— обратилась она и к Евлампии и к Пелагее,— я за всех вас покомандую. Корму теперь тут на неделю хватит.— И Катерина Егоровна вся пришла в движение.

— Пойдем, мама, домой,— настаивал и Колька, подавая Евлампии старинную шубу-сибирку.

День начинался заново. Солнце с утра предвещало очередную весеннюю оттепель.

Нюрка продолжала хохотать.

1961

АСТМА

Поначалу Раиса Райкова понравилась не самому Статыгину, а его жене, Полине Васильевне. Так случается, что жены сами порой накликают беду на свою голову.

Супруги Статыгины вместе с большой группой архитекторов и художников ездили на экскурсию во Владимирскую область, осматривали памятники русской старины — монастыри, крепостные стены, остатки древней живописи в уцелевших храмах и всему радовались.

Была пора, когда весна переходит в лето, трава превращается в цветы, лиственницы покрываются хвоей, а тополя и осины раздаются и зеленеют с такой силищей, с такой неудержимостью, что издали кажутся дубами.

Среди экскурсантов почти все были давно знакомы друг с другом, потому вели себя свободно, не рисовались, не кокетничали, не старались казаться друг другу умнее и осведомленнее в архитектуре и в живописи, чем на самом деле. Чистое небо, зеленые просторы, свежий теплый ветер кружил головы. Всем было так хорошо, что об истории архитектуры, собственно, и думать не очень хотелось. И если оказывалось, что осматриваемые сооружения относились не к двенадцатому и даже не к пятнадцатому векам, то многие переставали слушать экскурсоводов и старались незаметно отойти в сторону, куда-нибудь под деревья, на траву, на скамейки.

На зеленых полянах вокруг деревень, на луговых берегах реки Клязьмы уже пасся скот. Истощенные за зиму коровы, овцы, свиньи все еще еле держались на ногах от слабости и от счастья. Радуясь свежему воздуху и солнечному свету, жеребята и телята носились по лужайкам и полям, задрав хвосты, взбрыкивали, ржали, мычали и падали, сталкиваясь друг с другом и налетая на кусты, на деревья.

Можно сказать, взбрыкивали от счастья и молодые архитекторы и художники, впервые за весну вырвавшиеся из шумной знойной столицы, в которой в это время воздух не чище, чем в общественных автогаражах.

Во Владимире-на-Клязьме все они, молодые, забрались под вечер на крышу знаменитого Успенского собора с его шлемообразными куполами и, поддавшись какому-то единому порыву, запели песню, в то время как под ними, внутри собора, шло богослужение. Очень уж пленило всех, что этот монументальный собор оправдал их надежды — оказался творением двенадцатого века. Особенно растрогали кресты, простые и могучие, без ненужных финтифлюшек-завитушек, одинаковые на всех куполах, каждый словно два скрещенных богатырских меча.

Вокруг собора бугрились серые крыши, кое-где загорались окна домов — то ли от солнечного заката, то ли от внутреннего электроосвещения, текли в разные стороны неширокие улицы. Но песня с такой высоты вряд ли долетала до города. Конечно, неслышно было ее и внутри собора. И только живая играющая излучина реки, казалось, реагировала на каждый звук ее, дымясь и посверкивая на перекатах.

Утром, оцепив древние Золотые ворота, экскурсанты ворвались в их внутренние помещения, занятые главным архитектором города Владимира под свою семейную квартиру, и никакая деликатность не могла остановить их от деятельного и тщательного обследования всех ходов и переходов этого ныне начальнического убежища.

Сдержанным в этом веселом коллективе был разве только один человек — молодая женщина, не утратившая еще девической худобы, высокая, почти плоскогрудая, с лицом гречанки, но с характером, казалось, весьма необщительным, не южным. Когда молодые люди острили, она смотрела строго, словно выжидая, что кто-нибудь из них скажет, наконец, действительно остроумное слово. Редко-редко тонкие губы ее чуть трогала усмешка, а в черных глазах вспыхивал огонек, но тоже лишь на мгновение.

— Что за бука такая? — спрашивали про нее сослуживцы друг у друга.

— Новенькая. Наверно, стесняется.

— Нет, она не наша.

— Как не наша?

— Химик.

— Почему же оказалась с нами?

— Система-то одна — Академия наук.

— А зачем ей архитектура?

— Вы неуч!

— Быть не может.

Иван Статыгин не обратил бы на новенькую никакого внимания, если бы о ней не заговорила жена.

— Ты заметил эту девушку? — спросила Полина Васильевна, когда на спуске к реке Нерль экскурсанты с хохотом, чуть не кубарем, ринулись вниз и супруги остались одни, сходя по обрыву осторожно, бочком, словно боясь примять молоденькую сочную зелень. На таких спусках люди всегда либо кидаются вниз опрометью, сломя голову, либо осторожничают до смешного.

— Какую девушку? — равнодушно спросил Статыгин.

— Да вон эту! Оказывается, она совсем не новенькая. Она — химик и уже кандидат наук. У нее своя лаборатория.

— Какая же она девушка?

— Представь себе, да.

— Уже узнала?

— Я не узнавала. Мы просто разговорились. Она сама подсмеивалась над собой, когда сказала об этом. С нами она поехала, чтобы полностью выключиться из привычной атмосферы и отдохнуть.

— Гм! — сказал Статыгин и протянул жене руку, помогая ей соскользнуть с последней крутизны.

На зеленом берегу реки Нерль, на холмике, стоит церквушка, одна-одинешенька, и называется она Спас Покрова на Нерли. Белая-белая среди зелени, с единственным куполом, прекрасная в своей простоте и с удивительной чистотой форм и линий, она здесь словно невеста, удалившаяся от мирской суеты, от шумных хороводов подруг, чтобы поразмышлять наедине над своей девической судьбой да пособирать луговых цветов, да повздыхать, да помурлыкать про себя любимые песенки, а может быть, и поплакать.

Подойдя к церквушке, экскурсанты окружили ее и замерли, любуясь чудом, сотворенным руками человеческими, одни — молча, другие — восторженно вскрикивая.

— Какого же она века, эта красавица? — спросил кто-то по привычке.

— Какого бы ни была — красавица!

— Русская красавица!

— Да, это красота не привозная, а своя, наша, точно!

— И не стареющая!

— Интересно, что церковь эта кажется чудотворной, вся, снизу доверху. Не верится, чтобы ее тоже когда-то

строили, складывали по камушку, по кирпичику. Ее не строили, она — явленная.

В руках появились записные книжки, альбомы для зарисовок, цветные карандаши. Кто-то пожалел даже, что не взял с собой этюдника.

— Таскался с ним всюду каждый день и все ничего не делал, а сегодня, как назло, оставил в гостинице.

Внутри голых стен никакого пола, по-видимому, давно уже не было. Была сухая земля. Похоже, что коровы и овцы долгое время укрывались здесь от зноя и от оводов и унавозили ее и утрамбовали.

Иван Статыгин каким-то немыслимым способом взобрался под купол церкви-часовенки и выглядывал оттуда с торжеством, с ликованием в душе то в один просвет, то в другой. Бескрайние зеленые дали — луга и рощи открывались на все стороны. Речка Нерль текла по нескольким руслам, некоторые из них, старые, постепенно зарастая осокой и кустарниками, превратились уже в озерные рукава — пристанища для уток.

Сверху, из-под купола, Статыгин увидел, словно впервые разглядел, и девушку Райкову. Она стояла в стороне от всех, высокая, стройная, сосредоточенная, стояла и смотрела на церковь, ничего не записывая, не зарисовывая. Если другие, приблизившись к Покрову на Нерли, притихли на мгновение и как бы посерьезнели, а потом зашумели еще больше, то Раиса Райкова сразу стала здесь какой-то печальной, словно бы усталой и как бы отрешенной от всего земного. Статыгину она показалась сейчас очень красивой и чем-то похожей на эту самую одинокую белокаменную церквушку со старинным именем Спас Покрова на Нерли.

«Почему Спас Покрова — такая женственная, тихая, примиренная?» — подумал он о церкви. А затем: «Почему она — такая тоненькая и, должно быть, очень застенчивая, робкая?» — это уже о Райковой.

— Ваня, не оборвись, пожалуйста! — закричала Статыгину Полина Васильевна.

— Памятник не развалите, Иван Ксенофонтович! — кричали товарищи.— Отвечать придется, он под охраной и едва цел.

Статыгин слушал их и смотрел только на Раису Райкову. Ему казалось, что она тоже смотрит только на него одного, а не на Спаса.

— Что-то в ней есть! — сказал он вслух и оглянулся испуганно: не услышал ли его кто-нибудь?

Услышать его, конечно, никто не мог, но жена, словно почувствовав его интерес к Райковой, тотчас же подошла к ней. О чем они там заговорили? Не все ли равно, о чем, пускай говорят. Статыгин отвернулся. Затем он осторожно, спиной вперед, нащупывая малейшие углубления и выступы в стене, спустился внутрь церкви, на землю, и вышел к своим.

Побродив еще с полчаса по цветам и травам, экскурсанты двинулись обратно.

Статыгин сказал своей жене:

— А она, кажется, ничего!

Жена обиделась:

— Я давно не видала такой красоты, ты просто чудишь. Собор Василия Блаженного поражает своей пестротой, дикой яростью красок и фантазии, а здесь всё предельно просто, но не менее сказочно. Мне жаль, что ты не почувствовал, как она хороша!

— Ну что ты, я почувствовал. Только я не о церкви, а об этой отроковице, о химичке. Ничего, кажется!

— Значит, ты все-таки заметил ее? — обрадовалась жена.

— Ты же сама хотела, чтобы заметил.

— А ты всмотрелся в нее?

— Я с ней не разговаривал. Но смотрел на нее.

— Значит, ты и в ней ничего не увидел. А это примечательный человек! Ты просто не понял, какой она интересный человек!

После такой горячей рекомендации Статыгин уже не мог не заинтересоваться Раисой Райковой. С ним это случалось не раз: пока жена не заговорит, не «подаст» человека, он почти не замечает его. Общительности Полины Васильевны, ее умению быстро сходиться с людьми, располагать их к себе и вызывать на доверчивые, сокровенные беседы Иван Статыгин всегда завидовал.

— Почему же она дичится всех? — спросил он.

— Это не совсем так.

— Умна она, что ли, очень?

— В меру, мне думается.

— Что же так сразу тебе понравилось в ней?

— Об этом я могу сказать. В ней нет мелкотравчатости. «Двенадцатым веком» ее не возьмешь. Она меряет жизнь не на сантиметры, мыслит и говорит не о пустячках. Главное, пожалуй, что вообще мыслит. Суждения ее решительны и смелы и независимы. Понимаешь, незави-

симы, то есть они у нее свои. Она знает цену слов «да» и «нет». Что думает, то и говорит. А это всегда интересно. Большинство людей думает интересно, но говорят, к сожалению, часто не о том, о чем думают. Уметь высказать глубинные свои мысли, решиться на это хотя бы раз в жизни — не так просто и легко. Это же исповедь. А исповедуются у нас далеко не все, разучились. Она же говорит с тобой так, как будто все время исповедуется. С ней интересно разговаривать, ее интересно слушать.

— Устрой как-нибудь, чтобы и я послушал,— шутливо попросил муж.

— Обязательно надо познакомиться с ней,— всерьез поддержала его желание жена.— С интересными людьми надо знакомиться.

— Вот и познакомь!

Но помощь жены не понадобилась. Иван Статыгин стал слишком внимательно поглядывать в сторону Раисы Райковой, та заметила это и подошла к нему сама.

— Мне кажется, вы хотите со мной заговорить?— спросила она.

Статыгин растерялся от неожиданности: никогда еще ему не приходилось знакомиться с женщиной так просто, так необычно.

— Да, я думал... мы о вас тут...— начал он тянуть.

— Значит, я не ошиблась?

— Да, я хотел заговорить с вами. Только думал — как, с чего начать?

— Так, пожалуйста, начинайте, вот я!

— Ну да, я хотел, но...— Статыгин тянул и оглядывался вокруг, словно боялся, что его кто-то подслушает.

— Выходит, что я же вам и помочь должна. Меня зовут Раиса Михайловна.

— Да, я уже знаю.

— Или вы боитесь, что нам не о чем будет разговаривать? Вы кто — архитектор или художник? Ваша жена сказала мне, что вы хороший человек. Это меня устраивает.

Люди шли и впереди и сзади их по широкой проселочной дороге и по сторонам дороги, в цветах и травах, но разговаривать им никто не мешал и никто не мог их слышать — каждый занимался своим делом.

Статыгин более внимательно посмотрел на Раису Михайловну. Да, она была интересна, даже красива.

Лицо тонкое, чуть бледное, лоб открытый, крупный,— такие открытые лбы, женские ли, мужские ли, неизменно нравились Статыгину. Но ее манера держаться, как это ни смешно, поначалу почти испугала его, по крайней мере, он опешил. Что-то было в этой манере резкое, дерзкое и, конечно, совершенно не женское. И глаза смотрели дерзко, высокомерно. А глаза-то ее прежде всего и обращали на себя внимание.

Одета Райкова была просто, без каких бы то ни было претензий на моду, но хорошо, со вкусом. К ее тонкой фигуре шел светло-серый костюм— удлиненный пиджак, узкая плиссированная юбка и глухая белая кофточка, белая до солнечной желтизны.

— Рассмотрели? — спросила она, разглядывая, в свою очередь, Статыгина.— Кажется, только на волосы не обратили внимания? Да еще на уши — есть сережки или нет? Сережек у меня нет, не ношу, потому что уши не проколоты.

— Простите! — растерялся опять Статыгин.

— Пожалуйста. В людей вглядываться следует, и лучше при первой же встрече. Я на вас тоже воззрилась.

Растерянность на время оставила Статыгина, он овладел собой.

— Весьма польщен, что обратил на себя ваше благосклонное внимание! — сказал он с вызовом.

— Не совсем так,— ответила Райкова.— На вас обратила мое внимание ваша супруга, а не вы. А она располагает к доверию. Но о благосклонности пока говорить рано, я вас еще не знаю. Между прочим, вы так и не ответили на мой вопрос: кто же вы? Я имею в виду вашу работу.

— Да я так, знаете...

— Нет, не знаю.

— А вы — химик, я слышал? — спросил, в свою очередь, Статыгин.

— Точно. Есть такая профессия. Вы — «так», а я химик. Еще говорят иногда — химичка.

— Вы любовались этой церковью, Спасом Покрова на Нерли? Что вам нравится в ней?

— Весьма польщена, что вы находите возможность заговорить об архитектурных памятниках с химиком. Вас действительно интересует мое мнение?

— Ну что вы задираетесь? — опять с вызовом, почти резко упрекнул ее Статыгин.

Райкова даже замедлила шаг и взглянула на него сбоку, словно поразившись прямотой вопроса. Затем ответила:

— Вы правы. Не буду задираться, обещаю.

— И языком говорите таким, будто в стародавнем романе, замедленным, с приседаниями.

— И относительно языка согласна. Но, кажется, мы оба так начали, с приседаниями, как на аристократическом балу.

— Двадцатый век, не до приседаний,— начал уже шутить Статыгин.

— Хорошо, хорошо. Давайте короче. В Спасе этом понравилась мне определенность, какая-то математическая чистота соотношения деталей. Естественность форм и размеров — вот что понравилось. Это как в хорошем литературном произведении — все естественно и убедительно. Читаешь и совершенно забываешь, что кем-то все написано, *сочинено*. Видишь только волнующее течение жизни, настоящей жизни, и следишь за ней. Должно быть, никакие привходящие обстоятельства не мешали архитектору быть художником, мастером своего дела, ничто не лишало его вдохновения. Он строил церквушку, как песню пел.

Райкова сказала все это, и тонкие губы ее вдруг скривились:

— Ну, как сейчас, коротко выражаюсь?

— Как в двадцатом, в атомном! — засмеялся Статыгин.

Улыбнулась более определенно, не криво, и Райкова.

— Кстати, о веках,— сказала она.— Почему-то ваши товарищи особое пристрастие питают к сооружениям древним. Подай им двенадцатый век, и только. А разве в восемнадцатом, в девятнадцатом ничего идеального создано уже не было? Сплошные излишества?

— Излишества тоже не всегда плохи. Правда, тогда они уже не называются излишествами. И украшательством уже не называются.

— Злободневная терминология. А вот этому Спасу не нужно никакое украшательство. Его сила — совершенство линий. Небо красиво и без фейерверков.

— Без поэтизмов.

— Вот-вот,— подтвердила она.— Поэзия без бумажных цветов. Я знаю одно стихотворение, которое мне представляется вырубленным топором, но из самого

благородного дерева, и оно прекрасно. Оно простое, как этот Спас на Нерли.

Был у Христа-младенца сад,
И много роз взрастил он в нем,
Он трижды в день их поливал,
Чтоб сплесть венок себе потом...

Не знаете, кто создал это стихотворение? Я сознательно говорю — не написал, а *создал*.

— Не знаю.

Статыгин снял свой легкий синий плащ и нес его на руке. В правой руке у него была ивовая палочка, только что вырезанная в береговых кустах, он не опирался на нее, а размахивал ею, сшибая головки первых желтых цветов.

Статыгин и Райкова были одинакового роста и шагали в ногу. Но рядом со Статыгиным Раиса Михайловна, вероятно из-за своей худобы, казалась значительно выше его.

— Не сбивайте цветы! — сказала она.

На этом они расстались.

Красно-желтый московский автобус с надписью «Служебный» сиял в стороне от дороги, уже готовый к отправке, и пофыркивал и ржал, будто застоявшийся битюк. Невдалеке от автобуса валялась бутылка из-под водки.

— Какого она столетия? — спросил кто-то.

Посмеялись, но уточнять не стали, заняли свои места, поехали. Статыгин сел рядом со своей радостной женой. Шумели все так, что не слышно было ничего, даже работы мотора.

Суздаль предстал перед глазами, как сказочный град Китеж. Издали он показался чистеньким, целехоньким. Но только издали. Страшные раны были нанесены этому удивительному городу-музею, и не только временем, но и небрежением нашим.

Далеко еще не все эти раны залечены в нем, хотя в последние годы Суздаль постепенно превращается в архитектурный заповедник России...

Директор Суздальского музея Алексей Дмитриевич Варганов рассказывал экскурсантам о вверенных ему владениях историю за историей, одну легенду занимательнее другой.

В Покровский монастырь Василий Третий сослал свою жену Соломонию Сабурову за бесплодие. А Соломония,

не будь дурой, взяла да и родила в ссылке своего Георгия. Новая жена Василия Третьего тоже оказалась бесплодной. Проходит год, два, три — нет наследника. Тогда родители ее сообразили, что дело может обернуться плохо и для нее, и решили заранее принять соответствующие меры. Меры приняли так удачно, что жена Василия родила, и не кого-нибудь, а будущего Ивана Грозного.

Суздаль был местом ссылки многих царских и иных видных жен старого времени, попавших в немилость за разные провинности, а то и просто по извету. Там они жили, чем-то занимались, рукодельничали и умирали. В 30-е годы в церкви Александро-Невского монастыря была размещена кузница артели «Красный металлист». На могучих могильных плитах с литыми письменами ковали, как на наковальнях. В другой церкви под поленницами дров валялись шкурки бездомных собак и дохлых кошек, это работало Заготкожсырье. А избушка, в которой велось следствие по делу жены Петра Первого, Авдотьи Лопухиной, была отведена под конюшню.

Сразу после войны архитектурным заповедником занялся Комитет по охране памятников старины. Первое время работы велись по принципу Тришкина кафтана: восстанавливали одно, разрушали другое. Ради восстановления и ремонта кирпичной стены комитет приказал разобрать несколько памятников древности, после чего, собственно, и стена оказалась уже не очень нужна. Но самое удивительное, пожалуй, что эта сказка — Суздаль — все-таки сохранилась до наших дней, хотя ныне ценятся совсем другие сказки...

Ликующих экскурсантов никакие рассказы Варганова не печалили. Слишком уж была погода хороша и воздух чист. Весело было бегать по земле, а не по асфальту, никуда не спешить, никому ни о чем не докладывать.

Долгое время после этой экскурсионной поездки Статыгин не встречался с Райковой и, наверно, забыл бы о ней. Но Полина Васильевна встречалась с Райковой где-то по делам службы и всякий раз восторженно рассказывала о ней.

— Раиса — человек не рядовой, незаурядный. В ней много своеобразия, незнакомого нам, редко встречающе-

гося, к ней следует присмотреться,— говорила она, вернувшись с работы и собирая ужин.

— В чем ее своеобразие? — спрашивал муж.— В том, что она замуж не выходит, целиком посвятила себя науке?

— Да нет же! В том-то и дело, что она, по-моему, мечтает выйти замуж, да не может.

— Раю в рай грехи не пускают?

— И грехов у нее нет. Тебе кажется смешным то, что я тебе рассказываю. Но это же не смех, а горе. Трагедия. Не может она замуж выйти, как бы ей ни хотелось. Рада бы, да не может! Ну, за кого она пойдет? За первого обормота? Зачем это ей? И куда она приведет своего мужа, она сама в общежитии живет.

— Странно как-то! — удивлялся Статыгин.— Говорим об ученом человеке, и вдруг — не может выйти замуж... трагедия... Словно мы издеваемся над ней.

Полина Васильевна пристально взглядывала иа мужа, тянула «да-а!» и замолкала.

— К тому же мне она представляется человеком совершенно иного характера, чем ты думаешь,— продолжал Статыгин.— Это химичка-фанатичка, либо железобетонная профсоюзная активистка. Были бы вовремя собраны профвзносы, а остальное — мелочи жизни и ниже ее достоинства. По доброте своей ты опять все приукрашиваешь в человеке, видишь поэзию там, где ее нет.

Полина Васильевна больше не вступала в разговор.

●

Статыгин узнал телефон Раисы Михайловны и позвонил ей в общежитие.

— Я вас слушаю! — услышал он начальнический, почти не женский голос, когда Райкову позвали к телефону и по коридору простучали ее каблуки.

— Здравствуйте, Раиса Михайловна! Не забыли?

— Что вы, как можно забыть! Кто это говорит?

— Из двенадцатого столетия, Иван Статыгин.

— Какой Иван Статыгин? Ах да, простите! Иван Ксенофонтович Статыгин?

— Так точно.

— Слушаю вас.

— На улице идет дождь, не видать ни зги. Самое подходящее время для прогулок.

— Не понимаю вас. Что вы хотите?

— Я хочу увидеть вас.

Сказав это, Статыгин, казалось, исчерпал всю свою изобретательность и решительность. Замолчала на некоторое время и Райкова. Затем она спросила:

— У вас есть ко мне дело?

— Что вы, Раиса Михайловна, служебное время уже кончилось.

— И вам действительно нужна встреча со мной?

— То есть как? Я сказал, что хочу видеть вас...

— Что значит «то есть как»?

Статыгин мысленно обозвал себя дураком. Но отступать уже не хотелось.

— Может быть, вы все-таки позволите лицезреть себя?

Райкова ответила тем же:

— Может быть, вы все-таки ответите: вам действительно это очень нужно?

И Статыгин разозлился на себя окончательно.

— Нет! — сказал он.— Уже не нужно. Слишком много вопросов. Такой проверки я вынести не смогу.

— Очень жаль! — сказала Райкова и повесила трубку.

После этого Статыгину действительно захотелось ее увидеть. И очень. Он думал: «А вдруг она и есть *то самое*, чего ему порой не хватает в жизни? *то самое*, о чем он давно мечтает, чего, казалось, еще не встречал в жизни, а ищет всю жизнь?»

Они стали встречаться.

Райкова оказалась человеком с ясным, но несколько скептическим умом. Весьма возможно, что этот скептицизм шел от ее недоверчивости и мнительности. Казалось, ее пугала малейшая возможность всерьез увлечься кем-либо, чем-либо. Она не позволяла себе даже намеков на чувствительность, на восторженность, будто все время заслонялась от яркого солнца. Обжигалась она, что ли, много и во всем разуверилась или просто устала от всего?

— У вас были большие потрясения в жизни? — спрашивал ее Статыгин.

— Что вы называете большими потрясениями? — в свою очередь, спрашивала его Раиса Михайловна.

— Комментировать не буду.

— Пожалуйста!

— Почему вы все время боитесь, что вас кто-то может обидеть?

— Потому, вероятно, что у всякого в жизни бывали и есть какие-то свои маленькие трагедии.

— У вас есть?

— Конечно.

— Только — маленькие?

— В соответствии с местом, занимаемым человеком в истории общества, в жизни.

— Маленькие трагедии, конечно, держатся в великой тайне?

— Конечно, в великой.

— И вы не поделитесь этой тайной?

— Неужели вы полагаете, что переживания и боли одного человека могут быть понятны другому?

— Боитесь обид каких-то? Я вас не обижу.

Райкова засмеялась:

— Мне бы не хотелось, чтобы вы оказались слишком наивным.

— И любопытным?

— Это бог вам простит.

В общежитии научных работников коридорная система. С обеих сторон совершенно одинаковые комнаты. На каждом этаже по две кухни, по две комнаты с ванной и умывальниками. А этажей шесть. Сколько жилых комнат было на шести этажах, никто точно не знал. В каждой комнате четыре человеко-койки, как говорил комендант,— для девушек либо для мужчин. В редких комнатах обитали семейные жильцы с детьми, на них смотрели как на счастливчиков. Мужу и жене без детей отдельная комната не предоставлялась: слишком скоро переженились бы все, а мест в общежитии и так постоянно не хватало.

Раиса Михайловна отгородила свою койку ситцевой ширмочкой, вход за которую был запрещен раз и навсегда для всех без исключения, в том числе и для Ивана Статыгина. Он как-то сказал ей:

— Можно подумать, что у вас за ширмой домашняя лаборатория и вы производите там секретные химические соединения.

— Никаких соединений, ни химических, ни физических,— там я одна на всем свете.

— Не много же вам места потребовалось для одиночества.

— Четыре квадратных метра. Больше не положено.

Поначалу Статыгин отнесся к запрещению без достаточной серьезности и попытался заглянуть за ширму.

Райкова побледнела, губы ее, и без того тонкие, совершенно исчезли с лица, глаза вспыхнули враждебностью, злобой. Кричать она не стала, но, когда заговорила, Статыгин не узнал ее голоса.

— Я вам сказала, не входить. В чем дело?

Ничего подобного он не ожидал. А когда Раиса Михайловна вышла из-за ширмы, лицо ее и шея были влажны, а под мышками появились темные пятна.

«Ох, и нервная, должно быть!» — сообразил он.

Раиса Михайловна заметила это и, кажется, рассердилась еще больше. Она вышла в коридор и не вернулась, хотя они только что условились пойти вместе в кинотеатр. Статыгин посидел в комнате минут десять, поразговаривал с девушками — соседками Раисы Михайловны, Ниной и Виолеттой, аспирантками, вышел в коридор, прошагал по нему несколько раз из конца в конец, снова постучался и вернулся в комнату.

— Странно! — бормотал он.— Куда же она могла исчезнуть?

Виолетта была тоже химиком, работала вместе с Райковой, и она ответила:

— Странно другое: вы, оказывается, еще совсем не знаете Раю. А мы думали, что вы ее старый друг.

— Ну хорошо, но где же она? У меня билеты на руках.

— Если бы иметь дело не с Раисой, я с удовольствием пошла бы с вами. А так выбрасывайте билеты либо идите один. Она не вернется.

Встретились они снова только недели через две. Райкова ни одним словом ни напомнила Статыгину о происшедшем и ему не дала об этом заговорить. Иван Статыгин не тосковал в течение этих двух недель и не очень-то понимал, почему, собственно, они встретились снова. Инициатива, конечно, шла от него, поэтому он недоумевал еще более.

Общежитие не располагало к продолжительным и сердечным разговорам, а больше встречаться было негде. Началась зима, морозило, мело, приходилось поднимать воротник пальто. Он не находил разговора. Но когда Райкова начала рассказывать о своей работе, о новых химических соединениях, найденных ею и обещающих интересные перспективы, о полимерах и как и для чего они могут быть использованы человеком, Статыгин забыл о времени. На него повеяло сказками детства о скатертях-самобранках, о сапогах-скороходах. Впервые в жизни он

почувствовал, что наука эта не менее романтична, чем живопись, поэзия, астронавтика.

— Фу, черт, вот тебе и химия! — воскликнул он.

— Не ожидала, что вы такой невежественный человек! — кажется, всерьез удивилась Раиса Михайловна.

— Меня до сих пор интересовали вы, а не химия.

— Что же вы нашли во мне, кроме химии?

Статыгин промолчал. Он пока и сам не очень разбирался в этом. Предположение, что он нашел *то самое*, пока ничем не подтверждалось и не переходило в ощущение.

Может быть, ему просто хотелось поиграть в любовь, в интрижку, а может, не давало покоя любопытство, возбужденное рассказами жены? Говорят, в любви время свое возьмет. Но вот прошло уже немало времени, а любовь никак себя не проявляла и любопытству пищи не находилось. Его интерес к Раисе Михайловне начал остывать. Да и Райкова, кажется, не испытывала на себе благотворного влияния времени, длительные разлуки, повидимому, нисколько не огорчали ее. Статыгину иногда казалось, что им больше интересуются подруги Райковой, чем она сама,— Нина и Виолетта, девушки молодые, миловидные и далеко не такие ожесточенные аскеты-ученые, какой выглядела Раиса Михайловна. Третья подруга в счет не шла — этому молодому аспиранту было уже далеко за сорок.

Но рассказ Райковой о своей научной работе пробудил любознательность Статыгина, а вместе с этим и новый интерес к ней самой. Все-таки постепенно начал раскрываться для него этот чрезмерно настороженный и словно бы чем-то ушибленный человек.

— Что же вы замолчали? — спросила она.— Думаете?

— Думаю над тем, что вы, вероятно, унаследовали свою страсть и способности от своих родных. Ваш отец занимался тем же? И мать?

— Нет. А вы уже и до родных моих дошли?

— Я опять не хотел вас обидеть ничем.

— Отец мой — ныне заведующий торготделом райисполкома. Занимал посты и повыше. Но, по-моему, главным занятием его в жизни были женщины, и жены в том числе. Он в свое время был, как мне кажется, интересным мужчиной, но мужчина — что! Он всегда был начальником, а это на районных афродит действует очень сильно. Моя мать состарилась с ним к тридцати годам. Первая моя мачеха до тридцати не дожила, отец

извел ее своим высокомерием и успехами у других женщин. Второй мачехой стала моя школьная подруга — ей и сейчас еще нет тридцати лет. Тоже мученица. Отец, кажется, скоро снова станет молодоженом. А я вот, как видите, насмотрелась и до сих пор ни на что решиться не могу. По правде сказать, страшновато. И вряд ли эстетично.

Пока Раиса Михайловна рассказывала о своем отце, Статыгин вспомнил о жене, подумал о том, что сам он вот уже не первый раз сидит здесь и что это начинает походить на любовные свидания, и ему стало неловко за себя. Но главное, что Райкова, знакомая с его женой, так же, вероятно, помнит об этом всегда, и что-то она думает о нем? А что думает она о себе самой?

Статыгин, чтобы преодолеть в себе эту неловкость, решил сострить:

— Все-таки неплохая у вас наследственность, Раиса Михайловна!

Райкова резко вскинула голову:

— Вы что — циник? Я же вам не анекдоты рассказываю. Или вы просто плохой человек?

Статыгин залюбовался ее надменностью, бледным строгим профилем и вместо ответа хотел придвинуться к ней со стулом (девушек в комнате не было), но Райкова быстро встала и ушла в свой закуток, за ширму.

— Одну минутку! — бросила она на ходу.

Статыгин чуть вытянулся, перегнулся и в щелочку ширмы увидел, что она торопливо меняет подмышники и сыплет, сыплет на вату какой-то белый порошок.

«Подмышники!.. Тьфу, черт! — выругался про себя Статыгин.— Неужели же из-за этого она так пуглива и так строга? Неужели это и есть ее великая тайна? Чепуха какая! Нервность — это я еще понимаю, но это... А ведь при нервности бывает именно это... Маленькая трагедия? Да нет, быть не может, чтобы такая чепуха портила жизнь человеку, заставляла его держаться в стороне от людей. Что — от людей, от меня в стороне!»

— Вы скоро, Раиса Михайловна?

— Вам лучше уйти сегодня, Иван Ксенофонтович. До свиданья!

— Слушаюсь!

Статыгин долго не мог привыкнуть к редкой прямолинейности Райковой. За этой особенностью ее он чувствовал неженскую волю. Раиса Михайловна совершенно не умела кокетничать,— по крайней мере, так ему каза-

лось,— не имела понятия, что значит лукавить, кажется, и нерешительность была ей совершенно чужда.

— Я бы хотел повидаться с вами сегодня,— позвонил как-то он.

Райкова чуть помедлила и ответила:

— К сожалению, у меня такого желания сегодня нет. Я думала о вас, и думала плохое.

— Простите, что позвонил! — всполошенно промямлил Статыгин.

— Не обижайтесь, если сможете,— ответила она.

А бывало, что она скажет еще проще:

— Мне сегодня необходимо решить серьезную задачу. Короче: я занята. Боюсь, что вы помешаете мне. Не приходите! Попробуйте позвонить дня через три.

Статыгин не привык подчинять свои желания каким-либо условиям. Он ответил с обидой:

— Но, Раиса Михайловна, вы, помнится, говорили, что любите встречаться со мной?

— Это не значит, что всегда.

Но он уже не сомневался, что она любит встречаться с ним. Только еще не знал — почему.

— Я хочу поехать на выходной день за город. Не сможете ли вы быть со мной? — предложила однажды она сама.

— Не хочу! — твердо и мстительно заявил Статыгин, вспомнив много случаев, когда она отвечала на его просьбы так же.

— Я поняла бы вас, если бы вы сказали: «Не могу». «Не хочу» — я отвергаю.

Статыгин подчинился.

•

В городе уже не было ни снежинки, а в лесу весна только начиналась. Правда, грачи, и скворцы, и дрозды уже прилетели. Статыгин не узнавал Райкову: опять она предстала перед ним с какой-то совершенно новой стороны.

— Подумать только,— негромко восхищалась она,— что можно так вот просто взять билет за тридцать копеек, сесть в электричку и приехать прямо в рай. Пусть всего на один только час, пусть даже бога не встретить, а все-таки побывать в раю. Как это удивительно! Что бы там ни говорили разные ортодоксы о пантеизме, а человек должен жить в лесу.

Статыгин в шутку спросил (в шутку ли?):

— Значит, я не смогу для вас сойти за бога?

Она огорчила его:

— Разве это можно принять всерьез? Бог должен быть жестоким, а вы...— И немного погодя повторила: — Все-таки человеку надо жить в лесу!

В дачной местности они увидели, как скворцы дружно отвоевывали свои жилища у воробьев, а потом уже дрались промеж собой. На ветках деревьев возле каждого скворечника сидели обычно по три скворца. Почему по три? Загадка разрешилась: двое из трех то в одном месте, то в другом вступали в ожесточенные бои, кончавшиеся тем, что третий в конце концов исчезал. На фоне неба Райкова увидела забавную картинку: в сучьях голой березы висели вниз головой два скворца, один держался за сучок, а другой висел на нем, сжав ему лапками клюв и вторую ножку.

— Мертвая хватка! А долго они так смогут держаться? Заметьте по часам! — попросила Райкова.

Статыгин заметил. Почти полторы минуты висели скворцы, наконец верхний не выдержал, разжал лапку на ветке, и оба они повалились вниз, расцепившись на лету. Победитель занял место у скворечника рядом со скворчихой и залился песней.

Лес казался дремучим и таинственным, пока они в него не вошли, а вошли — и как в доме, все в нем сразу ожило, и все стало казаться родным и близким, а птицы и зверушки, хоть и неизвестные,— старыми знакомыми. Тайны начали открываться одна за другой. Кто производит такую звонкую дробную трель, постепенно замирающую в утреннем воздухе? Может быть, это дерево скрипит, трется на ветру сучком или стволом о другой ствол? А может, дятел долбит? Но разве можно с такой скоростью что-то долбить? Скорее это музыка, чем работа. Игра.

— Подсмотрим,— предложила Раиса Михайловна.

Они пошли на трель и увидели на высокой сухой осине пестрого дятла с ярко-красным подхвостьем и животом. Сидел дятел под обломком сучка и время от времени коротко и дробно бил по нему носом — так пианист иногда пробегает пальцами сразу по всей клавиатуре рояля. Сучок вибрировал, пел. Конечно же, это была игра, это была утренняя песня дятла!

Статыгин ударил ногой по стволу. Дятел перелетел на другое дерево, уселся под такой же сухой сучок и

почти сразу заиграл снова. Должно быть, инструментов, подобных этому сучку, у дятла в лесу было присмотрено немало.

— Весенний ток! — сказал Статыгин. — И дятел токует.

В хвойной роще лежал еще глубокий снег. Старые лыжные колеи затвердели и поднялись буграми над подтаявшими и осевшими сугробами. Следы в лесу как бы вытаяли и увеличились до пугающих размеров: собачьи стали, по крайней мере, волчьими, а то и медвежьими, беличьи — заячьими. Думалось: какие доисторические звери побывали в этом лесу? А следы человечьих ног стали такими огромными, будто здесь недавно бродил сам леший.

На опушках снег был тонок, поверхность его, источенная водой и солнцем, напоминала рябь на озере, завихренные ветерком пенные гребешки. Над снежным раздольем, как над озером, летали первые весенние бабочки. И комары-толкуны вились в хвойной тени — прямо над снегом.

— Хорошо! Удивительно хорошо! — то и дело повторяла Раиса Михайловна.— Бабочки на снегу — это доступно только музыке. А комары толкут воду в ступе...

— Воду в ступе... это уже что-то не от поэзии и не от музыки,— сказал Статыгин.— У комаров — любовь.

— Фу! — поморщилась Райкова.

— А что? — возразил Статыгин.— Все очень естественно.

— Полноте, Иван Ксенофонтович! Что мы знаем об этой комариной естественности? Это же целый мир. Природа. Мы слишком высокомерны по отношению к природе.

Статыгин показал на отверстие в дупле осины.

— Я в прошлом году бывал здесь. Тут росли молодые горластые музыканты, крик стоял на весь лес с утра до вечера. Не только родителям, никому покоя не было. И вот посмотрите на второе отверстие в этой же осине — с обратной стороны и чуть повыше первого — это резиденция взрослых дятлов. Я понаблюдал: во втором гнезде жили папа с мамой. Должно быть, там была для них единственная возможность передохнуть от крика вечно голодных и хамовитых отпрысков. Кажется, у всех дятлов так заведено: гнездо для детей и гнездо для себя. Хлопот с детками не оберешься, а подрастут они — и

навсегда бросают свое родное гнездо, да еще с родителями расплюются.

— Вы опять про любовь? — засмеялась Раиса Михайловна.

Что-то в ней оттаяло: ходила по лесу, словно крадучись и беспрерывно улыбаясь, ко всему приглядывалась, ко всему прислушивалась, время от времени вздыхала. Вся ученость с нее слетела, даже слова она стала употреблять иные, чем в городе, простые, обиходные.

— Очень хорошо! Да, человек должен жить в лесу!

— А работа? А химия? — спросил Статыгин.

— Я думаю, что вы сознательно хотите исказить мою мысль. Сегодня мы отдыхаем, спорить не надо. Не о чем. Я вам благодарна за сегодняшний день!

Статыгин зашел в лесок, где было много еще не испорченного мягкого снега, и крикнул:

— Посмотрите сюда, и здесь любовь!

— Что такое?

— Любовь, говорю! Видите? Беличьи следы, вроде заячьих, только размером побольше. Да вот и сами белки.

И они увидели: несколько белок, окрашенных еще позимнему, серо-голубых, с рыжими пушистыми хвостами, носились по низкорослым елочкам и прямо по земле, по снегу, по мху, одна за другой.

— Беличьи свадьбы. Весна — время любви!

Статыгин настойчиво твердил о любви.

— Очень хорошо в лесу! — задумчиво отозвалась Райкова.

— Всегда хорошо! — подтвердил Статыгин.— Но весной, конечно, особенно хорошо. Да, весна — время любви.

— Разве я возражаю?

Райкова вскинула голову. Статыгин уставился на нее, не отрывая глаз. «Она красива, когда вскидывает голову,— думал он.— Так вскидывает голову молодая ланка, ему это приходилось видеть». И Статыгин как бы между прочим спросил:

— А что думаете о любви вы, Раиса Михайловна? Весна!

Странно, что она так долго не позволяет приблизиться к себе. Даже под руку не разрешает себя взять. Не хочет, и все, не привыкла, говорит. Было однажды зимой: он взял ее под руку на улице, и она на мгновение

припала к нему, но вдруг заволновалась и отстранилась. Странно все... Игра какая-то?

— Вам хочется поразговаривать о любви? — спросила она.

— Да, хочется.

— Вас беспокоит любовь?

— Да, беспокоит.

Райкова, конечно, нарочито огрубляла разговор, и Статыгин отвечал ей тем же.

— Беспокоит, говорю!

— В какой форме?

— Что это значит? Вы над чем смеетесь, Раиса Михайловна?

— Значит, я что-то должна сделать, чтобы вас перестала беспокоить любовь? Так я вас понимаю?

Похоже, она уже издевалась над ним. А почему, собственно, почему?

— Разве желание любви вам не кажется естественным? — спросил он.— О какой форме вы говорите? Может быть, вы думаете о любви законной и незаконной? О так называемой незаконной,— уточнил он.— Разве незаконное всегда противоестественно?

Раиса Михайловна задержалась перед старой елью с муравейником у ствола, обернулась к Статыгину, словно хотела получше разглядеть и понять его, и ответила:

— Не мудрите, Иван Ксенофонтович, а то я боюсь неправильно истолковать вас. Давайте проще, люди мы взрослые, не принимайте меня за девочку. Скажите лучше, как вы сами понимаете любовь?

— Вот это разговор! — обрадовался Статыгин.— Слыхали вы, есть такое выражение у летчиков-истребителей: свободный поиск? Идти в свободный поиск...

— Ну, ну,— подбодрила его Раиса Михайловна.— Не мудрите! Еще проще!..

Статыгин снова насторожился и замолчал. Всерьез она хочет прямого разговора или издевается над ним?

Раиса Михайловна раздвинула еловые лапки над головой, над муравейником и с явным лукавством смотрела на него, ждала. Потом, чуть помедлив, сказала:

— Что-то у нас не получается разговора о любви. А весна ведь! Смотрите, уже муравейник оживает. Тоже любовь?

Муравьи высыпали наружу и маслянисто поблескивали сплошной черной массой. Двигались они медленно,

словно еле-еле приходили в себя — не до любви еще, наверно, было.

Статыгин сдержал обиду:

— Самое интересное будет вечером, на зорьке, когда вдоль опушек начнут сновать лесные кулики — вальдшнепы.

— Я слыхала об этом: тяга.

— Да, тяга! То же, что тетеревиный ток, только на лету. Весенние свадьбы.

— Значит, вы опять про любовь? И не можете не говорить об этом?

— Не могу! — признался Статыгин.

— Вы покажете мне тягу сегодня?

— Нет. Ружье нужно.

— Почему обязательно ружье? Разве нельзя не убивать?

— Нельзя без ружья: я охотник.

— Уважьте любовь хоть раз, весна же!

— Не смогу. Я охотник! — заявил он окончательно.

— Понятно. И не боитесь меня испугать этим?

Статыгин засмеялся:

— Я скоро сам буду вас бояться.

Они пошли дальше, все дальше и дальше от железной дороги, от дачных поселков. То разговаривали, то молчали. Райкова держалась в стороне от Статыгина, либо шла впереди него. Снегу местами было так много, что хотелось встать на лыжи.

— По утрам, когда примерзает, можно еще ходить на лыжах, по насту,— подтвердил ее догадки Статыгин.— Но примерзает ли по утрам? Весна наступает слишком яростно. Вы любите ходить на лыжах?

Райкова не ответила. Ее что-то начало раздражать. Статыгину показалось, что ее угнетают часто возникающие заминки в разговоре, но от этого он почувствовал только неловкость и сам стал раздражаться.

Пели птицы. Райкова заговорила о птицах:

— Вон сколько птиц в лесу, а мы их не знаем...

— Ну и что? — не дав ей договорить, задал вопрос Статыгин.

— Как — что? Это же стыдно.

— Вы меня в чем-то упрекнуть хотите?

— И вас, и себя. Вас тем более, вы — охотник.

— Ну и что из того?

— А вот что. Мы постоянно говорим о своей любви к

природе. Говорим: наша земля, наш лес! Слушаем пенье соловья. А какой он, соловей? Какая она, иволга? Знаем сороку, да ворону, да воробья, да разве еще синичку. Но одних синиц десятки видов. Разве неправда? Орлов, конечно, знаем! Как же — цари! А об остальных говорим просто: стан, пернатое царство... Обидно и стыдно за человека!

— Я вижу, вы скоро совсем про химию забудете,— постарался улыбнуться Статыгин.

— Перестаньте шутить, вы, любитель природы! Охотник! Без ружья в лес выйти не можете. А ведь, наверно, отстаиваете жизнь во всех ее проявлениях, так сказать, за мир на земле боретесь.

— Ну, этого хода я уж совсем не понимаю! — огрызнулся Статыгин.

— Поймете, если захотите.

Они снова надолго замолчали. Потом Раиса Михайловна обратила его внимание еще на один муравейник, при этом обругала кого-то, словно обрадовалась, что нашла повод для разрядки своего внутреннего напряжения:

— Негодяи!

— В чем дело?

— Бандюги! Вы заметили, что мы еще не встретили ни одного муравейника неразрушенного, неразворошенного?

— Ну?

— Ни одного! Идет горожанин по лесу и раскидывает эти пирамиды. Медведь пройдет по лесу — ничего без нужды не тронет, человек пройдет — обязательно ударит сапогом по муравейнику, либо гнездо птичье разорит, либо в белку камнем кинет. А ведь он хозяин земли, царь природы, все создано для него. Не понимаю, почему в наших школах нет специальной дисциплины — охрана природы? Почему мы не можем воспитать в людях с детства доброжелательное, невысокомерное отношение ко всему живому на земле? Топчем, травим, рубим, губим — богаты, ничего не жалко! Вот, дескать, какие у нас широкие натуры! А как можно мечтать о коммунизме и быть такими хищниками? С чем же мы прилетим на другие планеты, какие порядки туда занесем? Да если б только в этом проявлялась наша небережливость к природе! Кое-где она приобретает прямо-таки государственные масштабы. Рассказать?

Райкова разгорячилась и так громко заговорила, словно выступала с университетской кафедры и в аудитории

перед ней сидело, по крайней мере, человек сто — двести. Статыгин уже не нервничал, только с опасением и с какой-то даже жалостью поглядывал на ее побледневшие губы, и ему захотелось поцеловать ее. Но Раиса Михайловна по-прежнему держалась чуть поодаль.

— Не надо рассказывать,— ответил он,— я сам слишком много знаю об этом.

Когда они возвращались к электричке, Раиса Михайловна вытерла влажный лоб носовым платком и повторила:

— Большое спасибо вам, Иван Ксенофонтович, за сегодняшний день. Мне было хорошо с вами. Спасибо!

Интимность в разговоре, казалось, исчезла навсегда.

— Одного спасиба мне уже мало! — криво усмехнулся Статыгин.

Опять она вскинула голову. Но не обиделась и не сделала вида, что ничего не понимает,— не кривлялась, не кокетничала. Наоборот, она стала еще более серьезной, чем была, и ответила серьезно:

— Хорошо, я подумаю об этом. Подумаю, как с этим быть. Мне чего-то еще не хватает... Вероятно, не хватает некоторого самозабвения. А вам действительно нужно *это*?

«Вот те на!» — удивился про себя Статыгин, а вслух сказал:

— Умеете вы задавать вопросы, Раиса Михайловна! Так, что в тупик ставите. Нужно мне это или не очень нужно, зависит от обстоятельств, зависит от стечения обстоятельств. Но отвечать на такие прямые вопросы все-таки, признайтесь, не очень просто. Неловко как-то, я бы сказал.

— Значит, вы для себя еще не все решили? — спросила она.

— Между прочим, мне решать все это гораздо труднее, чем вам.

— Да? — почти обрадовалась Райкова.— Это хорошо. Конечно, вы имеете в виду, что я одна, а вы не один в жизни? Значит, вы серьезный человек. Меня это радует.

— Ну вот, нашел наконец, чем порадовать вас. А чем вы меня можете порадовать?

Они стояли на платформе, когда подошел поезд, и Статыгин только сейчас сообразил, что он еще не взял билеты. Народу было немного, посадка прошла быстро, и, пока он возился с мелочью у кассы, автоматические двери вагонов сдвинулись и поезд без свистка тронулся.

— Вероятно, судьба! — весело сказал Статыгин.— Если не возражаете, давайте сойдем с платформы на другую сторону, там есть скамейка под фанерным грибом, посидим и с божьей помощью пропустим еще два-три поезда. Как?

Раиса Михайловна одобрила:

— Судьба так судьба! Давайте в свободный поиск. Я уже говорила вам, что готова и на тягу остаться...

Огромный ярко раскрашенный деревянный гриб стоял среди густой сосновой поросли, и массивная ножка его, как ствол дерева, была сплошь изрезана надписями. И скамейка под грибом была изрезана, записана и зарисована вдоль и поперек. Тут и объяснения в любви, и доносы на своих близких, Колю и Маню, и просто подписи и даты: были такие-то, тогда-то... До чего же хочется людям оставить о себе светлую память в потомках.

— Посидим здесь,— предложил Статыгин.

— Вам нравится этот гриб, эта бутафория? — фыркнула Раиса Михайловна и опустилась на скамью.— Типичное чиновничье творение.

— А чем плох грибок? — смеясь, возразил Статыгин.— Вон сколько тут людей перебывало! Млеют, наверно, парень с девушкой рядом, какие-нибудь Коля плюс Маня, и влюбленный кавалер либо ковыряет землю носком ботинка, либо достает ножик и начинает резать сук, на котором сидит... Правду ли говорила Полина Васильевна насчет девичества? — Он не посмел сказать «вашего».

Раиса Михайловна не застеснялась, как Статыгин, но и не сказала ничего определенного.

— Вот теперь я могу повторить за вами: ого! — сказала она.— Значит, это вас интересует, да?

Подошел еще один поезд. Они равнодушно посмотрели на него и остались сидеть на месте, пережидая шум и людскую беготню. Когда состав тронулся и проходил мимо, их обдало посторонними запахами. По вершинам сосновой молоди пронесся ветерок — и прежний покой на станции и вокруг гриба восстановился. Уже завечерело.

— Не интригует, конечно, а интересует,— сказал Статыгин.— По-человечески интересует. Помню, я был в деревне, когда ввели налог за бездетность, и удивлялся, как быстро появилась частушка-отклик на новый закон, восполнившая в какой-то мере односторонность газетных откликов:

Девочки вы, девочки,
До чего мы дожили?
Что хранили-берегли,
На то налог наложили.

Раиса Михайловна расхохоталась:

— Иван Ксенофонтович, голубчик! Правильно ли я вас понимаю — вы хотите, чтобы я, вслед за этими девочками, усомнилась в разумности строгого образа жизни, какой вела до сих пор? Действительно, зачем беречь себя, если это даже законом не поощряется? Так, что ли?

До чего все-таки трудно с ней разговаривать! А уж о легком флирте и говорить нечего. Может быть, встать да уйти? Или предложить ей вернуться в город, пора уже?

— Нет, я не собираюсь сбивать вас с пути праведного,— жестко сказал Статыгин,— и не думаю, чтобы закон имел в виду именно это. Я вырос в местах, где и поныне девушка, не сумевшая себя сберечь, может, пожалуй, считать свою жизнь неудавшейся, об этом позаботятся даже ее родные и близкие.

Райкова стала серьезной.

— Я тоже не считаю, чтобы наши законы побуждали к легкой жизни, и добросовестно выплачиваю свой налог уже много лет. Но подумали вы о другом, сколько после войны девушек и женщин лишились права на нормальную семейную жизнь? Можете вы шутить после этого — «праведный путь»... «Хранили-берегли»?.. Я вам расскажу о другом случае, тоже из деревенской жизни, я сама это видела. Вскоре после войны я сидела в колхозном клубе, в Сибири, перед началом собрания и всматривалась в женские лица. Мужчин в зале почти не было видно. Женщины же, в ватниках, в пестрядинных домотканых платках, а то еще в отрезах немецких плащ-палаток с камуфляжем, суровые, бледноватые, походили больше на фронтовых разведчиц, чем на колхозниц. Вот, думала я, солдатки! Никакие женские слабости не тронут эти ожесточившиеся сердца. Настоящие русские солдатки! А собрание долго не начиналось, и поднялась среди солдаток брань. Одна кричит: «Ты чего, нечиста сила, Петьку хромого к себе переманиваешь?» Другая ей в ответ: «А тебе одной, что ли, мужика надо? Хватит, он к тебе походил, теперь пускай со мной живет, я ребенка хочу!» Я тогда, по молодости своей, слушала эту перебранку с ужасом в душе, чуть с собрания не сбежала. Мне было стыдно тогда. А женщины, смотрю, говорят обо всем без ханже-

ства, без цинизма, ничего скверного и стыдного для себя в этом не видят. И мужики сидят тут же и не смеются. Для них это — быт, жизнь. Кажется, и хромой Петька сидел тут же, и тоже — ничего. И я поняла тогда еще одну трагедию военного времени, может быть, самую страшную из всех трагедий.

— Всё так, все это очень естественно,— сказал Статыгин,— но какое это имеет отношение к вам лично?

Раиса Михайловна рассердилась, как если бы снова заговорила о напрасно разрушенных муравейниках.

— А такое, что мне уже не двадцать и не двадцать пять лет и мне надоели проповеди о так называемом женском целомудрии и неприкасаемости. Я слишком долго сама была ханжой и не хочу больше ханжить. В мои годы это становится уже смешным. Того гляди, скоро будут про меня анекдоты рассказывать, как про ту старую актрису, которая всю жизнь играла в любовь на сцене, исполняла роли обольщенных девиц, а сама навсегда осталась в полном неведении относительно женских радостей и тягот. Или вам опять что-то непонятно? В кликуши я не гожусь, поняли?

Последние слова Раиса Михайловна почти выкрикнула. Тонкие губы ее побледнели и почти исчезли с лица, а глаза стали злыми.

— Имейте в виду, Иван Ксенофонтович,— добавила она,— мне абсолютно все равно, что вы обо мне сейчас подумаете. Поняли?

— Понял! — сказал будто притиснутый к стене Статыгин и тут же поправился: — Ничего не понял.

Странное дело, во всем, что перед этим говорила Раиса Михайловна, Статыгин не мог не почувствовать налет некоторой циничности, но сейчас такая откровенная циничность его почему-то уже не устраивала.

Он поднялся со скамейки и ударился головой о край шляпки гриба. Гриб пошатнулся.

Раиса Михайловна тоже встала.

— Пора ехать! — резко сказала она и первая зашагала к платформе.

Статыгин был в смятении. Ему действительно казалось, что он ничего не понял. Хотя чего, собственно, было непонятного в их разговоре? В разговоре — да, а в отношениях?

И Статыгин задумался.

Пока встречи с Раисой Михайловной представлялись ему простыми и безобидными, он не утруждал себя

переживаниями. Все шло легко и просто, просто и ясно. И то ожидаемое, *то самое*, что должно было в конце концов совершиться и чего он, конечно, хотел, тоже представлялось ему простым и, главное, безгрешным. В поступках своих он руководствовался больше мужским любопытством, чем человеческим интересом, о котором как-то говорил Раисе Михайловне. Флирт есть флирт.

И вдруг всё неожиданно и странно осложнилось. Осложнилось потому, что сама Раиса Михайловна все до предела обнажила и опростила. Нет, не то,— не опростила, а, наоборот, внесла в отношения какую-то щемящую душу серьезность, более того — трагедийность какую-то, особенно когда заговорила о войне и о страданиях людских. До этого была только игра — интригующая, дразнящая, с недоговоренностями, но игра, и в ней ничего не казалось грубым и запретным. Кто кого переиграет — и всё. Но вот Раиса Михайловна назвала вещи своими именами — и игра закончилась. Тайные мысли его и тайные желания вдруг оказались явными и Статыгин поморщился от их грубости и наготы.

Из почти нереального мира, бездумного, беззаботного, такого, как, скажем, на курорте, он возвратился вдруг на землю, к обычным своим тревогам и обязательствам, от легкомыслия — к ощущению ответственности за каждый свой шаг, за каждое слово.

Это можно бы сравнить еще с тем, как человек возвращается домой с далекой прогулки, во время которой встречались люди незнакомые,— он мог замечать их, мог не замечать, смотря по настроению, мог даже перекинуться с кем-нибудь словом, а то равнодушно пройти мимо,— ничего от этого не менялось, он никому ничем не был обязан. Но, вернувшись с прогулки в свой дом, в обстановку деловой повседневности, к близким и родным, на глазах у которых протекала вся его жизнь, он уже не волен был относиться с безразличием к тому, что они думают о нем и что говорят. Прогулка закончилась, палка поставлена в угол — и Статыгин среди своих сразу утратил легкое и веселящее ощущение полной своей свободы и независимости и снова стал *человеком.*

А человеком быть трудно. Потому трудными и сложными сразу показались ему и отношения его с Раисой Михайловной. Он в ней тоже увидел *человека,* который не на прогулке, и к ней теперь нельзя уже было относиться так легко и бездумно, как ему хотелось раньше,

не связывая себя ничем и не рискуя предстать перед судом собственной человеческой совести.

Обрадовало это его? Нет, не обрадовало.

Правда, сама-то Раиса Михайловна идет на все с открытыми глазами, она *решилась* и, значит, права перед собой. Но в решимости ее Статыгин почувствовал какой-то надрыв, и легкое беззаботное настроение покинуло его.

Надолго ли?

●

Спустя несколько дней они побывали на тяге. Статыгин ждал от этой поездки за город чего-то очень значительного для себя и волновался особенно из-за того, что им предстояла совместная ночевка,— так предположительно они договорились. Ночевка должна была все решить, все прояснить и определить, что же такое они друг для друга. Статыгин взял ружье, десятка три патронов, пару бутылок вина с хорошей едой: еще неизвестно было, где их застанет ночь. Может, в каком-нибудь шалаше у костра? Хорошо бы в шалаше! Раиса Михайловна ко всем этим приготовлениям отнеслась спокойно.

Не больше часа езды от Москвы — и они сошли с электрички. Поблизости гудел аэродром, реактивные самолеты пролетали над ними с таким устрашающим воем, что, казалось, весь лес пригибается к земле.

С удивлением осмотревшись вокруг и уставившись в небо, Раиса Михайловна засмеялась:

— А я-то думала, что мы приедем на необитаемый остров. Вот будет охотка! Или под вечер самолеты укладываются спать?

Остатки снега на березовых полянах и в редколесье, встречавшиеся раньше, как обрывки газетной бумаги после пикника, уже исчезли: весна все подобрала, подчистила. Ей оставалось еще прикрыть свежей зеленью прошлогодний прелый лист, да желудевую картечь, да хвойные побеги, сброшенные белками и птицами с елей,— и все будет в порядке: земля возродится.

Речки, мелководные летом, теперь раздались вширь и вглубь и стали неузнаваемо шумны: каждая пыталась хоть ненадолго сравняться с настоящей рекой, а мелкие ручейки хотели походить на речки.

Раиса Михайловна заметила, что молодые березовые сережки на фоне неба, в три лапки каждая, похожи на

птичьи следы на снегу, и было их бесчисленное множество. Заметила и обрадовалась:

— Хорошая примета! Точно так же бывает наброжено на тетеревином току. Охота состоится!

Статыгин посмотрел на небо сквозь березовые веточки и тоже обрадовался:

— Действительно, похоже на птичьи следы. Ну что ж, пускай это будет хорошая примета. Места для охоты здесь отличные, тургеневские. А вы бывали на тетеревином току?

— Нет, но все представляю отчетливо. Безлюдные места, тишина...

Раиса Михайловна опять рассмеялась, но смеха ее уже не было слышно: из-за тургеневской березовой рощи налетел на них, как шквал, ТУ-104. Когда гром утих, она спросила:

— Мы далеко пойдем?

— Мы уже дошли.

— Здесь может водиться какая-то дичь?

— А куда ей деваться?

Они остановились в треугольнике между двух шоссейных дорог. Одна из них была сравнительно тихой, вела в небольшой спортивный лагерь, а по другой то и дело проносились автомашины, легковые и грузовые — с зубрами, с медведями на капотах, разные МАЗы и ЯЗы, и стрекотали мотоциклы. По железной дороге через каждые семь — десять минут следовали поезда: легкие, почти бесшумные электрички и дальние пассажирские, с надрывными гудками, да пыльные многовагонные товарные составы. Самолеты проносились еще чаще, чем поезда, со свистом и воем, то в одну сторону, то в другую, и низко над головами. Трудно было понять, от чего больше дрожала земля — от тяжеловесных поездов или от реактивного гула самолетов.

— Лучшего места для тяги мы не найдем, да здесь и не бывает,— со знанием дела сказал Статыгин.

Сегодня он чувствовал себя хозяином положения и не прочь был даже немного похвастать и землей, и небом, и этими рощами, как собственными владениями.

Смешанный лес расступался в нескольких местах. Полянки представлялись березовыми, либо дубовыми, либо осиновыми — в зависимости от того, какая порода деревьев преобладала вокруг. Осинник с ольховником легко было спутать, но черные дубовые стволы с остатками на ветвях ржавых прошлогодних листьев и березовые, сияю-

щие на солнце, резко выделялись из любого сочетания деревьев.

Елки выступали вперед на любой опушке, из любой рощи.

До зорьки еще было далеко, занимать место для охоты раньше времени не имело смысла, но и бродить не хотелось, поэтому Статыгин и Раиса Михайловна остановились на узкой березовой полянке и, негромко разговаривая, стали ждать, когда закончится день.

День угасал неторопливо. Угасали небо и земля, но звуков в лесу становилось все больше и больше. Конечно, вопреки желанию, и самолеты летать не перестали, и поезда не перестали греметь, и поток автомобилей на шоссе не уменьшался. А все-таки с наступлением сумерек в лесу слышнее стало пение птиц. Небо раскалывается, земля дрожит, а дрозды-пересмешники заливаются на все лады — и за соловьев, и за жаворонков. Щебечут синички, кричат сойки, спокойно перелетают с дерева на дерево дятлы. Правда, Райковой все еще казалось невероятным, чтобы в этом реактивном вое и железном грохоте, рядом с Москвой, могла быть настоящая охота, но Статыгин успокаивал ее:

— Тяга здесь должна быть отличная. Вот солнышко сядет — и полетят зóринки через полянку, из конца в конец, да вдоль опушек: хр-хр, цырк-цырк. Снять бы парочку!

— Так вот взять да и снять?

— Охотничья терминология: утку подсидеть, зайца свалить, вальдшнепа снять...

Раиса Михайловна попробовала заговорить о другом:

— Места, действительно, хорошие, к тому же грибные. Тут должны расти и подосиновики, и подберезовики, и, конечно, белые. Главное — белые, царские...

— Кому что,— ответил Статыгин.— Только для грибов пора еще не настала. Сейчас разве что сморчки могут встретиться, и то не в таких местах.

Пролетела запоздалая сорока — высоко, осторожно. Раиса Михайловна сказала:

— Вот ведь какая красивая птица, сказочно красивая, а примелькалась — и никто этого не замечает,— нахалка, дескать, и всё. Такая же история с трясогузкой. Неприятное имечко у нее. То ли дело — плиска, плисточка!

Пролетела летучая мышь, Раиса Михайловна вскрикнула:

— Вы видели, Иван Ксенофонтович? Летучая!
— Вряд ли. Рано еще. Впрочем, не все ли равно? Интересно другое: живой локатор. Ничего не видит, а на тончайший волос и то не напорется.
В просвете между деревьями появились огни.
— Что там? — спросила Раиса Михайловна, переходя на полушепот.
— Дачи.
— Так близко?
— От чего близко?
— От нашей охоты. Странно как-то...
— Дачи им не мешают.
— Кому?
— Вальдшнепам.
— Вы все еще верите, что здесь могут быть вальдшнепы?
— Почему же нет?
— Обстановка не подходящая: ни тургеневской тишины, ни пришвинской сосредоточенности. Индустриальная обстановка!
— Какое им дело до всего этого?
— Кому?
— Вальдшнепам. У них любовь.
— Вы опять про любовь? Перестаньте говорить о любви,— попросила Раиса Михайловна.— К чему это?
— Пожалуйста, если для вас так спокойнее,— ответил Статыгин.
— Вот именно, спокойнее...
Вальдшнепы все-таки появились. Ничто не помешало им вылететь в свой срок. Лес жил своей жизнью, несмотря ни на что.
— Все как по плану! — пошутил Стытыгин в ответ на удивленный взгляд Раисы Михайловны.
Первый куличок вынырнул из-за ели прямо на них, и так неожиданно, что не успели они увериться, что это был именно вальдшнеп, как он уже исчез. Взъерошенный, почти круглый, но с длинным носом, игрушечный, он летел и, конечно же, что-то как-то кричал, но крика его не было слышно, потому что сразу следом за ним и в том же направлении опять вымахнул на светлое небо огромный и черный, как демон, ТУ-104.
Спустя минут пять — может, больше, может, меньше — появился второй вальдшнеп, но уже с другой стороны, и слышно было его призывное хорканье, потом еще один, потом сразу два, друг за другом — должно

быть, самец и самочка. Цырк-цырк, хр-хр — раздавались над лесом совершенно не птичьи голоса. Летели птицы всполошенно, но в каком-то своем, строго определенном направлении, и, когда Статыгин начал стрелять, они взмывали кверху, либо отклонялись в сторону и снова ложились на прежний курс. Несмотря ни на что, они делали свое брачное дело. Цырк-цырк, хр-хр.

— Незавидные свадьбы! — иронически прошептала Раиса Михайловна.

— Любовь! — твердо ответил ей Статыгин. В торжестве своем он забыл, что обещал не говорить больше про любовь.

— Какие они здесь все-таки робкие, жалкие,— сказала Раиса Михайловна.— Лучше бы уж летели куда-нибудь дальше, на север.

— Это вам только кажется, что они робкие, а они здесь у себя дома, им здесь хорошо.

— Нет, это вам только кажется, что им здесь хорошо. Зачем им столица?

— Снабжение налаженное, — опять пошутил Статыгин.

Он убил вальдшнепа, когда уже наступили густые сумерки, и птицу пришлось долго разыскивать в кустах: смертельно раненная, она распласталась на земле и затаилась. Даже под лучом электрофонарика ее трудно было отличить от ржавой травы, от прелого листа. На черных полянах в лужах снеговой воды отражалось небо, и лужи казались зияющими колодцами, уходящими куда-то к центру земли, а то и совсем сквозными.

Раиса Михайловна сказала:

— Подходишь к краю лужи, будто к краю неба, заглядываешь в него, и страшно становится.

Ее поразила длина клюва птицы, но больше — глаза. Крупные, выпуклые, похожие на фасолевые зерна, и черные-черные, будто из китайского лака, они не закрывались даже под ярким лучом фонарика и потому казались совершенно не защищенными, беспомощными.

Сняв вальдшнепа, Статыгин почувствовал себя героем, для которого не существует теперь ничего невозможного и запретного. Раиса Михайловна держала в руках убитую птицу, раздумчиво разглядывала ее, поворачивая так и этак. А он победно смотрел на нее, на женщину, и от былого смятения его не осталось и следа.

— Ну, что вы скажете? Покорил я вас?

— Я в восторге. Вам хочется покорить и меня так же?

— Конечно.

— Вы и на меня воззрились, как охотник? Рука у вас не дрогнет? И не будет никаких переживаний?

— Вы же и сами,— сказал Статыгин,— не признаете ненужных переживаний и разговоров.

Раиса Михайловна улыбнулась:

— Это вы быстро усвоили, охотник!

Статыгин подошел к ней вплотную и впервые властно обнял ее.

— Разве весенняя охота запрещена?

— Эту птицу сгубила любовь,— сказала Раиса Михайловна, но не отстранилась от него.

Статыгин почувствовал себя еще увереннее:

— Красиво, но отдает романсом. «Вот вспыхнуло утро, румянятся зори...» — пропел он.

— Красиво сгубила? Я смотрю, вы постепенно становитесь на мое место.

— То есть как?

— Вы меня в некоторых случаях называли химиком.

— Вы имеете в виду манеру поведения?

— Я имею в виду манеру вашего поведения.

— О, господи, опять за старое! — не то притворно, не то всерьез простонал Статыгин.

— И все-таки птиц этих любовь губит. Если бы не любовь, не вылетели бы они на выстрел. Хорошо еще, что сумерки коротки, а там, где белые ночи, они, вероятно, до утра летают.

— Белые ночи, точно, несчастье для влюбленных, но в другом смысле.

— В каком же? — спросила Раиса Михайловна.

— Укрыться некуда. Особенно если жилья отдельного нет. В Архангельске, я знаю, влюбленные по целым ночам просиживают на скамейках и даже поцеловаться стесняются, неудобно как-то, вроде бы у всех на глазах, светло.

В стороне над вершинами деревьев что-то промелькнуло, и Статыгин схватился за ружье. Раиса Михайловна тоже уставилась в небо и вытянулась вся с таким напряжением, так молитвенно, словно смотрела не только глазами, а грудью, руками, всем существом своим. Но вальдшнепы больше не летели.

— Хоть бы заяц еще пробежал для интереса,— пожелала она.

— Зайцев здесь нет.

— Про вальдшнепов я тоже так думала.

Стоять дальше не имело смысла. Заря потухла, облака потемнели. В густой хвое блеснули звезды, сквозь еловые вершины замелькали разноцветные огоньки четырехмоторного великана, и одна елка на мгновение засветилась, как новогодняя. Все птицы смолкли, лишь кое-где с криком взлетали вспугнутые кем-то дрозды и тыкались в кусты вслепую. Не угомонились только поезда, да самолеты, да автомашины на шоссе.

— Ну как, вы не раздумали ночевать в лесу? — нарочито весело спросил Статыгин.

— Попробуем! — в тон ему ответила Раиса Михайловна.

— Не боитесь?

— С таким опытным охотником чего мне бояться?

«Вот так, никакой неловкости, никаких двусмысленностей, все просто и ясно!» — подумал Статыгин, и все старые сомнения и тревоги оставили его. Он снова почувствовал охотничий азарт.

С влажной поляны они прошли в глубь леса, где было суше. Облюбовав широкую густую сосну, Статыгин повесил на сучок ружье, положил к стволу убитого вальдшнепа, сбросил с плеч рюкзак и прорезиненный плащ, наломал поблизости свежих еловых веток, застлал ими землю под сосной и накрыл сверху плащом. Колючая хвоя торчала по краям плаща — получилось что-то вроде ковра с бахромой. Раиса Михайловна перестала разговаривать и внимательно следила за его приготовлениями.

— Хорошо? — спросил он.— А потом и шалаш можем сделать.

Раиса Михайловна не ответила.

Он развязал рюкзак, раскинул посередине хвойного настила газетный лист вместо скатерти и стал расставлять вино, хлеб, закуски, разрезал колбасу, вскрыл банку консервов. В темноте не было заметно, что руки его дрожали. Он торопился.

Раиса Михайловна смотрела на все как бы со стороны, не принимая участия ни в чем. Смотрела и молчала. Только когда он выставил бутылку вина, она с какой-то печальной иронией промолвила:

— Все ясно!

— Что ясно? — насторожился Статыгин.

— Вы все продумали заранее и для себя все решили.

— А вы нет?

Но Раиса Михайловна опять ничего не ответила. Статыгин, выжидая, посопел немного и сказал с напускной обидой:

— Послушайте, Раиса Михайловна, где это видано, чтобы на охоту шли без вина? У нас к тому же и охота удачная. Не надо во всем видеть только плохое.

— Почему плохое? — негромко возразила Раиса Михайловна.— Я же за себя вам все сказала в прошлый раз.

Статыгина передернуло. Зачем она опять так? Никакой неожиданности, никакой игры... Ну что за человек, право!

— Может быть, вы возьмете на себя обязанности хозяйки на пиру? — наконец спросил он.— Или хотите быть только гостьей?

Раиса Михайловна промолчала.

— Костер разложить?

Она опять промолчала.

— Почему вы молчите? — начал раздражаться Статыгин.

Раиса Михайловна ответила:

— Мне хорошо с вами. Разве я должна что-то говорить?

— Тогда пусть будет все как будет. В темноте, да не в обиде,— решительно заявил он.— Садитесь. Выпьем вина.

Статыгин опустился на середину плаща, открыл набор пластмассовых стопок, одна за другой, взял две самые крупные, наполнил их до краев.

Раиса Михайловна села с ним рядом и выпила свободно, не раздумывая.

— Вот консервы.

— Спасибо, я не хочу есть.

— Да?

Подул ветерок — легкий, ночной, с прохладцей. Чуть зашумели вершины деревьев. Ранней весной трудно различить, лиственный лес шумит или хвойный, и Раиса Михайловна спросила:

— Мы в чаще или в роще?

— То есть как? — удивился Статыгин.

— В хвойном или в смешанном лесу?

— Я знаю об этом не больше вашего.

Гул очередного самолета приглушил все шумы природы. Когда он смолк, оказалось, что Райкова не слышала ответа Статыгина, и потому она повторила вопрос. Но теперь промолчал Статыгин. Вино не освободило его от ка-

кой-то странной неловкости, связанности. Опять возвращалось старое. Только что все казалось естественным, простым и ясным, а вот, оказывается, опять все и не легко, и не просто. Да и естественно ли? Теперь ему чего-то словно бы не хватало. Чего? Смелости?

— Интересно, где тут север, где юг? — неожиданно спросила Раиса Михайловна, и его поразила явная ненужность и этого ее вопроса.

— Меня это меньше всего интересует,— ответил он.

На этот раз удивилась Раиса Михайловна.

— Вы начинаете грубить,— сказала она.

— Извините,— спохватился Статыгин.— Я просто не знаю, как мне себя вести, что делать?

Раиса Михайловна посмотрела на него долго, пристально и сказала тихо, неторопливо:

— Делайте что хотите, я не буду вам мешать. И стесняться вас не буду, мне уже все равно.

И опять прямота ее слов неприятно поразила Статыгина. Сидя рядом с нею на мягкой лесной постели, он растерянно озирался. Но в этот миг невдалеке от них раздались чьи-то людские голоса, и Раиса Михайловна от неожиданности испуганно припала к нему. Растерянность сразу оставила Статыгина. К тому же и голоса быстро удалились. «Развязности мне не хватает, вот чего, просто развязности»,— подумал он и, сделав над собой усилие, стал смелым и развязным.

И тогда Раиса Михайловна осторожно, но решительно отстранилась от него.

Статыгин искренне удивился этому.

— Вы что?

— Так не надо! — сказала она.

— А как надо, вы знаете? Я ничего не понимаю.

— Чего вы не понимаете?

— Вас не понимаю. Почему вас кидает из стороны в сторону?

— Надо понять! Мне же хорошо с вами.

— Та-ак! — еще больше удивился Статыгин. Что же это должно означать?

Раиса Михайловна тоже почувствовала себя несколько растерянной:

— Просто я как-то не так все себе представляла.

— Ну и ну! — сказал Статыгин.— Что же тогда делать? Может быть, все-таки разложить костер?

— А разве он нужен?

— Тогда давайте выпьем вина еще.

— Давайте еще,— охотно согласилась Раиса Михайловна.

Статыгин наполнил стопки, они выпили еще. Раиса Михайловна пила вино и внимательно, выжидательно смотрела на своего спутника, следила за ним. И он не выдержал ее взгляда.

— Почему вы так смотрите на меня? Почему вы ничего не говорите? — встревожился он.

— Разве я ничего не говорю? Я просто не знаю, что я должна говорить и делать. Хотите, я буду вас называть Ваней? Это... успокоит вас?

— А разве я нервничаю? — обиделся Статыгин.— Я не нервничаю. Я просто не понимаю вас.

Но Статыгин не просто обиделся. Последние слова Раисы Михайловны, ее вопрос: «Это... успокоит вас?» — оскорбили его, и сейчас единственным и естественным для себя поведением он снова посчитал развязность.

— Я не это имела в виду,— брезгливо отстранилась Раиса Михайловна.

Но он уже не хотел слушать ее, он заметил ее брезгливость и оскорбился еще больше.

— Мне наплевать, что вы имели в виду. Кокетничаете вы, что ли, со мной? Молчите лучше. Ну вас к черту со всей вашей химией!

— Как это вам наплевать? — возмутилась вдруг и Раиса Михайловна.— Я так не могу! Не могу! Поняли?

Раиса Михайловна почти кричала, но она и сама еще не очень понимала себя и удивлялась своей решительности, совсем не той решительности, к которой она себя готовила.

— Я так не могу! — твердо повторила она.

— А мне наплевать, что вы не можете! — уже со злобой зашипел Статыгин.

Но, обнимая Раису Михайловну и ощутив крепкий запах ее духов, он вдруг, словно проваливаясь куда-то, судорожно втянул в себя влажный весенний воздух. Это был только терпкий запах духов, а напомнил он ему маленькую комнату в общежитии научных работников, ситцевую ширмочку, строгий окрик: «Не входить!» и мокрые женские подмышники. Запах духов, только запах духов, но этого было достаточно, чтобы Статыгин почувствовал, что вместе с ним вдохнул в себя какую-то отраву. Что-то схватило его за горло, расперло легкие, словно он обжег их и не может, не в силах сделать выдоха. Нечто подобное с ним уже случалось, но не при таких обстоятельст-

вах, а дома или на службе, которую он не любил, в прокуренном кабинете, из-за какой-нибудь нервной вспышки. Страх охватил Ивана Ксенофонтовича, сердце его начало биться испуганно и часто. И когда Раиса Михайловна оттолкнула его, он втайне, в глубине души своей обрадовался этому, обрадовался, что она, может быть, избавляет его от чего-то очень постыдного, позорного, куда более невыносимого, чем все остальное, возможное на свете.

— Чего вы не можете? — с трудом произнес он, скрывая, что задыхается, и в то же время думая: заметила ли она, что с ним произошло?

Должно быть, Раиса Михайловна ничего не заметила. Она в этот момент занята была собою, своими переживаниями. Она старалась разобраться в том, почему только что поступила совсем не так, как хотела, к чему готовилась? Что заставило ее изменить себе, своему первоначальному решению? И изменила ли она себе? Сосредоточившись на этом, стараясь до конца понять себя, она хотела сейчас только одного: успокоиться самой и успокоить Ивана Ксенофонтовича и чтобы не было ничего обидного между ними, даже обидных слов. Ведь ничего еще не произошло, значит, и ничего не кончилось. И когда она заговорила наконец, в голосе ее была только растерянность, только мольба не горячиться, не оскорбляться, а понять вместе с нею, что же такое происходит между ними.

— Иван Ксенофонтович! Голубчик! Не злитесь на меня. Я не хотела вас обидеть. Я не играю, не кокетничаю. Но я так не могу. Мне самой казалось раньше все просто. И я хотела, чтобы так и было, просто. Я даже говорила об этом, смеялась: целомудрие, ханжество... А вот, оказывается, не хочу, чтобы все просто было. Неужели же вам нечего было сказать мне, Иван Ксенофонтович? Так-таки ничего и не скажете? И голова у меня не закружится? И радости никакой не будет? Только вино — и всё? Но это же стыдно, оскорбительно даже. В этом есть какая-то нечистоплотность. Вино ничего не может заменить. Вы же сами повторяли: весна, любовь, вальдшнепы... Но ведь и вальдшнепы что-то говорят друг другу. Почему же вы молчите?

Статыгин меж тем овладел собою и перестал задыхаться. «Цырк-цырк» — хотелось сказать ему, чтобы все сразу превратить в шутку. Но он не посмел: слишком искренне и трогательно было огорчение Раисы Михайловны, слишком просяще, доверчиво звучал ее голос. «Значит, она ничего не поняла!» — ликовал он в душе, посте-

пенно успокаиваясь и избавляясь от стыдного страха за свою мужскую репутацию.

— Я постараюсь понять вас, Раиса Михайловна,— сказал он.— Но вы забыли, что сами не хотели, чтоб я говорил. Вы запрещали мне говорить о любви.

Раису Михайловну обрадовали даже такие его слова:

— Но сейчас я разрешаю. Я прошу, чтобы вы говорили. Оказывается, мне это... для меня это необходимо.— И во всем ее лице были недоумение и печаль.

— А я сейчас-то не могу говорить. Не могу по заказу,— жестко сказал Статыгин.

— Вот видите, и вы тоже...

— Что — и я тоже?

— И вы не можете так... Оказывается, одного желания любви еще мало. И любопытства одного мало...

Статыгин встал, отошел в сторону, ощупью наломал с нижних веток охапку сухих мохнатых сучков и, чиркнув спичкой, принялся разжигать огонь.

— Не надо! — негромко попросила Раиса Михайловна.

— Опять *не надо*... Но вы простудитесь. Вы дрожите. К тому же... у меня астма.

— У вас астма? — удивилась она.

Статыгин снова чиркнул спичкой.

— Все равно не надо,— повторила Раиса Михайловна.

Маленький огонек не дал большого пламени. Вторая спичка догорела и потухла. Тьма стала еще гуще. И холоднее и тягостнее стало в лесу.

— Я не знала, что вы страдаете астмой,— сказала она.

— Что значит — страдаю! — огрызнулся Статыгин.— Я не говорил, что я страдаю.

— Тогда что вы называете астмой?

— Душит, когда сыро, когда воздуху не хватает, вот и все. Начинаю задыхаться, выдохнуть из себя не могу, грудь распирает.

Статыгину захотелось рассказать об астме все, что он слыхал, чтобы окончательно снять с себя возможное стыдное подозрение, которое, как ему казалось, все еще висело над ним. Одышка, нервное что-то... Порой даже маленькие дети страдают приступами удушья, пока не обнаружится так называемый аллерген, то самое, из-за чего возникают спазмы дыхательных путей. Достаточно бывает иногда убрать из квартиры кошку или пуховую перину и ребенок излечивается... Какая-то молодая ко-

кетливая женщина, мечтавшая всю жизнь о французских духах, достала наконец их и вместе с ними приобрела астму. Как только духи были полностью израсходованы, приступы астмы прекратились, и тогда она обнаружила своего врага... Однажды народный суд вынужден был на основании медицинской справки согласиться на развод молодоженов, потому что у парня возникали мгновенные и затяжные спазмы дыхания из-за близости жены, любимой женщины, и только ее единственной... Еще вспомнилось: один человек начинал задыхаться всякий раз, когда обстоятельства заставляли его лгать...

Но об этом последнем, о лжи, Статыгин, не хотел рассказывать Раисе Михайловне: еще поймет не так как надо. Да и вообще, стоит ли говорить ей обо всем этом, об астме, об аллергенах, к чему? Ведь она *пока* ни в чем не винит его...

Статыгин молчал долго. Раиса Михайловна успела поразмышлять и как-то определить свое отношение ко всему происшедшему.

— Ну, вот видите, Иван Ксенофонтович, что получается,— наконец сказала она.— Видите, какие мы с вами забавные люди. У вас — астма, а я, оказывается, не могу обойтись без красивых слов, без романа. И все-таки костер разжигать не надо. Астма астмой, а...

— Да что вы к астме моей пристали! — взъелся Статыгин.— Надо, не надо... При чем тут астма!

— И вправду, при чем тут астма,— спокойно согласилась Раиса Михайловна, поднимаясь с хвойного пастила.— Мы просто еще не нашли друг друга. А что такое найти друг друга, я сама не знаю. Вы говорили как-то: свободный поиск, исследовательский подход, постоянное открытие друг в друге каких-то дорогих черт человеческих... Дело, вероятно, и не в уме, и не в культуре, и не в сходстве характеров. А в чем — кто знает? Мы просто еще не встретились с вами. Все на психологии. Вот была я знакома в Армении с одной семьей. Знаменитая семья, хорошо обеспеченная, так сказать, высшие сферы. А единственный сын взял да и привел в семью продавщицу из магазина. Влюбился! Ну, взялись за нее, стали приобщать к музыке, к литературе, к живописи. Она приобщилась — и что бы вы думали? Полюбила другого. Вот, Иван Ксенофонтович!.. Мне кажется, мы даже не просто не нашли друг друга, а мы все выдумали, мы выдумали друг друга. Все у нас ненастоящее. Нет естественности в наших отношениях. Все — от задания. Сами себе наперед

задачу ставим. А говорим о раскрепощенности чувств, об искренности, о свободной любви. Нет у нас свободной любви, нет свободного дыхания, свободы нет, вот и астма. Но вы не обижайтесь. Пойдемте на станцию. Пока все хорошо, и мы ни в чем друг перед другом не виноваты.

И все-таки на мгновение горестное подозрение мелькнуло в сознании Раисы Михайловны. Может быть, Иван Ксенофонтович не без умысла заговорил об астме? Что-то за этим стояло? Почему он так отпрянул от нее и словно бы даже обрадовался возникшим осложнениям?..

Грустно стало Раисе Михайловне, грустно и печально. Нет, не торжествовала она, никакой победы над собой она не одержала.

●

Шли неделя за неделей. Доверчиво распустилась природа, зазеленели не только рощи и луга, но даже городские жидкие скверики, старавшиеся походить на настоящий лес, и в них появились птичьи гнезда. Небо стало совершенно неузнаваемым: ранней весной на нем лишь кое-где, как проталинки, возникали редкие голубые полянки, а сейчас все оно расчистилось и рассиялось — густо-синее по утрам, бирюзовое в полдень, розовое на закате, с прямыми, отчетливо видимыми солнечными лучами, как на детских карандашных рисунках. Нечастые облака выглядели на небе случайными, чужеродными образованиями, они быстро исчезали. Самолетов и вертолетов проходило по небу больше, чем облаков. Вертолетов особенно много появилось с началом устойчивой теплой погоды, они висели в синеве, как большие стрекозы над озерной глубиной.

А на городские улицы высыпали легковые машины индивидуальных владельцев, все те, что в течение зимы обычно находятся на консервации в переулках, во дворах, в самодельных металлических гаражиках.

Улицы прихорашивались, готовились к первому весеннему празднику. И люди весной стали наряднее, улыбчивее, общительнее, казалось, все тянулись друг к другу, все друг другу хотели нравиться.

Многое менялось. Только Статыгин и Райкова не искали новых встреч друг с другом.

•

— У тебя в руках я будто в корнях большого дерева: покойно душе и телу,— говорила Полина Васильевна мужу.

Они лежали в постели, в комнате Ивана Ксенофонтовича, которая одновременно служила спальней для обоих. В комнате Полины Васильевны, постоянно загроможденной чертежными досками, разными проектами, подрамниками, стояло еще пианино, и для кровати места не оставалось.

На письменном столе Ивана Ксенофонтовича, в переднем углу, горела лампа с широким молочного цвета абажуром, прикрытая еще газетой, отчего в кабинете стоял полумрак, а в световом кругу на потолке проступало изображение лысого человека, перенесенное с первой газетной полосы.

Супруги нежились, утомление проходило медленно. Но Полина Васильевна не могла подолгу молчать.

— Хорошо как, что есть у меня свое большое дерево с этими вот могучими корнями, куда можно укрыться от всякой непогоды да и от жары тоже. Пусть корни сплетаются вокруг меня покрепче, должно же быть человеку когда-нибудь и хорошо!

— Ладно, лежи, не декламируй! — устало сказал Иван Ксенофонтович.

— А я и лежу. Кстати, встретила я вчера Райкову, Раису. Трудная она все-таки. И странная. Вдруг испугалась меня...

— Нашла время о чем говорить. Кстати!..— попытался остановить ее Иван Ксенофонтович.— Потуши-ка лучше лампу!

Но Полина Васильевна не хотела лежать молча.

— Что-то с ней происходит неладное. Уж не замуж ли вышла? А может, что другое? Совсем дикая какая-то стала.

— Потуши, говорю, лампу!

— Пускай горит. Мне кажется, что такие, как Райкова, никогда не могут быть счастливы в браке, не пригладишь их.

— Так и мне кажется, не пригладишь.

— Помочь бы ей надо, а чем, как? Ничего не придумаю.

— И я тоже,— буркнул Иван Ксенофонтович.

— А верно, Ваня,— вдруг обрадовалась Полина Васильевна своей новой идее.— Может быть, тебя к этому подключить? Одинокие женщины как-то легче идут на прямой разговор с мужчинами. К нам они относятся с непонятной настороженностью.

— Подключи, дура! — согласился Иван Ксенофонтович, косясь на жену с удивлением и недоверчивостью: либо она слишком проницательна, либо совершенно не умеет вглядываться в чужие души и он смешно ошибался, когда столько лет думал о ней иначе.— Не пойму я тебя, издеваешься ты надо мной, что ли?

— Ну что ты, Ваня, зачем так, я же тебя знаю. Ты бы позвонил ей. Позвони! — настаивала Полина Васильевна.

— Хорошо, я позвоню, лежи.

Полина Васильевна продолжала увлеченно говорить, но он уже не слышал ее больше, он стал думать о Райковой.

Конечно, мало ли что бывает в жизни? Мало ли что могло произойти с нею за это время, думал Иван Ксенофонтович о Раисе Михайловне и щемящее душу беспокойство овладело им. Райкова вдруг представилась ему совсем девочкой, и очень беззащитной, которая все-таки доверилась ему полностью и так легко. А он, человек,— как он ведет себя? Позвонил ли ей хоть раз, вспомнил ли о ней? Конечно, и она могла бы позвонить, а тоже ведь не звонит. Исчезла, и всё! Сколько прошло уже времени,— неделя, месяц, год? — она не дает о себе знать. Обидно даже. Разве он виноват в чем перед нею? Ни в чем не виноват. А все-таки тревожно и нехорошо на душе. Может, и впрямь что-то произошло с нею, какие-нибудь перемены в жизни, а ему даже неинтересно. Как неинтересно? Нет, интересно. А может, она и впрямь замуж вышла? Все интересно...

— Почему вдруг корни ослабели? — не так встревоженно, как шутливо спросила его жена.— Где ты, Ваня?

— Хорошо, я позвоню! — повторил Иван Ксенофонтович.

— Только ты не наглупи, пожалуйста,— предупредила Полина Васильевна.— Знаю я тебя. Начнешь допрашивать, а надо поделикатнее. Может, она влюбилась в кого-нибудь и оттого такая дикая стала.

— Ну, это ей, по-моему, не грозит,— натянуто рассмеялся Иван Ксенофонтович.

— Это всем грозит в разное время. Много ты понимаешь в любви.

— А ты больше понимаешь? Скажи тогда, что такое любовь?

— А ты все еще не уяснил себе, что такое любовь? — съязвила Полина Васильевна.

Иван Ксенофонтович ответил:

— И никогда не уясню, если будешь отвечать вопросом на вопрос.

— Что ж, поговорим о любви. Применительно к нам, конечно. Ты ведь этого хочешь?

— Давай, давай! В кои-то веки...

— Ну так вот, слушай, в кои-то веки... Что такое любовь, я не знаю, да и никто этого не знает...

— Вот и я так думаю! — поспешно и вроде бы с удовлетворением согласился Иван Ксенофонтович и засмеялся.

Полина Васильевна тоже засмеялась:

— Еще бы ты не так думал, если я так говорю. Ну ладно. По-моему, когда есть настоящая любовь, разные мелочи отходят на второй план, так называемое несходство характеров сглаживается, многое прощается друг другу. Ты понял меня? Любовь — это когда люди терпимее относятся друг к другу. И восхищение, и умиление вызывает то, что в иных случаях только бы раздражало. Что тебе еще сказать? Какое-то зацепление должно произойти сначала, озарение какое-то, взаимный интерес друг к другу, а потом уже постепенно выравниваются отношения, согласовываются частности, подгоняются детали... Бес, ты меня понимаешь?

— Понимаю тебя, Фауст. А ты не об архитектуре говоришь? — спросил Иван Ксенофонтович.

— Что ж, в архитектуре тоже все основывается на любви. Сначала тебя заинтересовывает общий план сооружения, ты своим внутренним зрением, воображением своим как бы увидишь его целиком, сразу со всех сторон, потом войдешь в него, и полюбишь, и уже будешь отстаивать это сооружение таким, каким его увидишь, чтобы жить в нем. Архитектор и его творение должны походить друг на друга. Любящие тоже со временем становятся даже внешне похожими друг на друга. А начинается все с поиска...

— Со свободного поиска? — с удивлением услышав собственные слова, сказанные им когда-то Райковой, перебил Иван Ксенофонтович жену.— Ты ни с кем не

согласовывала своего выступления? Консультировалась с кем-нибудь?

Полина Васильевна ничего не поняла, но насторожилась.

— Почему ты никогда не можешь обойтись без иронии? Что это значит, Ваня? — сказала она и сбросила с себя одеяло.

Но Иван Ксенофонтович не дал ей подняться с постели. Корни снова крепко и любовно ухватились за землю. Выбраться из этих цепких корней у Полины Васильевны не хватило бы силы, да и не хотелось. Мелочи жизни отступили на второй план, наметившееся было несходство характеров исчезло.

— Ладно, давай спать! — сказал Иван Ксенофонтович, потом встал сам и потушил лампу.

На белом потолке потухло примелькавшееся фотографическое изображение человека. Зато окна озарились светом с улицы.

9

На другой день, к вечеру, Статыгин сходил к автомату, позвонил Райковой. Услышав его голос, Раиса Михайловна тотчас бросила трубку. Он ожидал чего угодно, только не этого. Между прочим, он предполагал, что Раиса Михайловна может заговорить с ним резко, как это бывало не раз, вызывающе: «Что вам еще нужно от меня? Я занята. Привет жене!» Но чтобы так сразу бросить трубку, сразу, не сказав ни слова, этого он не ожидал.

Что это могло означать? Просто нежелание общаться с ним или что-то другое? Может, она презирает его? Статыгин отчетливо представил себе, как Раиса Михайловна сжала в ниточку и без того тонкие губы и черные глаза ее ожесточенно заблестели. В них появилась оскорбительная холодная глубина, глубина умная и потому настораживающая, от нее нельзя не съежиться.

Да, от этой женщины слабости не жди. Если что не по ней, отвернется и будет заниматься своими колбами и пробирками. Так Статыгин представлял себе ее работу.

Но что бы ни означал поступок Раисы Михайловны, не пожелавшей разговаривать с ним, он успокоиться уже не мог. Тревога и тоска охватили его, и собственная жизнь вдруг показалась ему жалкой, неудавшейся.

В будку автомата начали стучать. Статыгин спохватился, что, позвонив и повесив трубку, он со своими мыслями остался стоять у телефона.

— Что, дядя, в голову ударило? — рыкнул па него подросток.

Статыгин поспешно вышел из будки и, не отвечая, торопливо зашагал к дому.

То слева, то справа от него вскрикивали автомашины, ругались шоферы — это он пересекал перекресток.

На тротуаре женщина, толкавшая впереди себя нарядный кузовок с ребенком, обругала его грубо, по-мужски, когда он не смог увернуться от нее и схватился за никелированную дужку кузовка. Извинение, брошенное им на ходу, не успокоило опасливую маму: конечно, шалопутный пешеход виноват был уже абсолютно во всем, что не нравилось ей в этом мире.

«Ничего себе, первые уроки языка! — подумал Статыгин, с удивлением обернувшись па мамину брань.— Вот будет сынок!» — И тут же успокоил себя, что в коляске, вероятно, не мальчик, а девочка... Затем он подумал, что «мальчик ли, девочка ли, какая разница, дети, они все одинаково восприимчивы к плохому». Шел он быстро, а мысль его ворочалась медленно: «Пожалуй, за коляской идет не мать, а няня, которой наплевать, чему научится от нее чужой ребенок. Мать, конечно, не стала бы так ругаться...»

Коляска осталась уже далеко позади, на Статыгина ворчали другие встречные пешеходы, сталкивавшиеся с ним, а он все еще продолжал думать о случившемся. Наконец он решил, что, «должно быть, в коляске грудной ребенок, которому все равно, каким языком изъясняются окружающие его взрослые. Грудной ребенок, он же еще не понимает никаких слов...»

Больше уличная история его не занимала. Но, дойдя до своего подъезда и подержавшись за дверную скобу, Статыгин вдруг резко повернул обратно и бросился к автобусной остановке. Он и сам бы не смог сказать, что вдруг потянуло его к Райковой, к Раисе Михайловне, после того, как она не захотела разговаривать с ним по телефону. Мужское оскорбленное самолюбие, или простое любопытство, или действительная человеческая обеспокоенность судьбой близкого? Ведь не исключено было, что он ринулся навстречу неприятностям. «Почему без разрешения? — могла грубо спросить его Раиса Михайловна.— Кто вас звал?» — или что-нибудь в этом роде. А то

не постесняется выкинуть что-нибудь и почище. От такой всего можно ожидать. К любой неожиданности готовься, ступая на ее порог. И выгнать может, очень даже просто. Разве все предусмотришь?

Но для Статыгина сейчас важно было только, что она у себя дома.

Правда, в общежитие научных работников он вошел все-таки не сразу, а прежде покружил по двору, посидел на скамейке в сереньком дворовом скверике, словно ожидая, что Раиса Михайловна сама к нему выйдет навстречу, и раздумывал — уж не вернуться ли? Пыл его остывал, и чем дольше он медлил, тем неопределеннее казались ему причины, побудившие его так неожиданно оказаться здесь.

Из дверей общежития никто не появлялся, и Статыгин наконец решился. Вот лестница на первый этаж... Он стал подниматься по ней. Он не побежал, как могло быть, если бы он влетел сюда сразу, а пошел неторопливо, сосредоточенно — так поднимаются по лестницам сердечники и астматики. Вот вторая лестница... Может, все-таки повернуть обратно? Зачем он идет сюда, что его тянет? Любовь к приключениям или желание настоящей любви? Опять свободный поиск? Сейчас она покажет ему свободный поиск! Третья лестница... Темно, неуютно. Потом длинный коридор... И ни одной живой души.

И конечно же, Статыгин не мог предусмотреть того, что с ним произошло в следующий момент.

В фанерную дверку комнаты он постучал громко, без слов. Раиса Михайловна, еще не зная, кто стучит, крикнула:

— Нельзя! Минутку!

«Значит, в комнате она одна,— подумал он.— Ну, что ж!..»

Тотчас же из-за двери донесся другой крик, резкий, властный:

— Входите!

Статыгин вошел.

Раиса Михайловна, должно быть, прибирала комнату и второпях что-то еще бросила в дальний угол, затем она задернула занавеску на ширмочке и, обернувшись, настороженно вскинула голову.

Увидев перед собою Статыгина, она замерла и как стояла у стола, так и остановилась, застыла, не шевелясь, и нельзя было решить, что сделает она в следующие секунды. А она ничего не сделала. Она не двигалась. А из

глаз ее вдруг полились слезы. Самые настоящие слезы. Появление Ивана Ксенофонтовича для нее оказалось слишком неожиданным, она не подготовилась к встрече с ним. Она заплакала.

Шелковый стандартный абажур под потолком был ярко-розовым, и по щекам Раисы Михайловны потекли розовые слезы. Они не капали, они текли по лицу и губам, попадали в рот, текли мимо рта, по подбородку, пугающе кровенели и исчезали где-то ниже подбородка, на шее, за воротником. Их было много.

Тонкие губы Раисы Михайловны, которые она никогда не красила, тоже вдруг стали красными. Красными и толстыми, словно разбухли от слез.

Раиса Михайловна не вытирала слез, руки ее недвижно висели вдоль напряженно застывшего тела. Похоже было, что сама она не заметила, как заплакала, и не чувствовала, не знала, что плачет.

Ее слезы видел только Статыгин. Оказалось, что он так же не подготовился к встрече и был поражен ею не меньше, чем Раиса Михайловна. Особенно его поразило, что она плачет, что Райкова может плакать. Этого он никак не мог ожидать от нее. Давно ли она со злобой, как ему представлялось, бросила на рычаг телефонную трубку. Кажется, еще и сейчас он слышит сухой металлический щелчок. Да и пришел-то он сюда, может быть, только потому, что она не захотела с ним разговаривать по телефону. И вот она стоит перед ним, не кричит и даже не говорит никаких обидных слов, стоит и плачет. Плачет как-то странно, строго. А в комнате тихо и светло, розово. Полумрак стоял только за ширмочкой, за которую вход был запрещен всем, и Статыгин старался даже не глядеть в ту сторону. Оконная фрамуга была открыта на всю ширину, и в комнате дышалось легко, воздух был свежий, чистый, пахло чуть-чуть духами.

Первым заговорил Статыгин:

— Простите, Раиса Михайловна, но я не мог...

Розовые, почти красные слезы потекли по бледным щекам Раисы Михайловны еще обильнее, но она не всхлипнула, не шелохнулась, не бросилась к нему на шею,— ничего такого не произошло. Она только сказала, когда, сглотнув, смогла хоть что-нибудь сказать:

— Вы правильно сделали. Спасибо!

Статыгин еще ни разу не видал, что так могут плакать женщины. Лицо ее не выражало ни слабости, ни растерянности. Оно не искажалось, не изменялось, только

стало еще холоднее, спокойнее и, пожалуй, высокомернее. И сама она при этом не сгибалась, не сутулилась, даже голову не пригнула нисколечко, а, наоборот, выпрямилась вся надменно и строго.

— Я не мог иначе, Раиса Михайловна,— продолжал мямлить Статыгин.— Когда вы не захотели со мной разговаривать, произошло что-то такое... Я вдруг почувствовал...

— Я же сказала, что вы правильно сделали. Я рада, что вы здесь.

Статыгин начал понемногу приходить в себя:

— Тогда почему же вы трубку бросили?

— Это получилось смешно, я понимаю,— ответила Раиса Михайловна.— Я просто растерялась от неожиданности. Но я была рада, что вы позвонили.

— Вы не ждали, что я приеду?

— Не ждала. Но спасибо, что вы пришли.

Самолюбие его было удовлетворено. Он уже мог не раскаиваться, что поддался своему безотчетному порыву, когда поворотил от дома к автобусной остановке и поехал к ней в общежитие.

— Но вы понимаете, что со мной происходит? — спросил он.

За этим вопросом вряд ли что-нибудь стояло. Статыгин и сам не мог бы сказать, что с ним происходит, да и происходило ли что-нибудь такое, на что он, по-видимому, хотел намекнуть.

Раиса Михайловна ответила:

— Я старалась лучше понять, что происходит со мною, меня это больше почему-то занимало.

— Что же происходит с вами?

Сейчас Статыгин уже понимал, о чем спрашивал. А Раиса Михайловна, как бы взглянув на себя со стороны, вдруг заметила, что она плачет, и, вытерев рукой слезы на лице,— рукой, а не платком,— села на стул, затем, спохватившись, попросила сесть и Статыгина.

Статыгин сел на соседний стул.

Тогда она сказала:

— Наверно, мне нужно было больше думать о вас, а не о себе. Но, признаюсь, я больше думала о себе.

— Что же вы надумали? — продолжал допрашивать Статыгин.

— Я, видимо, люблю вас, Иван Ксенофонтович, люблю, не считаясь с тем, как это вы можете принять,

Конечно, Статыгин уже не раз хотел услышать от Раисы Михайловны эти слова. Но сейчас, когда он их услышал, ему показалось, что слова эти Раиса Михайловна произнесла как-то слишком поспешно и резко, слишком деловито, что ли. И вроде бы не такими они, эти слова, оказались, какие хотелось ему услышать, не такими они воображались ему. Игры, что ли, опять какой-то ему не хватало?

— Да, я люблю вас, Иван Ксенофонтович,— продолжала Раиса Михайловна.— Мне думается, что и встреча наша не была случайной. И все, что было потом, должно было случиться, и не могло происходить иначе.

— Ну, что ж...— начал было Статыгин и осекся, почувствовав всю неуместность, неловкость такого начала. Но ведь нужно же было что-то говорить, чем-то ответить на признание Раисы Михайловны.

Никакой радости от того, что произошло, он не испытывал. Он скорее растерялся и даже испугался немного серьезности, с какой Раиса Михайловна сказала ему о своей любви. А когда она молча заплакала снова, ему стало даже неприятно. Он не хотел видеть никаких слабостей с ее стороны, не хотел чувствовать себя в чем-то виноватым перед нею. Разве это победа, если оказалось вдруг, что Раиса Михайловна нуждается в его утешении, в защите? Почему он должен утешать ее, защищать? От кого? Ему легче было бы опять повернуть весь разговор в шутку, острить и пикироваться с нею, как это бывало раньше, чем брать на себя роль защитника и утешителя.

Однажды его собака несколько часов подряд гоняла зайца, а он никак не мог угадать заячьи переходы, перехватить и подсечь зверька, и, когда тот, измученный, бросился от собаки прямо к его ногам, под его защиту, он пнул не зайца, а собаку. Гончар взвизгнул от обиды и недоумения и ушел в лес. И сколько в тот день ни ласкал хозяин своего пса, сколько ни пытался заставить его забыть обиду и снова приняться за работу, гончар только вилял хвостом да скулил. Казалось, он спрашивал: разве я делал не то, что ты хотел, разве тебе не заяц был нужен?

Статыгин больше всего боялся, что Раиса Михайловна станет задавать ему вопросы, потребует, чтобы он отвечал на них. Он не готов был отвечать на ее вопросы, он не хотел отвечать на них.

В душе у него опять появилось ощущение человека, вернувшегося с веселой прогулки: палка поставлена в угол и легкое беззаботное настроение постепенно сменялось сосредоточенностью и раздумчивостью. Игра окончена, а для серьезных решений и поступков у него не было ни сил, ни охоты.

Но Раиса Михайловна и не спрашивала его ни о чем, она еще не выговорилась сама.

— Я сознательно ограждала себя от любви,— продолжала она.— Передо мною стоял образ моей матери, образ моего отца. Я не могла забыть о той семейной жизни, которую знала с детства. Мне казалось, что любовь — это обязательно семейная жизнь. И я боялась полюбить кого-нибудь. Я и вас боялась полюбить, Иван Ксенофонтович. К этому примешивались еще и другие опасения. Вы помните наш разговор о маленькой трагедии? Из-за этой своей маленькой трагедии я часто сторонилась людей, отгораживалась этакой ширмочкой. Но разве можно за ширмочкой укрыть душу? Потом я решила, что и не надо любви. Можно *так*. Но вы знаете, что *так* я не смогла, мне стало стыдно за себя. «Петька хромой» меня не устраивал. Но если мне с детства пугалом казалась семья, почему же и любовь пугало? Любовь должна существовать сама по себе, ее нельзя выдумывать, она приходит к человеку потому, что человек хочет любить, и он должен любить. От любви нельзя отказываться, правда, Иван Ксенофонтович? Для чего все на земле, если не будет любви? Зачем тогда и жить? Но я вам не даю слова молвить! — спохватилась вдруг Раиса Михайловна. Слезы на лице ее уже высохли, в глазах появились оживленные огоньки, а голос стал мягким, добрым.

— Да, это уже философия! — только и смог сказать Статыгин.

Раисе Михайловне достаточно было и этого.

— Вот так я всегда,— упрекнула она себя,— все о себе да о себе. Одну себя слушаю. Простите меня, Иван Ксенофонтович! Но я очень рада, что вы пришли.— И опять она не смогла остановиться, как будто возможность поговорить о себе предоставилась ей впервые в жизни.— Я уже не хотела было совсем встречаться с вами и думала, что никогда ничего не смогу вам объяснить. А оправдываться я не умею... Не хотела встречаться, а сама все ждала, ждала встречи. И презирала себя за это — беспомощную, дряблую, нелепую, корила себя за

отступничество, за потакание своим бабским инстинктам. Если уж я с собой справиться не могу, думала я, то что можно ожидать от такого человека! А вас я постоянно видела перед собой большого, лохматого, страшно робкого. На вас нельзя обижаться, Иван Ксенофонтович! Мне только стыдно перед вашей женой, перед этим человеком стыдно...

— О Полине Васильевне не надо говорить! — перебил ее Статыгин.

Раиса Михайловна взглянула на него, видимо, поняла и, кажется, не нашла в его замечании ничего обидного для себя, а потому сказала:

— Хорошо, я не буду! — и опять продолжала рассказывать и рассказывать о себе, обо всем, что ей приходило в голову.

«Только бы не молчать, только бы говорить! Говорить о чем угодно, только бы говорить!» — казалось, решила она про себя.

— Вам может показаться странным, Иван Ксенофонтович, а я все-таки хочу похвастаться: я скоро буду богатой невестой! Уже есть решение предоставить мне однокомнатную квартиру, совершенно отдельную, совершенно обособленную квартиру. Вы понимаете, что это означает в наше время? Шутки в сторону! Я впервые в жизни буду сидеть у себя дома, на своем раскладном диване, смогу зажечь свет в любой час ночи, и никого это не потревожит. Смогу даже включить радио, когда захочу, ну, конечно, не слишком громко, и никому это не помешает. Смогу раздеться, вымыться, одеться, делать с собой все, что захочу, все, что мне вздумается, и никто не посмеет мне сделать какое-нибудь замечание. Я наконец получу возможность иметь свой собственный письменный стол и работать буду у себя дома, вы понимаете, на дому, а не в читальном зале, не в учреждении, не в комнатах общего пользования. Это значит, что я буду человеком, что у меня появится так называемая личная жизнь. И никому уже не будет позволено выселить меня или уплотнить. Это же чудо! После стольких лет мытарства по общежитиям — в университете, здесь... Дома, у отца, я жила тоже как в общежитии. И вдруг отдельная комната! Да не комната — отдельная квартира! Нет, это будет не квартира, а особняк, Райкина резиденция! Вы понимаете, что это будет чудо? Чудо!

— Чудо! — подтвердил Статыгин.

Раиса Михайловна постепенно увлеклась, ликующему воображению ее представлялись волшебные картины, небывалые возможности, неиспытанные наслаждения.

— Наверно, и балкон будет, как вы думаете? Балкончик! А на балкончике раскладушка. Летом можно спать на балконе, всегда свежий воздух, всегда одна.

Статыгин был благодарен Раисе Михайловне, что она ни о чем его не спрашивает, но чувствовал, что все-таки должен как-то поддерживать разговор, вставлять какие-то слова в ее взволнованную речь. Правда, до него не доходила серьезность, с какой она рисовала свое будущее, и ему хотелось все превратить в шутку, ему легче было бы шутить.

— Прямо хоть ломай свою жизнь да замуж за вас выходи! — сказал он.

Но Раиса Михайловна не приняла его шутки. Она сказала:

— Будет кухня. Наверно, с газом. Горячая и холодная вода. Я заведу поливиниловый фартук с карманчиками и буду принимать вас на кухне. На плите шипит, шкварчит, пузырится, а вы сидите и ждете, и около вас, на столе, стоит уже бутылка вина. Какого вина вы хотите на первый раз?

Такой вопрос не мог обескуражить Статыгина. Если бы все вопросы были такие.

— Вино ничего не может заменить, Раиса Михайловна! — сказал он, вспоминая точно такие ее слова, когда они в первый раз пили вино за городом в лесу, и рассмеялся, хотя ему совсем не было смешно.

— Я понимаю! — по-доброму улыбнулась Раиса Михайловна.— Закуска тоже будет отборная, вы будете довольны.

— И потащите вы в свой дом чашки, ложки, плошки, поварешки. А потом сервизы, а потом хрусталь. Слоников купите... Китайского болванчика...

— Слоников, наверно, не куплю, а все остальное обязательно. И не китайского болванчика, а нашего ваньку-встаньку. Сервант, конечно, будет тоже. В сервант на первых порах я поставлю эмалированную кружку с зубной щеткой и пастой, два граненых стакана да несколько мензурок с делениями из химлаборатории — тоже посуда! Это будет мое девичье приданое.— Раиса Михайловна развеселилась.— Потрясно, как говорится?

— Потрясно!

— Но мензурки — это ненадолго, будьте спокойны, Иван Ксенофонтович. Сейчас я готовлю деньги на мебель. Вы знаете, какая существует мебель на свете? Легкая, портативная, абстракционистская, наверно, но до чего же удобная! Сотрудницы меня уже обо всем информировали. Через магазины ничего не купить, красуется такая мебель на выставках да в витринах магазинов. Но через шоферов грузовых такси можно достать любую и сравнительно недорого. Нужно только заплатить за подвоз на дом, с соответствующей добавкой, конечно,— и у вас все будет. Как видите, облегчена даже сделка с собственной совестью: вы не взятку даете, а платите за доставку товара на дом!

— Фу, черт! — воскликнул Статыгин.

— Что — черт? — удивилась Раиса Михайловна.— Это же очень просто. Сами продавцы подсказывают, как нужно выходить из положения. Странно, конечно, что у нас все необходимое и недорогое, что удобно и нравится людям, пока невозможно получить обычным путем, то есть просто купить. И неизвестно, сколько еще времени будет существовать такое положение.

— Я не о том, я о вас. Полное перерождение!

— Какое перерождение? Перерождения бывают разные. Что вы имеете в виду? — Раиса Михайловна не допускала мысли, что можно иронизировать над ее мечтой о новом устройстве жизни.

— Я не узнаю вас,— ответил Статыгин.— А как же с химией? Прощай докторское звание? — патетически воскликнул он.— Мне жаль человека, когда в нем пробуждается женщина!

— Ну, можно ли так шутить, Иван Ксенофонтович!

Но, упрекая его за шутливый тон, она вовсе не думала, что он шутит. Сама она говорила обо всем на полном серьезе и, увлеченная своим рассказом, не вникала в его слова. С такой же серьезностью она стала и возражать ему:

— Я же мечтаю и о книжных полках, о своей библиотеке, из которой нужные книги не будут исчезать в самое неподходящее время. Впрочем, своя ванная, пожалуй, так же необходима, как библиотека.

— Я не узнаю вас! — нарочито громко повторил Статыгин.

— Бросьте, Иван Ксенофонтович! Вы бы лучше порадовались, что у меня будет отдельная квартира. А сейчас

у меня ничего нет для вас, кроме четырех квадратных метров за ширмой. Хотите заглянуть в мой угол?

Вот это был вопрос! Один из тех вопросов, которых сегодня боялся Статыгин, боялся с самого начала, как только Раиса Михайловна всерьез, со слезами на глазах, заговорила о любви. Но ответил он не раздумывая, машинально:

— Конечно, хочу! — И встал. И добавил: — Надо же посмотреть, как живет будущая богатая невеста.

Нет, положительно не давались ему сегодня шутки!

Раиса Михайловна даже не улыбнулась, а тотчас встала, подняла ситцевую розовеющую занавеску и тихонько втолкнула его за ширму.

Статыгин шагнул в полумрак к узенькой железной койке, застланной белым пикейным одеялом, с кружевной накидкой на подушке. Слева от себя, за изголовьем постели, он увидел тумбочку с набором разнообразных флаконов и парфюмерных коробочек. Для лампы на тумбочке места не оставалось, поэтому она была подвешена над койкой. Матовый самодельный абажур из вощеной бумаги придавал ей сходство с бра. Рядом с лампой на стене висела небольшая полочка с книгами. Под ней какая-то картинка, какая — Статыгин не разглядел, и фотопортрет — должно быть, самой Раисы Михайловны. За перекладины ширмочки, не затянутые с внутренней стороны материей, были зацеплены плечики с платьями и кофточками — весь гардероб на виду. Стульев не было. Нет, был один стул, но на нем лежала дамская сумка, а на спинке висела шерстяная кофта, поэтому Статыгин не сразу заметил его.

Все в этом девичьем уголке было миниатюрное и какое-то милое, интимное. Статыгин раньше таким и представлял себе этот уголок, но сейчас он не знал, как себя вести здесь. А Раиса Михайловна стояла за его спиной и молчала, ждала, что скажет он. Он ничего не сказал, ему нечего было говорить, и тогда она предложила:

— Садитесь, Иван Ксенофонтович!

Статыгин оглянулся на нее растерянно и виновато.

— Садитесь! — ласково повторила она.

И он сел на кровать — стульев же не было! Сел, улыбаясь смущенно и растерянно.

Он сидел за ширмой, за которую совсем еще недавно, зимой, заглядывал воровато, с любопытством и вожделением. Прошла зима, наступило потепление, весна пришла. Весной были встречи. Были разговоры о том, что

«мы еще не нашли друг друга», «мы просто еще не встретились». Но и *та* встреча настала, и все пришло к нему, чего он хотел, а потеплело ли в его душе? Нашел ли он *то самое*, на что втайне все-таки надеялся? И *та ли это встреча?*

Вот сидит он на девичьей кровати и все понимает, и ему неловко за самого себя, будто ворвался он, взрослый человек, в комнату девочки-студентки, не ведающей, на что она решается, но уже готовой, чего бы это ей ни стоило, стать взрослой, девочки, перепуганной до смерти, зажмурившейся от страха, но делающей вид, что ей море по колено. А на самом-то деле ей лужа по уши. И настолько ему все это кажется случайным, почти неприличным, что он боится больше за себя, чем за нее. Страх чего-то нехорошего, стыдного сковывает его движения, связывает язык, и он, как мальчишка, опускает глаза.

— Ну как, Иван Ксенофонтович, нравится вам моя келья? — спрашивает его между тем Раиса Михайловна.— Теперь вам ясно, почему можно мечтать о настоящей, о своей комнате, о квартире?

— Ясно! — ответил Статыгин.

— Извините, мне пока нечем побаловать гостя, не шипит, не шкварчит, да и фартука кухонного у меня нет.

— Нет! — повторил Статыгин.

Раиса Михайловна все еще стояла в проеме ширмы, придерживая рукой ситцевую занавеску, и смотрела на него сверху вниз. Но вот рука ее опустилась, занавеска упала, полумрак за ширмой погустел. Тогда она торопливо зажгла лампу над головой Статыгина и села с ним рядом на койку. Казалось, Раиса Михайловна глуха была ко всему, что он сейчас переживал, она думала только о себе самой. «Вот так я всегда...»

Когда вспыхнула лампа, Статыгин увидел на стене черно-белую репродукцию, которую раньше по-настоящему не разглядел, и на ней изображение знакомой церквушки, еще не запущенной, не разваливающейся. Кроме церквушки, на картинке были берега реки, и луга, и густо разросшиеся кусты вокруг.

Раиса Михайловна заметила его взгляд и, кивнув в сторону репродукции, спросила:

— Вы узнали эти места? Это же Спас Покрова на Нерли, наша красавица! Помните? Неужели не узнали?

— Узнал! — ответил Статыгин.

Раиса Михайловна обрадовалась:

— Вот видите! Это же наша! Я не могу смотреть на нее без волнения. Мы там впервые встретились с вами. Именно там! Вы еще вскарабкались каким-то образом на крышу. И все на вас смотрели, как на мальчишку. Признаюсь, я испортила библиотечную книгу, вырвала эту вкладку из какой-то искусствоведческой монографии. При этом чувствовала себя так, будто вместе с вами на крышу лезла. Какая это была удивительная поездка! Ведь если бы не церквушка, мы, наверно, и не заметили бы друг друга. Все помните?

— Помню все! — подтвердил Статыгин.

— Как это здорово, что я, химик, увязалась тогда на экскурсию с архитекторами. Новые люди, новые для меня разговоры, совершенно иной мир интересов. Расширяются представления о жизни, и отдыхается лучше. Надо всегда так, переключаться хотя бы в выходные дни, а то мы однобокими какими-то становимся. Надо и в санатории, и в дома отдыха ездить не в свои, а по какому-нибудь чужому ведомству. Еще лучше, конечно, совсем не в ведомственные, а в общие, общего типа, где отдыхают так называемые простые труженики. До чего же термины эти живучи: «простой человек», «рядовой труженик»... И для них — все попроще, ни высоких заборов, ни бородатых швейцаров... Между прочим, и знакомства, и дружбу хорошо заводить с людьми из другой среды. Вот мы с вами...

Раиса Михайловна говорила быстро, почти безостановочно и могла так говорить и говорить без конца. Это у нее получалось свободно, без всякого напряжения, само собой. Никаких заминок, никакой необходимости придумывать — о чем говорить. Несколько связующих слов: «между прочим», «а вы помните»,— и мысль ее легко и естественно переходила с одного направления на другое. Раисе Михайловне было хорошо, ничто ее не тревожило, не смущало.

А Статыгин чувствовал себя неловко, и говорить ему было не о чем.

— Это ваш портрет? — спросил он, указывая на фотоснимок на стене рядом с церквушкой.

Раиса Михайловна удивленно вскинула на него глаза, смутно догадываясь, что он не слушал ее совсем, но огорченья от этого не испытала.

— Нет, это снимок моей матери,— ответила она.

— Очень похожа на вас,— сказал Статыгин.

— Это я на нее похожа. Мне об этом всегда говорили. Первая моя мачеха, когда злилась из-за чего-нибудь на меня, любила повторять, что я очень похожа на свою маму. Ей, вероятно, хотелось, чтоб и моя судьба была такой же тяжелой.

Сказав об этом, Раиса Михайловна вспомнила еще, как мачеха не однажды шипела на нее: «Порядочные люди с тобой за одним столом сидеть не будут». И хотя это относилось к той маленькой трагедии, напоминание о которой всегда причиняло ей боль, сейчас она не почувствовала боли. Вспомнилось, чуть царапнуло душу — и тут же забылось. Мысль ее тотчас переключилась на другое.

— Между прочим, когда мы ездили с вами во Владимир, я уже начинала думать о возможности использования полимеров в хирургии. У медицины и химии появились новые точки соприкосновения. Биохимия... биополимеры... Все это удивительно интересно и ново. Есть такие материалы, которые в теле человека могут рассасываться бесследно, либо навечно врастать в живую ткань. Разработка новой темы может стать предметом докторской диссертации. Да, кажется, именно над ней я сейчас и работаю. Сначала, конечно, я не понимала, что из всего этого может получиться, но опытов, наблюдений и записей накопилось так много, что получается именно докторская диссертация. И общаюсь я в последнее время больше, пожалуй, с хирургами, чем с химиками. Вы знаете что-нибудь о Вишневском?

— Жаль, что я не хирург,— сказал Статыгин.

— Вот вы о чем пожалели! — улыбнулась Раиса Михайловна и ласково качнулась в его сторону.— Вы все еще не понимаете, что мы с вами одни сегодня?

— Да? — сказал Статыгин, не то сомневаясь, не то подтверждая, и оглянулся вокруг.

В открытое окно проникал далекий шум улицы, не нарушавший комнатной тишины, но сейчас Статыгин услышал его. В коридоре кто-то ходил, что-то позвякивало — и эти звуки теперь стали явственно слышны. Розовое световое пятно абажура на ситцевой ширмочке тревожило, как присутствие постороннего.

А Раиса Михайловна вдруг впервые назвала его Ваней. Назвала тихо, раздельно, по слогам: «Ва-ня!»

Должно быть, это ничего не означало, ей просто приятно было произнести его имя.

— Да! — отозвался Статыгин. И вспомнил, как в за-

городном лесу, *тогда*, она спросила его: «Хотите, я вас буду называть Ваней? Это успокоит вас?»

Вместе с этим в памяти его возникли и сырой вечерний лес, запах прелой, тухлой листвы и хвои, костер, который так и не был разожжен, и от этого воспоминания ему стало не по себе.

Но мужское самолюбие не захотело уступить благоразумию и сдержанности. И когда Раиса Михайловна снова тихо и раздельно повторила: «Ва-ня!» — он сказал: «Да!» — и обнял ее.

Раиса Михайловна припала к нему доверчиво и сердечно. Наверно, так доверчиво припадают к мужскому теплу солдатки, уставшие за долгие годы одиночества от всяких несбывающихся надежд и ожиданий. Так же, наверно, путник, заблудившийся в темном лесу, кидается на мелькнувший в хвойной дали огонек. И пусть этим огоньком окажется только маленький холодный светлячок или фосфоресцирующие глаза ночной птицы, все равно в его собственной груди разгорается свет. И этот его свет, этот свой огонек, возникший в груди, только он один и нужен теперь путнику, чтобы выжить и выйти из темного леса на большую дорогу.

Сколько у Раисы Михайловны было неуютных вечеров на шумных метельных улицах, прогулок в никуда, разговоров ни о чем — все в предчувствии какого-то одного доброго случая, после которого все изменится, все пойдет легко и счастливо. Сколько обидной опрометчивости, неосмотрительности, печальных разочарований и горьких упреков самой себе за слабость, за непоследовательность — все ради возможного чего-то такого, без чего человеку жить на земле нельзя. И вот — все позади. Подозрительность и настороженность спали. Свет бил ей в глаза, в душу — ослепляющий, чистый, святой свет любви. Свершилось в жизни в первый раз что-то очень знакомое и непонятное, неведомое. Прежние мечты ее казались теперь мелкими и смешными — квартира, мебель, даже биополимеры, биохимия... Бог с ними! Без всего этого можно жить. Без любви жить нельзя.

Раиса Михайловна больше не могла и не хотела ни о чем говорить. Все слова покинули ее. Осталось только одно слово «Ваня», и она повторяла его без конца.

Большой, лохматый и очень робкий Ваня сидел рядом с нею, и его тяжелая рука лежала на ее плечах, а ее руки, горячие, влажные, касались его груди, лица,

волос. Она молчала, нет, она разговаривала с ним, не умолкая ни на минуту, но без слов, молча. Она знала, о чем сама спрашивала его, и знала, что он отвечает ей, но все молча, только молча. Глаза ее закрылись — так лучше было слышно, что ей говорит Ваня и что говорит она ему.

«Ты чувствуешь, как мы давно уже знакомы с тобой?» — это спросил ее Ваня.

«Конечно, чувствую!» — это она ответила ему.

«Словно бы много, много лет?»

«Конечно, много лет! Мне порой кажется, что всю жизнь, что ни одного дня не было в моей жизни, когда я тебя не знала».

«И мы не просто знакомы, а близки?»

«Конечно, близки. Ты для меня совсем родным стал».

«А ты не боишься меня?»

«Смешно даже спрашивать об этом».

«Не боишься, что я могу обидеть тебя, нагрубить как-нибудь?»

«Чудной человек! Мне даже хочется, чтоб ты был грубым».

«Странно это...»

«Почему же странно?»

«И стыдиться бы ничего не стала?»

«Может быть, немножко. Но ведь мы так давно вместе. И такие мы свои. А свои — это, наверно, и есть самое главное. Свыкнуться — тоже главное. Я к тебе очень привыкла, и потому мне спокойно и ничего не стыдно. Только почему ты такой большой, а нелепый, Ва-ня?»

«Какой же я нелепый?»

«Ну, осторожный. Может быть, потому, что у тебя есть жена...»

«Не смей мне напоминать об этом, я тебя уже предупреждал».

«Хорошо, я больше не буду. Но мы с тобой совсем одни здесь. Понимаешь, совсем одни, Ва-ня!..»

— А я не волнуюсь! — вдруг сказал Иван Статыгин. Вслух сказал.

Раиса Михайловна не сразу услышала эти его слова, произнесенные вслух, а когда услышала, спросила:

— О чем вы?

Статыгин ответил ей, опять же вслух:

— Помните, в лесу вы меня спросили: «Хотите, я буду вас называть Ваней? Это успокоит вас?»

— Ну и что?
— Я тогда ответил вам: «А я не волнуюсь».
— Ну и что?
— Да так, ничего. Извините! Я просто вспомнил тот наш разговор.
Раиса Михайловна недоуменно выпрямилась, но Статыгин попридержал ее за плечи, и она снова мягко прислонилась к нему. Только сказала, вроде с упреком:
— К чему теперь вспоминать, что в лесу было.
А ей уже не захотелось больше вести с ним молчаливый разговор. Да если б и захотелось — не смогла бы. Ей тоже вспомнился тот влажный темный лес, всполошенные крики невидимых птиц, плащ с раскинутыми в сторону рукавами, будто спящий замертво охотник, и ковровая бахрома свежей душной хвои по краям плаща. При этом странная тревога охватила ее.
— Не хотите ли чаю, Иван Ксенофонтович? — спросила она, неожиданно даже для себя.— Это я могу.
— Чаю? А что? Неплохо! — оживился Статыгин.
— Ну вот видите. А я боялась, вы скажете, как о вине, дескать, чай ничего не может заменить.
— Это вы говорили о вине, а не я.
— Хорошо, это я говорила о вине, какая разница. Чай сейчас будет! — И Раиса Михайловна попыталась встать. Но Статыгин опять придержал ее.
— Не уходите. Здесь у вас хорошо, посидим.
— Хорошо, посидим еще! — согласилась Раиса Михайловна, не снимая его руки со своих плеч. Но в голосе ее уже чувствовалось раздражение.— Между прочим, заметили вы, Иван Ксенофонтович, что мы с вами не умеем сидеть молча. Точнее, не умеем молчать заодно.
— Да? — спросил Статыгин.
— Да! — подтвердила она.
— Почему же? Можем и помолчать. Ведь мы люди свои.
— Свои?
— Свои! Научимся еще и молчать.
— А я не хочу учиться молчать! — Раиса Михайловна начала нервничать и сама испугалась этого.— Выйдем отсюда, Иван Ксенофонтович!
Статыгин словно не услышал этих ее слов.
— Будет отпуск — поедем вместе к морю,— продолжал он.— Хотите? Будем сидеть на берегу: оно шумит, а мы молчим.

— К чему вы это, о море? — подозрительно взглянула на него Раиса Михайловна.

Вопреки желанию, она снова стала думать о своей маленькой трагедии и уже не могла остановиться. Как-то в парфюмерном магазине она шепнула на ухо продавщице, что́ именно ей необходимо купить, а та достала с полки коробку и сказала громко: «Вот хорошее польское средство!» Другая продавщица, поняв, о чем речь, и уже совершенно не щадя деликатности покупательницы, заинтересованно высказалась еще громче: «Никакое средство не поможет, если расстраиваешься, со мной то же самое бывает. Польское средство, немецкое средство — все ерунда на постном масле. Лучше провести лето на берегу Азовского моря да купаться каждый день. Около Бердянска снять комнату на лето ничего не стоит. А то — в Евпатории, там есть такие лиманы с червячками. Только в Евпатории дороже...»

— Давайте перейдем в ту комнату, Иван Ксенофонтович,— повторила Раиса Михайловна, все больше смущаясь, но сама даже не шелохнулась. Ей не хотелось подниматься первой.

...А то еще был случай в студенческие годы на теннисном корте. Она стояла на пару со своей однокурсницей, и, когда проигрыш стал неизбежным, раздосадованная подруга сказала ей: «Ты, Райка, чаще бьешь не по мячу, а по моему носу, как тут не проиграть!» Раиса Михайловна после этого совсем перестала играть и в теннис, и в волейбол, а в общежитии впервые отгородила свой угол ширмой.

Сейчас, вспомнив обо всем этом, Раиса Михайловна оскорбилась за себя и так занервничала, как бывало в лаборатории, когда из-за случайно зажженной спички или неловкого движения оказывались под ударом результаты длительных опытов, а порой и безопасность сотрудников,— казалось, еще мгновение, и может произойти взрыв.

Таким взрывом стал момент, когда Статыгин снял руку с ее плеча и поднялся.

— У вас опять астма, Иван Ксенофонтович?! — злобно сказала она и тоже встала.

Статыгин от этих ее слов и впрямь почувствовал, что сам покрывается липким нервным потом. В груди его засипело, захрипело, воздух с трудом проходил сквозь сжатые бронхи. Не только уголок за ширмочкой, но вся комната словно бы наполнилась вдруг махорочным дымом

или принижающим смрадом дизентоля. Дышать стало так трудно, хоть ворот на себе рви.

Статыгин горбился и растерянно озирался, как бы ища, откуда может подуть струя свежего воздуха. А можно ли чего-то хотеть, о чем-то думать, разговаривать, жить в полную силу, когда человеку не хватает свежего воздуха? Что стоит молодость, влюбленность, мечты о встречах, всякие иные мечты и планы, если дышать нечем? Нечем дышать! Сейчас Статыгин совершенно ясно ощутил, что, сколько бы ни прошло времени и даже если бы он затосковал, забесновался, он все равно не сможет почувствовать себя здесь ни свободным, ни счастливым. Даже розовый цвет абажура в этой комнате приводил его в смятение.

Раиса Михайловна первая вышла из-за ширмочки и, когда вслед за нею вышел и Статыгин, опустила занавеску. Выражение беспомощности и доброты исчезли с ее лица. Оно снова стало жестким, надменным. Мужская горбинка на носу обозначилась резче, высокомерно сжатые губы побледнели, словно она их только что накусала.

— Иван Ксенофонтович,— сказала она,— не обижайтесь на меня, но постарайтесь все понять и разобраться во всем, а главное — в себе. Мне думается, мы просто выдумали все и сами себя выдумали. А когда все выдумано, все ненастоящее, не может быть и свободного дыхания. Остальное — мелочи. Вот отчего и астма ваша...

Закрыв за Статыгиным дверь, Раиса Михайловна опустилась на стул и долго вытирала сухие глаза, словно хотела убедиться, не плачет ли она опять.

Нет, она не плакала. Но в памяти ее промелькнули снова разные случаи, связанные с ее маленькой женской трагедией. И когда спустя некоторое время в комнату кто-то осторожно постучался, она крикнула резко, властно:

— Не входить!

Недели через две Статыгин позвонил Райковой по телефону из дому. Сняв трубку и набрав номер, он ждал, что сначала к аппарату подойдет кто-нибудь другой. Но вот раздался щелчок и он услышал до боли знакомый ее голос:

— Говорите!

Руки у него задрожали, а бронхи тотчас начали сипеть и хрипеть.

— Говорите, слушаю вас!

Статыгин, задержав дыхание и не промолвив ни слова, осторожно, воровато положил трубку на рычаг.

— Что ты чудишь? — сказала ему Полина Васильевна.— Кому опять голову морочишь?

Тогда он заговорил, и в его голосе, уже чистом, без сипения и хрипа, прорвалась давно сдерживаемая ярость:

— Я никогда в жизни никому не морочил голову! Разве что тебе одной! Но ты разбираешься в этом, как...

Началась очередная семейная сцена.

1961—1965

РАССКАЗЫ

АРХИВАРИУС

(Рассказ о балтийском комиссаре)

После каждого боя у комиссара батальона Алексея Лебедева в карманах появлялись новые трофейные пистолеты. Его страсть к трофейному оружию служила в бригаде моряков предметом для всевозможных острот. В политотделе бригады Лебедева называли в шутку то «архивариусом», то «мешочником». Но боевые дела комиссара были таковы, что эти остроты по его адресу всегда носили некоторый оттенок уважения и восхищения.

Лебедев был человеком высокого роста, хорошо сложен, худощав. Бриться ему удавалось нечасто, поэтому без черной щетины на лице его никто не представлял. От осколочного ранения в одном из первых боев у него осталась еле заметная хромота на правую ногу.

Все комиссарские карманы были забиты пистолетами.

Из правого кармана зеленого защитного кителя торчала рукоятка немецкого девятимиллиметрового парабеллума новейшего образца.

В левом лежал небольшой, очень удобный, с деревянными резными щечками восьмизарядный маузер № 2.

В карманах брюк комиссар носил две яйцевидные немецкие гранаты — совершенно гладкие и легкие. Два «коко» или два «яика» — называл их Лебедев. Такими гранатами немцы снабжают своих парашютистов-десантников. Захватив одного в плен, Лебедев отобрал у него шесть «яик»: четыре сдал начальнику боепитания, два оставил при себе.

Во внутреннем нагрудном кармане у комиссара вместо денежного кошелька хранился очень изящный офицерский никелированный браунинг итальянского происхождения. На груди он всегда был теплым. Эту миниатюру Алексей Лебедев берег для своей жены. Военврач Лебедева служила на соседнем участке фронта, но вот уже

третий месяц муж никак не мог с нею встретиться, чтобы передать ей свой трофейный подарок. За это время врача Лебедеву видали из батальона все, кроме самого комиссара. Он был занят больше других.

Лебедев оставлял у себя трофейные пистолеты только по одному каждой системы. Если попадались в руки «дублеты», он их сдавал начбою, без сожаления. Но случалось, что он сдавал начальнику боепитания и такие образцы, которых у него не было.

Достав новый пистолет, комиссар после боя усаживался где-нибудь в придорожной канаве, под открытым небом, расстилал на коленях газету или полотенце и начинал разбирать и бережно раскладывать новое приобретение. Каждую деталь он внимательно рассматривал и ощупывал. Так дети разбирают и осматривают новую игрушку. Но комиссар не играл. Тщательно вытерев и смазав каждую часть пистолета, он собирал его и шел стрелять, чтобы проверить силу и меткость боя. Некоторые пистолеты он изучал особенно внимательно, разбирал и собирал их по нескольку раз с прилежностью часовых дел мастера.

Проверив оружие в стрельбе по мишени, Лебедев укладывал его в свободный карман или тут же передавал вестовому для пересылки в тыл батальона. Так он забраковал пистолет «вальтер»: громоздок, тяжел, неуклюж.

Как-то в политотделе бригады Лебедева попугали:

— Скоро отберут у вас, товарищ Лебедев, все трофеи.

Он ответил:

— Отобрать легко, ты сам достань.

Все трофейные пистолеты Лебедев доставал сам.

Свой ТТ он также не оставлял, носил его в кобуре, но, что греха таить, одно время он думал, что заграничное оружие все же лучше своего. Это не на шутку обижало командира батальона старшего лейтенанта Хымрю. Однажды комбат, ни слова не говоря, снял с Лебедева стальную зеленую каску и потащил его за рукав на обочину дороги. Там он прислонил каску к столетней сосне, отмерил тридцать шагов и сухо потребовал:

— Вынимай свои побрякушки, стреляй.

Лебедев выстрелил из парабеллума. Каска жалобно звякнула и перекатилась, но удар снесла. На ней осталась лишь небольшая вмятина. Краска слезла, обнажив гривенник светлой стали. Командир даже не пошел смотреть каску.

Тогда Лебедев выстрелил из маузера, подаваясь всем корпусом вперед, словно хотел этим придать пуле добавочную резкость. Каска снова загудела, но осталась неповрежденной. Из дамского браунинга Лебедев стрелять не стал.

Хымря достал свой ТТ и небрежно, будто не целясь, сделал два выстрела. После этого он подул в ствол, не торопясь уложил пистолет в кобуру и, снова не подходя к каске и ни слова не говоря, направился в блиндаж.

На каске были две рваные дыры. Лебедев повертел ее в руках и бросил под колоду.

— Ничего, и эти пригодятся! — сказал он о трофейных пистолетах. Но каски с тех пор не носил, в какую бы операцию ни шел. Он, наверное, не хотел напоминать командиру о своем поражении. Ходил он с тех пор в армейском «чулке» — пилотке.

●

О новом подвиге комиссара Алексея Лебедева в штабе бригады узнали поздно ночью. Сообщил о нем сам командир батальона Хымря. Этот боевой человек больше всего на свете не любил слушать краснобайство и писать «докладные записки». И когда ночью вестовой принес в штаб пакет с его подписью, военный комиссар бригады понял, что случилось нечто из ряда вон выходящее.

Командир батальона писал на небольшом клочке бумаги о том, что его комиссар «ворвался с семью краснофлотцами в немецкие окопы и, воспользовавшись трофейным оружием, в течение трех часов тревожил противника. За это время он отбил несколько немецких атак и уничтожил до 40 фашистов».

Более подробно обо всем этом рассказал военному комиссару бригады вестовой, краснофлотец Ярков, который был в числе семи бойцов в немецком окопе.

Утром военный комиссар бригады сам заполнял наградной лист на имя политрука Алексея Андреевича Лебедева.

Немцы наступали. Слева от деревни Я. они вышли из соснового леса и, не стреляя, во весь рост двинулись цепью по ржи к развилке дорог. Комбат Хымря и полит-

рук Лебедев несколько минут гадали, не свои ли отступают. И когда уже ясно увидели зеленые шинели и втянутые в плечи разбойничьи головы, решили дать бой.

— Не «психическая» ли это, как ты думаешь? — спросил комиссар Хымрю.

— А тебе хочется «психическую»?

— По правде говоря, хочется. Мне еще не приходилось иметь дело с «психической».

Бойцов было человек пятьдесят, не больше. Решили залечь в придорожную канаву и выждать.

Приготовили пулеметы и автоматы.

Когда немцы подошли метров на двести, их встретили шквальным огнем. Били, сжав зубы, торопливо, но тщательно прицеливаясь. Немцы залегли, начали окапываться, но не выдержали и побежали.

Тогда комиссар Лебедев поднялся из канавы и с пистолетом в руке бросился вперед.

— Матросы, за мной! — крикнул он.

Старый подводник, он называл своих краснофлотцев на привале бойцами, а в бою, в атаке — только матросами. При этом он всегда вспоминал известную картину взятия Зимнего дворца, на переднем плане которой были широкими мазками изображены матросы-красногвардейцы, затянутые крест-накрест пулеметными лентами.

Рожь спутывала ноги, замедляла бег. Сухие перестоявшиеся колосья били по рукам, кололи лицо. Зерен в них уже не было.

Лебедев бежал, не оборачиваясь. В шуме соломы и в грохоте выстрелов он чувствовал вокруг себя учащенное дыхание людей. За ним ныряли по ржи человек тридцать верных матросов. Но во ржи, как в тростниках, люди терялись. И когда Лебедев вырвался к сосновому леску на край поля, с ним было только семь человек.

Если бы немцы не открыли огонь, комиссар, может быть, остановился бы, но из сосняка засвистели пули, тогда он, не дожидаясь подхода остальных товарищей, бросился вперед.

— Матросы, за мной!

Откуда здесь в лесу появились немецкие окопы, Лебедев сам не смог бы, наверное, сказать, но они появились — свежие, неглубокие, коленчатые. Отступавшие немецкие солдаты прыгали через них и бежали дальше,

некоторые сползали вместе с песком в ход-сообщение и оборачивались. И хотя у них были испуганные глаза, они все же начинали стрелять.

Лебедев не подал команды «Гранаты к бою!», он даже не вспомнил о них, но он увидел, как трое бойцов, бежавших справа, на ходу вставили запалы и кинули гранаты. Тогда он резко приказал:

— Ложись!

Сколько было взрывов, он разобрать не мог, но взрывы были. В следующий миг комиссар уже ворвался в немецкий окоп. Выстрелом из пистолета он в упор убил двух солдат, третьего схватил за ногу, когда тот выкарабкивался на поверхность и кричал:

— Русс, сдафайся!

Этот третий оказался ефрейтором. Лебедев стащил его на дно окопа и размозжил ему череп.

— Я тебе сдамся!

Краснофлотец Ярков работал штыком. Михайлов и Пеночкин колотили прикладами. Они не гнали фашистов из окопов, а не выпускали их, и если те все же старались выбраться, стаскивали их за ноги, за полы шинелей и приканчивали.

Рукопашные схватки длятся обычно несколько секунд, но секунды эти представляются часами.

Когда немцы из окопов были выбиты, комиссар вдруг почувствовал, что устал. Стрельба стихла. Двигаться дальше с семью бойцами, не дождавшись подхода группы, было нельзя. Он сел на песчаный выступ индивидуального окопа и, смахнув ладонью пот со лба, поднял голову. Над ним покачивались широкие светло-зеленые вершины сосен. Иглы были так длинны и на солнце так светились, что каждая ветка сосны, казалось, была окружена зеленоватым веерообразным сиянием.

— А сосны — наши! — вдруг подумал, словно догадался, Лебедев. Ему представилось, что каждое из этих деревьев он с детства знает и любит. Такие они родные все, северные. И как это хорошо, что они снова стали нашими.

Неприятный воющий звук протаранил тишину леса, и близкий разрыв снаряда потряс воздух. Вершина одной из сосен, которыми любовался Лебедев, с шумом упала на землю. По лесу несколько мгновений еще слышалось потрескивание: это осколки снаряда впивались в стволы деревьев.

Лебедев даже не пригнул головы, таким все было привычным, а постоянно остерегаться так надоело. К тому же он не верил, что может быть убит.

— Товарищ военком, это наша артиллерия бьет! — сказал краснофлотец Ярков.— Вершина сосны комлевой частью упала в сторону противника.

— Наша? Хорошо бьет, точно! — ответил комиссар, и ощущение усталости сразу прошло.— Товарищ Ярков, передайте через комбата на батарею, что окопы заняты. Пусть перестанут стрелять.

Ярков выбрался из окопа, осмотрелся — немцев не было видно — и по-пластунски пополз обратно, в сторону ржи.

Еще несколько снарядов разорвалось в сосновом лесу.

С флангов начали строчить немецкие автоматы. Вернулся Ярков:

— Товарищ военком! Пройти не смог. Наших не видно. На флангах «кукушки». Мне бушлат испортили.

Лебедеву еще не было известно, что группу Хымри немцы отрезали от него непроходимым заградительным минометным огнем, но он уже почувствовал опасность и все более оживлялся.

— Та-ак! — словно раздумывая, протянул он.— Бушлат завтра зашьешь. Ребята! — обратился комиссар ко всем, чуть повышая голос.— Беречь патроны. Окопы не оставим. Сколько времени?

Ярков приподнял рукав шинели, поглядел на часы, ответил.

Лебедев подумал:

— До вечера осталось не больше трех. Приготовить гранаты. Михайлов и Белащенко направо, в те ячейки, Пеночкин и Ястребов — налево, остальные — со мной. Лежать и беречь патроны.

Немцы, когда их перестали преследовать, опомнились и скоро полезли обратно. Вдалеке за точеными сосновыми стволами блеснуло на солнце лезвие штыка. Первое, что услышал Лебедев с немецкой стороны, был до смешного истошный крик: «Русс, сдафайся!» «Не ефрейтор ли ожил?» — подумал он и покосился на распластанное на дне окопа неподвижное тело. Рядом с ним на красном от крови песке он заметил белую еще не высохшую скорлупу сырых яиц.

Два тонких свиста шмыгнули над головой, словно кто-

то невидимый над самым ухом дважды дунул в пустую пистолетную гильзу.

Перебегая от сосны к сосне, немцы начали наступать. Их было много: зеленые френчики и шинели мелькали и прямо перед окопом, и по сторонам его. Немцы кричали только одно:

— Русс, сдафайся!

Когда они появились на расстоянии сотни метров, Лебедев приказал:

— Матросы, начинай!

Трое выстрелили сразу, четверо еще прицеливались. Семь солдат свалились в мох, на ягодник.

С чем можно сравнить противный утробный крик и рев раненого фашиста? Зверь так не кричит... Когда у лошади перебиты ноги, по щекам ее текут безмолвные слезы, она только скрипит зубами. Когда волка охватывают предсмертные судороги, он не воет, а берет в зубы камень или палку и зубы пронзают палку насквозь. Иногда раненый зверь, чтобы не застонать, набирает в рот земли. Настоящие люди, идя на смерть, поют песни. Раненые краснофлотцы продолжают вести огонь по врагу.

А фашист еще не умирает, ему только больно, но он уже отрекается от самого себя, от всего на свете.

Алексея Лебедева охватывала ни с чем не сравнимая брезгливость и ненависть, когда он слышал этот нечеловеческий визг и слезливое подвывание раненых немцев.

— У, гады!.. — шептал он про себя.— Знали, зачем шли.

Краснофлотцы продолжали стрелять на выбор. Немцы лезли. Огромные сосновые стволы укрывали их, и они подходили все ближе и ближе. Скоро они ринутся в атаку.

Вот серая с рожками каска приподнялась над лежащей гнилой колодой. Показался короткий ствол автомата. Лебедев вытащил из кармана немецкий парабеллум, тот самый, из которого он стрелял по своему стальному шлему.

«Посмотрим, крепки ли немецкие шлемы»,— подумал он, и выстрелил. Автоматчик даже не вскрикнул, каска сразу осела, только ствол автомата поднялся еще выше и замер, уставившись в небо.

— Та-ак! — протянул вслух Лебедев.— Значит, они проверяют свои пистолеты по своим же каскам!

И он стал стрелять.

Когда немцы с криком бросились в атаку, Лебедев первый швырнул гранату. Мох, черный перегной и корни вместе с ошметками человеческого тела взлетели на воздух. На мгновение все остальные звуки леса, винтовочная стрельба и треск автоматов были поглощены гулом взрыва. Потом снова выделился крик бегущих фашистов. Они кричали по-русски: «Ура!»

Краснофлотцы один за другим, широко размахнувшись, кидали гранаты то в одну сторону, то в другую и затем резко приседали в окоп. Каждый взрыв сопровождался ревом и стонами немецких солдат. С деревьев тихо падали сбитые осколками мелкие ветки.

Отбивая первую атаку, бойцы израсходовали двенадцать гранат. Фашисты отступили, таща убитых и раненых — кого за ноги, кого за руки, за рукава. Лебедев вслед за ними прополз к лежачей гнилой колоде, где торчал в небо короткий ствол автоматического пистолета-пулемета «шмайсер», и принес автомат с собой.

Чтобы дать бойцам отдохнуть, комиссар стал шутить.

— Ну, как, интересно? — спросил он.

— Интересно, товарищ военком!

Но никто не засмеялся. Положение было слишком серьезно.

— Сколько до вечера осталось?

— Часа два, товарищ военком,— ответил Ярков.

— Сейчас, надо думать, заработают минометы.

Но минометы не заработали. Спустя несколько минут немцы снова начали подбираться к окопам и накоплять силы для атаки. Они, видимо, решили взять русских живыми. На этот раз автоматчики застрочили с флангов.

Отбив вторую немецкую атаку, Лебедев снова спросил:

— Сколько осталось до темноты, товарищ Ярков?

Ярков несколько секунд помолчал и ответил чуть приглушенным, словно виноватым голосом:

— У меня часы разбиты, Алексей Андреевич!

Эти мягкие интонации в голосе бойца, это неожиданное обращение к нему не по форме, а по имени и отчеству встревожили комиссара.

— Что еще такое? — резко обернулся он.— Вы где находитесь? Вы в строю, вы моряк.

Потом, сразу изменив тон, спокойно спросил:

— Раненые есть?

— Нет, товарищ военком! — ответил Ярков и стер кровь с лица.

После второй атаки в группе осталось две гранаты РГД и по два — по три патрона в каждой винтовке.

Лебедев осмотрел все свои трофейные пистолеты. В обойме парабеллума оказался один патрон с красной пулей — зажигательной. В других пистолетах ничего не было. Костыль-обойма немецкого пистолета-пулемета также опустел. Лебедев положил парабеллум с одной пулей в правый карман кителя и достал из внутреннего кармана никелированный игрушечный браунинг. В нем было семь пуль. «Яики» Лебедев уже использовал.

Отходить без огневого прикрытия было рискованно.

— Беречь патроны! — еще раз приказал комиссар.

Пули посвистывали не переставая. Стволы деревьев вокруг окопов были исщипаны, изорваны, разлохмачены. Осколочная ссадина на молодой ольхе покрылась краснотой и казалась кровоточащей раной. Очень далеко и совсем близко, где-то в стороне деревни, ухали полевые пушки, строчили пулеметы.

По лесу заходил ветерок — предвестник сумерек. Но красивые вершины сосен все еще были окружены игольчатым веерообразным сиянием.

Немцы начали накапливаться для новой атаки. Положение группы было из таких, которые не очень решительные люди обычно называют «безвыходными». Но Лебедев заметил, что с той стороны, откуда они пришли, немцев не было. Значит, с наступлением сумерек нужно будет рвануться туда. Придется работать одними штыками. И он пожалел, что сам не имел штыка. Надо достать немецкий.

— Ярков, сколько осталось до сумерек? — снова спросил он, видимо забыв, что часы у Яркова разбиты. Комиссар сознательно повторил этот один и тот же вопрос: ему хотелось, чтобы бойцы знали, когда наступит конец их испытаний. Человек, не имеющий перед собой никакой цели, теряет сопротивляемость, слабеет.

— Две гранаты и семнадцать патронов, товарищ военком! — ответил Ярков и снова рукавом шинели отер с разодранной щеки кровь.

Основная группа наступающих фашистов на этот раз сосредоточилась на правом фланге. Там за невысоким земляным бугром лежала огромная вывороченная буреломом ель. На месте, где она росла, образовалась яма. Ее прикрывало корневище ели, поставленное на ребро вместе с толстым слоем земли. В таких ямах под корнями зале-

гают на зиму медведи. В яму сползались немцы и стреляли по окопу. Краснофлотцы стали отвечать.

«Вот бы гранатку туда метнуть, да с чехольчиком! — подумал Лебедев.— Но далеко...»

Пуля чиркнула по брустверу окопа и песчинки попали ему на лицо. Он пригнулся и переменил позицию.

— Белащенко, дай винтовку.

Лебедев, не глядя, передернул затвор и прицелился. Выстрела не последовало.

Очень тяжело это, когда в бою винтовка почему-либо дает осечку. На душе сразу становится пусто и холодно.

Лебедев оттянул курок и снова прицелился. Снова раздался сухой щелчок. Тогда он открыл затвор: магазин был пуст.

— Дайте другую!

— Товарищ военком, патронов больше нет.

Лебедев передал холостую винтовку Белащенко и сказал, чтоб слышали все:

— Беречь гранаты, ребята!

Сказал и про себя подумал: «Их только две, товарищ военком!»

Но раздумывать было некогда. Немцы с трех сторон повели усиленный огонь, а с правого фланга начали поодиночке выползать из медвежьей берлоги.

Лебедев вынул из кармана никелированный браунинг. В широкой ладони комиссара пистолет совершенно потерялся. Выходить из окопов сейчас нельзя, допускать немцев в окоп тоже нельзя. Правый фланг главный. Надо продвинуться по окопу вправо.

— Возьмем вправо,— сказал он.— Штыки держать крепко. В окоп не пускать. Белащенко! — обратился он к бойцу, стоявшему крайним справа.— У тебя немцы мать зарезали? Михайлов! — спросил он другого.— В твоем городе насильничают нынче немцы?

И приказал:

— Вспомните сейчас об этом... Дайте одну гранату мне. Вторую возьмет Ярков. Бросать только с моего разрешения. Из окопа не выходить. Стаскивать немцев в окоп и прикалывать. Выручать товарищей.

Начали продвигаться вправо, ближе к медвежьему логову, к немцу. Оттуда он бросится в атаку. Впереди шел, пригнувшись, Белащенко, за ним Михайлов. Третьим был комиссар. Сзади остался для прикрытия боец Ястребов. Но у него так же не было ни одного патрона, ни одной

гранаты. Он мог только наблюдать. Стоял он за бруствером из дерна, в котором светилась узкая щель, похожая на маленькую пулеметную амбразуру. Ястребов хорошо видел немцев и мог первым предупредить о начале их налета.

Со стенок окопа осыпалась земля. Сзади Ястребов передал:

— Ползут!

Комиссар шепнул по цепи: — Приготовиться! — и потом во весь голос рявкнул:

— Взвод, не стрелять без приказа!

В это время Белащенко задержал движение по окопу и, обернувшись, крикнул комиссару:

— Ящик!

— Что ящик?

— Два ящика, товарищ военком!

— Вскрыть немедленно.

В одно мгновение ящик был вскрыт.

— Яйца, товарищ военком.

— Плюнуть! — бросил Лебедев и вдруг оживился: — Стой! Давай сюда.

В ящике оказались гранаты. Они были гладкие, легкие, похожие на гусиные, крашенные в стальной цвет яйца.

— Разобрать! — приказал комиссар.

В тот же миг по лесу пронеслось разноголосое «ура» с немецким акцентом. Фашисты пошли в атаку, крича по-русски.

Бойцы расхватали гранаты. Кто-то успел уже одну бросить. Граната не разорвалась.

Лебедеву в первый раз стало жутко: он увидел, что его матросы не умеют бросать немецкие гранаты, не знают их.

Немцы были уже в нескольких метрах от окопа. Он схватил гранату, дрожащими руками отвернул головку, дернул за шнур и, не размахиваясь, словно пригоршню грязи, перекинул гранату через бруствер. Взрыв был близкий, сильный, в окоп посыпалась земля. Вторую гранату Лебедев выкинул на несколько метров вправо, третью — влево. И опять раздался этот отвратительный животный вой и бормотание раненых фашистов.

Воспользовавшись минутным замешательством среди атакующих, комиссар позвал Яркова.

— Подавай гранаты. Смотри сюда: отвертывай головки вот так... За шнур не дергай... Подавай!

И они начали работать. Весь мир для бойцов сейчас был сосредоточен в руках комиссара. Лебедев рвал за шнуры и бросал гранаты, как тухлые яйца на сцену, то в одну сторону, то в другую. Глаза его горели, брови были сдвинуты, рот чуть приоткрыт.

Немцы палезали с трех сторон.

— Скорей! — кричал Лебедев Яркову.— Покажи другим. Помогай, ребята.

Михайлов и Пеночкин протиснулись к Яркову, присмотрелись и начали также готовить гранаты для броска и подавать их комиссару. Они встали на колени. Конвейер был пущен. Немцы тоже бросали гранаты, но гранаты их рвались либо впереди окопа, откатываясь от земляной насыпи, либо летели дальше его.

А сумерки уже наступали. Отбить этот натиск, и можно будет отползать к своим.

Натиск немцев уже слабел. Широкоплечий, вспотевший Белащенко на коленях подтащил к комиссару, словно охапку дров, дюжину новых диковинных гранат. Украинец, он и на этот раз не смог обойтись без шутки.

— Разбойничьи кистени, товарищ военком,— сказал он полушепотом, еле переводя дыхание.

Это были странные гранаты — небольшие цилиндрические головки на длинных деревянных рукоятках. Они напоминали палицы, которыми старые русские богатыри сокрушали несметные вражьи полчища, только палицы эти были такими же щуплыми, как и немцы, по сравнению с богатырями Руси Великой. Некоторые гранаты были еще в разобранном виде.

— Оставить «лимонки»! — приказал Лебедев. — Сохранить их для отхода. Давай эти уродины. Ярков, смотри! Заряжать надо так: два стержня вставляются в ручку... шнур сюда... фарфоровую пуговицу сюда... так. Покажи другим.

Огромный, на длинных тонких ногах фашистский верзила с винтовкой наперевес в сопровождении трех лилипутов показался у ближайшей сосны. Он стремительно летел на окоп. Казалось, в окопе для одного его не хватит места. Лебедев успел размахнуться и швырнул в него гранату, как палку, которой выбивают городки. Граната ударила немца в грудь и еще не успела разорваться, как верзила завизжал и рухнул на землю.

Один из лилипутов был смелее и изворотливее своего покойного вожака. Он поймал вторую гранату и уже за-

нес ее, чтобы кинуть обратно, но не успел: граната разорвалась в его руке.

Снова три бойца лихорадочно заряжали гранаты, и Лебедев, стиснув зубы, выжидая наиболее подходящий момент, выискивая наиболее нужное направление, с выдохом, с выхрапом бросал их в сторону противника. Со стороны могло показаться, что он играет в городки, если бы не стрельба, не взрывы и не этот рев и стон вокруг. Гранаты были слишком неудобны для боя в лесу: они иногда задевали за ветви деревьев и рикошетировали в стороны, иногда ударялись в стволы и разрывались, не долетев до цели. Но немцы взять окоп не смогли.

В сумерках Лебедев отошел на старую позицию. Убит был только Ястребов. Труп его несли на себе двое бойцов. Взволнованному комбату Хымре Лебедев подал левую руку. Правой рукой он то и дело помахивал, поднимал ее высоко над головой и опускал. Рука ныла.

Утром он явился по вызову в штаб бригады. В густом хвойном лесу, где так же не было ни певчих птиц, ни дичи,— с приближением фронта вся лесная живность скрывалась неизвестно куда,— под развесистыми еловыми лапами было вырыто несколько землянок и блиндажей. В одной землянке был КП, в другой штаб, поодаль политотдел и разведка. В зеленом фургоне на колесах размещалась редакция газеты и типография.

Лебедев, согнувшись в три погибели, протиснулся через узкий и низкий проход на командный пункт. На спине у него висел только что добытый пистолет-пулемет «шмайсер» — тридцатидвухзарядный, с отгибающейся металлической вилкой-прикладом. Из кармана бушлата торчала рукоятка какого-то нового пистолета.

Военный комиссар бригады был занят, и Лебедев решил пока познакомиться с новым трофейным оружием. Он вышел из землянки, облюбовал местечко под елью, уселся на пружинящую мшистую кочку и стал разбирать пистолет. Системы его он еще не знал, но все в этом пистолете ему нравилось.

Подошел начальник боепитания бригады.

— Эге! — сказал он.— Архивариус новый экспонатик себе добыл. Каков?

— Хороший, по-моему, пистолет, товарищ интендант.

— Не «смит-вессон»?

— Не знаю. Хороший пистолет. Такого у меня еще не бывало.

И Лебедев, закончив сборку, отдал пистолет начбою.

— Заприходуйте.

— Да что вы! — удивился интендант.— Возьмите, раз нравится.

— Не могу. Не своими руками взял. Это бойца Яркова добыча.

От военного комиссара бригады Алексей Лебедев спешно вернулся в свой батальон. Предстояла большая, смелая и умная операция, которая должна была остановить дальнейшее наступление противника и на этом участке фронта.

28—31 января 1942 г.

ИСТРЕБИТЕЛИ

1

Метель за ночь забивала все подходы к землянке, так что трудно было распахнуть дверцу, ветер свистел в соснах, а краснофлотец Божко поплотнее окутывал шею шарфом, перетягивал бечевкой голенища валенок, чтобы в них не набивался снег, и, осмотрев свою снайперскую винтовку и пополнив карманы «лимонками», отправлялся на «охоту».

У Божко с немцами имелись особые счеты. В тысяча девятьсот пятнадцатом году немцы убили его отца. Володе исполнилось тогда два года. Об отце ему рассказывали, что был он высокий, сильный и добрый. Станичные старухи говорили, что он любил угощать их мятными пряниками и заставлял рассказывать сказки. Девушки и молодицы говорили, что любил он не сказки, а их — девушек, был большой забавник и весельчак и хорошо пел песни. Старики вспоминали, что отец Володи не курил, но всегда имел в кармане табак, чтобы угощать соседей, когда они собирались в кружок на бревнах у Старой часовни. И все в один голос повторяли, что лучшего работника, чем Яков, еще не бывало в станице.

Володя не мог помнить отца, но по рассказам других он так живо представил его себе, что после долго, много лет верил, что помнит его, помнит, как отец взял его к себе на руки и поцеловал, как при этом закачались и зашумели вишни под окнами, как отец раздал соседям несколько осьмушек тютюна, сел на телегу, запряженную парой коней, и поехал на войну, поехал так быстро, что соседи не успели открыть ворота в поле и кони вместе с телегой перенеслись через них по воздуху, а ворота после этого вспыхнули ярким пламенем и сгорели. Но последнее, верно, уже приснилось Володе, хотя это он не скоро понял.

В снах Володи отец выходил все разным: то он был похож на старого усатого Шевченко, который брал сына на колени, гладил его по голове и говорил: «Не забывай,

что меня убили немцы!», то на молодого веселого казака, который все время пел песни и смеялся.

Володя верил, что отец его был первым человеком на земле, ласковым, хорошим. Он тосковал о нем и всегда завидовал, что у ребят есть отцы, а у него нет. Детство у Володи было испорчено отчимом — грубым матерщинником и пьяницей, но и это потому, что его родного отца убили немцы.

Сейчас они грабили его родную Украину, разрушали Ленинград. Успела ли мать выехать из станицы — он не знал. При эвакуации Таллина Божко попросил, чтобы его назначили в отряды сухопутного прикрытия, и до отхода последнего транспорта оставался в городе. Но в Таллине ему не удалось убить ни одного фашиста так, чтобы самому видеть, что убил, и от этого ненависть его к немцу выросла еще больше. В Таллине Божко видел, как фашистские асы расстреливали из пулеметов толпы детей и женщин.

Божко решил мстить. В бригаде морской пехоты он стал снайпером. Глазомер у него был хороший, и Владимир скоро научился точно устанавливать прицел, но поправку на ветер он долго делал с большими ошибками: то слишком перекрутит винт оптической трубки вправо, то не довернет его. При определении направления и силы ветра Божко часто сбивался с толку. Тогда он начал упражняться в стрельбе по мишени в метель, в поземку, в дни, когда особенно жесток был ноябрьский ветер. Скоро в любую погоду на расстоянии в триста метров он мог выбивать свои инициалы на телеграфном столбе.

В первый раз Владимир Божко отправился на «охоту» с вечера. Перейдя линию наших окопов, он два часа, озираясь и прислушиваясь, осторожно полз вперед. По дороге Владимир все время думал о том, что он один, и от этого ему становилось не по себе: то казалось, что из-за кустов за ним давно уже следят затаившиеся немецкие автоматчики, то вдруг представлялось — с сосны на него прыгает фашистская «кукушка», и он замирал и, страшась собственного сердцебиения, покрывался холодным потом. От своих окопов, думалось ему, он отполз уже на несколько километров, а немецкие вот-вот объявятся у самого носа, хотя было все наоборот.

Только усилием воли Божко заставил себя не останавливаться на полпути. Он пополз вперед.

Остановился он на опушке ольховника в заброшенном индивидуальном окопчике. В окопе было много опавших

желтых и ярко-оранжевых листьев и немного воды. Божко забросал воду землей и мхом, пригнул к земле две молодых ольхи, связал их вершины над собою и, спустившись в окоп, встал на колени. Перед ним лежало холмистое поле, пересеченное оврагом, слева — деревня, в которой, по донесениям разведчиков, были немцы.

Устроившись в окопе, Божко вспомнил слова комиссара о том, что спайпер-истребитель должен быть терпелив, хладнокровен и вынослив, и он приготовился сидеть, не шелохнувшись, и ждать часами.

Но только он об этом подумал, как слева у деревни появились два немца. Они переходили из сарая в крайнюю избу и из-за холма были видны по пояс.

У Божко еще учащеннее забилось сердце. Глазу своему он верил, и в какие-то доли секунды перед тем, как схватить винтовку и взять немцев на прицел, успел пережить и передумать очень много.

Прежде всего ему пришло в голову, что он очень удачлив и что сегодня — день, когда он убьет первого, а может быть, и сразу двух немцев, что число сегодня двадцать седьмое, и его надо запомнить и отмечать ежегодно, все равно как день своего рождения.

Но когда Божко повернул винтовку в сторону немцев и припал к прицелу, оказалось, что с оптической трубки у него не снят кожаный чехольчик.

Как могло получиться, что Божко несколько часов полз вблизи позиций противника с винтовкой, не приготовленной к бою, он сам не знал, да и думать об этом сейчас было некогда.

Владимир не сводил глаз с немцев и на ощупь срывал чехол с концов трубки. Руки его начали дрожать.

Когда прицел был открыт, немцы уже подходили к избе, вот-вот они скроются из поля зрения. Божко все же успел поймать одного из них в объектив оптического прицела и, радуясь, что, несмотря на промедление, не упустит счастливого случая, выстрелил.

Ошеломленные немцы не сразу даже бросились бежать, и Владимир успел выстрелить второй раз, не соображая, что бьет мимо.

Немцы скрылись.

Владимир позднее вспоминал, что он почувствовал, как сильно покраснел, когда понял, что в спешке забыл установить прицел.

Через минуту по нему начали бить из миномета, и он,

оставив окоп, отполз в глубь ольховника и вернулся к своим.

— Ну, как успехи, снайпер? — встретил его комиссар батальона, высокий ладный человек, любимый бойцами за общительность и личную отвагу.

Божко на мгновение задумался, не зная что ответить. Сказать просто, что ничего не получилось, ему не хотелось: он все-таки видел немцев близко; рассказать обо всем подробно значило осрамиться перед товарищами; обмануть — такая мысль ему даже в голову не могла прийти.

И Владимир, не найдя что ответить комиссару, неловко и виновато пожал плечами.

— Значит, никого не убил! — сказал комиссар.— Это хорошо. В другой раз злее будешь. А видел?

— Видел, товарищ военком.

— Тоже хорошо. Позицию перемени. А завтра сходи с разведкой, поучись. Снайпер должен быть хорошим разведчиком.

Спустя два дня после этого Божко убил первого немецкого солдата. С тех пор его «личный счет» еженедельно пополнялся двумя или тремя уничтоженными гитлеровцами.

Бывали и удачи. Однажды он обнаружил на опушке леса невдалеке от вражеских блиндажей солдатскую общественную уборную, подобрался к ней ночью и, выждав удобный момент, взорвал гранатой сразу четырех засевших там немцев. Дважды Божко приводил в свой батальон израненных «языков».

Терпению краснофлотца Божко удивлялись все. Непогода не могла удержать его в землянке.

Ветер свистел в соснах, ломал вершины осин, а он еще задолго до рассвета откидывал одеяло, неторопливо одевался и, осмотрев снайперскую винтовку и пополнив карманы «лимонками», отправлялся в свой очередной выход.

Бывало, мороз доходил до сорока градусов, переносье гудело, воробьи валились в снег, замерзая на лету,— Божко смазывал ноги и лицо жиром, забивал валенки газетной бумагой, отдувался и все-таки шел, шел бить немца, гнать его с родной земли.

Выбрав место для засады, Божко по нескольку часов мог лежать в снегу без движения. Не всегда удавалось подложить под себя хвойные ветки, и снег под ним таял. Под локтями образовывались лунки. Лежанка постепенно

становилась похожей на ледяное корыто. Полушубок у Божко был белый, а шапку свою он посыпа́л снегом для маскировки. Как бы ни был силен мороз, как бы ни дул леденящий ветер, снайпер не распускал в засаде своей ушанки: уши его всегда были открыты. Он только растирал их время от времени сухим снегом и меховой варежкой.

В разное время начинали мерзнуть то нос, то щеки, то подбородок. Если подбородок был давно не брит, он застывал быстрее. Растирать жесткую щетину было больно. Раз испытав это, Божко не выходил в засаду, не побрившись. Курить в засаде было нельзя, и он, чтобы зря не томить себя, бросил курить вовсе.

Божко лежал час, два, три. Губы его немели. Если ожидание слишком затягивалось и тело начинало знобить, он, оглядевшись, осторожно переворачивался на спину и лежал на спине минут десять — пятнадцать, чтобы немного поотошли грудь и живот. Винтовку из рук не выпускал. Так он согревался и отдыхал: отдыхали руки, ноги, глаза.

Над ним качались широкие бледно-зеленые вершины сосен, конусообразные ели казались такими высокими, что мутные и бесформенные зимние облака задевали их. Порой представлялось, что земля плывет под ним, а небо опускается все ниже и ниже — на телеграфные столбы, на поля, на лес, и оттого с сосен нет-нет да и свалится плотная глыба снега.

Не каждый день немцы появлялись в поле зрения, но, когда они появлялись, Божко не давал промаха. С каждым выстрелом хоть на один шаг да ближе становилось до милой тихой станицы, до отчего дома, где он оставил свою старую мать.

Когда Божко возвращался в свою землянку и ложился спать,— а это случалось не каждый день и в разное время,— в землянке наступала тишина. Товарищи его старались даже передвигаться на цыпочках и часто с укором смотрели на еловые дрова в буржуйке, которые чересчур трещали. Они заменяли их сосновыми. К рожку чайника был приделан металлический свисток: когда чайник закипал и из рожка шел пар, свисток начинал свистеть. Этот свисток снимали с чайника, как только Божко ложился спать.

Краснофлотец Владимир Божко считал, что советский человек не может быть спокоен, пока своими руками не задушит хоть одного немецкого оккупанта. Поэтому, ког-

да на корабле стали набирать добровольцев в морские пехотные соединения, он первый вызвался идти на передовую.

— Об одном только прошу, товарищ военком,— сказал он комиссару корабля,— оставьте при мне мой бушлат и мою бескозырку и не вычеркивайте меня из списков экипажа. Пусть я буду в длительной командировке.

Счет убитым немцам Божко вел с трогательной тщательностью и придирчивостью. Если он не был уверен, что фашист убит насмерть, он заносил его в число раненых. Раненых на счету у Божко было уже пять человек, убитых — семьдесят восемь.

И вот ему показалось, что этого мало, что он должен убивать немцев группами, а не поодиночке. Случилось это, когда он получил от матери письмо.

Старуха осталась в станице и мучилась теперь под начальством фашистского старосты. Письмо свое она переслала на советскую землю с партизанами, к Божко оно дошло уже по почте. Написала мать очень немного, но так, как она еще никогда не писала.

«Дорогой сынок! — писала она.— Если в тебе есть совесть, убей хоть одного немца, без этого лучше и домой не возвращайся!»

Этот суровый и скупой материнский наказ дошел до самого сердца Владимира Божко. Из письма он понял очень много.

Вечером комиссар батальона читал письмо старухи Божко перед строем бойцов и в землянках передового охранения, а Владимир, получив разрешение пойти в боевую разведку, набирал себе товарищей.

Выбрал он вологодского охотника Павла Горчакова, здорового и до смешного хладнокровного в рукопашных схватках парня, и осетина Тотырбека Джатиева, человека, который умрет, но не оставит товарища в трудную минуту.

Павел Горчаков в бою действовал штыком, как дедовской рогатиной — с неторопливостью и спокойствием необыкновенным. Подбираясь к немецким блиндажам, он кричал басом: «Вылезай из берлоги!» И немцы вылезали, поднимая дрожащие руки.

Краснофлотец Тотырбек Джатиев в одном из первых боев на суше, увидев, что фашистский автоматчик нацелился в его кунака, сделал резкий бросок вперед и заслонил друга своим телом. В госпитале врачи извлекли из

спины Джатиева пять девятимиллиметровых пуль. Сейчас он был здоров и думал только о мести.

Несколько дней назад Владимир Божко обнаружил на стыке двух немецких частей заброшенный пулеметный капонир. Метрах в пятидесяти от капонира проходила торная дорога, по которой то и дело передвигались группы фашистских солдат. Блиндаж этот мог сослужить хорошую службу для советских снайперов-истребителей, но садиться в него одному даже на короткое время было безрассудно.

Божко сидел в нем. По дороге в течение часа прошло не меньше двадцати фашистов, но Божко из осторожности стрелять не стал. Стиснув зубы, он вернулся к своим. Так опытный охотник, обнаружив медвежью берлогу и обложив ее, возвращается в село за поддержкой.

Сейчас Божко вспомнил об этой находке и сообщил Джатиеву и Горчакову о плане засады.

Ночью они втроем, нагрузившись гранатами — «лимонками» и «бутылками», — бесшумно перешли линию фронта. Джатиев и Горчаков взяли дегтяревские автоматы, Божко— свою снайперку.

Владимиру Божко хотелось округлить свой счет, довести количество истребленных фашистов до сотни. В ушах его не переставали звучать суровые слова матери: «Если у тебя есть совесть...»

— Есть у меня совесть, мамо,— думал он,— есть! Поодиночке бить мало, надо уничтожать немцев выводками, гнездами, душить, как душат и топят в грязных лужах слепых котят.

2

Ночь была темна и спокойна. Никаких ракет, никакой луны. Бойцов не заметили и не обстреляли. Еще не заходя в блиндаж, они осторожно, валенками разгребли снег перед амбразурами, прочистили их.

Вход в блиндаж был похож на длинный тоннель —узкий и изогнутый, в несколько колен. В углу одного из поворотов на земляной стенке был подвешен жестяной умывальник. От времени и сырости умывальник проржавел. Сгибаться больше всех пришлось Павлу, он был выше всех.

В блиндаже валялись ящики от патронов и сено. Из ящиков бойцы сделали себе скамьи, сено подложили под

сиденье и под ноги — для тепла. Узкие амбразуры изнутри закрывались толстыми березовыми кряжами.

Даже в темноте можно было различить, где проходит дорога: за редкими сосновыми стволами обозначалась просека, широкая полоса снега, по сторонам которой серыми заборами стоял кустарник.

— Ну, всем видно? — спросил шепотом Божко.

Горчаков кивнул головой, Джатиев промолчал.

— Действовать будем так,— продолжал Божко.— Если немцев будет один или два — стреляю я один, чтобы не шуметь много. Если — группа, тогда в дело пойдут ваши автоматы. Главное — не спешить, не захлебываться. И не сбиваться со счету. Не учтены — не убиты.

Товарищи не возражали. Тогда Божко замолчал и приник к амбразуре. Тихо и темно.

Так прошло с полчаса или с час. Однажды рыхлый пласт снега, словно со вздохом, упал снаружи к самому стволу автомата Джатиева. Тотырбек вздрогнул и быстро припал еще плотнее к амбразуре. Палец его лег на спусковой крючок.

— Осторожней,— сказал Божко,— а то выстрелишь.

Тотырбек медленно выпустил из груди воздух.

— О чем думаешь? — спросил Горчаков Владимира Божко, не поворачиваясь к нему.

— Сейчас о сотне. Надо матери письмо как-нибудь передать, что сотню убил. А ты?

— Я? Чтобы не все тебе достались. Дай и нам с Тотырбеком душу отвести, не жадничай.

— Трудно сейчас в Ленинграде живут! — сказал Тотырбек.— Хлеба не хватает.

Божко поднял кисть руки: тихо!

Горчаков замер.

Справа от блиндажа в направлении дороги кто-то смеялся. Потом стал слышен разговор. И смех, и разговор были неестественно громкими и напряженными: видимо, беседовали люди, которым ночью в лесу было страшно.

Потянулись томительные секунды. Все трое думали об одном: хорошо ли будет видно немцев, в каком месте, за каким стволом они появятся, сколько их. Божко ждал, когда будет слышно поскрипывание снега под ногами идущих, чтобы точнее определить расстояние до них.

Немцы вышли из-за широкой ели, которая заслоняла дорогу справа. Их было двое. Фигуры их были хотя и неясны, но видны. Немцы приближались, а шагов их

Божко все еще не слышал. Он решил, что немцы в валенках.

Подняв кисть руки, Божко дал знак, чтобы товарищи не стреляли.

— Следите! — шепнул он и стал ждать, когда немцы снова заговорят. Божко решил стрелять так, чтобы свалить обоих одной пулей.

Он приложился щекой к прикладу, поймал цель в объектив: мутно. Попробовал, не лучше ли стрелять, не пользуясь оптическим прицелом, снова перешел на трубку и выстрелил, когда очертания фашистских голов слились в одну.

Немцы упали, даже не вскрикнув, словно столкнули друг друга в снег.

Пока в лесу не стихло эхо, в блиндаже не пошевелились. Тотырбек Джатиев весь обратился в слух, он даже рот немного приоткрыл. Казалось, что он ждет, не засмеется ли в лесу еще кто-нибудь. Потом Тотырбек шепотом спросил:

— И вся охота?

Божко отозвался не сразу:

— Надо убрать их, и опять будем сидеть.

Немецкие позиции находились далеко сзади от этой дороги, и одиночный выстрел в тылу у фашистов, видимо, не вызвал у них никаких подозрений. Все осталось как было: лес стоял, дорога белела, ночь была по-прежнему мутна.

Убрать убитых пошел Павел Горчаков.

— Посмотри, нет ли чего у них,— наказал ему Божко.

Павел с автоматом на изготовку прыжками по глубокому сугробу добрался до дороги, стащил трупы в канаву, забросал на дороге пятна крови снегом и вернулся в блиндаж. Принес он автомат «шмайсер», небольшой цейсовский бинокль в футляре и шерстяной женский чулок.

— Чулок для чего взял? — спросил его Тотырбек.

— С головы стянул. Вижу — вроде как нашей вологодской вязки. И на ногах поверх ботинок — чулки. Видно, награбленные. Баб раздевали, сукины сыны.

— А я думал, немцы в валенках идут,— сказал Божко.

Павел повесил чулок в углу блиндажа на гвоздь.

— За этот чулок надо еще двух.

Тотырбек взял бинокль и на дне футляра нашел завернутые в шелковую тряпку дамские ручные часики Кировского завода. Часы были раздавлены.

— Вот гады! — сказал Тотырбек и повесил часы на гвоздь поверх шерстяного чулка, чтобы видны были всем.— Ничем не брезгуют, все берут, сволочи!

— А ты экономно стреляешь! — обратился он к Владимиру.

— Это удача! — ответил Божко.— Итак, восемьдесят есть. Двумя ртами меньше — что им зря наш хлеб кушать.

Спустя четверть часа Божко сделал еще два выстрела и сказал:

— Восемьдесят два! На два шага к дому ближе.

Товарищи его начали явно нервничать и обижаться. Нервничать стал даже медвежатник Горчаков — всегда такой невозмутимый и собранный.

— Что это такое?! — сказал он.— Надо же и честь знать.

Но обижаться им пришлось недолго. В лесу, на этот раз слева от блиндажа, послышались разговоры и опять смех.

— Хорошо им очень живется, что ли?! — негодуя, сказал Джатиев, и глаза его в темноте сверкнули гневом.— Мало, видно, бьем!

В морозном лесу ночью, когда тихо и нет ветра и только изредка потрескивают стволы деревьев, людской разговор слышен далеко и отчетливо. Божко насторожился.

— Много идет, — сказал он. — Сейчас работы всем хватит. Подождем, когда окажутся прямо против нас.

Павел Горчаков снял шапку, чтобы лучше слышать, и приник ухом к амбразуре. Потом он приготовился к стрельбе, несколько раз передвинулся вправо, влево, выискивая наиболее широкое среди сосен поле обстрела, и заявил:

— Стволы будут мешать.

К Божко он обратился как к командиру, по форме.

— Разрешите, товарищ командир, выйти к дороге на бросок гранаты.

— Поздно уже,— шепнул Божко.— Смотри.

На мутной белизне дороги появилось темное шуршащее пятно. Оно надвигалось и росло, как растет, выдвигаясь из тумана, громада подплывающего судна. Неясные первоначально очертания постепенно становились отчетливее и определеннее.

Немцев было человек тридцать. Шли они строем, но не в ногу, стволы винтовок покачивались вразброд, не

в такт. Разговоры были тоже нестройные — один заглушал другого. Впереди отряда, отделившись от него шага на три, шли двое: это, видимо, были офицеры.

Божко, Горчаков и Джатиев приложились к прикладам. Божко шепнул:

— Я скажу — когда. Первых снимаю я. Вы — в кучу, затяжными очередями. Не спешите. Следите, куда побегут.

И потянулись секунды.

Джатиев затаил дыхание. Секунда, две, три. Вот сейчас бы стрелять: половина отряда была видна меж двух стволов. Джатиев повел глазами в сторону Божко. Тот молчал и не шевелился. Еще секунда, и группа деревьев заслонила немцев. Снова просвет. Стрелять надо, стрелять. А Божко молчит. Джатиев снова покосился в его сторону. У него иссякло терпение. Немцы снова выходили из поля обстрела.

Но тут Божко зашептал, словно зашипел:

— Раз... два...

Его «три» не было слышно. Одиночного выстрела из снайперской винтовки тоже не было слышно.

Два пистолета-пулемета долгим треском распороли чуткую ночную тишину леса, словно над ухом резкими рывками стали рвать отрезы крепчайшего полотна.

Первых криков и стонов раненых немцев, вероятно, никто даже не слыхал. Мертвые упали, раненые поползли, оставшиеся в живых шарахнулись в стороны. Все это мелькало в темноте, как на экране немого кинематографа.

В блиндаже запахло пороховым дымом.

Павел Горчаков и Тотырбек Джатиев продолжали стрелять не переставая, но уже короткими очередями в три — пять патронов. Владимир Божко стрелял все с большими паузами, но без промаха.

— Восемьдесят семь, восемьдесят восемь!.. — шептал он.

Скоро всякое движение в просвете дороги прекратилось. На белом снегу лежали неподвижные темные груды, словно валуны на песчаной отмели залива. Это были трупы. А в кустарнике, в лесу ничего нельзя было различить. Только треск и шум говорили, что не все фашисты убиты.

И вот по блиндажу хлестнула первая очередь из автомата. Пули зачмокали по стволам деревьев. В темноте с разных сторон начали вспыхивать огоньки выстрелов.

Божко приказал: «Ложись!» — и быстро отскочил от амбразуры в угол. Ящик, на котором он сидел, упал.

Тотырбек Джатиев, не дожидаясь распоряжения командира, метнулся ко входу в блиндаж и заслонил его собою. Только Горчаков, на секунду отстранившись от щели, снова невозмутимо припал к ней, не сходя с ящика. Скулы его начали делать жевательные движения.

Божко дернул Горчакова за рукав:

— Отойди, Павел, или стреляй, если кого видишь! — а сам наклонился к щели, вглядываясь в темноту.

Грохот выстрелов покрывал все. Когда подобрались немцы к блиндажу, никто не слыхал. И узнали об этом только, когда в бревно над амбразурой стукнулась, будто камень в стену, большая тяжелая плаха. От неожиданности и Божко, и даже Горчаков отскочили от амбразуры. И вовремя: плаха разорвалась.

Это была ручная немецкая граната с длинной деревянной рукояткой.

Павел в ответ выпустил очередь из автомата и снова откинулся в угол.

Божко поставил в угол снайперку и скомандовал:

— Задраить амбразуру!

Павел взялся за конец бревна, которым закрывались щели, Тотырбек от входа метнулся к нему, чтобы помочь, но его остановил резкий окрик Божко:

— Отставить! Следи за входом! — и сам взялся за бревно.

Голос Божко в минуты опасности всегда становился более высоким и резким. Но не дрожал. Голосу этому нельзя было не повиноваться беспрекословно, и ему повиновались, кому бы и что бы в такие минуты Божко ни приказывал.

Когда амбразуру закрыли, в блиндаже стало совершенно темно и глухо. Новых пять взрывов один за другим раздались снаружи. Березовое бревно — заслон амбразуры — задрожало. С потолка посыпался песок.

Божко и Павел, не сговариваясь, нащупали ящики и начали складывать их один на другой против амбразуры.

Еще три гранаты стукнулись в стенку блиндажа и разорвались. Два ящика упали. Божко поднял их, поставил снова и вдруг услышал, что по крыше блиндажа ходят. Он крикнул Павлу:

— Давай к выходу! Здесь делать нечего.

Как бы в ответ на его слова в траншее входа застрочил автомат Джатиева и раздался взрыв, на этот раз уже в проходе.

Джатиев, пятясь, вернулся в блиндаж.

— Ребята, где вы?

— Ранили? — спросил его Божко, не отвечая на вопрос.

— Нет! Вход кривой, гранаты в блиндаж не залетят, только стрелять надо.

Над блиндажом немцы что-то кричали. Все прислушались.

— Руссе, сдавайсь! — услышали они.

Немцы начали закидывать блиндаж гранатами, но блиндаж был крепок. Впечатление у краснофлотцев было такое, что они находятся в подводной лодке, которую противник забрасывает глубинными бомбами.

Положение становилось серьезным: истребители, сидевшие в засаде, сами были осаждены.

Джатиев снова вернулся в проход. Вслед за ним, согнувшись, пролезли туда, как в тоннель, Божко и Горчаков. Их обдало свежим воздухом. Голоса немцев стали слышнее.

— Сколько их, немцев, не знаешь? — спросил Божко у Джатиева.

— Не знаю! Надо что-то выдумывать, товарищ командир, оставаться здесь нельзя.

Со стенок окопа посыпалась земля. Висевший впереди ржавый умывальничек звякнул и упал, пробитый осколком гранаты.

— Правильно, надо что-то придумать.

В момент, когда у блиндажа разорвалась первая немецкая граната, Божко сразу рванулся было к выходу, чтобы начать немедленное отступление, но сдержал себя. Он вовремя сообразил, что у выхода их встретят немецкие пули и гранаты.

Сейчас все его мысли сосредоточились на одном: сколько немцев? Страсть, с которой он считал убитых фашистов, перешла на живых. Сколько немцев, сколько немцев? — это сейчас определяло все. Если их осталось мало и у них, кроме гранат, ничего нет, им не взорвать и не взять блиндажа. Но каждую минуту к ним могло подойти подкрепление. Каждую минуту они могли достать мину, тол или адскую машину и поднять блиндаж на воздух. Значит, надо вырываться немедленно, вырываться во что бы то ни стало, не считаясь с численно-

стью противника и с боевым преимуществом на его стороне, вырываться, пользуясь предрассветной темнотой.

Раздумывая об этом, Божко заметил, что немцы перестали кидать гранаты и стихли. Что бы это значило?

Джатиев, словно почуяв, о чем думает командир, вслух ответил на его безмолвный вопрос:

— Наверно, ждут кого-нибудь...

Горчаков поддержал разговор:

— Надо узнать, есть ли у них еще гранаты.

Божко промолчал, тогда Павел сходил в блиндаж и вернулся с палкой в руках. Нацепив на палку свою шапку, он решил осторожно продвинуться к выходу и поднять шапку над бруствером. Если немцы бросят гранату, он успеет нырнуть за поворот окопа, если они будут только стрелять — значит, у них нет гранат.

— Сдавайся, руссе! — крикнул немец со стороны.

— Подождем немного! — ответил Павел и, медленно поднимая шапку на палке и заглядывая вперед, пошел к выходу.

Божко удивленно взглянул на лицо Павла, когда услышал его невозмутимое «Подождем немного!»,— уж не улыбается ли он в такую минуту? — лицо Павла было сосредоточенно, челюсти его двигались, играли желваки.

Когда Горчаков поднял над входом палку, с трех сторон грянули автоматы и винтовки.

Горчаков вернулся без шапки. Конец палки был раздроблен пулями.

— Сидят близко! — сказал он.— Наверно, без гранат.

— «Лимонками» достанем? — спросил Божко.

— Достанем.

Божко сразу перешел на шепот.

Человек, даже самый неуверенный в себе, приняв в трудную минуту какое-нибудь определенное решение, сразу преображается, оживает. Божко никогда не был нерешительным, а сейчас он весь горел, прояснился. Казалось, он вперед знал, как будет происходить то, на что сейчас решился. Он становился ясновидцем.

— Смените диски! — распорядился он, указав на автоматы Горчакова и Джатиева.

Приказ был выполнен немедленно, хотя у обоих в дисках еще были патроны.

— Приготовить гранаты,— продолжал Божко.— Не высовываясь из окопа, кинем их в разные стороны — и вперед! Выходить вместе, потом рассредоточиться, но не

сбиваться с тропы. Не стрелять, чтобы не обнаруживать себя.

Джатиев согласно кивал головой. Горчаков сделал замечание:

— Надо «лимонки» перед броском выдержать, чтобы сразу рванули.

Горчаков предлагал пойти на очень рискованный шаг: брошенная граната любой системы взрывается не сразу; у Ф-1 эта пауза от зажигания до взрыва длится около четырех-пяти секунд. Гранату можно кинуть обратно или успеть укрыться от нее, поэтому Горчаков предложил не сразу бросать гранаты, а «выдержать» их. Шаг рискованный, но в условиях, в которые попали истребители, разумный, к тому же Павел говорил об этом так, как будто предлагал что-то самое обыкновенное.

— Достаньте по «лимонке» и РГД! — шепнул Божко.

Гранаты достали. Немцы сидели слишком тихо. Тишина эта казалась подозрительной. А может быть, немцы действительно ждали подкрепления, может быть, смерть нескольких осажденных красных бойцов для них казалась таким решенным делом, что им было скучно караулить чужих покойников, когда свои на дороге еще не были похоронены? Может, оставленные следить за неведомым блиндажом, они сами дрожали от страха и ждали, что вот-вот откуда-нибудь опять грохнут бесконечными очередями убийственные советские автоматы?

Как бы подтверждая эту догадку Божко, до блиндажа долетел голос немца:

— Русс — матрос?

— Они боятся нас,— шепнул Божко,— мы — «черные дьяволы».

А Павел ответил немцу:

— Заходи, увидишь!

Божко взял «лимонку», которую из-за ее ромбических шипов правильнее было бы назвать «апельсинкой», прижал пальцами спусковой рычаг, просунул средний палец левой руки в кольцо и спросил:

— Ну, готовы?

Тотырбек и Павел не столько видели, сколько чутьем и по движениям Божко угадывали, что делает он, и точно повторили все его приготовления.

— Готовы!

— Кольца вырвем здесь, но рычажки держать твердо. Потом отпустим их по счету «раз». Бросать по счету «шесть».

Немцы снова заговорили. Голос солдата был почти просящим, жалким — голос голодного.

— Руссе, хлеб!

— Тотырбек бросает прямо перед собой,— продолжал Божко,— Павел — направо, я — влево. Вырывай кольца.

Все вырвали кольца и, еще крепче стиснув пальцами готовые к броску гранаты, взяли в левые руки оружие.

— Руссе, хлеб! — просил и требовал немец.

— Что, голодно? — басом спросил его Павел.

— Ползи,— шепнул Божко.

— Холодно, руссе! — ответил немец.

Впереди пошел Джатиев с автоматом, за ним Божко.

Небо, ночное небо увидели бойцы, выползая из блиндажа. Все трое, не поднимая голов и зная, что перед ними еще стенки окопа и ничего нельзя увидеть, все-таки вглядывались вперед. Морозная струя воздуха ударила им в уши.

Божко коснулся стволом винтовки Тотырбека и почти неслышно шепнул:

— Раз!..

Все затаили дыхание и отпустили рычажки гранат. «Лимонки» зашипели.

— Два, три, четыре... — шептал Божко.

— Хальт! — вдруг рявкнул немец, как показалось, над самыми головами.

Божко не сказал «шесть», он сразу выкинул гранату за бруствер окопа. Товарищи его сделали тоже.

Взрывы гранат и винтовочная стрельба грянули одновременно. Одновременно три моряцких глотки, как три корабельных гудка, рванули страшное русское «ура!».

— Ура! — взревел первый Божко и, выскочив из окопа, метнул вторую гранату в сторону, где, журча, струился огонек из ствола немецкого автомата.

В три широких прыжка Божко достиг еловых кустов, густой темноты. Снег, который был почти по пояс, не представлял для него никакой помехи. Правильно говорят: море по колено. Еще несколько скачков, и Божко выбился на тропинку. Тут он обернулся. Тотырбек стоял за его спиной. Павел немного в стороне: опустившись на колено, он припал к автомату, ожидая, что где-нибудь вспыхнет цель, но немцы не стреляли.

Божко махнул рукой вперед так, что одновременно стер и пот со лба, и они все трое, как три лося, понеслись в лес, в сторону своих.

Далеко справа заработали минометы: не по своим ли в панике начали стрелять немцы? У них это часто бывает.

— Сколько же я убил? — спросил, словно самого себя, Владимир Божко, когда они перешли линию фронта. После пережитого волнения он, к удивлению своему и своих товарищей, вдруг запамятовал, сколько ему осталось до сотни и какое количество фашистов было у него на счету накануне этой ночи.

Божко совершенно серьезно спрашивал у своих друзей:

— Сколько же я убил? Ведь не сочтены — не убиты.

— Придется начинать сначала, Володя! — сказал ему шутливо Павел Горчаков.

О часах и чулке, оставленных в блиндаже, Владимир помнил хорошо. И он повел свой счет сначала.

4 марта 1942 г.

ФРОНТОВОЙ РЕДАКТОР

1

Политотдел одного из западных укрепленных районов краснознаменной Балтики, в распоряжение которого был направлен Семен Горчаков, размещался на песчаных холмах в красивом сосновом бору. Корабельные точеные сосны уходили вершинами в высокое голубое небо. Если не поднимать головы, не увидишь ни одного сучка, ни одной сосновой иголки, только стволы красноватые, ровные — каждый хочется погладить. А под ногами песок сухой, почти бронзового цвета, и крупный, рассыпчатый. Трудно ходить по нему в черных навыпуск морских брюках и в ботинках — ноги вязнут, песок набивается в ботинки, а черные брюки становятся серыми от пыли.

Ни соснового бора, ни холмов, ни даже дома, в котором помещались политотдел и штаб, не видел Семен Горчаков. Не видел он и озера, неширокого, вытянутого в длину и похожего на старое русло реки, забитого рыбой и сверкавшего из-за красноватых стволов ослепительной голубизной моря.

Горчаков прибыл к месту назначения уже во втором часу ночи, и с поезда в густой темноте его вел за руку попутчик-краснофлотец — широкоплечий добрый мóлодец, похожий на былинного русского богатыря. Горчаков даже не почувствовал, что шел по вязкому песку, так был взволнован, что наконец-то приехал на фронт, на войну.

Первый человек, которого он, погруженный в собственные переживания, занятый только собою, как-то заметил, был начальник политотдела, полковой комиссар Бережков. Когда Горчаков вошел в кабинет и, стараясь как можно лучше, по-военному, отрапортовал: «Явился в ваше распоряжение!» — начальник неторопливо встал, неторопливо осмотрел его с головы до ног, словно обдумал что-то, и подал руку.

— Садитесь! — сказал он.— Как доехали? Что в Ленинграде?

Горчаков отвечал на его вопросы, а сам осматривал кабинет. Настоящий учрежденческий кабинет. Дубовый письменный стол, яркое электрическое освещение, чистые стены, крашеный пол, койка с постелью и подушкой — все как где-нибудь в городе, в мирное время, и только один автомат стоит прислоненный к койке.

«Где же фронт? Где война?» — думал Горчаков.

Вот уже несколько дней Семена не покидало восторженное состояние. Наконец-то начинается его военная жизнь. Еще с той минуты, как он пришел во флотский полуэкипаж, все совершавшееся вокруг представлялось ему значительным, необыкновенным.

Он старался ничего не пропустить: вглядывался в краснофлотцев и командиров, сновавших по узким не очень светлым коридорам огромного здания, думал, который из них «настоящий моряк», который— «не настоящий», вслушивался в слова приказаний, отдаваемых на ходу, в разговоры. «Настоящими» моряками ему представлялись те, которые держались особенно бодро, двигались особенно легко и энергично, делали повороты особенно красиво и четко, а главное — с особенной резкостью и звонкостью произносили короткое слово «есть». В этом слове для Семена слилось все обаяние морского духа и морской формы, оно казалось самым боевым, наступательным. Он сам невольно начинал выпрямляться, говорить резче, двигаться энергичнее.

Но его привлекала не только форма. От всей души он хотел быть хорошим солдатом, мечтал быть лучшим из лучших и чтобы другие узнали об этом. Горчаков слыхал, что военная служба дело нелегкое, хотя не знал, чем она нелегка, да он и не хотел, чтобы ему было легко. Он не боялся войны и верил, что не будет бояться, если даже приведется умирать, он готовился как можно честнее выполнить свой долг — долг русского человека. Все это придавало ему в собственных глазах особый вес и значительность. Готовый на все хорошее, он уже считал себя хорошим и... «настоящим моряком».

Назначение от полуэкипажа в часть он принял как повеление Родины идти в бой. «Укрепрайон КБФ», «политотдел укрепрайона», «морская пехота» — в этих словах из командировочного предписания слышались Семену разрывы первых авиабомб, вой снарядов. Он едет на войну!

И вот он прибыл в часть и... сидит в просторном и

светлом учрежденческом кабинете. Тикают часы, в соседней комнате кто-то мягко ходит по половику из угла в угол, а в глаза Семена пытливо и медленно смотрит начальник.

«Значит, меня послали не на фронт»,— разочарованно думает Горчаков.

— Чем занимались до войны? — спрашивает его начальник.

— Учился, товарищ полковой комиссар, сейчас хочу воевать. Прошу послать меня где погорячее.

— А мы вас и не заставим грибы собирать. Писать приходилось?

— Как — писать? Что?..

— Ну, писали что-нибудь?

Семен растерялся, он не мог понять — какое отношение это имеет к делу, к войне.

— Писал... стихи,— ответил он, немного покраснев.— Печатался.

— Значит, поэт? — Полковой комиссар произнес это так, словно был очень недоволен услышанным.— А заметки писать умеете?

— Приходилось. Я работал в газете.

— Вот это хорошо. Знаете, зачем вас сюда прислали?..

— Нет.

— Газету будете печатать. Район новый, надо все начинать сначала. С первого номера. Завтра утром получите одного человека и машину. Понимаете — только человека и машину. Бумагу и все остальное достанете в городе. Подробнее после поговорим. Идите.

Но Горчаков не мог уйти, не сказав о своей давнишней мечте побывать в бою, испытать себя — крепок ли он, не забоится ли... Зачем же тогда война, если ему придется работать в газете, быть в тылу?

— Товарищ начальник, я бы хотел...— начал он.

Начальник снова поднялся, еще раз осмотрел Семена с ног до головы и сказал:

— Идите!

2

Горчаков не стал искать ни койки, ни матраца и спал на полу, положив под голову противогаз и прикрывшись шинелью. Так больше походило на военную походную жизнь, какой он ее знал по книгам, и потому больше нра-

вилось. Но, проснувшись поутру, он увидел, что пол был крашеный, а потолок высокий, с вычурной лепкой, и в окна заглядывали мирные с длинными светло-зелеными иголками сосновые лапы. Солнца было так много, что окна казались шире, чем они были на самом деле, словно и стены просвечивали. Солнечные зайчики играли на полу, на лепном потолке, на никелированных шариках кровати, которая стояла в противоположном углу.

«Вот так война!.. Куда же меня послали? — думал Горчаков.— Что я теперь домой напишу? Провожали на фронт, а я стал редактором?..»

Он вскочил, достал из мешка мыло и полотенце и пошел умываться. В коридоре ни одной живой души. Из темного угла раздавался храп. Умывальника в коридоре не было. Семен вышел на улицу. Солнце ослепило его. Высоко в голубом небе зеленели и чуть шевелились вершины сосен. Сосны слишком красивы для простых мест. Места были явно не простые — санаторные. В глубине бора среди стволов вились песчаные дорожки. Несколько каменных зданий в лесу казались дворцами. Издали светилось озеро. Да это курорт, а не фронт.

Семен пошел к озеру. Ноги вязли в песке. По тропинкам сновали краснофлотцы, некоторые прогуливались. Никому до Горчакова не было дела.

Странно, что пока все шло не так, как представлял себе Семен начало войны. Чувство, что с первого же момента вся жизнь его будет новой, необыкновенной по чистоте и напряженности, заранее принятое решение на всю войну отрешиться от всего личного, мелкого и только служить, служить родной земле и вызванное этим решением особое восторженное состояние — все это никак не совмещалось с происходившим. Неприятностей было слишком много. Правда, некоторые из них ему были по душе. Например, когда в полуэкипаже в первую ночь крысы буквально в клочья разнесли его домашний вещевой мешок, он не огорчился, а подумал, что так и лучше — долой все старое, пусть ничто не напоминает о прошедшем. Или, когда в бане полуэкипажа сквозь душевые сетки шла то совершенно ледяная вода, то с паром и свистом прорывался один кипяток, а когда люди, плясавшие на каменном полу, намылились — подача воды совершенно прекратилась и все грубо ругались, Семен думал: «Нужно привыкать к трудностям войны, к испытаниям походной жизни»,— и ему нравилось, что это началось уже в первые дни после мобилизации.

— Стой! Пропуск! — окликнул Семена резкий мужской голос из кустарника на спуске к озеру.

Семен вздрогнул от неожиданности.

— Пропуска нет, я только что прибыл,— ответил он, вглядываясь в зеленые заросли и никого не видя.

— Назад!

— Дайте умыться, товарищ! — попросил он, так и не разглядев никого.

— Назад!

Раздосадованный Семен махнул рукой и пошел обратно. Как ни обидно было, что его кто-то так грубо окликнул, но неприятность эта была из тех, что нравились Горчакову, бодрили его. А были неприятности и оскорблявшие его. Боже, сколько было уже пережито за эти несколько дней — сколько волнений.

На складе обмундирования, куда Горчакова привели вместе с целой партией таких же штатских, как и он, Семен удивился огромному количеству военной одежды и обуви. В длинном полусыром помещении, в котором, казалось, и стены, и потолок, и пол пропахли нафталином, по левую сторону узкого прохода до потолка возвышались похожие на нары полки, и все они были битком забиты черными шинелями, бушлатами, кителями — суконными и матерчатыми, брюками — повседневными и рабочими, краснофлотскими форменными робами, всевозможным бельем, тельняшками, бескозырками, фуражками и ботинками всех размеров и всех фасонов.

«Вот где наши богатства, — с удовлетворением думал Семен. — Вот ради чего мы, штатские, часто отказывали себе в самом необходимом — ради армии, ради войны».

Он долго, неторопливо выбирал себе китель, просил еще и еще принести другой; надевал несколько брюк, прежде чем остановился на одной паре; примерил до десяти фуражек — то они были велики, то слишком малы, то белый кант проходил не по самой кромке верха. Ему очень хотелось выбрать все самое лучшее, самое аккуратное. Даже эмблему он два раза попросил обменять, потому что на одной из них золотое шитье было недостаточно светлым и свежим, на другой якорек сидел криво.

Горчакову очень польстило, что он получил сразу не простую, а «комсоставскую» шинель и что ему, как и тем, кто был значительно выше его по званию, выдали *одинаковое* количество обмундирования. Это значило, что он

командир *такой же*, как и все, это поднимало Семена в собственных глазах.

И вдруг какой-то кладовщик, какой-то главстаршина посмел резко, непочтительно выругаться и сделать замечание ему, командиру, за то, что он-де, слишком долго «ковыряется» в обмундировании и «каждой вещи в зубы смотрит». Очень оскорбило это Семена.

Неизъяснимое наслаждение испытал Семен, когда во дворе полуэкипажа впервые в жизни какой-то краснофлотец назвал его «товарищем командиром». Семен подошел к лотку со всякой мелочью, чтобы взять на дорогу иголку и ниток («чтобы все было как у настоящих солдат»), и, когда он платил деньги, высокий широкоплечий краснофлотец сказал ему:

— Для фронта запасаетесь, товарищ командир? Хорошее дело.

И хотя сказал он это без подобострастности, а скорее развязно, с некоторой снисходительностью и высокомерием, как бывалый воин новичку, все равно Семен с благодарностью посмотрел на него, стараясь на всю жизнь запомнить его лицо...

Впервые в жизни надев военную форму, Горчаков пошел в город, хотя у него не было там никакого дела — просто хотелось побыть на людях. Город показался ему праздничным, в людях он видел одно ликование. Семен шел и заглядывал в зеркальные витрины магазинов, чтобы за консервными банками, за бутафорской колбасой и окороками увидеть свое отражение. Завернул в парикмахерскую, хотя и брить вовсе еще было нечего, в кресло сел без очереди, никто не возражал, все уважали морского командира.

В киоске купил клеенчатую тетрадь для дневника. Без дневника сейчас никак не обойдешься. Ничего не должно быть забыто из совершающегося. Не уцелеет сам — будет жить его дневник. История соберет много фронтовых дневников, и они помогут понять, чем был велик русский человек в этой Отечественной войне с немцами.

Военных на улицах было полно, но Семену казалось, что на него прохожие обращают внимания больше, чем на других. В этом городе уважают морскую форму, а на нем форма сидела очень хорошо. Краснофлотцы и красноармейцы его приветствовали, когда на рукавах его шинели и не было еще знаков различия. Он старался отвечать как можно лучше и серьезнее.

Все шло хорошо. Уезжая из Ленинграда с назначением в часть, он думал о Родине, о ее великой истории и великом предназначении, думал о своей готовности умереть за родную землю, готовился к боям, пытался представить, как Родина оценит его подвиги; какие они будут, он еще не знал, но всем существом своим чувствовал, что они будут.

И вдруг на одной из станций его задерживает милиция. В вагоне вместе с Горчаковым ехали ленинградские рабочие. От избытка хороших чувств он всю дорогу заговаривал с ними, часто спрашивал, скоро ли будет станция, на которой ему нужно было выходить, бросался от окна к окну, искал следы воронок от авиабомбежек, делал записи в дневнике, и рабочие, те самые рабочие, за которых он готовился голову положить, пригласили в вагон милиционера и предложили ему проверить у Горчакова документы.

Бо́льшей обиды трудно было представить.

Но начальник политотдела обидел Горчакова еще сильнее. Вместо того, чтобы немедленно направить на фронт, он предложил ему заметки писать. И даже не стал слушать, что хотел сказать Семен. А сказать он хотел много хорошего. Эх, не об этом он мечтал, не заметки писать собирался. Верно, значит, пословица говорит: не хвались, идучи на рать...

•

Горчаков несколько раз прогулялся по сосновому царству и стоял у подъезда, не зная, куда теперь двинуться, когда к нему подошел старшина второй статьи — немолодой увалень в рабочей форменке и в парусиновых брюках. Небрежно козырнув, он сказал:

— Явился в ваше распоряжение, товарищ политрук. Приказание начальника политотдела.

Горчаков поднял на старшину глаза и стал рассматривать его широкое, скучное, изъеденное оспой лицо, соображая, чего от него требуют. «Один человек и машина...» — вспомнил он,— «бумагу достанете сами...» Что же я должен сделать? «Явился в ваше распоряжение» — эти слова Горчакову приятно польстили.

— Вы наборщик? — спросил он наконец.

— Нет, шофер.

— Но мне обещали одного человека...

— Я и есть один человек, товарищ политрук! — лениво ухмыльнулся шофер.

— Что же мы с вами будем делать? Машина есть, надо набирать да печатать.

— На моем грузовике не много напечатаешь.

Горчаков понял свою ошибку и покраснел.

3

Весь первый день ушел па организационные личные дела: нужно было оформиться в штате политотдела, встать па довольствие, получить удостоверение личности, выписать необходимые требования на получение с базы типографского станка, наборного оборудования, бумаги.

Укрепленный район только что формировался. Немцы были еще далеко, но шли быстро. Нужно было их встретить и задержать, не пустить к Ленинграду. В районе спешно создавались бригады морской пехоты. Ряд оборонительных участков отводился для дивизий народного ополчения. С кораблей прибывали добровольцы, мечтавшие встретиться с врагом лицом к лицу. Укомплектование работниками штаба и политотдела еще не было закончено. Ежедневно приезжали с разных концов мобилизованные командиры запаса.

В трех комнатах политотдела столов уже было больше, чем офицеров, и каждый из вновь прибывших в первую очередь старался закрепить за собою отдельный от всех стол. В этом сказывались мирные привычки.

В политотделе Семен Горчаков познакомился уже с тремя работниками. Секретарю партийной организации старшему политруку Статыгину он уплатил партвзнос за прошедший месяц. Говорили немного.

— Осваивайтесь. Осматривайтесь! — сказал Статыгин.— Что-то вы очень возбуждены. Так из рук все будет валиться. Навоеваться еще успеете. Все успеем. Мы, собственно, уже на фронте и скоро, надо полагать, будем в самом пекле.— И он познакомил Горчакова с обстановкой.— Встреча наша с немцами, надо полагать, будет у Кингисеппа. Присмотритесь к полковому комиссару, как он работает. Мы здесь недавно, в районе ничего не было и сейчас немного есть. В некоторых частях даже винтовок не хватает. У комсостава нет пистолетов. Военкома нет. Начальник чувствует за все ответственность наравне с

командующим и... спокоен. Из себя ни разу не вышел. Хотя ночей не спит. А тоже молодой. И все закипать начинает. Появляются и люди, и винтовки, и пистолеты. Присмотритесь к полковому.

Инструктора́ политотдела — старший политрук Дамочкин и батальонный комиссар Длигач — показались Горчакову людьми ушибленными чем-то. Дамочкин, видимо, посвятил всю свою жизнь бдительности — бдительности во всем всегда и всюду. Говорил он то резким, то тихим голосом, переходил на шепот, то словно допрашивал, то поучал. Был он темен, как ночь, когда предметы кажутся привидениями.

— Значит, редактором будешь у нас? — спросил он.

— Редактором.

— А чем занимался до войны?

— Учился.

— Опыта политработы никакого? Трудно будет, если политработником не бывал...

— Я коммунист,— ответил Горчаков,— значит, политработник.

— Ну, это еще не все. Опыт политработы нужен. Политработник — это особый строй души, это характер. Это недреманное око и дух армии... Я слышал, ты стишки пописываешь?.. В газете, брат, со стишками все проглядишь. Нужно штык оттачивать, а ты будешь о васильках во ржи думать.

— Кто же у нас стихи не пописывает?

— Я не пишу...

— Я такой добродетелью не обладаю.

— Был грех: как-то еще из школы я послал стих одному известному писателю и получил такую гнилую рецензию, что понял: стихи писать не стоит.

Зашла речь о положении на фронтах. Батальонный комиссар Длигач не допускал разговоров об отступлении, о наших потерях. Послушаешь его — нет отступления, нет потерь. И Ленинграду никакая опасность не угрожает. О последнем, правда, и Горчаков еще думать не смел.

Батальонный комиссар Длигач занял в политотделе самый крупный, самый прочный стол у окна, где-то разыскал для себя мягкое кресло и сидел в нем — небольшой, но видный. Сначала он устроился в отдельном кабинете, но когда штат политотдела начал заполняться и ему поневоле пришлось уступить место другим, Длигач пригласил в кабинет двух старших политруков по своему выбору.

— Надо в газете показывать, как истощены немецкие солдаты и подорвано в корне их моральное состояние,— сказал он Горчакову, когда они познакомились.— Силы немецкой армии уже израсходованы, и она не может больше наступать. Наш укрепленный район станет могилой для немцев. Здесь мы их побьем, и отсюда мы их будем гнать.

— Гнать отсюда их будем — это несомненно,— ввязался в разговор Статыгин, — но сначала их нужно задержать. А здесь ли и мы ли их задержим — я не знаю.

— Плохо, что вы не знаете этого, товарищ старший политрук. От ваших слов пахнет пораженчеством. Немцы не смогут двигаться дальше. Их наступательный порыв сломлен еще двадцать второго июня,— тихо, но почти с угрозой сказал Длигач.

А в окна заглядывали освещенные июльским солнцем сосны, казалось, солнце вталкивало их в комнату; сколько политруки ни курили, воздух был свеж и прозрачен.

«Никакой войны,— думал Семен,— о чем же я домой буду писать?..»

●

Изъеденный оспой, круглолицый, неповоротливый шофер Гнусарев, с первого взгляда показавшийся Горчакову безнадежным лентяем и увальнем, сразу оживал, как только садился за руль автомашины. Он любил свое дело. Устроившись на своем сиденье, он становился разговорчивей. «Баранка» — была для него той точкой опоры, с помощью которой он ворочал миром и языком. Но стоило машине встать — шофер начинал зевать, глаза его глупели, и вызвать его на разговор было уже невозможно. Горчаков подумал: «При каком же еще положении может оживать шофер?»

Дорога была хорошая, с каменным настилом, местами асфальтированная. Военные автомашины мчались на полных скоростях. По сторонам кое-где уже встречались воронки от авиабомб, у деревянного мостика лежал изуродованный труп лошади. В полях, вдоль речек, жители рыли противотанковые рвы, устанавливали деревянные надолбы. Сосновые и березовые опушки нещадно вырубались. Из срубленных деревьев делались огромные навалы.

Вековые пни торчали на метр от земли. На этих пнях должны были застревать немецкие танки.

Горчаков все примечал, он начинал угадывать пейзаж войны. Труп лошади не вызвал у него ни отвращения, ни сожаления. Все, сколько-нибудь напоминавшее о близости фронта, радовало его.

Маленький приморский городок жил уже военной жизнью. Морские и армейские офицеры, краснофлотцы и красноармейцы заполнили улицы, вокзал, порт. По городу носился коренастый усатый боцман старой флотской выправки, с дудкой на цепочке, видимо, недавно призванный из запаса. Горчаков видел его и в порту, и у здания морской комендатуры. Боцман был очень занят, но, бегая как угорелый, он успевал заметить и приветствовать каждого офицера, а козырял он так лихо, с таким вкусом откидывал руку в сторону, потом ломал ее, негнущуюся в локте, и прикладывал к козырьку, что толпы ребятишек бегали за ним, чтобы видеть это священнодействие старого матроса.

Слова «с фронта», «для фронта» производили в городе на всех магическое впечатление. На «человека с фронта» люди начинали смотреть с жадностью, это был человек особенный, побывавший чуть ли не на том свете, видевший уже что-то потустороннее. Пиво в ларьке для него отпускали без всякой очереди, в парикмахерской его немедленно сажали в кресло, только скажи: «Я с фронта». Это были первые дни войны...

Горчаков все примечал.

На флотских складах политпросветимущества он сразу прошел в кабинет начальника и заговорил, не дожидаясь, когда будут выслушаны другие посетители:

— Для фронтовой многотиражной газеты необходимо срочно оборудовать типографию. Вот требование на «американку», шрифты, кассы, бумагу и прочее. Прошу отпустить! Машина со мной.

Горчаков сел в кресло, не ожидая приглашения. И в его сторону сразу обратились все взгляды присутствующих.

— Посидите минутку, товарищ политрук, отдохните,— сказал интендант, начальник снабжения, рассматривая требование,— сейчас все будет сделано.

Машинистка в пенсне, с лицом строгой учительницы, выглянув из полуотворенной двери, у которой сел Горчаков, сочувственно вздохнув, спросила:

— Как... Трудно *вам?!*

Горчаков ответил:

— Трудно! — и расстегнул полы шинели.— Но ничего, выдюжим!

— А сюда не могут *они* пройти?

— Не пройдут. Мы — моряки.

●

На грузовике уместилась почти вся будущая типография: печатная машина «американка», электромотор к ней, наборные кассы, ящики со шрифтом, ведро типографской краски, вся мелочь — от шила до верстатки, и бумага. Горчакову можно было не брать с собой краснофлотцев — все погрузили рабочие базы. Сверх всяких ожиданий начальник склада отпустил ему ящик художественной литературы и фотоаппарат «ФЭД» для редакции. Последнему Горчаков был особенно рад, и это его немного примирило с тем, что вот взяли на войну, а заставляют заниматься черт знает чем.

Покончив с делами, он пошел на почту и написал домой письмо.

«Родные мои!

Я на фронте. В боях еще не бывал, но сегодня выполнил первое ответственное боевое задание. В моем распоряжении автомашина и вооруженный конвой из отборных моряков.

Все леса изуродованы снарядами и танками, дороги в воронках от бомб. Я рад, что наконец могу послужить Родине как должно — со штыком в руках, с гранатой на поясе. Другого более благородного служения родной земле я сейчас не знаю.

Целую всех. Ваш *Сеня*».

Ночью на обратном пути они долго блуждали по полям и перелескам в поисках своего штаба. Дорог было много, не меньше и озер, похожих одно на другое, у каждого озера стояло какое-нибудь воинское подразделение. Шофер Гнусарев выходил из машины и начинал зевать. Горчаков готов был спрашивать всех встречных и поперечных о том, как им проехать, но... куда проехать? Ни он, ни шофер, ни краснофлотцы не знали еще названия ни озера, ни ближайшей к штабу деревни.

— Где тут моряки стоят? — спрашивали они всех, кто проходил и проезжал мимо.

— Тут Балтика! — отвечали им.— Моряки везде — на море и на суше.

Наконец какие-то калики перехожие — старичок и старушка — попросились в машину и обещали довезти их «до самого дома». Божьи старички довезли их до дома, но до своего, и, погоревав, что, видно, «ошиблись адресатом», скрылись. После этого машина с типографским имуществом носилась по проселочным дорогам еще часа полтора.

Разгружаться пришлось уже перед рассветом. «Американку» по частям втаскивали в подвал штаба, куда приказал начальник политотдела. Горчаков был очень утомлен и беспрестанно курил. Уже закатывали в подвал маховое колесо, когда его позвали в кабинет командующего укрепрайоном генерал-майора Данилова.

4

Для кабинета генерал-майора Данилова был отведен в здании штаба самый светлый и просторный зал. Огромный дубовый стол длиною в четыре метра покрыли красным бархатом, стулья достали резные, кресла кожаные, мягкие.

Данилов осмотрел кабинет, высморкался в два пальца, сплюнул на ковер и сказал:

— Это для кого, я вас спрашиваю? Вы думаете, если назвали генералом, так подавай ему и клетку золоченую? Дамочек накрашенных, что ли, я принимать здесь буду? Мой кабинет — окоп, сырая землянка; мой ковер — трава зеленая на поле боя. Так или нет, я вас спрашиваю? Мы в восемнадцатом году и без этих кабинетов немцев били.

И боевому генералу отвели узкую продолговатую комнату с одним окном.

Пришел к генералу Данилову тихий и скромный начальник тыла и доложил:

— Товарищ генерал-майор! В связи с присвоением вам нового высокого звания я заказал для вас генеральскую форму. Хорошая форма будет, товарищ генерал-майор, по положению — тысяч на тридцать с лишком.

Данилов рассвирепел, хотя в душе был польщен таким щедрым «положением».

— Моя генеральская форма на мне! — крикнул он, вытянувшись во весь огромный рост. (А на нем был защитный зеленый китель с позеленевшими, нечищеными

пуговицами, и зеленые брюки с такими кошелями на коленях, что хоть рыбу ими лови, да длиннющие башмаки, похожие на самодельные лыжи вологодских охотников, на те широкие лыжи, которые подбиваются полосками оленьей шкуры.) — Воевать я буду в вашей генеральской форме или бабочек по Летнему саду ловить? Как? — я вас спрашиваю. Мы в девятнадцатом году шинели из буржуйских одеял шили и хорошо воевали. Дайте мне только генеральскую фуражку, остальные тридцать тысяч — на винтовки.

Генерал-майор Данилов, пригнувшись, стоял в своем узком склепе перед картой укрепрайона, раскинутой на грубом сосновом столе. Он думал и напевал песенку «Вечер поздний я стояла у ворот...». На подоконнике лежала мокрая груда раздавленных окурков. Скудный свет электрической лампочки освещал пыльный железный башмак генерала, поставленный на табурет, и массивный нос картофелиной на конце. Нога Данилова, согнутая в колене, была так длинна, что Горчакову, когда он вошел, показалось, что генеральский башмак стоит на столе.

— Явился по вашему приказанию, товарищ генерал-майор! — крикнул Горчаков, не прикрыв двери, потому что в левой руке его была папироса, а правую он неумело и робко поднял для приветствия.

— К кому пришел? — спросил его Данилов таким дружеским тоном, словно приглашал присесть, и выпрямился.

— Вы меня вызывали, товарищ генерал-майор?

— А вы кто такой?

— Я редактор газеты.

— Ответственный?

— Ответствен...ный... — ответил Горчаков, уже чувствуя, что в чем-то виноват.

Данилов вдруг закипел:

— К кому пришел, я вас спрашиваю? К генералу пришел. Почему папироса в руке? Как приветствие отдаешь? Куда типографию выгружаешь, я вас спрашиваю! В подвал штаба? Чтобы гудел весь штаб? К генералу врываешься, что жеребец необъезженный в огород...

Горчаков похолодел. Он понимал, что в чем-то непоправимо провинился, а в чем — догадаться не мог, и ждал, что вот-вот генерал скажет ему что-то страшное.

— Прошу извинить... Я недавно призван и еще плохо... еще не научился приветствовать. А выгружать ма-

шину в подвал приказал полковой комиссар. Если я ошибся, прошу извинить...

Данилов снял ногу с табуретки и поставил на ее место другую; железный башмак снова прикрыл всю табуретку и не уместился на ней. Все лицо генерала вдруг засветилось от какого-то мальчишеского озорства, и Семен увидел, что на этом лице есть не только нос, но и глаза — веселые, смешливые, и брови лохматые, и губы — тонкие, бледные, а под носом, как тень от картофелины,— черная лопатка-усики.

— Что, испугался? — спросил Данилов.— То-то, брат. Раз ответственный, так держи пар на мерке. Ну, садись, покурим. А жеребец необъезженный — это хорошо... Как ты думаешь, а? Не сердись, что для начала поссорились.

Горчаков разжал кулак, в котором лежала смятая, еще дымившая папироска. Ладонь была обожжена.

— Я не считаю, что мы поссорились, товарищ генерал-майор.

— Еще бы ты считал!.. На, бери. — Данилов протянул ему раскрытую пачку «Беломорканала».— И выгружай, куда приказал твой начальник. Этот полковой плохо не прикажет. А жеребец — это хорошо... Ведь хорошо? — словно вслушиваясь во что-то, спрашивал Данилов.

— Хорошо, если объездить его,— сказал Горчаков, не понимая еще, шутит генерал или не шутит.

— Вот-вот: объездить надо.

«Вот и первую выволочку от генерала получил,— думал Горчаков,— а еще и на войне не побывал. А за что же все-таки он меня выругал?»

От «выволочки» Горчаков не испытывал никакой обиды, скорее он был доволен, что так скоро и так необычно познакомился с самим командующим.

Меж тем Данилов позвонил и вызвал к себе штабного командира. Он о чем-то очень задумался.

— Разбудить! — приказал он дежурному.

«Боевые генералы на войне ночей не спят!» — это Данилов понимал буквально и, действительно, не спал ночами. Спал он днем, а ночью работал и не давал спать всему штабу.

— Ты, братец, хорошую мне мысль подал о жеребцах,— снова заговорил Данилов, уже не обращаясь к Горчакову.

— Я ничего о них не говорил.

— Как но говорил? Значит, это я сам сказал. Ну, все равно. Мысль хорошая.

Вошел штабной командир, подполковник. Данилов обратился к нему.

— Подполковник! Мы вот с ответственным редактором тут о жеребцах разговорились. Хорошая мысль. Надо сорганизовать конный отряд из морячков, сабель в сорок. Когда район будет в зоне войны — очень пригодятся. Они и разведчики, они и связисты... Позвони по бригадам немедленно, пусть отберут охотников, да таких, которые и коня, и саблю любят. Среди моряков не только конников, и воздухоплавателей найти можно. Лошадей достать. Напиши, что требуется,— я подмахну. А ты, редактор, проследи за всем. Твой почин — с тебя и спросится. Идите.

В узкое окно генеральской рубки уже пробивался робкий свет утра. Наступал новый день войны.

5

В километре от штаба за линией железной дороги разбили несколько палаток для конного отряда разведчиков. Место не выбирали — два сенных сарая оказались пригодными для конюшен, и это определило выбор расположения отряда разведчиков.

Коней еще не было, сараи пустовали, и люди с утра до вечера занимались физкультурой, рубкой лозы, шагистикой да наводкой из винтовки по полотняной мишени. Стрельба не проводилась, потому что в отряде не было патронов. Ежедневно с восходом солнца молодые здоровые люди — сорок пять человек — в трусиках и в матросских тельняшках, с саблями наголо, совершали трехкилометровый пробег по лесной пересеченной местности, срубая на бегу мелкую поросль березника, ольховника и хвои. Местные жители, встречаясь с ними в лесу, крестились и шарахались в стороны.

Лихих наездников скоро все стали звать «буденовцами». Самым азартным бегуном и рубакой среди них был Алексей Соснин — матерый моряк с линкора. Если конники выстраивались в шеренгу по ранжиру, он оказывался правофланговым, если соревновались в беге — он был всегда впереди других, а взвешивались — для него ставили на весы особо крупные гири.

Алексей Соснин, колхозный молотобоец из Вологод-

ской области и страстный любитель коня с детства, попав в морскую пехоту, с первых же дней начал подбирать себе товарищей, чтобы всем вместе просить о переводе в кавалерийскую часть. И когда в бригаде объявили, что создается по инициативе генерала конный отряд моряков, Соснин не на шутку удивился:

— Почему по инициативе генерала? Это моя инициатива, мое начало.

С ним не спорили, в отряд его записали первым.

Появление лошадей в отряде в лагере «буденовцев» было событием из ряда вон выходящим. Кони были не очень богаты и заметно истощены, но люди веселились, как в деревнях веселятся на престольных праздниках. Алексей Соснин, улыбнувшись во все зубы, заявил:

— Совершись такое дело на дому, в моем колхозе, я бы на пять пудов пива наварил: пейте все, наводите шею.

Командир отряда младший лейтенант Расторгуев стал немедля распределять лошадей среди бойцов. При этом в расчет принималось только одно соображение: выдержит конь своего седока или не выдержит. Некогда русские богатыри, выбирая себе коней, били их кулаками по хребту: если хребет не ломался и конь не падал от первого удара, такой конь мог быть взят на вооружение.

Рослым и крепко сложенным людям младший лейтенант давал и коней повыше да посправней. Получив коня, боец долго трепал его по холке, заглядывал ему в глаза, расчесывал гриву и вел кормить. Коням не жалели ни каши своей, ни хлеба, ни сахару.

Алексею Соснину коня подобрать не могли. На какого он ни садился, все было неладно: или ноги доставали до земли, или конь начинал волноваться и храпеть, или просто безнадежно сгибался и никал под непомерной тяжестью. Краснофлотцы сначала принимали деятельное участие в выборе лошади для своего товарища, немало хлопотали, некоторые предлагали даже опробовать своих коней, но, когда все попытки оказались напрасными, пришли в веселое настроение. Шуткам над Сосниным не было конца. Ему предлагали ездить на паре, сконструировав седло промеж двух кобыл. Советовали взять одну и самую маленькую лошадку с тем, чтобы в трудную минуту, когда потребуется скорость и изворотливость, удобно было брать ее под мышку или нести промеж ног.

Чем больше хохотали краснофлотцы, тем грустнее

становился Соснин. Он был серьезен, хотя понимал всю нелепость своего положения:

— В моем колхозе, бывало, на какую ни сяду — все добрая кобыла. Неужто я в чужую страну попал, что для русского человека коня справного здесь не подобрать?

Но ожидать новых лошадей больше было неоткуда, и младший лейтенант Расторгуев сказал, что, к сожалению, придется товарища Соснина отчислить из отряда за невозможностью использовать.

●

Генерал-майор Данилов развернул письмо и прочитал:

«Товарищ полковой комиссар Бережков! На Вас одних у меня теперь вся надёжа, иначе не будет мне больше спокойной жизни на земле. Извините, что обращаюсь не по ступенькам, но Вы комиссар, к Вам можно и так прямо. Мне 25 годов. Я всю жизнь работал в колхозной кузнице за наковальней и много раз был премирован за успехи. У меня все братья кузнецы, и отец кузнец, а поскольку он теперь в колхозе, и ежели будет жить, то немало еще принесет пользы людям. Про наш род никто плохо не скажет. Мы никогда ни от чего не отказывались и в колхоз пошли первыми и все ковали. Когда меня призвали во флотские, то хоть на море и пять годов, я ни слова не сказал — пошел. Но вот — я сейчас в пехоте, а мне здоровье не позволяет этого. По слабости здоровья меня прошлым летом с корабля посылали на горное солнце, и я лечился от ревматизму, лежал в грязи. На вид я человек здоровый и руки хорошие, но у меня ноги... В пехоту я пошел сам, ничего не сказал, но я собирал ребят не для пехоты, так как у меня по осеням ноги в ревматизме. А я полезный человек...»

— Как вы думаете, о чем просит этот человек? — спросил полковой комиссар Бережков генерала.

Данилов вскинул голову, и рот его был еще полуоткрыт, а глаза выражали недоумение.

— А он действительно с «Марата»?

— Так точно.

— Тогда не понимаю. Не может маратовец проситься в канцелярию или в комендантский взвод, если даже у него руки-ноги отнимутся. На фронт его надо поскорее, сукина сына, в бой.

— Он об этом и просит. Только ему охота быть раз-

ведчиком, конником,— он сам ребят для отряда подбирал,— а его из отряда отчислили.

— Почему?

— «Из-за несоответствия месту службы». Здоров очень — ни один конь не держит его.

Огромный генерал захохотал.

— Покажи мне его, полковой, обязательно покажи.

— Есть — показать!

— Нет, ты сейчас покажи.

Бережков вышел, чтобы распорядиться. Минут через пять в кабинет генерала, постучавшись, вошел Соснин.

— Старший краснофлотец конного отряда разведчиков Соснин явился по вашему приказанию, товарищ командующий!

Данилов, разглядывая его с ног до головы, поднялся и поставил ногу на табурет, на котором только что сидел. Потом, не сводя глаз с Соснина, нащупал на своем столе пачку папирос, достал одну, нащупал спички, чиркнул, закурил и, всё не сводя глаз с краснофлотца, вдруг крикнул:

— Явился?!

Соснин вытянулся.

— Явился, товарищ командующий. По вашему приказанию.

— Ты почему, товарищ старший краснофлотец, обращаешься с рапортами не по трапу — или как там? — не по ступенькам, а прямо к полковому, к начальнику политотдела! Почему — я вас спрашиваю?

— Для этого дней не хватит, товарищ командующий,— скоро воевать начнем, а у меня коня нет! — спокойно ответил Соснин, но в голосе его было такое напряжение, что видно было, что краснофлотец или считал себя во всем правым, что за ним никаких грехов нет и ему нечего бояться даже генерала, или что раз начались несчастья, то восемь бед — один ответ, и все равно пропадать, поэтому и голову нечего вешать даже перед генералом.

— Почему с корабля ушел? — все еще резко спросил его Данилов.

— Разрешили, товарищ командующий. Я был на главном калибре. Стрелять стреляем, а немцев не видим: либо бьем, либо землю роем.

— Ну и бери винтовку!

— Винтовка тоже не с руки. У меня палец к спусковому крючку не пролезает. Я кузнецом был, товарищ

командующий. Молотом хватишь — и видишь, как железо подается.

Генерал обратился к полковому комиссару, а в глазах у него уже открыто сверкали огоньки веселья — очень понравился боец генералу.

— Может быть, мы ему молот дадим, а не винтовку — пусть воюет как знает?

Соснин сказал:

— Саблю прошу, товарищ командующий. Саблей рубить можно. Хватишь и видишь, что не промахнулся...

— Что, подается?

— И коня. Вот в нашем колхозе есть кони...— Соснин все стоял на вытяжку, но такие веселые и радостные огоньки заиграли в его глазах, что казалось, сейчас визжать начнет от удовольствия.

Очень понравился генерал бойцу.

— Ну иди! Будет тебе конь. Утро вечера мудренее,— сказал Данилов.— Стой, стой! А как же ноги? Говори правду генералу.

Соснин вздрогнул, покраснел и опустил глаза.

— Простите, товарищ командующий! Ноги у меня здоровые.

— Иди!

6

За глубоким оврагом, по которому протекала речка, на зеленом склоне размещена была артиллерийская батарея. Артиллеристы улучшали свои позиции, работали с утра до вечера с охотой, с азартом, но зато вечером все шли в кино. Кино было ежедневным, обязательным, фильмы менялись не реже четырех раз в неделю. А ночью спали или в деревенских избах, или в палатках, на пружинных койках и раздеваясь догола, как на даче. Утренняя зарядка считалась также обязательной, после нее бойцы бежали купаться в ближайшее озеро и, наконец, позавтракав, снова приступали к работе. Окопы рылись в полный профиль, но палатки от окопов стояли на расстоянии метров шестисот. По ночам у орудий и на стрелковых позициях оставались дозорные, но телефонной связи ни друг с другом, ни с командным пунктом батареи они не имели.

Для пулеметов были оборудованы прочные гнезда, хорошо прикрытые с воздуха, но сами пулеметы стояли в палатках далеко от огневой позиции и к немедленному

бою подготовлены не были. Орудия, пулеметные точки и другие объекты были замаскированы со всей присущей русским людям изобретательностью и хитрецой: рядом пройдешь — ничего не заметишь, но тут же, около объектов, раскладывали костры, чтобы высушить портянки, на кустах развешивали постиранное белье и на лужайках, прямо против орудийных стволов, проводили политзанятия. Многие командиры еще не умели стрелять из пистолетов, а бойцы не знали винтовок, не умели приставлять штыки и работать ими. Это было начало великой войны, начало мобилизации и подготовки людских сил и резервов страны для мировой битвы.

Над позициями укрепрайона все чаще стали появляться немецкие разведчики. Командование предупредило о возможных в ближайшее время налетах немецких бомбардировщиков и о необходимости тщательной маскировки всех военных объектов и живой силы.

●

По желтым стежкам-дорожкам, по крупному боровому песку, среди высоких строевых сосен маршировали человек двадцать недавно мобилизованных краснофлотцев. Команды были односложны и знакомы Горчакову с детства: «Напра-во!», «Нале-во!», «Кру-гом!», «Стой — ать, два», «На месте шагом марш!», да еще «К но-ге — ать, два, три!» и «На пле-чо, ать, два, три!»

А над озером летали стрекозы и бабочки, и среди густой травы плескались щуки. Казалось, что еще недолго походят эти бойцы меж сосен, потом спустятся к озеру — «Правое плечо вперед — марш!», закинут удочки в воду и будут удить долго и терпеливо, почесываясь и отгоняя комаров и переговариваясь друг с другом.

А где-то, может быть совсем недалеко отсюда, на поле боя — какое-то оно? — нещадно палит солнце — наверное, и солнце там особенное, не такое, как здесь,— переговариваются пулеметы и пушки, кровь и пот сочатся с запыленных лиц защитников Родины...

Горчаков подошел к главстаршине, командовавшему отрядом, и попросил узнать, есть ли среди новичков-краснофлотцев работники печати — наборщики или печатники.

— Какие тут наборщики, воевать надо! — недовольно сказал немолодой усатый человек.

— Ужели своя газета будет выходить, товарищ политрук? — не обращая внимания на голос человека с усами, наперебой стали спрашивать краснофлотцы.— Очень бы хорошо. Без газеты — как без головы.

— Далеко ли немцы, товарищ политрук? — спрашивали другие.

Им ответили свои же товарищи:

— А вы не слышали сегодняшнюю сводку: оставлены два города N, противник переправился через реку N и задержан у озера N?

Краснофлотцы столпились вокруг Горчакова, и завязался оживленный разговор:

— Вот бы завести такую свою газету, товарищ политрук, чтобы в ней все писалось прямо и просто, как А и Б. И чтобы никаких NN...

Горчаков пошел к другим подразделениям. Негодовавший раньше на свою судьбу, он понял, что *газета — это фронт.*

Август 1944 г.

ОХОТА НА МЕРТВОГО ГЛУХАРЯ

Охота без усталости не доставляет удовольствия.

Я знаю охотничков, которые подъезжают к тетеревиным токам на легковой автомашине и, опустив стекла, выбивают из малокалиберной винтовки всех птиц до единой. Даже тетерок не щадят. Трофеями загрузят машину так, что самим сесть некуда, и ровно к девяти часам утра поспевают на работу в свои кабинеты...

Знаю также, что на «газике» с подвижной фарой ночью охотятся за зайцами. Особенно удачливой считается такая охота в степных и лесостепных местах, в широких полях, где можно ездить без дорог и где бедному зайцу просто деться некуда. Поймают его в луч фары, как, бывало, ловили самолет на скрещении прожекторов, и расстреливают. А то просто зашибают буфером либо давят колесами автомашины.

Мясозаготовки! Промысел!

Случается, что и глухарей колесами давят. Правда, мне известен только один такой случай. Большой старый петух возился на дороге в лошадиных шариках, когда легковушка выкатилась из-за поворота. Птицы не очень боятся машин, если не видят в них человека. Настораживаются, и только. Глухарь вытянул шею, и, пока рассматривал приближающийся автомобиль да раздумывал, что делать, взлетать уже было некогда. Полураздавленный, он лежал на дороге без движения, но, завидев человека, встрепенулся, начал бить крыльями из последних сил. Казалось, он только теперь почувствовал опасность.

А деятель радовался своему необыкновенному везенью и рассказывал об этом случае с удовлетворением, как об очень удачной охоте.

Какие же это охотники!

Настоящая охота должна утомлять, после нее хорошо спится.

Борис Зиновьевич чувствовал себя утомленным и усталым еще с вечера, задолго до начала охоты.

— Вот на охоте и отдохнем! — сказал он приятелю, вскинув на плечо довоенный «зауэр» и засовывая топор за пояс за спиной, как это делают все настоящие лесовики и лесорубы. — Двинемся в Угол. Тут, брат, места такие, что только дойти, а об остальном беспокоиться нечего. Глухари на голову садятся.

— Опять ты за свое...

— А что «за свое»? Ты мое ружье знаешь? Из него слонов бить можно. А Угол наш? Это же «Беловежская пуща». Только зубров недостает. Вот дойдем — и все!

В характере Бориса Зиновьевича это не было обычным охотничьим хвастовством. Это была самонадеянность — чрезмерная, надоедливая, лишенная порой элементарной рассудительности. Она мешала ему всю жизнь. Из-за этого он стал даже суеверным: когда ему что-нибудь не удавалось, не давалось, не сбывалось — винил во всем свою самонадеянность. Опять, наверно, забылся, расхвастался: шапками закидаем! — вот и получил. Одним взмахом семерых побивахом! Начинал вспоминать, что предшествовало неудаче, и действительно оказывалось, что перед этим он захлебывался от самодовольства. Но осознание это приходило всегда позднее, когда уже ничего нельзя было изменить. И сейчас упреки товарища в хвастовстве не насторожили его, он не остепенился.

— Нам, главное, успеть дойти вовремя до большого леса, и, может, вернемся сегодня же. Оставаться до утра смысла не будет: все равно больше трех-четырех глухарей на себе не унести. Это же бараны!

Но с вечера ни одного глухаря им убить не удалось, темнота наступила слишком быстро. А глухари летали близко, шум и треск сучьев раздавались то с одной стороны, то с другой.

— Понял? — шепотом спрашивал Борис Зиновьевич своего дружка, показывая глазами и головой туда, где садился очередной великан.— Что тебе бомбардировщики. Вот замечай и поутру крадись к любому. Все твои.

— Спасибо! А птицы ли это?

— Лоси, что ли?

Ночь пришлось пережидать, сидя на мокрых моховых кочках. Хорошо еще, что не на снегу и не в воде. Сухого места в Углу в весеннюю пору найти было невозмож-

но. Почему этот глухой хвойный лес с редкими пожнями и заболоченными овражками назывался Углом — кто его знает. Ни реками, ни изгородями он не ограничивался, никакого угла там — ни острого, ни тупого — не было. Мы говорим: глухой угол. Видимо, угол — то же, что глухомань.

У Бориса Зиновьевича сначала озябли ноги. Он снял резиновые сапоги-бродни и положил в них моху. Кажется, помогло, но от мокрого мха отсырели портянки. Костер бы хоть небольшой разложить! Но это значит загубить всю охоту ради каких-то несчастных ног. «Так дело не пойдет. Потерпим!» — сказал он себе. Затем озябли руки. Закурить бы, погреть бы пальцы, зажав сигарету в ладошках, как в фонарике. Но — чиркнешь спичкой, а глухáри-то — вот они, рядом, над твоей головой. Нет, и это не годится. Поесть бы, да ничего с собой не взял, понадеялся на скоростную охоту.

Борис Зиновьевич дал волю своему воображению и совершенно отчетливо представил, как перед зарей услышит робкое пощелкивание первого глухаря, вероятно на этой ближней ели, и убьет его, не поднимаясь с места. Второй глухарь, конечно, будет снят с сосны, вершина которой даже в темноте видна, так высоко вознеслась она над зубчатой стеной ельника. До нее метров сто, придется подходить большими вороватыми прыжками, используя секунды, когда глухарь поет и вдохновение закрывает ему глаза и уши. Третий глухарь грохнется к ногам Бориса Зиновьевича где-то около второго. А там пойдет...

Счастливое воображение немного согрело охотника, и он даже задремал сидя.

Проснулся он от страха, что ночь прошла и все кончилось.

— Проспали? — почти вскрикнул он и хотел было вскочить сразу, но не смог: такими тяжелыми оказались и ноги, и руки, и голова.

— Тш... Тихо! — зашипел приятель, тыча не то в спину, не то в бок Бориса Зиновьевича.— Слушай!

Ночь действительно прошла, но и утро еще не наступило. А первая глухариная песня уже возвещала зарю. Глухарь где-то очень далеко тэк-тэкал так, будто заикался от волнения и никак не мог выговорить, что хотел. А лес повторял каждый его звук, и прислушивался, и ждал, когда же наконец царь-птица выскажется как следует.

Справа и слева от первого токовика начали поигрывать другие. Матушка моя родная, елки зеленые, что же сейчас будет!

Борис Зиновьевич оперся на ружье и вскочил. Казалось, он сам сейчас начнет заикаться. Какая тут усталость, если ни ног, ни рук своих не чувствуешь. И слышишь только одно, как глухарь дразнит, зовет, заливается. Да еще сердце вдруг забарабанило во всю грудь да воздуха не стало хватать.

Куда и когда вдруг исчез приятель, Борис Зиновьевич не заметил. Охота началась. Он выждал момент и сам бросился вперед. Куда вперед? Небо на востоке едва-едва отделилось от земли, а в ельнике стояла беспросветная тьма, как в подвале.

«Тк-тк-тк!..» — звал его глухарь. Этот, наверно, ближе всех. Он где-то совсем рядом и, кажется, сидит очень низко. «Тк-тк-тк!» — петух будто приглашал его поиграть в пятнашки с завязанными глазами. «Тк-тк-тэк...» Да где же он? И Борис Зиновьевич нырнул в темный ельник навстречу своей судьбе.

Токующих петухов было так много, что Борис Зиновьевич не считал нужным соблюдать чрезмерную осторожность. Он бежал на глухариную песню большими прыжками, как и положено, но делал не три, а четыре и пять прыжков подряд. Когда птичья трель обрывалась, он замирал, как положено, но часто с опозданием. А если проваливался в курпаги с талой водой или налетал на остатки снежных заносов, то возился и сопел, уже не переставая, и раз даже выругался. Ему казалось, что птиц для него хватает, и лишь рассчитывал заранее, сколько штук ему следует взять. Самонадеянность опять подводила Бориса Зиновьевича, но этого он пока не осознавал.

Первый глухарь не подпустил охотника на выстрел. «Вероятно, услышал стук моего сердца»,— подумал Борис Зиновьевич. Второй сорвался с дерева, когда он уже взводил курки. «Надо было курками щелкать раньше. Ну, ничего. Возьму третьего!» — решил он.

В это время тайгу раздвинул далекий выстрел приятеля.

— Э, черт! Наверно, убил! — с досадой и завистью сказал Борис Зиновьевич и заспешил. Но куда спешить? Токование глухарей вдруг прекратилось повсюду. Бориса Зиновьевича охватила тревога: а вдруг конец?

Лес уже обрел краски, из темной сплошной хвои выделились стволы и ветви, пихту можно было отличить от ели, кое-где выступили вперед голые лиственные породы — осина, ольха, береза. И небо оживало, из беспросветно черного становилось серым, как мокрый весенний снег. Небольшие клочки чистой синевы меж облаков походили на проталинки.

Борис Зиновьевич опустился на старую валежину и со вздохом положил ружье на колени. Вот когда он устал. Но только бы не конец! Только бы не возвращаться домой с пустыми руками. Не трех, не двух, а хоть бы одного черта сшибить! Только бы одного, и он примирился бы с собой: никогда впредь не позволил бы себе жадничать. Не надо ничего загадывать наперед; не откусывать больше, чем можешь проглотить; лучше желать меньше, иначе не добьешься ничего. Не зарываться, не хвастать, не хвастать, не обещать ни себе, ни другим больше, чем способен сделать,— вот что давно пора усвоить...

«Черт бы меня побрал! — с отчаяньем думал о своей судьбе Борис Зиновьевич.— Ну что я за человек такой? Разве мало учен, мало бит? Разве не знаю своих слабостей, нет — пороков? Не скромен я! Кичлив! Вечно переоцениваю свои возможности. А скромность — это серьезность. Не серьезен я. Ну что я такое наконец?!»

Токование глухарей возобновилось через пять чудовищно долгих, смертельно долгих минут. Борис Зиновьевич сразу встрепенулся, как хищная птица,— не все еще пропало! — и, пригнувшись к коленям, почти лег на ружье, словно хотел сжаться в комок, исчезнуть совсем. Он стал слушать, чтобы решить, который токовик ближе, которого убить первым. Нет, счастье ему не изменит. Все будет так, как он предполагал. Все еще впереди.

И он убил глухаря. Убил.

Но глухарь не упал.

И не улетел.

Он только ударил раза два крыльями, повозился немного на суку, переступил и, кажется, поплотнее прижался к стволу.

Стрелял Борис Зиновьевич с близкого расстояния, но сосна, на которой сидел петух, была необычайно высока. Гладкая, прямая, с красноватой корой, она вздымалась в небо, словно кирпичная труба, и лишь там, вверху, раз-

ветвлялась свободно и широко. Глухарь сидел в ее кроне, словно в зеленом дыму.

После второго выстрела он завозился еще больше, но опять и не улетел, и не упал.

У Бориса Зиновьевича задрожали руки и ноги: «Неужели ружье не берет? Дробь мелка?» Он торопливо перезарядил оба ствола, прицелился и выстрелил из обоих стволов сразу.

Сосна, кажется, вздрогнула. Глухарь не пошевелился.

«Начало есть!» — сказал про себя Борис Зиновьевич. Он торжествовал. Как достать убитую птицу? Да разве это важно! Достать, и все!

Залезть надо, как он в детстве лазил не раз.

Правда, сосна без сучьев, на такую трубу не скоро заберешься. Но все это мелочи, все не важно.

Борис Зиновьевич подошел к дереву, постучал по стволу сначала кулаком, потом пяткой, вскинул глаза к вершине сосны и рассмеялся. На ней не дрогнула ни одна хвоинка. Только теперь он понял, что глухарь у него еще не в руках, а где-то в небе и придется поработать всерьез, чтобы завладеть им. Он поставил ружье в сторонке, достал топор из-за пояса и ударил обухом по сосне. Дерево отозвалось на удар неохотно, глухо. Оно было крепкое, толстое, очень толстое. Такое и за полчаса не срубишь. На час работы, не меньше. Ох, и нелегко это будет. Да еще после бессонной ночи. А нельзя ли придумать что-нибудь другое?

Борис Зиновьевич осмотрелся. В нескольких метрах от сосны стояли другие, почти такие же высокие сосенки, тоже голенастые, но помоложе и гораздо тоньше этой. Если одну сосенку свалить, то вершина ее как раз хлестнет по застрявшему глухарю. Это, пожалуй, будет хорошо. Лучше, пожалуй, ничего не придумаешь. А топор-то тяжелый, черт! Пожалуй, тяжелее ружья...

Борис Зиновьевич обстоятельно рассчитал расстояние, выбрал сосну, которую легче всего было свалить, потоптался вокруг нее, приминая мелкую поросль и мох, приготовился к работе.

Помешал ему выстрел дружка — какой-то уверенный, басовитый, конечно, без промашки. Такие выстрелы понапрасну не раздаются. «Еще один выстрел, — сказал про себя Борис Зиновьевич. — Еще один баран сбит!»

Сказал и понял, что он зазря теряет время охоты. Достать свою птицу никогда не поздно, за ней хоть

завтра приходи — не испортится. Надо бежать за другой, ток продолжается. Другие глухари его ждут. Он сделал топором надрубы на нескольких деревьях, приметил их, подсек три-четыре елочки вокруг, еще раз всмотрелся в крону своей сосны,— «Сидит ли там? Сидит!» — оставил в корнях топор и ринулся на выстрел товарища.

Светало.

Больше ни к одному глухарю Борису Зиновьевичу подобраться не удалось. Товарища своего он тоже не разыскал. Прошло часа два, когда он, еле волоча ноги, вернулся на старое место. Уже потеплело, и проталины на небе раздались и поголубели. Их стало много. Иногда на эти небесные лужайки пробивалось солнце. На вершине сосны отчетливо виднелся большой черный глухарь. Конечно же, он был мертвый!

На лезвии топора уже появилась ржавчина, топорище было мокрое и холодное.

Борис Зиновьевич заметил, что на стволе сосны с четырех сторон сделаны надрезы желобками, что-то вроде оперенья четырех стрел. Значит, и здесь собирали живицу. В первый раз из-за темноты эти стрелы не были видны. Он не сел отдыхать, боясь, что потом работать будет совсем невмоготу, а отдохнуть по-настоящему он все равно не сможет, время уже позднее, да и есть хочется. Еще раз прикинув, достанет ли та сосна, которую он собирался рубить, до глухаря, представив себе, как она будет падать, как хлестнет своей хвоей по сучьям старой сосны, где застрял глухарь, он решил, что расчет правилен. От самоуверенности его ничего не осталось. Быстро и легко воодушевляясь, он, пожалуй, так же легко и быстро поддавался унынию и становился утомительно осторожным, чрезмерно осмотрительным.

От ружья нельзя отвыкнуть, от топора можно. Научившись стрелять, человек не утратит этого умения никогда. С топором не так: чтобы хорошо владеть топором, необходимо пользоваться им более или менее постоянно, как необходима постоянная тренировка для музыканта. Работа с топором требует, кроме навыка, физической выносливости, мускульной подготовки. Стрельба из ружья, напротив, не требует никакой мускульной силы.

Мускулы у Бориса Зиновьевича давно и уже основательно ослабели: какая тут сила, если с утра до вечера, изо дня в день, из года в год сидит он в кабинете. Единственная производственная зарядка для рук — когда

набирает телефонные номера, он это делает то правой, то левой рукой. Да иногда еще кулаком по столу постучит, но часто делать это не полагается. Да еще помашет иногда руками час-два на каком-нибудь совещании. Но совещания бывают не каждый день. И махать руками во время доклада — не топором махать.

Не долго помахал Борис Зиновьевич топором, а вспотел так, что пришлось снять тужурку. Стыдно взрослому мужчине, да еще выросшему в деревне, рубить дерево, как бобры его подгрызают. Борис Зиновьевич старался подрубать дерево, сосну, как положено — с двух сторон: с той, куда она должна упасть, надруб должен быть глубоким, с захватом сердцевины, а с обратной стороны — вспомогательный, неглубокий и чуть повыше главного надруба. Борис Зиновьевич все это знал, но топор плохо слушался его, плясал по стволу и не рубил, а глодал древесину. Щепа летела мелкая, неровная. Стыдно! Но еще стыднее, что подточенная, обглоданная со всех сторон сосна вдруг повалилась совсем не туда, куда нужно было, а в противоположную сторону. Борис Зиновьевич подставил плечо и попытался изменить направление ее падения. Он даже не подумал об опасности. Но все усилия были напрасны. Шум хвои, как шум ветра, треск сучьев, и мягкий удар о землю и воздушные волны, и мягкий отзвук в глубине леса.

Что тут говорить? Борис Зиновьевич на этот раз сел. Сел на сосну, которую только что свалил. Он бы даже лег и, может быть, заснул бы прямо на моховой прошлогодней подстилке. Но он не мог не помнить о работе. Он опаздывал. А его служебное положение еще не таково, когда можно бывает задерживаться либо вовсе не являться в кабинет — и никто тебе не указчик.

Опершись руками о смолистый ствол сосны, Борис Зиновьевич согнулся так, словно его душил кашель. Так обычно сидят задыхающиеся астматики.

Он не надеялся отдохнуть, но необходимо было хотя бы успокоиться. Что же делать дальше? Махнуть рукой на глухаря, пускай висит, как чучело на огороде? Нет, ни за что! Тогда надо свалить следующую сосну, но уже валить наверняка, предусмотрев все возможные случайности.

И топор застучал, запрыгал снова. Вторая сосенка, при помощи которой Борис Зиновьевич рассчитал смахнуть глухаря на землю, была не толще первой и такая же высокая. Пожалуй, скорее чем за полчаса и с ней не

управиться. Но другого выхода нет. Вот если бы под рукой оказались «когти», с которыми электромонтеры лазят по телеграфным столбам,— это был бы выход. Но «когтей» нет.

Борис Зиновьевич рубил и о чем-то думал. О чем? — он сам не смог бы сказать. Обрывки мыслей не фиксировались памятью. Они пролетали нервно, лихорадочно, под стук топора.

«Когтей», конечно, нет. А откуда они могли взяться здесь? Порой хорошо, когда нет когтей. Нет, лучше, если когти есть, но показывать их следует не всегда. Когти надо выпускать только в крайних случаях. А если уж показал, выпустил, то действуй. Когти или зубы? Говорят: показал зубы — кусай. С тобой говорить — надо зубы навострить... С этой стороны надо рубить еще больше, сосна сюда должна накрениться и упасть. Надруб — словно пасть. Топор кусает тело сосны. Скорее — рвет. Он уже высветлился. Поточить бы надо. Не кусай, если не проглотить»

Опять где-то выстрел. Но это слишком далеко. «Не может быть, чтобы это стрелял он. А если он? Вот, черт: вероятно, и сам не рассчитывал, что ему так повезет. Все-таки лучше, когда ничего не загадываешь наперед, а просто действуешь. Значит — без плана? Жизнь вслепую, на авось? Фу, дьявольщина, да разве я об этом. Я вот что имею в виду: слава приходит к нам между делом, если дело достойно ее. Это я где-то слышал или читал. Четкая мысль, голая логика, никакой поэзии».

А топор стучит, стучит, сту-чит! «Надо повыше поднимать его, посильнее опускать, с выдохом: ххы! хха! Опять не попал! Только бы он из рук не выскользнул. Еще хуже, если руки отвалятся вместе с топором. Чепуха какая! Че-пу-ха! Ххы! Хха!»

Борис Зиновьевич вытер лоб, распрямился на мгновение, услышав эхо в лесу — там стучал его же топор,— и снова принялся за работу.

«Кажется, все правильно: сосна упадет как раз на ту, большую, и хлестнет своей вершиной по ее кроне. Правильно, что я стал рубить именно эту сосну. С той стороны, по-моему, еще есть одна подходящая сосенка, которая тоже упала бы как раз на мою, большую. Если те ниже, то и трогать нечего. Не всякое дерево рубить надо. Не подряд. А если уж начал рубить, так руби до конца. И умей ответ держать. Лес рубят — щепки

летят. Если бы только щепки. А люди? Какие же это щепки?»

Сосна наконец-то дрогнула. Борис Зиновьевич тоже вздрогнул и, отбросив топор в сторону, изо всех сил навалился на ее ствол, помогая падать куда ей положено. Сосна пошла правильно, в заданном направлении; чуть-чуть разворачиваясь вокруг своей оси, вершина ее описала полукруг и ударилась точно о ствол той большой сосны, но только ниже толстых сучьев, на которых застрял глухарь. Ниже! И глухарь остался на своем месте, как на подмостках, как медвежатник на своем лабазе.

— За что? — взвыл Борис Зиновьевич.

К кому он взывал, на кого жаловался?

— За что? Ну, погоди же! — погрозил он.

Кому погрозил?

В дальнейшем он действовал как автомат. Не садился, не отдыхал. Время позднее? А он виноват, что ли? На службе волноваться будут? Пусть поволнуются, подождут! Солнце уже за полдень? Ничего, потерпят.

Борис Зиновьевич подступил к третьей сосне. Не такой он человек, чтобы сдаваться. Ну, просчитался немного, сосенка оказалась ниже, чем он предполагал, так с кем не случаются недоразумения, кто не ошибается. Зато третья сосна почти такого же роста, как та, что с глухарем. И, кажется, даже не тоньше ее. На этот раз ошибки не будет. А физическая нагрузка — она даже полезна. «Засиделись мы все, черт бы нас побрал. Обмен веществ и прочее такое... Многое не в порядке. Застой в крови. Дальше своего носа ничего не видим. И хвастаем, хвастаем! Убил я одного, и то взять не могу. А ведь казалось, что три барана уже на поясе висят. И вот пожалуйста: задача поставлена, а дела нет. Цель есть, а каковы результаты? Хоть иди в магазин да покупай двух глухарей, чтобы не осрамиться. Обман вывезет. Стыдно ведь — хвастался. Что скажут дома? И товарищи засмеют. Разве что не посмеют...»

Когда третья сосна вот-вот должна была упасть, пришел дружок. На плече он тащил ношу птиц.

— Ты что, Борис, на лесозаготовки переключился? План выполняешь? — засмеялся он.

Борис Зиновьевич не засмеялся.

— Да вот чертов глухарь! Сейчас свалю, и пойдем.

Охотник опустил ношу и ружье поодаль и осмотрел поле битвы.

— Ничего не понимаю! — сказал он.— Третью сосну подрубаешь?

— Третью.

— А для чего?

— Просчет получился, первая упала не туда, а вторая оказалась коротковатой. Помоги-ка, чтобы сейчас не ошибиться.

— Указания требуются?

— Давай, давай, не до шуток.

— Ценных указаний ждешь?

— Руководящих.

Охотник ходил по полянке, перелезал через поваленные стволы, как через противотанковые заграждения, соображал и с удивлением и какой-то тоской поглядывал на Бориса Зиновьевича.

— Борис! — наконец сказал он.— Посмотри сюда.

— Куда?

— Вот на эту сосну.

— На какую?

— С глухарем.

— Ну?

— Видишь?

— Вижу. Ну?

— А сейчас посмотри на свою, на ту, которую рубишь.

— Ну?

— Что «ну»? Одинаковые?

— Почти одинаковые... По высоте, что ли?

— И по толщине.

— Почти одинаковые. Ну и что?

Охотник помолчал.

— Борис! — тихо заговорил он снова.— Для чего ты рубил три сосны? Давай подрубим эту одну.

Борис Зиновьевич воткнул топор в живое еще тело сосны и сел рядом. Он молчал спокойно и долго.

— Ну и что? — спросил наконец он.

— Теперь понимаешь?

— Давно понимаю.

— Так что же ты?! Ах да, не хочешь признаться? Руководящие товарищи не ошибаются.

Борис Зиновьевич сказал:

— Нет, почему же... признаюсь...

Потом он встал и снова взялся за топор и начал рубить, как рубил. Сосна задрожала.

— Отойди! — крикнул Борис Зиновьевич.— Не стой под сосной! Задавит.

— Ты не в себе, что ли?

Охотник торопливо схватил свое ружье, подобрал на земле какую-то палочку вроде стрелки, вставил ее в ствол ружья, прицелился в глухаря и выстрелил. Глухарь медленно сдвинулся с места и тяжело упал к его ногам.

Борис Зиновьевич перестал рубить. Надел тужурку. Взял свое ружье. Взял своего глухаря.

И они пошли.

— А все-таки я хорошо поработал! — сказал Борис Зиновьевич.— Что за охота, если не чувствуешь усталости. Это была настоящая охота.

1960

ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МАРИНКИ

По борту большого волжского теплохода снизу доверху и от носа к корме перемещались причудливые световые волны — отражение игры солнца и воды. Лебедино-белая обшивка теплохода, различные предметы на его палубах то и дело вспыхивали, как при автогенной сварке. Белые скамейки, буфетные столики под белоснежными скатертями, спасательные круги, набор белых ведер, напоминающих стайку гусей на голубой озерной глади, цепи и множество мелких медных, надраенных до блеска деталей — трубок, перил, дверных скоб и навесов, иллюминаторных шпингалетов, пластинок на ступеньках трапов — все это вспыхивало и потухало, вспыхивало и потухало. По всему кораблю играли солнечные зайчики. В этом движении света и теней было что-то сказочное, величественное. Невольно думалось: а не это ли и есть отражение игры каких-то невидимых космических лучей? Не движение ли эфира это?

Страстные до опьянения мелодии Чайковского и Хачатуряна и доверительные музыкальные исповеди Грига, с утра не умолкавшие над палубой, тоже плыли, как перемежающиеся волны света и теней.

В ясном небе летали чайки. Берега — зеленые и серые, лесистые и песчаные, правый — гористый, левый — луговой, неудержимо уходили назад, как в широкоэкранном кино, и казалось, что назад их относят те же волны музыки и воды.

Шестнадцатилетняя девочка стояла на верхней палубе у самых перил, все видела, всему по-детски радовалась.

«Я сейчас, наверно, очень похожа на Наташу Ростову,— думала она о себе. Недавно прочитав впервые в жизни «Войну и мир», она не знала более обаятельного героя, чем Наташа.— Красивая музыка и этот удивительно праздничный день вливаются в мою душу волнами, значит, у меня настоящая поэтическая душа — большая,

благородная и восторженная. Как хорошо, что я похожа на Наташу Ростову!»

И ей захотелось немедля рассказать обо всем, что она чувствует, своей матери или кому-нибудь другому. Лучше всего, конечно бы, матери, потому что перед нею можно не рисоваться, не скрывать никаких мыслей: что бы ни было — мама все поймет только по-хорошему, так как знает, что ее дочь хорошая. А с другими, с незнакомыми людьми, поговорить тоже, конечно, было бы интересно, но с ними надо быть все время настороже: вдруг не поймут, вдруг истолкуют что-нибудь не так, как ей хочется и как она это переживает на самом деле.

Обязательно надо с кем-то поговорить, только сейчас же, немедленно, пока не затихла музыка над Волгой, не изменилось освещение, пока не исчезло, не уплыло все то, что так волнует душу.

И она бросилась на поиски своей матери, с которой ехала к бабушке в гости. В каюте матери не оказалось, на корме, на носу — тоже. Осенью теплоход был пуст, как они и предполагали: на дальние расстояния люди пользуются более быстрым транспортом — поездами, самолетами. На теплоходе хорошо, когда спешить некуда.

Девушка встревоженно заметалась по теплоходу, и не потому, что испугалась отсутствия матери,— куда ей деться? — а потому, что не хотела упустить время, остыть. Шестнадцатилетняя, она была высока и уже настолько сформировалась и такие имела тяжелые черные косы за плечами, что выглядела почти взрослой. Даже мать иногда терялась и не знала: девочка ее дочь или она уже девушка? Бегает по музыкальным вечерам, вдруг увлечется живописью — Нестеровым, Сарьяном, Рерихом; в День поэзии не ела с утра до вечера — сновала из одного книжного магазина в другой... мучается из-за того, что все еще не знает, кем ей быть... А то вдруг увлечется чем-нибудь пустяковым совсем по-девчачьи, или, прочитав книжку какую-нибудь, наверно хорошую,— и обрадуется, запрыгает, заплачет — ну ребенок, ребенок и есть.

— Где же все-таки мама? — гадает девушка.— Может быть, и мама стоит в каком-нибудь уголочке у перил и любуется землей, и небом, и водой, и переживает то же и точно так же, как она, ее дочь, ее Маринка. А ведь правда, должно быть, что на всем корабле только два пассажира? Нет, вот в буфете за столиком сидят еще трое. Трое мужчин. Ничего — не старые, не страшные.

Взрослые. Не речники, не пароходные служащие, а тоже пассажиры, это видно сразу. Конечно, не студенты, и у них, конечно, не каникулы, а трудовой отпуск.

У одного очень важная бородка, лопаточкой — старательно подстриженная, ухоженная, а ведь молодой совсем. Девушки отращивают косы, молодые мужчины — усы и бороды, чтобы скорей казаться взрослыми. У него еще разноцветный новенький галстук на шее.

У другого не галстук, а бабочка, бантик,— артист, что ли, какой или музыкант? Может быть, сегодняшняя музыка исполняется по его заказу? Вот если бы он был музыкант и если бы сел за рояль,— Марина где-то здесь видела рояль,— да играл бы всю дорогу, вот бы!..

Третий мужчина тоже ничего... заметный... Он был в шляпе из рисовой соломки; когда Марина вошла в помещение, он быстро снял шляпу и даже вскочил. Правда, ничего не сказал, не предложил пройти, не предложил стула, просто вскочил и смотрел на нее. А все-таки интересно!

«Значит, меня уже считают взрослой! — с любопытством и самодовольством отметила про себя девушка.— Наверно, это москвичи какие-нибудь и сели на теплоход раньше нас».

Марина не задержалась в буфете, оглянулась и вышла: матери не было. Через несколько минут, побродив по узкому коридору второй палубы, она снова заглянула в буфетную комнату, но уже из другой двери. Мужчины за столиком играли в домино и разговаривали о литературе. Девушку на этот раз они не заметили.

— Для кого же и книги пишутся, если не для нас, для интеллигенции? — говорил человек в шляпе из рисовой соломки. Он, видимо, тотчас надел ее снова, как только Марина скрылась из виду.

— Это все так, но когда их читать? — заявил другой пассажир, тот, у которого росла важная бородка.— Времени не хватает. Начнешь читать книги, да нарвешься еще на интересные, да увлечешься, ну и запорешься, прошляпишь чего-нибудь по службе, и того гляди с поста снимут.— Высказав это, он перемешал кости, повернул их тыльной стороной кверху, еще раз перемешал, придвинул себе свою долю, часть отложил в сторону для прикупа и выкрикнул: — Начали! — Потом добавил: — Этак художественная-то литература боком может выйти.

— А все-таки читать надо. Дупель три! — ударил по столу первый собеседник и как-то весь качнулся вперед.

Под столом загремели бутылки. Второй наклонился, заглянул под стол, проворчал:

— Подберите ваши длинные ноги, а то прольете остатки.

— Извините, никаких там остатков уже нет. Пять — ноль! Без чтения любой пост, в конце концов, тоже, как выразились вы, боком может выйти. Кто же и читать станет, как не мы, интеллигенция?

— Интеллигенция — это хорошо, это приятно, но вот как начнут с вас шкуру сдирать за то, что черное от белого отличить не смогли, так все книжки из головы вылетят. Пять — четыре! А то еще придет срок квартальной отчетности. Бриться бывает некогда, не то что книжки читать. Бороду вот свою по неделе не подстригаю.

— А все-таки читать надо! — стоял на своем пассажир в шляпе.— Наша художественная литература воодушевляет, приподымает, она зарядку дает.

Его поддержал человек с бабочкой вместо галстука:

— Без художественной литературы всю интеллигентность можно растерять в два счета. Наша литература облагораживает нравы, очищает душу.

Маринка осторожно повернулась и тихо вышла, чтобы не заметили, что она слышала разговор, и чтобы человеку в шляпе не стало неудобно оттого, что он снова надел ее на голову.

А мама оказалась в каюте.

— Ты, Мариночка? — сказала она ласково, когда дочь прикрыла дверь и удивленно уставилась на нее.

— Откуда же ты взялась, мамочка? Я весь теплоход облазила, только в трюм не спускалась да в машинном отделении не была, а тебя нет и нет.— И от первых вопросов, и от первого удивления Марина сразу перешла к восторгам: — Какой день, мамочка, какой день! Чистая поэзия! Может быть, ты мне скажешь, бывал ли в моей жизни другой такой день? — И с ходу она бросилась на узкую коечку, и черные косы ее, которые в этой маленькой каютке показались еще крупнее, отлетели в сторону.

— Да, Мариночка, мне тоже хорошо! — спокойно сказала мать и, взяв ее косы, погладила их сначала на своих коленях, а потом уже закинула дочке за спину.

— Почему ты здесь сидишь, мамочка? Все в солнце, вся вода в искрах, все небо в зайчиках. Если бы ветер подул, мне кажется, еще было бы лучше. Ветра нет.

— Ты сама как ветер. Довольна, что поехали пароходом?

— Еще бы, мамочка, ты не могла ничего лучше придумать. Я даже не представляла, что так будет хорошо.

Мать была похожа на свою дочь, лицо тоже смугловатое, и брови черные, и волосы черные, только сама она уже не тоненькая, а коса, наоборот, тоньше, чем у дочери, да и одна она, а не две, да и цветом, пожалуй, не так уж свежа и черна. Зато брови широкие, густые, почти сросшиеся на переносье и с таким же изломом, как у Марины.

— Твой отец очень любил ездить на пароходе,— сказала мать.— Он ведь матросом был когда-то!

— Военным?

— Нет, не военным. Военным он стал только в войну.

— Хорошо, что ты мне всегда что-нибудь о нем рассказываешь.

— Ну как же я могу...

— Нам бы, мамочка, когда-нибудь вот так доплыть до Сталинграда, до этой Портяновки, и побывать на его могиле. Может, нашли бы ее.

— Хорошо бы когда-нибудь. Только не найти уж ничего, наверно. Там сейчас плотина, море.

Теплоход, видимо, сделал поворот, и солнце проникло в каюту, ткнулось в стенку, коснулось желтой медяшки на дверях, пошло по потолку... Марина встала и раздернула занавесочку во всю ширину окна. Солнца в каюте стало еще больше.

— Ты только посмотри, мама, какие берега! Казань проехали. А что это за будочки в зелени? Дачки не дачки, курятники какие-то?

Мать тоже подошла к окну. Дочь была чуть выше ее, но это обнаружилось лишь потому, что они встали совсем рядом.

— Все-таки, наверно, дачки, — ответила мать. Голос у нее был глуховатый, усталый, а у дочери звенел и то и дело прорывался на самые высокие ноты, когда уже не говорят, а повизгивают от избытка жизни.

— Как же в таких будках живут?

— Живут! Рыбаки, наверно, живут.

— Казанские сироты живут, это их дачи! — сострила Марина и, довольная собой, засмеялась первая.

Кусты на берегу откатывались назад с большой скоростью, будто клубы зеленого дыма. Навстречу им летели голубоватые клубы облаков. В воде зеленое и голубое сливалось, перемешивалось, и ощущение больших глубин и больших скоростей от этого только увеличивалось.

— У нашего теплохода есть подводные крылья? — вдруг спросила Марина.

— Если б мы шли на крыльях, разве бы не знали об этом?

— Все равно мы на крыльях.

— Это ты на крыльях.

— А ты — нет?

— Я нет. Я отдыхаю, Маринушка. У меня теперь не очень интересная работа, а это утомительно.

— Я тоже отдыхаю.

— Разве ты устаешь когда-нибудь?

— Что такое интеллигентность, мама?

— Вот те на! Я сама не знаю. У меня ведь почти нет образования.

— Ну, а все-таки?

— Наверно, это культурность, образованность. Потом, интеллигентный человек — хороший человек.

— Обязательно?

— Ты меня, дочка, прямо к стенке прижала. Дай хоть подумать.— Мать отошла от окна, снова села на койку.— Почему ты об этом спрашиваешь?

— Что такое интеллигентность, мам?

— А не лучше ли тебя об этом спрашивать, ты ведь больше моего училась? Ты уже интеллигентная.

— Да? Но я еще не интеллигенция.

— Твой отец, доченька, был простой человек, его никто не считал интеллигентом... А он был очень хороший человек. Ты меня понимаешь?

— Ты совсем запуталась, мама.

— Вот те на!

— Оказывается, мы здесь не одни, мама. Ты знаешь об этом?

— Да, кто-то еще есть. Завтракать нам не пора?

— Покормиться не мешало бы. Я, мамочка, очень проголодалась. Воздух же!

— Пойдем поищем столовую.

— Тут есть буфет.

— Наверно, и столовая работает, раз мы не одни.

— Я видела буфет, и в нем сидят три пассажира.

— Пошли.

Они встали, но еще долго не выходили из каюты. Мать, поднявшись, расправила на себе складки платья — платье было небогатое, вискозное, потому мялось сильно; затем она подошла к зеркальцу, пристально вгляделась в самую глубину его и, вглядываясь, то отходила, то

приближалась к самому стеклу, словно пыталась обнаружить в нем, за ним, что-то давно утраченное и забытое; затем она достала из сумочки карандашик помады и подвела себе губы; потом поправила волосы на голове, легким движением плеч перекинула косу на грудь, осмотрела ее, чуть поправила узел ленты и так же ловко снова забросила косу за спину; потом...

За это время дочка тоже осмотрела себя и приготовилась к выходу «на люди», но она это сделала быстро, почти незаметно и, кажется, без всякого интереса к себе, просто повернулась несколько раз вокруг своей оси да ножкой притопнула,— с нее и этого было достаточно. Приготовилась и остановилась у порога, ожидая мать.

А мать перед зеркалом начала еще неторопливый рассказ:

— Интересный был случай однажды со мной. Ехала я вот так же на теплоходе поздней осенью. Дождь льет, вода серая, небо серое, из каюты не выйдешь. Сидела я, сидела в каюте, вышивала что-то, досидела до вечера, есть захотелось, а с собой ничего не было, на столовую понадеялась. Пошла в столовую пообедать, а столовая закрыта, и на теплоходе нигде ни одной живой души. Даже служащих никого. Неужто, думаю, без капитана плывем? Капитана все-таки нашла. Будут ли, спрашиваю, остановки где-нибудь, чтобы достать еды? Он как удивится: «Неужели у нас пассажиры есть?» Наклонился к медной трубке, кричит кому-то: «На корабле обнаружена пассажирка, накормить ее немедленно!» Прибегает ко мне белый человек — кок, прибегают несколько матросов, ведут меня прямо па кухню — на камбуз, потом в кают-компанию, усаживают за общий стол, с командой вместе. И давай меня кормить. Кажется, никогда я такого вкусного борща не едала, как в тот раз. А ведь незнакомые все, подумаешь, беда какая, что пассажирка голодная едет. Сама виновата, запасайся провизией, не содержать же им столовую на одного человека.

Мать вспоминала об этом с таким удовольствием, как будто это было одно из самых необыкновенных и важных событий в ее жизни. Она даже помолодела на глазах у дочери.

И Маринка стала о чем-то догадываться.

— Давно это было, мамочка? — с интересом начала она допрашивать.

— Давно, очень давно. Еще войны не было.

— Ты тогда девушкой была?

— Да, Маринка!

— А мой отец был матросом?

— Тоже верно. Значит, ты догадалась, Маринка? Он тогда еще не был твоим отцом. Он никем еще не был.

— Он тебя и кормил этим борщом?

— Кормил-то не он. Но это был памятный борщ, первый борщ в нашей жизни.

Наконец мать успокоенно отошла от зеркала.

— Пойдем пообедаем.

— Пойдем, мамочка, позавтракаем. Мы еще не завтракали.

— Позавтракаем и пообедаем заодно. Спешить некуда.

●

Буфет все-таки был столовой, и даже не столовой, а рестораном,— по крайней мере, он так назывался. Квадратные дюралевые столики, накрепко принайтованные к палубе, сияли скатертной белизной. Официантки не было, но солнце ходило от стола к столу, и все помещение казалось убранным по-праздничному. За буфетной застекленной стойкой, среди винных и коньячных бутылок и стопок и холодных застарелых закусок возвышалась женщина с тройным молочным подбородком, вся в белом и сама дебелая, как буфет. Делать ей было нечего, а покидать пост не полагалось, поэтому она время от времени переставляла закуски, трогала вазы с конфетами, иногда брала стакан или рюмку и, дунув на стекло, протирала его полотенцем, а то клала леденец в рот и старательно рассасывала, причмокивая выразительными подвижными губами.

Три интеллигентных пассажира сидели все за тем же столиком, за которым их видела Марина. Теперь они не играли в домино, а пили водку. Больше никого в ресторане не было.

Когда мать и дочь вошли в ресторан, мужчины оборвали разговор и заметно заволновались. Это были те же самые мужчины, Марина в этом убедилась, как только взглянула на них: один почти юноша, похожий на артиста или музыканта, ясполицый, безусый, с чистым, немного покатым лбом, в черном чистом трико с бабочкой-бантиком вместо галстука; другой пассажир — с важной, аккуратно подстриженной бородкой — может, лишь из-за этой бородки он и казался старше первого; костюм

на нем был не черный, а светло-серый, цвета сухого речного песка; третий собеседник, тот, который утром был в шляпе из рисовой китайской соломки, сейчас сидел без шляпы, он был так же хорошо одет, как и другие, но, как Марина заметила, значительно превосходил всех ростом.

Мать, увидев на столе мужчин уже опорожненную бутылку из-под водки, настороженно замедлила шаги, видимо решая, куда удобнее им пройти — вправо или влево от буфета, а может быть, лучше и вовсе не входить в ресторан, от которого сразу пахнуло обыкновенной забегаловкой. Но в этот миг высокий мужчина — как оказалось, очень высокий, — повернувшись к вошедшим женщинам, поспешно встал, как это он сделал и в первый раз, при появлении одной Марины; за ним, видимо, в подражание ему, поднялись и другие мужчины — и мать успокоилась.

— Пожалуйста, извините нас и не обращайте на нас внимания,— почтительно заговорил высокий с курчавой густой шевелюрой под самым потолком.— Дорога, знаете, дальняя, нескорая, пока едем, много воды утечет, скучно, разговоры надоели, и решили немного оскверниться, не все же одну воду лить. Извините нас и не беспокойтесь.

— Пожалуйста! — сказала мать.

Тогда высокий произнес еще одну речь:

— Конечно, для зеленого змия погода не подходящая, жарко, но поскольку в обществе уважающих себя русских интеллигентов, к тому же находящихся в служебной командировке, баловство чем-либо иным, кроме водки, считается непозволительным, то и мы не посмели отступить от общепринятых неписаных законов. Выпили по маленькой за всех плавающих и путешествующих. Простите нас еще раз.

Речь его была витиевата, курчава, как и высокопоставленная его голова. Смотрел он при этом весело и приветливо, и мать улыбнулась.

— Пожалуйста! — повторила она.— Не стесняйтесь. Мы с дочкой зашли позавтракать. — Она осмотрелась вокруг и первая села к столику у раскрытого окна с трепетавшей от ветерка занавеской. Напротив нее села Марина. Опустились за свой стол и мужчины.

Осмотрев столики и не найдя меню, мать подняла глаза на буфетчицу, но та не двинулась со своего поста, и мать попросила:

— Можно будет позавтракать?
Буфетчица заколыхалась и произнесла:
— Подойдите сюда, у нас самообслуживание.
— А что у вас есть на завтрак? — спросила мать.
— У нас есть обед. Советую сразу пообедать, а то ничего потом не будет, голодные останетесь.
— Хорошо, — согласилась мать. — Мы пообедаем. Мариночка, ты согласна?
— Конечно, мам!
— А не пообедать ли, товарищи, заодно и нам? — громко обратился к своим все тот же мужчина.
— Вот это идея.
— Верная мысль и вовремя высказана. Действительно, что мы тут без дела будем сидеть, работать надо! — весело поддержали его остальные.
— Конечно, обедайте сразу все, чего тянуть! — посоветовала и буфетчица.— Потом голодные останетесь. Водкой не напитаешься.
Марина шепнула матери:
— Я еще никогда не видела таких буфетчиц.
— А что? — шепотом же спросила мать.
— Все такие бойкие, быстрые, тоненькие, а тут...
— Да-а!..— подтвердила мать.— Только бойкости, наверно, и у этой хватит когда и где надо.
— Дайте-ка нам меню, пожалуйста! — попросил буфетчицу артист с бабочкой.
— Меню у меня нет, а есть щи кислые да котлеты.
— Как так меню нет?
— А так и нет. Вас всего пять человек, какое еще меню надо?
— Но у вас же ресторан? — удивился артист.
— Ну, ресторан!
— В ресторане положено иметь некоторый ассортимент блюд на выбор.
— Ну, положено. А кто выбирать будет?
— Позвольте, позвольте! — не унимался артист.— Ежели положено, то будьте любезны!
— Чего будьте любезны? Чего позвольте? — начала обижаться буфетчица.— Хотите обедать — обедайте, есть обед.
В разговор вмешался мужчина с бородкой, в костюме цвета речного песка:
— А действительно, в ресторане мы или нет? Имеем мы право или нет? В предписании министерства есть списки обязательных блюд и горячих и холодных закусок

для столовых и ресторанов всех разрядов. Для вас что — предписания министерства не закон?

Буфетчица вышла из-за стойки, все три подбородка ее вздрагивали:

— Вы вот что! — заявила она.— Скандалов я тут не потерплю. Министерством меня пугать нечего. С утра пьют водку да еще министерством стращают. Ежели вы люди культурные, то кушайте, что дают. На пять человек мы вам всю кухню на ноги поднимать не будем.

— Кого вы будете поднимать — это не наше дело. Вы скажите прямо, существует для вас закон или не существует? — Бороде, по-видимому, казалось, что он подсекает буфетчицу под самый корень, но та знала свой объект и все законы, которые для нее на этом объекте существовали.

— Вишь, законник какой выискался! Ты законом мне в зубы не тычь! — пошла она в решительное наступление.

— Вы меня не тыкайте! — возмутился вдруг пассажир с бабочкой, хотя предыдущие слова буфетчицы относились совсем не к нему. — Вы не смеете меня тыкать на «ты».

И буфетчица отступила, поворотив те же слова, только по-другому:

— А вы не тычьте мне в зубы законом, — поправилась она. — Вишь, какие законники выискались.

Пока обе стороны отстаивали священные принципы законности, мать и дочь с тревогой переглядывались друг с другом, и мать решилась наконец попробовать включиться в борьбу за мир:

— Может быть, мы все-таки пообедаем?

— А я что говорю? — рявкнула буфетчица.— Мы из-за пяти человек обед приготовили, а вы: хочу — не хочу! Это на берегу, а на воде — тут нечего свои законы устанавливать.

— Законы везде одинаковы, вы это бросьте!..— не хотела сдаваться бородка, но мирный голос женщины уже был услышан, его подхватил высокий курчавый пассажир и тотчас встал:

— Извините нас великодушно за этот шум и, если вы не откажетесь, — начал он, по-прежнему витиевато обращаясь к матери Марины, и длинные ноги его подгибались от учтивости.— Простите, как прикажете называть вас?

— Меня зовут Полина Васильевна.

— Очень приятно.— Я — Виктор Захарович. Если вы не откажетесь, Полина Васильевна, и если не пугает наше общество вашу уважаемую дочь Марину,— я ведь не ошибаюсь, вы так ее называли? — то мы все будем рады видеть вас за своим столом.

— Спасибо! Но столики такие маленькие... не беспокойтесь...— стала отказываться мать.

— В таком случае извините,— почтительно склонил свою высокопоставленную голову Виктор Захарович и сел.

— Столики не помеха,— выручил его сосед с бабочкой на горле.— Столики мы сдвинем, и все усядемся свободно. Будьте любезны, не отказывайтесь. Меня прошу называть Виталием Борисовичем.

— Столики не сдвинуть! — заявила буфетчица из-за стойки.

Виталий Борисович дернул рукой один столик, толкнул другой и смутился.

— Да, простите, я об этом не подумал.

— Я тоже не учел этого обстоятельства,— сказал Виктор Захарович.— Но вы можете свободно сесть за этот соседний столик. Все-таки будет одна компания. А можем и мы присесть к вам поближе, к вашему окну.

Полина Васильевна слушала и думала — соглашаться ей или нет? Пожалуй, если обедать вместе, то мужчины больше не будут пить водку — и это уже лучше. Да, кажется, и не плохие они люди,— не с улицы, деликатные. Хотя уже заметно повеселели.

— Пересаживайтесь, пересаживайтесь! — вмешался в ее соображения третий человек, тот, что с бородкой. — И не сомневайтесь, мы люди интеллигентные. Не последние спицы в нашем обществе. С нами не пропадете.

Когда Полина Васильевна и Марина подошли к ним, чтобы сесть за соседний столик, он первый подал им свою руку и тоже назвал себя: Вениамин Александрович. Светло-серый пиджак осветило солнце, отчего он посветлел еще больше, совсем как сыпучий песок на речном пляже.

Так они познакомились.

Кислые щи всем понравились — их ели и хвалили.

— А что я вам говорила? — торжествовала буфетчица. Нет, она не злорадствовала, что одержала верх над клиентами, не мстила им, она просто радовалась, что все уладилось подобру и что ее кислые щи всем нравятся.

Мужчины допили водку из рюмок. Полине Васильевне они предложили виноградного вина, но та отказалась, и мужчины не стали настаивать. Не стали больше пить и сами.

А настроение все улучшалось. Разговор стал веселым, каждый старался отличиться какой-нибудь шуткой, чтобы рассмешить других, и когда это удавалось — сам радовался. Все подобрели друг к другу и особенно к женщинам. Буфетчицу уже называли по имени-отчеству и приглашали за общий стол. Об имени-отчестве спросил ее все тот же любезный и велеречивый Виктор Захарович.

— Простите, как прикажете называть вас? — спросил он.

И буфетчица ответила сразу, не ломаясь:

— Нора Феоктистовна.

— Очень приятно, многоуважаемая Нора Феоктистовна.

— Так-то оно лучше,— примирительно сказала буфетчица.— А то все законы да законы. Надо по-человечески разговаривать.

— Но вы тоже, признайтесь...

— Да я-то признаю... Каждый должен знать свое место, вот что.

— Позвольте, вы о чем?

— Да все о том самом.

Между тем Виталий Борисович возобновил разговор о щах.

— Что напоминают нам эти кислые щи? — сказал он, поправляя после каждой схлебнутой ложки свою бабочку на горле. — Почему нам всем они так понравились? Как вы думаете, Вениамин Александрович?

— Вы, наверное, опять в философию хотите удариться,— ответил тот.— Традиционные кислые щи, русская интеллигенция, закваска и прочее? — На его ухоженной, аккуратно подстриженной бородке уже висели мокрые клочки вареной капусты.

— А как думаете вы, Полина Васильевна? — обратился Виталий Борисович к соседнему столику.

— Я думаю, они потому и понравились вам, что кислые. Вы же водку пили.

Виталий Борисович чуть не взвизгнул от радости:

— Вот истина! Вот сермяжная правда! И так просто вы ее высказали! Наверно, даже сами не знаете, что уловили суть вопроса. Кислые щи напоминают нам русский традиционный квас. Это же не щи и не квас, а легенда.

Она так же необходима нашей натуре и так же укоренилась в нашем быту, как древние былины об Илье Муромце и Микуле Селяниновиче.

— Позвольте, но ведь Полине Васильевне кислые щи тоже понравились, а к водке она не прикасалась. Где же правда? — сказал Вениамин Александрович.

— Я люблю их с детства,— ответила Полина Васильевна,— пища эта простая, и я человек простой — мы друг к другу подходим.

— Вот суть вопроса! — восхищался артист с бабочкой.

Полина Васильевна решила разъяснить эту суть вопроса.

— Мой дед еще очень любил опохмеляться квасом да кислыми щами. Жили мы в Нижнем, в Сормове. Дед запивал частенько, а потом и отец привык, квас да всякая другая кислая пища в доме не переводились. Я и привыкла к такой пище. Люблю еще капустный рассол, без памяти люблю.

— Вот откуда древние легенды и былины идут! — торжествующе возглашал Виталий Борисович.— Все традиции наши восходят к простому народу, питаются его бытом.

Между прочим, все мужчины уже заметили, что их соседка, Полина Васильевна, действительно женщина простая, может быть, даже слишком простая. Об этом говорило ее безыскусное лицо с чрезмерно разросшимися, черными бровями, чересчур сильные рабочие руки, и срезанные напрочь неманикюренные ногти, и не очень новое платье из дешевого вискозного шелка, и манера держаться в обществе, в ресторане — излишне скромная, диковатая, настороженная. Конечно, простая женщина! И может быть, именно поэтому все мужчины, все трое старались быть с нею особенно вежливыми и предупредительными, чтобы ничем не обидеть ее,— все-таки человек другого круга. Дочка ее, Марина, — другое дело. Эта — да! В ее лице больше озаренности, больше полыхания, если хотите, больше школы, это, так сказать, представительница двадцатого века, в ней во всей, особенно в ее изящной фигуре, есть уже изысканность нового поколения и, так сказать, что-то от высшего советского, так сказать, нового аристократического общества. Но это еще ведь совсем девочка!

А Полине Васильевне понравилось среди этих интел-

лигентных, ну, конечно, немножко подвыпивших, но не грубых людей. Она даже не прочь была пококетничать с ними и то и дело заглядывала издалека в распахнутую створку окна, в стекле которой можно было увидеть свое изображение почти как в зеркале.

А Марине нравилось чувствовать себя уже девушкой, почти взрослой, и замечать взгляды взрослых мужчин, брошенные в ее сторону. Правда, с ней почти не заговаривали, но это ее, пожалуй, устраивало еще больше, потому что иначе бы она больше стеснялась. Нравилось еще ей присутствовать при интересном и непринужденном разговоре обо всем, обо всем. Она внимательно слушала эти разговоры, и ей казалось, что они пойдут ей на пользу, что они ее развивают. Особенно интересно было слушать длинные извилистые периоды Виктора Захаровича. Она еще ни разу, пожалуй, не слыхала, чтоб так разговаривали за столом. Ну, на трибунах, — другое дело! В романах, правда, так разговаривают. Да вот еще: однажды попала она в клуб писателей и слышала там такого же удивительного, тоже немножко пригибающегося, на длинных ногах говоруна. Его тогда все слушали и почему-то смеялись над ним в открытую.

А как он говорил! Даже рифма иногда попадалась. Выступал будто бы писатель разговорного жанра. Чудо! В школе разве что-нибудь подобное услышишь: вечная строгость, внушения, дидактика (это слово Марина уже знала!).

Марина начинала воображать, что перед нею какие-то герои из «Войны и мира» и сама она тоже героиня, и стала подгонять живых, сидящих перед нею людей под литературных героев, понравившихся ей на всю жизнь. Разве уж так не похожи одни на других, разве нельзя их подрисовать — кое-что добавить одним, кое-что перечеркнуть у других, кое на что закрыть глаза... А фон — волны воды и света, легкое прозрачное небо, и радостная свойская земля, и удачливый с утра день, и музыка, и каникулы — можно, наконец-то, не думать об уроках!

«Ну я — это, конечно, Наташа Ростова,— думает Марина.— А это, конечно, моя мама. Она нисколько не хуже никакой графини. И графине Ростовой она ни в чем, конечно, не уступит, она даже моложе ее на много-много лет и, по-моему, красивее. Мама ей двадцать пять очков вперед даст. А что графиня была добрая, так трудно ли графине быть доброй? Попробовала бы она на мамином месте раздавать направо и налево свою доброту.

Что бы ей тогда на пропитание осталось. Мама работает с утра до вечера, да дедушка работает и пенсию получает, да двое дядей работают, и все равно... э, да что тут говорить! Моя мама в тысячу раз добрее графини Ростовой. Хотя я, конечно, не против графини. И насчет правдивости и честности моя мама не уступит никакой графине. И благородства этого аристократического в ней хоть отбавляй! А если бы этих графинь на наше место...

Теперь вот этот Виталий Борисович в черном костюме, артист с бабочкой,— кто он? Князь Болконский или кто? Князь?.. Хм... Как звучит — князь...— Представив себе Виталия Борисовича князем, Марина чуть не расхохоталась вслух.— А этот длинноногий Виктор Захарович, которого она при первой встрече видела в шляпе из рисовой соломки, представитель разговорного литературного жанра, вскакивающий с места при появлении женщин, — этот, конечно, из высшего света. Кто же он? На какой новой общественной лестнице он стоит? Князь он или граф? Простой служащий? А с кем можно сравнить интеллигентного Вениамина Александровича с его аккуратной модной бородкой — с каким деятелем, с каким полководцем? А кто из них Пьер, кто Анатоль Курагин? Ведь наверно же есть среди них и Анатоль Курагин?..».

— Между прочим, дело не в кислых щах, скажу вам, и не в квасе,— продолжал Вениамин Александрович, сняв со своей холеной бородки ленточки капусты,— то есть, я хочу сказать, дело не в традиционной привязанности русского народа ко всякой кислятине. В этом вопросе, дорогие спутники, надо видеть правду жизни. Почему мы летом, когда повсюду полно свежей капусты, едим кислые щи? За такие щи надо людей с постов снимать, а не расхваливать вкус этого варева,— вот что я вам скажу. Есть у вас свежие овощи, уважаемая Нора Феоктистовна? — обратился он к буфетчице.— Нет! Почему вы нас кормите кислыми щами в овощной сезон? Кто позволил? Вот о чем говорить надо. Вот где надо правду искать. Если не мы, интеллигенция, то кто же будет стоять за правду?

— Вы опять о правде? — с неудовольствием возразила на это буфетчица.— Далась вам она, правда!

— А кто же за правду стоять будет?

— Тогда не о капусте говорить надо.

— Капуста тоже продукт. Куда девалась свежая капуста? Вот вы работаете по торговой части,— обратился вдруг Вениамин Александрович к артисту с бабочкой.— Можете вы объяснить нам, почему в сети пищепрома,— а мы это заметили и при посадке, и на предыдущих остановках, — в такое время года нет свежих овощей?

Марина, услышав, что Виталий Борисович, тот самый, которого она принимала за музыканта или за артиста, тот, в черной, почти фрачной паре, с белоснежным воротничком, с черной шелковой бабочкой вместо галстука, никакой не артист и не музыкант, а просто «работает по торговой части», ужаснулась и стала смотреть на него почти с негодованием, как и положено аристократической Наташе Ростовой. Ведь он, может быть, просто какой-нибудь метрдотель.

— Так что же? Почему же? — допытывался Вениамин Александрович.

— Ну, это и я вам могу сказать почему,— вмешалась буфетчица.

Развенчанный в глазах Марины Виталий Борисович ответил:

— Да просто потому, что свежие овощи не дошли еще до потребителя.

— Когда же дойдут?

— Когда гнить начнут — как бы вскользь заметила Полина Васильевна, которая к торговой сети, по-видимому, относилась весьма критически, как всякая домашняя хозяйка. И добавила: — Не гнилая картошка продается только на базаре, с рук. Может, я ошибаюсь?

— Второе подавать? — спросила буфетчица.

— Позвольте, а что у вас?

— Вам опять выбор нужен? Ох уж эта мне интеллигенция!

— А все же что?

— Котлеты есть!

— Так это же отлично! С гарнирчиком! — заговорили все.

Буфетчица сходила куда-то за перегородку и принесла на подносе сразу пять порций котлет. Не будем говорить, какие они были, важно, что гарнирчик оказался консервированным гороховым пюре.

— Ну вот, пожалуйста! — возмутился Вениамин Александрович.— А где морковь, где картошка, где та же капуста?

— Опять вам капусту? — с некоторой шутливостью начала ворчать буфетчица.— Капусту вам подай — скажете: а где горох? По капусте и по картошке планы еще не выполнены, законник вы этакой! Не может капуста поступить к потребителю, раз планы не выполнены. Она сдается государству.

— Ладно, ладно, Нора Феоктистовна...

— Я-то Феоктистовна, а вы вот интеллигентные люди, смотрю я, сами выпили, а даму так и не угостили. У нас сладкое вино застаивается. Да и котлеты бы полегче пошли.

Предложение было высказано весьма кстати, мужчины уже давно томились от того, что их рюмки были пусты, а Полина Васильевна уверилась, что в такой хорошей компании можно позволить себе даже вина выпить, поэтому все обрадовались, и Нора Феоктистовна вынула из-за стойки с бутылкой водки и бутылкой «Волжского» яблочного. Сладкого налили рюмочку даже Марине, и она не отказалась, и мать ей позволила. Только буфетчица снова ни за стол не села, ни вина не выпила.

— Не положено это! — твердила она одно и то же.— Не положено, и все. И не приставайте ко мне!

Длинноногий Виктор Захарович, встав с места, попытался воздействовать на многоуважаемую Нору Феоктистовну изысканностью речи, но и это не помогло.

— Если бы нас, пассажиров, было много,— говорил он,— если бы теплоход был полностью укомплектован, если бы обилие заказов клиентов не позволяло вам отвлекаться от исполнения непосредственного своего служебного долга, если бы...

— Не положено! — перебила его Нора Феоктистовна.

— Дисциплина есть дисциплина! — занял позицию буфетчицы Виталий Борисович.— Я ее понимаю. Могут быть неприятности для нее.— Он-то уж, видно, знал, как это бывает в торговой сети.

— С поста снять могут, это точно. Чуть прошляпишь, и снимут,— подтвердил Вениамин Александрович.— Да еще объявят: «Освободить от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу». Малые дети и те уже знают, что это у нас означает. Но вы слыхали, что такое дисциплина? — спросил он, разливая водку по стопкам и наклоняясь над ними, так что бородка почти касалась стола.— Суть всякой дисциплины в том, чтобы не казаться умнее своих начальников. Как? В точку? — Вениамин Александрович сам захохотал.

— В точку-то в точку, но это уже отдает анекдотом,— возразил Виталий Борисович.

— Хотите знать правду — не пренебрегайте анекдотами.

Выпили водочки по одной, выпили по второй. Полина Васильевна тоже выпила, и ей было хорошо. Естественно, что в пути люди знакомятся легко и быстро, особенно когда их немного, когда вагон или теплоход не полностью укомплектованы. А когда выпьют, то начинают и больше нравиться друг другу.

Говорили о службе и о служении народу, выясняли, в чем разница между этими понятиями и кого можно считать слугами народа, а кого нельзя. Говорили об учрежденческих служебных отношениях, о единоначалии и деспотии, об умении вовремя выступить, вовремя поднять вопрос и об умении составлять нужные отчеты. Виталий Борисович поделился своими соображениями о том, как важно поддерживать добрые отношения с единомышленниками по службе и с начальниками.

— Вот, скажем, визиты,— говорил он.— Слово устарело, а существо осталось. Потом визиты визитам рознь: тут важно, с чем пришел, зачем пришел и что в душе принес. Или, скажем, поздравления к празднику. Новогодняя открытка стоит сорок копеек, написать ее вообще ничего не стоит, так надо рассылать их как можно больше. Вас же от этого не убудет. А телеграмма — та дороже стоит, зато и больше стоит. Надо и телеграммы посылать.

Интересно рассказывал Виталий Борисович о том, как и что происходит в учреждении, когда начальник пошевелит пальцем.

Для Марины, да, пожалуй, и для матери ее приоткрывался какой-то совершенно новый полусказочный мир учрежденческой жизни. Буфетчица за стойкой сосала леденцы. Теплоход время от времени давал гудки и поворачивался к солнцу то одним бортом, то другим, будто принимал солнечные ванны и заботился, чтобы загар получился ровный.

Речь Виктора Захаровича становилась все менее витиеватой, водка действовала на него расслабляюще, длинные ноги его начинали чрезмерно подгибаться.

Вениамин Александрович оставался в суждениях сво-

их неколебим — он ратовал за правду, но одновременно считал, что жить и служить надо так, чтобы с поста не снимали.

А Виталий Борисович проявил наибольшую осведомленность в вопросах о том, что следует считать очковтирательством и есть ли разница между очковтирательством и показухой и что такое подлинная социалистическая отчетность.

Закупать яйца на Украине, оплачивая их государственной древесиной, заготовленной сверх всяких планов, сдавать эти яйца государству как свои и получать премии за выполнение социалистических обязательств и выходить «по яйцу» в передовые области — это скорее всего очковтирательство...

Что же такое показуха? Это, пожалуй, когда под боком у областного центра создается два-три показательных хозяйства, для которых начальство не жалеет ни сил, ни средств, ни места в газетах и на которые работает чуть ли не вся область, создается для того, чтобы в случае приезда каких-нибудь высокопоставленных гостей привезти их в эти хозяйства и сказать: вот что мы имеем; это, конечно, лучшее, но на это равняются все наши хозяйства и скоро вся область будет такой...

Бывает еще показуха другого рода. А впрочем, черт их разберет — где показуха, где очковтирательство. Сами себя подчас за нос водим.

— Правда, все это накладные расходы нашего продвижения вперед, — говорил Виталий Борисович уже языком торговли, — но из-за этих накладных расходов растут цены и увеличивается прожиточный минимум.

Вениамин Александрович соглашался с ним, но, ратуя за правду, добавил:

— Плохо, когда ложь возводится в принцип.

— Не всякая ложь — ложь,— отвечал ему Виталий Борисович...

Вениамин Александрович задумывался, разглаживал свою бородку и опять вставлял слово:

— Все надо делать вовремя, к месту, чтобы все соответствовало интересам государства...

Виктор Захарович начал ухаживать за Полиной Васильевной, то и дело вставал перед нею и предлагал ей выпить еще рюмочку и еще рюмочку. Но стоять долго он не мог, ноги подгибались. Правда, сам он не считал, что

опьянел, потому не упускал случая принять участие и в интеллигентном разговоре.

— Правда — штука обоюдоострая,— заявил он,— двояковыпуклая и двояковогнутая, это палка о двух концах. Главное же...

— Понесло, батенька, на высокие материи! — сыронизировал практический Вениамин Александрович и налил всем по новой стопке водки.— Говорили про свежую капусту, а вы...

Полина Васильевна решила уйти, поблагодарила всех за компанию и открыла сумочку, чтобы расплатиться. Мужчины возмутились: это унижает их достоинство, дамы есть дамы и платить в ресторане не их дело. Полина Васильевна твердо настаивала на своем. Дочка смущенно отошла в сторону. Буфетчица из-за стойки слушала препирания безучастно, а потом почти приказала Полине Васильевне:

— Подойдите сюда, я получу с вас, а мужчины за вино пусть платят.

Когда Полина Васильевна подошла к буфету, она ей шепнула:

— Уважаю самостоятельных.

Мать и дочь ушли, буфетчица выдвинулась из-за стойки и объявила:

— Обед кончился. Ресторан закрыт!

Мужчины расплатились и перешли в гостиную, где до вечера играли в домино и в карты. Во время игры, среди многих ничего не значащих восклицаний и поговорок, нередко вспоминались и женщины. Кто-то вдруг спрашивал как бы про себя:

— А?.. Славная птичка?

— Да, ничего себе! — отвечали ему.— А вы про которую?

— Да вот про ту самую.

— Девочка еще.

— Я не про нее.

— Про маму? Да, с перчиком!

— Да нет...

— Чего нет?

— Про ту.

— Что-о? Упаси меня бог: Тула!

— Какая Тула? Козырная шестерка у кого?

— Вот она. Зато уж чистый товар весом, никакой показухи.

— Да, без очковтирательства.

— Под водочку все пройдет.
— Фи!
— Что фи? Барышня фи!
— Ваша очередь!

Полина Васильевна после обеда легла спать, а Марина пошла бродить по теплоходу. Удивительный день в ее жизни продолжался, краски не меркли, ощущение праздника в душе не ослабевало. Все ей нравилось, и самой хотелось всем нравиться. И конечно ж, она всем нравилась! Не может быть, чтобы она не нравилась кому-нибудь. На нее так смотрели, так смотрели, и не мальчишки какие-нибудь, а взрослые интересные, интеллигентные мужчины. Что за беда, что она ошиблась и приняла за музыканта какого-то работника торговой сети. Ведь что такое торговая сеть? Вероятно, служащие из министерства торговли — тоже работники торговой сети? А министерство внешней торговли — тоже сеть. Какая, должно быть, сложная и богатая жизнь в учреждениях, если там работают такие интересные, деликатные люди. Ну — «очереди на прием», ну — «приходите завтра» и разные там «входящие и исходящие» — все это, наверное, есть, раз об этом пишут и с этим борются. Но ведь вот же — люди живые, и они не бюрократы какие-нибудь, не чинуши, а сердечные, вежливые. И за правду стоят и все понимают...

Марине почему-то представлялось, что ее новые дорожные знакомые обязательно работают в высоких учреждениях. Не зря же они так часто говорят об интеллигентности. А она еще ни разу не встречала в жизни настоящих интеллигентов — какие же они?

В течение дня Марина обошла, наверно, все помещения теплохода, все его палубы и надстройки, заглядывала во все двери, на которых не висели слова: «Вход воспрещен!» и не раз видела издалека сидящих на одном и том же месте трех мужчин, с которыми она теперь была по-настоящему знакома. Они яростно стучали костями по столику, что-то говорили друг другу, видимо, спорили, видимо, шутили, много смеялись и — ни одного грубого слова, ни одного! Это просто удивительно!

Больше на теплоходе людей не было, если не считать редко встречающихся рабочих команды. Они-то, вероятно, и назывались матросами, хотя ни черных знаменитых брюк-клеш, ни полосатых тельняшек они не носили и разбойничьей татуировки на руках и на груди она у них не обнаружила. Один такой матрос, здоровенный,

круглощекий, лет двадцати пяти, с массивными грубыми надбровьями, в серых парусиновых брюках и парусиновой длинной рубахе без ремня, мыл палубу шваброй, похожей на конский хвост. На белом ведре, которым он набирал воду из крана и лил себе под ноги, выведена была красная буква «Р». Марина остановилась чуть в стороне от перил и смотрела, как старательно он работает. Протерев небольшой участок палубы, парень поставил швабру к стенке и стал начищать тряпкой медные дверные ручки, изредка поглядывая на Марину. Когда легкий ветерок откинул ее косу и чуть приподнял ситцевое платьице, матрос грубовато пошутил, обращаясь к ней на «ты», видимо приняв за совершеннейшую девчонку:

— Держи платье, а то, гляди, ветер унесет.

Маринка судорожно ухватилась обеими руками за платье, прижав его к коленям.

— Простите! — сказала она.

Матрос помолчал и заговорил снова:

— Вот красоту навожу, надраиваю. А ты гляди не сюда, а на берег, там скоро настоящая красота начнется. Горы пойдут. И небо сегодня интересное.

— Да, небо сегодня интересное. Сегодня все очень интересное, простите! — смутилась девушка.

Ей не понравилось, что матрос заговорил с ней на «ты» и как-то очень уж снисходительно, словно с пятиклассницей, но подумать о нем плохо она не могла, потому что все время старалась представить себе, как ее отец тоже когда-то мыл палубу и надраивал медяшки на теплоходе. Не на этом ли?

— Простите! — сказала она и ушла на корму.

Приятно было стоять на корме теплохода и смотреть вниз, на вспененную винтами воду. Так и кажется, что в этих бурунах мелькают спины дельфинов. Но ведь дельфины в море, а это река, хоть и Волга. Почти неотступно летят за теплоходом чайки, часто опускаются к самой воде и, быстро-быстро трепеща крыльями, что-то хватают и снова взмывают в синее, в голубое, в молочно-розовое небо. Неужели они летят от самой Москвы, не сменяясь?

Но еще приятнее стоять на носу теплохода, потому что здесь ветерок дует. Это ветер движения, ветер скорости! Хочется расплести косы, распустить волосы, и пусть их треплет ветер. Марина так и сделала, только не на носу,— здесь могли увидеть с капитанского мостика,— а на боковой палубе, где не было ни одной живой души. Распустила волосы, и, когда они прикрыли плечи, грудь,

спину, свесилась с перил, ей очень захотелось, чтобы те трое мужчин увидели ее такую — занавешенную собственными волосами, затененную, необыкновенную.

Волосы на ветерке быстро спутались, и Марина не смогла их ни расчесать, ни разобрать на плети, чтобы снова забрать в косы, поэтому она затянула их, не заплетенные, на затылке узлом и так пошла бродить с черной копной на голове.

На одной из коротких остановок мужчины, все трое сразу, сошли на берег, и Марина с огорчением подумала, что они покинули теплоход совсем. Но мужчины вернулись и принесли с собой каждый по бутылке вина — не белой водки, а какого-то золотистого вина, и снова уселись за столик в гостиной и стали пить, и шутить, и хохотать. Марина несколько раз прошла невдалеке от них и опять ни разу не слышала ни одного-единого грубого словечка от них. И ей очень хотелось подойти к ним и сесть с ними рядом, ничего, конечно, не пить, а просто посидеть с ними вместе. Но она, конечно, не сделала этого, она даже думать не думала об этом. Хотелось еще, чтобы они сами увидели ее и пригласили бы в свою компанию, но они почему-то не заметили ее и не пригласили. Что ж, может быть, так и лучше, а то, пожалуй, было бы и неудобно, и страшно чего-то, а отказаться сил не хватило бы.

Вечером подвыпившие пассажиры предприняли поход на женщин. На этот раз, кажется, были навеселе все женщины, то есть и Полина Васильевна, и Нора Феоктистовна! Не верилось, чтобы многоуважаемая Нора Феоктистовна и вечером ни разу не отступила от своего правила «не положено»: очень уж она расшалилась, расшумелась, очень уж игриво перекатывал свои волны ее тройной подбородок.

— Я сразу уразумела, что вы люди хорошие, свои,— говорила она, похохатывая.— А то министерством стращать стали, закон поминать, ассортимент им подай! Слыхали, в ресторане первого разряда официант принял заказ на пять блюд: вам, значит, шницель свиной рубленый? Вам рубленый бифштекс? Вам котлетки с гарнирчиком, с лучком? А вам что прикажете? Так-так, тефтельки в сметане? пожалуйста, пожалуйста! Потом подошел к раздаточному окну и крикнул: пять порций котлет!

Все смеялись, все были довольны друг другом. Марине тоже было хорошо, хотя мама разрешила ей выпить только одну рюмочку.

Когда Нора Феоктистовна закрыла ресторан и они все шестеро вышли на палубу, длинноногий Виктор Захарович вдруг заявил, что он забыл на стуле свою шляпу. Вместе с буфетчицей он вернулся за шляпой и больше на палубе почему-то не показывался.

— Если вы не возражаете,— сказал Вениамин Александрович, обращаясь к Маринкиной матери,— сделаем круг по всему теплоходу. Перед сном хорошо принять дозу свежего воздуха. Разрешите? — И он взял Полину Васильевну под руку. За другую ее руку держалась Маринка.

— Как — перед сном? Я не хочу спать! — капризно возразила она. Это было ее девчачье кокетство.

Виталий Борисович осторожно взял под руку Марину,— «Разрешите?» — и все они — мать и дочь в середине, мужчины по бокам — медленно двинулись вдоль борта навстречу раннему лунному свету.

Это была еще не ночь, а только начало ночи, только подступы к ней. Луна взошла, но и вечерняя заря еще не догорела. И вообще нельзя еще было утверждать, наступит ли настоящая ночь — темная, глубокая, или не наступит, сможет ли тьма хоть ненадолго одолеть это сияние неба и воды?

Модная бородка Вениамина Александровича при лунном свете казалась седой, а черный артистический костюм Виталия Борисовича и его черная шелковая бабочка словно были прошиты серебряной нитью. Недорогое вискозное платье Полины Васильевны покрылось блестками выходного наряда оперной царевны. Подорожало и ситцевое платьице Маринки. Только волосы матери и дочери, да брови их, да глаза стали при луне еще чернее и еще привлекательнее.

Они шли по длинному коридору палубы и часто останавливались у перил, шли и останавливались. Вода плескалась за бортом то справа от них, то слева. И луна то и дело меняла свое место относительно теплохода, поэтому они часто из света попадали в тень, как из дня в ночь, и наоборот. Было так хорошо, что даже разговаривать ни о чем не хотелось. Но Вениамин Александрович, объявив, что теплоход вступает в зону Куйбышевского водохранилища, повел серьезный разговор о сметных расходах на строительство волжского каскада, и Марине захотелось дурачиться.

— Вы играете на рояле? — спросила она Виталия Борисовича почти шепотом.

— Нет,— так же шепотом ответил тот.— Но если вы захотите, я все могу сделать, всем овладеть. — И он прижал ее локоть к своему боку. — Почему вы спросили об этом?

— Мне сначала показалось, что вы либо артист, либо музыкант.

— Артисты тоже слуги народа, поэтому между нами разницы большой нет. Если вы желаете, считайте меня музыкантом и артистом, я все могу. А почему вам так показалось?

— Потому, что у вас костюм такой черный, с блеском, как у оркестрантов в театре, и бабочка, как у дирижера.

Кажется, Виталию Борисовичу нравились эти сравнения, и он все крепче прижимал худенькую теплую руку Марины к своему черному костюму.

— Смета — великое дело,— с увлечением рассказывал Вениамин Александрович. — Если по смете отпущено, скажем, миллион, ты его должен израсходовать. Не израсходуешь — в следующем году получишь меньше. Вот и приходится иногда совать этот миллион в любую дыру, куда надо и куда не надо...

Полине Васильевне, видимо, нравились такие бухгалтерские разговоры, потому что она даже руку Маринкину выпустила, а дочери они не нравились.

— Почему он так скучно говорит? — сказала Марина Виталию Борисовичу опять шепотом.— Закат на Волге, а он про миллионы. Давайте сбежим!

Вместо ответа Виталий Борисович только потянул ее за локоток назад, и они отстали, а затем по-озорному юркнули в какой-то боковой проход.

— Здорово, а? — задыхаясь от волнения, спросила Марина.— Только вы, пожалуйста, не думайте, что я всегда такая несерьезная.

— Вы еще девочка совсем.

— Какая я девочка, вы меня обижаете!

— Хорошо, я не буду вас обижать. Вы удивительная, совсем взрослая, и очень милая, и очень дорогая! — Вениамин Борисович осторожно, не грубо огладил ее голову, плечи, руки — очень осторожно, и это не обидело ее.

— Пойдемте на верхнюю палубу, там больше неба и воды, там обзор шире,— попросила Марина.

— Нет, лучше останемся здесь... Тут недалеко моя каюта, прятаться легче.

Все это они говорили вполушепот, как давние друзья, как заговорщики. А мрак скрывал разность возрастов, и

Марине все нравилось, и ничто не тревожило и не пугало ее. Нравилось, что кругом ни души, что они даже от луны спрятались и что Виталий Борисович такой серьезный, такой культурный, и очень вежливый, не скучный, не хвальбушка какая-нибудь, не тычет своими заслугами на каждом шагу.

Может быть, они и поднялись бы на верхнюю палубу, но в это время из дальнего конца коридора раздался резкий, всполошенный крик матери:

— Марина, ты где? Марина!

Голос быстро приближался. И Марина ответила:

— Я здесь, мамочка! Не беспокойся.

Ответила и пожалела, потому что сразу стала исчезать вся таинственность ночи, вся прелесть уединенного разговора вполушепот со взрослым интересным человеком.

— Давайте спрячемся! — попросила она.

— Пойдемте в мою каюту! — предложил Виталий Борисович.

— А это ничего?

— Ничего. Вы будете довольны.

Мать, видимо, успокоилась за Марину, когда услышала ее ответный крик, и прошла по освещенному луной коридору неторопливым шагом, молча. За нею следовал Вениамин Александрович, успокаивая ее.

— На вас плохо действует лунный свет, Полина Васильевна. Мы же культурные люди, зачем панику поднимать?

В темном боковом переходе Марина доверчиво прижалась к Виталию Борисовичу, и мать прошла мимо, не заметив их. Виталий Борисович обнял Марину — опять же не грубо, не обидно,— и, как только мать прошла, они, крадучись, бросились через коридор на другую сторону теплохода, в его каюту.

— Скорей, скорей, а то она сейчас вернется! — дышал ей в ухо Виталий Борисович.

И вот тут-то и появился тот, давешний матрос, который мыл палубу шваброй, похожей на конский хвост, и драил дверные медяшки рваными грязными концами — красоту наводил. Он словно где-то скрывался все это время, он словно из стены выступил, словно из-под пола вырос. И все, что произошло дальше, потрясло и напугало Марину. Все показалось чудовищным, оскорбительным, невероятным.

— Ты куда, гад, девчонку потащил? — заорал матрос грубым голосом и схватил Виталия Борисовича своей ог-

ромной ручищей прямо за горло, за его шелковую черную бабочку.

Рядом с поблескивающим при лунном свете костюмом — парусиновая, словно каторжная, роба, а вместо ласкового полушепота — дикая, нецензурная брань. Все было ужасно-ужасно, все было унизительно, некультурно, непонятно.

— Ты, гад ползучий, где находишься... так... так... этак?! — кричал матрос. А когда на крик прибежала мать, он набросился и на нее: — Ты что, мать, бросаешь свою дочку... так... так... Кому ты ее доверила?! Воспитателей нашла!..

Кажется, матрос что-то сделал с Виталием Борисовичем, но ни Полина Васильевна, ни Марина ничего этого не видели, они убежали. Вряд ли правда, что матрос побил пассажира, потому что утром на теплоходе все было тихо, все шло обычным, своим, заведенным порядком. И, должно быть, никто никого ни в чем не обвинял, все были по-своему правы, и никаких жалоб никуда не поступало. Так спокойно и дошел теплоход до места своего назначения. Кажется, даже никому не было особенно неудобно или, как говорят, стыдно. Только Марина все плакала и не выходила на палубу любоваться природой, а мать ее молчала. Молчала, и только.

1961

ДВЕ БЕРЛОГИ

1

Мне сообщили друзья из родных вологодских мест, что найдены две медвежьи берлоги. На сборы ушло два дня, ночь — в поезде, сорок минут в самолете АН-2; дальше можно продвигаться только на «газике» малой скоростью и, наконец, на лыжах.

Первое, о чем я спросил:

— Обложили?

— Кого, чего?

— Медведей?

— Не обкладываем. Здесь это ни к чему.

— Ну хотя бы лыжню вокруг берлог проложить надо было, зарубки на деревьях зарубить, чтобы мету свою оставить, вроде печатью хлопнуть.

— По берлогам, что ли? Никто их не тронет. Чего-чего, а живых медведей у нас еще не воруют. И сами они никуда не уйдут. Надежное дело!

Всю первую ночь мы не спали: я волновался так, словно шел на охоту впервые и все для меня было внове, а друзья-охотники пили водку — калым за неубитых зверей. Всю ночь от страшных и смешных бывальщинок и побасок то лезли глаза на лоб, то скрючивало от хохота.

Неправда, что северяне угрюмый, неразговорчивый народ!

Ко мне охотники относились благожелательно, но с явным снисхождением: дескать, москвичи, чего они видали, каждому слову верят.

А сидели мы в доме председателя колхоза.

Павел Евгеньевич Сорокин, главный бухгалтер колхоза «Каменный», давно известен в районе как один из бывалых и неутомимых охотников, для которого по этой причине бухгалтерия время от времени становится обременительным отхожим промыслом. На боевом счету Павла Сорокина с десяток убитых медведей и, вероятно, не один десяток неубитых.

К своим рассказам о разных происшествиях на охоте он относится чрезвычайно серьезно и, я бы сказал, твор-

чески: не помню случая, чтобы он когда-нибудь повторялся, хотя о каждом правдивом своем приключении рассказывает по нескольку раз.

В эту ночь он углубился в психологию: со всеми подробностями расписал, как год тому назад приезжий городской охотник, весьма обеспеченный торговый деятель, рядился, покупая у него найденную берлогу, как нудно и обстоятельно отвоевывал у него, у колхозника, каждую десятку и до того надоел, что Павел Сорокин готов был уже плюнуть на все и отдать медведя задаром. А через два дня после этого мудрый медведь, не поглядев на первоклассное охотничье обмундирование и снаряжение торгового воротилы, при первом же свидании снял с него голову и ушел восвояси. Слова «интуиция», «возмездие» Павел Евгеньевич в рассказе не употреблял, он говорил по-охотничьи: «чутье», «судьба», «бог шельму метит», — и черные глаза его при этом серьезно и пытливо посматривали на собеседников.

Сорокин не производил впечатления богатыря или отчаянного человека: он худощав, невиден, но жилист и, по-видимому, очень крепок. А о выдержке и смелости его на охоте мне рассказывали многие очевидцы. Павел Евгеньевич никогда не позволял себе избегать поединка с медведем, даже если ружье у него оказывалось заряженным обыкновенной дробью. Почти в упор бил он зверя дробью по глазам и хватался за нож. Отступать мог только медведь.

С Сорокиным вместе я готов пойти еще не на одну берлогу.

Второй мой товарищ, Валентин Степанович Сажин, напротив, казался именно богатырем, а таков ли он на самом деле, сказать и сейчас не могу. Но по одному тому, что он — давний водитель вездесущих райкомовских «газиков», причем мне ни разу не приходилось видеть, чтобы он когда-нибудь выходил из равновесия, а это при здешних дорогах, одинаково жутких зимой и летом, предполагает наличие в человеке истинного стоицизма, — по одному этому я готов и впредь полагаться так же и на Сажина при любых обстоятельствах. Правда, на первой охоте он немного сплоховал, но это извинительно, и об этом потом. Я убежден, что, посади Валентина Степановича хоть сегодня в любой космический корабль, он только спросит: «Горючего хватит?» — и полетит.

Сажин привык, что в райком обращаются разные корреспонденты «за фактами», и, рассказывая о случаях на охоте, время от времени осведомляется: «Может быть, вы это используете?», или: «Может, вам такой фактик подойдет? А вот еще один материальчик!»

По-моему, приврать он не умеет. Он скромен.

— Мне больше приходится тетеревов да глухарей бить,— рассказывает он о себе.— А медведей я не бивал. У меня в «газике» всегда малокалиберка лежит. Едешь поутру, а тетерева на березах как головешки. Машин они не боятся, подпускают рядом. Подкатишь и, не выключая мотора, приоткроешь дверку и начнешь снимать с нижних веток. Нижний падает — верхних не пугает. А глухари, те в весеннее время на зорьке по дорогам гальку собирают да в лошадином помете ковыряются. Ну тоже так: ветровое стекло подымешь и выцеливаешь, поверх капота, как с тачанки. А медведей я не бивал.

— Неужели ни одного, Валентин Степанович?

— Нет, одного-то убил. Так, на ходу, без подготовки, неинтересно. Подвернулся — и убил.

Вслед за этим Валентин Степанович спрашивает:

— А вот такой сюжетик для вас не пригодится? Старый, хитрый медведь целое лето резал скот у самой деревни, и чего только не предпринимали охотники, а справиться с ним не могли. Перехитрил медведя пятнадцатилетний мальчишка. Что делал медведь? Он выжидал, когда какая-нибудь корова отстанет от стада и заночует в лесу, и драл именно ее. Над мальчишкой посмеялись, когда он похвастал, что все равно пристрелит эту хитрую лису, а отец даже пригрозил выпороть его. Что сделал мальчишка? Он отправился в лес во время какого-то праздника, когда отец и мать были в гостях, и с собой взял одностволку да еще колоколец с коровы. В сумерки он выбрал место среди деревьев с хорошим круговым обзором; стоит, дрожит от страха, а сам нет-нет да брякнет в колоколец. Заночевавшие коровы тоже так изредка позванивают, когда муха укусит, много шуметь боятся. И хитрый медведь пришел. Мальчишка перепугался, когда медведь, почуяв человека, взревел и встал на дыбы, но все-таки выстрелил и сам убежал, бросив ружье. А ружьишко-то было старое, запущенное, но все-таки ружье. Мальчишка дома до утра ничего не говорил, а утром сказал, что ружье бросил в лесу. Отец покричал, покричал, но собрал мужиков, и пошли в лес. Нашли ружье и медведя пудов на восемнадцать — пуля пришлась в хорошее место, на-

повал его срезала. Если хотите, мы при случае съездим к этому мальчишке, осмотрите все на месте. Кажется, что Павликом зовут.

Хозяйка вторично согрела самовар, подносила закуску — свиной холодец, капусту, рыжики, моченую бруснику. В прошедшую осень был редкий урожай грибов и ягод, боялись даже, не к войне ли.

Знаете ли вы, например, что такое шировега? Шировега — это замешенная с толокном на сладком соку журавлиха. А журавлиха — клюква. А что такое дежень с простоквашей? Конечно, тоже не знаете? Дежень — густо замешенное уже на соленой воде толокно и политое простоквашей. Удивительно вкусная еда, особенно когда за всем этим стоит детство. Шировегу и дежень в больших белых мисках ставила на стол наша добрая хозяюшка, ставила и суеверно упрекала нас всех:

— Отпетые головушки, кто же неубитого медведя пропивает, потерпели бы хоть немного!

— А вот однажды я сам видел,— начал новый рассказ Павел Сорокин,— медведь залез на столб к электрическим проводам, думал, видно, что там пчелы гудят, током его дернуло, он грохнулся на землю, лежит и лапами от пчел отмахивается. Бить его было очень просто.

— Убил, что ли?

— Убил, только мы с ним долго вокруг столба друг за другом бегали. Это все-таки не в берлоге. В берлоге медведя убить просто, все равно что к теще на блины сходить.

Сорокин бьет не только медведя, он ставит капканы, петли и на некоторых других зверей. Было как-то, в его проволочные витые петли попали корова и две телки. Попали и стоят, не задохлись, потому что колхозные, привыкли к привязному содержанию.

Почти весь вечер молчал третий наш товарищ, сотрудник редакции районной газеты Каплин Вадим Николаевич. Зато он хорошо слушал и не пропускал, не записав, ни одного сюжетика, которые подкидывали Валентин Степанович и Павел Евгеньевич. Каплин готовится к большой работе в литературе.

Но надо сказать, что Каплин каждое лето сам вскапывает лопатой где-то в дальних лесах небольшие полянки и засевает их овсом для медведей. На краю каждой такой полянки он заранее строит лабазы. Молчун-молчун, а охотник он настоящий!

Был с нами, конечно, и хозяин дома — отличный, остроумный собеседник и милый товарищ, председатель колхоза Воронин Николай Михайлович. Он не собирался на охоту, и потому о нем говорить я буду меньше всего. Он только что вернулся из Москвы с совещания, отчитался о поездке перед колхозным активом и воспользовался нашей безобидной компанией, просто чтобы немножко отдохнуть, поразвлечься. Правда, он сам больше развлекал нас.

— С этой работой и поездкой я всю пьянку запустил,— говорил он.— Давайте наверстывать.

В курятнике у порога запел петух. Это было первое предупреждение, что пора расходиться. Но с места никто не поднялся.

— А вот еще случай,— начиналась очередная байка,— пошел я на овес медведя подсидеть и взял с собой бабу: пускай, думаю, хоть раз в жизни посмотрит, как я медведей бью. Забрались мы на лабаз меж двух елок, бабу я посадил повыше себя: так, думаю, целее будет,— сам сижу как раз под ее сарафаном. Стемнело: в лесу темнеет быстро. Стихло, только далеко где-то молоковоз проехал — пустые бидоны прогремели, да какие-то пастухи с коровами запоздали, кричат на весь лес, друг друга подбадривают, чтобы не бояться. Совсем стихло, слышно, в овсе мыши шуршат, заяц пробежал. Баба у меня сморкаться начала, мелко трясется, переживает. Потом ее икота одолела. Я тычу ей снизу, молчи, дескать. И ведь что удивительно: медведь все-таки пришел. Елозит он по овсу, чавкает, а видимость еле-еле. Я приладился с ружьем, направил стволы, только бы выстрелить... Вдруг баба прямо на меня...

— Что?

— То-то что...

— Грохнулась?..

— Кабы грохнулась...

— Так и не убил медведя?

— Какой уж тут медведь!

Опять запел петух у порога, а с места никто не поднимается. Председатель Воронин больше оставаться с нами не мог.

— Вы тут допивайте, а я пойду драку организую, чтобы не скучно было,— пошутил в последний раз и ушел куда-то, наверное спать.

•

После обильного снегопада лес отяжелел, стал седым и старым. Даже сосновые ветви, не только еловые, опустились вниз, провисли. Появилось бесчисленное множество пригнутых к земле тонких длинных стволов. То крутые, то пологие, они напоминали городские новогодние арки: казалось, сбрось снег с такой — и прочтешь: «Добро пожаловать!» Либо — ямщицкие дуги: стоит тряхнуть посильней — и зарокочут под свадебной дугой переливчатые бубенчики.

Снегу намело много. Дороги и тропинки в лесу исчезли, если не считать заячьих стежек. Сугробы мягкие, пышные, сдобные, местами снег ровен, а чаще лежит огромными буграми. Приближаешься к такому бугру и заранее настораживаешься: и здесь не медвежья ли берлога?

Хвойный лес, особенно густой после метели, страшноват, а голый — березничек, осинничек — сказачно легок и прозрачен, весь в инее, в изморози и светится.

Четверо, мы заходим все глубже в густой хвойный лес.

Конечно, хорошо бы первые километры проехать на санях, но лошадей в колхозе просить постеснялись: мало их осталось, сейчас на них возят сено и дрова. К тому же целина снежная началась почти от самой деревни.

Собак также не взяли, потому что медвежатниц ни одной не нашли, а пустолайки могли только помешать нам. Хотя обе берлоги обнаружены были именно пустолайками, о которых говорят, что охотятся они лишь за норками да за хлебными корками.

— Охотников настоящих не стало, и собак не стало! — как-то сказал об этом Сорокин.— Вот у охотника Ивана Осина из Кьянды была медвежатница, так он ее дороже всего своего дома ценил. Когда делился с сыновьями, все хозяйство им отдал, себе только собаку-медвежатницу оставил. Зато уж и бил зверей! Старуху в решете, говорит, не найти, а медведя в лесу я завсегда найду.

Меня очень подводят мои беговые многослойные лыжи таллинского производства: они слишком узки для таких снегов, я то и дело проваливаюсь. А товарищи мои — Сорокин, Каплин, Сажин — идут на самодельных, подбитых лосиной шкурой: лыжи эти широки и недлинны, потому маневренны в любых зарослях, а главное, не

соскальзывают назад при подъемах. Мне сочувствуют молча.

Сегодня мы все немногословны. Немногословны с самого утра — как встали задолго до рассвета, умылись в очередь, поели жирного свиного супу, конечно, без всякой опохмелки, оделись и обулись неторопливо, я бы сказал, старательно, проверили ружья и патронташи на ремнях, прицепили ножи на пояса, я — широкий, сверкающий, номерной; молчим и после того, как стали на лыжи и тронулись в путь полем, к реке, потом за реку, в лес, в ельник. Никаких анекдотов, даже шуточек, никаких рассказов о медведях. Вековые охотничьи суеверия вступили в силу, их власть распространилась и на нас: идешь на пожар — над огнем не смейся. Медведь еще не убит, с этим шутить нельзя. Вчера пошутили, и достаточно. Более того, всем казалось, что вчера шутить столько не следовало. А сегодня даже упоминать о медведе не полагалось, а если уж без этого обойтись было невозможно, то говорили сдержанно, уважительно и называли зверя только местоимением: *он.*

— *Он* должен сегодня лежать крепко, погодка подходящая!

Я позволил себе однажды спросить:

— А если — *она?*

Меня даже не удостоили ответом. И молчаливая сосредоточенность стала еще выразительней. Может быть, страх вступил в свои права? Нет! Не все идущие в бой думают о смерти, но белье перед атакой стараются сменить все. И все не любят болтать в эти часы и минуты. Мне кажется, что и Сорокин Павел Евгеньевич больше не думал о тещиных блинах.

Заячьи следы в диком хвойном лесу исчезли — здесь местожительство не для легкомысленных зверьков. Стучат дятлы — и то осторожно, тихо. Пригнутых к земле деревьев здесь также много, но это уже не березки, не ольхи, не рябинки, а толстые, многолетние стволы елей, сосен, берез. Дуги, да не те! Не медведи ли их гнули? Все больше валежника, колдобин, коряг, выворотней. Чуть подул ветерок — и нас всех осыпало снегом с вершин. Где-то далеко жалобно скрипит дерево. В большом лесу всегда что-нибудь скрипит, без этого не бывает.

Однажды под самыми моими лыжами взорвался снег: вылетели два рябчика и быстро скрылись за деревьями. Это произошло так неожиданно, вдруг, врасплох, что я,

вероятно, побледнел: все-таки ведь идешь и думаешь о медведях, а не о рябчиках.

— Мы, кажется, сбились, не найти, наверно, ничего! — вдруг безнадежно махнул рукой Сорокин.

Не хочу рисоваться: на какое-то мгновение от этих слов я почувствовал легкость в душе. Подумалось: не найдем берлогу — и все, значит, не судьба. Переживаний всяких и без того уже достаточно!

Но я быстро справился с собой и заметил с упреком:

— Я же говорил, что надо было обложить! — И уже искренне боялся, что мы можем ничего не найти.

— Обкладывай не обкладывай, вьюга мела не одну неделю. Лес узнать нельзя.

Каплин отошел в сторону и начал осматриваться, принюхиваться.

Шофер Сажин не спешил вмешиваться в разговор, он еще не считал, что «сели на дифер».

— Собачку бы теперь!

Вдруг неторопливый Каплин позвал всех к себе.

— Не сбились! — сказал он.— Это что?

— Где?

— Смотри прямо!

— Те-те-те!.. Если это и берлога, то не наша, другая.

— Их здесь как грачиных гнезд, что ли?

— Да нет, я не то хочу сказать.

— Ну-ка, стойте здесь! — Сорокин снял ружье с плеча, пошел вперед один.

Медвежье гнездо оказалось у основания двух еловых корневищ, вывороченных буреломом и торчащих стоймя под углом одно к другому. Сверху на корневищах лежало еще два небольших сухих ствола, кажется сосновых. Все это было прикрыто таким мощным слоем снега, что не сразу удалось обнаружить чело берлоги. Даже Сорокин тихонько сказал:

— Ну и ну! И нам не подойти, и ему оттуда не выбраться. Вон оно — чело! — И он махнул рукой всем, чтобы отошли в сторону: надо было условиться, что кому делать.

Ружей мы уже не выпускали из рук, я даже спустил предохранитель. Кажется, дрожали колени от волнения.

Когда мы отошли метров на двадцать в сторону и сгрудились, как заговорщики, Сорокин сказал:

— Может, придется стрелять в дыру, чтобы вылез. Быстро он тут все равно не вымахнет. Давайте, ребята!

Первое слово москвичу — становись вон к той елочке, чуть слева от берлоги. Первый выстрел твой.

Я немедля двинулся на указанный номер.

— Подожди, покурим! — остановил меня Сорокин.

Каплин сказал:

— Стрелять не надо. Я вырублю жердь, островину, и суну ее в чело. Можно подобраться сверху, с крестовины, с валежин.

— Провалишься еще и стрелять помешаешь. Неладно.

— Руби, Вадим, островина — это лучше всего, руби!

Интересно, что с этого момента мы перестали называть друг друга по имени и отчеству, остались только имена, и никакой неловкости никто при этом не испытывал, все произошло само собой.

Вороватo закурили по папироске «Север». Каплин — в одной руке ружье, в другой топор — сошел с лыж, но провалился по пояс в сугроб, ухнул, как в медвежью берлогу, и, с трудом вскарабкавшись на лыжи, снова двинулся за жердью.

Все начали осматриваться, поправлять пояса, проверять,— в который раз! — есть ли в стволах патроны.

А я, разнесчастный человек, опять стал думать о том, как опишу эту свою встречу с медведем, и не упустить бы чего-нибудь, и нельзя ли извлечь, высосать какое-нибудь стихотворение из всего происходящего, — давно я уже не писал стихов! — только бы зацепочку какую-нибудь найти, изюминку бы, мыслю бы!..

— Давай, ребята, нечего раздумывать! — Это подошел с вырубленной островиной Вадим Каплин. Он, наверно, плюнул сейчас на свое писательское призвание — не до того! Ружье у него на плече, на другом — длинная сучковатая жердь. На таких жердях с сучьями, островинах, развешивают скошенный горох для просушки: тот же озород, стог, но тонкий, почти просвечивающий, и продувается насквозь. Медведя выживать из берлоги лучше островиной, а не гладкой жердью, потому что острые сучья заставляют его вылезать на свет неторопливо, и целиться в него легче.

— Давай, ребята, надо подходить! — командует опять Сорокин. Он все говорит шепотом.— Сашка, бери влево (Сашка — это я) — стрелять сбоку легче и другим не помешаешь. Вадим, подожди, номера займем. Валька (Валька — это Сажин), становись справа, вон — к сушине. Далеко? Нет, метров восемь, в самый раз.

Валька быстро скользит к своему номеру и сваливается с лыж, как с рельсов. Самый рослый из нас, он все-таки проваливается в сугроб по грудь и, ничего не видя, начинает плясать на месте, приминать, притаптывать снег. Уши его шапки с длинными шнурками от ботинок мотаются то вверх, то вниз.

— Шурка,— шипит он мне (Шурка — это тоже я),— отаптывайся!

Я прыгаю с лыж, рассчитывая, что также провалюсь, но на моем номере снег оказался мелким. «Хуже это или лучше? — думаю я.— Чело, вот оно, перед глазами. В случае чего и укрыться некуда, а в снегу я был бы как в окопе. В окопе? Чепуха!..»

Приминаю снег пошире, топчусь. Валенки у меня большие, брюки ватные, тужурка меховая, лётная, полученная в «Литературной газете» еще для поездки в Приморье, очень теплая, шапка сурковая, китайская, жаркая. Вероятно, от меня идет пар гораздо сильнее, чем из медвежьей берлоги. Надо было и мне надеть ватник «куфайку», как говорят здесь, в «куфайках» все мои товарищи, им жарко не будет. И патронташи у них поверх ватников, а у меня под меховой тужуркой.

Пашка Сорокин становится шагах в пяти от меня, и я вдруг увидел, что глаза у него смеются.

— Ну, что? — весело спрашивает он.

Вот черт!

И опять где-то скрипнуло дерево. Снег белый, глубокий, небо мутное, зимнее, лес кругом,— что еще можно заметить в последнюю минуту!

— Эй, хозяин! — заорал вдруг над самым моим ухом Сорокин.— Вылезай, перевыборы! — Он настроен по-озорному. Разве уж такое это привычное дело — бить медведя?

Хозяин не отозвался. Видит он нас или не видит?

— Эй, хозяин! Сдавайся!

Ни звука.

— Давай, Вадим, подберись, ткни!

У Вадима ружье на плече (это, мне запомнилось, удивило меня), в руках сучковатая островина, он бредет по сумету без лыж, все ближе, ближе к медвежьему жилью, сбоку от чела, чтобы не мешать нам стрелять. Лицо его, молодое, сумасшедшее, затененное шапкой, кажется совершенно черным: негр, а не Каплин. Только вряд ли бывают такие низкорослые негры. А снег белый-белый, яркий-яркий...

«Да ну, скоро ли наконец?»

— Приготовиться! — кричит кто-то опять, наверно, Сорокин.

Каплин подобрался к самому челу хозяйской берлоги («До чего же он неосторожен, а еще писателем хочет стать!») и с трудом просовывает жердь комлем вперед. Я предполагал, что это будет мощный бросок издали либо сверху вниз и что кидать островину будут, по крайней мере, двое — она же сырая, тяжелая. А Каплин просто сует ее не спеша, да еще кряхтит и кричит:

— Ну, где ты там?!

И вот медведь заревел.

Я смущен: написал уже довольно много, но все пока не о самом главном. А когда дошел до самого главного, то, оказывается, и писать больше нечего. Самое главное произошло быстро и, конечно, совсем не так, как обычно предполагаешь заранее, потому показалось неинтересным. Я был разочарован. Борьбы не было — вот что меня разочаровало, я же готовился к борьбе за жизнь, готовился к бою.

Медведь заревел, но не выскочил из берлоги, не вырвался, не «пошли клочки по закоулочкам», а просто высунул голову и стал принюхиваться и осматриваться. Должно быть, островина ему действительно мешала своими сучьями, но, кроме этого, он был просто ослеплен сиянием снега, дня. Я не видел его глаз, не почувствовал злобности зверя и не сразу сообразил, что уже пора стрелять. Подстегнул меня крик Павла Сорокина: «Дай Шурке!» Это он рявкнул на Вадима, который готовился выстрелить первым. После этого я выстрелил немедля, но оказывается, попал уже не в голову, потому что, заслышав голос человека, медведь легко и мгновенно вылетел наружу весь, всей своей двадцатипудовой тушей и поднялся на дыбы. Конечно, никакие сучочки наши ему не помешали, островина просто переломилась.

Я выстрелил два раза. Но, по-видимому, этого оказалось недостаточно: выстрелил дважды Вадим Каплин и по одному разу Сорокин и Сажин. Сажин в медведя не попал, потому что у него разорвало ствол ружья. Это и было, пожалуй, самым примечательным в нашей охоте, об этом разговаривали и смеялись потом больше всего.

Медведь упал мордой в снег, шагнув несколько раз вперед, как подобает в честном бою, потом завалился на бок. На чистом снегу он выглядел особенно грязным.

— Седой, дьявол! — восхищенно сказал о нем не помню уже кто.

В темных глазах хозяина леса долго не потухала неутоленная ненависть к нам, к людям. Желтые нечистые клыки его обнажились.

Теперь насчет «двадцатипудовой туши». Взвешивали мы ее на самодельных рычажных весах, на которых взвешивают возы с сеном, поэтому никто не может поручиться, что медведь весил именно двадцать пудов.

А охотничьи ножи нам пригодились только для освежевания зверя — и то уже не в лесу.

Сажин ружье свое показал не сразу, он понимал, что авария его теперь может вызвать только смех. Так и получилось. Вместо пуль он забил в свои патроны по блестящему шарику от какого-то подшипника, кажется, от тракторного, не проверив предварительно, проходят ли они по всей длине стволов. В чоковом стволе шарик застрял, ствол раздулся, лопнул и отделился от другого ствола. С таким ружьем теперь опасно ходить даже на зайца.

В наказание за эту оплошность мы без жеребьевки отправили Сажина одного на полусогнутых в деревню добывать подводу для топтыгина. На полусогнутых — значит бегом. Он побежал. Вдогонку ему кричали:

— Шарики не растеряй!

Разочарование разочарованием, а все же, когда с медведем было покончено, мы были очень возбуждены и расположены к бахвальству. Ощущение удали, молодечества охватило и меня. Вспоминаю, как на Ленинградском фронте в морской пехоте, вернувшись с бойцами из первой удачной разведки, я потребовал у командира батальона по «наркомовской чарочке» для всех и, страшно довольный собой, вылез из окопа, вышел на опушку и красовался на виду у противника. Возможно, что тогда из-за моего молодечества наши позиции были обстреляны из минометов и одного разведчика, только что вернувшегося со мной невредимым, тяжело ранило.

Сейчас мне опять, как видно, захотелось покрасоваться, и я нырнул в берлогу зверя, на место его лежки. На этот раз ничего страшного, конечно, не произошло, но вылетел я оттуда мгновенно: жутко стало от вони, от ощущения, что на меня набросилась уйма блох и всяких прочих отвратительных насекомых.

Как мы выволакивали трофей из лесу и везли на длинных санках, на которых женщины обычно таскают белье к речным прорубям для полоскания, как везли медведя по деревне в сопровождении дюжины ребятишек,—

это уже рассказ не об охоте, писать об этом менее интересно. Скажу только, что, возвратившись в деревню, к людям, мы как-то сами собой, не сговариваясь, восстановили в правах имена и отчества друг друга и отказались от прозвищ, тем более от грубых, бранных. А в лесу такие прозвища, и, надо сказать, весьма остроумные, давались довольно легко.

До чего же мы были разговорчивы весь этот день, особенно вечером! И постепенно начали чувствовать себя героями! И все совершившееся стало представляться уже необыкновенным. И, конечно, каждый рассказывал об этом по-своему. И опять появились разные байки, бухтины, присказки и сказки. Но только без очковтирательства, все — сущая правда.

2

Второй медведь еще не убит.

Берлогу мы уже навестили и видели, как из нее идет парок — медведь дышит. Больше ничего о нем, о неубитом, сказать пока не могу, чтобы не сглазить ни его, ни себя. Павел Евгеньевич Сорокин почему-то считает, что со второй берлогой следует немного повременить.

1962

ПОДРУЖЕНЬКА

Поздней осенью, собирая грибы в перелеске за железной дорогой, Катерина Федосеевна встретила серенькую облезлую кошку, ничем не примечательную, беспородную, и пожалела ее.

— Откуда ты взялась, милая? Худющая какая! Кис, кис!

Любую бездомную дворняжку назови Жучкой — она завиляет хвостом и пойдет тебе навстречу, если не совсем запугана и не одичала. А как назвать бродячую кошку? Кис-кис — это почти то же, что Жучка.

— Кис, кис, кис! — настойчиво и ласково позвала кошку Катерина Федосеевна.— Вишь, куда забралась, потаскушка,— в лес!

Кошка недоверчиво прянула в сторону, но, почуяв доброту в голосе старой женщины, остановилась, жалобно мяукнула и, подняв хвост с прилипшими к нему репейниками, пошла на зов.

— Голодная ты, что ли? — с сочувствием и упреком рассматривала ее Катерина Федосеевна.— В таком лесу да голодать! Неужто и промыслить ничего не смогла? Вишь, кожа да кости!

У кошки почему-то не было усов, глаза ее гноились, шерсть была короткая и грязная, неухоженная, и уши в парше.

— Сама себя прилизать не удосужилась. А может, ты больная, и тебя, больную-то, занесли в лес да и бросили на погибель? Есть же люди!

Катерина Федосеевна поставила корзинку с грибами на землю, прислонила к дереву палку, с помощью которой разбирала траву и приподымала нижние ветки елочек, и взяла кошку на руки. Поглаживая ее, она осторожно выщипала из хвоста колючие ежики репейника, после чего кошачий хвост стал совсем голым, как прутик. Заметив, что кошка безусая, она подивилась: «Наверно, кто-нибудь вырвал либо спалил». А кошка припала всем

телом к ее теплой байковой кофте и благодарно замурлыкала.

Катерина Федосеевна растрогалась:

— Одинокая, видно. Ну, чего ж, пойдем тогда. И будет теперь у тебя свой дом, станем жить вместе. Какая-никакая — все скотинка, а то у меня давно никого нет.

От волнения она даже палку в лесу забыла.

По дороге к поселку, около железнодорожного переезда, встретилась Катерине Федосеевне соседка-солдатка — суматошная бабенка Валя — и давай сразу огороды городить:

— Что это за чучело на руках у тебя, Федосеевна?

— Да вот кошечку в лесу нашла, пожалела,— ответила Катерина Федосеевна и показала из-под кофты безусую кошачью мордочку.

— С ума ты сошла, Федосеевна, драную кошку на грудях в дом несешь! Да еще из лесу. А вдруг это смерть твоя?

Катерина Федосеевна не испугалась оговора,— от этой пустомели доброго слова не дождешься! — только поплотнее прикрыла свою находку байковой кофтой, будто оберегая ее от дурного глаза, да огрызнулась несшибко:

— Типун тебе на язык, несуразное говоришь. Иди лучше, куда шла!

Кошка всю дорогу тихо сидела у самого ее сердца и мурлыкала так тепло и старательно, что зряшные слова соседки больше не вспоминались.

Дойдя до дому, Катерина Федосеевна оставила в сенях корзинку с грибами, не стала их тотчас перебирать, как делала раньше, а занялась кошкой.

— Перво-наперво я тебя покормлю,— сказала она ей.— Только чем? Сама-то я теперь больше грибками балуюсь, а тебе молочка бы надо. Ну, да не все сразу. Вот погоди-ка, есть у меня в чулане кое-чего. Пойду пошукаю.— И Катерина Федосеевна направилась в сени, в чулан.

Спущенная с рук у порога, кошка пугливо озиралась, щуря больные глаза, медленно переступала с ноги на ногу, будто шла по воде, не по полу.

В избе этой ее ничто не удивило: изба как изба. Слева — окна и прямо — окна, в углу — стол, на столе что-то вроде куска хлеба, на окнах жужжат мухи. Есть печь, чтобы спать в тепле и покое, есть полати. За печкой отгорожена занавеской кухня, там должен быть и вход в

подполье, а под опечком, где дрова, наверно, стоит и миска с молоком. Осмотревшись и ничему не удивившись, кошка загрусила за печку, на кухню, но там, под шестком, ничего, кроме дров, не оказалось, и она, вынырнув из-под занавески, привычно вспрыгнула на лавку, затем на стол.

Когда Катерина Федосеевна вернулась в избу, кошка соскочила со стола и юркнула под лавку — кусок хлеба изо рта она не выпустила.

— Вишь, озорница, что делает, терпежу нет! — пожурила ее Катерина Федосеевна.— Ну ничего, сыта будешь — воровать не потянет. Воруют, когда жрать нечего. Вот я тебе кусочек сальца нашла. Кис, кис! Как тебя звать-то, не знаю?

Кошка, почуяв сало, пронзительно замяукала, но и от хлеба не отходила. В подслеповатых глазах ее появился зеленый огонек.

— То-то! На, кушай! Сальца-то, правда, кот наплакал, а все не хлеб черствый. Съешь и будешь знать, чье сало съела. А звать я тебя буду Подружкой.— Катерина Федосеевна наклонилась и сунула кошке под лавку, прямо в зубы, розоватый соленый кусочек. Потом вдруг засомневалась, присмотрелась.— Уж не Дружок ли ты? Нет, Подружка,— шариков вроде бы не видно...

Катерина Федосеевна рада была поразговаривать с кошкой, ей уже казалось, что та отвечает на каждое ее слово.

Сама она тоже захотела поесть, принесла с кухни из суденки грибки соленые и вареные, отрезала ломоть хлеба от черной краюшки и уселась за стол. Ела и все заглядывала под лавку да говорила, говорила без умолку:

— Вот мы с тобой и не одинокие теперь. Подруженька ты моя...

Женщине, привыкшей всю жизнь вести хозяйство и кормить семью, труднее переносить одиночество, чем мужчине, особенно если у нее и скота не осталось. Одинокий мужчина много времени тратит на то, чтобы покормить себя, а для женщины это не труд.

Из семерых детей выжили и выросли у Катерины Федосеевны два сына и дочь. Сыновья погибли на войне смертью храбрых, а дочь уцелела, но тоже покинула ее; выучилась, вышла замуж и уехала с мужем в какое-то Заполярье: там будто больше платят, а молодые задумали обзавестись добром, пока здоровье есть.

Муж Катерины Федосеевны, когда они остались вдвоем, не захотел помирать в родной деревне — спятил с ума под старость — и тоже поехал искать хорошей жизни. Помотался по белу свету года два, потом устроился недалеко от дома на железной дороге, стал жалованье получать. Приглянулось — и ее к себе вытребовал: я, говорит, служащий теперь!

Продали они корову, зарезали свинью, овец, половину мяса дочке посылками в Заполярье переправили, избу свою деревенскую на станцию перевезли. Надорвался старик — умер, в три недели свернуло, будто и живым не был. Даже с дочерью не повидался: пока болел — не успела она приехать, а когда умер — чего ж, говорит, и приезжать.

Вот когда пожалела Катерина Федосеевна, что покинула свое деревенское житье-бытье! Дома, говорят, и стены помогают. А где они теперь, эти стены? Вышла бы во двор, в поле, забрела бы к Аграфене Мелентьевой или к Миколихе Трошкиной — каждая слеза пополам, каждый вздох поровну! А в лесу, за коровьим выгоном, что ни березка — подружка твоя, вместе росли, вместе сок набирали, заодно и листья ронять.

Здесь тоже, конечно, лес, и грибы в нем и все такое, но разве это свой лес, тот? Уехала она из родной деревни, будто живой воды лишилась, от святых даров отреклась.

Схоронив мужа, Катерина Федосеевна и сама поступила на казенную службу, стала полы на станции мыть да подметать. Работает день и ночь, даже спать домой редко ходит, не любо ей в пустой избе ночевать. И по привычке каждый месяц какую-нибудь посылочку для дочки справляет.

Работает и все ждет, что пошлет ей дочка внука на воспитание. Не послала дочка ни внука, ни внучку, весной сама с муженьком на побывку прикатила. Не хочу, говорит, иметь детей, без них спокойнее, а тебе, говорит, пенсию выхлопочем.

«Детей не хочешь иметь, а я-то тебя имела?!» — с обидой подумала Катерина Федосеевна, но говорить ничего не стала: может, теперь так и надо, времена другие...

Пенсию они выхлопотали, это верно, не обманули. С тех пор и живет Катерина Федосеевна одна-одинешенька, год ужо скоро, живет — дни коротает. Изба есть, а ни кола ни двора. Купила бы козу, да капиталов нехватка. Некого покормить, не за кем поухаживать. Завела бы квартирантов, да где их взять — станция невелика, в

жилье никто не терпит нужды. Не с кем покалякать, не с кем душу отвести. Кабы в деревне — сходила бы к колодцу, а здесь и колодцев нет. Да и люди кругом грамотные, стрелочница — и та четыре класса кончила, книги читает.

— Заживем мы сейчас душа в душу с тобой, подруженька ты моя сердешная. Уж и выхожу я тебя, уж и выкормлю! Будешь бога благодарить, что мне на глаза попалась,— причитала Катерина Федосеевна, убирая со стола. — А дочка моя, вишь, она какая, ей спокой нужен.

Кошка объелась, и ее стошнило. Встревоженная Катерина Федосеевна, не зная, чем ей помочь, заметалась по избе, переворошила в шкапчике все лекарства, оставшиеся от мужа,— он тоже скудался желудком, а дать что-либо не решилась: подходяще ли для животины то, что человеку на пользу шло? Вдруг ей хуже станет, видно, еще молодая, желудочек нежный. Кто их знает, что за фталазол такой, что за пурген? Спросить бы соседку-солдатку, да как ее спросишь, еще на смех подымет, вряшная: чучело, дескать, драное лекарством кормить? С ума сошла Федосеевна!

Ослабевшая кошечка подергивалась и тоскливо мяукала, тоненький хвостик ее, будто прутик, лежал поперек половиц.

— Что же это я наделала, глупая? — упрекала себя Катерина Федосеевна.— Угостила соленым салом с голодухи! От такого угощенья ноги протянуть можно.

И все-таки пошла за советом к солдатке, больше некуда было.

— Что стряслось, Федосеевна? — спросила та, заметив по лицу старухи, что заявилась она неспроста.— Нечастая гостья, хоть и рядом живем.

— Прости, Валюша, что обеспокоила тебя,— сказала Катерина Федосеевна.— А только не найдется ли у тебя молочка немножко?

— С ума ты сошла, Федосеевна! Корова у меня, что ли? — удивилась Валя.

— Знаю, что не корова, только, думаю, с чайную чашку не найдется ли?

— Неужто для кошки для этой драной?

— Для кошечки, Валя. Взяла я ее к себе на воспитание.— И в угоду солдатке Катерина Федосеевна даже подшутила над собой: — Слыхала, говорят: — «Не было у бабы хлопот, так купила поросенка».

— Ладно кабы порося, а то кошку! — все еще не хотела понять ее Валя.

— А без кошки, Валя, что за дом? Кошки нет, стало быть, мышей нет, а мышей нет, стало быть, достатку бог не дал, царь не умеет народом править.

— Ну вот о чем, старая, вспомнила, о царе! — удивилась Валя.— Где я тебе молока найду?

— Прости, коли так! — сказала Катерина Федосеевна и повернулась к порогу.

Но Валя остановила ее.

— Сядь, посиди маленько. Я Кольку пошлю к Поликарповне. Колька! — крикнула она.

Валя жила в коммунальной двухкомнатной квартире с сыном и дочерью. Сынок родился еще при отце и сейчас заканчивал десятилетку. Катерина Федосеевна считала, что сын у Вали законный и ничего против него не имела. А вот дочка, по слухам, появилась на свет, когда батько уже с немцами воевал, и один бог знает, чья она. Из-за этого Катерина Федосеевна и относилась к солдатке Вале с ревнивой подозрительностью и считала ее про себя несамостоятельной, непутевой. Что угодно могла она простить женщине-солдатке, только не беспутную жизнь.

Колька поворчал немного, что его от книг отрывают, но сходил, куда послала мать, и принес полную чашку молока.

Катерина Федосеевна даже не поблагодарила как следует, заторопилась домой.

— Подруженька! — позвала она кошку, еле открыв дверь в избу.— Вот я тебе раздобыла еды, это не солонина, не грибки какие-нибудь. Да где ты, жива ли?

Кошка спала на ее постели, прямо на подушке, свернувшись улиткой,— маленькая, серенькая, голова в передних лапах, хвостик прутиком промеж ушей. На мгновение она приоткрыла глаза, взглянула лениво, без всякого интереса на свою новую хозяйку и тотчас заснула снова и словно бы даже захрапела.

Катерина Федосеевна сразу притихла и от порога к суденке с кружкой молока прошла на цыпочках. Сон всегда дороже еды, в это она верила давно. Для человека — дорог, значит, и для любого живого существа тоже.

Было уже поздно, и Катерина Федосеевна сама стала укладываться. Чтобы не потревожить Подружку, она решила эту ночь переспать на печи.

Хлопот с кошкой было, конечно, немало, но ведь Катерина Федосеевна сама хотела, чтобы у нее были хлопоты. Она даже придумывала их себе. Чем больше было хлопот, тем легче переносила она свое одиночество.

Через Валю она познакомилась с Поликарповной и стала брать у нее каждодневно по бутылке козьего молока. Все для кошки. Сама она козье молоко в рот не брала, брезговала.

По утрам Подружка просыпалась рано, и Катерина Федосеевна только радовалась этому, потому что тоже не любила спать подолгу. Наполнив молоком чайное блюдце, она добавляла в него кусочки хлеба. Крошево это кошка съедала неторопливо, с удовольствием. Сперва лакала молоко, затем подбирала хлеб. А Катерина Федосеевна стояла либо сидела рядышком и смотрела на нее во все глаза. Иногда она спрашивала:

— Что, глянется? По душе тебе крошенинка моя?

Подружка, занятая своим наиважнейшим в жизни делом, даже не поднимала головы от блюдца, будто не слышала, о чем спрашивает хозяйка. Она ласкалась, мурлыкала, терлась о ее ноги, пока хотела есть, а наевшись, отходила в сторону, отфыркивалась, отряхивалась, особо отряхивала лапки и уже не обращала никакого внимания на свою кормилицу, словно ее и не существовало.

Катерина Федосеевна налюбоваться не могла на свою Подружку.

Однажды кошка вылакала все молоко, а хлеб не съела. Катерина Федосеевна походила по магазинам и нашла для нее полкило белого хлеба,— в поселке он появлялся нечасто. От белого хлеба кошка не отказалась. Но скоро и он ей надоел. Тогда Катерина Федосеевна начала покупать мясо.

Глаза у Подружки прояснели, перестали гноиться. На морде появились усы. Она раздобрела, обросла длинной шелковистой шерстью, словно нарядилась в новую юбку, и все чаще умывалась, все дольше спала, а когда после еды охорашивалась, Катерина Федосеевна, глядя на нее, любовно ворчала:

— Затрясла своими воланами. Вишь, модница какая!

Но и насытившись и раздобрев, кошка воровать не перестала: то на стол вскочит, то в суденку заберется, должно быть, это у нее в привычку вошло. Тащит мясо, припасенное для нее же, и даже хлеб ест, если он краденый.

Первый месяц Катерина Федосеевна боялась выпускать кошку на улицу, чтобы та не заблудилась где-нибудь. У порога около веника для нее стоял ящик с песком — в избе пахло тяжело и густо. А когда Катерина Федосеевна решилась наконец выпустить кошку на прогулку, та исчезла сразу на двое суток.

«Может, она подалась от меня к старым хозяевам? — думала Катерина Федосеевна.— Может, я не угодила ей чем-нибудь?»

Две ночи она почти не спала: Подружка могла появиться в любой час, не откроешь дверь вовремя — обидится, совсем уйдет. Но ведь не в милицию же заявлять о пропавшей кошке.

Под утро вторых суток сон все-таки сморил Катерину Федосеевну. Приснилось ей, будто покойный муж топит Подружкиных котят за гумном в глубокой яме, из которой деревенские бабы глину добывали, чтобы печи подмазывать. Вытряхнул он котят из мешка, а их было четверо, и все серенькие, как воробышки, а яма до краев полна водой, плавают они, тощие, маленькие, мяучат, а муж в них палками кидает, чтобы скорей на дно шли. Кошка-мать бегает вокруг ямы, ревет не своим голосом, то в одну сторону кинется, то в другую, а муж, покойник, и в нее палками кидает. Стала бегать вокруг ямы и Катерина Федосеевна, хочется ей крикнуть мужу: «Что ты делаешь, бессовестный!» — а голоса нет, и замяукала она по-кошачьи. Тогда муж, покойник, и в нее — палку за палкой...

Проснулась Катерина Федосеевна, будто избитая, тело ноет, а кошка Подружка на постели под боком лежит, руки ей лижет, даже страшно стало. И припомнились ей слова соседки Вали: «А вдруг это смерть твоя?»

— Откуда ты взялась, окаянная, спаси Христос! — с трудом выговорила Катерина Федосеевна, отодвигаясь от кошки, и всхлипнула не то от радости, что она вернулась, не то от страха.

Днем страх прошел. Осталась только обида на кошачью неблагодарность. Прибирая постель, Катерина Федосеевна упрекала свою Подружку:

— Неужто к старым хозяевам бегала от меня, изменщица? Разве тебе у меня худо, чего тебе еще надо? А может, по лесу опять шаталась? «Сколь ни корми, а все в лес смотрит» — уж не про кошку ли это сказано? Может,

про кошку? Как же ты в избу-то попала, голубушка? Дверь заперта, окно тоже... Не через трубу ли? Через трубу ведьмы лазят.

Но, присмотревшись, Катерина Федосеевна заметила открытую форточку и следы грязных лап на стекле изнутри и снаружи окна.

— Вот ты какая у меня лазунья! — сказала она.— Догадливая! Ну погоди, не будешь убегать, все равно приворожу!

Растопив печь, Катерина Федосеевна выскребла из кошелька остатки пенсии, сходила на базар и приготовила для кошки мясные котлетки, какие мужу научилась готовить, когда он болел,— сочные, поджаристые, с дымком.

— Служи, лазунья! — скомандовала она ей, как собаке, держа котлету над ее головой.

Почуяв в руке хозяйки жареное мясо, кошка взвилась, подпрыгнула и в кровь разодрала ей пальцы, но котлетку все-таки схватила.

Катерина Федосеевна смазала царапины на пальцах жиром и накормила Подружку досыта. Наевшись, та забралась на подоконник и стала ловить мух на стекле. Потом заснула на весь день, опять же на хозяйской подушке.

Случилось однажды, угостила Катерина Федосеевна кошку мороженой треской, а в другой раз купила на базаре у ребятишек речных окуньков. Подружке особенно по душе пришлась свежая рыба, должно быть, она ее пробовала где-то раньше. У окунька Подружка отгрызла сначала голову, но есть стала его не с головы, а со спины, и только напоследок съела и голову. Жевала она неторопливо, похрустывая и щурясь от удовольствия, почти засыпая к концу еды. На полу оставались рыбьи внутренности, да хвост, да красные перья.

— Не для меня ли оставляешь? — пошутила Катерина Федосеевна, подбирая с пола кошачьи объедки.

После свежих окуньков Подружка перестала есть мороженую рыбу. Да и свежая рыба устраивала ее теперь не всякая. Хорошо шли гладкий пескарь, сладкий голый налименок, жирный сазанчик. А плоскую костлявую густеру с жесткой, как панцирь, чешуей она совсем не признавала за еду. Испробовав свежие, сочащиеся жиром котлетки, Подружка стала отказываться и от мороженого мяса.

Пришлось Катерине Федосеевне изворачиваться, доставать каждый день то парное мясо, то свежую рыбу.

А когда в доме не было ни того, ни другого, кошка ходила за нею по пятам, заглядывала в глаза и мяукала ожесточенно и требовательно.

Катерина Федосеевна безропотно переносила все ее домогания, жарила и рыбу и котлеты, отказывала во многом себе, даже чай стала пить некрепкий, только бы не остаться снова в одиночестве. А когда небольшой пенсии не хватало до конца месяца, она подрабатывала в молодежном общежитии стиркой белья, мытьем полов.

Посылочки для дочери она тоже справляла теперь не каждый месяц: все равно та отзывалась письмом не на всякую посылку.

Многое прощала Катерина Федосеевна своей Подружке, не могла смириться лишь с ее воровством да еще с ее побегами. Стоило хозяйке зазеваться, не захлопнуть за собой дверь, как Подружка серой тенью шмыгала промеж ног и не возвращалась домой по двое, по трое суток. Разыскивать ее было бесполезно. Но Катерина Федосеевна всякий раз искала ее.

С особенным удовольствием кошка убегала из дому через форточку. Если случайно открыты были в избе и дверь и форточка, кошка исчезала через форточку. Тем же путем любила она и возвращаться в дом. Оконные стекла с обеих сторон всегда были в грязи, занавеска то и дело оказывалась продранной и валялась на полу.

А в палисаднике под окнами перестали водиться птички. Раньше Катерина Федосеевна прикармливала синичек, снегирей, сейчас птички боялись ее избы. Кошка выслеживала их часами в кустах смородины и калины и, поймав, приносила в зубах домой еще живыми, злобно урча и тараща глаза. Под лавкой, под столом то и дело появлялись перышки — желтые, красноватые, пестрые.

Правда, мышей в доме тоже не стало. Ну и ловила бы себе мышей, это ей по закону положено, а птичек зачем трогать?

Как-то в форточку залетела синичка. Кошка прямо взбесилась, опрокинула горшок с примулой, смахнула со стола две чайные чашки, а когда Катерина Федосеевна схватила ее за загривок, она извернулась и укусила ее. Синичка ударилась о стекло, упала на пол, и кошка все-таки ее съела.

С неутолимой алчностью Подружка кидалась на всякую живность. Она и рыбу охотнее жрала живую, а не мертвую. Даже ящериц в избу приносила. С этим Катерина Федосеевна тоже примириться не могла.

— Душегубица некрещеная! Мало тебе всякой еды на свете, мало котлет, все норовишь кому-нибудь горло перегрызть! Веретельниц-то домой зачем тащишь? Накличешь беду какую-нибудь...— ворчала она.

И еще было горе: с появлением кошки в избе у Катерины Федосеевны почему-то стали вянуть цветы. Любимая ее герань в большой глиняной кринке, которая раньше, в деревне, служила квашней для блинов,— широколистая жирная герань погибала на глазах. Ни подкормка, ни поливки не помогали, и нельзя было понять, отчего герань сохнет.

Новое бедствие началось ранней весной, когда под окном у Катерины Федосеевны, не давая ей спать, по целым ночам ревмя ревели Подружкины ухажеры, а сама Подружка, беснуясь, металась по избе и не хотела ни есть, ни пить, пока не вырывалась на свободу. В эти недели домой она заглядывала редко, как правило, под утро, растрепанная, усталая, мяукала жалобно, а нажравшись, заваливалась на постель или забиралась на печь и спала до вечера. Вечером все начиналось сызнова.

Помучившись, Катерина Федосеевна перестала закрывать форточку совсем, только жарче топила печь.

Однажды она до полночи собирала очередную посылочку для дочери — довязала шерстяные носки,— в Заполярье, по ее представлениям, всегда стояли трескучие морозы, где набраться теплых носков; насушила кулек картошки из остатков со своего огорода, бережно свернула и сунула в тот же фанерный ящичек последний рукотерник с петухами, уцелевший от ее девического приданого, да старомодную стеклянную в медной оправе брошку... Собирая все это, она ждала, не вернется ли кошка, и думала о дочери, что вот выросла и бросила старуху одну, ни сама в гости не приезжает, ни ее к себе не позовет. Да и Подружка тоже хороша!..

Оставалось обшить фанерную посылочку дерюжкой, но Катерина Федосеевна уже не смогла этого сделать, легла и заснула.

Вот тогда-то к ней через открытую форточку и заглянул огромный черный котище и заревел по-человечьи, да так страшно, как только совы ревут по ночам в глухом таежном лесу. Катерина Федосеевна не заметила, как очутилась на ногах, и, еще не совсем проснувшись и не опомнясь от первого неясного испуга, увидела вдруг прямо перед собою, чуть повыше своей головы, в прямоугольном темном проеме окна, самого настоящего черного

дьявола с холодным лунным огнем в круглых глазах, с рогами вместо ушей.

До самой смерти она не могла вспомнить, что с ней было потом,— кричала ли она, и когда успела включить свет, и каким образом в руках у нее появилась кочерга, и сама ли она захлопнула форточку или кто-то другой закрыл ее, и почему она оказалась лежащей на полу.

Утром соседка Поликарповна, подоив козу и не дождавшись Катерины Федосеевны, сама принесла ей бутылку парного молока. Катерина Федосеевна с трудом встала с полу, открыла дверь, подняла кочергу и поставила ее в угол.

— Что это ты, Федосеевна, днем с огнем сидишь? — удивилась Поликарповна.— Уж не заболела ли?

Катерина Федосеевна молча добрела до выключателя, молча повернула его. Потом взяла бутылку с молоком и тут же половину вылила в блюдце для кошки, хотя кошки в доме все еще не было. Руки у Катерины Федосеевны при этом дрожали.

Поликарповну осенила недобрая догадка:

— Неужто все мое молоко ты кошке спаиваешь? Кабы знала, ни разу бы не дала. Валькиным ребятам отказывала, а тебе отпускала. Из-за денег я, что ли?

— Заболела я,— тихо и как-то неразборчиво сказала Катерина Федосеевна и легла на постель поверх одеяла.

Больше от нее нельзя было добиться ни слова.

Тотчас после Поликарповны к ней прибежала расторопная солдатка Валя, помогла ей лечь под одеяло, взбила подушку, хотела чем-нибудь покормить, но Катерина Федосеевна ничего есть не стала, тогда Валя перед уходом приказала ей:

— Лежи, не рыпайся. Я сейчас на работу, а вечером забегу. Поняла? И врача к тебе пришлю. Поняла? У тебя ведь дочка есть, может, ей телеграмму послать?

— Не успеет опять! — сказала Катерина Федосеевна.

— Кто не успеет, дочка или телеграмма?

Катерина Федосеевна показала глазами на закрытую форточку и с трудом произнесла еще одно слово:

— Открой!

Валя открыла форточку, больная успокоилась и сразу заснула.

Вечером пришел врач. Катерина Федосеевна не отвечала ни на один из его вопросов, только с тревогой поглядывала на форточку, словно ждала кого.

— Дует? — спросил врач и хотел закрыть форточку.

Катерина Федосеевна вымолвила:

— Не надо!

И снова заснула.

Разбудила ее Подружка. Голодная и взъерошенная, она со стуком прыгнула из форточки на пол, метнулась под шесток к своему блюдцу, вылакала приготовленное для нее молоко, но не насытилась, а потому забралась на постель к своей хозяйке, стала ходить по ней, мяукать и чистить и точить на ее груди свои когти.

Катерина Федосеевна спросонья вздрогнула вся. Вздрогнула даже кровать под нею. Расширившиеся до предела глаза больной женщины с ужасом остановились на кошке, словно она опять увидела перед собой ночного дьявола. «Может, это смерть моя?» — припомнилось ей. Но скоро в глазах ее засветился добрый спокойный огонек. Катерина Федосеевна медленно вытянула из-под одеяла правую руку и ласково положила ее на спину Подружки.

— Не уходи! Подруинька...— попросила она.

Кошка, прогнув спину, выскользнула из-под тяжелой руки хозяйки и снова побежала к печке, под шесток, но в блюдце по-прежнему было пусто, тогда она, осмотревшись и что-то по-своему сообразив, прыгнула на суденку, опрокинула незаткнутую бутылку с остатками молока и, с опаской поглядывая на хозяйку, принялась вылизывать белую лужу и на сундуке и на полу.

Катерина Федосеевна не крикнула на нее, не пригрозила ничем, даже не пошевелилась, и кошка, по-видимому, поняла, что больше ей нечего бояться. Зализав молоко и отряхнув лапки, она забралась в крипку-квашню с геранью, покрутилась, помялась на одном месте и уже без всякой опаски, прямо на глазах у потрясенной хозяйки, сделала свое маленькое дело, после чего брезгливо разворошила под собой цветочную землю.

Катерина Федосеевна поняла наконец, отчего повяла ее любимая герань.

— Подлая! — прошептала она Подружке.— Ящик ведь есть! — и отворотила от нее свое лицо.

Подружка еще раз отряхнула лапки, взобралась на кровать и, мурлыкая, легла хозяйке на грудь,— печка в этот день была не топлена.

— Подлая! — повторила Катерина Федосеевна, но прогонять от себя кошку не стала. На бледных щеках ее появились слезы.

Валя застала обеих спящими — Федосеевну и ее подружку. Круглая, бойкая, она колобком прокатилась от порога, поставила на стол корзину с едой и вдруг возмущенно вскрикнула, увидев на груди Катерины Федосеевны спящую кошку:

— Издевательство какое! Больного человека придавила, паскуда.— Она шлепнула кошку по усатой морде и сбросила ее с груди старухи.

Катерина Федосеевна проснулась, лицо ее исказилось от боли, словно Валя шлепнула ее, а не кошку.

— Оставь! — выговорила она.

— Как это оставь? Развалилась на тебе, свинья жирная, а ты терпишь. Она и задушить может, только допусти — лесная ведь! Вот я выброшу ее в форточку, пусть знает свое место.

— Закрой! — прошептала Катерина Федосеевна и показала глазами на форточку.

— Ладно, закрою, коли так,— согласилась Валя и захлопнула форточку.— Делишки-то как твои? Выкарабкаешься или нет? Карабкаться надо. Может, дочке телеграмму все-таки послать? Адрес-то где у тебя?

— Покорми! — сказала Катерина Федосеевна.

— Вот это резонный разговор. Сейчас покормлю. Тут я принесла тебе кое-чего.

— Кошку! — сказала Катерина Федосеевна.

— Как это — кошку? Сперва тебя покормлю, а потом уж кошке — что останется.

— Кошку! — повторила больная.

— Ладно, коли так, покормлю и кошку. Нашла кого полюбить! — Валя выложила на стол еду из корзинки и кинула кошке кусок хлеба. — Жри, потаскуха!

Кошка подошла к хлебу, обнюхала его и, отвернувшись, с недоумением посмотрела на свою хозяйку, на Катерину Федосеевну.

— А ведь она не голодная у тебя! — обиделась Валя. — Ишь оборотень! Ей, наверно, сметанки надо, а то, может, котлетку жареную подать, бифштекс-ромштекс?

Катерина Федосеевна закрыла глаза.

Всегда суматошная Валя тихо просидела у постели старухи целый вечер, накормила-таки ее манной кашей с ложечки и пообещала заглянуть до ночи еще разок.

— А то свою Маруську пошлю! — сказала она.

Все это время кошка скрывалась за печной трубой, дремала, изредка приоткрывала глаза, словно шторки на

окнах раздвигала, следила за своей хозяйкой. А когда за Валей захлопнулась дверь, она мягко спустилась с печи, забралась на стол и спокойно и плотно поужинала, выбирая что по душе.

Катерина Федосеевна видела все, но уже ничего не говорила.

Совсем поздно в избу, постучавшись, вошла Валина дочка, Маруся, школьница лет пятнадцати, робко примостилась у кровати бабки Федосеевны, которой почему-то всегда побаивалась, сидела не двигаясь, все ждала какого-нибудь приказания или просьбы, но сама спрашивать ни о чем не решалась.

Катерина Федосеевна взяла ее руку в свои — жилистые и холодные — и долго молча гладила, словно извинялась, что раньше не признавала ее.

В избе было прохладно и сыро, пахло лекарствами.

Под бревенчатым потолком тускло горела электрическая лампочка, обернутая бумагой.

Кошка опять сидела за печной трубой, чего-то ждала, но к хозяйке не подходила и даже не глядела в ее сторону.

— Шить умеешь? — вдруг спросила Катерина Федосеевна.

Маруся вздрогнула от неожиданности.

— Чего шить?

— Посылку обшей. Вон...— Она показала глазами в угол избы. — Адрест напиши... В шкапу. Пошли дочке.

Маруся принялась за работу.

На другой день врач, прослушав больную и выписав новые назначения, сказал:

— Душно у тебя здесь, бабуся. Я к тебе дежурную сестру пошлю, пока в больнице место не освободилось. Она и печку будет топить.

— В деревню бы меня...—попросила Катерина Федосеевна.

— Тоскуешь? — заинтересовался врач.— А кто тебя там лечить будет?

— В деревню бы...

— Конечно, в деревню бы... Но тут уж я ничего сделать не могу. Вот поправишься, тогда...

Перед уходом он открыл форточку.

— Не надо! — с испугом сказала Катерина Федосеевна.

Но было уже поздно: кошка сорвалась с печи, мяукнула, взвилась и, скрежетнув когтями по стеклу, скрылась.

Подружка появлялась в избе еще не раз, но лишь в те часы, когда больная старуха почему-либо оставалась одна.

Вороватo поглядывая на свою хозяйку, а то делая вид, будто вовсе не замечает ее, кошка подбирала остатки еды со стола, затем обшаривала и обнюхивала все закутки в избе и снова исчезала через форточку. А если в избе не оказывалось никакой еды, она забиралась к Катерине Федосеевне на грудь, тормошила ее и требовательно мяукала.

Просыпаясь, Катерина Федосеевна спервоначалу, как всегда, пугалась, но потом внимательно и бесстрастно следила за своей Подружкой, все уже понимала и ни о чем не заговаривала с ней.

В последний раз Валя застала Подружку на груди Катерины Федосеевны, когда та была уже мертвая.

— Задушила-таки, ведьма! — взвизгнула Валя, хватая кошку за мягкий пушистый воротник.— Ну погоди, сейчас-то я знаю, что с тобой делать. Сейчас ты не уйдешь от меня Сдам я тебя куда следует.

1965

«ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ!»

Памяти Георгия Леонидзе

В журнале «Наука и жизнь» Ольга Сергеевна прочитала статью «Табаку предъявлены новые обвинения» и старательно отчеркнула особо важные места, которые надо было показать мужу.

Она подчеркнула:

«Несколько месяцев назад специальная комиссия, в течение двух лет работавшая по заданию Министерства здравоохранения США, опубликовала большой и подробный отчет о действии табака. Этот категоричный доклад призывал правительство срочно предупредить об опасности семьдесят девять миллионов американских курильщиков... На этот раз положение становится драматичным. Это уже не обычные обвинения, которые известны с давних пор, а раскрытие совершенно неожиданных свойств табачного дыма... Всю свою жизнь, заявили американские ученые, мы взрываем в наших квартирах, автомобилях и бюро смертоносные «полониевые бомбы». Присутствие в табачном дыме радиоактивного элемента полония отодвигает на задний план никотин и бензопирен...»

— В автомобилях... в бюро!..— повторила вслух Ольга Сергеевна.— Если б они видели, что делается в наших редакциях, в комнате моего муженька! — и продолжала отчеркивать дальше.

«...Фильтр сигареты не может задержать атомы полония. Это же можно сказать и об атомах свинца и висмута... Главная опасность заключается в радиоактивности табачного дыма... Рак легких и других органов... язва желудка, цирроз печени, коронарные заболевания... Уровень смертности курильщиков на сто двадцать процентов выше, чем у некурящих...»

— Напугаешь их уровнем смертности, как же!.. А то, что вся жизнь уродуется, — это не главная опасность? Вот накопление радиоактивности в организме — может быть, это подействует?..

•

Приступ долгого удушливого кашля, вначале беззвучного, заставил Игната Александровича поспешно наклониться над мусорной корзиной, и это было последнее, что он смог потом вспомнить.

Из трудного забытья он возвращался, как с того света. Первое ощущение, что рывками отрывает голову от пола и никак не может оторвать.

— Отец! Что с тобой, отец? — слышались откуда-то издалека встревоженные голоса жены и дочери.

А они вовсе недалеко, они — рядом. Вот они неловко подхватывают его под руки и стараются поднять с пола. И он уже видит под собой планки паркета, сбоку угол письменного стола и наконец встает на четвереньки.

— Что с тобой, отец?

— А?.. Что?.. — спрашивает он и удивленно озирается. Голова тяжелая, сердце колотится — то в груди, то где-то под лопаткой, то в висках.

— Ты опять потерял сознание?

— Да... Потемнело в глазах,— говорит он и садится в кресло прямо на рассыпанные окурки. Брюки его в табачном пепле.

На столе опрокинута пепельница. Окурки валяются и на рукописях и на полу, у ног. Несколько рукописных листков тоже на полу.

— Господи ты боже мой! — всхлипывает жена.— Неужели не можешь писать и не курить?

— Не могу! — отвечает он.— А что?

Жена, Ольга Сергеевна, еще бледная от испуга, растерянно смотрит то на него, то на дочь, Наташу, словно просит у нее поддержки: «Ну, скажи хоть ты что-нибудь, может, он тебя послушает!..»

Но дочь не знает, что надо говорить, и молча, тоже с недоумением и тревогой, смотрит на родителей.

Она студентка. Почти все ребята, ее однокурсники, курят, и каждый мечтает когда-нибудь бросить курить, а никто не бросает. Всю жизнь мечтает бросить курить и ее отец. Она не помнит дня, когда бы он не проклинал своей страшной привычки, и заодно всех, кто ее завел, и заодно всю табачную промышленность на свете... Каких только клятв не давал он, каких богов не призывал на помощь, каких противоядий не принимал — все пона-

праспу. Что там боги! Даже гипнотизеры не помогли ему. Разве она может помочь? Нет у нее таких слов. И у матери нет. С каждым годом отец кашляет все чаще, все надрывнее. Давно не существуют для него запахи цветов, сена, леса. Почти каждая перемена погоды укладывает его в постель. Обкуриваясь, он теряет аппетит, желтеет, страдает бессонницей.

— У тебя кровь! — говорит наконец Наташа, заметив на отцовской скуле около уха свежую ссадину и ясно проступивший синяк на лбу. — Я сейчас принесу йоду.

Игнат Александрович ощупывает свое лицо, смотрит на пальцы,— да, они в крови! — трет наморщенный лоб, залысины на лбу и соглашается:

— Да, больно!

Жена дрожащей рукой набирает из флакона пипетку сердечных капель и подает ему в стакане с водой.

— Выпей!

Он пьет, не возражая.

— Пересядь на диван, если можешь,— просит она,— я приберусь.

Игнат Александрович осторожно поднимается с кресла и, почти не разгибаясь, переходит на диван.

Жена собирает с полу исчерканные вкривь и вкось бумажные листки, складывает в пепельницу окурки, широкой ладонью сметает со стола в мусорную корзину табачный пепел, жженые спички.

— Как же мы дальше-то жить будем, батько, батько? — жалостливо упрекает она его.

Из кухни возвращается Наташа со стеклянной лопаточкой, на кончике которой вата, смоченная в йоде, подходит к отцу и вскрикивает:

— Ты горишь, папа! — и бросается тушить тлеющий на нем рукав пиджака.

Когда волнения улеглись, Игнат Александрович снова усаживается за письменный стол, ставит пепельницу слева от себя и рука его привычно тянется за сигаретой.

Но мать и дочь не уходят из кабинета. Переглянувшись, они опускаются на диван, ждут чего-то. Мать поправляет седые волосы, дочь — высокая, черноглазая, в легком шелковом платье,— напряженно выпрямляется.

Игнат Александрович щелкает зажигалкой, закуривает и опускает глаза к бумаге. Дым обволакивает его лицо.

— Я для тебя интересную статью нашла,— говорит Ольга Сергеевна и протягивает ему раскрытый журнал.

— Это я уже читал,— говорит он, мельком взглянув на страницу.— Вы уж извините, я скоро кончу, тогда и перестану курить. Откройте форточку!

— Папа! — говорит дочь.— Скоро праздник...

— Да, скоро праздник, вот именно. До праздника-то я и хочу успеть.

— Сделай мне подарок к празднику, папа!

— Почему тебе одной?

— И тебе самому подарок, папа.

— Ну, ну?

— Брось курить совсем! Попробуй!

Игнат Александрович откладывает ручку в сторону и, глубоко затянувшись, смеется. Дым толчками выходит из его рта.

— Ах вот ты о чем! Чего ж пробовать, надо бросать сразу, раз и навсегда. Я сам давно этого хочу.

— Брось, папа! — умоляюще повторяет дочь.

— Конечно, брошу, иного выхода нет. Но для этого нужно морально подготовиться, чтобы не перестать писать.

— Разве ты еще не убежден, что надо бросить курить?

— Убежден. А бросить не могу.

— Значит, характера не хватает?

Игнат Александрович решает отшутиться:

— И характера хватает. Если хочешь знать, у меня железный характер: давно все врачи говорят — пора бросить курить, сам вижу, что пора, а все-таки не бросаю. Это ли не характер? — Потом он добавляет: — У Черномора вся сила была в бороде, у меня — в сигаретах. Я могу не курить, пока не сижу за столом. Месяц, два, три, полгода наконец. Но сколько же можно бездельничать... Ладно, оставьте меня!..— заключает он.

Странное дело: с тех пор как Игнат Александрович почувствовал и понял, что табак ему не просто вреден, а совершенно противопоказан, привычка к курению стала для него особенно дорога, она доставляет ему и муки, и наслаждение.

— Ладно, оставьте меня,— повторяет он.

Мать и дочь поднимаются с дивана. Дочь выходит из кабинета, жена встает на скамейку перед окном, открывает форточку. В комнату врывается холодный осен-

ний воздух, его поток продирается сквозь сизый дым, как струя светлой ручейковой воды в стоячем мутном пруду.

Открыв форточку, Ольга Сергеевна снимает с себя широкую шерстяную кофту и набрасывает ее на плечи мужа.

— Не простудись! — говорит она и сообщает как бы между прочим, как о чем-то совершенно обыкновенном: — Мишка покуривать начал.

— Как Мишка? — встревоженно вскидывает глаза Игнат Александрович.

— Так, Мишка!

— В двенадцать-то лет?

— Вот то-то, в двенадцать. Дети переимчивы.

— Брось чепуху говорить, не верю!

— Твое дело! — говорит Ольга Сергеевна и тоже выходит из комнаты.

Оставшись один, Игнат Александрович долго перелистывает странички рукописи, но к работе не приступает. Он придвигает к себе перекидной календарь и записывает на листке от 20 октября: «Миша курит», и ставит жирный знак вопроса.

Время тянется медленно. Позвонил телефон — раз, и два, и три — он трубку не берет: в соседней комнате есть параллельный аппарат.

Но вот жена открывает дверь:

— Возьми трубку!

— Кто спрашивает?

— Юрий Семенович.

— Ты сама ему позвонила?

Ольга Сергеевна, не отвечая, закрывает дверь.

— Игнат, есть хорошая новость! — кричит в телефон Юрий Семенович, в прошлом его учитель, ныне друг. Кажется, он стоит где-то рядом.

— Ну?

— Что ну? Я перестал курить. Вот тебе и ну!

— Поздравляю! — с досадой говорит Игнат Александрович.

Знакомого щелчка в телефоне, когда на параллельный аппарат кладут трубку, не слышно, значит, Ольга Сергеевна слушает разговор.

— Стакнулся с моей нянькой, да?

— Не в этом дело. Я тебе помогу, хочешь? Готов ты проявить характер?

— Значит, и у тебя вся надежда на мой характер? — издевается Игнат Александрович.— Нет у меня характера, понял?

— Я к тебе приеду сегодня! — кричит Юрий Семенович.

— Лучше не приезжай, не мешай мне. Все!

Перед глазами Игната Александровича опять перекидной календарь с надписью на листке от 20 октября: «Миша курит?» Он берет ручку, обводит несколько раз вопросительный знак, затем подрисовывает к нему жирную тень с левой стороны — знак увеличивается до размеров календарной цифры.

Работа не идет на ум.

Снова начинается приступ кашля.

Ольга Сергеевна открывает дверь в кабинет и пятится от дыма, хлынувшего ей навстречу.

— Можно, я врача вызову? — упрашивает она.

В это время на лестничной площадке грохает лифт, словно шахтерская клеть: Миша пришел.

Игнат Александрович торопливо встает из-за стола и выходит в коридор, чтобы открыть дверь сыну.

— Пожалуйста, не горячись! — предупреждает его жена.

— Ладно, молчи!

Игнат Александрович распахивает дверь, не дожидаясь звонка, и видит на лестничной площадке группу школьников. Миши среди них нет. Из незакрытой кабины лифта клубами валит плотный, еще не перемешавшийся с воздухом, совсем синий, совсем свежий папиросный дым.

Ребятишки опешили от неожиданности, словно их поймали в чужом фруктовом саду, оробели, переглядываются, жмутся друг к другу, не зная, что говорить, что делать.

Игнат Александрович растерялся не меньше их.

— Что вам нуж-но? — наконец спрашивает он, произнося каждое слово раздельно и по слогам.

— Мы от школы, собираем бумажную макулатуру,— заикаясь, отвечает один и прячется за спины товарищей.

— Ах, вы от школы? — угрожающе тянет Игнат Александрович.— А это что?

Казалось, дверь лифта не закроется, пока из него не выйдет весь дым.

Ребята не выдерживают. Прыснув, они кидаются

вниз по лестнице, сразу все, не касаясь перил, прыгая через три-четыре ступеньки,— шумные, озорные, счастливые, что напроказили и благополучно удирают.

Игнат Александрович с тоской смотрит им вслед, пережидает, пока затихнут вскрики и топот на нижних этажах, и, захлопнув лифт, возвращается в квартиру. Из коридора он идет не в кабинет, а к бельевому шкафу в детской комнате, где висит Мишина одежонка. Из шкафа вынимает все: пиджак и брюки от старой школьной формы, летний плащ, спортивную курточку, джинсы, рубашки-ковбойки с карманами, все перетряхивает, перебирает, выворачивает все карманы и, успокоившийся, довольный собою, победно смотрит на жену:

— Чепуха!

Из Мишиных карманов извлечены предметы немудрых мальчишечьих увлечений: гайки, шурупчики, использованные капсулы «жевело» от стартового пистолета, почтовые марки в спичечной коробке, копеечки, сохраняемые «на счастье», карманный англо-русский словарик... Никаких признаков табака!

— Чепуха! Ты ошиблась.

Повесив одежду на место, Игнат Александрович с такой же тщательностью осматривает содержание Мишиной столешницы, его книги и папки. И там ничего предосудительного не оказалось.

— Чепуха все! — повторяет он.

Ольга Сергеевна молча стоит рядом, следит за мужем.

Возвращаясь в кабинет, Игнат Александрович замечает в коридоре на вешалке Мишино зимнее пальто, проверяет и его. Во внутреннем кармане он находит металлическую коробку с надписью «Велоантечка», туго набитую табаком и листочками тонкой папиросной бумаги, а в другом кармане, тоже внутреннем,— окурки сигарет «Lux», подобранные, вероятно, с его же, отцовского, стола.

Теперь все сомнения исчезли: Миша покуривает.

Ольга Сергеевна, видно, знала уже об этих тайниках сына, потому находка не удивила ее. А Игната Александровича начал душить гнев. Гнев такой силы, что у него ослабели ноги и задрожали руки.

— В двенадцать-то лет! — говорит он тихо, потому что кричать не может.— Что же будет потом? Курить начал, значит, и пить скоро начнет.

— А я о чем? — заглядывает ему в лицо Ольга Сергеевна. — Уж лучше бы ты пил, чем так курить!

— Не обо мне речь,— повышает голос Игнат Александрович. — Пить тоже не велика радость: где пьют, там и курят. О тебе речь.

Гнев Игната Александровича неожиданно обернулся против жены. Неожиданно для него самого, но не для Ольги Сергеевны. Ольга Сергеевна давно привыкла к тому, что, когда муж раздражается, он прежде всего в других ищет виновника всех своих бед и огорчений,— так ему легче. Обращаясь к ней, он называет ее в третьем лице.

— Земля должна дрожать у нее под ногами, а она, видите ли, подходит и вдруг тихохонько сообщает: «Миша покуривать начал». Это все равно что сказать: «Миша сегодня на урок опоздал».

Голос его наконец окреп.

Наташа, занимавшаяся до сих пор каким-то своим делом на кухне, услышав крик отца, вышла встревоженная и стала умоляюще упрашивать родителей:

— Пожалуйста, не ссорьтесь! Пожалуйста, не надо кричать!

— А ты тут при чем? — повернулся к дочери Игнат Александрович.— Тебе-то чего надо? Распустили мальчишку, проворонили, а теперь «не надо кричать». Мало — покуривать начал, он же обманывает отца с матерью...

Накричавшись, выговорившись, Игнат Александрович успокаивается, и перед глазами его встает собственное детство, когда отец оттаскал его самого за первую цигарку махорки. «Если бы меня не стошнило тогда, ничего отец не узнал бы, — вспоминает он. — Правильно сделал, что оттаскал!»

Хорошо, что Ольга Сергеевна умеет молчать. Если бы она не молчала, Игнат Александрович долго не смог бы успокоиться.

— Оттаскать надо стервеца, за уши выдрать! — говорит он уже совсем тихо и как о чем-то совсем обыденном, затем проходит в кабинет и усаживается за письменный стол.— Так выдрать, чтобы на всю жизнь думать забыл о табаке. На всю жизнь!

Ольга Сергеевна молча закрыла за ним дверь, она довольна: ничего страшного, слава богу, не произошло.

За столом Игнат Александрович первым делом берет сигарету,— рука его еще дрожит,— чиркает зажигалку и

опять невольно вспоминает о первой своей цигарке. «Значит, отцовская порка все-таки не помогла? Выходит, что не помогла?»

После этого Игнат Александрович тяжело вздыхает и комкает в пепельнице едва разгоревшуюся сигарету. Больше он не ищет виновников своей беды.

Но что же делать, что делать?

Отодвинув пепельницу, Игнат Александрович берет телефонную трубку, набирает номер Юрия Семеновича:

— Слушай, Юра,— говорит он уставшим, больным голосом. — Что там у тебя есть? Я согласен на все. Помоги мне. Приезжай, пожалуйста, сейчас же!

Юрий Семенович торжественно выложил на стол коробку *никобревина.*

Небольшая круглая мышиного цвета металлическая коробка вроде тех, в каких продается кинопленка для любительских аппаратов типа АК-8. В коробке пятьдесят янтарных шариков, желтеньких, как только что вылупившиеся цыплята.

Так вот он, *никобревин*! There is only nicobrevin. The unique anti-smoking capsule — единственные в своем роде капсулы против курения!

К никобревину приложено объяснение о действии его на организм курильщика и подробнейшая инструкция, как пользоваться капсулами. Первые три вечера надо принимать по три таблетки сразу. Первые три утра так же по три таблетки. В последующие четверо суток — по две таблетки утром и по две таблетки вечером. В дальнейшем — ежедневно по одной таблетке перед сном и лишь в самом конце — с пропуском трех суток.

Тридцатидневный курс лечения должен помочь любому самому отъявленному наркоману избавиться от своей вредной привычки.

Юрий Семенович почему-то приложил к этой печатной инструкции свое расписание, от руки, в котором особо подчеркивалось, что по утрам пастилки никобревина следует принимать натощак. Это уже был его собственный опыт.

— От тебя требуется небольшое усилие воли,— убежденно говорил он,— и то лишь на первые дни. Сиди за столом, работай и не кури.

— Только-то? — горестно улыбнулся Игнат Александрович.

— Да, ничего больше. Не работается — просто сиди за столом и с месяц не пускай в дом никого из курящих. Гони в шею даже друзей, если они курящие. Теперь они тебе не друзья, понял? Посидишь немного, встань и помаши руками, ляжешь — покрути ногами. И дыши, дыши! Понял? Так скорее из тебя вся мерзость выйдет. Черная дрянь полезет, понял? Ты на меня взгляни, я совсем другим человеком стал! — хвастливо добавил он.

Игнат Александрович иронически посмотрел на своего друга:

— Действительно, сияешь, словно тебя на Государственную премию представили.

Перемены, происшедшие с Юрием Семеновичем за короткое время, и впрямь бросались в глаза. Раньше он был худой, долговязый, с желтоватым лицом, с чуть прищуренными, правда, всевидящими и всепонимающими глазами и отличался необыкновенной нервной подвижностью. Сейчас раздобрел, уже не казался высоким, по комнате ходил неторопливо, солидно, и глаза его стали спокойными, сытыми. «Видишь, какой я!» — казалось, кричало все его дородное тело.

— Ты знаешь, что значит победить себя? Я победил себя и горжусь этим! — всерьез заявил он.— Как известно, это самая великая победа, какую может одержать человек!

Игнат Александрович иронизировал недолго, настолько искренне и велико было его собственное желание бросить курить.

Первые три капсулы никобревина он проглотил тут же, в присутствии Юрия Семеновича. При этом Ольга Сергеевна смотрела ему в рот, а когда он, словно причащаясь, пил воду, раздалось журчание и в ее горле.

Весь вечер Игнат Александрович не курил. Более того, ему не хотелось курить. Правда, вечером он не садился за письменный стол, но это потому, что было уже поздно.

Ночь тоже прошла спокойно: курить по ночам он вообще не имел обыкновения.

Утром Игнат Александрович принял согласно инструкции три таблетки никобревина и пришел на кухню завтракать вместе со всеми. Ольга Сергеевна и Наташа

поглядывали на него украдкой, они почти дышать перестали, но делали вид, что ничего особенного в их семье не происходит. Миша вовсе не поднимал глаз: предупрежденный матерью, он боялся отца и ждал, что с минуты на минуту разразится гром.

Но завтрак закончился спокойно.

После завтрака Игнат Александрович прошел в кабинет и сел за стол. Курить ему не хотелось, хотя сигареты со стола он не убрал.

Наташа, торопясь в институт, крикнула ему через дверь:

— До свиданья, отец!

Миша прошмыгнул коридором бесшумно и молча.

Игнат Александрович сидел за столом и удивлялся, что ему совсем не хочется курить и что никакого усилия воли от него вовсе не требовалось.

Так прошел день. Прошло два дня. Три. С каждым новым приемом никобревина нарастало ощущение, что он обкурился, обкурился так, словно только что сжег подряд целую пачку сигарет. Ему даже смотреть на них не хотелось.

По вечерам, возвращаясь с занятий, Наташа шепотом спрашивала мать:

— Не курит?

— Не курит! — так же шепотом отвечала мать.

— Сидит?

— Опять весь день сидел.

Семья ликовала: батько перестал курить! И незаметно, чтобы нервничал, страдал. Сидит по целому дню за столом, значит, работает.

Ежедневно звонил Юрий Семенович, он спрашивал коротко:

— Курит?

— Не курит! — отвечали ему, захлебываясь от восторга, то Ольга Сергеевна, то Наташа. Так отвечают на звонки врача о состоянии больного, приговоренного к смерти, но неожиданно начавшего поправляться: «Ему лучше! Он выздоравливает! Он уже ходит!»

Дыму в квартире не было, хотя запах табака еще не выветрился. Табаком пахло от книг, от одежды, от постелей, от ковров, даже от стен, — пахло кисло, прогоркло, вонюче. Но стоило открыть форточку — и этот смрад надолго улетучивался. Казалось еще немного — и он исчезнет совсем, навсегда. Все было удивительно!

Но самое, пожалуй, удивительное, что Игнат Алек-

сандрович ни слова не сказал сыну о своем горестном открытии. Ни упрека, ни намека — ничего. И Миша, трепетавший вначале при каждой встрече с ним, постепенно перестал робеть, перестал ходить по квартире на цыпочках.

Больше всех ликовал, кажется, сам Игнат Александрович. В самодовольстве своем он даже стал немного походить на Юрия Семеновича.

Незадолго до праздника, получив стипендию, Наташа принесла отцу эспандер в четыре толстых прорезиненных шнура. Игнат Александрович тут же проделал несколько упражнений, растягивая резину во весь размах рук, — прямо перед собой, за спиной и над головой.

— К батьке возвращается молодость! — сказала Ольга Сергеевна.

А Наташа достала еще из портфеля тяжелый продолговатый сверток и торжественно вручила его отцу:

— Это тебе к празднику, папа. Мое поздравление с твоей победой. Заграница!

— Что ты говоришь о моей победе? Хочешь, чтобы у меня глаза стали маленькими, чтобы и я раздобрел? — засмеялся Игнат Александрович.

Кинув эспандер на спинку стула поверх Наташиного пальто, он принял сверток и стал взвешивать его на руке:

— Что это такое?

— Разверни, оценишь. Мне сегодня подарил однокурсник.

Наташа не хотела говорить, что и этот подарок она купила в магазине по дороге из института.

— Зачем же даришь подаренное?

— Подарить всегда приятнее, чем самой...— она не договорила.

— Это верно, дарить приятно...

В свертке оказалась бутылка в совершенно невиданной, удивительной упаковке.

— Это же вино! — вскрикнул от неожиданности Игнат Александрович.— Что ты со мной делаешь, дочка?

— К празднику, папа.

— Но где вино — там и папиросы! — В голосе его был неподдельный испуг.

— Я верю в тебя, папа!

Игнат Александрович прошел с подарком в свою комнату и водрузил его на середину письменного стола. Все сгрудились вокруг него. В кабинете было светло, не то что в коридоре, Наташин подарок выглядел здесь не простой бутылкой вина, а диковинкой, и ее начали рассматривать внимательно и неторопливо, как рассматривали бы произведение искусства.

Было что рассматривать! Черная, крупная, благородной формы бутылка в цветной рогожке с фигурными золотистыми наклейками, что тебе красавица в юбочке с воланами и оборками, заключена была в решетчатый деревянный футляр, сколоченный из тонких, хорошо оструганных планок, не то платановых, не то кипарисовых. Планки эти, богатые и красивые сами по себе, были еще покрыты тиснеными надписями на испанском и английском языках и бордовыми, тоже тиснеными, изображениями бокалов — конечно, хрустальных, на тонких изящных ножках. Шейку бутылки облегала особая, мелкого плетения, дерюжка, вроде кофточки, отделенная от основной одежки, от юбочки, нешироким просветом.

Сверху и снизу с четырех сторон на деревянной решетке вытиснуты были надписи на английском языке: «Open here» — «Открывать здесь». Внизу на поперечных планках на испанском: «Hecho en Cuba» — «Сделано в Кубе». Посредине вертикальных планок, так же с четырех сторон, опять на английском: «Fragile» — «Хрупкое, бьющееся», и «For export» — «На экспорт». А на самой бутылке, на главной ее многоцветной этикетке, наклеенной на рогожку, стояло название вина: «Cordial de Cafe». «Coffe» — ликер «Кофейный», и крепость его — «grado» и емкость в кубиках — «Cont 750 cc.».

Нет, не узницей в деревянной клетке выглядела эта заморская красавица, а царевной в расписном терему. И все — настоящая экзотика, во всем — дыхание экваториальных морей.

Игнат Александрович и Ольга Сергеевна мало что понимали в иностранных языках, они только с восхищением разглядывали любовную работу мастеров: «Как отполировано! Как чисто пригнано!» Зато Наташа и Миша принялись сообща разбирать и переводить испанские и английские слова — правда, основываясь тоже больше на догадках, на интуиции.

— «Elaborado y envasado por — Элаборадо и энвасадо пор...» — читали они наперебой.— Эмп. комс. де ли-

корес и винос... Это, по-видимому, означает, где изготовлено, разлито и упаковано, каким ликеро-винным заводом.

— Фирмой, фирмой!— закричала Наташа.

— А это адрес: «Унидад Н — 003 Басаррате 102 Хабана».

— Не понимаю, что такое «Хабана»? — спросил Миша.

— *Гавана же!*

— А вот написано: «Марка регистрада». Регистрация, значит. А что это за рисунок?

— Заводская марка, вот что. Не регистрация, а патент. Продукт запатентован... Понимаешь?

— «Дис сайд ап» — верх. Правильно?

— Кажется, правильно. А вот внизу: «Оупен хиа» — открывать здесь, и вверху: «Оупен хиа». Значит, открывать можно и снизу и сверху. Откроем?

— Подожди, дочка! — вмешался в разговор Игнат Александрович.— Жалко как-то... Нельзя сразу...

Ольга Сергеевна поддержала его:

— Откроешь,— сказала она,— и вдруг окажется, что в бутылке не вино, а дух, джинн... Улетит еще!..

Кроме надписей на бутылке и на решетке футляра, к подарку подвешена была еще бирка, тоже красочная, на которой с одной стороны было напечатано: «Cafe (Coffe)», с другой — «Rush to» и «Address». Значит, на бирке следовало написать: кому направляется подарок и по какому адресу.

Наташа взялась за отцовскую ручку:

— Я сейчас впишу: «Москва, папе, за его великую победу над самим собой...»

Всем стало очень весело.

К тому же и низкое осеннее солнце вдруг, откуда ни возьмись, засияло над куполами Кремля, прямо против окон кабинета, и оттуда повеяло другой экзотикой, другой красотой, уже своей, родимой, русской, очень древней и очень новой, которую порой перестаешь замечать и чувствовать, если стоишь к ней слишком близко, а она нет-нет да и даст о себе знать в минуты большой радости и душевного просветления.

— Милые вы мои, родные вы мои!.. Уже праздник! — начал восторженно приплясывать Миша, целуя то одного, то другого, не зная, как управиться со своим счастьем.

Ольга Сергеевна распахнула форточку. Вечерняя про-

хлада вместе с шумом и звоном городской улицы хлынула в комнату. Зашелестела белая бумага на столе, чуть качнулся в углу расшитый рукотерник — подарок старой вологодской бабушки, просияли переплеты книг.

— Так откроем или не откроем? За папину победу? — снова заговорила Наташа, берясь за бутылку.

— Подожди, дочка! — опять остановил ее Игнат Александрович.— Победа победой, но разве я ее одержал? *Никобревин!..* И потом... приятнее подарить, чем самому выпить, ты же так сказала? Я думаю, что это сокровище будет достойно никобревина. Так?

На мгновение наступило замешательство: либо не сразу все поняли, что намеревается сделать отец, либо просто пожалели о Наташином подарке. Все-таки «дареное не дарят» — так принято было считать всегда.

Ольга Сергеевна первая поняла и поддержала отца:

— Звони!

В комнате снова наступило оживление, снова Миша ликовал, что в доме уже праздник, а Наташа неопределенно улыбалась.

Игнат Александрович взял трубку, набрал номер. К параллельному аппарату бросился Миша, захотел послушать, какой будет разговор.

Юрий Семенович не дал слова вымолвить, тотчас спросил:

— Не куришь?

— Да не курю! — взъелся Игнат Александрович.— Что ты, ей-богу, все об одном и том же, словно других дел у тебя нет. Не курю! Спасибо, не курю! Слушай, друг, мы для тебя и твоей семьи подарок приготовили к празднику. Послать?

— Подарки люблю, присылай!

— Ну, тогда все! — сказал он и положил трубку.

В тот же день диковинная бутылка была передана Юрию Семеновичу.

— Вот еще что надо сделать,— сказала после этого Ольга Сергеевна.— Пусть Наташа завтра же отвезет своему однокурснику хорошую бутылку нашего вина.

Наташа как-то смущенно и растерянно заулыбалась:

— Удобно ли это, мама?

— А ты от нашего имени. Или пригласи его на праздник к нам.

Наташа уже без улыбки зыркнула на нее черными глазами:

— Хорошо, я как-нибудь выйду из положения...

Вечером от Юрия Семеновича домработница принесла сверток неопределенной формы и записку.

«Не жалейте о бутылке,— писал он,— но у меня не хватило силы поднять руку на такое чудо. Пересылаю с попутчиком в Тбилиси моему старому товарищу Георгию Николаевичу, гостеприимством которого я пользовался не раз. К тому же там больше понимают толк в подобных вещах.

В качестве морального возмещения примите настоечку собственного изготовления...»

В свертке под десятком бумажных одежек оказался графинчик домашней рябиновки. К стеклянной пробке его была подвешена картонная бирка с надписью:

«Open here! — Открывать здесь!»

— Да уж графинчик-то мы знаем где открывать,— смеясь и потирая руки, сказал Игнат Александрович.

Они перешли на кухню, где обычно завтракали и ужинали.

— А бутылочка моя, кажется, счастливая! — радовалась Наташа.— Хорош ли хоть ликер-то был?

Перед глазами белый, белый лист бумаги. Чистый лист...

Как хочется не испортить его! Исписать и не испортить!

Игнат Александрович долго сидит перед стопкой чистейшей белой бумаги и не может начать писать.

Растерянный, в тревожном ожидании чего-то, он бессмысленно смотрит по сторонам — на книжные полки, на стены, на серый от времени потолок кабинета, иногда заглядывает в окно, из которого виден город сверху — крыши, и купола, и перспектива дальних улиц. Потом взгляд его медленно и бездеятельно скользит по столу, с одного предмета на другой. Две черные авторучки в держателях на мраморной доске. Ножницы и несколько цветных и простых карандашей в стакане, выточенном из самшитового обрубка. Перекидной календарь. Стопка газет и журналов, которые нужно читать. Часы на ремешке, снятые с руки и положенные ребром на краю стола.

Под толстым стеклом на зеленом сукне видна милая и понятная его сердцу открытка — репродукция с карти-

ны Яна Стыки: вконец измученный могучий русский старец в длинной белой рубахе, в простых сапогах припадает к плечу Христа: «Помоги!..» Но и эта открытка не оживляет взгляда Игната Александровича.

Чтобы занять себя чем-то, он достает из ящика стола склянку с чернилами, пипетку и начинает добавлять чернила в авторучки, но они и без того полны. Тогда он вынимает из кармана ножик и чинит карандаши — один, другой, скоблит графитные стерженьки, которые и без того тонки, как иглы... Ничего этого делать не нужно, но он делает — просто так, потому что не может начать писать.

Чуть слышно тикают ручные часы. Он берет их, разглядывает, подносит к уху и снова кладет на место.

Пепельницы на столе нет...

Почему же все-таки не пишется?

Перед ним лежит незаконченный предпраздничный очерк. Перечитав его, Игнат Александрович убеждается, что и заканчивать его не стоит: все очень плохо, выспренно, фальшиво. Но и новое ничего не идет на ум.

Художник, прежде чем изобразить натуру, должен увидеть ее контуры, вообразить на белом поле ее живые очертания. Еще не прикоснется карандаш к бумаге, а из ватманской глубины листа для внутреннего зрения художника должен проступить весь рисунок как бы в готовом виде, иначе не будет ни достоверности, ни одухотворенности в нем.

Точно так же и для Игната Александровича необходимо, прежде чем начать писать, представить себе хотя бы приблизительно то, о чем он хочет рассказать людям, ощутить реальность припомнившегося или воображаемого события и поверить в него и услышать его своим внутренним слухом.

Без этого не стоит приступать к работе. Без этого не будет правды.

Игнат Александрович часами сидит за столом, пытается сосредоточиться и не может. Воображение ничего не подсказывает ему. Воображение безмолвствует, бездействует, нет его совсем.

Раньше бесконечные видения возникали из клубов табачного дыма — так Игнату Александровичу казалось. Бывало, Ольга Сергеевна посылала в кабинет Мишу узнать, что делает папа. Миша заглядывал в кабинет, возвращался и докладывал: «Папа курит!» А папа работал. Работал азартно, удачливо, с любовью.

Теперь на столе его нет пепельницы, в комнате не пахнет дымом. И курить ему не хочется, он только что принял две таблетки никобревина. Но и работа не идет.

«Вот она, страшная сила условного рефлекса,— думает он, вспоминая поучения врачей.— Но ведь курение — только условный рефлекс и его легко преодолеть, изгнать. Курение— привычка чисто механическая. В организме курильщика не появляется неодолимой потребности в никотине, как в организме пьяницы потребность в алкоголе. Значит, можно одну механическую привычку заменить другой механической привычкой — и все пойдет по-старому. Многих, например, выручают четки...»

Игнат Александрович достает из ящика стола янтарные бусы на шерстяном шнуре, которые подсунула ему жена, и начинает перебирать их. Сначала передвигает по одному зерну, потом по два, все быстрее и быстрее... Считает: «Пара, две, три...» Янтарные зерна цветом похожи на капсулы никобревина. «Пятнадцать пар, шестнадцать пар... двадцать... двадцать пять... Значит, всего пятьдесят бусинок. Пятьдесят капсул никобревина...»

Не помогает!..

Может быть, лучше прожить несколько лет меньше, зато сделать что-нибудь? Э, кого я обманываю?!.

Он бросает четки в ящик стола и достает коробку скрепок. Берет в руки одну скрепку, разгибает ее, потом сгибает, стараясь придать ей прежнюю форму. Скрепка быстро ломается. Тогда он берет их несколько штук, нанизывает одна на другую, цепочкой. Получается опять что-то вроде четок.

В голове уже совсем ничего нет... После этого Игнат Александрович сует целую щепоть скрепок в рот и начинает жевать их, жевать, жевать. Во рту появляется вкус металла. «Можно и к этому привыкнуть,— думает он.— Будто гвозди пережевываю!» И вдруг в голове его складывается потрясающая по своей нелепости стихотворная строка: «Гвозди бы делать из этих скрепок!..»

— Наконец-то, пошло! — смеется он над собой и выплевывает скрепки в корзину.

Не пишется!..

Странное это состояние: пишется, не пишется... Никогда нельзя знать заранее, что́ заставит тебя сидеть за столом день, два, десять, без перерыва, и упоенно, самозабвенно, отмахиваясь от всего постороннего, сочинять,

писать. Откуда приходит *это*, какие причины вызывают необходимую для работы проясненность души, согласованную сосредоточенность мыслей и чувств? Материал? Доскональное знакомство с ним, близость к нему? А что это такое — вдохновение? Может быть, это оно и есть, оно и дает о себе знать?

Игнат Александрович берет блокнот, перелистывает его, перечитывает записи недавней поездки. Записей много... Может быть, что-то вдруг оживет, разволнует, разбередит душу?

«В колхозы отдаленного района по разнарядке сверху засылают несколько вагонов минеральных удобрений. До железнодорожной станции километров сто пятьдесят — двести, время осеннее, дороги непроезжие. Пока дозвонились до района, до колхозов, прошло несколько дней. Удобрение сваливают в тупик. Железная дорога посылает счета: штраф за простой вагонов, плата за разгрузку, и требует срочно освободить тупик. Отказываться от удобрений нельзя, и вывезти их невозможно, да и свой навоз на поля еще не вывезен. Колхозы оплачивают все счета. На станцию с трудом пробиваются три самосвала и тайно в течение двух суток перетаскивают удобрения в ближайший овраг и заваливают их землей, чтобы не платить новых штрафов...»

«Ну и что же? — думает Игнат Александрович. — О таком уже писали как-то, что изменилось? Напишу и я, донесу, и, если напечатают, отдадут председателей или трех водителей самосвалов под суд, и только. Какая польза делу?»

Он читает дальше.

«В порт возвращается с путины рыболовецкий траулер. Берег рыбу не принимает, некуда. Судно направляют в соседний порт, но там отказываются от рыбы — холодильников не хватает. А рыбакам нужно план выполнять, иначе не будет ни хорошей зарплаты, ни премиальных. Они выбрасывают рыбу в море и идут ловить новую...»

«Это материалец тоже не для праздничного очерка,— невесело думает Игнат Александрович.— И вообще ни для чего. Горечь одна. Где люди, где положительные характеры?»

Сделав резкое движение, он кашляет. И снова глухой гул подымается из глубины его воспаленных бронхов, словно где-то поблизости безнадежно буксует застрявший грузовик. Лицо от напряжения наливается кровью, все

тело сотрясается, как земля от вулканических толчков, предвещающих извержение.

«Нет, курить нельзя! — думает он.— Что угодно, только не курить. Опять частые гриппы, постель, больница... Все равно с курением один обман: пишется недолго, потом наступает утомление, апатия, мучают головные боли, бессонница. Нельзя курить! Курить нельзя! Может быть, я что-то еще сделаю в своей жизни».

С трудом сдерживая кашель, Игнат Александрович торопливо проглатывает таблетку антастмана, запивает водой прямо из графина, достает карманный ингалятор, заполненный эуспираном, и дышит, дышит...

«Слава богу, сознания уже не теряю, и то хорошо!»

Перед самым праздником события с кубинской бутылкой стали разворачиваться весело и быстро.

Вдруг прямо с аэропорта от самолета Юрию Семеновичу привезли десятилитровый бочонок маджари, молодого виноградного вина. На дубовом, чуть выпуклом, как объектив телескопа, днище рука знаменитого тамады начертала мелом:

«За дружбу всех хороших людей! С праздником!»

Сопроводительное письмо было не короче древних пергаментов, цветисто и многоузорно, как орнаменты грузинской архитектуры. Опьянеть можно было уже от одного этого послания.

Приглашая Игната Александровича на встречу праздника, Юрий Семенович посоветовал принять таблетку никобревина вне расписания.

— А бутылочка-то кубинская счастливая оказалась! — опять похвасталась Наташа, когда узнала о бочонке маджари.

— Да, неразменный рубль,— подтвердил Игнат Александрович.— Поедешь с нами?

— А Миша с кем останется? — встревожилась Ольга Сергеевна. — К тому же у Наташи завтра свой вечер, институтский...

Юрий Семенович и жена его, Евгения Федоровна, встретили гостей на лестничной площадке. Юрий Семенович не просто перестал курить, он пошел в гору по службе и получил новую квартиру.

В новой квартире, несмотря на то, что хозяева переехали в нее совсем недавно, был уже полный порядок. Заново сооруженные книжные полки высились с двух сто-

рон от пола до потолка и в коридоре, и в кабинете, под который отведена была самая большая комната. Книги и в других комнатах занимали так много места, что вся квартира походила на библиотеку.

Но в квартире пахло табачным дымом, и Игнат Александрович это сразу почувствовал.

Первым делом хозяева познакомили друзей со своим новым гостем, председателем грузинского колхоза, который привез им бочонок вина, Григолом Арсентьевичем.

— Григол! — назвал он себя, пожимая руки Ольге Сергеевне и Игнату Александровичу.— Просто Григол. У нас так принято.

Это был пожилой человек крепкого сложения, не грузный, с широким красивым лбом, с узкими, аккуратно постриженными, но уже седыми усиками, с ясными черными глазами. В одежде его, не в пример многим русским председателям колхозов, ничего не было от деревенской небрежности: черный, ладно сидящий костюм с хорошо разутюженными брюками, снежно-белая нейлоновая сорочка, модный, плетеный, тщательно повязанный галстук, тоже черный...

— Вы из какого района? — спросил его Юрий Семенович.

— Хобский район. Если не слыхали о Хоби — знаете Поти. Большой порт. Хоби, Поти — соседи.

— Я бывал в Хоби,— обрадовался Игнат Александрович, словно встретил старого знакомого.— В колхозах ваших бывал. Вы председатель?

— Я председатель.

— А колхоз? Может быть, я был в вашем колхозе.

— Колхоз «Гантиади».

— Не помню. А что это означает?

— Гантиади — заря. В Грузии много колхозов «Заря».

Женщины ушли на кухню, мужчины обосновались в кабинете.

Игнат Александрович стал ходить вдоль застекленных стеллажей, рассматривая корешки книг. Он позавидовал строгости, с какой были расставлены здесь собрания сочинений. В его собственной домашней библиотеке дети перетасовали все, и никогда нельзя было сразу найти нужный том.

Юрий Семенович с удовольствием и неторопливо объяснял, в каком порядке расставлены на полках книги, где

у него иностранная литература, где монографии по живописи, где особо ценные издания русской и мировой классики.

Григол попросил разрешения курить.

— Курите, пожалуйста, нам это уже не страшно, — сказал Юрий Семенович, мельком, искоса взглянув на Игната Александровича.— Пепельница на столе.

— Вы перестали курить? Я не курил, пока был учителем, но сейчас мне нельзя не курить. Весь мой колхоз курит, что же я — белая птица? А заседания в районе с утра до ночи? Ни одного вопроса не решить без папирос.

— Вы были учителем? — заинтересовался Игнат Александрович.

— Был. Сняли.

— За что, если можно узнать?

— Плохой сон увидел, за плохой сон сняли.

— А все-таки?

— Это неинтересно! — Григол не захотел отвечать. «Странно,— подумал про себя Игнат Александрович.— Все равно узнаю, надо узнать!»

— А в председателях вы давно?

— Больше десяти лет.

— Вот, вот, расскажите о колхозной жизни,— подхватил Юрий Семенович.— Игнату это нужно.

— Разная колхозная жизнь. Что вам рассказать про колхозную жизнь?

— Довольны вы своим колхозом? — спросил Игнат Александрович.

— Я недоволен собой.

— Ну, ну?

Григол посмотрел на Юрия Семеновича

— Вы же интересно рассказывали про колхоз,— ответил на его взгляд Юрий Семенович.— Игнату расскажите!

— Я рассказывал про первый колхоз... Дело это старое...— неохотно протянул Григол.— Приезжайте, посмотрите па колхозную жизнь сами.

«До чего осторожен!» — подумал про него Игнат Александрович, но все-таки решился задать еще один вопрос:

— Вы работали уже в двух колхозах?

— В трех работал. С первого колхоза меня сняли. Колхозники сняли. Сами! Я их давил, они перестали работать...

Сказав это, Григол замолчал, и, сколь ни любопытно было начало разговора, Игнат Александрович почувствовал, что настаивать на его продолжении он не может, неудобно было. Но Григол сам добавил еще несколько слов:

— На секретаря давили сверху, секретарь давил на председателей. А я — учитель, я не умел давить, но, разозлившись, тоже стал командовать, и люди меня невзлюбили...

Разговор прервали женщины. Они вошли в кабинет, как заговорщицы, довольные проделанной работой, и пригласили гостей в столовую.

— Очень кстати! — обрадовался Юрий Семенович.— А то у нас тут без бутылки... без бочонка,— поправился он,— языки к нёбу прирастают.

Ольга Сергеевна, увидев дым, со страхом взглянула на мужа, но тут же успокоилась.

Маджари не отличалось хорошим цветом — мутноватое, оно не золотилось, не искрилось в бокалах, но вкус имело отличный.

Вместо первого тоста Юрий Семенович прочитал письмо своего тбилисского друга:

«...Счастья на земле все еще не хватает людям. Пора кончать с этим дефицитом. Пусть дружба хороших людей поможет нам. Реки сливаются в море, люди объединяются в дружбе. За дружбу правильных людей, за торжество правды!..»

— Я не вижу оснований возражать против такого тоста,— сказал Григол.

Выпив свой бокал, он снова закурил. А Юрий Семенович наклонился к Игнату Александровичу и, показывая глазами на табачный дым, спросил полушепотом:

— Ну как? Терпишь?

— Совершенно спокоен, — ответил тот.

— А работается без курения?

— Да ведь как сказать...

— Что — как сказать? Ты смотри на меня! Здоров и работаю как вол, служу. И вот результаты, квартиру дали! Это же не кооперативная...

— Ладно, об этом потом,— отмахнулся Игнат Александрович, как от дыма.— Мне чем-то нравится твой Григол. Но как осторожен! Попроси его сказать что-нибудь...

Григол согласился, встал.

— По нашим обычаям,— сказал он,— я должен гово-

рить последним. Но, думаю, очередь дойдет еще и до этого. Я тоже хочу говорить о счастье. Пока не будет хорошо всем в равной мере, нельзя быть счастливым никому. Стыдно быть счастливым, если соседи твои, земледельцы, нуждаются. Надо так, чтобы всем было хорошо. Я верю, что так будет всюду. Мы всегда в это верили... По грузинскому обычаю, за праздничным столом пьют за матерей. У нас одна мать — наша родная и великая. Выпьем за ее светлый разум, за то, чтобы она мудро вела наши дела.

Григол выпил, ни на кого не глядя, сел и снова задымил.

Игнат Александрович заволновался. Затем, обращаясь к Григолу, спросил:

— Вы были на войне?

— Всю войну был на войне. Однажды был в окружении, из окружения вышел. Вышло нас десять человек, остальные попали в плен. За этими остальными мы вернулись целой армией. И лишь когда освободили всех, я почувствовал, что вышел из плена. Это я тоже говорю о счастье.

Игнат Александрович извинился:

— Простите, что я все время спрашиваю вас!

— Пожалуйста! — ответил Григол.— Когда выпьем, я тоже буду спрашивать вас. Я спрошу: вы всегда довольны собой?

Игнату Александровичу Григол нравился все больше и больше. Нравился весь его облик, его манера говорить короткими фразами — резко и четко. Понравилось, как он вставал — сразу и легко, словно сильные пружины стула подбрасывали его кверху, и как сидел — прямо, не сутулясь. Что-то в нем осталось от войны — молодцеватая подобранность, определенность во всем. Нравилось, когда он смотрел в глаза своим собеседникам и когда почему-то не хотел смотреть им в глаза, понравилось даже то, как он чадил.

На Игната Александровича вдруг нахлынуло то самое волнение, которого он давно ждал, часами сидя за письменным столом с коробкой никобревина и стопкой белой бумаги под рукой. Давно молчавшее воображение его словно бы проснулось, ожило. В клубах табачного дыма, которые пускал Григол, перед ним стали возникать желанные видения, как если бы этот дым клубил он сам.

— Григол! — снова обратился он к председателю.—

Что вы там начали говорить про свой сон, из-за которого вас работы лишили? Может, доскажете?

Григол засмеялся. Смех его — заливистый, озорной, с хитринкой — тоже понравился Игнату Александровичу.

— Вам, наверно, трудно будет поверить,— сказал Григол.

— В сон?

— В то, что я расскажу. И сон, конечно, мистический.

— Попробуем поверить.

Евгения Федоровна налила в бокалы вино и ждала, когда они закончат разговор, но, убедившись, что конца не предвидится, с упреком сказала Игнату Александровичу:

— Вы не успокоитесь, пока не заполните анкету на нового человека. Пусть люди выпьют, хватит дел!..

— Мне дали хороший колхоз,— продолжал рассказывать Григол,— но я боялся идти в колхоз, у меня был мягкий характер. Мне приказали. Тогда я рассердился и тоже стал приказывать. Меня не слушает секретарь, я не слушаю колхозников. Колхоз выращивал виноград, вино делал, — мне приказали выращивать овец, шерсть делать. Мне было очень трудно, и колхозу стало очень трудно. Колхоз был богатый, за два года он стал бедный. Я разорил колхоз, и секретарь снял меня с работы.

— Колхозники или секретарь? — переспросил Игнат Александрович.

— Вы что — ребенок? — заулыбался Григол.

— Тогда расскажите, пожалуйста, подробнее.

На этот раз вмешался Юрий Семенович:

— Игнат! Тебя, как говорится, хлебом не корми...

— Хлебом можешь не кормить, а вино разливай,— ответил Игнат Александрович и первый поднял бокал: — За ваше здоровье, Григол! Я рад, что познакомился с вами.

Но самому Игнату Александровичу было уже не до вина. Он хотел знать как можно больше о своем новом знакомом, по возможности — все. Немало встречается в жизни интересных людей, но далеко не все встречи вызывают в душе необходимое для работы волнение, — то единственное творческое волнение, которое заставляет человека садиться за письменный стол. Немало есть сю-

жетов на свете, они всюду, мы ходим по ним, как по траве, они вокруг нас, как воздух, вода, свет. Но надо найти такой сюжет, единственный, свой, который бы воспринимался как пришедший не извне, а изнутри тебя самого, из твоей внутренней сути, про который можно было бы сказать: вот это мое, это для меня, это все я сам пережил, сам передумал.

Встреча с Григолом взволновала Игната Александровича, он принял грузинского председателя в свою душу, почувствовал его как свою собственность и уже додумывал его. Это был *его Григол.* Теперь только бы не упустить полноты ощущения, не растратить время понапрасну, все выспросить, запомнить и согласовать со всем своим предыдущим опытом жизни.

Ольга Сергеевна, вероятно, поняла его состояние и пришла на помощь своему мужу.

— Я тоже была в ваших местах, Григол Арсентьевич, в Хоби, — сказала она. — Вместе с мужем была. Помню, все не верилось, что мы на земле, а не в раю. Куда ни глянешь — висят те самые апельсины, мандарины, которые я до той поры видела только на скалках весов да в кино. Поднимешь руку — и в руке у тебя лимон, поднимешь другую — хурма.

— Субтропики,— сказал на это Григол.

— А поздней осенью,— продолжала, увлекаясь, Ольга Сергеевна,— на деревьях с хурмой ни одного листика. Висят эти плоды, сверкая на солнце, сгибая ветки, крупные, сочные, действительно золотые, и просвечивают насквозь. А виноград! Где только он ни красуется, куда только ни забирается! На вершинах деревьев — гроздья, в небе — гроздья. Как в сказке...

Григолу понравились эти восторженные слова о его родном крае, увиденном со стороны, и он тоже заговорил о нем с увлечением:

— Виноград, который высоко на деревьях вьется,— это домашний виноград, изабелла, он очень сладкий. Много у нас винограду. Много и цитрусовых. А фейхоа знаете? Этакая японская клубника. Бальзам! А маслины? Но настоящее наше золото — чайный лист. Многие тысячи гектаров чайного листа. Вот где колхозное богатство! Каждый килограмм листа — червонец, новый червонец. Женщины собирают по двести, по триста килограммов чайного листа в день.

— Почему же вашему колхозу стало трудно? — спросила Ольга Сергеевна.— На что вы намекали?

— Зачем намекать? Намеками делу не поможешь. Было трудно. Я говорил о животноводстве. Сверху нам планировали животноводство, а животноводство для наших мест то же, что кукуруза для Заполярья. Закупили мы сто пятьдесят коров в Западной Украине, а корма возили с Кубани. От одних коров терпели убыток в миллион рублей, старых рублей. Литр молока обходился колхозу в четыре рубля. Потом куры. Каждое яйцо стоило нам два рубля. Мы стали покупать яйца на Украине, на рынке, везли их на Кавказ, сдавали по плану и отправляли в Москву...

Юрий Семенович был почему-то недоволен, что разговор за праздничным столом опять принимал деловой характер, это портило ему настроение, но Ольга Сергеевна уже не хотела замечать этого.

— И вы не могли отстоять права колхозников? — горячилась она.

— Больше этого не будет! — решительно заявил Григол.— Сейчас все у нас пошло по-иному.

Юрий Семенович не выдержал:

— Довольно о делах!

— Больше этого не будет! — повторил Григол, глядя не на него, а на Ольгу Сергеевну.

Тогда Игнат Александрович встал из-за стола и увел Григола в кабинет. Там они просидели остаток вечера. Хозяйка дома, Евгения Федоровна, несколько раз носила им вино в бокалах.

Табачный дым вопреки заведенному порядку стлался по всей квартире, как в конторе правления колхоза.

В течение недели Игнат Александрович с утра закрывался в своей комнате, отключал телефонный аппарат, просил жену не стучать к нему понапрасну и не принимать никого посторонних.

— Не пускай в дом курящих! — особенно настойчиво повторял он.

В квартире было тихо. Наташа с утра уезжала в институт, Миша на время школьных каникул перебрался к бабушке. Игнат Александрович выходил из кабинета, только чтобы поесть да дважды в день, как обычно, подолгу бродил по набережной. Спал он тоже в кабинете, а когда оставлял его, то захлопывал дверь и ключ брал с собой.

Ольга Сергеевна давно привыкла к этой его манере работать и не тревожилась. «Творческий запой» — так в шутку и сам он называл наиболее счастливые дни своей жизни. Ольга Сергеевна возилась на кухне, в коридор выходила на цыпочках и волновалась лишь, когда слышала, как мужа одолевает кашель.

За дверью сначала раздавались сипение и хрип, будто приходил в движение ржавый механизм старинных часов перед тем, как им начать бить. Затем со скрежетом отодвигалось кресло — это Игнат Александрович либо вставал, чтобы перейти на диван, либо наклонялся над корзиной. Воздух с трудом продирался через его сжатые больные бронхи. Кашель налетал как вихревой порыв ветра на деревенскую улицу, когда скрипят и хлопают калитки, гнутся деревья, всполошенно кудахтают куры и с визгом и хрюканьем разбегаются по подворотням перепуганные поросята.

Все в душе Ольги Сергеевны в такие минуты замирало от страха и жалости. Каждый стон, каждый стук, доносившийся из кабинета, отдавался болью в ее груди. Она припадала к двери, готовая в любое мгновение выдавить ее своей тяжестью и броситься на помощь. Время от времени она спрашивала:

— Подать тебе чего-нибудь, батько?

— Ничего не надо, уйди отсюда! — хрипел Игнат Александрович, когда удушье и кашель понемногу отпускали его.

В дверную щель несло холодом, значит, форточка в кабинете опять открыта. «Простудится еще на сквозняке!» — беспокоилась Ольга Сергеевна, подозрительно принюхиваясь к свежей осенней струе, идущей из кабинета.

— Не простудись, отец! — говорила она и отходила.

Наконец Игнат Александрович принес на кухню готовую рукопись. Он выглядел усталым, но был доволен собой.

— Перепечатай, пожалуйста,— попросил он жену.— Я сейчас позвоню в редакцию, чтобы утром прислали курьера. Названия пока нет, может быть, ты подскажешь. Это очерк, но я думаю потом сделать из него повесть. Очень богатый материал подбирается.

Остаток этого дня и весь вечер он не работал и не заглядывал в кабинет: просматривал зачетные архитектурные чертежи и рисунки Наташи, звонил Мише, разговаривал по телефону с бабушкой, еще с кем-то...

Перепечатав и перечитав очерк, Ольга Сергеевна похвалила его:

— По-моему, получилось. Даже очень получилось! Ты сумел показать, на что способен сильный человек, если только пожелает и точно знает, чего он хочет. Все очень интересно...

— Спасибо! — обрадовался Игнат Александрович.— Давай так и назовем: «Сильный человек». — Подумав, он добавил: — Обязательно в повесть разверну. Завтра же засяду. Ты уж не мешай мне, потерпи еще немного.

С утра он снова закрылся в своей комнате. Ольга Сергеевна не мешала ему.

Дня через три очерк был напечатан в газете, и на квартиру один за другим начали звонить друзья Игната Александровича. Но он уже работал над повестью, отключил свой аппарат, и на звонки отвечала Ольга Сергеевна. Очерк хвалили.

Пришло несколько телеграмм, он из кабинета не вышел.

— Хочешь, я прочитаю тебе,— предложила она через дверь,— а ты сиди, не вставай. Слушай: «Молодец Игнашка тряхнул стариной поздравляю *Виктор»*.

— Какой Виктор? — удивился Игнат Александрович и тотчас протянул: — А, понял...

— Слушай еще: «Спасибо за отличный рассказ зпт хорошо отобразили юг и север ваши *Люся* и *Эля»*.

— Ладно, хватит,— недовольно оборвал он.— Сам знаю. Не мешай!

Пришла еще телеграмма. Ольга Сергеевна мельком увидела на бланке пункт отправления и, не сдерживаясь, закричала во весь голос:

— Батько, телеграмма из Хоби! Из Хоби!

В тот же миг в кабинете громыхнуло кресло. Игнат Александрович вскочил и наотмашь распахнул дверь:

— Давай сюда!

— Из Хоби! — еще раз восторженно повторила Ольга Сергеевна и заглянула в открытую дверь кабинета.

Пока Игнат Александрович разбирал телеграмму, она стояла рядом и плакала: в кабинете было темно от табачного дыма.

Опомнясь и увидев ее слезы, Игнат Александрович сказал:

— Прости, родная! Но разве бы я смог написать это, если бы...

— Что — если бы?.. Очерк ты написал, а на большую вещь тебя же не хватит, задохнешься.

На нее жалко было смотреть.

— Что теперь с сыном нашим будет? — шептала она.

Зазвонил телефон. Игнат Александрович поднял валявшееся на полу кресло, сел, включил свой аппарат.

Захлебываясь от самодовольства, говорил Юрий Семенович:

— Послушай, ты молодец! Продолжай в том же духе. Ты — сильный человек! А бутылочки эти, оказывается, в любом магазине продаются. Я тебе сейчас пошлю точно такую же...

— Пошел к черту! — крикнул ему Игнат Александрович и бросил трубку.

Ноябрь 1965 г.

УГОЩАЮ РЯБИНОЙ

Мне и доныне
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.

Марина Цветаева

Весной в Подмосковье, пряча лыжи на чердак, я заметил развешенные по стропилам кисти рябины, которую осенью сам собирал, сам нанизывал на веревки, а вот забыл о ней и, если бы не лыжи, не вспомнил бы.

В давнее время на моей родине рябину заготовляли к зиме как еду, наравне с брусникой, и клюквой, и грибами. Пользовались ею и как средством от угара, от головной боли.

Помню, вымораживали мы тараканов в избе, открыли дверь и все окна, расперев их створки лучиной, а сами переселились к соседям. За зиму таким способом избавлялись от тараканов почти в каждом доме. В лютый мороз пройдет несколько дней — и ни одного прусака в щелях не остается. Вернулись мы в свою избу через неделю, мать принялась калить печь да закрыла трубу слишком рано, не рассчитала, и к вечеру мы все валялись на сыром полу, как тараканы. Не знаю, что с нами было бы, если бы не мороженая рябина. Странно, может быть, но сейчас вспоминать об этом мне только приятно.

В Подмосковье я собирал рябину больше из любви к этим своим воспоминаниям о детстве да еще потому, что в прошедшем году уродилось ее на редкость много, и жалко было смотреть, как сочные красивые ягоды расклевывают дрозды.

На темном чердаке под самой крышей связки рябины висели, словно березовые веники. Листья на гроздьях посохли, пожухли и свернулись, и сами ягоды, перемерзшие за зиму, тоже чуть сморщились вроде изюма, зато были вкусны. Свежая рябина — та и горьковата, и чересчур кисла, есть ее трудно, так же как раннюю клюкву. Но и клюква, и рябина, прихваченные морозом, приобретают ни с чем не сравнимые качества: и от горечи что-то осталось, а все-таки сладко и, главное, никакой оскомины во рту.

Цвет рябиновых ягод тоже за зиму изменился, он стал мягче и богаче по тонам: от коричневого, почти орехового, до янтарного и ярко-желтого, как цвет лимона. Впрочем, почему это нужно сравнивать рябину с лимоном, а лимон с рябиной?

Попробовав ягоды тут же на чердаке, я первым делом обрадовался, что опять смогу как-то побаловать своих детей и лишний раз доказать им, что деревенское детство не только не хуже, а во многих отношениях даже лучше детства городского.

Не знаю, как это передать, объяснить, но всю жизнь я испытываю горечь оттого, что между мною и моими детьми существует пропасть.

Нет, дело не в возрасте. Дело в том, что я был и остаюсь деревенским, а дети мои городские и что тот огромный город, к жизни в котором я так и не привык, для них — любимая родина. И еще дело в том, что я не просто выходец из деревни, из хвойной глухомани,— а я есть сын крестьянина, они же понятия не имеют, что значит быть сыном крестьянина. Поди втолкуй им, что жизнь моя и поныне целиком зависит от того, как складывается жизнь моей родной деревни. Трудно моим землякам — и мне трудно. Хорошо у них идут дела — и мне легко живется и пишется. Меня касается все, что делается на той земле, на которой я не одну тропку босыми пятками выбил; на полях, которые еще плугом пахал; на пожнях, которые исходил с косой и где метал сено в стога.

Всей кожей своей я чувствую и жду, когда освободится эта земля из-под снега, и мне не все равно, чем засеют ее в нынешнем году, и какой она даст урожай, и будут ли обеспечены на зиму коровы кормами, а люди хлебом.

Не могу я не думать изо дня в день и о том, построен ли уже в моей деревне навес для машин или все еще они гниют и ржавеют под открытым небом, и когда же наконец будет поступать запчастей для них столько, сколько нужно, чтобы работа шла без перебоев, и о том, когда появятся первые проезжие дороги в моих родных местах, и когда сосновый сруб станет клубом, и о том, когда мои односельчане перестанут наконец глушить водку, а женщины горевать из-за этого.

А еще: сколько талантливых ребятишек растет сейчас в моей деревне, и все ли они выбьются в люди, заметит ли их вовремя кто-нибудь и кем они станут?..

По утрам я будто слышу, как скрипят колодезные журавли на моей неширокой улице и холодная прозрачная вода из деревянной бадьи со звоном льется в оцинкованные ведра. Скрипят ли журавли теперь? Уцелел ли тот колодец вблизи нашей избы, из которого я сам много лет носил воду на коромысле?

Что до всего этого моим сыновьям и дочерям? Во всяком случае, они не крестьянские дети и потому не чувствуют, как мне кажется, и не понимают моего детства. Разные мы люди, из разного теста сделаны и, должно быть, по-разному смотрим на мир, на землю, на небо.

Но, может быть, я не прав, попробуй разберись в этом.

Ревность и обида мучают меня, когда между нами опускается вдруг некий занавес и мои многознающие отпрыски вдруг начинают даже бунтовать, подтрунивать надо мною из-за того, что меня каждое лето тянет не в теплые края, не к синему морю, а все в мои северные дебри, к комарам да мошкам. Они же комаров и мошек терпеть не могут. Да и то сказать, не каждый человек способен свыкнуться с этой нечистью на земле.

Запах скотного двора, унавоженных полей и соломы меня бодрит, я вспоминаю о свежеиспеченном хлебе, а для моих детей запах навоза только вонь, и ничего больше.

У художника Серова есть замечательная картина «Волы» — у старого Серова, не у нынешнего. Вряд ли мои дети чувствуют всю прелесть этого серовского шедевра. Даже когда сыновья мои попадают в деревню, их привлекает больше трактор, а не живая лошадь, совершеннейшее из созданий природы. С машиной управляться легче, чем с живым существом...

Правда, и деревенские ребятишки теперь охотнее играют не в лошадки, а в трактор, в автомобиль, как во время войны играли в войну. И может быть, мои страхи преувеличены. Но все-таки мне почему-то жаль иногда своих детей. Жаль, что они, городские, меньше общаются с природой, с деревней, чем мне хотелось бы. Они, вероятно, что-то теряют из-за этого, что-то неуловимое, хорошее проходит мимо их души.

Мне думается, что жизнь заодно с природой, любовное участие в ее трудах и преображениях делают человека проще, мягче и добрее. Я не знаю другого рабочего места, кроме земли, которое бы так облагораживало и умиротворяло человека.

В общем, жаль мне своих детей, но я люблю их и потому не упускаю случая постоять перед ними за свою сельскую родословную, за своих отчичей и дедичей.

И сейчас, обнаружив забытую на чердаке рябину и вспомнив, с каким наслаждением мы в детстве ели ее, мороженую, я опять решил про себя: вот угощу — и почувствуют мои птенцы, что значит настоящая природа, настоящая Россия, и мы больше будем понимать друг друга.

Кстати, и цветет-то рябина удивительно красиво, пышно и тоже гроздьями. Каждое соцветие — целый букет. Но весной разных цветов так много, что эти белые кремовые гроздья на деревьях как-то не бросаются в глаза. К тому же весной детям моим не до цветов, не до красот природы, не до поездки в деревню. Школьные перегрузки, часто нелепые, не оставляют времени у них и у преподавателей, чтобы интересоваться живой землей. Да и осенью, когда на полосах поспевает горох, на грядках овощи, а в лесах грибы, брусника, княжая ягода, они, дети, должны быть в городе, за партами, и если что видят, то лишь на торговых лотках.

А все-таки...

Но прежде чем встретиться со своей семьей, я со связкой рябины на веревке появился в кругу товарищей по работе. Всегда приятно чем-нибудь одаривать людей, и потому я особенно обрадовался, когда рябина моя взволновала моих знакомых.

Один из них, ширококостный, шумный, автор колхозных романов, первый шагнул мне навстречу, сказал «ого!», взял связку из моих рук, чтобы сначала ощутить ее тяжесть, покачал вверх-вниз и, как знаток, понюхал.

— Ого! — повторил он.— Вот это да! Рябина! Можно?

Он отщипнул одну ягодку, затем другую, взял на язык, почмокал, разжевал.

— Неужель с родины?

— Нет, здешняя, подмосковная.

— Ты смотри! Сколько ни обламывают, а все жива... Вот что значит русская рябина!

И он стал осторожно перебирать сухие, плотно слежавшиеся бурые и серые листья и открывать, как бы развертывать гроздья янтарных и красных ягод.

— Да, северный виноград! Витамины! — причмокивал он.— У нас раньше под каждым окном в деревне два или три дерева обязательно росли. Были одноствольные, а то — кустом, от корня в четыре-пять стволов. Весной

аромат по всей избе. Что за дом без своего садика под окнами! Мало под окнами, у нас даже за двором, на участке, где-нибудь около гумна отводили уголок для деревьев. Черемуху на участке обычно не сажали, от нее заразы много, на сладкое, как известно, всякая пакость лезет. А рябину сажали частенько. Наверно, ведь и в ваших местах палисаднички были? Все помнишь?

— Как не помнить! Любили и мы по черемухам да по рябинам лазить, хлебом не корми.

— Вот, вот,— обрадовался он,— хлебом не корми! А наши дети растут! Даже по крышам не лазят. Что за детство! Лошадей да коров только на картинках видят. Один рвется к бильярду, хлебом не корми, другой мечтает за руль сесть. И развязные какие-то... Мой младший на днях встретил старика Чуковского, Корнея Ивановича,- живого Чуковского! — и спрашивает: «Как жизнь?» Вроде по плечу похлопал. А потом заглянул к нему в открытый гараж и говорит: «Я не знал, что у вас ЗИМ!» Корней Иванович, конечно, расхохотался. Расхохочешься!

«Ну, к моим детям это не относится, — с удовлетворением подумал я.— Мои не такие, и, может, потому, что у меня их много и не так им просто и легко живется».

А он продолжал:

— Между прочим, у нас раньше пироги пекли с черемуховыми ягодами. Зубы у всех были крепкие, ешь — хруст стоит. А из рябины не помню, что делали... Спелые кисти ее раскладывали на зиму промеж оконных рам, это уже для красоты. На белых листочках из школьных тетрадей — красные крапинки... И на рушниках вышивали рябину — хорошо!..

Воспоминаний сельского романиста, его красноречия уже невозможно было остановить. Я слушал и ждал: вспомнит ли об угаре?.. Вспомнил!

— Знаешь ли, что в деревнях рябина спасает людей от угара? Зимой печи топят жарко, поторопится баба закрыть трубу, чтобы тепло сберечь,— и все в лежку лежат. Ну, принесут этакую вот связку с потолка и жрут. От наших морозов тараканы валятся, а рябина становится только слаще. Как говорится, что русскому здорово — то... и так далее. Что ты скажешь, проходит угар, голова не трещит. К чему все эти пирамидоны, анальгины, тройчатки? То ли дело натуральная целебная сила! — И он, шумный, так захохотал, что можно было подумать, не смеется, а кричит на кого-то.— Твоя ягодка уже оттаяла, а все еще вкусна. Я возьму веточку с собой?

— Бери, пожалуйста, не одну.

Он взял и снова начал настраиваться на воспоминания:

— Да, вот ведь как, рябина... А все-таки, что мы такое из рябины делали?..

— Настоечку, настоечку из рябины делали, вот что! Как же забыть такое? — заинтересованно вклинился в разговор другой мой знакомый и тоже с удовольствием стал сощипывать ягоду за ягодой.

А третий неожиданно спросил:

— Что это?

— Рябина, конечно.

— Да? Рябина? — удивился он.— «Что стоишь, качаясь»? Откуда она у вас?

— Осенью красовалась под окном, а зимой висела на чердаке.

— Это интересно, расскажите, расскажите!

Еще не разобравшись толком, действительно ли ему это интересно, я стал рассказывать. Но что, собственно, было рассказывать? Чего такого он мог не знать про рябину?

— Пожалуйста, спрашивайте, что вас интересует?

— Как что интересует? Прежде всего — дикая рябина или садовая?

— Была дикая, сейчас растет на участке. Принес из лесу несколько тоненьких, задавленных кустиков, пересадил под окна, на свободе они принялись, похорошели. Пока за рябиной ухаживаешь, заботишься о ней — она не дикая, и ягода крупнеет, добреет, а перестань заботиться — одичает рябина, запаршивеет, и ягода станет мелкой, горькой, чуть ли не ядовитой.

Любознательный друг мой засиял от догадки:

— Происходит, собственно, то же, что и с людьми?

— Собственно, то же,— подтвердил я.— Вот уже вторую осень от дроздов на моей рябине отбою не было.

— Очень интересно! И дрозды, значит, рябину любят?

— Как же, любят! Есть дрозд, которого так и зовут: рябинник.

Тут первый знакомый снова включился в разговор.

— А ты не замечал,— обратился он ко мне,— когда на рябину урожайный год, дрозды, что ты скажешь, зимовать остаются? Не замечал?

— Замечал, — ответил я.

— Конечно, не все, а которые посмелее, самые отчаянные, так сказать.

— И не одни дрозды, наверно. Кстати, в этом году так и случилось: большие стаи птиц в наших перелесках остались на зимовку, уразумели, что от добра добра не ищут.

— Очень интересно,— заговорил опять городской книгочий.— Вот ведь какое дело! И как же вы ее приготовили, рябину?

— Что ее приготовлять? Обломал гроздья с дерева, прямо с листьями, как видите, взял веревку, привязал к ее концу палочку-выручалочку и нанизал гроздья на веревку. Вот и вся работа.

— Удивительно интересно! А что потом?

Я начал улыбаться забавной обстоятельности его вопросов. Но вправе ли я был ожидать и тем более требовать, чтобы и этот мой товарищ, у которого свой круг жизненных интересов, отличный от моего, но одинаково важный и нужный, чтобы и он смотрел на мою рябину так же, как я на нее смотрю? Не было у меня такого права. Значит, неуместна была и моя ирония. Другое дело — если бы дети мои так же интересовались всем, что касается моего детства!

— Что потом, говорите? А попробуйте! — И я с готовностью протянул ему раскачивающуюся цветастую гирлянду.

— И что же, ягоды замерзли зимой? — продолжал допрашивать меня горожанин.

— Ледышками стали. Да вы отведайте, не бойтесь!

— А вкус их изменился от этого? Кислые они или какие?..

Один раз он даже тронул листья, пошуршал ими, но так и не решился взять в рот ни единой рябиновой ягодки. Что же, выходит, я должен жалеть и его? Хватит ли у меня жалости на всех?

— Ах, что за прелесть, что за прелесть! — восторженно заахала вдруг накрашенная немолодая дама, печатавшая в газетах очерки на морально-бытовые темы.— Это же диво дивное, чудо чудное! И как па-ахнет! Можно я понюхаю?

— Может быть, хотите и попробовать?

— С удовольствием! И вы не пожалеете?

Она быстро клюнула ягодку, съела ее, сморщилась и заахала еще энергичней.

Я снял сверху несколько кистей, протянул ей.

— Ах, что вы, ах, зачем вы! — обрадовалась она.— Разъединять такую прелесть, такое творение природы! Как можно! — Но гроздья рябины приняла. Приняла

бережно, из рук в руки, как если бы это был сигнальный экземпляр ее новой книжки. Затем вынесла из своей комнаты огромный оранжевый апельсин и не отступилась, пока я не согласился взять его взамен рябины.

— За добро надо платить добром! — многозначительно сказала она.

А рябиновые кисти тут же опустила в стакан с водой — «Вот так!» — и не переставала ахать от восторга и удовлетворения:

— Какой букет, ах! Он у меня будет стоять на письменном столе. Это же сама Россия!

Сама Россия!.. Я вспомнил о Бобришном Угоре на моей родине. Осенью, когда похолодает, и по утрам река светла до дна, и лесные опушки просвечивают насквозь, когда на мокрой от росы траве посверкивает паутина, а в ясном, прозрачном воздухе носятся стаи молодых уток, вдруг из всех перелесков выдвигаются на передний план нарядные, увешанные гроздьями рябины: вот они мы, не проглядите, дескать, не пренебрегайте нашей ягодой, мы щедрые! Ветерок их оглаживает, ерошит сверху донизу, и птицы на каждой ветке жируют, перелетая, как из гостей в гости, с одной золотой вершины на другую, а они стоят себе, чуть покачиваясь, и любуются сами собой...

Хлынет дождь — и засверкает весь речной берег. Стекает вода с рябиновых кистей, капелька за капелькой, ягоды красные и капли красные; где висела одна ягодка — сейчас их две, и обе живые. Чем больше дождя, тем больше ягод в лесу...

Все, конечно, может примелькаться, ко всему со временем привыкаешь, но такое не заметить трудно. Вскинешь голову и неожиданно для себя, как после долгой отлучки и словно бы уже не глазами, а каким-то внутренним, духовным зрением увидишь всю эту красоту в удивительно чистом завораживающем сиянии. Увидишь, как в первый раз, все заново, и радуешься за себя, что увидел. Ни наяву, ни во сне этого забыть никогда нельзя. Вот она какая, наша рябина!

Недаром же, истосковавшись по родине, русская поэтесса, сколь ни уверяла себя и других, будто ее уже ничто не может обольстить, что ей «все — равно и все — едино», все безразлично, под конец стихотворения признавалась:

Но если по дороге куст
Встает, особенно — рябина...

Дальний мой родственник, химик Аркадий Павлович Ростковский, которого судьба забросила на всю жизнь в знойный, раньше далекий от России Ташкент, влюблен был в экзотику Востока, во все эти древние мозаичные медресе, и лепные мечети, и караван-сараи, даже чай пил только из пиалы, а все-таки настойчиво, до конца дней своих пытался заставить расти у себя под окном простую русскую рябину. Правда, не удалось это ему...

Конечно, и рябина может примелькаться. Однажды ко мне на Бобришный Угор, в мою охотничью избу, приехал осенью друг из Ленинграда. Я не знал, чем порадовать его, а он глянул поутру из окна и, как заговорщик, шепнул мне:

— Под окном-то у вас красавица стоит, не видите?

Я с перепугу принял его слова всерьез, бросился к окну и ахнул: под окном действительно стояла настоящая красавица. Рябина! Как же я раньше ее не заметил?

Сама Россия!.. Вспомнил я и о цветочных горшках на окнах городских квартир, о маленьких жалких клумбочках во дворах многоэтажных зданий, а то прямо у лестниц, справа и слева от входных дверей, о клумбочках, выхаживаемых кропотливо и бережно горожанами. Все они, сознавая или не сознавая, тоскуют по настоящей природе. Горшки и клумбы — разве это природа?

— Позвольте-ка причаститься и мне! — протиснулся к рябине сквозь толпу пожилой грузный литератор с седыми усами, в коричневом шерстяном свитере, в черной академической шапочке на голом черепе.— Редко я сейчас ее вижу, а в юности, бывало, мы носили ее с реки целыми корзинами, пестерями. А то затянем пояса потуже и набьем под рубахи вокруг себя, прямо к голому телу, сколько могло уместиться. С реки отправляемся толстые, как бочки, а по дороге едим да в дудочки постреливаем, и чем ближе к дому, тем тоньше становимся. Как это точно сказать: *тончаем, тонеем, утончаемся?* (Начались муки слова!) Нет, *утончаемся* сказать нельзя, смысл другой... Самая бесподобная рябина, конечно, мороженая. Кстати, от угара хорошо помогает...

И он стал вспоминать о том самом, о чем мы уже переговорили. Мы не перебивали его.

— Человек не может не тянуться к природе, он сам ее творение,— сказал он наконец.

— Зачем же дело стало? — спросили его не без упрека сразу в несколько голосов.— Ехали бы в деревню, жили бы на подножном корму, примеров немало.

— Э, молодые люди! Вы, кажется, злитесь? А рассуждали, наверное, о союзе с природой, о том, что она смягчает нравы? Дело простое: сначала нужен был институт, затем потребовались издательства, журналы... Затем городская жена появилась... Сейчас, к сожалению, я уже не могу спать на сеновале и носить воду с колодца. Вот в будущем, на которое мы сейчас работаем, должна наступить гармония между городом и лесом. Зеленоград! Для меня это звучит, как, наверное, для первых русских революционеров звучало слово «социализм»...

По-разному относились знакомые к моему угощению и разными глазами на него смотрели.

Какая-то девушка воткнула рябиновую кисть себе в прическу и тотчас побежала к зеркалу: в черных волосах ее заблестели почти настоящие рубины. Потом она попросила еще две-три кисти ягод, чтобы сделать из них бусы.

— Я каждую ягодку лаком покрою,— объяснила она.

Молодой поэт сказал:

— Сколько песен сложено о рябине, а еще хочется. Ветку рябины надо бы вписать в наш герб...

Случись художник, и он, вероятно, сказал бы нечто подобное:

— Сколько картин написано, а еще одной не хватает. Моей! Странно, что в лепных орнаментах у наших архитекторов много винограда и нет рябины...

А гардеробщица Поля подошла к делу чисто практически:

— Я вот заморю эту веточку по-нашему, по-рязанскому, да чаек заварю, побалуюсь, молодое житье вспомню. Раньше у нас девки рябиной милых привораживали. Помогало. Я уж отворожила...

Ягод у меня было много, я не боялся, что их не хватит для моих детей, только неотступно думал о том, как они примут их, понравится ли им моя северная, моя деревенская снедь.

Но больше всех поразил меня последний из подошедших. Он просто по-дружески сказал мне:

— Слушай, Сашка, продай мне все это!

— Как это продай? — растерялся я.

— Ну так, все эти «витамины». А не хочешь продать — отдай так, я тебе тоже подкину какой-нибудь сувенирчик.— И он стал рыться в своих многочисленных

широких карманах, небрежно раздергивая серёбристые змейки-«молнии».

Нужна ему моя рябина! Но я все-таки дал веточку и ему. При этом мне очень хотелось сказать: «Поешь, может, на пользу пойдет!»

Но я ничего не сказал.

После разговора с ним я быстро покинул дом, где жили и творили мои товарищи.

А дети мои взялись за рябину сначала недоверчиво, морщась и вздрагивая так же, как осенью, когда ели упругие и сочные ягоды прямо с дерева. Но скоро они набросились на рябину азартно, съели ее всю с удовольствием и все упрекали меня за то, что я не угощал их такой вкуснотой раньше.

— Это же совсем разные вещи! — говорила мне старшая дочь.— Неужели ты не понимаешь? Это разные рябины.

Вот оно как, я же и виноват оказался. Ладно, кушайте, раз по душе пришлось! И пусть она спасает и вас от любого угара, наша рябина.

А под конец, когда все успокоились, я услышал один доверительный и добрый голос:

— Папа, разве там, на твоей родине, много такой рябины? Может быть, осенью съездим, наберем, а? Той, вашей! Только ведь осенью опять в школу надо...

Март 1965 г.

СЛАДКИЙ ОСТРОВ

КОГДА МЫ УЕДЕМ?

Мы не знали, куда едем, какой такой необитаемый Сладкий остров вдруг обнаружился в Белозерье и как мы там будем жить. Думалось — едем дней на десять, не больше. Отдохнем, половим рыбку — и обратно. Почему-то представлялось, что этот остров находится вблизи Кирилло-Белозерского монастыря, куда в свое время не раз наезживал Иван Грозный, где отбывал ссылку патриарх Никон; либо этот остров около другого архитектурного памятника русской старины — Ферапонтова монастыря, в котором еще и поныне живы фрески гениального Дионисия

Казалось даже, что Сладкий остров находится на самом Белом озере. Но на Белом озере никогда не было и сейчас нет никаких островов.

Сладкий остров мы нашли в не менее примечательных местах — на Новóзере. И не там и не таким, каким представляли его по рассказам. Обычная история: сколько ни читаешь, сколько ни слушаешь о чем-нибудь, а когда сам увидишь и испытаешь — оказывается все не так. Северные сияния видали на картинках, все видали, и читали о них много, все читали. А, уверяю вас, они совсем не такие, какими вы их себе представляете. Никакая литература, никакие очевидцы, даже отец родной, не могли мне дать правильного представления о войне, пока я на ней сам не побывал. Зато, побывав и в огне, и в ледяной воде, я совершенно по-новому стал читать Льва Толстого. Он лучше всех передает состояние человека на войне.

Итак, мы переправляемся на лодках из деревни Анашкино на Сладкий остров сначала в большой компании. Почему остров этот называется Сладким? Всегда ли, для всех ли он был сладок?

Местные люди рассказывают, что вблизи острова Сладкого, на острове Красном, процветал в свое время Новозерский монастырь. О красоте его можно судить по сохранившимся до наших дней крепостным стенам, которые вырастают прямо из воды, и по остаткам церквей

и прочих монастырских заведений. На каком бы берегу Новозера люди ни находились, на низком, болотистом, где собирают клюкву и морошку, на лесистом ли, высоком, где грибы и малинники и всякая боровая дичь,— отовсюду, конечно, видны были золотые луковки куполов и далеко по озерной глади разносился медный гул и звон с высокой колокольни — «малиновый звон». Красного острова, по существу, не было и нет — не было ни клочка голой, не огороженной камнем земли. Просто посреди озера вознесся к небу сказочный град-крепость, будто один расписной волшебный терем, подобие которому можно найти лишь на самых замысловатых лубках и древних иконах. Он был весь «как в сказке» и в то же время был на самом деле, существовал, красовался.

А на примыкающем к монастырю, тоже небольшом, но совершенно плоском и очень зеленом островке господствовало и процветало православное купечество. В престольные праздники, особенно в дни Тихвинской, здесь работали и лавки, и палатки, и лотки, бродили шумные коробейники — шла оживленная торговля. Купить можно было все — от заморских шалей и полушалков до детских пряничных петушков.

Но особенно славились новозерские базары сладкими винами и сбитнем. Что такое сбитень, выяснить точно не удалось. Это какой-то безалкогольный горячий напиток, приготовленный на патоке или подожженном меде со специями, с пряностями. Может быть, это нечто вроде кока-колы или наших ситро и лимонада. Продавали сбитень, как и все другое, с шуточками-прибауточками: «Сбитень горячий пьют подьячие; сбитень-сбитенек пьет щеголек!» И верно, горячий сладкий сбитень любили все, от старого до малого, сладкие леденцы и пряники тоже.

Христолюбивым чадам, только что приобщившимся к святым тайнам и отведавшим сладкого причастия, не менее сладкими казались и русская горькая, и сивуха. Большие народные гулянья с торжественными обрядами и недолгие пиры скрашивали нелегкую крестьянскую жизнь — в престольные праздники, на миру, она казалась порой и обильной и сладкой. Потому будто бы и остров этот стали звать Сладким. Так рассказывают старые люди.

Позднее оба острова были использованы для других надобностей. А сейчас монастырская крепость пустует. Летом в ее стенах сторож Сергей Федорович, колхозник из деревни Карлицки, заготовляет сено для своей личной

коровы — это его собственное угодье, и тут никто ему не указ.

Опустел и Сладкий остров. Догнивают на корню и рушатся березовые аллеи. Догнивают и разваливаются всевозможные постройки, постепенно исчезает разное мелкое имущество. Все оно не бесхозное, все где-то зарегистрировано, занесено в книги, но бывшим хозяевам оно теперь ни к чему, а передать его тем, кому оно необходимо или может пригодиться, они не удосужились. Вероятно, когда все служебные помещения, жилые дома и прочие постройки догниют, а имущество будет до конца расхищено — все будет просто списано по акту, как непригодное. Так у нас часто ведется.

Поговаривают, что после этого на Сладком острове будет строиться дом отдыха леспромхоза или Вологодского отделения Союза писателей, либо колхоз организует здесь крупную утиную ферму.

Первое, что нас поразило на острове,— тишина.

Приехали мы туда поздно вечером, и это особенно усилило впечатление удивительной устойчивости, неколебимости всего, что нас окружало. Воздух был неподвижен, вода тоже. На Новозере даже ряби никакой не было, не только волны, разве что иногда рыба всплеснет. Деревья стояли на земле прочно, ни один листочек не вздрагивал. Свистели утиные крылья, да гудели, пели, звенели комары. Комариный писк воспринимался как вечный шум в морской раковине, как пение самой земли. Он не нарушал тишины, а только подчеркивал ее. Ночью вокруг озера запели петухи да где-то далеко-далеко вскрикивали журавли.

Эхо отзывалось на всякий звук. В горах эхо, кажется, присутствует всегда, оно не исчезает. А здесь эхо — гость нечастый, и потому, когда оно появляется, с ним хочется разговаривать, дурачиться и детям и взрослым.

— Какой цветок вянет от мороза? — кричит почтенная мать семейства. И радуется, когда эхо отвечает ей: «Роза! Роза! Роза!»

— Что болит у карапуза? — озорно вопрошает отец. «Пуза!»

Ах, до чего весело, до чего остроумно!

И вдруг эхо замолчало. Почему?

Старший сын едет за молоком, и в вечерней тишине плеск весел разносится по водной глади и повторяется многократно. Это тишина. Что может быть дороже тишины на свете?

Посмотрите кинокартину «Встреча с дьяволом» — лю-

ди, побывавшие в кратерах действующих вулканов, утверждают, что самое большое в мире достояние — тишина. Я понимаю их. Я живу в большом городе.

Тишина осталась и утром, и на весь день и уже казалась непреходящей. Утром по берегу из деревни Карлинки в деревню Анашкино и дальше к деревне Артюшино — центральной усадьбе колхоза «Заря» — проходила грузовая машина с молоком, только одна грузовая машина — вот и весь шум, а хватало его на весь день. След машины отмечался скорей не шумом, а пылью. Пыль, как дым, клубами поднималась над лесом вдоль берега озера и долго-долго не рассеивалась. По пыльному следу хорошо было видно, где проходит дорога, все изгибы, все неровности ее.

Но до Сладкого острова не доносилась и эта пыль. Здесь воздух был абсолютно стерильным. И потому так ярко горели здесь закаты и восходы, тысячекратно повторенные в воде. Весь остров просвечивался, вода была видна отовсюду, и он всю ночь сиял в огнях снизу доверху — летние ночи здесь очень коротки. Не успевал потухнуть закат, как рядом с его кострами возникало зарево восхода

— Когда же мы спать будем? — радостно и встревоженно спрашивали мы друг друга.

Для детей наших, питомцев большого города, все казалось особенно диковинным и волнующим.

— Как? Это и есть белые ночи? Значит, мы уже на Севере?

Мы облюбовали один из домов, заняли половину его, наносили в комнату, предназначенную служить спальней, свежего сена, расположились и сказали себе:

— Десять дней мы здесь проживем. Это уже ясно. Сможем ли только уехать отсюда через десять дней?

Новый быт складывался сам собой. Мы стали ходить сначала в трусах и майках, потом только в трусах. Затем перешли к плавкам, чтобы лучше загореть. Под конец кое-кому и плавки показались лишними. Умывались мы в озере, завтракали на берегу озера прямо у костра. Купались по нескольку раз в день. Обыкновенные пластмассовые мыльницы нас перестали удовлетворять, и мы заменили их створчатыми ракушками. Любой кусок мыла на перламутре казался совершенством. Зубы продолжали чистить, но неохотно,— вероятно, надо было заменить простой зубной порошок святым озерным песком.

Миша мыл руки в озере и удивлялся: не скрипит.

— Почему-то мыло не смывается? — спрашивал он.
— Потому что здесь вода очень мягкая.
— Как это мягкая?
— Не могу тебе объяснить,— в свою очередь, удивлялась мать.— Наверно — ласковая!
— А, понятно! — удовлетворялся Миша.

Конечно, легко сказать: завтракали, обедали и ужинали па берегу озера, прямо у костра. Но ведь скатерти-самобранки у нас с собой не было. Не захватили. Значит, кто-то должен был разжигать костер, готовить завтраки, обеды, ужины, мыть посуду. Кто же? Конечно, мать. Мать и на озере оставалась матерью. Отдыхала ли она сама — трудно сказать. Но нам казалось, что она больше всех довольна, что приехала сюда. Она ликовала. Она во всем находила что-то прекрасное и радовалась не одним закатам и восходам. Она сочиняла сказки, сочиняла сказки для всех. Отец, конечно, писать не смог: здесь было слишком хорошо, и это ему мешало. Ему всегда что-нибудь мешало: слишком хорошо — плохо, и слишком плохо — нехорошо. А мать мыла посуду в озере и радовалась: как хорошо — оказывается, и в озере вода течет. Полоскала с мостика наши платки и майки и говорила:
— Удивительно как быстро и легко прополаскивается!

Теперь я понимаю, почему в русских городах, где есть уже и водопровод, и ванны в квартирах, женщины все-таки предпочитают полоскать белье в реке, па речке. В Вологде у причалов стоят новенькие обтекаемые катера, теплоходы с канала Москва — Волга, по асфальтированным улицам носятся сверкающие лаком и никелем автомобили, а на берегу реки, напротив педагогического института, вологодские хозяйки, как и восемьсот лет тому назад, с мостков, с дощечек полощут свое белье, выжимая и перекладывая его с левой стороны на правую, с правой стороны на левую. Складывают его в плетеные корзины и на коромысле уносят домой. Попробуй после половодья не навести мостки в срок — поднимут бунт! Зимой они полощут его в прорубях, обставленных вокруг зелёными елочками — от метелей, а потом развешивают на морозе на веревках. Вот и становится белье белоснежным и попахивает ледком, морозом. Как хорошо!

Мы радовались всем маминым радостям и на многое смотрели ее глазами. Интересно было, когда она вдруг замечала в жизни, в природе, что-то такое, мимо чего мы проходили, не обращая на это внимания. Она часто заставляла нас как бы прозревать.

— Обыкновенная лебеда, а тень от нее богатая, узорная, как от диковинного цветка...

Узнала от рыбаков мать, что лещ — рыба мирная, не хищная, питается насекомыми, червяками, любит жить в траве, в хвоще, а растет быстро и достигает размеров необыкновенных. Силища у этого водяного вегетарианца страшная. Посмотрела мать на леща, подняла золотистого, влажного, чешуйчатого великана и сказала:

— Вот, ребята, озерный лось. Заходит он в камыши, как лось в осиновую рощу, питается травкой, личинками, червячками, сам никого не обижает, а его все боятся. Озерный лось!

— Это надо записать,— сказал папа,— может, пригодится.

Серебристую плотву мама сравнивала с сыроежкой. Сыроежка — гриб вкусный, но портится быстро, легко крошится, белая гребеночка ее снизу шляпки осыпается. Плотичку тоже надо немедленно чистить и варить или жарить, не то загниет. А чуть переваришь — вся разлезется, есть станешь — костей не оберешься. Некрепкая рыба, что и говорить.

— Записать надо, это интересно: плотичка что сыроежка. А ведь похоже! — восхищался отец, отдавая должное маминой наблюдательности.

Мы купались ежедневно и утром, и днем, и вечером, а почувствовали всю прелесть лишь после того, как выкупалась в озере мать и, выкупавшись, повернулась к озеру и поблагодарила его, а затем наклонилась к воде и поцеловала ее. Она сказала:

— Когда купаешься, плывешь — все тело пьет воду.

— Это правильно,— сказал отец,— это надо записать.

А Миша сказал:

— Не понимаю, почему папа писатель, а мама не писатель.

— Что ж, сынок, бывает и так. У нас это бывает,— согласился отец. Он не обижался. Кажется, он думал так же.

ЩУКА

За месяц до отъезда из Москвы папа начал готовиться к рыбной ловле, и у нас не стало денег. Зато появились спиннинг в чехле, удочки в чехлах, садок для рыбы,

сачок, наборы всевозможных лесок, поливиниловых и хлоридных жилок, разных блесен, в том числе даже для зимнего подледного лова (это в июле-то!), глубокомер, разные грузила. поводки, карабинчики, колечки, коробочки — чего только там не было! Приобретены были и резиновые рыбацкие сапоги-бродни, с голенищами, которые подвязывались к ремню.

— Чем же я вас кормить буду? — говорила мать, обозревая все это снаряжение.

— На этот раз кормить буду вас я,— убежденно заявил отец.— Рыбой!

И вот началась ловля.

Уселся отец на берегу, разложил все свое хозяйство, опустил садок в воду, закинул удочки — нет рыбы. Посидел он с часок, свернул удочки, перенес все добро в лодку и выехал на середину озера, к тресте,— так называют здесь озерную траву: хвощи, камыши. Слышал он, что где-то около травы на середине озера проходит каменная гряда, на которой хорошо берет окунь. Облюбовав местечко, отец опустил якоря — кормовой и носовой (это были шестеренки от какой-то машины и обыкновенный кирпич). Закрепил лодку на месте и опять принялся за работу. Нет рыбы! Тогда он решил сменить червей: слыхал, что окунь любит красных червей. Вернулся отец на берег, разыскал глинистое место, накопал красных червей — загляденье, а не черви, один к одному! — и снова принялся за лов с неослабевающим азартом. Клюнуло. Вытащил несколько окуньков, каждый сантиметров на десять в длину, с трепетом опускал их в садок, но скоро заметил, что в садке окуньков нет. Оказалось, что ячейки садка таковы, что сквозь них легко проскальзывает и более крупная рыба.

Многое из закупленного отцом рыболовецкого снаряжения оказалось либо ненужным, либо непригодным. Но каждое утро он вставал на заре и снова отправлялся на рыбалку, как на службу.

— Плохо я сделал, что барометр с собой не взял,— сожалел он уже не в первый раз.— Вот посмотрел бы, и знал, куда на сегодня садиться надо.

Отец от кого-то услышал, что рыба меняет места в зависимости от атмосферного давления: высокое давление — рыба стоит на мели, на солнцепеках; понижается давление — она уходит на глубину. Конечно, без барометра какая рыбалка! Да и крючки казались неподходящими — и великоваты, и не остры, и цвет у них не тот

Вот если бы раздобыть где-нибудь крючки норвежские, или чехословацкие, или датские — вот это крючки! Для таких и наживка не обязательна. А есть еще крючки с искусственными червями — класс!

— Папа, возьми меня хоть раз! — попросился как-то Миша.

— Тебе же скучно будет.

— Я тоже удить буду.

— Клев плохой.

— Надо же мне учиться.

Удочка у Миши маленькая, полутораметровая, а у папы составная трехколенная и с катушкой; леска у Миши грубоватая, белая, поплавок простой пробковый, крючок мушечный, а у папы леска цвета воды, поплавок с колокольчиком. Червячков своих Миша положил в спичечную коробку, а у папы черви в мотыльнице с отверстиями на крышке.

Измерил папа глубину озера, закинул свой автомат, вытянул ноги в лодке, положил в рот мятную лепешку, сидит посасывает, на поплавок поглядывает, ждет — не клюнет ли. Нет, не клюет! Закинул Миша свою хворостинку у самой лодки, потянуло его поплавок — течением, что ли? — под лодку, потом лег поплавок набок, испугался Миша, не зацепило ли, дернул и потащил по воде что-то большое да тяжелое — и удочка дугой. Папа вскрикнул, схватился за сачок, и если бы не сачок, не поднять бы леща в лодку. А лещ оказался здоровый, золотистый, шириной в две Мишиных ладошки. (После взвесили — килограмм шестьсот граммов). Миша визжит, папа чуть не плачет от радости.

— Как это я успел вовремя сачком подхватить! Если бы не я, нипочем бы тебе, сынок, леща не вытащить на такую удочку.

— Ой, спасибо тебе, папочка! — кричит Миша.— Сейчас я всех вас рыбой буду кормить.

Три дня после этого папа не брал с собой Мишу.

— Мешает он мне! — говорил он.

Мама подумала и сказала:

— Кажется, мы и недели здесь не проживем.

Но папа не сдался, не покинул острова раньше времени, страсть его не остыла, только оставил он удочки и взялся за спиннинг.

Ловля на спиннинг забрасыванием с берега и с лодки удачи не принесла, хотя были перепробованы на авось десятки блесен. Тогда отец решил использовать спиннинг

в качестве дорожки. При этой ловле важно удачно выбрать блесну и установить подходящую скорость, с которой нужно тянуть эту блесну за лодкой, чтобы игра блесны напоминала игру рыбки. По-видимому, для каждой блесны скорости движения должны быть разные.

Поначалу отец сидел за веслами сам, и по этой причине, только по этой причине, щуки не шли на блесну. Тогда он пригласил за весла старшего сына.

— Сколько полагается распускать лески? — спросил Саша.

— Я сам не знаю, сынок. Попробую побольше.

Спиннинговая катушка раскручивалась бесшумно и быстро, и почти все пятьдесят метров жилки скоро были спущены за борт. Результат сказался немедленно — щука попалась на дорожку. Это могла быть только щука — рывок был мощным, катушка, поставленная на тормоз, затрещала сильно и нервно и не перестала трещать, пока отец не взвыл: «Назад, назад!» — а Саша не дал задний ход. Весла скрипнули, вода забурлила, последние метры жилки размотались, удилище на мгновение выпрямилось, напряжение его ослабло, а потом дернуло снова, и оно опять пригнулось к воде.

Отец встал в лодке во весь рост.

— Наконец-то попалась! — торжествовал он.— Миленькая, не сорвись, миленькая, не сопротивляйся! Саша, греби назад, родненький, назад!

Лодка стала подвигаться в обратном направлении, жилка ослабла, и отец начал сматывать ее, то ускоряя, то замедляя вращение катушки.

— Только бы не сорвалась! — молил он. — Главное сейчас — не натягивать сильно, чтобы щуке губу не порвать. Или за что она там зацепилась? Ведь бывает, что щука не берет блесну, а просто идет рядом с ней и играет, и якорек прихватывает ее. Бывает, даже за живот или за спину зацепит. В этом случае все решает мастерство спиннингиста. Вот опять дернула, вот потянула!.. — переполошился он. — Только бы не сорвалась! Ну и щучка, я тебе скажу, сынок, ну и экземплярчик! Вот опять потянула. Греби сильней! Знать бы только, крепко ли она взялась?..

Отец, по-видимому, совершенно отчетливо представлял себе, как огромная щука хапнула блесну, с остервенением сжимая сверкающий металл в мощных челюстях, рвала и метала и подвигалась навстречу лодке, как

стальная торпеда: вот-вот взорвется, что-то тогда будет... У него выступил пот на лбу, лицо его было испуганным — и, кажется, он не так боялся, что щука сорвется, как того, что ее, такую, придется в лодку поднимать.

— Главное, Сашенька, на сегодняшний день поймать хоть одну, а там пойдет. Начать важно, чтоб перспектива была, чтобы мама веру в нас не потеряла. Бросай весла, сынок, давай сачок!

Саша бросил весла, леска сразу натянулась, отец изогнулся и начал выбирать ее руками. Саша опустил сачок в воду и ждал. Ему тоже стало страшно. Наконец у самого борта лодки из воды всплыла небольшая разлапистая елка, украшенная, словно новогодними игрушками, зелеными водорослями, ракушками, тиной.

— Вот,— выдохнул отец,— так я и знал, что это не щука. Непохоже было. Щука, она рвет, дергает, а елка, понимаешь, просто тянет, тянет и цепляется, потому что лодка-то движется.

Саша тоже вздохнул с облегчением.

— Папа,— сказал он,— может быть, щука все-таки была? Просто она метнулась на дно и сорвалась, а потом уже блесна зацепилась за елку.

— Представь себе, я тоже так думаю, сынок. Все-таки была щука, и не маленькая. Даже очень большая, прямо тебе скажу. Всегда с крючка срывается только самая крупная рыба, спроси об этом любого рыбака. И хорошо, что мы поволновались, пережили все это, хоть и не поймали щуки. Мы ее тащили, вот что важно! Когда первая схватилась, второй взяться будет уже легче. Значит, блесна хорошая и действовали мы правильно. Завтра начнем сначала.

На другой день они также с утра ходили с дорожкой целый день, но, кроме травы и коряг, ничего им озеро не дало. А вечером пошли за молоком и попутно, когда уже ничего не ждали, ни на что не надеялись, поймали двух щук. Это было началом. Оказывается, и впрямь, важно было начать.

Потом отец научился ловить рыбу и удочками. Мать едва успевала ее чистить.

— Теперь дней десять проживем наверняка,— говорила она.

Десять дней отец удил рыбу, не разгибаясь, с утра до ночи. Даже спать некогда было. А после десятидневного рыбного угара появились раки.

РАКИ

Утром по прибрежью мимо нашего дома пробрела группа деревенских ребятишек, напомнившая нам рыболовов с картины Перова. В мелкой воде ребята переворачивали камни, коряги, ощупывали руками всякие углубления в береге и время от времени что-то клали в ведро. Что?

Мы — к ним, к ведру:

— Что у вас?

А у них полведра раков.

— Значит, здесь и раки есть?

— Сколько пожелаете,— важно, по-взрослому сказал один из раколовов.

— Вот как, значит, их ловят?

— Да, вот так, значит, их и ловят!

— А вы любите есть раков?

— Кто же их ест? Мы их для наживки: окуни хорошо берут.

— Здорово! Но почему же мы тут живем, а раков не видим?

— Смотреть надо уметь!

Ребятишки ушли, а мы снарядили целую экспедицию и двинулись по отмели вокруг острова раков ловить. Вместо ведра взяли с собой садок, купленный в Москве, в магазине «Спортсмен-рыболов», и предназначенный для рыбы, но для рыбы-то и непригодный из-за того, что у него слишком крупные ячейки — рыба чуть поменьше ста граммов из него просто вываливалась.

Но раков нигде не было. Мы их не видели. Мы привыкли видеть раков красных, а живые они были не красные.

Первого живого рака в воде увидела мать спустя несколько дней после этого.

— Я счастливая,— хвалилась она,— мне во всем везет.

Рак вылез из-под мостков, из груды камней, когда мать чистила свежую рыбу. Он был нетороплив и осмотрителен — вылез и пополз к рыбным остаткам, пополз нормально, вперед, а не назад. Мать ахнула от неожиданности, и он, видимо, заметил ее. Его хвост, знаменитая раковая шейка, вдруг быстро-быстро заработал, загребая воду под себя, клешни вытянулись, и рак поплыл, плыл на этот раз назад, а не вперед и быстро, как рыба, и мгновенно очутился у самого берега. Теперь его ничего не стоило взять. Но как взять? Чем взять?

На истошный крик матери: «Рак, рак!» — мы сбежались все, как если бы она закричала: «Волк, волк!»

Чем взять рака? Руками? Эге! Дураков нет, он живой! И пока мы гадали, мудрили, пока нашли сачок — рак исчез, уплыл от берега так же быстро, как рыба. Не такой уж он неуклюжий.

Но после этого случая мы стали видеть раков в воде: оказывается, очень важно было разглядеть первого. Потом от них уже отбою не было. Они попадались даже на удочку, когда мы ловили окуней на кусочки плотвы. Схватит рак наживку, клешнями поведет, ну, думаешь, сейчас вытянешь из воды какую-то большую рыбу, а это рак, только рак.

Ловлей раков мы увлеклись на несколько дней. О выезде со Сладкого острова опять и думать было нечего. Тревожило только то, что в Москве остались дочери, жалко было, что их нет с нами. Уж мы бы их попотчевали ухой, придумали бы путешествия и по Новозеру, и по Андозеру, угостили бы их раками!.. А главное, некуда было бы нам торопиться — вся семья в сборе. Оттого и торопятся домой, что там кто-нибудь ждет... кто-то остался.

По утрам мы заглядывали сначала под лодки, перетаскивали их с места на место и собирали раков под ними. Пользовались сачком. Но понемногу стали привыкать брать их руками. Это оказалось не так просто: надо было преодолеть условный страх перед ними. Рак пугал, поднимая свои клешни, и нападал. Но щипки его были слабыми: ухватится он за палец, его и вытащишь. Попробуйте!

Самым бесстрашным из нас оказался младший, Миша, на него условные рефлексы пока не действовали. Он только удивлялся, что живые раки оказались очень мягкими и что они умели быстро плавать.

— Это они скорости переключают! — пояснял ему Саша. — У каждого, видно, есть коробочка скоростей, как у машины.

Раков мальчики научились есть быстро, как семечки лузгать.

ТЫСЯЧА ПЕРВАЯ ПЕСНЯ

В Новозере было очень много рыбы, но питаться одной рыбой скоро надоело, она, как говорится, приелась. К тому же для шестилетнего Миши из-за болезни почек была

противопоказана пища, богатая белками. На уху он уже смотреть не мог, ел иногда лишь жареных окуньков.

Из-за этой Мишиной диеты мы, собственно, и побаивались отправляться из Москвы в далекое путешествие. Но раз уж приехали и заняли на Новозере необитаемый островок — Сладкий остров — и погода была на редкость хорошей: мы купались по нескольку раз в день, и загорали, и жили всласть,— то надо было подумать не только о рыбе, но и о мясе.

Председатель колхоза, на земле которого мы устроились летовать, сам предложил нам либо гуся, либо утицу, либо куру на выбор. (Молоком и творогом мы пробивались на соседнем островке, на котором жили-были старик со старухою.)

Колхозная птицеферма находилась от Сладкого острова километрах в трех. Мы отправились туда на лодке втроем — я, Саша и Миша, то есть отец и его сыны.

Уток и гусей считали в колхозе тысячами, кур и того больше. Район в течение одного года резко увеличивал производство мяса, и колхозам разрешено было часть птичьего поголовья сдавать на сторону, помимо плана: все равно для трудящихся, для рабочего класса.

— Прибыльное ли это дело — гуси и утки? — спросил я бригадира, человека немолодого и, по-видимому, в колхозных делах сведущего. В недавнем прошлом он сам был председателем колхоза, одного из тех двенадцати, которые объединились в нынешнем укрупненном.

— Пока не очень прибыльное! Не очень! Не прибыльное! — ответил бригадир.— Новое оно для нас — дело это. Цыплята привозные, по четыре рубля за штучку. Инкубаторные, растут без отца, без матери, вроде приютских ребят, сироты. Ну и дохнут. В чем причина, не выяснено. Кормим, даже рыбий жир даем против авитаминоза. Специалистов привозили — ничего сказать и они не смогли. Может, партия яиц попалась плохая, потомство слабое. Конечно, убыток. Посудите сами: за матку платили по тридцать восемь рублей, а на мясо сдаем утицу за двенадцать рублей; вес ее — килограмма два. Маток оставляем на зимовку штук пятьсот, на каждую уходит семьдесят килограммов пшеницы. Яиц они почти не несут. Линяют раньше срока. Куда что девается? Убыток один. Но дело это новое, поэтому все списывается по акту.

— И семьдесят килограммов пшеницы списывается?

— Как же, приходится. И рыбий жир списываем.

Бригадир рассказывал обо всем этом с точным знанием дела, памятливо, с цифровыми выкладками и с таким искренним огорчением за колхоз, что я решился спросить:

— Простите, но ведь за всем не уследишь. Может, не все птице перепадает, что ей положено?

Бригадир огорчился еще больше:

— Ну что вы! Ни утки, ни гуси, ни куры не обижены. Уток моя жена сама кормит. На моих глазах. Тут злоупотребления исключены.

Мы решили взять для Мишиной диеты двух кур. Бригадир предложил петуха и куру. Мы согласились. На птицеферме начался переполох. Птичница ловила то курицу, то петуха, бригадир сам ощупывал их и браковал:

— Давай пожирнее. И где ты таких драных находишь?

Птичница молчала, ловила следующих. Наконец и петух и курица были отобраны. Мне они не показались жирнее предыдущих, но были красивы, кремово-белы.

Хороши были обе птицы. У петуха, конечно, был королевский вид, и красная раздвоенная борода, и красная корона на голове. Но ежели петух — король, то курица выглядела королевой. В ней было столько врожденной женственности, что ее гребешок скорее походил не на корону, а на старинный северный кокошник. Узорчатый зубчатый верх кокошника свешивался на сторону, словно бархатные кисти и расшитые бисером многоцветные подвески.

Миша повизгивал от радости.

— И у царицы есть бородка,— кричал он,— только маленькая. Ну дайте же мне подержать курочку, я всю свою жизнь не видел ее так близко!

Петуха он пока побаивался.

Но и петух и курица были предназначены для заклания, поэтому четырехклассник Саша считал необходимым держаться в данном случае солидно и покровительственно относился ко всем Мишиным восторгам. Он только с пониманием посматривал на отца: пускай, дескать, малый потешится, от этого аппетит его хуже не станет. Отец сам любовался птицами и почти по-детски радовался им, будто видел таких впервые. Он в свое время учился довольно долго, но в жизни чаще всего требовалось знание только четырех действий арифметики, и ничего больше, поэтому его образование в настоящее вре-

мя уже сравнялось с образованием старшего сына, четвероклассника.

Птиц, не связывая, положили в мучной мешок, и Миша понес их сам, сначала осторожно, на вытянутых руках, впереди себя, а потом просто перекинул их через плечо.

В лодке на середине озера курица выбралась из мешка. Первым заметил ее Саша — он сидел на корме с доской вместо рулевого весла, а мешок с курами лежал на носу, за спиной отца, который сидел на веслах.

— Курица, курица! — вдруг завопил Саша.— Улетит!

Все обернулись. Курочка сидела у борта лодки и недоуменно осматривалась. Кокошник и бородка ее были белы от муки. Она никуда не хотела лететь: кругом вода, ни земли, ни крыши. Она казалась совершенно спокойной, но когда ее стали брать в руки, она всполошилась, закудахтала: «Куда, куда, опять в мешок?!» — и попыталась ринуться в озеро. Все-таки свобода, даже куриная, была ей дорога.

Миша радовался, еще больше кричал, визжал, кудахтал.

— Ой, спасибо вам, товарищи! — то и дело говорил он отцу и брату.

Саша покровительственно улыбался.

На острове нас встретила мать. Смертельно уставая возиться с утра до вечера с рыбой, с рыбьей чешуей, с рыбьими костями и колючками, из-за которых у нее болели все пальцы на руках, она обрадовалась не так нам, как птицам.

Начался детский шум, рассказы наперебой, взахлеб, словно мы вернулись из дальнего пионерского похода.

Птиц мы выпустили на свободу. Петух долго не мог прийти в себя. Он задыхался от жары и мучной пыли, стоял с раскрытым клювом, уставившись в одну точку, и казался очумелым.

— Папа, он умирает,— перепугался Миша.

Но петух не умер. Голова его наконец задвигалась, бородка дрогнула, словно бархатный занавес перед началом спектакля, он переступил с ноги на ногу, увидел курочку, зелень, деревья, увидел небо и воду, что-то бормотнул, квокнул и начал щипать траву. Первого же червячка или букашку, а может, какое-то зернышко, которое он нашел в траве, он подарил своей курочке. Чья же она и была, если не его? Не могла же она быть ничьей?

Курочка не жеманилась, не отбивалась, а приняла подарок как должное, подбежала и клюнула что-то, видное лишь им одним.

Когда их стали кормить хлебом, петух взял в клюв первую крошку и опять деликатно позвал свою курочку, и та уже опрометью бросилась на его зов, к его крошке, хотя рядом лежала целая хлебная горка.

Вместе они стали закусывать, заедать хлеб травой. Они были как дома, они были на земле.

А когда петух впервые кукарекнул, необитаемый дотоле остров стал и для нас совершенно обжитым.

До вечера мы их не трогали. Только посоветовались, которого порешить первым. Мать сказала:

— Надо примечать, кто первый затоскует. Птица тоже чует свой конец.

Ни курица, ни петух своего конца не чуяли.

Миша целый день ухаживал за ними, кормил их остатками каши, вареной и жареной рыбой, собирал дождевых червей и предлагал даже кусочки сахара. Сугубо городской мальчик и немного вялый после тяжелой болезни, он оживился и, кажется, розовел на наших глазах.

Вечером мы стали думать о курятнике, о ночлеге для нашей птицы. Требовался насест.

— Какой насест? — спросил Миша.

— Вот не знает! — высокомерно сказал Саша.— Какой насест, мама?

— Обыкновенный насест, чтобы спать. Жердочки вроде любой ветки, как для любой птицы.

— Понял? — сказал Саша брату. — Насест — это вроде ветки на дереве. Птицы должны спать на деревьях, высоко над землей. Правда ведь, мама?

— А разве куры — это птица? — удивился Миша.

— Вот не знает! — сказал опять четвероклассник, обращаясь на этот раз к отцу. — Конечно, птица, раз перья. Правда ведь, папа?

— Правда, мой старший. Перья и яйца — значит, птица,— подтвердил родитель.

На ночь решили устроить кур в одной из свободных комнат. Казалось, на одну ночь — что ж тут такого? Ведь пустовал весь дом. Мать выбрала комнату и положила в ней жердочку между подоконником и письменным столом. Канцелярские столы остались здесь во всех комнатах без исключения: когда-то и Сладкий остров был учреждением.

Курица далась в руки легко. «Ко-ко-ко»,— сказала она, и только, и мы посадили ее на насест в канцелярском кабинете. А петух начал носиться по острову, как ракета, резко меняя направления и заранее предугадывая все наши маневры. Никакие оцепления, никакие «котлы» не были для него в диковинку. Щуку в озере поймать было легче, чем его на суше. Когда мы прижимали его к изгороди или к стене дома, он проскальзывал мимо наших ног, когда брали в клещи в крапиве, куст крапивы вдруг взрывался, и петух с криком выносился из него вверх, на крышу.

— Это гениальный петух! — сказал про него Саша.— Правда, папа?

Миша пробовал пробиться к петушиному сердцу.

— Милый петух! Петенька! Мы же твои друзья, уступи, пожалуйста, тебе давно спать пора. Тебя курочка ждет. Комната отведена, насест приготовлен.

Петух не уступал.

— Все они, короли, такие, правда, мама? — сказал Саша и с деланным равнодушием вышел из игры.

— Он просто жить хочет,— заметил на это Миша.— Как ты этого не понимаешь?

— Ну да, я не понимаю. Ты все понимаешь. Правда, мама?

Наконец от петуха отступились все. Мама заявила, что слыхала еще от бабушки, будто с заходом солнца куры перестают видеть, и тогда можно будет взять петуха запросто и водворить куда следует.

Стали ждать захода солнца. Но когда закатилось солнце — петух исчез. Исчез бесследно. Вся семья снова была поднята на ноги, и в течение получаса, не меньше, мы все, островитяне, обыскали каждый уголок родной земли: бурьяны, крапиву, ивняк, полусгнившие домовые пристройки, уцелевшие дровяные сарайчики, баню и предбанник — петуха нигде не было.

— Гениальный петух: дал мат в три хода! Правда, Миша? — попытался заключить старший брат.

Миша не ответил ему. Он размышлял вслух.

— Неужели петух мог решиться на такой перелет? Неужели он пересек озеро? Конечно, он птица, но он тяжелый. Что же он подумал про нас, если решился...

Миша был огорчен больше всех, что петух исчез. Это же был его петух.

Мама не верила, что петух мог куда-то улететь с острова, но и она огорчилась. Она уже начинала пони-

мать, словно предчувствовала, что с утра придется ей опять чистить и варить рыбу.

Петуха нашел отец. Уже в сумерках.

— Я же старый охотник! — хвалился он, когда семья сбежалась на его крик и еще никто не знал, куда надо смотреть.— Я же бывалый охотник и вырос среди охотников. Сколько этих глухарей я за свою жизнь перебил. Вон где он, вон куда смотрите! — указал отец на березу, огромную и широкую, как дуб.

В сумерках сквозь ветви березы проглядывало не то небо, не то озеро — и вода и небо были одинаково розовыми. И на этом розовом фоне, в закатном огне отчетливо прорисовывался силуэт большой и гордой птицы с зубчатой короной на голове. Петух сам нашел свой насест — высокий и могучий сук.

— Глухарь, настоящий глухарь! — восхищался отец. — Эх, куда забрался! Ну, токуй, токуй!

Петух повернул голову и встревоженно подал голос. Им любовались, как дичью. Он украсил собою этот островок, это озеро, и вечернюю зарю, и эту березу, которая одна теперь сходила за глухую, населенную птицами и зверьем, нехоженую рощу.

— Если его сейчас не взять, завтра не поймаешь,— сказала мама.

— Возьми его. Как ты его возьмешь?

— Он же слепой, солнце уже село. Столкни сейчас — где упадет, тут и сядет и прижмется.

Нет, этот петух и в сумерках видел неплохо. Сбитый с березы длинным шестом, он долго еще носился по острову, пока не был водружен в канцелярию в принудительном порядке.

«Ко-ко-ко!» — ласково спросонья сказала курочка, когда он устроился наконец рядом с нею меж письменным столом и подоконником.

В эту ночь Миша спал мало. Должно быть, не раз заглядывал в соседнюю комнату к птицам. И проснулся он раньше птиц. Когда мать заворочалась в постели, он сказал ей:

— Такого петуха, мама, нельзя убивать. Лучше я рыбу буду есть, я и без диеты поправлюсь. Правда, мама? И курочку надо ему оставить. А то как же он без курочки будет жить на свете?..

— Правда, сынок, спи!

И на заре петух запел свою тысяча первую песню.

МОРЯКОМ БУДЕШЬ!

Лодки на Сладком острове — единственно пригодный и всеобъемлющий транспорт, на все случаи жизни. Ни машина, ни лошадь здесь непригодны. Нет лодки — вы отрезаны от всего мира. Лодка является и орудием, и средством производства.

На лодке мы добывали себе пищу: ездили за молоком на соседний островок Шиднем, за хлебом и прочими продуктами в Карлинки, на лодке ловили рыбу и просто катались, отдыхали.

Обычно за веслами сидел отец, старший сын на корме — либо с рулевым веслом, либо со спиннингом, который мы просто использовали в качестве дорожки; мать и Миша — на положении пассажиров и указчиков. Так как все лодки, находившиеся в нашем ведении, безбожно протекали, то либо мать, либо Саша постоянно на ходу вычерпывали воду. Для этого в одной лодке была банная деревянная шайка, в другой ржавое дырявое ведро, в третьей — белый ковш из дюраля без ручки.

По мере того как мальчишки привыкали к воде и взрослели, им разрешалось все чаще садиться за весла. Миша тоже научился грести — уже по одному этому Сладкий остров должен запомниться ему на всю жизнь. Но Мише этого было мало. Он хотел, чтобы ему разрешили выходить на озеро одному, без сопровождения, без указчиков.

И ему разрешили наконец. Для этого случая выбран был очень ясный, очень тихий день. Только Новозеро отличается в этом отношении удивительным непостоянством. Ветер налетает здесь сразу, словно выжидает удобного случая где-то на берегу в лесной полосе. Налетает — и поднимаются на озере сразу не волны, а валы с гребешками, летит пена, свистят камыши. Говорят, такой же дурной характер и у Белого озера. Только оно еще дурнее. На Белом озере ни одного года не обходится без жертв среди рыбаков.

Весь наш остров продувается насквозь, так же как просвечивается, и кажется, пронесется ветер с одного берега на противоположный и — конец шуму. Опять озеро становится таким же, как было,— спокойным, углубленным в себя, сосредоточенным. Но за эти несколько минут шурум-бурума оно может наделать беды. Особенно если лодка мала.

А у Миши лодка была небольшая и полусгнившая, к тому же Миша сразу захотел, конечно, похвастаться:

— Саша, смотри, куда я поеду, на каменную гряду!

Направил Миша лодку к каменной гряде, к камышам на середине озера, а ветер тут как тут — вылетел из-за укрытия и давай шуровать. Зашумели волны, вздыбилась пена, как в прачечной, в корыте, летят хлопья в лодку. Испугался Миша.

А на берегу — мать. Не успела толком подумать, как быть, переполошилась и завопила:

— Миша, назад! Миша, утонешь! О господи, и отца нет. Где отец?.. Миша, утонешь!

Услышал Миша крик матери, испугался еще больше. Разворачивает лодку к берегу, а ее захлестывает волной, справиться силы не хватает. Заплакал Миша и оттого еще больше ослаб, весла из рук вываливаются, совсем мочи не стало. «Утонешь!» — звучит в ушах вопль матери. А тонуть ему не хочется, хочется в Москву вернуться, он еще и в школе не учился. Брызги водяные и слезы слепят глаза.

И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в эту минуту не появился на берегу отец.

Сложил отец руки рупором и закричал, будто ничего не случилось:

— Правильно, сынок, гребешь, хорошо гребешь! Ничего не бойся, ты теперь станешь настоящим моряком. Слушай меня! Держи лодку носом к волне, к берегу не поворачивай. Против волны греби. Не спеши. Ударь левым веслом, еще раз левым. Молодец, сынок, хорошо! Правильно гребешь!

Кричит отец, а сам вторую лодку с берега толкает. Стал Миша налегать на левое весло, перестали волны бить в борт лодки, и он успокоился.

— Я не боюсь, папа, ты не волнуйся, я сейчас! — закричал он.

Успокоился Миша, и озеро успокоилось, ветер стих, волны спали. И Миша благополучно причалил к берегу. Мать кинулась обнимать его, а отец только руку по-мужски пожал:

— Молодец, сынок, моряком будешь!

КРАПИВНОЕ СЕМЯ

Недобрых людей в народе называют крапивным семенем. Немало на свете и самой крапивы.

Вокруг нашего дома крапива разрослась густыми большими кустами. Высокая, жирная, ядовитая, она не дает никому проходу. Я говорю сейчас о крапиве настоящей, подлинной, о крапиве в прямом, а не в переносном смысле. Молодую, ее можно еще использовать для щей, а разрастется, загрубеет, не выполешь вовремя — тогда беда с ней. Берет верх, наступает, теснит, наглая, жжет, житья не дает.

Каково же семя у этой, у настоящей крапивы? Кто его видал — это крапивное семя? Как оно растет, откуда берется? Хоть бы из интересу взглянуть на него. А попробуй взгляни! Как его возьмешь — жжется крапива. Пропадает у людей всякий интерес к крапивному семени. «Лучше не связываться!» — говорят. Сторонятся. И растет крапива рядом с жильем человеческим на самых обжитых местах, на самых тучных землях — под окнами изб, вдоль заборов и стен, на приусадебных участках,— растет на глазах у всех. Где люди, там и крапива. Растет и жжется.

А этим летом одолели нас еще комары. Погода стояла дивная весь июль — только бы радоваться ей, снять с себя всю лишнюю одежонку, загорать по целым дням с книжкой в руках, спать на открытом воздухе. А попробуй позагорай, когда вместе с хорошей погодой появились сонмища оводов. Попробуй поспи на воздухе, когда с сумерек, неизвестно откуда взявшись, налетают полчища комаров, как исчадия ада, как тьма тмутараканская, и всю ночь бесчинствуют, жалят, нудят неторопливо, лезут в нос, в глаза, в рот, в уши. Они изводят, выматывают все силы, а слабого, да еще городского, не привыкшего с детства к такому комариному глумлению над человеком, они могут довести до истерики.

Перед сном мы топили плиту и наполняли всю квартиру дымом и нередко спали в дыму, потому что открывать окна для проветривания или снимать с них марлю боялись. Вдобавок мы натирались кремом «Тайга» — от чего он помогает, мы так и не смогли понять, только не от комаров, и еще старались на ночь одеться так, чтобы открыт был один нос. Но, кажется, ничего по-настоящему не помогало. Комары грызли нас.

Было лишь одно радикальное средство против них: усталость. Усталость до смерти, до отупения, до апатии, до полного равнодушия ко всему окружающему. При такой усталости — а уставали мы в основном на рыбалке — чувствуешь комариные укусы, только пока падаешь в сено.

— А, проклятые! Крапивное семя! — скажешь, бывало, добравшись до постели.— Ешьте! Все равно придет и на вас погибель. Время свое возьмет. И вас прихватит морозом, осень не за горами.

Скажешь — и уснешь до утра.

А утром пригреет солнце — и комары исчезают. Куда? Да куда бы ни исчезали, только бы исчезали — вероятно, туда, откуда и появлялись. Не хватает еще, чтобы мы этим интересовались. Обидно только, что ни дожди, ни ветры не могут с ними покончить раз и навсегда.

Если бы не случай, так ничего и не узнали бы мы ни о комарах, ни о крапивном семени.

Как-то поздно вечером мы поленились или не успели почистить рыбу, и мать положила ее на ночь в крапиву. Утром за ней пришел Саша и взвыл.

— Там пчелы, рой! — закричал он.

А потом:

— Это комары! Сколько же их тут! Вот оно где, крапивное семя!

Взяли мы палки и пошли вокруг дома по крапивным местам. Ударишь палкой по кусту — действительно комары. Ударишь по другому — и больше того. Но только в тени. На солнце днем комары не хоронятся, как, впрочем, всякая нечисть.

Так вот ты какое, крапивное семя!

Разыскали мы косу и скосили всю крапиву вокруг дома. Честное слово, легче жить стало. Только надолго ли? Разве всю нечисть можно извести? Только и надежды что на время — оно должно взять свое.

СУДАРЕВА ЛОДКА

Был один день, бедственный для Сладкого острова. Казалось, все рушится, вся его прелесть исчезает навсегда. Шестнадцатого июля вслед за ленинградским полковником с семьей приехали вологодские литературные деятели — два поэта, редактор комсомольской газеты с семьей и директор областного издательства с семьей

же — итого человек десять — пятнадцать. Ну, можно сматывать удочки — не будет ни рыбы, ни поэзии!

Но редактор газеты скоро уехал, потому что газету все-таки выпускать надо; полковник отправился добирать свой туристский маршрут, строго вычерченный на военно-топографической карте; самый юный из поэтов, Васенька, жаждал быть на людях и только на людях, так сказать, в гуще борьбы, где «страсти роковые и от судеб защиты нет»; сыновья издателя подняли бунт против своего папы и сбежали в областной центр, потому что здесь не было ни футбольных ристалищ, ни джазового ерничества. За ними вскоре выехал и сам издатель с женой.

Остался с нами один поэт, настолько же неторопливый и мудрый, насколько немолодой. Он видел в жизни немало всяких роковых перемен, прошел, как говорится, огни и воды и знал цену одиночеству. Писал ли он что-нибудь, неизвестно,— в его положении редко кто пишет, и это, наверно, к лучшему. Он стал работать.

С соседнего, с Красного острова он привел заброшенную лодку и начал ее ремонтировать. Топор был. Пила была — старая, ржавая, но пила. Были спички, чтобы разводить костер. Ну, и конечно, перочинный нож. Больше ничего не было. А требовалось многое: гвозди разных размеров, пакля, чтобы проконопатить лодку, битум или вар, чтобы замазать щели, запломбировать их, котел, чтобы варить битум, какой-нибудь черпачок для разлива смолистого варева. Как известно, даже Робинзон имел далеко не все, чтобы начать жить и работать на необитаемом острове, но все-таки имел гораздо больше, чем наш поэт.

Но главное, что необходимо было иметь для ремонта лодки,— самое лодку. Ее-то, как выяснилось после, у поэта и не оказалось. Но он усердно взялся за работу. На то он и был поэт, а не Робинзон Крузо.

Ранним утром поэт выходил из своего особнячка, крылечко которого напоминало предбанник, и, осмотревшись и потянувшись, скрывался за камышами. Нос у него обгорел и лупился. Вскоре его голова без единого всплеска отплывала от берега и повертывалась на воде, как на широкой тарелке. Ни одной волны, ни круга, ни даже ряби! Это было удивительно, потому что даже водомерки, скользящие по озеру, даже мотыльки, упавшие на его зеркальную гладь, и те оставляли за собой какой-то след,

пусть мгновенный, незначительный... Поэт не оставлял после себя никакого следа, он не плыл, не порхал, а между тем продвигался вперед, вроде одноклеточного существа.

Он переливался, как амеба.

О том, что поэт не фыркал, не сопел, не отдувался, и говорить было нечего. На поверхности озера не было ничего, кроме живой, бесшумно моргающей и бесшумно передвигающейся головы.

Сделав небольшой круг, голова возвращалась к камышам и исчезала. А через пять — десять минут оттуда снова выходил поэт, неторопливый, спокойный и просветленный. Кожа на его красном носу лупилась еще больше.

Чем и как питался поэт — одному богу известно. Рыбы не ловил, ягод не собирал, ни корней, ни червей из земли не выкапывал. Но он не худел и всегда был благостен и доволен собой, значит, какую-то пищу употреблял, кроме духовной.

Работал поэт с упоением, но не спеша. Нельзя было сказать, что у него сам топор вот так и ходит, так и тычет долото. Костер не потухал целый день. К костру поэт тащил все, что удавалось найти на острове и в воде. Так, в мусорной яме он обнаружил чугун с отбитыми краями, который заменил ему котел. Паклю натаскал из пазов домика, в котором жил. На подоконниках между летними и зимними рамами буграми лежала вата — он и ее использовал как паклю. Гвозди вытаскивал отовсюду, где находил их, даже из собственной табуретки, из-за чего та в конце концов развалилась. Из воды был извлечен ржавый металлический прут, им поэт пользовался как паяльником, когда заделывал битумом щели в лодке: прижмет кусочек битума к борту лодки и растапливает его каленым прутом.

Похоже, что эта работа давно была знакома поэту. Мы восхищались методичностью, с какой он проделывал одно и то же по нескольку раз, пока не добивался какого-то результата. Восхищались его терпеливостью и упорством.

— Труд на пользу! — сказал я как-то, подходя к костру.

— Спасибо. Но будет ли польза, еще неизвестно. О какой вы пользе говорите?

— О лодке. Спу́стите лодку на воду, и она будет служить вам.

— Я на днях уезжаю. Вероятно, не успею закончить.

— А вы закончите. Другие сядут в лодку — о вас добро́м вспомнят. Вот и памятник нерукотворный.

— Зачем мне памятник? Сам труд доставляет удовольствие. Я о пользе не думаю. Просто работаю, и все тут.

Самым трудным для него было установить уключины, старые поржавели и погнулись. Поэт отыскал на поваленном и полусгнившем телеграфном столбе два крюка с изоляторами. Изоляторы разбил, крюки раскалил на костре и выпрямил. «Кузнец, настоящий кузнец!», — восхищались мы. Один борт лодки треснул, когда поэт забивал уключины, но это было уже не так страшно. К вечеру все было склеено.

Два дня ушло на то, чтобы вытесать весла. Для весел поэт снял с крыши своего дома две тесины. «Столяр, настоящий столяр-краснодеревщик!» — восхищались мы.

Накануне отъезда с острова поэт заявил, что работу он все-таки успел закончить. Правда, сказал он об этом без воодушевления. А мы восхитились еще больше: дескать для него это обычное дело. Старый мастер! Золотые руки!

Торжественно проводив поэта, всячески славя и превознося его, мы решили опробовать творение его рук и ума. Сели в лодку трое, налегли на весла, выехали на середину озера и... нахлебались воды. Гнилая лодка развалилась. Ненужная бессмысленная работа! Неужели он так и стихи пишет? Для чего, для кого?

КАМЕННАЯ ГРЯДА

Всю жизнь ищет каждый свою каменную гряду. Каменная гряда жизни. Не всякий ее находит.

Умелый выбор места для ужения — едва ли не самое главное в мастерстве рыболова. Отец обычно уезжал в камыши к соседним островам, либо на середину озера, где также торчала трава из воды, либо на противоположный берег.

Кто-то сказал, что посередине озера проходит каменная гряда, называли ее даже окуневой. Но где она — никто не открывал. Отец искал ее настойчиво, он готов

был промерить шестом все озеро вдоль и поперек, но где взять шест такой длины? И что это за гряда такая — каменная, окуневая? Вероятно, не зря люди секретничают, скрывают ее? Нападешь на гряду — вернешься с ведром пятисотграммовых окуней. А то и по килограмму краснoперых наберешь. Вот что такое гряда! Вот где душу бы отвести! В надежде на такую удачу можно бродить по озеру целый день и забираться в отдаленные уголки за два-три километра.

И отец бродил далеко. С утра он исчезал, и мы не видели его по целому дню.

А однажды к нашему дому подошли другие рыбаки, колхозники с неводом. И за несколько минут поймали у нас под носом, прямо у мостков, где мать обычно белье стирала, несколько пудов лещей и щук. Закинули они невод с лодки, полукругом, один конец на берегу и другой подвели к берегу, а потом все вышли из лодки и стали вытягивать невод на берег за оба конца. Невод — это длинная однорядная сеть мелкой вязки с кошелем посередине. По низу сети подшиты грузила — во всю длину холщовая кишка, набитая песком, а чтобы верхняя часть невода не тонула, она оснащена поплавками — деревянными пластинками и берестяными трубочками.

Я не назвал бы прогрессивным способ ловли рыбы неводом, но зато он добычлив: несколько заметов, и весь колхоз обеспечен. И времени на это уходит немного. А в горячую пору сенокоса время все же ценится.

Как горевал отец! Волос на себе он, конечно, не рвал, но неистовствовал в полную силу и заново пересматривал всю свою жизнь.

— Вот,— говорил он,— всю жизнь так. Все куда-то рвешься, бежишь, летишь, а на поверку выходит, никуда лететь не надо. Недаром сказано: не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Неисповедимы пути наши. Темна вода в облаках. Хочешь больше — ничего не получаешь. Не жадничаешь — и жить легче, и удачи — вот они! В детстве так же бывало: спешишь за грибами, за ягодами в Лубники, в Городцы, в даль несусветную, там, дескать, всего много, а какая-нибудь бабка костыляет около деревни, около твоего же дома и — что тебе грибов, что ягод! Ну не обидно ли: всю рыбу забрали у нас под носом, у нас на глазах. Нашу рыбу! Можно сказать, собственную, домашнюю нашу! Даже не выловили, а выгребли, будто из аквариума вычерпали. Только представить себе,

что около нас все дно теперь пустое, голое. Даже раков подмели всех до одного, даже ракушки на дне не осталось ни единой. На этом берегу и жить теперь неинтересно. Переселяться надо куда-нибудь.

Неводом, впрямь, выгребли все живое, что оказалось в этот час на дне вблизи нашего берега. В илистой грязи, в тине, вместе с крупными рыбами барахтались раки, бились десятисантиметровые окуньки и подъязки, плотва и ершики — всякая мелочь и молодь. Полупудовые щуки в этом черном месиве выглядели как огромные плахи на паровозном тендере.

А рыбаки были недовольны.

— Откуда столько грязи взялось? — ворчал то один, то другой.— Совсем недавно чистое дно было. Видно, ветер нагнал. Вся рыба ушла под невод с этой грязью.

— Как вся рыба? А это что?

— Ну какая это рыба, пуд-два, не больше.

Отец нервничал целый день, ночью плохо спал, обижался на самого себя. А утром снова отплыл с удочками в какой-то кривоколенный озерной переулок.

Саша и Миша никуда не пошли и не поехали, а с разрешения матери привязали свою лодочку к траве метрах в трех от берега, как раз там, где вчера колхозники зачистили все дно неводом, и начали таскать лещей, точно таких же, какие в невод попали. И Саша решил:

— Как быстро рыба растет. За одну ночь — и лещи!

ГРИБНЫЕ ШАШЛЫКИ

На Сладком острове наша хозяйка с утра до вечера чистила свежую рыбу. Бывало, только управится с одной порцией окуней — мы несем вторую, больше первой. Разделает щук — мы ей подбрасываем лещей да налимов. Исколола она себе руки и наконец взмолилась:

— Не могу больше, дайте передохнуть!

Особенно трудно было хозяйке с заготовкой рыбы впрок: для засолки не хватало посуды, а сушить на плите, без всяких приспособлений — муторное дело, плита раскалена, рыба на ней не сохнет, а горит. Разумеется, мы не перестали ловить рыбу, а в ответ на ее мольбы и почти истерические слезы взяли удочки и снова ушли на озеро.

Не управлялась наша хозяйка с рыбой.

То же самое получилось и с грибами. В грибную пору мы почти перестали спать. От жилья до ближайшего лес-

ка не больше половины километра, и обычно нам еле хватало этого расстояния, чтобы протереть глаза да прожевать утренние бутерброды.

Кто знает, как возникает, с чего начинается страсть? Первое время мы охотились только за белыми да за рыжиками и возвращались домой с полупустыми корзинами. Терпения и настойчивости было с избытком, умение накапливалось с каждым выходом, но корзины не становились полнее. В чем дело? Неужели грибы в лесу перевелись? Мы изощрялись, лазили в самые густые кусты, куда не забирался ни один грибник, обследовали придорожные канавы, не брезговали уже ни сыроежками, ни волнушками, не отказывались от любых корней. Но все-таки грибов находили мало. Их стало много, когда мы узнали, что в лесу на каждые два десятка съедобных грибов приходится не больше одной поганки. Значит, мы топчем культурные грибы только потому, что не знаем их.

В здешних местах все неизвестные грибы называются собачьи губы. Их даже в руки брать брезгуют. Зато подберезовики называют здесь обабками, подосиновики — красными грибами, боровые рыжики — бабаухами, волнушки — вовденицами. А собачьими губами оказались и вкуснейшие опята всех видов, и удивительные сочные чушки, или свинушки, или дуньки — где как их назовут, и белые, как грузди, ореховики, и, конечно, лисички, сморчки, чернушки... О грибной лапше, о трюфелях и говорить не приходится, здесь о них просто не слыхали.

А мы вычитали из книжек, что даже мухоморы многие вполне пригодны для пищи. Вот когда лес заговорил с нами и открыл нам свои кладовые. Чем больше узнавали мы грибов, тем полнее становились наши корзины и ненасытнее страсть. Теперь радостям нашим не было конца.

Не радовалась только наша хозяйка.

Первая ее работа была — выкидывать из наших корзин все грибы, оставшиеся для нее неизвестными, то есть все собачьи губы. Делалось это втайне от нас. При этом она хвалила нас за хороший улов. Затем она сортировала остатки нашей добычи, раскладывая ее на три кучки: для соленья, для варенья, для сушенья. Солить было почти нечего, так как рыжиков мы приносили незначительное количество, а груздей вообще не находили. На варево шли старые подберезовики и подосиновики, огром-

ные и рваные, как ошметки, как лапотные обноски, да изредка белые царские грибы, похожие на заплесневевшие пироги-колобаны. Зато сушить было что. Но как сушить, где сушить? И начались мученья, как с рыбой.

Хорошо тем, у кого есть широченная русская печь, за широким челом которой, на поду, как на мощеном дворе, может развернуться любая телега. А если вместо пекарки в доме только плита, а в городском доме и плита не дровяная, а газовая, тогда как быть?

У нас плита дровяная. Пока ее топишь, она раскаляется докрасна, закроешь трубу — с полчаса еще не остывает, а через полчаса хоть снова топи, в духовке даже заварка чая в фарфоровом чайнике через полчаса становится теплой, как помои.

Хозяйка поначалу раскладывала грибные шляпки прямо на чугунную доску плиты. Они мгновенно пускали сок, пузырились, закипали и не сохли, а варились. После этого она попробовала нанизывать грибы на нитки и развешивать их над жарко топящейся печкой. Работы было много, а толку мало, потому что требовалось, чтобы печка топилась беспрерывно день за днем. К тому же нитки то и дело обрывались. Тогда хозяйка раздобыла камышовой соломы и, застлав ею внутренность духовки, раскладывала грибы на камыше. Получалось неплохо, но велик ли под у плиты? На нем умещалось самое большое десять хороших шляпок и столько же корешков в промежутках. Забраковав и этот способ, хозяйка стала в тупик: требовалось что-то придумать новое, а что? На солнышке, что ли, развешивать грибные цепочки? Так ведь осень, когда его, солнышка, дождешься, да и выглянет оно либо нет? А может, просто под навесом, на воздухе попробовать? Заготовляет же белка грибы на зиму и сушит их на воздухе, в том же лесу... Нанизывает она по грибочку на сучок — и ничего, получается. Накалывает на сучок по грибочку... Накалывает...

Мало-помалу хозяйка нашла способ сушить грибы, вышла из положения. Она стала накалывать грибы на лучинки, как шашлык на палочки, и раскладывать эти палочки в духовке на боковых ее выступах, предназначенных для противня. Грибы просыхали быстро и хорошо, не подгорая, не теряя соков. Мы так и назвали палочки «грибными шашлыками».

— Может быть, и лучку добавлять надо между белыми шляпками, по нескольку кружочков? — спросил кто-то однажды.— Чтобы уж шашлык так шашлык!

Хозяйка неожиданно для всех выпалила вдруг такое, что мы даже засмеяться не смогли от удивления,— такое выпалила, будто всю свою жизнь занималась искусствоведением, а не грибами, не рыбой.

— С лучком — это уже декадентство! — сказала она.

Вот ведь что делается на белом свете, совсем сравнялась деревня с городом.

Грибные шашлыки выручили нас всех. Теперь мы, не боясь ничьей воркотни и унизительного недоброжелательства, могли по целым дням собирать грибы, а хозяйка обрабатывала их быстро и надежно, даже с охотой. Видно шашлыки готовить все же интереснее, чем просто грибы сушить.

Записал я сейчас эту историю и задумался: а для чего, собственно, я ее записал? Мелко, непроблемно и вряд ли высокохудожественно. Правда, реализм налицо, но, может быть, это уже не реализм, а ползучий натурализм, и, стало быть, ничего, кроме вреда, от него ждать нечего. Скажет кто-нибудь, будто я, вместо того чтобы заниматься своим кровным делом, служить народу, составляю заметки для поваренной книги. Для чего все это?

А может, не «для чего», а «для кого»? Может, мою заметку и впрямь прочитает не одна домашняя хозяйка и будет при случае сушить грибы точно таким же простым способом, как я описал. А от них научатся другие, и пойдет... И получится, что я все-таки послужу своей заметкой о грибных шашлыках и не думая, что служу...

НОВАЯ СЧИТАЛКА

Мы с Мишей играли на берегу Новозера в прятки. Пользовались считалкой про зайчиков.

Вдруг охотник выбегает,
Прямо в зайчика стреляет.
Ай-ай,
Ой-ой,
Умирает зайчик мой!

— Жалко! — сказал Миша.

— Кого?

— Зайчика.

И мы с Мишей решили тут же пересочинить детскую считалку так, чтобы зайчик не умирал.

Предлагаем нашим друзьям новый, оптимистический вариант старой считалки:

Раз, два, три, четыре, пять.
Вышел зайчик погулять.
Кто-то в зайчика стреляет —
Он бежит, не умирает,
Не желает умирать.
Раз, два, три, четыре, пять.

Миша несокрушимо верил в силу слова.

— Теперь зайчиков в лесу будет много! — сказал он.

МАМИНЫ СКАЗКИ

1. ЧАЙКА

Какой только рыбы не водится в Новозере, каких только птиц не летает над ним! Однажды утром Миша вышел на песчаную косу, чтобы послушать, как далеко-далеко на болотах, за береговой излучиной, кричат журавли. Солнце уже всходило, и озеро то и дело меняло цвета, будто примеряло разные наряды — какой из них больше подойдет на сегодняшний день. На небе солнце взошло одно, а в озере их отразилось тысячи.

Журавлей Миша никогда не видел. Не увидел он их и сегодня. Зато на песчаную косу вдруг спустилась с неба удивительная птица: вся розовая, только клюв черный да черное пятнышко на голове. Миша видел, когда птица летела, и ее длинные тонкие крылья показались ему похожими на гребни волн. Он всегда рисовал море с такими волнами. Села розовая птица на песчаный откос и так неторопливо сложила свои волнистые крылья, будто кружевной подол платья подобрала.

Прибежал Миша домой, рассказал маме, какую он удивительную птицу видел, а мама выслушала и сказала, что это была чайка.

— Нет, мама, это была не чайка. Чайка же белая!

— Да, это правда, что чайка белая.

Вечером того же дня Миша увидел еще одну необыкновенную птицу — совершенно голубую. Голубую, как вечернее предзакатное небо.

Рассказал он маме и об этой птице, а мама подумала и опять сказала, что и это была чайка.

— Нет, мама, это была не чайка, а какая-то небывалая птица. Чайка же белая.

— Да, чайка бывает белая, это верно. Сходи на берег, присмотрись к ней хорошенько еще раз.

Вернулся Миша на берег озера, когда солнце уже садилось и его нетленный огонь разгорался все больше и больше. Это уже был целый костер. Казалось, коснется солнце своим краем озерной глади — и закипит, забрызжет, запенится под ним вода.

В этом закатном огне увидел Миша в небе целую стаю птиц, похожих на чаек, и все они были золотые, огненнозолотые, из самого настоящего червонного золота.

«Как в сказке! — сказал про себя Миша.— Но это же чайки. Это все одни и те же чайки».

— Это чайки, мама! — согласился наконец Миша.

— Ты их видел белыми?

— Нет, я не видел их белыми. Они белые, но на этом озере все как в сказке, все сказочное — и восходы, и закаты, и лунные ночи. И птицы и люди — как в сказке.

2. ЛУННЫЙ МОСТИК

Вечером сидел Миша на берегу озера. Днем озеро казалось совсем мелким, а сейчас в него заглянуло небо, и Миша увидел, что у озера, как у моря, дна нет.

Мише вдруг захотелось попасть на другой берег, где люди с песнями шли с работы, где коровы мычали, возвращаясь с выгона, и трудились грузовики с сеном. Но как попасть?

Тогда вышла на небо луна и перекинула перед Мишей светлый, будто тесовый, мостик:

«Беги, мальчик, не бойся, вот твоя дорожка с острова на Большую землю!»

Весело стало Мише, вскочил он, кинулся к берегу, чтобы перебежать через озеро по лунному мостику. Но за Мишу испугался ветерок, пожалел его, дунул из-за кустов и раскидал, разрушил лунный мостик:

«Не верь, мальчик, луне, возьми лучше лодку. Вон в камышах лодка стоит».

Послушался Миша, спустился к лодке, сел за весла и стал отталкиваться от берега. Но луна рассердилась и на ветер и на Мишу и торопливо скрылась за облака.

Было светло, как днем, стало темно, как в полночь. Скрылся из глаз большой берег, куда тянуло Мишу. Не стало видно ни земли, ни озера.

А ветерок опять шепнул Мише:

«Не спеши, Миша, подожди до утра. Утром солнце взойдет, и не будет страшно. Все успеешь, подожди до утра!»

Заплакал Миша и вернулся домой.

Утром ему уже не захотелось на Большую землю.

3. УТРО

Миша лег в постель и просит:

— Мама, расскажи еще сказку!

— Но сейчас поздно,— отбивается мать.— Все сказки па покой ушли, в камыши спрятались.

— Как это? — удивляется Миша. — Разве они птицы или рыбы?

Миша удивляется притворно, он только делает вид, что всему верит на слово, а на самом деле он все понимает.

— Как это сказки спрятались? — переспрашивает он.

— А вот так. Встань завтра пораньше, выйди на берег и, может быть, увидишь, как сказки начнут из камышей выплывать. Может быть, они и тебе покажутся. Только пораньше встать надо, засыпай скорее.

— Хитрая ты, мама! — говорит Миша, все понимая.

Но поутру он поднялся раньше всех и, наскоро одевшись, вышел к озеру. Ноги сразу стали мокрыми, влажный холодок проник под рубашку, на руках выше локтей появились гусиные пупырышки. Небо чуть-чуть порозовело, но сзади острова, за спиной Миши, поэтому казалось, что утро еще не наступило. Миша спрятался за кустиком напротив камышей и стал ждать.

Долго ничего не происходило. Густой белый туман над озером побелел еще больше и начал медленно передвигаться. Вдали за озером объявились верхушки деревьев, только верхушки, до этого лес не был виден совсем. Говорят, что утром туман поднимается. Как же он поднимается, если из тумана сначала показались верхушки леса?.. Значит, туман не поднимается, а опускается, уходит в воду. «Хитрые!» — думает Миша.

Крякнула утка в камышах. Очень интересно крякнула, громко. Еще раз крякнула. Может, она не в камышах, а где-нибудь на чистом месте, только из-за тумана ничего не видно, и кажется, что она в камышах. Утром каждый звук далеко-далеко слышно. Опять крякнула утка. Как-то странно она все-таки крякает... «Не обманешь! — го-

ворит про себя Миша.— Это самая настоящая утка, а никакая не сказка!»

Почти у самого берега плавают круглые листья, словно зеленые тарелочки, и между ними белые твердые цветы. Это водяные лилии, их очень много. Одни совсем распустились, а есть такие, что как маленькие зеленые горшочки с трещинками. А в горшочках белое молоко.

Лилий становилось все больше, они видны уже за камышами, потому что туман уходит в воду. Утром цветы, наверно, холодные и хрупкие. Миша вспоминает, что лягушка-царевна со стрелой во рту сидела вот около таких лилий. А где это он ее видел и когда? Но видел же ведь, точно, без обмана.

Миша почти не дышит и внимательно вглядывается в чашечки цветов на озерной глади. Тихо-то как! И вдруг из воды, прямо из воды, на глазах у Миши вылезает новый цветок и развертывает во всю ширину свои лепестки. Да нет, Мише это не показалось! Так вот прямо взял да и развернулся целый белый цветок, хоть кричи. Это же удивительно! Это же здорово!

Но Миша не закричал и даже не пошевелился. И правильно сделал. А вдруг это не цветок вовсе? Вдруг это и есть сказка, самая настоящая? Скрывалась всю ночь под водой, а когда пришло время, когда посветлело да потеплело, она и появилась и развернулась. Ух ты!

Потом из камышей выплыла утка. Нарядная, разноцветная и большая. Очень большая. И глаза у нее черные, блестящие, как пришитые круглые пуговки. Миша никогда не видал дикую утку так близко. Только вот в чем дело: если бы утка была далеко, то, конечно, это была бы утка, понятно. Дикие утки все боязливые, дикие. Но эта совсем рядышком, ну просто невозможно как близко. Разве могут настоящие утки подплывать к человеку так близко? Не могут — в этом все дело. Это же сказка! Видно, мама не обманывала его. Хитрая! Конечно же, это и есть сказка, да еще с серыми утятами,— вот они!

Утята, серые комочки, выкатились из камышового тростника, как из глухой таежной трущобы, и заскользили вокруг своей матери, брызгаясь и попискивая. Они были очень похожи на куриных цыплят, только сказочные и катышками катались не по земле, а по воде.

Теперь Миша уже во все мог поверить. Он сидел как завороженный, как зачарованный и ждал: что же будет дальше? А дальше было вот что: утка исчезла, утята исчезли, и на воде появилась змея. Это была третья сказка. Черный уж плыл по озеру, извиваясь, тела его не было видно, над водой торчала одна черная голова, но почему-то само собой разумелось, что и сам он весь черный. Черный змей плыл по воде, а след за собой оставлял красный, почти кровавый, и Мише стало страшно. Но когда он обернулся, словно хотел найти защиту, то увидел, что с другой стороны острова всходит красное солнце, и потому все вокруг становится розовым и красным. Зеленые листья на деревьях побагровели, будто осенью; травяной луг покрылся цветами, на оконных стеклах заиграли отсветы огня, словно в каждой избе затопилась печь. Лодка, стоявшая у мостков, с веслами, опущенными в воду, вдруг стала прозрачной, и вокруг нее заиграли солнечные зайчики. Порозовели даже камышинки на воде, и в этих густых розовых зарослях запела птичка. Вероятно, это была птичка, кто же еще?.. Но какая?.. А черный змей уже доплыл до берега и пропал. Все как в сказке.

Миша встал на ноги. Начинался день, и он хотел идти домой. Наверно, мама заждалась его, волнуется. Не может быть, чтобы она не заметила, когда он уходил из дому. Но в это время на озере кто-то громко чмокнул. Миша замер. Опять кто-то чмокнул — смачно, влажно. Целуются? Нет. Скорее кто-то чавкает. Все как в сказке. И поет, поет птичка в камышах.

Чавканье продолжалось. Миша стал догадываться, что под зелеными тарелочками лилий рыба ловит ртом воздух. А может быть, это не рыба? Как же не рыба, если ее даже видно? И зеленые тарелочки вздрагивают и покачиваются после каждого поцелуя.

А здорово было бы, думает Миша, если бы сейчас вдруг приплыла к нему щука и спросила: «Чего тебе надобно, Миша?» А он бы ей: «По щучьему веленью, по моему хотенью...» Вот бы все ребята удивились! И девочки тоже! И мама бы с ума сошла! И папа бы... И Сашка...

— По щучьему веленью, по моему хотенью,— шепчет Миша,— чего бы мне такого пожелать?

Огромная щука подплыла к самому берегу, и Миша ее увидел, но у нее была такая пасть, что ни с каким делом обращаться к ней он не захотел. Это была не та щука, это щука была из страшной сказки.

— Миша! Где ты? — звала его мать.— Не заснул ли где-нибудь?

Нет, Миша не заснул. Разве можно было бы столько всего увидеть и услышать, если бы он заснул?

— Иду, мама! — крикнул он, и сразу все сказки исчезли, и страшная щука уплыла от берега. Только невидимая птичка все пела и пела в камышах, хорошо пела. Она так и не показалась Мише. Наверно, это была самая интересная сказка.

СПАСИБО, ЧТО РАЗБУДИЛ МЕНЯ

— Прости, родная, что я разбудил тебя.

— А что случилось?

— Скорей оденься и выйдем на берег. Там удивительно хорошо!

— Ты знаешь, что я и вчера не спала?

— Знаю, прости, пожалуйста, одевайся скорей!

В окна проникал свет: то ли сияние неба, то ли сияние озера. По полу и по стенам двигались белые лунные полосы. Женщина тяжело поднялась с постели, набросила на плечи легкий ситцевый халатик, и он тоже засветился на ней.

— Пойдем скорей, в такую ночь нельзя сидеть в доме,— повторял мужчина.

— Я не сидела. Я только что заснула. Ты знаешь об этом?

— Да!

— Знаешь, что я очень трудно засыпаю?

— Да!

— Что я опять принимала снотворное?

— Да! Я все знаю. Пойдем скорей!

Когда они вышли на крыльцо, женщина ахнула и заторопилась на берег озера. На ходу она сдернула с плеч халатик и надела его как следует, в рукава. Мужчина теперь шел сзади, он даже отставал.

Озеро посверкивало и ликовало от берега до берега, все насквозь; и оттого, что оно было рядом, мир казался шире и глубже. Луна сияла одинаково кругло и в небе и в озере, только представлялось, будто в озере отражается ее обратная сторона.

К черным камышам на середине озера и дальше — к черному лесу на горизонте был перекинут лунный мостик из круглых березовых плашек. Мостик был наплав-

ной, и, если ступить на него, побежать по нему, он, конечно, закачается и начнет прогибаться.

Женщина остановилась у самого лунного мостика, на песчаной отмели, и обернулась к мужчине.

— А у твоих ног тоже лунный мостик! — сказала она, сказала так весело, что мужчина заулыбался.

В этот миг далеко за озером раздался крик птицы, будто потревоженный петух спросонок вскинул голову и спросил кого-то: все ли в порядке?

Крик повторился. Женщина замерла как зачарованная.

— Это петух?

— Нет. В той стороне только болота, жилья нет.

— Кто же это?

— Догадайся сама.

— Не могу.

— Это журавли кричат.

— Почему же они кричат?

— Не спится, наверно. Такая ночь...

— Понятно.

Журавли успокоились, и стало слышно, как над головой зашелестели листья, еле слышно зашелестели, а у самых ног, там, где песок и галька, вдруг легонько плеснула вода. Плеснула, откатилась и опять плеснула. Ночной плеск волны — как плеск времени. Боже мой, как все интересно!

— Спасибо тебе, родной мой! — сказала женщина.

— Прости, что я разбудил тебя.

— Спасибо, что разбудил. Иначе бы я ничего не знала об этих ночах, об этом нашем мире. Спасибо, что ты не даешь мне спать.

1960

ВМЕСТЕ С ПРИШВИНЫМ

ПОДАРКИ ПРИШВИНА

Дунинская дача — на крутом склоне горы, который, по всей видимости, был когда-то берегом реки. Спереди деревня, садики, заливные луга, открытые солнцу дали, а сзади, на высокой гриве, густой темный лес. Заливные солнечные луга и темный ельник — это как два мира, два континента. Ходим по сверкающему берегу реки — одни разговоры, ходим по лесу — и разговоры другие. Даже и погода в этих разных местах словно бы всегда разная. Может быть, это преувеличение, но сейчас мне кажется, что среди цветов и трав Михаил Михайлович ходил бодрее, больше улыбался и шутил чаще, во всем его облике и в его словах было больше света.

— Все, что нужно человеку, то и цветам нужно,— раздумчиво говорил Михаил Михайлович, когда мы ходили по лугам.— Особенно верно это применительно к цветам домашним, комнатным,— продолжал он свою мысль, когда мы возвращались на дачу.— Питание давайте им разное — полезен чай, сок лимона... Я даже водкой их пою... И во всем прочем то же. Если человек долго не умывается, он запаршивеет. Так и цветок. Без омовения он совсем зачахнуть может. Дождь не только поит, но и умывает. Цветы очень чистоплотны, очень!

На Михаиле Михайловиче просторный полотняный костюм. Почему-то хотелось думать, что полотно это из нашего вологодского льна и выткано на нашей Красавинской фабрике близ Великого Устюга. Злата Константиновна сейчас вспоминает, что, может, всего-то раза два-три видела Михаила Михайловича в этом полотняном костюме, но после, в чем бы он ни появлялся, ей все представлялось, что неизменно на нем широкий, подбитый ветерком светло-серый пиджак и такие же серые брюки. Да и поныне она ни в чем ином не может себе представить Михаила Михайловича. Пришвину полотняный костюм шел, как шла длинная вельветовая рубаха к облику Льва Толстого.

Палка у Михаила Михайловича — складной стульчик. Воткнет он палку в землю, ручка раскроется, и он сидит на этой ручке, как на стуле, отдыхает. Кажется, точно такая же палка была и у старого Льва Николаевича. И к тому же оба они были такие русские...

С годами палка не всегда выручала Пришвина. Он не мог ходить с нами за реку по узкому, шаткому мостику-лаве в дальние села, на заречные сенокосы. Но, возвращаясь, мы рассказывали ему о местах, где были, и оказывалось, что он все эти места знал, все помнил и понимал нас с полуслова. И получалось так, будто он был вместе с нами повсюду.

— Там обрыв крутой и две колодинки через ручеек, у одной сучок застарелый, смолевой, — подсказывал он и спрашивал: — Не сгнили колодинки?

Или еще:

— Крапива там справа. По-прежнему растет или нет? Вы не обожглись? — и смотрел на босые ноги Златы Константиновны.

По тому, какие цветы мы приносили с собой, Михаил Михайлович узнавал, где мы были.

— С того лужка никто без цветов не возвращается! — радовался он. — А если для цветов не время, несут сосновые ветки, либо дудки. Богатые места, веселые...

В хвойном лесу на высокой гриве Михаил Михайлович больше молчал. А может, это мне сейчас так кажется?

Лесом ходили мы чаще по дорогам, а не по тропинкам. По тропинке идти — надо в затылок друг другу и то и дело кланяться, пролезать под деревьями, отгибать тяжело опустившиеся ветви, и света не увидишь. А по дороге можно двигаться всем троим рядом.

Все-таки Михаил Михайлович в лесу был менее разговорчив, чем на реке, на открытых местах. Он внимательно провожал глазами каждую птицу, перелетавшую через дорогу, была ли то ворона, или сойка, или синичка. Казалось, он истосковался по ним.

Однажды Злата Константиновна подарила Михаилу Михайловичу двух птиц. Случилось это так. Впереди нас на деревьях уселись ворона и сорока. Сорока-непоседа перепрыгивала с ветки на ветку, а ворона как опустилась на сучок, так ни разу и не передвинулась на нем, только сучок от ее грузной посадки раскачался и ворона показывалась то в тени, то на солнце да изредка для равнове-

сия чуть взмахивала хвостом: вверх-вниз, вверх-вниз. Пока ворона раскачивалась на одном и том же суку — из света в тень, из света в тень,— сорока на своем дереве пять или шесть ветвей переменила.

Злата Константиновна пригляделась к ним и сказала:

Михаил Михайлович, примите от меня в подарок этих птиц. Они не простые.

Пришвин поддержал игру, принял подарок и начал внимательно осматриваться вокруг. Когда мы уже выходили из леса к полю и за бугорком дороги показалась крыша амбара с двумя скрещенными над коньком жердочками, как с усиками, он обрадовался:

— А я вам дарю вот этого жука! — и указал на выдвигавшуюся из-за холма крышу с усиками, в которой мы, приглядевшись, действительно признали сходство с каким-то большим сказочным жуком.

Неумеренно ликовала Злата Константиновна, и довольно улыбался в усы Михаил Михайлович. Той порой ворона и сорока снялись с деревьев и улетели, а жук стал амбаром. Но подарки уже были сделаны друг другу, поэзия посетила нас.

— А мне? — ревниво взмолился я.— Ну хоть что-нибудь, Михаил Михайлович!

Пришвин подошел к толстой березе с поперечными черточками на коре, словно строчками стихов, разбитыми лесенкой, осмотрел ствол с одной, с другой стороны и сказал:

— Тут записей разных немало. Поэзии на целую книжку может хватить. Сколько разберете — все ваше.

Потом выбрал на стволе место почище, огладил его ладошкой — на землю полетела белая шелуха — и добавил:

— Вот вам и обложка для книги стихов.

Я вынул перочинный нож:

— Маловато будет для книжки, но ладно, попробую.

— Уберите нож, — сказал Михаил Михайлович.— Сфотографируйте крупным планом и дайте художнику, все остальное сделает он.

Я понял, но возразил:

— Темно, ничего не выйдет.

— А вы утром приходите, солнце с дороги подсветит...

Стихов в такой обложке я не издал, но посмотрите на переплет книги, которую вы сейчас читаете, — это и есть подарок Пришвина.

1961—1963

ВИЛЫ

Кто собирал грибы, знает: стоит найти хоть один приличный гриб — и уже нет сил оторвать глаз от земли. Идешь по перелеску, по опушке, по лужайке и ничего не видишь, кроме мха, да кочек, да опавших листьев, ничего — дальше своего носа. Мало того, и листья-то частенько принимаешь за грибные шляпки. Азартные грибники так привыкают за лето ходить с опущенным взглядом, что и в зимнюю пору, оказавшись в лесу, уже не могут глаз поднять.

А я знаю еще таких, что как тронутые ходят по асфальтовым шоссе и все чего-то ищут, что-то подбирают. Чаще всего это автомобилисты-любители, собирающие на трактах всевозможные гайки, болтики, все нужное и ненужное: авось в хозяйстве пригодится.

Но есть люди, что смотрят в лесу не под ноги, а в небо.

Деревня не может обойтись без вил. Раньше они были нужны каждому хозяину — на сенокосах, на гумне, па скотном дворе. Нужны не меньше и теперь. Какие бы хитроумные стогометатели мы ни изобрели, и даже если они будут работать безотказно, вилы все равно необходимы и в колхозах. А вилы эти березовые, металлическими их не заменишь, и растут они в березовых рощах. И надо оглядеть сотни, тысячи березовых вершинок в небе, чтобы обнаружить одну трехрогую, а то и четырехрогую, из которой могут получиться настоящие добротные сенные вилы. И чтобы рога эти были не сучьями, а рогами, расходящимися в стороны на одной высоте, из одного основания, и чтобы они были приемлемой толщины, и чтобы черенок тоже был не слишком толст и достаточно длинен.

И вот куда бы мужики ни шли, ни ехали, чем бы ни занимались, а в березовых лесах они задирали к небу головы, вытягивали шеи, прикрывали ладошкой глаза от

света, и выпяченные острые мужицкие кадыки торчали, как твердые грибные наросты на березовых стволах.

Не любил крестьянин покупать то, что сам в своем лесу добыть мог. Каждый старался сделать для себя и сани, и дугу, и оглобли для телеги, и вилы. Но не все были удачливы.

Помню я одного мужика — Степу Оганёнка. Был он беден, многодетен, гнедка имел старого, слабого, обладавшего разве что четвертью лошадиной силы, и коровенку одну, а вилами мог обеспечить несколько деревень. Степины вилы славились легкостью, прочностью, красотой. Имея всегда большой запас, он отдавал свои вилы по дешевке, поэтому многие предпочитали покупать их у Степы, а не искать в лесу. А Степа по привычке всю жизнь ходил с высоко поднятой головой и даже в деревне часто спотыкался о камни, об изгороди, наступал посреди улицы па поросят и коз. Над ним смеялись, но беззлобно, говорили, что он не от мира сего, рассказывали про него всякие побаски и небывальщины. Однажды он будто бы упал в колодец, и, когда его вытаскивали, он, сидя на бадье, разглядел в небе, почти под облаками, вершину березы с отличными четырехрогими вилами, которые можно было обнаружить только из глубокой колодезной трубы. Несмотря на то, что береза росла у соседа под окном, ничто уже не смогло ее спасти от топора Степы Оганёнка.

Рассказывали еще, что Степа все же уставился как-то и в землю. Было это на росстанях, на развилке трех проселочных дорог. Увидел он развилку, и замер, и долго стоял пораженный, сосредоточенный на чем-то своем. А когда глубинная работа мысли закончилась, он произнес:

— Дык это ж вилы! Надо же!..

И двинулся дальше, опять вскинув голову к небу.

— Запнешься, Степа! — кричали вдогонку взрослые и ребятишки, когда он шел по деревне, уставясь на облака, и открытый кадык его, казалось, готов был выскочить из дряблой загорелой кожи.

— Что там, Степа? Как там в раю живут? — спрашивали его.

— Ты землю-то хоть видал ли, Степа, какая она?

Об этом мужике я не раз вспоминал, когда думал о Пришвине. Пристальность, с какой вглядывался он в окружающий нас мир, в даль полей и лугов и в лесное многоэтажье, поражала меня.

Земляк мой Степа вряд ли видел в вершинах деревьев что-либо, кроме своих вил. При этом он топтал цветы. А Пришвин видел и небо, и землю, всю глубину леса с его многонаселенностью, и все луговое многотравье, каждое зернышко в колоске и каждую тычинку в соцветии и никогда ни к чему живому не был равнодушен. Многие десятилетия он как одержимый бродил по земле-матушке от зари до зари то с ружьем, то с записной книжкой — то вскинув голову к небу, то не отрывая глаз от земли. Он дружил с природой, не заискивая, без низкопоклонства, дружил на равных началах, и природа ничего от него не прятала.

Рассказал я Пришвину на прогулке о своем Степе, о том, как он всю свою жизнь в небо смотрел. Михаил Михайлович остановился, вгляделся в меня, задумался, при этом губы его в глубине усов и бороды сделали какое-то чмокающее движение, и заметил:

— Ни земли, ни неба не видел ваш Степа Оганёнок. Жалко мне его.

1961

ПРИШВИНСКИЙ МОСТИК

На крышу дома отдыха нередко садилась ворона. Конечно, ворону от вороны отличить трудно, но когда я понаблюдал, то определил, что летает все одна и та же птица. Потом я обнаружил, что она лазит в кирпичную трубу. По-видимому, труба была вытяжная, вентиляционная, а если и печная, так летом все равно печи не топят.

Утром мы с Михаилом Михайловичем сидели на садовой скамейке, я ждал, когда прилетит ворона, чтобы показать ему, какие чудеса творятся на нашей крыше. Ворона прилетела и, оглядываясь и неторопливо переступая с места на место, осторожно приблизилась к трубе, затем сразу взлетела на нее и резко юркнула вниз.

— Видали? — торжествуя спросил я, словно все это было делом моих рук.

Пришвин не удивился,— как сидел, чуть согнувшись и опираясь обеими руками на самодельную палку, так и остался сидеть, только заметил как бы между прочим:

— У нее там гнездо и три свежих яйца.

— И вы не ошибаетесь?

— *Я предполагаю. Время!*

— А что, если мне слазить, заглянуть?

— Загляните, если вас это интересует.

Когда я забрался на крышу, Пришвина на скамейке уже не было. В трубе оказалось воронье гнездо и в нем три яйца. Одно я взял сыну для коллекции. Мне казалось, что Михаил Михайлович осудит меня за этот разбой, но он равнодушно сказал:

— Ничего. Ворона добавит.

Утром мы с женой принесли из лесу в носовом платке несколько ранних грибов (сморчки — фигурные шоколадки). Зашли в комнату Михаила Михайловича, разложили их перед ним на рабочем столе: смотрите! Он надел очки, взял один гриб, повертел его, понюхал, взял другой, понюхал и сказал:

— Да, снежком пахнут! В следующий раз загляните вон туда, за речку, там на склоне получше наберете,— и показал рукой за окно, куда надо идти следующий раз. Показал и отвернулся от грибов,— казалось, больше они его не интересовали.

Но это нам так казалось, что не интересовали.

Потом Пришвин почмокал губами и встал из-за стола:

— Пойдемте завтракать!

— А что с грибами будем делать? — спросила Злата.

Михаил Михайлович опять неторопливо почмокал губами, словно хотел что-то сказать, но слов подходящих еще не находилось, и потому только равнодушно повторил:

— Пойдемте завтракать!

«Откуда у него это равнодушие? — думал я.— От усталости или оттого, что любопытство, с которым я отношусь ко всему живому в окрестностях дома отдыха,— для него лишь детские забавы? От этих мелочей он давно уже ушел — так, что ли? И я в его глазах только начинающий натуралист, школьник, впервые заглядывающий в птичьи гнезда, а он как бы доктор естествознания? Я юнга, а он маршал? Так, что ли?..»

Свежие грибы на кухне поджарили к обеду, и мы поделились закуской с Пришвиным. Михаил Михайлович был доволен несказанно, обстоятельно и подолгу разглядывал каждый кусочек, поддетый на вилку, вдыхал его аромат.

— Да! — говорил он.— Да-а!..

«А, проняло! — думал я. — Проняло! Но когда же он пойдет с нами вместе, как бывало раньше: за речку, в лес, в поля? Когда же хоть заговорит об этом?»

Мы снова и снова бегали за Вертушинку по мягкой пахоте, по свежей зелени, по молодому брусничнику, в район пионерских лагерей, к Москве-реке, к Рузе-реке. А возвратившись, рассказывали, что где нашли, что видели, что слышали. И каждый раз несли что-нибудь из лесу. Нельзя же побывать в лесу и ничего не принести с собой. Кто-то несет из лесу вязанку дров, кто-то веники березовые, кто грибы, кто ягоды. Мы приносили либо веточку сосновую, либо горсть цветов, либо прутики черничника или вереска. Хорошо также взять прямо с землей кукушкин лен и пересадить его к себе под окно. Просто шишек разных набрать и то уже интересно.

А если совсем ничего не найдешь и вернешься с пустыми руками, то хорошее настроение обязательно принесешь с собой. Мы возвращались из лесу всегда с хорошим настроением.

Почему же Пришвин так безучастно относится к нашим походам? Уж не завидует ли он?

А Михаил Михайлович тоже уходил куда-то почти ежедневно. Но куда и далеко ли?

Нашли мы как-то в поле, на пустыре, под можжевельником маленькое теплое гнездышко с четырьмя пестрыми яичками. И птичку видели, и голос ее слышали, а что это за птичка, определить не смогли. Торопимся к Пришвину, несем ему пару яичек. Уж он-то скажет сразу, чье гнездо мы нашли.

Пришвина ни в доме, ни поблизости от него не оказалось. Спрашиваем всех знакомых:

— Не знаете ли, где Михаил Михайлович?

— В лес ушел.

— Как в лес, куда?

— Вот туда, за речку Родинку.

Спешим к речке — а это совсем рядышком — и видим: на берегу бушующей весенним половодьем Родинки стоит Пришвин с палкой в руке, стоит, голову опустил, не шевелится. Спуск к речке крутой, скользкий, переход через нее есть, да ненадежный — мостик не мостик, два-три горбыля с поручнем, не каждый решится перебираться на другой берег через глубокий овраг. Должно быть, и Пришвин не решился.

Подбегая сзади по узенькой тропиночке, я кричу первые попавшиеся слова:

— Михайло Михайлович! Вот вы где, оказывается!

Обернулся Пришвин на голос, и мы увидели в его глазах тоску, самую настоящую тоску, не пришвинскую.

Это были глаза прикованного Прометея. Лес рядом, а не войдешь в него. Рядом — а не переберешься. Лазать по колодинкам да по жердочкам возраст не позволяет, силы не те. И — тоска в глазах.

— Да, да...— заговорил Михаил Михайлович тихо и не сразу, будто возвращаясь мыслями откуда-то из далека-далёка.— Я сюда часто хожу. Вот стою, слушаю. Велика ли речушка, а тоже рекой хочет стать. Переход неверный. Мостик был старый, должно быть, подмыло его, снесло.

— Пробовали перейти?

— Пробовал? Да, конечно, пробовал...

И он опять тоскливо посмотрел на противоположный берег, откуда начинался густой хвойный лес, а в лесу таились всякие чудеса, конечно же неизведанные, потому что каждая новая весна для человека — это новое чудо. Весной любого из нас тянет вдаль, а о Пришвине и говорить нечего. Когда-то Михаил Михайлович в это время обитал уже в своем домике на колесах. И вдруг мутная речушка сносит старый подгнивший мостик и преграждает ему путь к чудесам.

Пришвин! А через речку перейти не может. Какое уж тут равнодушие...

Конечно же, в глазах его мы увидели тогда тоску смертную. Неужели мы могли ошибиться?

Мостик через Родинку построили новый, высокий, с прочными перилами, со ступенчатым спуском к нему с обеих сторон. Теперь через овраг нетрудно было переходить.

И стал этот мостик привычным местом прогулок для Пришвина. Он приезжал в дом отдыха в разное время года, чуть ли не ежегодно, и любил подолгу стоять на берегах Родинки. Спустится, бывало, на мостик, перегнется через перила, смотрит в глубину рва, прислушивается к журчанию воды, к пению птиц, иногда что-то записывает в блокнотик. Издали можно было принять его за одержимого рыбака, который следит с мостика за неподвижным поплавком. А это Пришвин!

И стали мы этот мостик называть Пришвинским. Сначала только мы с женой, потом и другие — разные наши знакомые и товарищи, из тех, что бывали здесь вместе с Пришвиным и тоже не раз видали Михаила Михайловича перекинувшимся через деревянные перила, тихого и сосредоточенного. Дали мы его имя мостику, не сговариваясь друг с другом, а потом сговорились вкоренять па-

звание это в обиход, объяснять всем людям, почему мостик через речку Родинку должен называться Пришвинским. Больше того, мы захотели, чтобы на мостике, на одном из столбиков его, справа или слева, была приколочена дощечка с надписью «Пришвинский мостик».

Вот тогда-то вопрос о названии и пошел по инстанциям, сначала снизу вверх, и стали его согласовывать да увязывать, рассматривать да обмозговывать как великую государственную проблему. Это согласование да увязывание не завершилось и доныне, а когда оно будет завершено, то вопрос должен пойти уже сверху вниз и дойти наконец до кабинета директора дома отдыха. Когда дойдет — никому неизвестно. Может, и не дойдет. Сохранится ли до того времени мостик — тоже неизвестно: все-таки он деревянный, а не каменный и не железобетонный какой-нибудь. Пришвина уже давно нет в живых, а вопрос о мостике все еще ходит где-то по инстанциям.

Ну и пусть ходит, сколько ему положено и где положено по закону. Закон есть закон!

А все читающие Пришвина, все любящие его животворные книги и благодарные ему, ничего не согласовывая и не увязывая между собой, а просто повинуясь велениям своих сердец, давно уже зовут деревянный мостик над речкой Родинкой Пришвинским мостиком.

Пусть так оно и будет навеки.

1961

ЖИТЕЙСКИЕ БУРИ

Был я близок с одним очень видным, ныне уже покойным писателем. Старик стоял вроде бы в стороне от «житейских бурь» и мелкой борьбы писательских самолюбий, ему принадлежало будущее — он это знал, и все-таки много лет мечтал, как прочие смертные, о государственной премии. Втихую мечтал.

Поначалу это казалось странным. Но если задуматься, подойти ко всему по-человечески — ничего в этом странного не было. Старик жил не в безвоздушном пространстве, он любил свою страну, почему же было не мечтать и ему о тех знаках внимания, которые оказывались другим от имени народа. Несправедливость в распределении поощрений не может не наносить морального ущерба людям. Почему одни получают высокие юбилей-

ные награды, другие, не менее достойные, не получают ничего, либо получают не то, чего они заслуживают в ряду других?

Я решил «хлопотать» за старого писателя перед Фадеевым. Возможно, это выглядело наивным.

Александр Александрович тоже удивился поначалу:

— Неужели он этого хочет? — засмеялся он.

— Читатели этого хотят. Вы должны этого хотеть. Я этого хочу.

— Вы разбираетесь хоть немного в литературной политике?

— А вы читали его последнюю повесть?

— Читал.

Фадеев читал бесконечно много. О каком бы новом произведении с ним ни заговорили, оказывалось, что он его уже читал, чаще всего — в рукописи.

— Это же очень светлое, солнечное произведение!

— Согласен.

— И — там люди, большая любовь к людям.

— Согласен.

— Так в чем же дело? От этого будет только выигрыш.

Фадеев опять засмеялся. На этот раз, кажется, уже надо мной.

— Вот будет президиум — выступите. А я не всемогущий.

Я выступал на президиуме. Ничего из этого не получилось. Почему не получилось — до сих пор не могу понять.

И до сих пор считаю ошибкой, что не осуществилась маленькая затаенная мечта большого русского художника.

Должно быть, я действительно уже и тогда ничего не понимал в литературной политике.

А порой мне кажется, что сам Фадеев теперь отнесся бы ко всему совершенно по-иному.

[*1961*]

КИСЕЙНАЯ ЗАНАВЕСКА

Что поделаешь, я не знал Пришвина молодым. Ни разу не ездили мы с ним на охоту, не коротали ночи у костра, не путешествовали вместе по белозерским лесам. Обо всем этом мы могли только разговаривать. А я все мечтал, что это еще будет, что все еще впереди. Однажды

Михаил Михайлович показал мне свое трехствольное ружье — «бокфлинт»: два ствола дробовых двадцатого калибра, один нарезной для пули. Показывал и хвалился его удивительной легкостью.

— Для меня,— говорил он,— охота давно уже приобрела чисто спортивный интерес. Я не промысловик, не добытчик, поэтому не люблю, да, пожалуй, и не любил никогда стрелять из двенадцатикалиберной пушки, когда дичь осыпаешь сразу целой пригоршней дроби. То ли дело ударить влёт из двадцатого калибра и свалить летящую птицу прямо к ногам. Прицел в этом случае должен быть точным, верным, а это высокое искусство. Да и тяжело уже таскать большое ружье.

Слушал я его рассказы, смотрел на «бокфлинт» и верил, убежден был, что мы обязательно побродим еще с ним по полям-лесам, что не поздно еще...

Но верил ли в это Михаил Михайлович — не знаю. Человеку не всегда удается заставить поверить другого в то, во что он верит сам.

В июле месяце 1952 года я вернулся в Дунино со строительства Волго-Донского канала. Пришвин пригласил нас к себе на дачу. Обстановка на даче Пришвиных была в то время скромная, слишком скромная, комнаты производили впечатление почти нежилых; грешный человек — я иногда подумывал: не от скупости ли это?

Сидим в столовой. Кажется, пообедали. Кажется, был пущен в ход графинчик-уточка из-под ликера. И опять то же: нальют тебе рюмочку с наперсток, меньше глотка, выпей и жди — предложат еще или нет? Да не хватает у них, что ли, на водку?

И вдруг овладело мною страстное желание уговорить во что бы то ни стало Михаила Михайловича поехать, и по возможности немедленно, вместе со мной в Сталинград, в волго-донские степи, к людям, сооружающим канал и Цимлянское море, к шагающим экскаваторам, к великанам бульдозерам и скреперам, к мощным земснарядам. Желание до того сильное и таким мне все представилось простым, осуществимым, реальным, что я, наверно, был даже красноречив. Я гарантировал все удобства: немедленно мягкий вагон, в Сталинграде, в Калаче и по всему каналу легковые автомашины, где нужно — катера, номера в гостиницах, необходимое питание — всё, всё. Я предлагал себя целиком в распоряжение Михаила Михайловича. И руководила мною не только любовь к

писателю-кудеснику, мне представилось, что, вытащив его на «великую стройку коммунизма», я сделаю большое дело для советской литературы — а ради этого можно ли перед чем-либо останавливаться? Я говорил, что для Пришвина это будет прямой литературный путь из «Края непуганых птиц» и с Беломорско-Балтийского канала на Волго-Дон и дальше, до Черного моря, путь из первой пятилетки в четвертую, в пятую и без пересадки в коммунизм. Я все учел и все принял во внимание, кроме разницы в возрасте между нами.

Порой мне казалось, что я уже добился своего, что Пришвин уже загорелся, уже согласился, Валерия Дмитриевна уже собирает необходимые вещи в дорогу...

А Михаил Михайлович вдруг сказал, что он смотрит на меня так, как если бы я был в освещенной комнате, а он на улице, и между нами легкая тюлевая занавеска: мне его не видно, а ему меня видно всего; легкий прозрачный тюль — это время, это его, пришвинский, возраст и жизненный опыт.

Однажды мы ехали на машине из Дунина к Москве: я, Михаил Михайлович и Злата Константиновна.

В последние годы Пришвин имел «Москвича», предпочитая его всем прочим маркам, и водил его сам. Только я не могу представить, чтобы он всегда, всю жизнь водил автомобиль так, как этого последнего «Москвича», а у него бывали в руках разные машины. Что-то такое произошло, из-за чего водитель потерял контакт со своей машиной, не доверял ей, не чувствовал ее. Дело доходило порой до курьезных вещей. Перед каждым подъемом и спуском Михаил Михайлович терялся и спрашивал:

— Переключать скорость?

Или:

— На какую скорость ставить?

Кончилась эта растерянность тем, что Пришвин вообще перестал переключать скорости и ездил только на первой, в крайнем случае на второй, никогда на третьей. А от Дунина до Москвы — около пятидесяти километров. Пришвинский «Москвич» был в совершенно запущенном состоянии, хотя хозяин любил его и никому не доверял, доверил один раз только Злате Константиновне.

При езде по улицам Москвы Михаил Михайлович, должно быть, частенько ошибался и нарушал правила движения. Когда его задерживал милиционер, он предъявлял удостоверение, затем хитро обращал внимание на свой год рождения и говорил миролюбиво:

— Сынок, как же мне не нарушать? Доживете до моих лет, и вы нарушать будете.

На московских регулировщиков, как рассказывал сам Михаил Михайлович, это действовало безотказно. С ними у него был полный контакт, не то что с машиной.

Итак, мы ехали из Дунина к Москве, на этот раз на моем «Москвиче». Сразу за дунинским полем, в лесу, где часто приходилось пробираться в объезд грязи почти без дороги, по корням и кочкам, мой «Москвич» сел дифером на пень. Ну, конечно, не сам он сел, я его посадил. Вышли мы из машины, осмотрелись. Ноги погружаются в мягкий мох, кругом и сверху еловая хвоя, неба не видно. Помощи ждать неоткуда. А мы куда-то спешили. Михаил Михайлович, опустившись на колени, сам заглянул под задний мост, и, видимо, прикинув свои силы, поднялся и попробовал один сдвинуть «Москвич» с места. Конечно, ничего из этого не вышло. Злата Константиновна перепугалась за него и потребовала, чтобы Михаил Михайлович к машине даже не приближался.

Если бы не это, он, вероятно, и сам бы не пытался больше поднимать машину, но волнение жены моей его раззадорило. Он снова почувствовал себя чуть ли не богатырем. Он поверил в свои силы, поверил, что для него все доступно. И оттащить его от «Москвича» теперь было уже невозможно.

Прибегать к помощи домкрата мне не хотелось, это отняло бы слишком много времени, да не помню уже — был ли домкрат-то с собой. Только я сделал все, чтобы «Москвич» слез с пенька сам. Сел я за руль. «Отойдите!» — говорю, дал газ, и машина рванулась вперед. Но Пришвин все-таки успел подбежать к ней сзади и, по-видимому, изо всех сил рванул буфер кверху. Получилось впечатление, что он-таки поднял «Москвич». Мы не стали разуверять его. Мы поверили, что Михаил Михайлович один поднял машину и стащил ее с пенька. Поверил и он сам. И до чего же ему было хорошо оттого, что он поверил в это. Такая вера делает человека неодолимым, удлиняет его жизнь. Верить в свои силы стоит!

А все-таки мы с ним и на охоту не сходили, и на Волго-Донской канал не съездили.

1961

ЯБЛОЧНАЯ ДИЕТА

Яблоки я увидел и отведал впервые в жизни, когда мне было уже лет шестнадцать — семнадцать. До той поры перепадали, и то не ежегодно, как и всем моим сверстникам-односельчанам, лишь дикие, кислые и мелкие, как грецкие орехи, плоды с единственной яблони, раскинувшейся на нашей деревенской улице, в палисаднике Сеньки Карёнка. Дерево это было широченное и высоченное и действительно больше походило на дерево грецкого ореха, чем на яблоню. Мощной кроной своей оно закрывало весь фасад старинного пятистенка с резным коньком на крыше, а куполообразной вершиной, казалось, достигало облаков. Мы нарочно проезжали под ним верхом на лошади либо сидя на возу сена или соломы, чтобы успеть на ходу сорвать несколько веточек с плодами. На огромном дереве этом яблоки вырастали не крупнее грецкого ореха, даже мельче, и висели они не по одному, а по два, по три и даже по четыре вместе. А вкус их был таков, что меня до сих пор передергивает всего от затылка до пят, стоит лишь вспомнить и представить себе, как я раскусывал и разжевывал эту деревянистую кислятину. Кажется, даже черви не трогали этих даров северного лета.

Тем больше мечтал я о яблоках настоящих, культурных, южных. И когда впервые испробовал их, тем вкуснее, тем сказочнее показались они мне.

Редким, божественным, царским лакомством остаются они в моих глазах и по настоящее время.

И вдруг Михаил Михайлович Пришвин, царь зверей и птиц, бог русских лесов, заявляет, что ненавидит — ненавидит! — яблоки.

Мы пришли к Пришвиным на квартиру в зимний день. Уже в коридоре обдало нас, как теплом, запахом яблок. В столовой нас стали угощать яблоками. На столе стояла широкая тарелка яблок — свежих, сочных, каждое величиной с хороший кулак, кажется, они только что были принесены из сада, у многих еще не отвалились черенки с листиками, капельки воды на кожуре блестели, как утренняя роса.

А какого же были они цвета, эти яблоки? Нет, только не кисло-зеленого.

Была в них янтарная желтизна осени, была розоватость и краснота, глубина и прозрачность.

Любое из этих яблок могло бы сойти за то самое, на-

ливное, из старых сказок, которое подавалось только на серебряном блюдечке.

Из-за любого могла бы впасть в долгий волшебный сон царевна-красавица со всем своим многонаселенным царством.

Любое может ввести в грех или стать причиной раздора.

А он их ненавидит.

Как можно ненавидеть такие яблоки?..

Оказывается, можно.

У Михаила Михайловича раз или даже два раза в неделю по строжайшему предписанию врачей были дни, когда он имел право есть только яблоки, и ничего больше. А он — русский человек, и покушать любил плотно, основательно. Что для него это яблочное меню? Как для журавля каша, размазанная лисой на плоской тарелке.

И вот ради Михаила Михайловича в эти разгрузочные дни все в доме ели только яблоки. Случайных гостей и знакомых, забредших на огонек, угощали тоже яблоками, только яблоками.

Яблочный запах стоит даже в кабинете Пришвина.

На щеках Михаила Михайловича яркий стариковский румянец с красными прожилками тоже заставляет думать о яблоках, об их окраске.

Михаил Михайлович предлагает гостям отведать яблок и сам смущенно чмокает губами — ему неудобно, он извиняется, но что же делать, приходится мириться с медициной и с обстоятельствами.

— Конечно, Валерия Дмитриевна на кухне перехватила чего-нибудь,— сообщает он с проницательностью заговорщика,— но то, что женщинам позволительно, для нас с вами не положено.

— А я люблю яблоки! — говорю я.— Очень люблю.

Михайло Михайлович взглянул на меня сначала сбоку, потом еще более внимательно поверх очков, ну, думаю, сейчас что-то скажет особенное,— и сказал очень простое:

— Я тоже любил, пока они не стали для меня обязательными.

В ту пору я любил спорить, праведность моя не давала мне покоя:

— А положение об осознанной необходимости? — сказал я.— Все обязательное перестает быть тягостным, если воспринимается как осознанная необходимость.

Пришвин спорить уже не любил. Особенно с безусыми праведниками. Он просто смотрел из-под очков и, видимо, обдумывал своего собеседника. Но на этот раз он ответил мне:

— Есть люди, любящие природу, перелески, луга, любящие жить в лесу. Но если такому человеку сказать, что он должен жить в лесу, он сочтет это за высылку, и приятная жизнь в лесу станет для него наказанием.

— Да, но...

— Кушайте яблоки. Старость ведь тоже осознанная необходимость. Но когда вы состаритесь, вы поймете, что не со всякой необходимостью человек мирится охотно и легко. Кушайте яблоки, пожалуйста!

1961

«СОЛНЕЧНАЯ КЛАДОВАЯ»

Приходилось ли вам навещать винные подвалы — эти пещерные галереи бесконечной длины с причудливыми разветвлениями в глубине скал? Мастер-винодел водит вас по сказочным лабиринтам, и открывается глазам чудо за чудом. Так художник в своей мастерской открывает полотно за полотном, раму за рамой.

В винных подвалах вдоль влажных каменных стен, по обе стороны от прохода, ровными рядами лежат поленницы бутылок. В них бродит сгущенная солнечная энергия.

Еще внушительней выглядят сотни и сотни бочек, расположенных в строгом порядке. В одном туннеле емкости по пять сотен литров, в другом — по тысяче литров, в третьем — бочки-великаны таких размеров, что их даже бочками называть неудобно, это скорее дубовые цистерны, резервуары на четыре с половиной тысячи литров каждый. В одних виноградный урожай одного года, в других — другого.

Один купаж.

Другой купаж...

Вина сортируются не только по сортам, но и по возрасту, и главным образом по возрасту. Есть драгоценные многолетние вина, бутылки столетнего возраста, а есть многовековые...

Винные поленницы называются коллекциями, библиотеками. Библиотеками!.. Хранятся они, как древнейшие

пергаментные рукописи в Ереванском Матенадаране, с соблюдением строжайшего постоянства влажности и температуры.

Я бывал в массандровских подвалах завода шампанских вин «Новый Свет» на Южном берегу Крыма и в Криковских, близ Кишинева. Нескончаемые ряды бочек разных размеров. Государственые винные библиотеки!..

Мне вспоминаются эти винные подвалы, и все, какие я только видел на своем веку, в квартире Михаила Михайловича Пришвина на шестом этаже дома в Лаврушинском переулке. В коридоре, в комнатах стоят шкафы, просторные, как погреба, и в каждом шкафу рукописи — ряды папок тонких и толстых. А есть и несгораемые сейфы. Что вмещают они в себе? Какая сила, какая энергия заключена в этой солнечной библиотеке?

Папки расположены по годам, по десятилетиям. В них целая жизнь, и не одного Михаила Пришвина, а нескольких поколений людей, жизнь лесов и полей, зверей и птиц, вечная смена времен года — весна света, весна воды, весна тепла...

На мелких разрозненных листочках из карманных блокнотов бисерным почерком, то карандашом, то самопиской занесены мысли, наблюдения, сюжеты, образы. Делалось это в далеких путешествиях, на охоте, на рыбалке, часто на ходу, а то сидя на какой-нибудь колодинке, на пеньке. Бисером — слово к слову, росинка к росинке, птица к птице, травинка к травинке...

Листочки из блокнотов собраны в пачки, пронумерованы и связаны бечевкой либо скреплены резинками. Многое уже прочитано, перепечатано, подшито...

Вот она где, пришвинская солнечная кладовая!

Вот где хранятся его неисчерпаемые дневниковые богатства на каждый день за много десятков лет:

Купаж 1930 года...

Купаж 1940 года...

Купаж 1950 года...

Сгущенная энергия добра и красоты. Пришвинская государственная библиотека! Пришвинская кладовая солнца!

Главный хранитель пришвинских подвалов Валерия Дмитриевна неторопливо раскрывает шкаф за шкафом, словно ведет вас по широкой галерее, и папки на полках, будто бочки на подставках,— одна к одной, десяток к десятку.

Много лет нужно, чтобы разлить все это вино по бутылкам и доставить его людям. Не одно человеческое поколение еще будет благодарно припадать к этой драгоценной живой воде, утолять ею свою духовную жажду, вспоминая добром великого жизнелюбца.

...Не так давно в Вологде вышла новая книжка Пришвина «Незабудки», составленная из его дневниковых записей. Я знаю, из каких подвалов она взята.

1961—1963

ОН ДАЛ ИМЯ ЧЕЛОВЕКУ

1 марта 1951 года Михаил Михайлович Пришвин подарил нам книгу «Моя страна» с надписью: «Злате Константиновне и Александру Яшиным от счастливого обладателя пика (на Кавказе), озера и мыса на Курильских островах».

В 1950 году Географиздат выпустил четыре повести М. М. Пришвина под названием «Моя страна». В предисловии этой книги сообщалось, что Географическое общество присудило ему медаль и что он является старейшим действительным членом Географического общества. А в 1951 году Географическое общество назвало его именем пик на Кавказе, озеро и мыс на Курильских островах.

Каждая книга Пришвина была не меньшим пиком, чем тот, который ему подарили, но, кажется, ничем больше не гордился он в эти дни так, как гордился, что его имя носят гора, мыс и озеро.

Я расскажу, как он дал имя человеку.

В 1953 году у меня родился сын, и мы долго не могли подобрать для него подходящего имени. Он был седьмым, и казалось, что все возможные и приемлемые имена уже использованы. Прошел месяц, пошел второй, а наш сын все еще был «не окрещен». Из загса прислали предупреждение, что за промедление регистрации новорожденного человека мы будем подвергнуты строгому административному воздействию — штрафу.

В который раз мы прибегали к всевозможным уловкам. Тянули жребий: писали на бумажках до десятка приличных имен, добавляли к ним одну пустую, и дочка Наталья вытягивала из шапки почему-то обязательно бумажку без имени; загадывали: кто первый утром придет,

именем того и пазовем своего сына,— приходила обязательно женщина; обращались даже к святцам — не помогло.

Нелегкое это дело дать имя человеку! Ведь на всю жизнь. А вдруг оно к нему «не пристанет» или, как говорится, будет «не к лицу». Неподготовленность наша объяснялась еще тем, что до последней минуты мы ждали дочь — так все врачи предсказывали, и имя было приготовлено для дочери.

С таким же трудом подбирается иногда название для готовой книги или даже для небольшого стихотворения. Все есть — нет только названия. Правда со стихами проще: можно поставить три звездочки — и все тут, и сдавай в печать. Но в загс с тремя звездочками не придешь.

Я решил позвонить Пришвину.

— Михаил Михайлович, сын родился.

— Знаю, мы уже поздравляли вас.

— Имени подобрать не можем.

— Да? Подумать надо.

— Нам уже штрафом грозят,— думали, да в сроки не уложились.

— Подумать надо!..— Михаил Михайлович явно тянул, думал.— Есть два хороших имени,— наконец сказал он.

— Говорите!

— Первое — Дмитрий.

— Так! А второе?

— Второе... А может быть, лучше не сразу?

— Почему не сразу?

— Может быть, вы еще сами подумаете?

— Не понимаю вас.

— Тогда вот второе — Михаил.

— Спасибо, Михаил Михайлович,— говорю я.— Мы подумаем.— И вешаю трубку.

Мне становится понятным, почему он так медлил назвать второе имя.

После этого разговора мы подходим к новорожденному.

Надо сказать, что дед мой тоже был Михайло Михайлович. В деревне он всю жизнь, от рождения до смерти, назывался Мишей Малым; соответственно Михайловичем был мой отец. Мишей был мой брат, военный моряк, погибший при отражении первого натиска немцев на Сталинград,— значит, с именем этим мы уже давно не то что свыклись — сроднились.

Вглядываемся в новорожденного и видим, что он абсолютно, ну совершеннейший Михаил, иного имени у него и быть не может, да, собственно, он и родился с этим, уже готовым именем. Как же мы этого раньше не замечали?

— Ах ты мой Михайло Михайлович! — говорит довольная и счастливая мать, радуясь тому, что наконец-то загадка разрешилась. — Прямо-таки гора с плеч!

— Ах ты, мой Миша Малой! — говорю я, находя в сыне черты Михайлы Михайловича, своего деда, и Михайла Михайловича Пришвина одновременно.

Так стал Пришвин крестным отцом нашего Михаила и дедом его. Ни одного своего родного деда увидеть ему не удалось.

Долго мы звали, да и сейчас еще зовем иногда Мишку Михайлом Михайловичем или Мишей Малым. Потом начали сокращать и варьировать это имя: Мих-Мих, Михай, Топтыгин и тому подобное. А затем, когда сын подрос, пришлось все чаще называть его разбойником, по сходству. Но первое имя — Михайло Михайлович — не забывается и поныне.

Знакомые иногда удивляются:

— Почему вы называете Мишу Михайловичем?

Мих-Мих теперь отвечает сам:

— Я в честь Пришвина.

1961

ПОСЛЕДНЯЯ ТРОПИНКА

Квадратный двор многоэтажного дома по Лаврушинскому переулку, в котором мы живем, неширок, но глубок. Такие дворы обычно называют колодцами. На уровне верхних этажей летают голуби. На крышах — телевизионные антенны и круглая бетонная водонапорная башня.

Под окнами почти всех квартир, внутри двора, балконы — простые, грубые, узкие, но достаточно длинные — по ним можно прогуливаться. Зимой балконы заставлены разными ненужными вещами, цветочными ящиками, старой мебелью, и редко кто выходит на них ради прогулки, разве что на мгновение откроют дверь да высыплют кулек корма для голубей.

Балкон Пришвиных также был всегда загроможден. Но в эту зиму его очистили. В любую погоду в середине

дня Михаил Михайлович, одетый в шубу и валенки, закутанный в шерстяной платок, выбирался на балкон и ходил по нему из конца в конец, изредка останавливаясь, отдыхая. Красивая борода, усы и пышные стариковские брови от мороза индевели, курчавились и были не просто седыми, а белыми. Когда сыпал снежок, Михаил Михайлович походил на деда-мороза.

Пришвин заболел и никуда не выходил из дому, кроме как на балкон. Да и балкон-то был в его распоряжении не весь — часть его, отделенная барьерчиком, принадлежала соседям.

До чего же укоротились пришвинские тропинки!

С балкона открывается только небольшой кусочек Москвы — несколько железных крыш в просвете колодца. Баженовская, недавно отремонтированная церковь, да вдали шпили высотного дома на Котельнической набережной, и еще голуби в небе. Вот и все.

А в каких только краях не бывал этот неутомимый следопыт, сколько дорог исходил он за свою жизнь! И вот из всех дорог осталась одна, и не дорога, а тропинка, да и та за решеткой балкона, вдоль стены, от угла до угла, в колодце сумрачного двора. Правда, рядом и над головой опять непуганые птицы, но это же московские голуби, они что куры: и птицы, а невольницы. Разве они понимают, что такое настоящие просторы, настоящая свобода!

Пришвин ходил по балкону неторопливо, держа голову высоко, и смотрел на стены домов, на окна соседских квартир, на крыши и в небо, главное — в небо. Иногда по старой привычке он пытался сцепить руки за спиной, но это ему не удавалось, может, из-за болезни, а может, потому, что на нем было слишком много теплой одежды. Порой он останавливался и клал руку на перила, либо брался за металлические балясины, а однажды на ходу по-озорному провел по балясинам деревянной палочкой, как по клавиатуре ксилофона.

Как-то выглянуло солнце, мы открыли свой балкон, напротив пришвинского, и выкатили на воздух коляску с ребенком. Я крикнул:

— Как здоровье, Михаил Михайлович?

Он поднял палочку к небу:

— Солнце-то какое, а весны еще нет и в помине!

Мне показалось, что он не чувствует себя за балконной решеткой и видит вокруг не стены и крыши, а что-то другое, далекое.

Но вот он спросил глуховатым голосом:

— Как сын?

— Все еще без имени,— ответил я.— Второй месяц пошел.

Чуть позднее он дал имя моему сыну.

В конце декабря на пришвинском балконе появилась лесная гостья, свежая лохматая елочка для встречи Нового года. Михаил Михайлович несколько дней не показывался на балконе, и мы, посматривая во двор из окон своей квартиры, решили, что он начал выходить гулять на улицу. Елочка стояла в углу чуть запорошенная снежком — к ней никто не прикасался, никто ее не шевелил. Казалось, сам лес пришел к Пришвину в гости.

День стоит елка, два дня стоит...

Я перед Новым годом попал в больницу, а жена моя не выпускала елочку из глаз. На балкон к ней время от времени выбегала Жалька — последняя собака Пришвина.

Наступило тридцать первое декабря. Со всех балконов елки давно исчезли. По вечерам они, наряженные, сияли огнями в окнах квартир. А пришвинская елочка так и осталась на морозе, необласканная, непраздничная.

Злата Константиновна почуяла недоброе, заволновалась, но, вспомнив, что Пришвины по давней традиции справляют Новый год по старому календарю, успокоилась.

Только прошло и тринадцатое января, а Михаил Михайлович за все это время ни разу не появлялся на балконе, и елочка от ветра упала. Так и не внесли ее в комнату, так и не нарядили...

— Значит, не до нее! — решили соседи.— Значит, не состоится в эту зиму в пришвинской семье новогодний праздник.

— Нет, праздник все-таки состоялся,— рассказала после Валерия Дмитриевна Пришвина.— Вышла «Весна света», и друзья из «Молодой гвардии» вместе с первым экземпляром книги принесли Михаилу Михайловичу небольшую елочку от издательства.

А та елочка пролежала под открытым небом до снеготаяния. Короткая тропинка на расчищенном узеньком балконе с хвойным клочком леса на уровне шестого этажа стала последней тропинкой Пришвина.

Но вот что удивительно: с годами и я перестал видеть, что она за балконной решеткой и что она короткая и узкая.

Она широкая и уходит далеко, далеко, через Дуниио и Загорск, через мою Вологду, откуда Пришвин начинал свое первое путешествие в края непуганых птиц, к карельским озерам, бежит она в приморские дебри, где растет женьшень, к былинному Китеж-граду, к животворным родникам Берендея, в гущу народную, к тем, кто работает на земле и в лесах, и сказки складывает, и песни поет, и на ком вся земля держится,— к людям, к людям. Бежит и разветвляется на много разных тропинок, таких же бесконечных и непохожих одна на другую.

И кажется мне, что по одной из этих тропинок, уже не по пришвинской, а по своей, иду я сам. И может статься, еще не поздно, я расскажу людям обо всем, что увижу и услышу на своей родной стороне...

1961, 1963

ЖУРАВЛИ

Сила слов

Были в детстве моем и праздники, и весна не одна, и не одна золотая осень. Много было всего. Были и свои журавли в небе.

Когда с полей убирали хлеб, поля становились шире и светлее, чем прежде, горизонт отодвигался куда-то вдаль. И над этой ширью и золотом появлялись треугольники журавлей. Для детей это время птичьих перелетов всегда празднично. Мы выбегали из домов, неслись за околицу и кричали вдогонку журавлям:

Журавли, журавли,
Выше неба и земли
Пролетайте клином
Над еловым тыном,
Возвращайтесь домой
По дороге прямой!

Или много раз повторяли, приплясывая, одни и те же слова:

Клин, клин журавлин,
Клин, клин журавлин!

Птицы шли по небу ровно, спокойно, красиво.

Но находились озорники, которые не желали добра птицам, хотели расстроить их порядок. Бывало, какой-нибудь босоногий заводила вдруг вопил истошным голосом:

Передней птице
С дороги сбиться,
Последнюю птицу —
Вицей, вицей.
Хомут на шею!
Хомут на шею!

И часто журавлиный треугольник неожиданно начинал ломаться, птицы, летевшие сзади, рвались вперед либо уходили в сторону, а вожак, словно испугавшись,

что он остался впереди совсем один, круто осаживал, делал поворот и пристраивался в хвост колонны. Мы удивлялись силе наших слов, визжали от удовольствия. Но кто-нибудь из взрослых давал подзатыльник озорнику, и хорошие чувства брали верх в детской душе. Мы в раскаянье кричали уже хором, чтобы слышнее было:

Клин, клин журавлин!
Путь-дорога!
Путь-дорога!

Кричали до тех пор, пока журавли не выравнивались.

И вот опять вспомнилось мне детство.

В этом году дожди, затяжные, упрямые, начались так рано, что стало казаться, будто вовсе не было лета. Свету недоставало даже в полях, и утром и в полдень было одинаково пасмурно. Сырость пронизала небо и землю, в самом густом лесу не оставалось ни одного сухого места. Дороги испортились, поплыли, шипели, как тесто в квашне, вылезая на стерню, на луговую отаву. Листья на деревьях, всегда мокрые, не желтели и не облетали, сколько ни свистел ветер по ночам. Где же бабье лето? Где золотые рощи? Где кружевная паутина на скошенных лугах?.. Наверно, и птицы уже улетели, давно улетели...

Но вот выдался солнечный денек. Потом другой, третий... И стала осень делаться заново. Пришла тишина, мягко пригрело солнце, подсохла земля, даже дороги стали проезжими. А когда просохли на деревьях листья, оказалось, что они давно желтые. Как-то утром, проснувшись, моя дочка глянула в сад на засверкавшую осинку и ахнула: «Папа, у тебя под окном красавица!» Потом закружилась и листва в воздухе, облетели осинки, березки, тополя, даже дубы начали понемногу оголяться. Совсем сквозным стал орешник, и откуда ни возьмись на опушку рощи выступили вдруг елочки.

А солнце с каждым днем становилось нежнее к земле, ласковее. Казалось, и так красиво кругом, а оно как выглянет, как начнет наводить порядок — не налюбуешься, не нарадуешься.

Наконец затрубили, закурлыкали журавли в небе. Все-таки взяла осень свое и на этот раз: появились над полями птичьи треугольники. Странным показалось это: зачем они покидают нашу землю? Все устроилось так хорошо, стало тепло и тихо, сейчас бы жить да жить, а вот улетают.

Стою я на крыльце, вспоминаю детство, слежу за жу-

равлями и вдруг вижу — нарушился их строй, сбились птицы в кучу, заходили кругами, стремительно набирая высоту. Словно самолет пронесся близко,— завертело их ветром, подкинуло.

Но мне представилось, что это опять ребятишки-озорники из какой-нибудь соседней деревни сбили журавлей с толку обидными словами. Я поверил в это, и такое доброе чувство к летящим птицам охватило всю мою душу, что я не заметил, как начал, правда негромко, почти про себя, но все-таки вслух шептать слова, которые знал с детства: «Клин, клин журавлин! Летите не сбивайтесь, домой возвращайтесь!.. Путем-дорогой! Путем-дорогой...»

И вот уже выправились журавли моего детства, угомонились их всполошенные голоса, и, благодарные, полетели птицы все дальше и дальше под ясным солнцем родного края, полетели путем-дорогой.

1954

ПРОВОДЫ СОЛДАТА

Я долго верил, что запомнил, как уходил мой отец на войну. Верил — и сам удивлялся своей памяти: ведь мне было тогда не больше двух лет.

Сердобольные деревенские старушки часто тешили меня рассказами о погибшем батьке. В этих старушечьих воспоминаниях отец мой выглядел всегда только хорошим, и не просто хорошим, а необыкновенным. Он был силен и смел, весел и добр, справедлив и приветлив со всеми. Все односельчане очень любили его и жалели о нем. Кузнец и охотник, он никого не обижал в своей жизни, а когда уходил на войну, сказал соседям, что будет стоять за родную землю так: «Либо грудь в крестах, либо голова в кустах».

Чем больше слушал я рассказов о своем отце, тем больше тосковал о нем, жалел себя, сироту, и завидовал всем ровесникам, у кого отцы были живы, хоть и без крестов. И все больше мои личные, правда, не очень ясные воспоминания совпадали с тем, что я слышал о нем.

А припоминались мне главным образом проводы отца на войну.

Это было в ту осеннюю пору, когда вся земля начинает светиться и шелестеть сухой желтой листвой, когда и восходы и закаты кажутся особенно золотыми. Около

нашего дома с незапамятных времен стояли четыре могучих березы. Я отчетливо вспоминаю, что они были совершенно прозрачными, что синее небо было не над березами, не выше их, а в самих березах, в вершинах, в сучьях.

Вся деревня собралась на проводы отца под березами. Народу было очень много, и людской говор и шум листвы сливались. Откуда он взялся в старой деревне, духовой оркестр, но он был, и медные трубы светились так же, как осенняя листва, как вся земля наша, и непрерывно тихо гудели. Отец мой, высокий, красивый, ходил в толпе и разговаривал с соседями, то с одним, то с другим; кому пожмет руку, кого по плечу потреплет. Он был здесь главный, его провожали на войну, его целовали женщины.

Я помню цветистые домотканые сарафаны, яркие желтые платки и фартуки. Потом отец взял меня на руки, и я тоже стал главным в толпе. «Берегите сына!» — говорил он, и ему отвечали всем селом: «Воюй, не тревожься, вырастим!»

Много мелочей об этих проводах вспоминал я отчетливо. Там было все — клятвы, объятия, советы на дорогу. Не запомнил я только слез. На праздниках не плачут, а для меня там все было праздничным. Самый же большой праздник начался, когда подали для отца тройку лошадей. Он сел в плетеную пролетку, которую у нас зовут тарантасом, крикнул: «Эгей, соколики!» — и кони понеслись. Уже вслед ему кто-то озабоченно успел спросить: «Табачок-то взял ли?» — затем все шумы покрылись громом медных ясных труб.

Широкая улица от нашего дома, от четырех могучих берез шла к полю, забирая немного вверх, на подъем. Полевая изгородь и ворота были хорошо видны. С обеих сторон околицы золотились березки. И вот, когда тройка на полном скаку подлетела к воротам, березки вдруг вспыхнули.

Может быть, их осветило в этот момент заходящее солнце, может быть, мне все это когда-нибудь приснилось, но березки вдруг вспыхнули самым настоящим огнем, а от них загорелись ворота. Пламя, очень яркое и совершенно бездымное, сразу охватило все сухие жердочки до единой. Разгоряченные кони не смогли остановиться перед горящими воротами, а открывать их было уже поздно и некому, отец мой вдобавок еще крикнул каким-то развеселым голосом, словно ударил молотом по

звонкой наковальне, и кони вдруг взвились в воздух и перенеслись через огонь. Только колеса пролетки слегка задели ворота, из-за чего красные жерди рассыпались и ворох светящихся искр поднялся к небу.

Я хорошо все это запомнил и долго верил, что все было именно так. Позднее сам уходил на войну, и ощущение великой торжественности момента опять совпало с тем, что я вспоминал о проводах отца. «Но как это могло быть? — спрашивал я себя.— Ведь мне тогда года два исполнилось, не более».

И вот что выяснилось со временем в связи с этими воспоминаниями.

В детстве мне приходилось порой слушать граммофон в доме моего дедушки. Бывали случаи, когда дедушка доверял мне самому проиграть одну-две пластинки. Тогда я раскрывал все окна горницы, ставил удивительный ящик на подоконник, направлял орущую зеленую трубу вдоль деревни и священнодействовал. Конечно, отовсюду сбегались ребятишки и с раскрытыми ртами издалека смотрели в трубу. А мне казалось, что они смотрят на меня, что я становлюсь героем не только в своих глазах, но и в глазах моих сверстников, что все они завидуют мне.

И я торжествовал. Не все же было мне, сироте, завидовать им. Вот я какой, вот я что могу — смотрите! А может быть, мой батько еще не убит, еще вернется он, тогда я вам покажу... Так я мстил за свои маленькие смешные обиды.

Спустя много лет вернулся я в родную деревню, и в доме покойного дедушки довелось мне еще раз сесть за старый квадратный граммофон. В груде еле живых пластинок с наклейками, на которых были нарисованы то ангелочки, то собачка, сидящая у граммофонной трубы, нашел я одну незнакомую мне, уже с трещиной, пластинку — «Проводы на войну, или Проводы солдата». Сердце ничего не подсказывало мне, когда я решил проиграть и ее.

Среди ржавых иголок выбрал я одну поострее, снова с усилием несколько раз провернул ржавую ручку, отключил тормоз и, когда собачка и зеленая труба на этикетке пластинки слились в один кружок, опустил рычаг с мембраной. Сначала был только треск ржавой пружины и шум, словно иголку я опустил не на пластинку, а на точильный камень, — ничего нельзя было разобрать. Потом появились голоса, заиграл духовой ор-

кестр, и я услышал первые слова: «Табачок-то не забыл ли?»

И сразу я увидел широкую свою деревенскую улицу, золотой листопад осени, толпу односельчан и родного отца, уходящего на войну. «Берегите сына!» — говорил он соседям. А его целовали и клялись ему: «Воюй, не тревожься, убережем!»

Дорогие мои, родные мои земляки! Что со мною было! Медные трубы оркестра звучали все яснее и взволнованней, их песня пробилась через все шумы времени, через все расстояния и наслоения моей памяти, очищая ее и воскрешая все самое святое в душе. Уже не одно село, а вся Россия провожала моего отца на войну, вся Россия клялась солдату сохранить и вырастить его сына. И опять не было слышно слез. Но, может быть, медные трубы заглушали их.

Потом я услышал звон бубенчиков и последние напутствия на дорогу. Вот, значит, откуда шли мои слишком ранние воспоминания. Вот где их истоки.

Но откуда же взялось золотое видение осени и горящие ворота сельской околицы? Это был, конечно, сон.

Ведь приснилось же мне однажды, что гвозди достают из дерева-цветка, который называется гвоздикой, а разноцветные нитки бисера находят готовыми в стогах гнилого сена, и я тоже долго верил, что это именно так и бывает.

Но нет, не только во сне привиделся мне бешеный скач тройки. Живет и поныне в нашем колхозе Петр Сергеевич, талантливый конюх и лихой наездник. Это он мог часами ехать, не торопясь, лесом, полями — через пень-колоду.

А перед деревней, перед людьми преображался он и преображались его лошади. «Эгей, соколики!» — вскрикивал Петр Сергеевич, широкая русская душа, и откуда бралась силушка в мохнатых ногах — со свистом, с вихорьком взлетал тарантас на горку мимо четырех моих берез. Бывало, самая незавидная лошаденка в руках Петра Сергеевича да на глазах у всей деревни, или, как у нас говорят, на миру, превращалась вдруг в конька-горбунка.

Услышал я недавно развеселый, из глубины души вырвавшийся крик моего земляка, как будто он бросался сломя голову вприсядку, и опять живой картиной встали в моей памяти проводы отца. И опять все показалось мне

невыдуманным, не приснившимся, а подлинным — даже горящие ворота и сказочные кони, взвившиеся в воздух,— все, как провожала на войну родимая сторона своего солдата.

1954

ТВОРЧЕСТВО

— Опять каша!

Борька сидел с полным ртом, сопел, дулся и смотрел на всех сердитыми глазами. Его уговаривали, ругали, пытались задобрить. Но ничего не помогло. Обеденных часов в семье стали бояться, как наказания. Мать нервничала, отец рывком вставал и уходил из-за стола.

Горю помог соседский мальчик Ваня. Как-то во время еды, когда за столом не усидела даже многотерпеливая мать, Ваня сказал Борьке:

— Я тоже не люблю кашу, но это ничего. Я тебя научу, будет интересно... Давай делать дорогу!

Борька посмотрел на товарища сквозь слезы, подумал и кивнул головой. Тогда Ваня устроился с ним рядом, пододвинул к себе тарелку, взял ложку из его рук.

— Сначала сделаем тропинку для велосипеда, вот так! — сказал он, провел узкую бороздку через всю тарелку и ложку, полную каши, передал Борьке.— Пройдет велосипед?

Борька хмыкнул, но спорить не стал.

— Пройдет. А кашу куда?

Ваня пожал плечами.

Тогда Борька съел кашу и облизал ложку. А Ваня сказал:

— Сейчас сделаем дорогу такую, чтобы по ней можно было проехать на машине. Делай сам!

Борька взял ложку в обе руки и со скрежетом заскреб дно тарелки. Дорога получилась широкая, но неровная.

— Подчисти! — посоветовал Ваня.

Борька подчистил, склоняя голову набок.

— Сейчас и «Москвич» пройдет,— убежденно сказал он.

— «Москвич», пожалуй, пройдет, а «Волга»?.. Давай для «Волги»!

Игра Борьке понравилась. Он ел кашу старательно, с удовольствием.

— Это уже большак,— сказал Ваня, когда посреди тарелки, на проезжей ее части, показался зеленый цветок. — Теперь даже грузовики с зубром и медведем могут разойтись.

Борька подровнял ложкой края большака справа и слева, набрал еще ложку каши и, прожевывая, подтвердил:

— Разойдутся и медведь с зубром.

Наконец каши осталось совсем мало. Ваня нерешительно посмотрел на Борьку.

— Что будем делать с обочинами? — спросил он.

А Борька уже улыбался весело и хитро. Теперь-то он знал, что надо делать с обочинами. Каша перестала казаться скучной.

— Съем и обочины! — сияя от радости, заявил он.— И будет у меня теперь не дорога, а аэродром. Реактивный, верно? Нет, ракетный!

— Вот так! — засмеялся довольный собою Ваня.

И было им хорошо друг с другом.

[*1959*]

МИХАЛ МИХАЛЫЧ

Все дети были как дети, один Михал Михалыч никому покоя не давал. С утра до вечера в квартире слышался только его голос, его крики, его песни. Начиналось с завтрака на кухне, куда Михал Михалыч обычно шел неохотно, ссылаясь на то, что у него еще зубы заспанные, но когда садился за стол, то требовал все сразу — и молоко, и рыбий жир, и огурцы, и кашу. Потом он бросался к сестрам, помогал им собраться в школу, из-за чего те плакали и нередко опаздывали на первый урок. Далее Михал Михалыч делал зарядку, «как в цирке», карабкался до потолка по книжным полкам, пересматривал все подряд, вплоть до энциклопедии, гонялся за кошкой, кричал ей «кыкысь, берегись!», наконец, давал матери советы, как варить кашу, и обязательно что-нибудь присаливал сам, да еще прибавлял газу. Все это он успевал делать одновременно, уследить за ним не было никакой возможности. Если мать начинала нервничать, он ее успокаивал:

— Мамочка, я же тебе помогаю! — и целовал ее в платье, в руку, во что придется. И мать успокаивалась и вытирала слезы на глазах.

Кроме того, Михал Михалыч очень любил ездить к бабушке в гости либо на машине, либо на поезде, либо на самолете. Без папы такие поездки не удавались, поэтому он каждый день с нетерпением ждал возвращения папы с работы. Вернувшись с работы, папа странно медленно раздевался, но это еще куда ни шло. Но если папа сразу садился обедать, Михал Михалыч совершенно терял терпение и не хотел принимать никаких объяснений.

— Ну, поехали же! — требовал он.

— Подзаправиться надо, сынок, а то бензину не хватит,— отвечал отец.

— Да хватит, хватит... поехали!

После обеда папа ложился на ковер посреди комнаты и поднимал ноги.

— Ну давай сразу на самолете, скорей доберемся.

Вечером в квартире иногда появлялись папины товарищи или мамины подруги, и Михал Михалыч на несколько минут затихал, присматривался к ним. Забавные люди — они всегда спрашивали его об одном и том же.

— Миша, кого ты больше любишь, маму или папу?

— Папу и телевизор,— отвечал Михал Михалыч, и гости весело смеялись.

— А бабу-ягу ты боишься?

— Я ее не видал.

— Неужели и во сне никогда не видал?

— Не видал. Я лицом к стенке сплю, ничего не вижу.

Гости скоро надоедали Михал Михалычу, он покидал их и снова занимался своими делами — гонял «кыкысь», проверял настройку пианино, выметал пыль из-под столов. Он поспевал всюду, он был везде сразу, заполнял собою всю квартиру, все углы, был велик, вездесущ и необъятен, как сама жизнь.

Поздно вечером, замотав всех до смерти и утомившись сам, он просил: «Мама, раздень меня!» — ложился в постель лицом к стене, свертывался клубочком и засыпал. Мать, склонившись над кроваткой, прикрывала его сереньким байковым одеяльцем и удивленно ахала, словно впервые видела своего сына.

— Господи, ведь совсем кроха, комочек!

Подходил отец, подходили старшие девочки и тоже разглядывали Михал Михалыча с удивлением. «Он еще совсем маленький!» — шептали они.

— Он же совсем кроха! Совсем, совсем кроха! — говорила сестра.— Поразительно!

— А что вы хотите?! — говорил отец.— Ему еще только три года. Дайте срок...

1959

ПЕРВЫЙ ГОНОРАР

Я перестал учиться, когда получил первый гонорар. До чего же все это было давно и до чего весело вспоминать обо всем этом!

Гонорар пришел из Москвы, из «Пионерской правды». Там время от времени печатались мои заметки о школьной жизни, однажды была помещена даже басня «Олашки» — о буржуе, который отказался есть оладьи, когда узнал, что они испечены из советской муки. Принципиальные были буржуи в то время!

Денежный перевод, если не ошибаюсь, рублей на тридцать, застал меня врасплох. У меня больше двадцати — тридцати копеек в кармане еще никогда не бывало.

Не без труда получив деньги на районной почте, я купил в магазине конфет, обливных пряников и папирос и ринулся пешком в родную деревню. Дело было зимой. Носил я тогда лапти, теплой одежонки, конечно, не было, и идти мне было легко. Но я не шел, а бежал. Бежал бегом все двадцать километров. Напевал ли при этом песни и приплясывал ли — не помню. Помню только, что за всю дорогу не съел ни одной конфетки, ни одного пряника, потому что хотел все целиком донести до деревни, для своей матери. Похвастать хотелось: вот, мол, я какой, на-ко выкуси! И конечно, пачку папирос не распечатал,— я еще не курил тогда.

Зимние дни коротки, и как ни легок я был на ногу, а все-таки до деревни добрался только к ночи. В темноте углы срубов потрескивали от мороза, а в избах горела лучина в светильниках. В одном только доме была керосиновая лампа, окна его светились ярче прочих. В этом доме собиралась молодежь на посиделки. У нас такие посиделки зовут беседками. Девушки чинно сидят на лавках с пряслицами, прядут лен или куделю, да поют песни под гармошку, да стараются понравиться парням,

каждая своему, а некоторые всем сразу, а парни, пока не начинается кадриль, просто бездельничают, зубоскалят.

Мне было тогда меньше пятнадцати лет, но не это важно. Важно то, что одна из деревенских девушек мне уже нравилась, я был уже влюблен — в нее, во взрослую, в невесту. О чем я тогда думал, чего хотел — один бог знает. Сам я если и знал что, то теперь забыл.

Не донеся до дому пряники и конфеты, я прежде всего решил появиться на беседках. Еще ни разу на беседках не принимали меня всерьез, ни в чьих глазах я еще не был взрослым. «Ну что ж, что не принимали,— думал я.— Не принимали, а сейчас примут».

Очень я нравился себе в тот день!

Керосиновая лампа висела на крюку посреди избы и горела в полную силу: беседка еще только началась и воздух еще не успел испортиться вовсе. Но клубы и кольца табачного дыма уже не рассеивались, не таяли, а передвигались под потолком, плотные и густые. Девушки в ярких домотканых, реже в ситцевых сарафанах, как обычно, сидели на прясничных копыльях вдоль стен по окружности всей избы и крутили веретена и поплевывали на пальцы левой руки, вытягивавшие нитку из кудели. Парни толпились посреди избы, а кое-кто, посмелее, сидели на коленях у девушек либо рядом, занимая их разговорами и мешая прясть. Довольные девушки повизгивали, похохатывали. В темном углу за большой русской пекаркой, где всегда пахло пирогами и кислым капустным подпольем, какая-то парочка целовалась. Сладостное и таинственное для меня на этих посиделках только-только возникало.

Моя любовь, Анна, сидела далеко не на самом почетном месте, а в углу справа, в полусумраке кухни, но была она самая красивая из всех. Красный пестрядинный сарафан с белыми нитяными квадратами, кофта синяя, яркая, тоже пестрядинная, и никакого платка на голове. А на лице улыбочка, не улыбка, а улыбочка — ласковая, хитренькая, при которой щеки чуть подтягиваются кверху и на одной из них образуется ямочка, а глаза прищуриваются. Да еще волосы, заплетенные в косу с очень яркой, но уже не красной и не синей, а, кажется, фиолетовой, ярко-фиолетовой лентой; да еще глаза, поблескивающие, все понимающие, чуть прищуренные и, кажется, серые; да еще руки, быстрые, работящие и, наверно, тоже ласковые. Эх, потрогать бы их когда-нибудь! Пра-

вой рукой Анна крутила веретено, и так сильно, что оно даже жужжало от удовольствия, а пальцы левой руки двигались все время у кудельной бороды и были всегда мокрыми от слюны.

Анна была так красива, что, конечно, никто из парней не осмеливался сесть рядом с нею. Только я один осмелюсь сегодня! А что полусумрак на кухне — так это же хорошо: тут, в углу, по крайней мере, ничего не будет видно. Ничего! И еще хорошо, что близко отсюда запечье, тот таинственный уголок, куда время от времени уходят сговоренные пары целоваться. Неужели и это для меня сегодня возможно?

Войдя в избу, я первым делом роздал ребятам папиросы. Кажется, ничего особенного при этом не произошло. Ребята просто расхватали всю пачку сразу и стали курить: папиросы все же, не махорка. Дыму в избе стало еще больше.

Затем я подсел к моей девушке, к моей Анне. Подсел, как садятся взрослые парни к своим девушкам. Раньше я никогда не осмеливался сидеть рядом с Анной, а сейчас взял да и сел. Анна пряла лен. Она не удивилась, что я ткнулся на лавку рядом с ее прясницей, она просто пряла. Теперь надо было заговорить с ней. Я еще ни разу не расхрабрился до такой степени, чтобы заговорить с нею. Не смог я заговорить и на этот раз. Но на этот раз все было по-другому, на моей стороне теперь были всяческие преимущества, на моей стороне была сила — и конфеты, и пряники, и то, что я настоящий писатель, иначе разве посылали бы мне деньги из самой Москвы. Сегодня на беседках я был самый главный человек.

Я достал из кармана конфету, развернул бумажку и сам, своей рукой положил конфету Анне в рот. И опять ничего особенного не произошло. Анна просто взглянула на меня, открыла рот, взяла конфету в рот и съела ее. Но все-таки она взглянула на меня. Все-таки она меня заметила. Я быстро развернул следующую конфету и снова положил ее в рот Анны. Она съела и эту конфету, но при этом засмеялась. Щеки ее приподнялись, округлились, красивые глаза сузились.

Так и пошло: я ее кормил конфетами, а она смеялась. Над чем? Над кем? Надо мной, конечно! Но меня это нисколько не смущало. Все равно она была красивее всех, и я сегодня был всех лучше. Ах, если бы я смог с нею заговорить!

Она бы спросила меня:

«Ты все еще учишься?»

А я бы ей ответил:

«Учусь — что! Я — писатель! Понимаешь — писатель, самый настоящий. Мне уже и деньги платят за то, что я писатель. А ты знаешь, что это такое? Вот, например, все эти конфеты, пряники, папиросы — это все откуда? Просто, понимаешь, пишу, и все».

Так беззастенчиво хвастать в городе я, конечно бы, не смог, там сразу меня поймали бы. Но здесь можно было. К тому же и обстановка все-таки необычная, духоподъемная. Ведь парень перед девушкой всегда немножко рисуется, хвастается. А как же иначе? Иначе разве она его полюбит?

Беда только, что я не смог и на этот раз заговорить со своей Анной. Но я был счастлив уже оттого, что она ела мои конфеты и смеялась надо мной. И когда она съела их все, я выложил ей в подол все обливные пряники. Она съела и пряники.

Сам я так и не попробовал ни пряников, ни конфет. Отчего это — от большой любви или от расчета, от скупости или от сердечной доброты?

Домой я пришел с беседок поздней ночью, когда все уже спали, и, голодный, заснул на случайной соломенной подстилке возле курятника.

Утром мать подошла к моей постели. Она не будила меня, а просто остановилась надо мной, заложив руки за спину, и я проснулся сам. Добрая, бедная мама! Она все уже знала. Она знала, что ее несмышленый, но опасно бойкий первенец, живущий в городе без родительского присмотра, где-то раздобыл деньги,— конечно же, не чистые это деньги, не трудовые! — покупает папиросы, курит сам и угощает других, а всякие сласти раздает девкам. Уж и до девок дело дошло!

— Здравствуй, мама! — говорю я ей.— Поесть бы чего-нибудь!

А она мне:

— Скажи, парень, где деньги взял?

И от этих слов счастье всего вчерашнего дня снова запело в моей душе и, вероятно, засветилось в глазах. Я не удержался, и опять понесло меня на хвастовство.

— Я, мама, писатель. Понимаешь, писатель! — говорю я ей, почти захлебываясь от восторга. — Мне заплатили гонорар. Из Москвы перевели. Я израсходовал мало, ты

не бойся, я еще и тебе дам денег. А потом опять сочиню чего-нибудь. Гонорар, понимаешь?

— Ты мне зубы не заговаривай, — начала сердиться мать,— правду скажешь, ничего тебе не сделаю. Где взял деньги?

— Так я же правду говорю: я — писатель, поэт. Это гонорар. Творчество, понимаешь?..

Добрая моя мама! Вряд ли она и сейчас понимает, откуда у сына порой водятся деньги: на службу он не ходит, хозяйства не имеет, никаким промыслом не занимается. Сколько лет работали в стране ликбезы, а старая моя мама так и доживает свой век неграмотной и по-прежнему для нее что писатель, что писарь — одно и то же.

— Ах, ты так, сквалыга окаянный! — вконец рассердилась она. — Признаться по чести не хочешь? Думаешь, всю жизнь правду скрывать будешь, не по совести жить? Вот я с тебя шкуру спущу, раз ты писатель...

И в руках у матери за спиной оказалась свежая березовая вица — розга. Она стащила с меня замызганное одеяльце, и я, ненакормленный, неодетый, получил свой первый настоящий гонорар. Конечно, я ни в чем не был виноват, но ведь и она мне только добра хотела. Вот и суди после этого, кто прав, кто не прав.

1960

ВОЛК В ГОРОДЕ

Летом 1960 года в городе Озерске жил волк. Не какой-нибудь ручной или молодой, несмышленый, а самый настоящий, дикий, лесной. Жил он долго и бесчинствовал, как и положено волку, и питался собаками и прочим мясом, как ему на роду написано. Люди принимали его за собаку, а собаки с ужасом разбегались в разные стороны и только выли от безысходного горя и тоски.

Когда же волк был опознан и было точно установлено, что это волк, а не собака и что убить его дозволено,— озерские охотники устроили на него облаву в центре города и убили его. За убийство волка была получена обычная государственная премия. Но главным вознаграждением для себя охотники считали добрую людскую молву — их благодарило и чествовало все озерское население.

Об этой истории рассказал мне старый рыбак и охотник Илья Евгеньевич Макаров.

Перескажу как сумею.

Волк попался в капкан еще зимой, и так как правосудие долго не обнаруживало себя, то он не стал ждать расправы, перегрыз себе ногу и ушел. Был он хищник старый и стреляный, попадать в беду доводилось ему и раньше, но на этот раз не повезло всерьез. Нога не заживала, начала гнить, волк исхудал страшно. Добывать пищу в лесу становилось все труднее и труднее. Но он не смутился, не стал вегетарианцем, а только больше обнаглел и ожесточился. Он начал околачиваться вблизи деревень, пробивался чем приведется, не брезговал даже кукурузой. Нередко и попадало ему — деревенский народ стал не в меру недоверчив.

Однажды ночью забрался волк в город и убедился, что в городе добывать пищу гораздо проще, чем в деревне. Там легче было затеряться. Собачки чаще всего попадались жирные, комнатные, вислоухие. С той поры и зачастил он в город.

И чем дальше, тем становился смелее. Бывало, люди еще из кинотеатра по домам расходятся, в парке репродукторы не умолкли, сторожа у магазинов еще заснуть не успели, а хромой волк уже ковыляет к злачным местам, смотрит, где что плохо лежит. Не устраивало его только одно: далеко было ходить из лесу туда и обратно. Уставал волк на трех ногах, да и на работу времени оставалось мало — ночи коротки. А старый хищник спешить не любил. Спокойнее, когда действуешь осмотрительно.

Как-то зазевался он, промедлил, и утро застало его в городе на школьном дворе. Прибежали первые ребятишки в школу еще затемно, волк не очень их испугался — малы еще, но все же предусмотрительно залез в дровяной сарай. Так он провел в городе первый день.

Провел не плохо. Отдохнул. Хотя, конечно, и поволноваться пришлось. Через каждый час дети выбегали на перемену во двор и играли то в кошки-мышки, то в волков и овец, то в волейбол. Нередко мяч подкатывался к дровяному сараю, и ребята кидались за ним. В такие мгновения волку казалось: все! конец! разоблачат! Но каждый раз выходило, что детям не до него, что они просто играют и бояться этого не следует. Так же вели

себя и взрослые, им тоже было не до волка, у них было много других забот. Волк это отлично понял и осмелел еще больше.

Не понравилось еще, что весь день, с шести часов утра и до двенадцати часов ночи, на весь город гремели иерихонские трубы радиотрансляционного узла. Они действовали на нервы, не давали ни заснуть по-настоящему, ни сосредоточиться на чем-нибудь. Волка больше бы устроило, если бы трубы гремели с ночи до утра, когда он промышлял, шум ему шел бы на пользу. Но он смирился с этим упущением городских властей, так как слыхал, что радиорупоры сотрясали воздух не в одном Озерске. Видимо, так было нужно.

Под гром радиомаршей волк вечером вышел из дровяного сарая и осмотрелся. Ничего страшного не случилось, и он направился к ближайшей помойке, чтобы позавтракать — как известно, у волков все не как у людей, ночь превращают в день, когда люди ужинают, волки завтракают, люди спят — волки жрут и пьют, мародерничают. От помойки хорошо пахло. Но этот запах привлек не только волка, туда же потянулась и голодная собака — такие в любом городе встречаются. И волк решил, что пока можно обойтись и без помойки. Не успела собака сообразить, в чем дело, как волк ее взял и унес к себе в дровяной сарай. Собака все-таки немного повизжала, но ее вопль был заглушен очередным радиомаршем.

Как ни была собака худа, волк покушал плотно и потому скоро заснул и остался в сарае еще на день. Летом школу не топили, и волка опять никто не потревожил.

На следующую ночь, увлекшись погоней за какой-то волосатой коротконогой собачкой, явной помесью половой щетки с гусеницей, он выскочил на улицу, прямо в людскую толпу. Перетрусил, должно быть, волк не на шутку, но результат оказался совершенно неожиданным: коротконожку кто-то из прохожих пнул, да так, что она полетела обратно к волку прямо в зубы. А его мало того что не узнали — не узнать немудрено: районные города летом освещаются не ахти как,— его все стали еще жалеть: вот бедный пес, на трех ногах, не иначе под машину попал. Человеку без ноги плохо, а собаке — какая жизнь!

Собачонку волк на этот раз не взял, не решился брать на глазах у всех, побоялся демаскироваться. Зато из города больше не уходил вовсе. И если поначалу он

разбойничал в деревнях и в городе только потому, что тяжело было пробиваться трехногому в лесу, то теперь стал разбойничать уже потому, что так было легче жить. Совесть его не мучила. В конце концов, разве он виноват, что остался без ноги? Пускай впредь не ставят капканы. Должна же существовать какая-то компенсация за увечье, не пенсию же ему требовать! Зря, что ли, он пострадал?

Так рассуждал не один волк. Сердобольных людей находилось в городе немало.

С тех пор как волк осел в городе на постоянное жительство, события следовали одно за другим.

В мясной лавке начало исчезать первосортное мясо — конечно, оно шло на удовлетворение волчьего аппетита. Продавцам приходилось покрывать утечку за счет покупателей, продавать мясо второго сорта за первый сорт.

В столовых то и дело не хватало продуктов — волк похищал их еще со складов. Приходилось снижать качество обедов, уменьшать количество мясных блюд, мясные котлеты готовить в основном из толченых сухарей. Поварам, при всем их опыте, было очень нелегко выкручиваться.

Ухудшилось питание в детском доме и в детских садах и яслях — все по той же причине.

Однажды волк в гастрономическом магазине свалил полку с вином, разбилось несколько бутылок, а по акту списали в десять раз больше. В дальнейшем такое списывание по акту укоренилось: разобьется одна пустая бутылка-поллитровка, а спишут дюжину литровых, и не пустых, а с водкой. В торговых сферах считается допустимой норма боя посуды при перевозке, кажется, пятнадцать процентов. Норму допустимую сделали обязательной, ее как бы узаконили, а по акту списывали уже то, что было сверх нормы.

На городской скотобойне волк зарезал только одного бычка, а по акту списали на первый раз шесть бычков и две коровы. Следы зверя на скотобойне были видны, это были волчьи следы, но так как волка никто не видел, то было решено считать, что это следы медвежьи. Акт благодаря такой находчивости выглядел очень солидно. Кругом леса, почему бы медведю время от времени и не заглядывать на скотобойню?

Расходы на волка росли с каждым днем. Убытки появились и на рыбзаводе, и на районной инкубаторной станции, и даже в учреждениях, не имеющих прямого

отношения к материальным благам, то есть в так называемых гуманитарных. В торговой сети убытки назывались утечкой и усушкой, а, скажем, на рыбзаводе и на районной инкубаторной станции или в леспромхозе они стали называться производственными отходами. Если бы не спасительные акции, которые оказались самой емкой и гибкой формой творческой деятельности в сфере производства и распределения, нелегко пришлось бы кое-кому.

Хорошо еще, что волк был один, да и тот хромой. А если бы их сразу объявилось много? Не обошлось, конечно, в связи с этим без хищений и подлогов. Как говорится, у хлеба и крохи. Обстановка обострилась еще больше из-за того, что начали искать виновных. Ведь дыма без огня не бывает. А поскольку виновных обнаружить не удавалось, то, естественно, подозрения падали на честных людей. Возросшая подозрительность среди граждан города создавала атмосферу нервную, напряженную. Раздоры, клевета, ложные доносы — все знакомое от сотворения мира пошло снова в ход.

А волк уже расхаживал по улицам, и даже днем. Его ни в чем не подозревали. Кому могло прийти в голову, что это волк, а не собака? А известно, что собака испокон веков и страж и друг человека. Как же ей не доверять? Она призвана охранять народное добро, а не расхищать его.

Волку доверяли во всем, сочувствовали, что он калека, жалели его: «Безногий, значит, убогий!» — и прикрикивали на слишком усердных собак, которые приходили в неистовство от одного его вида.

Собак волк не боялся, тем менее боялся он машин. Собака рычит, беснуется, беспокоит, она чует, с кем имеет дело, и заставляет все время быть настороже. А машина есть машина, транспорт. Она ничего не чует — что ее бояться? Но среди машин однажды появилась обыкновенная старая лошадь, тоже транспорт. И она-то и выдала волка. Она просто храпнула, взвилась по старинке на дыбы и понесла. Если бы не эта устаревшая лошадь, волк, вероятно, и поныне безнаказанно бродил бы по городу. Но тут он выдал себя — он бросился лошади на круп.

Прошло уже немало времени с того памятного дня, как в центре Озерска был затравлен матерый волчище, а последствия пребывания его в городе все еще до конца

не ликвидированы. Люди все еще не могут прийти в себя от страха и вздрагивают, когда встречают обыкновенных безобидных собак: а вдруг среди них есть еще волки? Илья Евгеньевич Макаров рассказывал мне, что он даже коротконогого щенка своего держит до сих пор под подозрением: не волк ли растет?

1960

НЕ СОБАКА И НЕ КОРОВА

Моя сестра, возвращаясь однажды поздней зимней ночью с посиделок с пряслицей и с горящим пучком лучины в руках, встретилась посреди деревни с волком. Должно быть, очень голодный, он сидел, скалил зубы и не хотел уступать ей дорогу.

— Ты что, Шарик, с ума сошел? — прикрикнула на него девушка.— Пошел вон!

«Шарик» оскалил зубы еще больше и зарычал, глаза его нехорошо сверкнули. Сестра ткнула ему в морду горящей лучиной.

— Ошалел, что ли? Нет у меня ничего для тебя.

Волк отступил, прыгнул в сторону, в снег.

Когда всполошенные родители сказали моей сестре, что это был волк, а не Шарик, она удивилась и не поверила:

— Какой же это волк, когда он на собаку похож. Собака, она собака и есть!

Недавно в Подмосковье к нашей даче подошел лось. Он был так невозмутимо спокоен, с таким хладнокровием, даже равнодушием смотрел на меня, что подумалось: не ранен ли? не болен ли? Самая настоящая корова, домашнее животное!

Я быстро собрал своих ребятишек, крикнул жену, и мы толпой, всей оравой двинулись к лосю, за забор, в мелкий осинничек. Дети радовались: наконец-то они налюбуются диким зверем.

— Какой же он дикий? Какой зверь? — возмутился я. — Захватите с собой хлеба побольше да соли, сейчас мы его будем кормить.

— Что ты, папочка?

— А вот увидите!

Мы осторожно, чтобы не испугать, подходили к лосю все ближе и ближе, а он повернул голову и смотрел на нас совершенно спокойно, без всякого интереса, даже

как-то устало. Возможно, он думал, этот неприкосновенный владыка подмосковных рощ, стоит ли, дескать, связываться с этой назойливой мелкотой? Возможно, думал что-то другое. Только вид у него был до того домашний, коровий, до того ручной, что я совершенно осмелел, а вернее сказать, обнаглел, — особенно с точки зрения лося.

— Тпруконь, тпруконь, тпруконь! — стал звать я его, как зовут в деревнях корову, и, протягивая вперед руку с густо посоленным хлебом, пошел к его влажной, к его мокрогубой коровьей морде. Иллюзия была слишком заманчивой.

Но когда я подошел к нему совсем близко, когда до него осталось не больше десяти шагов и лось вдруг нервно переступил, я, должно быть, все-таки испугался его величественных размеров и особенно его огромной горбоносой чушки. А может быть, я побоялся, что лось, вдруг переступивший с ноги на ногу и на мгновение обернувшийся назад, убежит от меня? Во всяком случае, я остановился, замер. Затем решился и кинул хлеб ему под ноги.

Этого не надо было делать. Я забылся. Передо мной, конечно, был зверь, а не корова. Зверь, не уступающий в силе медведю.

Лось не побежал от меня, а бросился на меня. Он решил, что я на него нападаю, и сам пошел в атаку. Но бросился на меня он не быстро, без ярости, без воодушевления, лениво, только затем, должно быть, чтобы образумить наглеца и отвязаться от него.

Я закричал. Еще сильнее и, вероятно, еще менее красиво закричали мои дети, моя жена, моя семья. И лось не тронул нас. Он повернулся и, широко раскидывая в сторону огромные голенастые задние ноги, не спеша, скрылся в осиннике. «Ну вас к богу, лучше не связываться!» — казалось, сказал его белый короткохвостый зад.

— Какая же это корова, папочка! — испуганно упрекали меня дети.

— Да ведь очень уж похож на корову, совсем ручной!

1962

СТАРЫЙ ВАЛЕНОК

— Ну как жизнь, старина? — ежевечерне спрашивал у своего приятеля седобородый нечесаный Лупп Егорович.

Толстый ленивый кот, давно прозванный Старым Валенком, спросонья поворачивал голову, чуть приоткрывал глаза и нехотя мурлыкал что-то невнятное. Можно было подумать, что он говорил: «И как тебе не надоест из года в год спрашивать об одном и том же? Ну, живу по-прежнему! Вверх головой! Чего тебе еще? Экий человек, право!»

Лупп Егорович и Старый Валенок много лет жили вместе, и каждый думал, что он старше другого. По этой простой причине, по старости, они были одиноки, и обоим казалось, будто и дружат они лишь потому, что больше дружить не с кем и остается одно—терпеть друг друга.

Но в их отношениях, кроме семейной привязанности, было взаимное уважение, а временами даже любовь.

Когда кот был молод и прост, он повсюду следовал за своим хозяином. Приохотился Лупп Егорович ходить перед праздниками на рыбалку— и кот за ним. Поймает старик мелкую рыбешку: уклейку, пескарика или ершика,— выбросит на берег, а кот ее съест.

— Хоть бы посолил! — потешался над Старым Валенком Лупп Егорович.

Но коту нравилась рыба и несоленая, была бы она живая. Сидит старик с удочкой, не шевелится, а рядом у края воды рыбачит кот, сторожит всякую мелочь, проплывающую возле бережка. Подплывает рыбка совсем рядышком,— в прозрачной воде она кажется крупной,— цапнет ее кот лапой и удивляется, что в лапе ничего нет. А Лупп Егорович хохочет:

— Это тебе не мыши!

Приохотился хозяин в силки рябчиков ловить — и кот начал промышлять птичек в лесу и на огороде.

Со временем приятели даже внешне стали походить друг на друга: Лупп Егорович, обзаведясь большой бородой и пышными бровями, вроде двух кошачьих хвостов, все больше смахивал на лохматого кота, а пушистый Старый Валенок — на Луппа Егоровича. Но сами они не замечали этого и любезничали друг с другом редко.

Старый Валенок с годами становился высокомерен, заносчив. Он презрительно смотрел со своей лежанки на

возвращающегося поздней почью волосатого Луппа и не трогался с места, даже когда тот начинал его гладить вдоль спины, только вытягивал хвост, чтобы рука старика прошлась и по хвосту. Мурлыкать от удовольствия, урчать, как положено всякому зверю кошачьей породы, Старый Валенок тоже не всегда находил нужным. А о том, чтобы сойти с лежанки, встретить приятеля у порога с задранным хвостом и потереться о его подшитые и заштопанные во многих местах катанки, он и думать не хотел. Такого случая ни он сам, ни Лупп Егорович уже не помнили. И если кот все-таки мурлыкал, то Лупп Егорович говорил:

— Мурлычешь, сукин кот, значит, жрать хочешь. Так просто, по доброте душевной, ты не замурлычешь.

Если бы не Лупп Егорович, Старого Валенка вообще не было бы на свете. Но разве он это понимает? Покойная жена Луппа Егоровича, Настя, держала в доме кошку, не запрещала ей даже котиться, но всякий раз уничтожала весь приплод. Положила однажды она слепых котят в ямку, прикрыла их камнем, а камень лег неплотно, и котята начали пищать, кошка услышала, заметалась, сама подрыла землю под камнем и вытащила одного котенка живым. Старуха хотела его сразу утопить, но Лупп Егорович воспротивился. «Судьба! — сказал он.— Пущай живет!»

И кот выжил. И стал Старым Валенком.

Лупп Егорович не работал в колхозе, годы вышли, но характер по-прежнему имел беспокойный, во все вмешивался, все и всех судил. В поведении Старого Валенка больше всего старика возмущала его молчаливая сонливость. «Как же ты можешь на все закрывать глаза, если ты живое существо?» — часто с удивлением и гневом допрашивал он кота.

Сегодня Лупп Егорович пришел домой подвыпивший и был особенно словоохотлив. Он повесил на крюк рядом с рожковым умывальником полушубок, смахнул кое-какую мокреть с усов, затем пошел на кухню, повозился ухватом в пекарке, вытянул горшок с остатком щей, принес их на стол и крикнул:

— Ладно, иди, старина, покормлю!

Кот издал в ответ какие-то влажные булькающие звуки, посмотрел, что ему предлагают и стоит ли из-за этого покидать теплое место, и, осторожно приподнявшись и потянувшись, начал неторопливо спускаться с

лежанки, с приступка на приступок. Движения его были замедленны, как у Луппа Егоровича, должно быть, они все-таки подражали друг другу даже в этом.

— Не голоден, значит? — с обидой сказал Лупп Егорович, выжидая, когда Старый Валенок спустится с печурки и подплывет к столу.— Не голоден, старый черт, или пенсию уже успел получить? Лежебок несчастный! Ох и ленив же ты, братец, за что только хлебом тебя кормят! Имечко тоже тебе подходящее дадено, заслуженное имечко: Валенок ты — Валенок и есть!

Кот степенно подошел к столу, понюхал протянутую руку с куском хлеба, смоченным в жидких нежирных щах,— от руки пахнуло не щами, а табачищем,— и отказался есть. Он недовольно мяукнул. «Твое имя лучше, что ли?» — казалось, выговорил он.

— Мое имя, братец, тоже не ахти какое, так в этом не я виноват. Поп на моего отца сердит был за вольномыслие и досаждал ему, чем мог. Народился сын, он и сыну — мне, стало быть,— еще в купели жизнь испортил на веки вечные. В школе и в деревне раньше мне проходу не давали, каждый перекрещивал как хотел: «Лупа да Лупа...» А разве я это заслужил? Ты вот заслужил. Твое имя к тебе пристало. Мурлычешь, гад? — ласково заключил свои высказывания Лупп Егорович.

«Мурлычу! — ответил Старый Валенок.— Чего тебе надо?..»

А Луппу Егоровичу ничего не надо было, ему просто хотелось поговорить, ему было хорошо. «Неужто и с котом своим по душам поговорить нельзя?» Уже лет пять, как Настя, старуха, умерла. Дочь вышла замуж, работает вместе с мужем на маслозаводе. «Вот бы тебе, Старому Валенку, где пристроиться надо!» Два сына поучились и уехали из деревни, в начальники ладят выбиться. «Все нынче в начальники лезут!» Об этом бы и хотелось поговорить Луппу Егоровичу, но — кот, что он знает?..

— Есть ли у тебя душа? — спрашивает кота Лупп Егорович.— Думаешь ли ты о жизни и как ее, нынешнюю, понимаешь?

Старый Валенок молчит и, недовольный, возвращается на теплую лежанку, на свое обычное место. Там он поджимает мягкие лапы, укладывает вокруг себя пушистый хвост, словно обертывается широким шерстяным шарфом, и, безучастный ко всему, закрывает зеленые усталые глаза.

— Вот твой главный недостаток: равнодушный ты! Жизнь идет, а ты спишь да спишь,— продолжает выговаривать ему Лупп Егорович.— Нет у тебя души, только шерсть одна. И мышей ты лопаешь с шерстью. Чего глаза закрываешь? Если бы у тебя была душа, ты глаза не закрывал бы, когда с тобой о деле говорят. Ну выпил я, ну и что? Дочка без внимания не оставляет, ей спасибо: в люди выбилась, не зря учил, человеком стала. От нее всегда поддержка и маслом и деньгами... Дела, понимаешь, в общем-то идут, и народ живет, приспособился, а все-таки не надо закрывать глаза, а то движения не будет. Вот говорю я председателю: поставь меня на пасеку, не губи ее, самое это стариковское дело — пасека, выгодно будет. А он что? Не лезь, говорит, не в свое дело, тебе скоро пенсию дадим. Он, стало быть, проявляет инициативу, а мою, эту самую инициативу, куда? Опять же о дочке. Была бы жива старуха, легче было бы, а то мест в яслях не хватает, в детский сад очереди. Вот говорим девкам: учитесь, раскрепощайтесь! А детей кто нянчить будет? Понимаешь, о чем я говорю, или тебе, лежебоку, ни до чего дела нет?

Кот лежал спокойно, ничего не требовал, ни о чем не спрашивал.

В избе наступали сумерки, очертания Старого Валенка начали расплываться. Безразличие кота раздражало Луппа Егоровича, но он понимал, что обижаться на животину бесполезно. Опершись руками о лавку, он тяжело поднялся, прошел к суденке возле печи, ощупью отыскал ложку, кусок хлеба и, вернувшись к столу, похлебал щей. Свет бы зажечь, но к чему? Скоро спать, а пока даже не дремалось. Ночи теперь долгие, спать приходится много, зачем спешить? Охота разговаривать еще не оставила Луппа Егоровича. Он снова повернулся к коту и неожиданно рыкнул:

— Дай закурить!

Старый Валенок промолчал.

— Вот видишь, какой ты: с тобой как с человеком, а ты что? Ну выпили мы с Прокопом маленько, посидели, посовещались, души свои разбередили. Поди, и поворчать старикам нельзя? Сколько уже раз колхоз наш то укрупняли, то разукрупняли — как душе не болеть? Пасеку похерили — пчелы, видишь ли, невыгодны, кур похерили — куры невыгодны, лошадей на колбасу — лошади невыгодны. Земля стала невыгодной, лес наступает на сенокосы, на пашни. Того гляди, и старики станут

невыгодны. Что же это такое происходит? Опять же говорю председателю: все берега по реке ивняком затянуло, отдай их мужикам исполу, расчистят, пущай два года косят для своих коров, потом колхозу перейдет, выгодно. А он что? На мелкобуржуазию, говорит, воду льешь... Чего молчишь? — кричит на кота Лупп Егорович.— Ну я выпил маленько, так я дело свое знаю, у меня душа болит. А ты ради чего живешь на земле, за что ты отвечаешь? Где твоя норма? Выполняешь ты свою норму или нет?

Лупп Егорович, у которого язык начинал все больше заплетаться, пришел вдруг в такое возбуждение, что сорвал катанок с ноги и бросил им в кота.

Кот встрепенулся, но с лежанки не соскочил, только перешел на другое место. Он, должно быть, привык к подобным выходкам старика, спокойствие не изменило ему. Чуть приоткрылись круглые глаза, блеснул в сумерках зеленый огонек, и мирное течение жизни в доме восстановилось.

— Ну что, братец, поразговаривали мы с тобой? — стал успокаиваться и старик.— Это хорошо, что ты молчать умеешь, а то нарубили бы мы дров сообща. Пожалуй, этак и пенсию не получим. Не могу проходить мимо, братец ты мой, совесть моя не позволяет. Иные под старость либо косеют, либо слепнут, а я под старость только больше видеть стал. Вот, скажем, обратно, плата за труд. Добавочная оплата есть — по животноводству, по льну, по сену,— это все соблюдается. А сам трудодень опять ничего не стоит. Выгодно это колхозу или невыгодно? А деньги какие хитрые стали!..

Лупп Егорович зевнул. Бесполезность разговора с котом стала для него вдруг настолько очевидной, что он сразу устал и захотел спать. Но заключить разговор надо было так, чтобы на его стороне осталась победа. Он так и сделал:

— Я же не о себе пекусь, понял? Вот сидишь и носом не ведешь. Старый ты Валенок! Брюхач!

Спал Лупп Егорович нераздетым, только катанки снимал и ставил на печку. Один катанок он поставил рядом с котом, другого искать не стал: показалось, кот приоткрыл мудрые глаза и поглядел на него насмешливо,— дескать, сам разбрасываешь, сам и собирай.

— Ну, ладно уж, ладно, поговорили! — сказал Лупп Егорович и погладил кота по голове. Тот не пошевелился.

Обычно Лупп Егорович спал на печи, подостлав под бока ватник. Но на печь лезть трудно, сейчас для этого не было ни сил, ни охоты. Поэтому он взял от стола скамью, придвинул ее к другой скамье у стены, положил в изголовье тот же ватник с печки и лег на спину, закинув руки назад, кулаки под голову. Лохматые брови его сомкнулись у переносья, широкая борода закрыла всю грудь, вытянулась до кушака. Засыпая, Лупп Егорович бормотал про себя:

— Как в людях ни хорошо, а дома лучше. Сколь подушка ни мягка, а свой кулак мягче...

Старый Валенок беззлобно, даже доброжелательно поглядывал сверху, как укладывался его хозяин, а когда в избе раздался первый легкий храп, он словно преобразился: выгнул спину, легко и мягко соскочил с лежанки и юркнул в подполье на очередную охоту за мышами. Равнодушия его как не бывало: он пошел выполнять свою жизненную норму...

Ночью луна осветила бревенчатые стены избы, разверстую русскую печь, пустую лежанку-подтопок, темный, давно не скобленный стол, на нем горшок с остатками щей, скамьи, сдвинутые вместе, и спящего старика с широкой бородой на груди.

При свете луны из подполья неслышно, как привидение, вышел пушистый сибирский кот, крадучись приблизился к своему старому ворчливому другу, легко прыгнул ему на грудь и осторожно, чтобы не разбудить, положил ему в широкую нечесаную бороду полузадушенную мышь — самую крупную, самую жирную из всех, какие удалось ему промыслить за эту ночь.

1962

ЖИВОДЕР

Мы нередко говорим: играет, как кошка с мышью. Сегодня ночью я видел, что это такое.

Я живу в деревне у одинокой женщины, моей родственницы, в большой чистой избе, устланной домоткаными половиками, увешанной рукотерниками и плакатами. Воздух в избе чистый, клопов сравнительно немного, питание здоровое: ягоды, грибы, капуста...

Но больше всего меня устраивает, что старушка моя

рано ложится спать и, перед тем как лечь, наливает для меня полную лампу керосина и чистит стекло скомканной газетой.

Ночью я люблю сидеть один — читать, думать, писать — в совершеннейшей тишине. Гудит в трубе тепло, суматошится метель под окном, и серая молодая кошка мурлычет рядом. Я не терплю кошек за их высокомерие и эгоизм. Говорят, собака привыкает к хозяину, а кошка к дому. По-моему, ни к чему она по-настоящему не привыкает и ни на одну кошку никогда нельзя положиться. Но эту, молодую, серую, я почему-то полюбил.

Сегодня в полночь кошка неожиданно подняла возню, начала мяукать, и я увидел, что она вынесла на середину избы живую мышь. Мышка была еще не измятая, совсем свеженькая, пушистая и маленькая, тоньше кошкиной лапы. Поначалу я не почувствовал к ней никакой жалости, а кошку, наоборот, похвалил про себя: дескать, не дармоедка, знает свое дело!

Кошка положила мышь на половик посреди избы и легла рядом с ней. Мышка припала к полу, вытянув хвостик, и удивленно замерла: ей, наверно, показалось, что она свободна и может убежать, куда хочет. Так и есть: мгновение — и ее не стало.

— Ах, черт! — воскликнул я от огорчения. — Ушла!

Но кошка спружинила, метнулась в задний угол избы, в темноту, успела за мгновение обшарить там своими толстыми лапами весь пол, нашла мышь — как мне представилось, ощупью — и уже спокойно, держа ее в зубах, вернулась на середину избы.

— Упустишь, дура! — сказал я.

Кошка положила мышь на прежнее место и снова легла рядом с нею, щурясь и беспрестанно мурлыча. И мышке опять поверилось, что она вольная птица. На этот раз кошка поймала ее у меня в ногах, под столом. В следующий раз — под печкой-лежанкой, затем на кухне. И все это в полумраке, потому что моя керосиновая лампа не освещала всей избы. Половики на полу были смяты, жесткий кошачий хвост, как лисья труба, мелькал то в одном месте, то в другом. Сколько раз я считал, что все кончено, мышь сбежала!

— Прозевала-таки, полоротая! — ворчал я. Но кошка не зевала. И я убедился, что этот зверь знает свое дело.

— Что вы там возитесь? — спросонья спросила хозяйка с печи и, не дождавшись ответа, снова захрапела.

Мышь устала, начала хитрить. Она подолгу не двигалась, вероятно прикидываясь мертвой. Кошка ложилась на бок, кувыркалась, поднималась на ноги, дугой изгибала спину и легонько, издалека трогала мышь своей страшной лапой, и мурлыкала, и мяукала. Ей хотелось играть. Она требовала, чтобы и мышь играла с нею, не умирала бы раньше времени. Я осветил их лучом китайского фонарика и увидел: мышка еще жива, черные глазки ее поблескивают, только она выжидает, ей хочется перехитрить свою смерть. Но, господи, до чего же она была мала рядом с этим страшилищем! И я вдруг, впервые в своей жизни, пожалел мышь, мне даже захотелось, чтобы она сбежала. И, словно почувствовав, что я на ее стороне, мышка кинулась под печку, но кошка, даже не вскочив, накрыла ее своей лапой и вместе с ней игриво перевернулась через спину.

Это продолжалось долго. Долго мышку не оставляла призрачная надежда на свободу. Только покажется ей, что наконец-то она перехитрила своего врага, может вздохнуть, скрыться и располагать собою по своему усмотрению, а кошка опять прижмет ее к полу, к земле. Прижмет и отпустит. Отпустит и отвернется, делая вид, что ей все безразлично. И мяучит требовательно, недовольно: «Да беги же снова, играй со мной!» Не мурлычет, а мяучит.

Хозяйка с печи опять подала голос:

— Кошка-то, видно, на улицу просится, выпусти!

— Нет, она мышь поймала, играет! — ответил я.

— У, тигра окаянная! Живодер! — с ненавистью сказала хозяйка.

Наконец и я ощутил ненависть к кошке.

Я направил узкий электрический луч прямо в ее бледно-зеленые с серым дымком глаза, когда она, валяясь на спине, жонглировала мышью, как фокусник мячиком, и ослепил ее. Воспользовавшись этим, мышь сделала последнюю попытку уйти в свое подполье. Но у «тигры» кроме зрения был еще звериный слух.

— У, подлая! — с откровенной ненавистью зашипел я. — Поймала-таки опять! Кровопийца! — И я готов был пнуть ее, потому что вся моя застарелая неприязнь к кошачьей породе поднялась во мне.

Мышь больше не подавала признаков жизни. Кошка мяукала с недоумением, обиженно и гневно толкала ее то левой, то правой лапой, словно бы отступалась от нее, отходила в сторону — мышь не двигалась и лежала либо на боку, либо на спине, задрав кверху голенькие, тонкие, как спички, ножки.

Тогда кошка съела ее. Ела она неторопливо, щуря глаза и чавкая. Похоже было, что ест без удовольствия, ест и брезгует. Мышиный хвостик долго торчал из ее рта, словно кошка раздумывала: глотать ей эту бечевку или выплюнуть ее. Под конец она проглотила и хвостик.

Хозяйка моя свесила ноги с печи.

— Ты что, полуношник, сегодня долго не спишь?

— Смотрел, как кошка с мышью играла,— ответил я.

— Ой, паре! — охает хозяйка, должно быть удивляясь моей несерьезности.

— Что — «ой, паре»?

— Ну-ко, надо!

— Что — «ну-ко, надо»?

Хозяйка задумывается и наконец, что-то обмозговав, произносит:

— Тигра — она тигра и есть! У нее свое дело, а у тебя свое. Спи давай!

— Ладно! Давай буду спать.

Я ложусь и засыпаю тревожным тоскливым сном. Снится мне моя страшная житейская беспомощность: меня ловят, со мной играют, хотят меня съесть. Захотят — съедят немедленно, захотят — оставят до утра. А я — просто игрушка, я — просто для игры.

— Ой, паре! — вскрикиваю я, удивляясь и негодуя на самого себя.— Ну-ко, надо!..

1962

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

А. Я. — Александр Яшин.

Избр., 1972 — Александр Яшин. Избранные произведения в 2-х томах. М., Художественная литература, 1972.

КБФ — газета «Красный Балтийский флот».

ЛГ — «Литературная газета».

ЛР — газета «Литературная Россия».

М — журнал «Москва».

НМ — журнал «Новый мир».

НС — журнал «Наш современник».

О — журнал «Огонек».

П — газета «Правда».

СЗ — Северо-Западное книжное издательство.

СП — издательство «Советский писатель».

СР — издательство «Советская Россия».

КОММЕНТАРИИ

Том прозы состоит из двух разделов: повести и рассказы. Во второй раздел кроме рассказов, расположенных по времени их написания, включены три цикла: «Сладкий остров», «Вместе с Пришвиным» и «Маленькие рассказы». Яшин начал писать прозу до войны, но работа эта носила эпизодический характер. В начале своего пути он более уверенно чувствовал себя как поэт, написав несколько поэм («Мать», «Клад», «Алена Фомина») с развитыми сюжетными линиями, детально прорисованными характерами героев, красочными пейзажами и лирическими отступлениями. Отойдя от эпической формы в поэзии, писатель ищет новые пути для передачи накопленных жизненных впечатлений. Напряженная повседневная работа в прозе начинается с начала пятидесятых годов. С этого момента обе линии существуют параллельно: стихи и проза.

Все, что было свойственно поэзии Яшина,— лиричность, социальность, драматизм, юмор, народность, четкость формы, естественность диалогов,— стало характерным и для его прозы. Рассказы и повести Яшина, так же как и стихи, различны по своему характеру: от лирического цикла «Сладкий остров» до повести «Вологодская свадьба» и социально-психологической повести «Сирота». Нравственное, гражданское прозрение и взросление писателя совпало со временем обращения его к прозаическому жанру.

К прозе своей, как и к стихам, Яшин предъявляет те же требования художественной образности, сюжетной сжатости, ясности мысли, точности и красоты слова. Это именно проза поэта. В то же время в поэтическом творчестве Яшин все чаще обращается к форме белого стиха и верлибра.

В рецензии на книгу «Угощаю рябиной» Н. Атаров писал: «Проза Яшина — как всякая естественная общность, как всякая творческая цельность — выигрывает сложенная вместе» (Архив *А. Я.*). Настоящее издание является самым полным из существующих. При жизни писатель успел опубликовать только незначительную часть своей прозы, созданную им в основном в течение одного десятилетия — 1954—1965 гг.

В 1954—1957 гг. написаны рассказы «Журавли», «Новоселы», «Рычаги», «После боя», «Талая вода», «Михал Михалыч»; повести «Единомышленники», «Стечение обстоятельств», «В гостях у сына» — первая часть задуманного романа «Слуга народа».

Наиболее плодотворным является период с 1960 по 1962 г. В 1960 г. один за другим были написаны рассказы «Первый гонорар», «Волк в городе», «Срочное дело», «Охота на мертвого глухаря», цикл рассказов «Сладкий остров» и повести «Сирота» и «Баба Яга». Удивительно благотворно на создание всех этих вещей повлияла поездка в 1960 г. в Белозерский край Вологодской области. Цикл рассказов «Вместе с Пришвиным», рассказы «Директива» и «Первое путешествие Маринки», а также повести «Астма» и «Выскочка» относятся к 1961 г. В 1962 г. создается «Вологодская свадьба», рассказы «Две берлоги», «Чистые руки», «Живодер», «Старый Валенок» и большой отрывок незавершенной пьесы «Переходный возраст». В это же время Яшин начинает работать над книгой стихов «Босиком по земле».

Публикация «Вологодской свадьбы» вызвала ряд резких критических откликов. Размышляя над ними, А. Яшин писал в своем дневнике: «Если бы предположить, что выступления писателей, знающих деревню, принимались как сигналы, многое плохое можно было бы остановить раньше. Невозможно представить себе серьезного писателя, который произвольно решает, о чем ему писать. Это не по волевому решению — о чем писать, а по велению души. Принимать сигналы... Бегство из деревни остановить. Привить любовь к деревне, к сельскому труду... Бороться надо, если не бороться — значит, обречь себя на бесперспективность в подъеме сельского хозяйства. Писать правду. Говорить правду, но говорить ее можно по-разному». И как итог всех размышлений о смысле своего творчества, он записывает: «Я без вологодской деревни — никуда».

В 1963 г. Яшин работает над повестью «Лауреат», а также дополняет несколькими стихотворениями книгу «Босиком по земле». В 1964 г. заканчивается подготовка этой поэтической книги, и весь год посвящен работе над сценарием «Сирота».

В 1965 г. появляются большие рассказы «Угощаю рябиной», «Подруженька», «Открывать здесь!». Идет работа над рассказом «Самосуд». Яшин задумывает несколько новых вещей — эпопею «Для кого строился дом», повести «Бобришный Угор», «Саша» и ряд рассказов, о чем говорят его многочисленные записи и заготовки. Но на написание этих произведений, которые, как считал писатель, должны были стать основными в его жизни и куда предполагалось включить много автобиографического материала, уже не хватало сил. Яшин в этот период вновь обращается к

поэзии и в основном за одно лето 1966 г. создает книгу стихов «День творенья».

Еще в 1946 г. писатель заводит рукописную книгу «Золотые слова». Это книга сюжетов, тем, удачных высказываний, записей рифмованных строчек, зарисовок пейзажей. В 1956 г. Яшин записывает: «В жизни полно рассказов». И часто на страницах этой книги встречается написанная крупными буквами пословица: «В работе бог ума прибавляет». В этой же книге 26 февраля 1955 г. дано состояние писателя перед работой, когда вновь оживают в нем и пахарь, и воин, и художник: «Вся степь притихла. Тракторы пошли. Какая бывает тишина перед боем. На заводе перед началом смены. Сосредоточенность души перед совершением чего-то большого. Настороженность, собранность, как перед наступлением».

Почти во всех своих произведениях писатель использует дневниковые записи, включающие в себя мельчайшие подробности, всю повседневную работу, которая предшествует основной работе над прозой. Создавая повести, рассказы, Яшин опирается, прежде всего, на жизненный материал, собранный им в своей родной деревне Блудново Вологодской области и различных ее районах, рисует знакомые с детства места, обращается к судьбам и характерам своих односельчан, которые стали прообразами действующих лиц почти всех произведений писателя. Так, описывая заброшенную деревню Белозерского края в повести «Баба Яга», автор заселяет ее своими земляками и родственниками. И хотя образы всех произведений собирательные, автор отталкивается от конкретных лиц и событий, бывших с ними или с самим писателем. Реальность дополняется воображением и вымыслом.

О верности родине и своей теме Яшин писал еще в 1947 г. в книге «Золотые слова»: «Страна велика. Всего не охватишь. Необходимо взять для наблюдения, для «родственного внимания», как сказал бы Пришвин, один какой-то объект жизни в территориальном и производственном смысле. Счастливее те, у кого есть какая-то своя областная родина, за жизнью которой они следят, общаясь с нею постоянно из чисто личных привязанностей, связанных с детством. Но ее должны выбрать для себя и все другие...» И рядом такая запись: «Поэт, даже хороший, не имеющий постоянного общения с народом, с жизнью, с какой-либо областной родиной (можно и Москвой), представляет собою приемник без заземления — глух и слаб его голос».

По мере того как накапливался материал для прозы, у Яшина сложилась четкая система работы. Прежде всего он меняет толстые тетради дневников на карманные записные книжки, с

которыми никогда не расстается, перенося из них необходимые для той или иной вещи записи в специальную картотеку, сортирует притекающий к нему материал, внося его в карточки для разных повестей, рассказов. Даже после написания и издания вещей для писателя всегда оставалась возможность улучшить, дополнить произведение, и это обстоятельство не говорит о его незаконченности. Это законченность на определенном этапе работы, жизни. Это относится одинаково и к неизданным, и к изданным при жизни вещам, т. к. и после напечатания своей прозы он продолжал над ней работать. Откладывая вещь на некоторый срок, часто на длительный, Яшин говорил, что надо дать ей полежать, «созреть». Во время непосредственной работы над рассказом или повестью нужные карточки перекладывались в отдельную папку, на обложке которой отмечались сроки начала и завершения работы над рукописью, перепечатки последующих вариантов, а также — кому была показана новая вещь и вкратце их впечатления о ней. Для Яшина было необходимо вновь созданное произведение прочитать разным людям, «обкатать», как пианисты обыгрывают новую программу перед большим концертом на маленьких сценах. Это было частью его работы. Мнения первых читателей — литераторов и нелитераторов, — иногда совершенно случайных лиц, оказавшихся в ту минуту рядом, Яшин конспектировал. Иногда эти «показания» помогали ему в работе, проясняли что-то, подсказывали, а иногда сбивали с толку, и он надолго выходил из колеи. Об опасности резкого суждения Яшин записал в книге «Золотые слова» 16 декабря 1948 г.: «Люди работали, хлеб вырос, а град его выбил. Не так ли бывает с книгами, где критик что град». В самой рукописи ставились даты каждого дня работы над произведением. Яшин писал медленно, тщательно отделывая каждую фразу, и не спешил публиковать уже готовые произведения.

В картотеке писателя, кроме заготовок к уже написанным и изданным вещам, кроме материалов к вещам задуманным («Веселые люди», «Мачеха», «Без ордера», «Убыток», «Почему правда горька?»), были и другие разделы: «пейзажи», «характеры», «фамилии», «цитаты», «острые слова», «названия» и т. д. В раздел «сюжеты» вошли замыслы более 50 рассказов.

Осмысливая свою работу в прозе, Яшин записывает в дневнике 12 ноября 1962 г.: «Если бы мне удалось написать то, что задумано, продумано, прожито, осмыслено,— я искупил бы свою вину перед собой, что слишком долго не брался всерьез за прозу...»

П. Нилин написал об Александре Яшине: «Жаль, что смерть подкосила его на взлете. И все же завидна судьба человека, который и *после смерти* шлет своему читателю все новые и новые

сочинения. Они лежали до поры до времени. Он, взыскательный, хотел их доделывать. И — не пришлось. Как хорошо бы собрать — и ведь пора — всю его прозу в одном, или в двух, или в трех, или в скольких там томах. Эти его и веселые и сердитые сочинения. И «Вологодскую свадьбу». Что-то он хотел исправить и придирчиво обращал на это внимание. Но иначе нельзя. И был, вероятно, прав один из великих наших поэтов, утверждавших, что «кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизну свою». А Яшин исступленно любил свою, нашу отчизну. Он это доказал. И не однажды в очень опасную пору» (Н и л и н П. Варя Лугина и ее первый муж. М., *СП*, 1984).

Многие прозаические вещи А. Яшина переведены на иностранные языки, выходили за рубежом отдельными изданиями и включались в антологии произведений советской литературы.

Вологодская свадьба (стр. 7). — *НМ*, 1962, № 12. Первый вариант написан с 27 дек. 1961 г. по 29 янв. 1962 г. в дер. Скочково Вологодской обл., куда писатель приехал на свадьбу своей двоюродной сестры Нины. Продолжая работу в течение всего 1962 г., Яшин закончил это произведение и предложил рукопись в *НМ*. Одновременно была подана заявка в изд-во «Советская Россия»: «В журнале «Новый мир» печатается мой рассказ-очерк «Вологодская свадьба» размером в 2,5 авторских листа. Я описал в нем, как проходят северные свадьбы в наше время, как своеобразно переплетается на этих сельских колхозных празднествах новое и старое. Мне представляется, что этот рассказ целесообразно издать отдельной книжкой, несмотря на его сравнительно малый размер. Если будет необходимость, могу снабдить издательство соответствующими фотографиями».

В рукописи, в первой и второй перепечатках ее, к фразе: «По этой же причине и записывать причеты с голоса было нетрудно» — стоит сноска: «В конце этого очерка я прилагаю для любителей полный текст причетов, записанных мною с голоса Клавдии Ильиничны Попикаровой в деревне Скочково Осиновского сельсовета Никольского района». Сохранилась запись всего свадебного обряда — кра́соты, оригинальный вариант, записанный в то время Яшиным па его родине.

Вторая перепечатка «Вологодской свадьбы» (август 1962 г.) является по существу новым рукописным вариантом — заново было написано более 50 страниц. Правка третьей перепечатки в основном состояла из замены имен реально существующих людей на вымышленные имена.

По выходе *НМ* Яшин послал один экземпляр в районную библиотеку г. Никольска с надписью: «Прошу не класть под сукно, а пустить по рукам. Пусть читают мои друзья-земляки. Только не ищите прямых параллелей, чтобы не было никаких обид на меня». О возникшем разногласии между критикой в печати и читательскими отзывами подробно написано в новелле Г. Радова «Случай с молодым журналистом» (журн. «Коммунист», 1967, № 6; Радов Г. Кого люблю, *СР*, 1971).

В архиве Яшина хранятся сотни писем от читателей: коллективные и частные. Целые разборы, анализы, рассказы в связи с прочитанным о своем, происходящем в их краях. Сам писатель видел в этих письмах темы для новых очерков и рассказов. Многие вологодские земляки, заброшенные судьбой в разные концы страны, живо откликнулись на произведение Яшина, как бы собравшись через почту со своими мнениями и думами в кабинете писателя.

Появление «Вологодской свадьбы» было встречено с интересом общественностью Вологды. Поэт А. Романов писал Яшину 8 февраля 1963 г.: «Ваша «Свадьба» удивительно резко выявила многие характеры, четко обозначила суть каждого нашего знакомого и открыла, по крайней мере — мне, глаза на многое» (Архив *А. Я.*).

В то время для Яшина большое значение имела поддержка друзей. «Такое может написать только тот, кто очень любит человека Родными запахами повеяло мне от «Свадьбы». Чую я твою большую любовь к своему народу. И слышу правду. Все у тебя здесь — правда. Меня, например, редко можно «стронуть» писаниями о селе, но сегодня ты покорил, захватил со всеми потрохами. И потому кланяюсь тебе до земли... Хорошо, Ал-др Яковл.! Оч. хорошо! Спасибо большущее»,— писал в письме от 22 января 1963 г. Г. Троепольский (Архив *А. Я.*). А. Твардовский в интервью (Т в а р д о в с к и й А. Литература социалистического реализма всегда шла рука об руку с революцией. *П*, 1963, 12 мая), говорил об этом произведении как об «отличном, полном поэзии очерке». Примечательна надпись К. Г. Паустовского на титуле первого тома его собрания сочинений, подаренного Яшину 16 февраля 1963 г.: «Александр Яковлевич, Саша, дорогой! Вы прямой, мужественный человек — ни в чем не «сумлевайтесь», народ Вас отблагодарит за правду и за Вашу сыновнюю к нему любовь. Вас и чудную Вашу помощницу и друга — Злату Константиновну. Любящий Вас К. Паустовский».

Особенно важным для Яшина явилось коллективное письмо 57 колхозников из родной деревни Блудново, присланное в редакцию «Комсомольской правды» (копия А. Яшину). Письмо это было включено в заметку Яшина «Пишет сельский сход» (*ЛГ*, 1967, 1 сент.).

Начиная с 1973 г. в критических очерках и статьях «Вологодская свадьба» единодушно определяется как произведение высокохудожественное. См.: А б р а м о в Ф. Александр Яшин — поэт и прозаик (*НМ*, 1973, № 4); М а к а р о в А. Критик и писатель (*СП*, 1974); М и х а й л о в А. Александр Яшин (*СР*, 1975); К у з н е ц о в Ф. За все в ответе (*СП*, 1975); О б о т у р о в В. Неповторимое, как чудо (*СЗ*, 1978) и др.

Единомышленники (стр. 44).— *ЛР*, 1983, 22 и 29 июля. В основу повести положен ряд событий, свидетелем и участником которых был А. Яшин. На перепечатке рукописи помечено: «Первый черновик. Начат 28/II, закончен 10/III 1957 г. в Малеевке». 19 марта 1957 г. — окончание второго варианта, на перепечатке которого 30 марта 1957 г. написано: «Правил до 15-й страницы. Остановился. Вероятно, лучше дать полежать».

В рабочей тетради, где записан подробный план предстоявшей работы над повестью, есть такие замечания. 27 февраля 1957 г.: «*От автора* — стиль приподнято-романтический, *прямая речь* — заземленная, бытовая», «Вероятно, лучше было бы, если бы всех охватило безразличие. А он вдохнул в них веру, приняв всех в партию. «Как же мне их расшевелить?» Один не вступил. В бога верю. Икона есть, баба молится. Замшанин не вступил — а вдруг окружат. Я и так воевать буду. Но все равно, кем умирать». 6 марта 1957 г.: «*Как* они, разные, стали *единомышленниками* — вот на что нужно сделать упор»; 10 марта 1957 г.: «Можно бы сделать так, чтобы каждый из бойцов представлял какой-нибудь социальный тип... Разговаривают о том, что будет после войны: «Вот кончится война, и ты, наверно, будешь отличным бюрократом».— «Да, какие-то мы все будем?» — «Разные будем. Победим сейчас и потом победим...»

Сохранились записи бесед с писателями (с теми, кто писал о войне или был в то время в Доме творчества в Малеевке): «Разговор по «Единомышленникам» с Б. Бедным 22/III 57 г., с Н. Чуковским»; «Считываем с Я. Акимом. 29/III 57 г.». Яшин очень увлечен был работой над повестью, т. к. заметки к ней встречаются на каталоге выставки, даже на билетах в кино. 9 сентября 1957 г. записан подробный конспект разговора с Э. Казакевичем.

Было несколько вариантов построения повести; разработан план 2-й части, рассказывающей о немецкой группе: «Отбились от своих и чертова дюжина (13) немецких солдат. Их биографии (не всех) — главками. Державный марш по Европе (Франция, Бельгия, Сталинград) — надлом. Как древние рыцари пили кровь побежденных врагов — в пьяном угаре. Садизм.

И вот они опустились, морально пали, оборвались... Есть и сознательные люди, из рабочих. Они говорят о новой Германии. Пробуждение человечности. Посрывали свои ордена, нашивки, погоны. Отрекаются от своего фюрера, от веры своей.

Столкнулись две группы. Немцев больше. Моральное превосходство наших. Хотя наши не знают ни одного языка. Один из немцев выхватил автомат у Замшанина, но убивает себя — это признание поражения, катастрофы. Немцы бросили своих раненых. Наши заставили подобрать их. Немцы не смогли выбрать коман-

дира — они все рядовые — и не договорились друг с другом. У немцев амулеты, образки».

Последние заметки к этой повести сделаны на карточках и относятся к 1964—1965 гг.: «В группе обязательно должен быть и газетчик. Он думает о славе (в начале), но подлинное мужество вскоре увлекает и восхищает его, он вырастает сам, перестает быть мелким эгоистом. 2/IV 64 г.».

«Единомышленники» — единственная повесть о войне, написанная в послевоенное время.

Баба Яга (стр. 92).— Печатается впервые (отрывки: газ. «Авангард», Вологда, 1980, № 98; *ЛР*, 1982, № 46; газ. «Новая жизнь», Вологда, 1984, № 110, 113, 119). Задумана одновременно с циклом рассказов «Сладкий остров» во время поездки писателя в Белозерье. Непосредственным толчком к созданию повести послужило впечатление от заброшенной деревни Шидием на соседнем острове, куда ездили за молоком к последним жителям: старику и старухе. Яшин почти каждый день бывал на этом острове, забирался внутрь изб, сидел то у одного, то у другого рухнувшего дома. Теперь и следов этой деревни нет. Бывали и в дер. Устье на Андозере, пили молоко, брали лодку у одинокой бабушки. И вот — первая запись в дневнике 24/VII 60 г.: «Рассказ «Баба Яга». Одинокая старуха на острове в к-зе «Заря» (Новозеро)... Другая одинокая старуха в дер. Устье — Аграфена Алексеевна...» Запись 11/III 61 г.: «Это председатель назвал ее Бабой Ягой. А она любит людей, тоскует по ним. Собирает и передает в колхоз лекарственные травы. И к колхозу относится с уважением, жалеет, что не удалось поработать в нем как следует — сил уже не стало... И вот на острове осталась одна Устинья. Одна-одинешенька. Ходила из дома в дом, как сторож, поправляла скворечники. Восходы и закаты для нее одной. Собирала оставшиеся вещи. Дневник бабы-яги — зарубки на стене». Яшин продолжал собирать материал для повести и после того, как она была закончена. Находясь в 1962 г. у себя на родине в дер. Скочково, где происходила описанная им свадьба, он слышит рассказы приехавших гостей и записывает: «В 18 км от Куданги в Костроме в починке в шесть домов живет единственная старуха («Баба Яга»). Она удивительно гостеприимна к любому прохожему, прямо закармливает. У нее в теплых местах («на городах») живут сыновья, заваливают ее посылками. От Куданги до Крестовского починка 6 км. и дальше до Бабы Яги 12 км. — дикий лес».

Сирота (стр. 144).— *М*, 1962, № 6. «Сирота» — единственная вышедшая при жизни писателя прозаическая книга (М., Мол. гв., 1963). Поводом к написанию повести послужило письмо двоюродного брата писателя — Павла Ивановича Горчакова, рано оставшегося сиротой и уехавшего в Ленинград в школу ФЗО. В то время

он не мог получить помощи из деревни, где остались бабушка с младшим братом, сами нуждавшиеся, и поэтому не раз, оказываясь в отчаянном положении, обращался за поддержкой к Яшину: «Дядя Шура прошу вас очень шипко, пошлите мне денег, если есть возможность...» И «дядя Шура» как мог помогал. Это продолжалось до тех пор, пока он, женившись, снова не попросил денег на обзаведение хозяйством. На конверте этого письма писатель пометил: «Сирота!» В повести также использовано множество впечатлений, наблюдений из жизни самого писателя. Голодное сиротское детство подорвало его здоровье (с двух лет без отца, с девяти — самостоятельная жизнь в городе), и уже в 16 лет он попадает в туберкулезный санаторий под г. Устюгом. В те времена Яшин вынужден был не один раз писать заявления то в комитет взаимопомощи о получении пуда картошки, то в экономическую комиссию педтехникума о стипендии, то в Окружной отдел Союза работников просвещения о путевке в южный санаторий, так как из-за длительного полуголодного существования, доводившего до обмороков, у него начался туберкулез. Не выдумано и «бабушкино лечение» паром, и многие другие эпизоды. В повести весь этот личный опыт переосмыслен и подан иначе, соответственно замыслу.

Первый вариант повести был написан за два месяца: с 5 ноября 1960 г. по 1 января 1961 г. Окончательно Яшин завершает повесть к весне 1961 г. Дальнейшая правка рукописи продолжается вплоть до сдачи ее в набор. Для отдельного издания Яшин углубляет и дописывает повесть. Рукопись увеличивается почти на 1,5 листа. Появились главки об уборке льна, ярче обрисованы характеры Шурки, пасечника Михаила Алексеевича и Нюрки, резче наметились их конфликты с председателем колхоза.

После выхода повести появилось много положительных рецензий. Критик А. Макаров писал об авторе: «Ему удалось *открыть*, схватить и запечатлеть *тип*, в полном смысле этого слова, тип довольно распространенный, но литературой ранее не замеченный, эдакого «мирского захребетника», ловко использующего для собственного спокойного процветания гуманные принципы нашего строя и наше благодушие» (Макаров А. Критик и писатель. М., *СП*, 1974). 12 сентября в дневнике Яшина появляется запись: «Каверин говорил, что мне в «Сироте» удалось, как редко кому удается, снова ухватить целое общественное явление...» (Архив *А. Я.*).

По замыслу писателя, кроме образа Павла Мамыкина — сироты, в повести проходит тема сиротства земли: «Бесхозная земля рожать не будет, надо, чтобы земля не осиротела». Эта же мысль проводится и в повести «Выскочка»: «Земля осиротела, лежит неухоженная, необласканная, последние силы свои теряет».

Переведенная на английский язык, повесть «Сирота» открыва-

ет пятый номер журн. «Советская литература на иностранном языке» за 1963 г.

В мае 1963 г. Яшин задумал написать по мотивам повести киносценарий. По-новому рассматривает писатель образ главного героя, Павла Мамыкина: «Это маленький растущий бюрократик-управитель. Портфелем интересуется: это что? Видит, как разъезжают уполномоченные, толкачи. Показать торговую сеть, тестя».

Работая над сценарием, Яшин перечитывает Н. Гоголя и неожиданно для себя обнаруживает совпадение имен и даже общность черт характеров Павла Мамыкина и героя «Мертвых душ». Запись в дневнике 11 марта 1965 г.: «Любопытно, что в «Мертвых душах», кроме уже давно известных мест, которые цитируют все кому не лень, я нашел такие абзацы, которые полностью отвечают на некоторые наши литературные... посылки. А ведь и у меня тоже Павел Иванович, только Мамыкин, а я раньше не замечал этого. И молодому Чичикову тоже говорят: «Эх, Павлуша! Надул, всех надул...», «Надул, надул, чертов сын!» И дальше Яшин выписывает отрывки из «Мертвых душ», находя для себя в этом главную поддержку и помощь в работе: «Рассуждение о герое: «А добродетельный человек все-таки не взят в герои... Потому что пора наконец дать отдых бедному добродетельному человеку...», «...пора наконец припрячь и подлеца. Итак, припряжем подлеца...» — ...Чудо, что такое у Гоголя». Сценарий хранится в архиве писателя.

Выскочка (стр. 260).— Яшин А. Журавли. М., «Современник», 1979. Первоначальное название «Свиньи». Летом 1960 г., живя на Сладком острове в Белозерье, Яшин ездит по колхозам Белозерского района. Записная книжка этого времени полна фактов, цифр, записанных при посещении ферм и хозяйств. Зарисовки, наблюдения, впечатления от этой поездки суммировались и дополнили впечатления от поездок на родину в 1958 г., подтолкнув писателя к осуществлению давнего замысла. В 1958 г. Яшин жил в вологодской гостинице в одном номере с председателем колхоза, тридцатитысячником Д. Б. Даниловым. Его многочисленные рассказы о колхозных делах также повлияли на создание повести.

Конкретных прототипов у героев повести нет, хотя в их портретах угадываются многие характерные черты яшинских земляков.

Повесть начата 4 февраля 1961 г. в Малеевке. Увлеченный работой, Яшин записывает в своем дневнике: «Пишу рассказ «Свиньи». Все проясняется больше и больше, мысль и воображение работают, но сегодня я разволновался так, что даже писать больше не смог. Кажется, это будет сильная вещь. И возможно, что даже пригодится для печати. Надо только успокоиться».

Законченная вчерне 13 марта 1961 г., повесть дописывалась автором вплоть до 31 мая того же года. В это же время пришло

и новое название — «Выскочка». Рукописи повестей «Сирота» и «Выскочка» были переданы К. Паустовскому. 19 июня 1961 г. в дневнике Яшина есть запись: «Вечером позвонил в Тарусу Паустовскому. Он прочитал и «Сироту», тоже нравится очень. Считает, что и делать ничего не нужно. «Выскочку» он ставит выше...»

В апреле 1962 г., заключив соглашение с журналом «Москва», писатель едет в Вологодскую область для сбора материалов, относящихся к повести «Выскочка». А в июле этого же года подает заявку в изд-во «Молодая гвардия» о включении повести в издательский план, вкратце излагая в ней новый основной конфликт произведения: «Повесть эта о молодых животноводах северной колхозной деревни, свинарках, о славе заслуженной, трудовой и — дутой, созданной искусственно, якобы ради пропаганды, о *тяжелой психической травме и трудной душевной перестройке* прославленной девушки-свинарки, популярность которой была *использована очковтирателями в своих корыстных целях*».

26 июля 1965 г. в дневнике Яшина появляется последняя запись о повести «Выскочка»: «Эту повесть я написал еще в 1961 г. и тогда же дал ее читать журналу «Москва». Повесть требовала доработки, и, несмотря на то, что редакция заключила со мной договор на ее опубликование, я в течение трех лет не сдавал ее в печать, додумывая основной конфликт, делясь своими сомнениями с «друзьями по перу». Летом этого года, прочитав только что опубликованную повесть одного из моих товарищей, я с горечью убедился, как рискованно до времени делиться своими творческими планами, особенно если пишешь медленно и печатаешься редко. Рассказываю об этой печальной истории, чтобы предупредить возможные нарекания в заимствовании».

Весной 1965 г. Яшин задумывает киносценарий «Выскочка» и подает заявку в сценарный отдел экспериментальной творческой студии «Мосфильма». Судя по заявке, сюжет киносценария должен был сильно отличаться от повести.

После окончания повести 31 мая 1961 г. никаких изменений в тексте Яшин не делал.

А с т м а (стр. 328).— *Журн. «Звезда»*, 1971, № 5, *под загл.* «Короткое дыхание». Отрывок из повести «Весеннее Подмосковье» был напечатан в *П*, 1968, 3 апр. *Впервые восстановлено авторское название* «Астма» в чешском издании.

Первый вариант повести написан в период с 7 апреля по 7 мая 1961 г. К работе над этим произведением Яшин возвращается лишь в декабре 1963 г., о чем свидетельствует запись в его дневнике: «Прочитал «Астму». До 34-й страницы все хорошо, естественно. Райкова обрисована отчетливо. Дальше начинается чепуха...» 9 августа 1964 г. начинается дальнейшая работа над по-

вестью и продолжается вплоть до мая 1965 г. Добавлено около 60 страниц. На титульном листе рукописи сделана запись: «11 мая 1965 г. Закончен новый вариант (по концовке — второй) и в тот же вечер в перепечатанном виде увез с собой в Ленинград. Там правил. Но конец надо писать заново. 28 мая 1965 г. Написал заново последние 10 страниц. 29 мая. Перепечатано. Теперь кому бы дать почитать первому?»

Пейзажные зарисовки повести связаны с конкретными местами. Так, например, описание экскурсии дано под впечатлением поездки во Владимирскую область в первые послевоенные годы. Подмосковные пейзажи соответствуют хорошо знакомой Яшину местности около его дачи в писательском поселке Переделкино — лесам, перелескам, где он не раз стоял на весенней тяге.

Подробный анализ повести дан в кн.: Оботуров В. Неповторимое, как чудо. (Очерк творчества А. Яшина). Архангельск, 1978: «Душевная скованность, несвобода никогда еще не были условием мощного, полного проявления личности и быть не могут. Мысль эта звучит в «Астме» ясно, отчетливо». «Повесть эта,— пишет Ф. Абрамов, — ...характеризует Яшина как знатока человеческой души, незаурядного мастера психологического портрета» (*НМ*, 1973, № 4).

Архивариус (стр. 395).— Журн. «Краснофлотец», 1942, № 10; газ. «Красный Север», 1982, № 221. Рассказ был начат 28 января, закончен 1 февраля 1942 г. «Архивариус» был написан в перерыве, когда Яшин был еще в Ижорском укрепрайоне (Лебяжье), но уже получил назначение в Пубалт, куда он выехал 4 февраля (см. т. 3 — «Дневники военных лет»).

В основу рассказа положен случай, бывший с комиссаром Лебедевым и семью бойцами. Об этом у Яшина написана заметка «Бесстрашный комиссар» (*КБФ*, 1941, 2 окт.). С Лебедевым Яшин был с самого начала войны сначала в Запольском укрепрайоне, потом в Ижорском. Под впечатлением дружбы с Лебедевым было написано стихотворение «Товарищу по окопу».

Истребители (стр. 409).— Газ. «Авангард», 1982, № 106, 107, 108, 110, 111, 112. На последнем листе рукописи помечено: «4 марта 1942 г., ВМГ (военно-морской госпиталь.— *Примеч. сост.*) № 3, г. Ленинград». В дневнике писателя есть запись о присвоении звания Героя Советского Союза архангельскому охотнику Вежливцеву, уничтожившему более 100 фашистов. Видимо, это сообщение дало повод к написанию «Истребителей», где Яшин использует свои впечатления, полученные на фронте, в боях и от рассказов боевых товарищей. В ряде заметок, написанных писателем для *КБФ* (1941) — «Крупин тревожит противника», «Дружба на фронте» и других, — помещен достоверный материал о снайперах и разведчиках, используемый в рассказе «Истребители».

Одному из героев рассказа дана фамилия матери писателя (по второму браку) — Горчаков. Другой герой получил имя и фамилию осетинского писателя Тотырбека Джатиева (1910—1984) — друга и сокурсника Яшина по Литературному институту. Джатиев получил тяжелые ранения в финскую войну, позже, во время войны, оба писателя были вместе на Черном море.

Фронтовой редактор (стр. 426). — *ЛР*, 1984, 21 сентября. Рассказ написан в 1944 г., после демобилизации Яшина. По замыслу автора, видимо, это отдельная глава — рассказ, который должен был стать началом большой вещи: «Повесть о редакции

на фронте». Сохранились отдельные записи для предполагавшейся работы над повестью: «Не одни патриотические и боевые традиции русского народа, но какая-то вечная неизменная стойкость русского человека обеспечили нам победу»; «Горчаков постепенно начинает любить свое газетное дело, уважать его действенность и становится в подлинном смысле фронтовым редактором»; «Некогда великие русские люди особенно сильно начинали чувствовать свою любовь к родной земле, когда уезжали за границу, на Запад. Семену Горчакову незачем было уезжать за границу, чтобы почувствовать любовь к своей Родине. Вот она вся — близкая и неузнаваемая — в крови, в слезах лежала перед ним и взывала о мести, и сердце его болело, болело за нее».

При создании рассказа был использован материал «Дневников военных лет» (см. т. 3), близкий писателю, так как он сам был боевым журналистом, фронтовым редактором. Рассказы «Архивариус», «Истребитель», «Фронтовой редактор», повесть «Единомышленники» являются частью задуманной Яшиным «военной книги».

Охота на мертвого глухаря (стр. 448).— *НС*, 1972, № 8. Написано в Переделкино 20 августа — 5 сентября 1960 г. Из дневниковых записей: 4 декабря 1960 г.: «О глухаре. Как часто в жизни люди идут не прямым путем, плутают и губят, губят понапрасну много живого... Я правлю свои рассказы и стихи — все, какие написал за свою жизнь и о которых думаю, что они будут жить после меня. Сам я уже скоро жить не буду, и эта адская работа мне сейчас ничего не дает и не даст. И если я все-таки стараюсь выдюжить и осилить ее, то лишь для тебя, мой возможный будущий читатель, мой друг. Оцени бескорыстный труд мой, я хочу и тебе добра».

Первое путешествие Маринки (стр. 460).— *НС*, 1977, № 1. На рукописи датировка: «Начал писать 27/XII 60 г. (В тот же день, как дописал черновик повести «Сирота») — закончил 7/I 61 г.». Яшин начал писать рассказ в Москве, закончил в Доме творчества писателей в Малеевке. В рукописном наброске дан подзаголовок «Первый бал, первый выход в свет, первые ожоги» — так был определен смысл вещи.

Позже, для готового уже рассказа, Яшин продолжает делать записи: «5/XII 1963 г. Имена всех трех мужчин с одной буквы. Надо изменить, чтобы не путать. Артист — Виталий Борисович; высокий, в шляпе, витиевато говорит, подгибаются ноги — Виктор Захарович; с бородкой, за пост держится — Вениамин Александрович. Перечитал весь рассказ после чтения «Астмы». Этот наиболее сделан», «5/XII 64 г. Боткинская. Для «Первого путешествия Маринки». Разговор службистов на пароходе про своих начальников: — Мой не любит категорических формулировок в обращениях по высшим инстанциям: куда бы ни писали, он не допускает, что-

бы было сказано «предлагаю», «считаю необходимым», а только: «я полагал бы», «мне представляется целесообразным, возможным вынести по вышеизложенному вопросу соответствующее решение». Особенно нравились ему слова: «вынести соответствующее решение». А какое — соответствующее? — начальство само должно знать. И когда вышестоящий начальник накладывал резолюцию: «Пр. пер.» (знаменитые слова: «Прошу переговорить лично»), и он являлся к нему, и начальник, выслушав, соглашался: «Давай, действуй»,— он все-таки настаивал: «Подпишите», «Наложите соответствующую резолюцию»... Жаль, не записал еще какие-то рассказы о начальниках».

Две берлоги (стр. 488). — *О*, 1962, № 33. На рабочей карточке имеется запись: «Две берлоги. Очерк. Написано с 6/I по 17/I 62 г. в д. Скочково. Послал в Москву. ЗК (Злата Константиновна.— *Примеч. сост.*) передала в Литгазету. Вернувшись в Москву 22/II 62 г., связался с Радовым. Он прочитал, хвалил, дал Косолапову. Тот написал на уголке: «Согласен с Вами, написано превосходно, но мы не можем дать целую полосу для медведей. В. Косолапов». Радов обещал переслать очерк 12/III в «Огонек» Ступникеру».

До опубликования Яшин дал прочесть К. Паустовскому: «Ему все нравится, и эта вещь тоже. Просит добавить деталей мелких. Я упрекнул его, что он не делает мне пометок. «Ничего не нужно делать: вы опытный, сложившийся прозаик», — сказал он» (5/IV 62 г.— Архив *А. Я.*).

Сохранилось много записей для рассказов на охотничьи темы. Из рукописной книги «Золотые слова»: «26/II 58 г. Охотник-любитель из города купил медвежью берлогу за 1500 руб., а медведь во время охоты именно его и задрал насмерть».

Подруженька (стр. 501).— *М*, 1966, № 1. О времени создания рассказа имеется запись в дневнике: «В ночь с 6 на 7 сентября 65 г. 83 км по дороге во Владимир... Сегодня я закончил рассказ «Подруженька» и сам удивляюсь, что закончил. Начал его 31/VIII, писал ежедневно по 2 странички, с расчетом, что на машине будет по одной. Понимаю, что это еще черновик, и все-таки радуюсь: закончил». Папка с рукописью и перепечатками нескольких вариантов озаглавлена: «Кошки и собаки. Цикл рассказов».

9 ноября 1965 г. Яшин отправил рассказ в журнал «Москва». «Дорогие друзья! Посылаю рассказ «Подруженька», чтобы вы застолбили его, если понравится и подойдет. К нему примыкают еще два готовых рассказа, тоже о кошках. Я присоединю их, как вернусь в Москву, — числа 15 ноября, они у меня там. Это «Старый Валенок» и «Живодер». По размеру они меньше «Подруженьки».

В текст, опубликованный в журнале «Москва», внесена значительная правка.

«Открывать здесь!» (стр. 517). — Журн. «Литературная Грузия», 1977, № 11. Поводом для создания рассказа послужил необычный подарок старшей дочери — бутылка кубинского ликера в нарядной экзотической упаковке. Об этом в дневнике Яшина имеется запись: «1/XI 65 г. Гагра. ...Сын Саша привез вчера от Натальи бутылку кофейного ликера. Решили переслать ее Георгию Леонидзе. И готов сюжет для праздничного рассказа: дарят бутылку один другому, никто ее не распечатал, и все пьяны, потому что в обмен получают другое вино».

Рассказ начат 10 ноября и вчерне закончен 23 ноября 1965 г. Приступив 1 декабря к его доработке, Яшин записывает в дневнике: «Переписывал отдельные страницы рассказа... Не дошел еще до половины, как уже все надоело, устал... Рассказ этот я обещал подарить Наташе ко дню ее рождения, обещал, что дотяну его до своей, яшинской кондиции». Рассказ завершен 25 февраля 1968 г. К этому времени относится и посвящение: «Памяти Георгия Леонидзе». В основу рассказа положен ряд эпизодов из жизни писателя. Большое значение имела дружба с Г. Леонидзе: откликнувшись на переданную ему бутылку кубинского ликера, грузинский писатель позвонил Яшину из Тбилиси и предложил ему санаторную путевку в Кобулети, которая в рассказе превратилась в бочонок вина. Сыграли свою роль и встречи Яшина в Гагре с грузинским писателем Г. Чиковани и его другом, сельским учителем, рассказы которого частично были включены в повествование.

Лечение никобревином было испробовано самим автором. Запись в дневнике 20 марта 1963 г.: «Вечером у Аникста. Торжественное решение начать принимать никобревин. Алекс. Абр. Аникст дал мне коробку NICOBREVINA (50 капсул) и мундштук сосать. Поздно вечером начал принимать. Тогда же (вечером) перестал курить сразу». Не один раз в жизни Яшин принимал решение бросить курить, иногда подолгу выдерживал и все-таки срывался. Много лет перед писателем стоял вопрос, как вырваться из заколдованного круга: бросить курить — значит не работать и страдать от этого, а курить — терять силы, здоровье, которые необходимы для работы. В дневниках и записных книжках многих лет то и дело встречаются записи на эту тему: «26/V 57 г. Когда разволнуюсь, начинаю курить, сижу в дыму, как в смирительной рубашке»; «25/VIII 60 г. Воля! Без нее нельзя жить. Если уж бросил курить, то надо сделать следующий шаг — установить строжайший рабочий регламент на каждый день».

Тема творческого труда является главной в рассказе, при которой тема курения отходит на второй план, становясь как бы фоном. Муки творчества, муки совести художника, поиск и выбор темы для работы, бескомпромиссность ее решения — основная ли-

ния рассказа. В книге «Золотые слова» есть записи о поисках нейтральной темы: «Нейтральных тем нет. И это не брюзжание, это хозяйский подход к жизни».

Работая над рассказом, Яшин записывает в дневнике 16 января 1966 г.: «Вот какую мысль надо выделить: можно пойти и на костер, только бы знать, ради чего гореть. Ты сжигаешь себя? Ну, что ж! Только бы знать, что не напрасно. Самосожженцы и раньше были» (Архив *А. Я.*).

Угощаю рябиной (стр. 547).— *НМ*, 1965, № 6. Написано 23—29 марта 1965 г. в Доме творчества в Переделкино.

Рассказ подвергался значительной авторской правке, имел несколько вариантов, в которых не менялся основной сюжет. Работа касалась проработки главной темы, ее отделки, отшлифовки путем сокращения и дописывания.

Это произведение дало название первому сборнику прозы, подготовленному автором для изд-ва «Советский писатель» (сборник вышел в 1974 г. в измененном составе). Рассказ является ключевым для творчества Яшина, своеобразным символом. Об этом, «одном из самых откровенных и проникновенных яшинских рассказов», критик А. Кондратович писал: «Да, такую прозу хочется и читать и перечитывать. Есть в ней одновременно и емкость мысли, и редкостная повествовательная свобода, не признающая никаких канонов, кроме необходимости полноты выражения и отображения жизни. Это в традициях русского рассказа, который может обернуться и очерком нравов, быта, и повестью, и даже небольшим романом» (*НС*, 1975, № 11). «В общении с природой теснее становятся узы кровного родства. Отношения наполняются большим духовным содержанием, просыпается желание дарить друг другу не материальное, предметное «что-то», а красоту окружающего мира. (Эта мысль активно проводится в известном рассказе А. Яшина «Угощаю рябиной», который явно тяготеет по духу, атмосфере, основным идеям к «Сладкому острову»)», — так пишет в книге «Нить времени» (Л., *СП*, 1978) критик Н. Банк. «А. Яшин, пожалуй, первым в нашей литературе поставил с такой остротой этот вопрос большого философского звучания: о противоречии между человеком и природой в век научно-технической революции, о путях разрешения этого противоречия», — писал Ф. Кузнецов («За все в ответе». М., *СП*, 1975).

В Вологде при ГПТУ № 30 много лет существует литературный кружок и музей «Яшинская рябинка», члены которого каждый год отмечают день рождения поэта-земляка, готовят литературный вечер, посвященный его памяти.

Сладкий остров (стр. 558)

Когда мы уедем?, Щука, Раки, Крапивное семя, Каменная гряда, Грибные шашлыки, Чайка, Утро — *НМ*, 1969, № 12; Тысяча первая песня, Спасибо, что разбудил меня — журн. «Сельская молодежь», 1970, № 9; Моряком будешь — журн. «Мурзилка», 1971, № 8; Сударева лодка, Лунный мостик — *Избр., 1972*. Цикл рассказов задуман во время поездки писателя с женой и двумя сыновьями в Белозерье (40 км от г. Белозерска) в июле — августе 1960 г. *Запись в дневнике: 13/VII.* Остров Сладкий. Всё еще не записал ни слова — живем как в сказке... Видели о-в Красный — монастырь (Кирилло-Новозерский, основан в 1517 г. — *Примеч. сост.*)... Всё остальное — святые места. Яшин путешествует на лодках, ловит рыбу («Я как одержимый только ловлю рыбу»), ездит по колхозам Белозерья, ведет записи. Первый рассказ о Сладком острове, на котором они жили, написан 28 июля — 3 августа. В одном из брошенных домов с канцелярскими столами был оборудован для Яшина «кабинет». 5 августа писатель уезжает с острова, продолжая писать рассказы. 5 сентября 1960 г. он записывает: «Можно всю книжку о Сладком острове строить как один рассказ...»

Цикл рассказов «Сладкий остров» дважды издавался отдельной книгой (*СР*, 1973 и 1980 гг.), вошел почти во все прозаические сборники Яшина. В статье «Верность жизни, верность себе» (*НС*, 1975, № 11) А. Кондратович писал: «...о художественных особенностях яшинской прозы можно было бы написать специальную статью... О тонком искусстве лирической миниатюры, не сбивающейся на привычные от тургеневских времен «стихотворения в прозе», а близкой скорее к бунинским зарисовкам его последних книг. И тут мог бы пойти тоже особый разговор о пришвинском цикле и о «Сладком острове». Там-то уж наверняка надо было бы поговорить о Яшине-пейзажисте: тоже особая тема».

Подробный анализ рассказов дан в книге Н. Банк «Нить времени» (Л., *СП*, 1978).

Вместе с Пришвиным (стр. 595).— Полностью — *НС*, 1971, № 4. Три рассказа: «Солнечная кладовая», «Подарки Пришвина», «Последняя тропинка» — *ЛР*, 1963, № 22. Первоначально цикл рассказов назывался «Михаилу Пришвину», но при опубликовании трех рассказов в *ЛР* редакцией предложено было название «Вместе с Пришвиным», под которым этот цикл печатается во всех изданиях. В рассказе «Солнечная кладовая» была сделана авторская сноска к названию посмертно изданной книги М. Пришвина «Незабудки»: «Кстати, название книги «Незабудки»

я не считаю удачным. Думаю, что сам Пришвин не остановился бы на нем».

Поводом для создания рассказов явилась просьба А. Котова (директора ГИХЛ) написать о М. Пришвине для сборника воспоминаний. Только через пять лет Яшин сумел выполнить эту просьбу. Для воспоминаний он выбрал художественную форму, которая позволяла ему более свободно и широко обращаться с фактами, послужившими толчком к написанию этого цикла. Все 9 рассказов были написаны с 31 января по 16 апреля 1961 г. в Малеевке, в Москве и в Переделкино.

Книгу о Пришвине Яшин задумывает после личного знакомства с писателем 1 января 1947 г. В дневниках появляются записи: «20/V 47. Название для книги или цикла «Живица». Это хорошо для книги «Михаилу Пришвину»; «Михаил Пришвин. Календарь природы. В стихи переложил А. Яшин».

В 1950 г. писатели знакомятся друг с другом ближе, они живут в одном доме, а лето 1951 г. Яшин со своей семьей проводит на даче в Дунино, рядом с Пришвиным. В этом же году он едет вместе с шофером Пришвина к себе на родину в дер. Блудново, на своей машине по непроезжим дорогам. В день кончины Пришвина (16 января 1954 г.) Яшин находился в Боткинской больнице: «Злата Конст. сообщила о смерти Пришвина (ок. 5.30 вечера). Я разволновался. Позвонил в Союз по автомату. А потом, примерно через полчаса, начались спазмы в области сердца — резкая колющая боль... А м. б., это были не сердечные боли?»

В книге «Золотые слова» есть запись: «Пришвин умер, когда я был в больнице, и мне не пришлось повидаться с ним. Только перед Новым годом написал ему письмо. Дал телеграмму его жене: «Прощай, дорогой Михаил Михайлович. Лежу в больнице, не могу проводить Вас. Горюю. Всю жизнь буду стоять перед Вами на коленях».

В 1960 г. в рабочих карточках писателя появляются записи о Пришвине, темы рассказов: «11/X 60. Начало: Уолт Уитмен написал такие стихи: «Прохожий, тебе хочется заговорить со мной. Почему бы тебе со мной не заговорить? Когда хочешь общения с уважаемым человеком, он обязательно отзовется». Так отозвался на мою любовь Пришвин. А даже не сфотографировались; Начать с перечисления своих строк, стихов, посвященных Пришвину, которые привели к знакомству; о том, как Пришвин отправился в первое путешествие из Вологды. «Где даже Пришвин, верно, не бывал» (из стих. «Весеннее».— *Примеч. сост.*); Как я уговаривал Пришвина поехать на Волго-Донской канал; Рассказ Мих. Мих. о том, как его изводили в Дунине соседи, приводили милиционера. Древоточцы. Наглецы!; Шкафы в коридоре. В столовой большой стол, за которым когда-то, возможно, бывало много гостей. В каби-

нете... Описать квартиру»; «3/II 61 г. ...На совещании молодых: Друзья мои! Поздравляю вас с наступлением весны». «2/IV 59 г. Комарово. Навалилось отчаяние, и я опять схватился за папиросы. Курил целый день, но, сообразив, что дело плохо, начал читать пришвинский «Календарь природы». И вот дурь как рукой сняло, снова захотелось жить и быть здоровым. Спасибо вам, Михаил Михайлович!»

Маленькие рассказы

Журавли (стр. 619), Не собака и не корова (стр. 637) — *НМ*, 1969, № 12; Проводы солдата (стр. 621), Первый гонорар (стр. 628) — *НС*, 1972, № 8; Творчество (стр. 625) — журн. «Кругозор», 1965, № 4; Михал Михалыч (стр. 626) — *Избр., 1972*; Волк в городе (стр. 632) — Яшин А. Журавли. М., «Современник», 1979; Старый Валенок (стр. 639), Живодер (стр. 643) — *М*, 1968, № 8.

Для «Маленьких рассказов» на отдельных листках, в дневниках, на рабочих карточках имеется множество набросков сюжетов, пейзажей, зарисовок, которые часто являются готовыми миниатюрами. 24 января 1954 г. в книге «Золотые слова» есть запись: «Надо писать книгу «Стихи в прозе» (одно из них о журавлях)». Начинается этот цикл рассказом «Журавли», написанным 25 января 1954 г. Это рассказ-символ. Запись в дневнике: «14/IX 1960 г. Дважды видел летящих клином журавлей. Удивительное зрелище. Одно крыло треугольника длиннее (левое всегда?). Из него, из левого крыла, то и дело создавался второй треугольник. Один раз он даже отделился, и стало два треугольника. Но скоро опять соединились в один».

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ

Яшин А. Я.

Я 96 Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 2. Повести; Рассказы/Сост., подгот. текста и коммент. З. Яшиной и Н. Яшиной.— М.: Худож. лит., 1985.— 671 с.

В книгу вошли повести «Вологодская свадьба» (1962), «Баба Яга» (1960), «Сирота» (1961), «Выскочка» (1961), «Астма» (1961, 1965), а также рассказы «Угощаю рябиной», «Сладкий остров», «Вместе с Пришвиным» и др

Я $\frac{4702010200\text{-}267}{028(01)\text{-}85}$ подписное

ББК 84Р7
Р2

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ
ЯШИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ ВТОРОЙ

Редактор *О. Новикова* Художественный редактор *Е. Ененко.* Технический редактор *Е. Полонская.* Корректоры *Г. Киселева* и *О. Наренкова.*

ИБ № 3049

Сдано в набор 21.11.84. Подписано в печать А-10399 от 30.07.85. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 35,28. Усл. кр.-отт. 35,28. Уч.-изд. л. 37,28. Тираж 50 000 экз. Изд. № III-1876. Заказ № 226. Цена 2 р. 60 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Отпечатано в ленинградской типографии № 6 ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 193144, г. Ленинград, ул. Моисеенко, 10 с матриц Ленинградской типографии № 2 головного предприятия ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.